This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

891.72
C511
v.1-3
ed. 2

if needed ,,

А. Чехов

Москвѣ.

Артистич. зав. А. Ф. Маркса, Спб., Измайл. пр., 29.

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# АНТ. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета [illegible]

## ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Въ банѣ.—Сирена.—Толстый и [illegible]—[illegible] [illegible] ночь.—[illegible]—[illegible] съ контрабасомъ.—[illegible]—[illegible]—Гордый [illegible]—[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] жажда.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Чехов, А. П. С

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Въ банѣ.—Сирена.—Толстый и тонкій.—Женское счастье.—Альбомъ.—Случай съ классикомъ.—Страшная ночь.—Чтеніе.—Въ потемкахъ.—Аптекарша.—Ораторъ.—Романъ съ контрабасомъ.—Бракъ по разсчету.—Ночь передъ судомъ.—Дачники.—Броженіе умовъ.—Сонная одурь.—Тайна.—Мститель.—Заблудшіе.—Репетиторъ.—Симулянты.—Господа обыватели.—Отецъ семейства.—Неудача.—Экзаменъ на чинъ.—Счастливчикъ.—Средство отъ запоя.—Житейскія невзгоды.—Дорогая собака.—Не въ духѣ.—Надлежащія мѣры.—Первый любовникъ.—Хорошій конецъ.—Много бумаги.—Справка.—Знакомый мужчина.—Изъ дневника помощника бухгалтера.—Злой мальчикъ.—То была она!—Интриги.—Въ почтовомъ отдѣленіи.—Мужъ.—Въ номерахъ.—Гриша.—Необыкновенный.—Левъ и солнце.—Антрепренеръ подъ диваномъ.—Жалобная книга.—Лишніе люди.—Скорая помощь.—Загадочная натура.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 20.

320319

# РАЗСКАЗЫ.

# ВЪ БАНѢ.

I.

— Эй, ты, фигура! — крикнулъ толстый, бѣлотѣлый господинъ, завидѣвъ въ туманѣ высокаго и тощаго человѣка съ жиденькой бородкой и съ большимъ мѣднымъ крестомъ на груди.—Поддай пару!

— Я, ваше высокородіе, не банщикъ, я цирюльникъ-съ. Не мое дѣло паръ поддавать. Не прикажете ли кровососныя баночки поставить?

Толстый господинъ погладилъ себя по багровымъ бедрамъ, подумалъ и сказалъ:

— Банки? Пожалуй, поставь. Спѣшить мнѣ некуда.

Цирюльникъ сбѣгалъ въ предбанникъ за инструментомъ, и черезъ какія-нибудь пять минутъ на груди и спинѣ толстаго господина уже темнѣли десять банокъ.

— Я васъ помню, ваше благородіе,—началъ цирюльникъ, ставя одиннадцатую банку.—Вы у насъ въ прошлую субботу изволили мыться и тогда же еще я вамъ мозоли срѣзывалъ. Я цирюльникъ Михайло... Помните-съ? Тогда же вы еще изволили меня насчетъ невѣстъ разспрашивать.

— Ага... Такъ что же?

— Ничего-съ... Говѣю я теперь и грѣхъ мнѣ осуждать, ваше благородіе, но не могу не выразить вамъ по совѣсти. Пущай меня Богъ проститъ за осужденія мои, но невѣста нынче пошла все непутящая, несмысленная... Прежняя невѣста желала выйтить за человѣка, который солидный, строгій, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религію помнитъ, а нынѣшняя льстится на образованность. Подавай ей образованнаго, а господина чиновника, или кого изъ

купечества и не показывай—осмѣетъ! Образованность разная бываетъ... Иной образованный, конечно, до высокаго чина дослужится, а другой весь вѣкъ въ писцахъ просидитъ, похоронить не за что. Мало ли ихъ нынче такихъ? Къ намъ сюда ходитъ одинъ... образованный. Изъ телеграфистовъ... Все превзошелъ, депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется. Смотрѣть жалко!

— Бѣденъ, да честенъ!—донесся съ верхней полки хриплый басъ.—Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная съ бѣдностью, свидѣтельствуетъ о высокихъ качествахъ души. Невѣжа!

Михайло искоса поглядѣлъ на верхнюю полку... Тамъ сидѣлъ и билъ себя по животу вѣникомъ тощій человѣкъ съ костистыми выступами на всемъ тѣлѣ и состоящій, какъ казалось, изъ однихъ только кожи да реберъ. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свѣсившимися внизъ длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрѣнія, устремленные на Михайлу.

— Изъ энтихъ... изъ длинноволосыхъ!—мигнулъ глазомъ Михайло.—Съ идеями... Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всѣхъ... Ишь, патлы распустилъ, шкилетъ! Всякій христіанскій разговоръ ему противенъ, все равно, какъ нечистому ладанъ. За образованность вступился! Такихъ вотъ и любитъ нынѣшняя невѣста. Именно вотъ такихъ, ваше высокородіе! Нешто не противно? Осенью зоветъ меня къ себѣ одна священникова дочка.—«Найди, говоритъ, мнѣ, Мишель»,—меня въ домахъ Мишелемъ зовутъ, потому, я дамъ завиваю,—«найди, говоритъ, мнѣ, Мишель, жениха, чтобъ былъ изъ писателей». А у меня, на ея счастье, былъ такой... Ходилъ онъ въ трактиръ къ Порфирію Емельянычу и все стращалъ въ газетахъ пропечатать. Подойдетъ къ нему человѣкъ за водку деньги спрашивать, а онъ сейчасъ по уху... «Какъ? Съ меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу въ газетахъ пропечатать, что ты душу загубилъ?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстилъ я его поповскими деньгами, показалъ барышнинъ портретъ и сводилъ. Костюмчикъ ему на прокатъ досталъ... Не понравился барышнѣ! «Меланхоліи, говоритъ, въ лицѣ мало». И сама не знаетъ, какого ей лѣшаго нужно!

— Это клевета на печать!—послышался хриплый басъ съ той же полки.—Дрянь!

— Это я-то дрянь? Гм!.. Счастье ваше, господинъ, что я въ эту недѣлю говѣю, а то бы я вамъ за «дрянь» сказалъ бы слово... Вы, стало-быть, тоже изъ писателей?

— Я хотя и не писатель, но не смѣй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и пользу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганіемъ, а съ честью. Говорю я о писателяхъ какъ свѣтскихъ, такъ равно и духовныхъ.

— Духовныя особы не станутъ такими дѣлами заниматься.

— Тебѣ, невѣжѣ, не понять. Димитрій Ростовскій, Иннокентій Херсонскій, Филаретъ Московскій и прочіе другіе святители церкви своими твореніями достаточно способствовали просвѣщенію.

Михайло покосился на своего противника, покрутилъ головой и крякнулъ.

— Ну, ужъ это вы что-то тово, сударь...—пробормоталъ онъ, почесавъ затылокъ.—Что-то умственное... Недаромъ на васъ и волосья такіе. Недаромъ! Мы все это очень хорошо понимаемъ и сейчасъ вамъ покажемъ, какой вы человѣкъ есть. Пущай, ваше благородіе, баночки на васъ постоятъ, а я сейчасъ... Схожу только.

Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышелъ въ предбанникъ.

— Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый,—обратился онъ къ малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло,—такъ ты, тово... погляди за нимъ. Народъ смущаетъ... Съ идеями... За Назаромъ Захарычемъ сбѣгать бы...

— Ты скажи мальчикамъ.

— Сейчасъ выйдетъ сюда длинноволосый, — зашепталъ Михайло, обращаясь къ мальчикамъ, стоявшимъ около одежи.—Народъ смущаетъ. Поглядите за нимъ, да сбѣгайте къ хозяйкѣ, чтобъ за Назаромъ Захарычемъ послали—протоколъ составить. Слова разныя произноситъ... Съ идеями...

— Какой же это длинноволосый?—встревожились мальчики.—Тутъ никто изъ такихъ не раздѣвался. Всѣхъ раздѣвалось шестеро. Тутъ вотъ два татара, тутъ господинъ раздѣвшись, тутъ изъ купцовъ двое, тутъ дьяконъ... а больше и никого... Ты, знать, отца дьякона за длинноволосаго принялъ?

— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!

Михайло посмотрѣлъ на одежу дьякона, потрогалъ рукой ряску и пожалъ плечами... По лицу его разлилось крайнее недоумѣніе.

— А какой онъ изъ себя?

— Худенькій такой, бѣлобрысенькій... Бородка чуть-чуть... Все кашляетъ.

— Гм!..—пробормоталъ Михайло.—Гм!.. Это я, значитъ, духовную особу облаялъ... Комиссія отца Денисія! Вотъ грѣхъ-то! Вотъ грѣхъ! А вѣдь я говѣю, братцы! Какъ я теперь исповѣдаться буду, ежели я духовное лицо обидѣлъ? Господи, прости меня, грѣшнаго! Пойду прощенія просить...

Михайло почесалъ затылокъ и, состроивъ печальное лицо, отправился въ баню. Отца дьякона на верхней полкѣ уже не было. Онъ стоялъ внизу у крановъ и, сильно раскарячивъ ноги, наливалъ себѣ въ шайку воды.

— Отецъ дьяконъ!—обратился къ нему Михайло плачущимъ голосомъ.—Простите меня, Христа ради, окаяннаго!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнулъ и поклонился дьякону въ ноги.

— За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи!

## II.

— Удивляюсь я, какъ это ваша дочь, при всей своей красотѣ и невинномъ поведеніи, не вышла до сихъ поръ замужъ!—сказалъ Никодимъ Егорычъ Потычкинъ, полѣзая на верхнюю полку.

Никодимъ Егорычъ былъ голъ, какъ и всякій голый человѣкъ, но на его лысой головѣ была фуражка. Боясь прилива къ головѣ и апоплексическаго удара, онъ всегда парился въ фуражкѣ. Его собесѣдникъ Макаръ Тарасычъ Пѣшкинъ, маленькій старичокъ, съ тонкими синими ножками, въ отвѣтъ на его вопросъ, пожалъ плечами и сказалъ:

— А потому она не вышла, что характеромъ меня Богъ обидѣлъ. Смиренъ я и кротокъ очень, Никодимъ Егорычъ, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Женихъ нынче лютый,—съ нимъ и обходиться нужно сообразно.

— То-есть, какъ же лютый? Съ какой это вы точки?

— Балованный женихъ... Съ нимъ какъ надо? Строгость нужна, Никодимъ Егорычъ. Стѣсняться съ нимъ не слѣдоваетъ, Никодимъ Егорычъ. Къ мировому, по мордасамъ, за

городовымъ послать — вотъ какъ надо! Негодный народъ. Пустяковый народъ.

Пріятели легли рядомъ на верхней полкѣ и заработали вѣниками.

— Пустяковый...—продолжалъ Макаръ Тарасычъ.—Натерпѣлся я отъ ихъ, каналіевъ. Будь я характеромъ посолиднѣе, моя Даша давно бы уже была замужемъ и дѣтокъ рожала. Да-съ... Старыхъ дѣвокъ теперь въ женскомъ полѣ, сударь мой, ежели по чистой совѣсти, половина на половину, пятьдесятъ процентовъ. И замѣтьте, Никодимъ Егорычъ, каждая изъ этихъ самыхъ дѣвокъ въ молодыхъ годахъ женіховъ имѣла. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причинѣ? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли; дали ему отвертѣться.

— Это вѣрно-съ.

— Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующій. Любитъ онъ все это на шерамыжку, да съ выгодой. Задаромъ онъ тебѣ и шагу не ступитъ. Ты ему удовольствіе, а онъ съ тебя же деньги требуетъ. Ну, и женится тоже не безъ мыслей. Женюсь, молъ, такъ деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ѣшь, лопай, бери мои деньги, только женись на моемъ дитѣ, сдѣлай такую милость, но бываетъ, что и съ деньгами наплачешься, натерпишься горя-гореванскаго. Иной сватается-сватается, а какъ дойдетъ до самой точки, до вѣнца, то и назадъ оглобли, къ другой идетъ свататься. Женихомъ хорошо быть, одно удовольствіе. Его и накормятъ, и напоятъ, и денегъ взаймы дадутъ — чѣмъ не жизнь? Ну, и строитъ изъ себя жениха до старости лѣтъ, покуда смерть,—и жениться ему не нужно. И ужъ лысина во всю голову, и сѣдой весь, и колѣни гнутся, а онъ все женихъ. А то бываютъ, которые не женятся по глупости... Глупый человѣкъ самъ не знаетъ, что ему надобно, ну, и перебираетъ: то ему не хорошо, другое не ладно. Ходитъ-ходитъ, сватается-сватается, а потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего: — «Не могу, говоритъ, и не желаю». Да вотъ хоть взять, къ примѣру, господина Катавасова, перваго Дашинаго жениха. Учитель гимназіи, титулярный тоже совѣтникъ... Науки всѣ выучилъ, по-французски, по-нѣмецки... математикъ, а на повѣрку вышелъ болванъ, глупый человѣкъ — и больше ничего. Вы спите, Никодимъ Егорычъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же-съ? Это я закрылъ глаза отъ удовольствія...

— Ну, вотъ... Началъ онъ около моей Даши ходить. А надо вамъ замѣтить, Дашѣ тогда и двадцати годочковъ еще не было. Такая была дѣвица, что просто всѣмъ на удивленіе. Финикъ! Полнота, формалистика въ тѣлѣ и прочее. Статскій совѣтникъ Цицероновъ-Гравіанскій—по духовному вѣдомству служитъ—на колѣняхъ ползалъ, чтобъ къ нему въ гувернантки пошла—не захотѣла! Началъ Катавасовъ ходить къ намъ. Ходитъ каждый день и до полночи сидитъ, все съ ней про разныя науки тамъ и физики... Книжки ей носитъ, музыку ея слушаетъ... Все больше на книжки напираетъ. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а онъ—то прочти, другое прочти; надоѣлъ до смерти. Полюбилъ ее, вижу. И она, замѣтно, ничего. «Не нравится, говоритъ, онъ мнѣ за то, что онъ, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чинъ есть, благородный, сытый, трезвый—чего же тутъ еще? Посватался. Благословили... Про приданое не спросилъ даже. Молчокъ... Словно онъ не человѣкъ, а духъ безплотный, и безъ приданаго можетъ. Назначили и день, когда вѣнчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходитъ ко мнѣ въ лавку этотъ самый Катавасовъ. Глаза красные, личность блѣдная, словно съ перепугу, весь дрожитъ. Что угодно-съ?—«Извините, говоритъ, Макаръ Тарасычъ, но я жениться на Дарьѣ Макаровнѣ не могу. Я, говоритъ, ошибся. Я, говоритъ, взирая на ея цвѣтущую молодость и наивность, думалъ найти въ ней почву, такъ сказать, свѣжесть, говоритъ, душевную, а она уже успѣла пріобрѣсти склонности, говоритъ. Она наклонна, говоритъ, къ мишурѣ, не знаетъ труда, съ молокомъ матери всосала...» И не помню, что она тамъ всосала... Говоритъ, а самъ плачетъ. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустилъ его. И къ мировому не сходилъ, и начальству его не жаловался, по городу не срамилъ. Пойди я къ мировому, такъ, небось, испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядѣло бы, что она тамъ всосала. Коли смутилъ дѣвку, такъ и женись. Купецъ, вонъ, Клякинъ,—слышали?—даромъ что мужикъ, а подикася какую штуку того... У него женихъ тоже упорствовать сталъ, въ приданомъ замѣтилъ что-то какъ будто не то, такъ онъ,

Клякинъ-то, завелъ его въ кладовую, заперся, вынулъ, знаете ли, изъ кармана большой револьверъ съ пулями, какъ слѣдуетъ заряженный, и говоритъ: «Побожись, говоритъ, передъ образомъ, что женишься, а то, говоритъ, убью сію минуту, подлецъ этакой. Сію минуту!» Побожился и женился молодчикъ. Вотъ видите. А я бы такъ не способенъ. И драться даже не того... Увидалъ мою Дашу консисторскій чиновникъ, хохолъ Брюзденко. Тоже изъ духовнаго вѣдомства. Увидалъ и влюбился. Ходитъ за ней красный какъ ракъ, бормочетъ разныя слова, и изо рта у него жаръ пышитъ. Днемъ у насъ сидитъ, а ночью подъ окнами ходитъ. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкіе ей понравились. Въ нихъ, говоритъ, огонь и черная ночь. Ходилъ-ходилъ хохолъ и посватался. Даша, можно сказать, въ восторгѣ и восхищеніи, дала свое согласіе.—«Я, говоритъ, папаша, понимаю, это не военный, но все же изъ духовнаго вѣдомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Дѣвица, а тоже поди разбираетъ нынче: интендантство! Осмотрѣлъ хохолъ приданое, поторговался со мной и только носомъ покрутилъ—на все согласенъ, свадьбу бы только поскорѣй; но въ тотъ самый день, какъ обручать, поглядѣлъ на гостей, да какъ схватитъ себя за голову.—«Батюшки, говоритъ, сколько у нихъ родни! Не согласенъ! Не могу! Не желаю!» И пошелъ, и пошелъ... Я ужъ и такъ, и этакъ... Да ты, говорю, ваше высокородіе, съ ума сошелъ, что ли? Вѣдь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взялъ шапку да и былъ таковъ.

Былъ и такой случай. Посваталъ мою Дашу лѣсничій Аляляевъ. Полюбилъ ее за умъ и поведеніе... Ну, и Даша его полюбила. Характеръ его положительный ей нравился. Человѣкъ онъ, дѣйствительно, хорошій, благородный. Посватался и все, этакъ, обстоятельно. Приданое все до тонкостей осмотрѣлъ, всѣ сундуки перерылъ, Матрену поругалъ за то, что та салопа отъ моли не уберегла. И мнѣ реестрикъ своего имущества доставилъ. Благородный человѣкъ, грѣхъ про него что худое сказать. Нравился онъ мнѣ, признаться, до чрезвычайности. Торговался онъ со мной два мѣсяца. Я ему восемь тысячъ даю, а онъ проситъ восемь съ половиной. Торговались-торговались; бывало, сядемъ чай пить, выпьемъ по пятнадцати стакановъ, и все торгуемс

двѣсти накинулъ — не хочетъ! Такъ и разошлись изъ-за трехсотъ рублей. Уходилъ бѣдный и плакалъ... Ужъ больно любилъ Дашу! Ругаю теперь себя, грѣшный человѣкъ, истинно говорю. Было бъ мнѣ отдать ему триста или же попугать, на весь городъ посрамить, или завести бы въ темную комнатку, да по мордасамъ. Прогадалъ я, вижу теперь, что прогадалъ, дурака сломалъ. Ничего не подѣлаешь, Никодимъ Егорычъ: характеръ у меня тихій!

— Смирны очень. Это вѣрно-съ. Ну, я пойду, пора... Голова тяжела стала...

Никодимъ Егорычъ въ послѣдній разъ ударилъ себя вѣникомъ и спустился внизъ. Макаръ Тарасычъ вздохнулъ и еще усерднѣе замахалъ вѣникомъ.

# СИРЕНА.

Послѣ одного изъ засѣданій N—скаго мирового съѣзда, судьи собрались въ совѣщательной комнатѣ, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ѣхать домой обѣдать. Предсѣдатель съѣзда, очень видный мужчина съ пушистыми баками, оставшійся по одному изъ только-что разобранныхъ дѣлъ «при особомъ мнѣніи», сидѣлъ за столомъ и спѣшилъ записать свое мнѣніе. Участковый мировой судья Милкинъ, молодой человѣкъ съ томнымъ, меланхолическимъ лицомъ, слывущій за философа, недовольнаго средой и ищущаго цѣли жизни, стоялъ у окна и печально глядѣлъ во дворъ. Другой участковый и одинъ изъ почетныхъ уже ушли. Оставшійся почетный, обрюзглый, тяжело дышащій толстякъ, и товарищъ прокурора, молодой нѣмецъ съ катаральнымъ лицомъ, сидѣли на диванчикѣ и ждали, когда кончитъ писать предсѣдатель, чтобы ѣхать вмѣстѣ обѣдать. Передъ ними стоялъ секретарь съѣзда Жилинъ, маленькій человѣчекъ съ бачками около ушей и съ выраженіемъ сладости на лицѣ. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, онъ говорилъ вполголоса:

— Всѣ мы сейчасъ желаемъ кушать, потому что утомились и уже четвертый часъ, но это, душа моя, Григорій Саввичъ, не настоящій аппетитъ. Настоящій, волчій аппетитъ, когда, кажется, отца родного съѣлъ бы, бываетъ только послѣ физическихъ движеній, напримѣръ, послѣ охоты съ гончими, или когда отмахаешь на обывательскихъ верстъ сто безъ передышки. Тоже много значитъ и воображеніе-съ. Ежели, положимъ, вы ѣдете съ охоты домой и желаете съ

аппетитомъ пообѣдать, то никогда не нужно думать объ умномъ; умное да ученое всегда аппетитъ отшибаетъ. Сами изволите знать, философы и ученые насчетъ ѣды самые послѣдніе люди, и хуже ихъ, извините, не ѣдятъ даже свиньи. Ѣдучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчикѣ да закусочкѣ. Я разъ дорогою закрылъ глаза и вообразилъ себѣ поросеночка съ хрѣномъ, такъ со мной отъ аппетита истерика сдѣлалась. Ну-съ, а когда вы въѣзжаете къ себѣ во дворъ, то нужно, чтобы въ это время изъ кухни пахло чѣмъ-нибудь этакимъ, знаете ли...

— Жареные гуси мастера пахнуть, — сказалъ почетный мировой, тяжело дыша.

— Не говорите, душа моя, Григорій Саввичъ, утка или бекасъ могутъ гусю десять очковъ впередъ дать. Въ гусиномъ букетѣ нѣтъ нѣжности и деликатности. Забористѣе всего пахнетъ молодой лукъ, когда, знаете ли, начинаетъ поджариваться и, понимаете ли, шипитъ, подлецъ, на весь домъ. Ну-съ, когда вы входите въ домъ, то столъ уже долженъ быть накрытъ, а когда сядете, сейчасъ салфетку за галстукъ и не спѣша тянетесь къ графинчику съ водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не въ рюмку, а въ какой-нибудь допотопный дѣдовскій стаканчикъ изъ серебра, или въ этакій пузатенькій съ надписью: «Его же и монаси пріемлютъ», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолокъ поглядите, потомъ, этакъ, не спѣша, поднесете ее, водочку-то, къ губамъ и — тотчасъ же у васъ изъ желудка по всѣму тѣлу искры...

Секретарь изобразилъ на своемъ сладкомъ лицѣ блаженство.

— Искры...—повторилъ онъ, жмурясь.—Какъ только выпили, сейчасъ же закусить нужно.

— Послушайте,—сказалъ предсѣдатель, поднимая глаза на секретаря, — говорите потише! Я изъ-за васъ уже второй листъ порчу.

— Ахъ, виноватъ-съ, Петръ Николаичъ! Я буду тихо,— сказалъ секретарь и продолжалъ полушопотомъ:—Ну-съ, а закусить, душа моя, Григорій Саввичъ, тоже нужно умѣючи. Надо знать, чѣмъ закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съѣли вы ея кусочекъ съ лучкомъ и съ горчичнымъ соусомъ, сейчасъ же, благодѣтель мой, пока еще чувствуете въ животѣ искры, кушайте икру

саму по себѣ, или, сжели желаете, съ лимончикомъ, потомъ простой рѣдьки съ солью, потомъ опять селедки, но всего лучше, благодѣтель, рыжики соленые, ежели ихъ изрѣзать мелко, какъ икру, и, понимаете ли, съ лукомъ, съ прованскимъ масломъ... объяденіе! Но налимья печонка — это трагедія!

— М-да...—согласился почетный мировой, жмуря глаза.— Для закуски хороши также того... душоные бѣлые грибы.

— Да, да, да, съ лукомъ, знаете ли, съ лавровымъ листомъ и всякими спеціями. Откроешь кастрюлю, а изъ нея паръ, грибной духъ... даже слеза прошибаетъ иной разъ! Ну-съ, какъ только изъ кухни приволокли кулебяку, сейчасъ же, не медля, нужно вторую выпить.

— Иванъ Гурьичъ!—сказалъ плачущимъ голосомъ предсѣдатель.—Изъ-за васъ я третій листъ испортилъ!

— Чортъ его знаетъ, только объ ѣдѣ и думаетъ!—проворчалъ философъ Милкинъ, дѣлая презрительную гримасу.—Неужели, кромѣ грибовъ да кулебяки, нѣтъ другихъ интересовъ въ жизни?

— Ну-съ, передъ кулебякой выпить,—продолжалъ секретарь вполголоса; онъ уже такъ увлекся, что, какъ поющій соловей, не слышалъ ничего, кромѣ собственнаго голоса.— Кулебяка должна быть аппетитная, безстыдная, во всей своей наготѣ, чтобъ соблазнъ былъ. Подмигнешь на нее глазомъ, отрѣжешь этакій кусище и пальцами надъ ней пошевелишь вотъ этакъ, отъ избытка чувствъ. Станешь ее ѣсть, а съ нея масло, какъ слезы, начинка жирная, сочная, съ яйцами, съ потрохами, съ лукомъ...

Секретарь подкатилъ глаза и перекосилъ ротъ до самаго уха. Почетный мировой крякнулъ и, вѣроятно, воображая себѣ кулебяку, пошевелилъ пальцами.

— Это чортъ знаетъ что...—проворчалъ участковый, отходя къ другому окну.

— Два куска съѣлъ, а третій къ щамъ приберегъ,— продолжалъ секретарь вдохновенно.—Какъ только кончили съ кулебякой, такъ сейчасъ же, чтобъ аппетита не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячія, огневыя. Но лучше всего, благодѣтель мой, борщокъ изъ свеклы на хохлацкій манеръ, съ ветчинкой и съ сосисками. Къ нему подаются сметана и свѣжая петрушечка съ укропцемъ. Великолѣпно также разсольникъ изъ потроховъ и молодень-

кихъ почекъ, а ежели любите супъ, то изъ суповъ наилучшій, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цвѣтной капустой и всякой тому подобной юриспруденціей.

— Да, великолѣпная вещь... — вздохнулъ предсѣдатель, отрывая глаза отъ бумаги, но тотчасъ же спохватился и простоналъ: — Побойтесь вы Бога! Этакъ я до вечера не напишу особаго мнѣнія! Четвертый листъ порчу!

— Не буду, не буду! Виноватъ-съ!—извинился секретарь и продолжалъ шопотомъ:—Какъ только скушали борщокъ или супъ, сейчасъ же велите подавать рыбное, благодѣтель. Изъ рыбъ безгласныхъ самая лучшая—это жареный карась въ сметанѣ; только, чтобы онъ не пахъ тиной и имѣлъ тонкость, нужно продержать его живого въ молокѣ цѣлыя сутки.

— Хорошо также стерлядку кольчикомъ, — сказалъ почетный мировой, закрывая глаза, но тотчасъ же, неожиданно для всѣхъ, онъ рванулся съ мѣста, сдѣлалъ звѣрское лицо и заревѣлъ въ сторону предсѣдателя:—Петръ Николаичъ, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу!

— Дайте мнѣ кончить!

— Ну, такъ я самъ поѣду! Чортъ съ вами!

Толстякъ махнулъ рукой, схватилъ шляпу и, не простившись, выбѣжалъ изъ комнаты. Секретарь вздохнулъ и, нагнувшись къ уху товарища прокурора, продолжалъ вполголоса:

— Хорошъ также судакъ или карпій съ подливкой изъ помедоровъ и грибковъ. Но рыбой не насытишься, Степанъ Францычъ; это ѣда не существенная, главное въ обѣдѣ не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?

Товарищъ прокурора сдѣлалъ кислое лицо и сказалъ со вздохомъ:

— Къ несчастью, я не могу вамъ сочувствовать: у меня катаръ желудка.

— Полноте, сударь! Катаръ желудка доктора выдумали! Больше отъ вольнодумства да отъ гордости бываетъ эта болѣзнь. Вы не обращайте вниманія. Положимъ, вамъ кушать не хочется, или тошно, а вы не обращайте вниманія и кушайте себѣ. Ежели, положимъ, подадутъ къ жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить къ этому куропаточку, или парочку перепелочекъ жирненькихъ, то тутъ

про всякій катаръ забудете, честное благородное слово. А жареная индѣйка? Бѣлая, жирная, сочная этакая, знаете ли, въ родѣ нимфы...

— Да, вѣроятно, это вкусно,—сказалъ прокуроръ, грустно улыбаясь.—Индѣйку, пожалуй, я ѣлъ бы.

— Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только-что въ первые морозы ледку хватила, да изжарить ее на противнѣ вмѣстѣ съ картошкой, да чтобъ картошка была мелко нарѣзана, да подрумянилась бы, да чтобъ утинымъ жиромъ пропиталась, да чтобъ...

Философъ Милкинъ сдѣлалъ звѣрское лицо и, повидимому, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ причмокнулъ губами, вѣроятно, вообразивъ жареную утку, и, не сказавъ ни слова, влекомый невѣдомою силой, схватилъ шляпу и выбѣжалъ вонъ.

— Да, пожалуй, я поѣлъ бы и утки...—вздохнулъ товарищъ прокурора.

Предсѣдатель всталъ, прошелся и опять сѣлъ.

— Послѣ жаркого человѣкъ становится сытъ и впадаетъ въ сладостное затменіе,—продолжалъ секретарь. — Въ это время и тѣлу хорошо, и на душѣ умилительно. Для услажденія можете выкушать рюмочки три запеканочки.

Предсѣдатель крякнулъ и перечеркнулъ листъ.

— Я шестой листъ порчу,—сказалъ онъ сердито. — Это безсовѣстно!

— Пишите, пишите, благодѣтель! — зашепталъ секретарь.—Я не буду! Я потихоньку. Я вамъ по совѣсти, Степанъ Францычъ, — продолжалъ онъ едва слышнымъ шопотомъ:—домашняя самодѣлковая запеканочка лучше всякаго шампанскаго. Послѣ первой же рюмки всю вашу душу охватываетъ обоняніе, этакій миражъ, и кажется вамъ, что вы не въ креслѣ у себя дома, а гдѣ-нибудь въ Австраліи, на какомъ-нибудь мягчайшемъ страусѣ...

— Ахъ, да поѣдемте, Петръ Николаичъ!—сказалъ прокуроръ, нетерпѣливо дрыгнувъ ногой.

— Да-съ,—продолжалъ секретарь.—Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и въ это время въ голову приходятъ такія мечтательныя мысли, будто вы генералиссимусъ, или женаты на первѣйшей красавицѣ въ мірѣ, и будто эта красавица плаваетъ цѣлый день передъ вашими окнами въ этакомъ бассейнѣ съ зо-

лотыми рыбками. Она плаваетъ, а вы ей: — «Душенька, иди поцѣлуй меня!»

— Петръ Николаичъ!—простоналъ товарищъ прокурора.

— Да-съ,—продолжалъ секретарь. — Покуривши, подбирайте полы халата и ай-да къ постелькѣ! Этакъ ложитесь на спинку, животикомъ вверхъ, и берите газетку въ руки. Когда глаза слипаются и во всемъ тѣлѣ дремота стоитъ, пріятно читать про политику: тамъ, глядишь, Австрія сплоховала, тамъ Франція кому-нибудь не потрафила, тамъ папа римскій наперекоръ пошелъ—читаешь, оно и пріятно.

Предсѣдатель вскочилъ, швырнулъ въ сторону перо и обѣими руками ухватился за шляпу. Товарищъ прокурора, забывшій о своемъ катарѣ и млѣвшій отъ нетерпѣнія, тоже вскочилъ.

— Ѣдемте!—крикнулъ онъ.

— Петръ Николаичъ, а какъ же особое мнѣніе?—испугался секретарь.—Когда же вы его, благодѣтель, напишете? Вѣдь вамъ въ шесть часовъ въ городъ ѣхать!

Предсѣдатель махнулъ рукой и бросился къ двери. Товарищъ прокурора тоже махнулъ рукой и, подхвативъ свой портфель, исчезъ вмѣстѣ съ предсѣдателемъ. Секретарь вздохнулъ, укоризненно поглядѣлъ имъ вслѣдъ и сталъ убирать бумаги.

# ТОЛСТЫЙ И ТОНКІЙ.

На вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги встрѣтились два пріятеля: одинъ толстый, другой тонкій. Толстый только-что пообѣдалъ на вокзалѣ, и губы его, подернутыя масломъ, лоснились, какъ спѣлыя вишни. Пахло отъ него хересомъ и флеръ-д'оранжемъ. Тонкій же только-что вышелъ изъ вагона и былъ навьюченъ чемоданами, узлами и картонками. Пахло отъ него ветчиной и кофейной гущей. Изъ-за его спины выглядывала худенькая женщина съ длиннымъ подбородкомъ—его жена, и высокій гимназистъ съ прищуреннымъ глазомъ—его сынъ.

— Порфирій!—воскликнулъ толстый, увидѣвъ тонкаго.—Ты ли это? Голубчикъ мой! Сколько зимъ, сколько лѣтъ!

— Батюшки!—изумился тонкій.—Миша! Другъ дѣтства! Откуда ты взялся?

Пріятели троекратно облобызались и устремили другъ на друга глаза, полные слезъ. Оба были пріятно ошеломлены.

— Милый мой!—началъ тонкій послѣ лобызанія.—Вотъ не ожидалъ! Вотъ сюрпризъ! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавецъ, какъ и былъ! Такой же душонокъ и щеголь! Ахъ, ты Господи! Ну, что же ты? Богатъ? Женатъ? Я уже женатъ, какъ видишь... Это вотъ моя жена, Луиза, урожденная Ванценбахъ... лютеранка... А это сынъ мой, Нафанаилъ, ученикъ III класса. Это, Нафаня, другъ моего дѣтства! Въ гимназіи вмѣстѣ учились!

Нафанаилъ немного подумалъ и снялъ шапку.

— Въ гимназіи вмѣстѣ учились!—продолжалъ тонкій.—Помнишь, какъ тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратомъ за то, что ты казенную книжку папироской прожегъ, а меня Эфіальтомъ за то, что я ябедничать любилъ. Хо-хо... Дѣтьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди къ нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбахъ... лютеранка.

Нафанаилъ немного подумалъ и спрятался за спину отца.

— Ну, какъ живешь, другъ?—спросилъ толстый, восторженно глядя на друга.—Служишь гдѣ? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежскимъ асессоромъ уже второй годъ и Станислава имѣю. Жалованье плохое... ну, да Богъ съ нимъ! Жена уроки музыки даетъ, я портсигары приватно изъ дерева дѣлаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто беретъ десять штукъ и болѣе, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-какъ. Служилъ, знаешь, въ департаментѣ, а теперь сюда переведенъ столоначальникомъ по тому же вѣдомству... Здѣсь буду служить. Ну, а ты какъ? Небось, уже статскій? А?

— Нѣтъ, милый мой, поднимай повыше, — сказалъ толстый.—Я уже до тайнаго дослужился... Двѣ звѣзды имѣю.

Тонкій вдругъ поблѣднѣлъ, окаменѣлъ, но скоро лицо его искривилось во всѣ стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородокъ жены сталъ еще длиннѣе; Нафанаилъ вытянулся во фрунтъ и застегнулъ всѣ пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень пріятно-съ! Другъ, можно сказать, дѣтства и вдругъ вышли въ такіе вельможи-съ! Хи-хи-съ.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этотъ тонъ? Мы съ тобой друзья дѣтства — и къ чему тутъ это чинопочитаніе!

— Помилуйте... Что вы-съ... — захихикалъ тонкій, еще болѣе съеживаясь.—Милостивое вниманіе вашего превосходительства... въ родѣ какъ бы живительной влаги... Это вотъ, ваше превосходительство, сынъ мой Нафанаилъ... жена Луиза, лютеранка, нѣкоторымъ образомъ...

Толстый хотѣлъ-было возразить что-то, но на лицѣ у тонкаго было написано столько благоговѣнія, сладости и почтительной кислоты, что тайнаго совѣтника стошнило. Онъ отвернулся отъ тонкаго и подалъ ему на прощанье руку.

Тонкій пожалъ три пальца, поклонился всѣмъ туловищемъ и захихикалъ, какъ китаецъ: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаилъ шаркнулъ ногой и уронилъ фуражку. Всѣ трое были пріятно ошеломлены.

# ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ.

Хоронили генералъ-лейтенанта Запупырина. Къ дому покойника, гдѣ гудѣла похоронная музыка и раздавались командныя слова, со всѣхъ сторонъ бѣжали толпы, желавшія поглядѣть на выносъ. Въ одной изъ группъ, спѣшившихъ къ выносу, находились чиновники Пробкинъ и Свистковъ. Оба были со своими женами.

— Нельзя-съ! — остановилъ ихъ помощникъ частнаго пристава съ добрымъ, симпатичнымъ лицомъ, когда они подошли къ цѣпи. — Не-ельзя-съ! Пра-ашу немножко назадъ! Господа, вѣдь это не отъ насъ зависитъ! Прошу назадъ! Впрочемъ, такъ и быть, дамы могутъ пройти... пожалуйте, mesdames, но... вы, господа, ради Бога...

Жены Пробкина и Свисткова зардѣлись отъ неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цѣпь, а мужья ихъ остались по сю сторону живой стѣны и занялись созерцаніемъ спинъ пѣшихъ и конныхъ блюстителей.

— Пролѣзли!—сказалъ Пробкинъ, съ завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дамъ.—Счастье, ей-Богу, этимъ шиньонамъ! Мужскому полу никогда такихъ привилегій не будетъ, какъ ихнему, дамскому. Ну, что вотъ въ нихъ особеннаго? Женщины, можно сказать, самыя обыкновенныя, съ предразсудками, а ихъ пропустили; а насъ съ тобой, будь мы хоть статскіе совѣтники, ни за что не пустятъ.

— Странно вы разсуждаете, господа! — сказалъ помощникъ пристава, укоризненно глядя на Пробкина.— Впусти

Нафанаилъ немного подумалъ и спрятался за спину отца.

— Ну, какъ живешь, другъ?—спросилъ толстый, восторженно глядя на друга.—Служишь гдѣ? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежскимъ асессоромъ уже второй годъ и Станислава имѣю. Жалованье плохое... ну, да Богъ съ нимъ! Жена уроки музыки даетъ, я портсигары приватно изъ дерева дѣлаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто беретъ десять штукъ и болѣе, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-какъ. Служилъ, знаешь, въ департаментѣ, а теперь сюда переведенъ столоначальникомъ по тому же вѣдомству... Здѣсь буду служить. Ну, а ты какъ? Небось, уже статскій? А?

— Нѣтъ, милый мой, поднимай повыше, — сказалъ толстый.—Я уже до тайнаго дослужился... Двѣ звѣзды имѣю.

Тонкій вдругъ поблѣднѣлъ, окаменѣлъ, но скоро лицо его искривилось во всѣ стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородокъ жены сталъ еще длиннѣе; Нафанаилъ вытянулся во фрунтъ и застегнулъ всѣ пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень пріятно-съ! Другъ, можно сказать, дѣтства и вдругъ вышли въ такіе вельможи-съ! Хи-хи-съ.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этотъ тонъ? Мы съ тобой друзья дѣтства — и къ чему тутъ это чинопочитаніе!

— Помилуйте... Что вы-съ... — захихикалъ тонкій, еще болѣе съеживаясь.—Милостивое вниманіе вашего превосходительства... въ родѣ какъ бы живительной влаги... Это вотъ, ваше превосходительство, сынъ мой Нафанаилъ... жена Луиза, лютеранка, нѣкоторымъ образомъ...

Толстый хотѣлъ-было возразить что-то, но на лицѣ у тонкаго было написано столько благоговѣнія, сладости и почтительной кислоты, что тайнаго совѣтника стошнило. Онъ отвернулся отъ тонкаго и подалъ ему на прощанье руку.

Тонкій пожалъ три пальца, поклонился всѣмъ туловищемъ и захихикалъ, какъ китаецъ: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаилъ шаркнулъ ногой и уронилъ фуражку. Всѣ трое были пріятно ошеломлены.

# ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ.

Хоронили генералъ-лейтенанта Запупырина. Къ дому покойника, гдѣ гудѣла похоронная музыка и раздавались командныя слова, со всѣхъ сторонъ бѣжали толпы, желавшія поглядѣть на выносъ. Въ одной изъ группъ, спѣшившихъ къ выносу, находились чиновники Пробкинъ и Свистковъ. Оба были со своими женами.

— Нельзя-съ! — остановилъ ихъ помощникъ частнаго пристава съ добрымъ, симпатичнымъ лицомъ, когда они подошли къ цѣпи. — Не-ельзя-съ! Пра-ашу немножко назадъ! Господа, вѣдь это не отъ насъ зависитъ! Прошу назадъ! Впрочемъ, такъ и быть, дамы могутъ пройти... пожалуйте, mesdames, но... вы, господа, ради Бога...

Жены Пробкина и Свисткова зардѣлись отъ неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цѣпь, а мужья ихъ остались по сю сторону живой стѣны и занялись созерцаніемъ спинъ пѣшихъ и конныхъ блюстителей.

— Пролѣзли!—сказалъ Пробкинъ, съ завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дамъ.—Счастье, ей-Богу, этимъ шиньонамъ! Мужскому полу никогда такихъ привилегій не будетъ, какъ ихнему, дамскому. Ну, что вотъ въ нихъ особеннаго? Женщины, можно сказать, самыя обыкновенныя, съ предразсудками, а ихъ пропустили; а насъ съ тобой, будь мы хоть статскіе совѣтники, ни за что не пустятъ.

— Странно вы разсуждаете, господа! — сказалъ помощникъ пристава, укоризненно глядя на Пробкина.—Впусти

васъ, такъ вы сейчасъ толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себѣ не позволитъ ничего подобнаго!

— Оставьте, пожалуйста! — разсердился Пробкинъ. — Дама въ толпѣ всегда первая толкается. Мужчина стоитъ и глядитъ въ одну точку, а дама растопыриваетъ руки и толкается, чтобъ ея нарядовъ не помяли. Говорить ужъ нечего! Женскому полу всегда во всемъ фортуна. Женщинъ и въ солдаты не берутъ, и на танцовальные вечера имъ безплатно, и отъ тѣлеснаго наказанія освобождаютъ... А за какія, спрашивается, заслуги? Дѣвица платокъ уронила—ты поднимай, она входитъ—ты вставай и давай ей свой стулъ, уходитъ — ты провожай... А возьмите чины! Чтобъ достигнуть, положимъ, статскаго совѣтника, мнѣ или тебѣ нужно всю жизнь протрубить, а дѣвица въ какіе-нибудь полчаса обвѣнчалась со статскимъ совѣтникомъ—вотъ ужъ она и персона. Чтобы мнѣ княземъ или графомъ сдѣлаться, нужно весь свѣтъ покорить, Шипку взять, въ министрахъ побывать, а какая-нибудь, прости Господи, Варенька или Катенька, молоко на губахъ не обсохло, покрутитъ передъ графомъ шлейфомъ, пощуритъ глазки—вотъ и ваше сіятельство... Ты сейчасъ губернскій секретарь... Чинъ этотъ себѣ ты, можно сказать, кровью и потомъ добылъ; а твоя Марья Ѳомишна? За что она губернская секретарша? Изъ поповенъ и прямо въ чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дѣло, такъ она тебѣ и впишетъ входящую въ исходящія.

— Зато она въ болѣзняхъ чадъ родитъ, — замѣтилъ Свистковъ.

— Велика важность! Постояла бы она передъ начальствомъ, когда оно холоду напускаетъ, такъ ей бы эти самыя чада удовольствіемъ показались. Во всемъ и во всемъ имъ привилегія! Какая-нибудь дѣвица или дама изъ нашего круга можетъ генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторѣ не посмѣешь сказать. Да... Твоя Марья Ѳомишна можетъ смѣло со статскимъ совѣтникомъ подъ ручку пройтись, а возьми-ка ты статскаго совѣтника подъ руку! Возьми-ка, попробуй! Въ нашемъ домѣ, какъ разъ подъ нами, братъ, живетъ какой-то профессоръ съ женой... Генералъ, понимаешь, Анну первой степени имѣетъ, а то и дѣло слышишь, какъ его жена чешетъ: «Дуракъ! дуракъ!

дуракъ!» А вѣдь баба простая, изъ мѣщанокъ. Впрочемъ, тутъ законная, такъ тому и быть... испоконъ вѣка такъ положено, чтобъ законныя ругались, но ты возьми незаконныхъ! Что эти себѣ дозволяютъ! Во вѣки-вѣковъ не забыть мнѣ одного случая. Чуть-было не погибъ, да такъ ужъ, знать, за молитвы родителей уцѣлѣлъ. Въ прошломъ году, помнишь, нашъ генералъ, когда уѣзжалъ въ отпускъ къ себѣ въ деревню, меня взялъ съ собой, корреспонденцію вести... Дѣло пустяковое, на часъ работы. Отработалъ свое, и ступай по лѣсу ходить, или въ лакейскую романсы слушать. Нашъ генералъ—человѣкъ холостой. Домъ—полная чаша, прислуги, какъ собакъ, а жены нѣтъ, управлять некому. Народъ все распущенный, непослушный... и надъ всѣми командуетъ баба, экономка Вѣра Никитишна. Она и чай наливаетъ, и обѣдъ заказываетъ, и на лакеевъ кричитъ... Баба, братецъ ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядитъ. Толстая, красная, визгливая... Какъ начнетъ на кого кричать, какъ подниметъ визгъ, такъ хоть святыхъ выноси. Не такъ руготня донимала, какъ этотъ самый визгъ. О, Господи! Никому отъ нея житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестія, задирала... Ну, думаю, погоди: улучу минутку и все про тебя генералу разскажу. Онъ погруженъ, думаю, въ службу и не видитъ, какъ ты его обкрадываешь и народъ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открылъ, братъ, глаза, да такъ открылъ, что чуть-было у самого глаза не закрылись навѣки, что даже теперь, какъ вспомню, страшно дѣлается. Иду я однажды по коридору, и вдругъ слышу визгъ. Сначала думалъ, что свинью рѣжутъ, потомъ же прислушался и слышу, что это Вѣра Никитишна съ кѣмъ-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Чортъ!»—Кого это?—думаю. И вдругъ, братецъ ты мой, вижу: отворяется дверь, и изъ нея вылетаетъ нашъ генералъ, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно чортъ на нихъ подулъ. А она ему вслѣдъ: «Дрянь! Чортъ!»

— Врешь!

— Честное мое слово. Меня, знаешь, въ жаръ бросило. Нашъ убѣжалъ къ себѣ, а я стою въ коридорѣ и, какъ дуракъ, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смердъ—и вдругъ позволяетъ себѣ такія слова и поступки! Это, значитъ, думаю, генералъ хотѣлъ ее раз-

считать, а она воспользовалась тѣмъ, что нѣтъ свидѣтелей, и отчеканила его на всѣ корки. Все одно, молъ, уходить! Взорвало меня... Пошелъ я къ ней въ комнату и говорю: «Какъ ты смѣла, негодница, говорить такія слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что какъ онъ слабый старикъ, такъ за него некому вступиться?» — Взялъ, знаешь, да и смазалъ ее по жирнымъ щекамъ, разика два. Какъ подняла, братецъ ты мой, визгъ, какъ заорала, такъ будь ты трижды не ладна, унеси ты мое горе! Заткнулъ я уши и пошелъ въ лѣсъ. Этакъ часика черезъ два бѣжитъ навстрѣчу мальчишка.—«Пожалуйте къ барину». Иду. Вхожу. Сидитъ насупившись, какъ индюкъ, и не глядитъ.

— «Вы что же, говоритъ, это у меня въ домѣ выстраиваете?»—То-есть, какъ?—говорю. Ежели, говорю, это вы насчетъ Никитишны, ваше — ство, то я за васъ же вступился.—«Не ваше дѣло, говоритъ, вмѣшиваться въ чужія семейныя дѣла!» — Понимаешь? Семейныя! И какъ началъ, братъ, онъ меня отчитывать, какъ началъ печь— чуть я не померъ! Говорилъ-говорилъ, ворчалъ-ворчалъ, да вдругъ, братъ, какъ захохочетъ ни съ того, ни съ сего.— «И какъ, говоритъ, это вы смогли?!.. Какъ это у васъ хватило храбрости? Удивительно! Но надѣюсь, другъ мой, что все это останется между нами... Ваша горячность мнѣ понятна, но согласитесь, что дальнѣйшее пребываніе ваше въ моемъ домѣ невозможно...» — Вотъ братъ! Ему даже удивительно, какъ это я смогъ такую важную паву побить. Ослѣпила баба! Тайный совѣтникъ, Бѣлаго Орла имѣетъ, начальства надъ собой не знаетъ, а бабѣ поддался... Ба-альшія, братъ, привилегіи у женскаго пола! Но... снимай шапку! Несутъ генерала... Орденовъ-то сколько, батюшки свѣты! Ну, что, ей-Богу, пустили дамъ впередъ, развѣ онѣ понимаютъ что-нибудь въ орденахъ?

Заиграла музыка.

# АЛЬБОМЪ.

Титулярный совѣтникъ Кратеровъ, худой и тонкій, какъ адмиралтейскій шпиль, выступилъ впередъ и, обратясь къ Жмыхову, сказалъ:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашимъ долголѣтнимъ начальничествомъ и отеческими попеченіями...

— Болѣе чѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ,— подсказалъ Закусинъ.

— Болѣе чѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ, мы, ваши подчиненные, въ сегодняшній знаменательный для насъ... тово... день, подносимъ вашему превосходительству, въ знакъ нашего уваженія и глубокой благодарности, этотъ альбомъ съ нашими портретами и желаемъ въ продолженіе вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли насъ...

— Своими отеческими наставленіями на пути правды и прогресса...—добавилъ Закусинъ, вытеревъ со лба мгновенно выступившій потъ; ему, очевидно, очень хотѣлось говорить и, по всей вѣроятности, у него была готова рѣчь.—И да развѣвается,—кончилъ онъ:—вашъ стягъ еще долго-долго на поприщѣ генія, труда и общественнаго самосознанія!

По лѣвой морщинистой щекѣ Жмыхова поползла слеза.

— Господа!—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Я не ожидалъ, никакъ не думалъ, что вы будете праздновать мой скромный юбилей... Я тронутъ... даже... весьма... Этой

минуты я не забуду до самой могилы, и вѣрьте... вѣрьте, друзья, что никто не желаетъ вамъ такъ добра, какъ я... А ежели что и было, то для вашей же пользы...

Жмыховъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, поцѣловался съ титулярнымъ совѣтникомъ Кратеровымъ, который не ожидалъ такой чести и поблѣднѣлъ отъ восторга. Затѣмъ начальникъ сдѣлалъ рукой жестъ, означавшій, что онъ отъ волненія не можетъ говорить, и заплакалъ, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборотъ, отнимали... Потомъ, немного успокоившись и сказавъ еще нѣсколько прочувствованныхъ словъ и давъ всѣмъ пожать свою руку, онъ, при громкихъ радостныхъ кликахъ, спустился внизъ, сѣлъ въ карету и, провожаемый благословеніями, уѣхалъ. Сидя въ каретѣ, онъ почувствовалъ въ груди наплывъ неизвѣданныхъ доселѣ радостныхъ чувствъ и еще разъ заплакалъ.

Дома ожидали его новыя радости. Тамъ его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацію, что ему показалось, что онъ въ самомъ дѣлѣ принесъ отечеству очень много пользы и что, не будь его на свѣтѣ, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обѣдъ весь состоялъ изъ тостовъ, рѣчей, объятій и слезъ. Однимъ словомъ, Жмыховъ никакъ не ожидалъ, что его заслуги будутъ приняты такъ близко къ сердцу.

— Господа!—сказалъ онъ передъ десертомъ.—Два часа тому назадъ я былъ удовлетворенъ за всѣ тѣ страданія, которыя приходится переживать человѣку, который служитъ, такъ сказать, не формѣ, не буквѣ, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для насъ, а мы для публики. И сегодня я получилъ высшую награду! Мои подчиненные поднесли мнѣ альбомъ... Вотъ! Я тронутъ.

Праздничныя физіономіи нагнулись къ альбому и стали его разсматривать.

— А альбомъ хорошенькій! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, онъ рублей пятьдесятъ стоитъ. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мнѣ этотъ альбомъ. Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенькій.

Послѣ обѣда Олечка унесла альбомъ къ себѣ въ комнату и заперла его въ столъ. На другой день она вынула изъ него чиновниковъ и побросала ихъ на полъ, и вмѣсто нихъ вставила своихъ институтскихъ подругъ. Форменные вицъ-

мундиры уступили свое мѣсто бѣлымъ пелеринкамъ. Коля, сынокъ его превосходительства, подобралъ чиновниковъ и раскрасилъ ихъ одежды красной краской. Безусымъ нарисовалъ онъ зеленые усы, а безбородымъ—коричневыя бороды. Когда нечего уже было красить, онъ вырѣзалъ изъ картóчекъ человѣчковъ, прокололъ имъ булавкой глаза и сталъ играть въ солдатики. Вырѣзавъ титулярнаго совѣтника Кратерова, онъ укрѣпилъ его на коробкѣ изъ-подъ спичекъ и въ такомъ видѣ понесъ его въ кабинетъ къ отцу.

— Папа, монументъ! Погляди!

Жмыховъ захохоталъ, покачнулся и, умилившись, поцѣловалъ взасосъ Колину щечку.

— Ну, иди, шалунъ, покажи мамѣ. Пусть и мама посмотритъ.

# СЛУЧАЙ СЪ КЛАССИКОМЪ.

Собираясь идти на экзаменъ греческаго языка, Ваня Оттепелевъ перецѣловалъ всѣ иконы. Въ животѣ у него перекатывало, подъ сердцемъ вѣяло холодомъ, само сердце стучало и замирало отъ страха передъ неизвѣстностью. Что-то ему будетъ сегодня? Тройка, или двойка? Разъ шесть подходилъ онъ къ мамашѣ подъ благословеніе, а уходя, просилъ тетю помолиться за него. Идя въ гимназію, онъ подалъ нищему двѣ копейки, въ разсчетѣ, что эти двѣ копейки окупятъ его незнанія и что ему, Богъ дастъ, не попадутся числительныя съ этими «тессараконта» и «октокайдека».

Воротился онъ изъ гимназіи поздно, въ пятомъ часу. Пришелъ и безшумно легъ. Тощее лицо его было блѣдно. Около покраснѣвшихъ глазъ темнѣли круги.

— Ну, что? Какъ? Сколько получилъ?—спросила мамаша, подойдя къ кровати.

Ваня замигалъ глазами, скривилъ въ сторону ротъ и заплакалъ. Мамаша поблѣднѣла, разинула ротъ и всплеснула руками. Штанишки, которыя она починяла, выпали у нея изъ рукъ.

— Чего же ты плачешь? Не выдержалъ, стало-быть?—спросила она.

— По... порѣзался... Двойку получилъ...

— Такъ и знала! И предчувствіе мое такое было!—заговорила мамаша.—Охъ, Господи! Какъ же ты это не выдержалъ? Отчего? по какому предмету?

— По греческому... Я, мамочка... Спросили меня, какъ будетъ будущее отъ «феро», а я... я вмѣсто того, чтобъ сказать «ойсомай», сказалъ «опсомай». Потомъ... потомъ...

облеченное удареніе не ставится, если послѣдній слогъ долгій, а я... я оробѣлъ... забылъ, что альфа тутъ долгая... взялъ да и поставилъ облеченное. Потомъ Артаксерксовъ велѣлъ перечислить энклитическія частицы... Я перечислялъ и нечаянно мѣстоименіе впуталъ... Ошибся... Онъ и поставилъ двойку... Несчастный... я человѣкъ... Всю ночь занимался... Всю эту недѣлю въ четыре часа вставалъ...

— Нѣтъ, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты изъ меня сдѣлалъ, иродъ, мучитель, злое мое произволеніе! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое отъ тебя вниманіе? Какъ ты учишься?

— Я... я занимаюсь. Всю ночь... Сами видѣли...

— Молила Бога, чтобъ смерть мнѣ послалъ, не посылаетъ, грѣшницѣ... Мучитель ты мой! У другихъ дѣти, какъ дѣти, а у меня одинъ-единственный—и никакой точки отъ него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да гдѣ же мнѣ силъ взять? Гдѣ же, Божья Матерь, силъ взять?

Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертѣлся отъ тоски и прижалъ свой лобъ къ стѣнѣ. Вошла тетя.

— Ну, вотъ... Предчувствіе мое...—заговорила она, сразу догадавшись, въ чемъ дѣло, блѣднѣя и всплескивая руками. — Все утро тоска... Ну-у, думаю, быть бѣдѣ... Оно вотъ такъ и вышло...

— Разбойникъ мой, мучитель!—проговорила мамаша.

— Чего же ты его ругаешь?—набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочекъ кофейнаго цвѣта.—Нешто онъ виноватъ? Ты виноватая! Ты! Ну, съ какой стати ты его въ эту гимназію отдала? Что ты за дворянка такая? Въ дворяне лѣзете? А-а-а-а... Какъ же, безпремѣнно, такъ вотъ васъ и сдѣлаютъ дворянами! А было бы вотъ, какъ я говорила, по торговой бы части... въ контору-то, какъ мой Кузя... Кузя-то, вотъ, пятьсотъ въ годъ получаетъ. Пятьсотъ—шутка ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтобъ ей пусто было. Худенькій, кашляетъ... погляди: тринадцать лѣтъ ему, а видъ у него, точно у десятилѣтняго.

— Нѣтъ, Настенька, нѣтъ, милая! Мало я его б' мучителя моего! Бить бы нужно, вотъ что! У-у-у... іез

магометъ, мучитель мой!—замахнулась она на сына.—Пороть бы тебя, да силы у меня нѣтъ. Говорили мнѣ прежде, когда онъ еще малъ былъ: «Бей, бей»... Не послушала, грѣшница. Вотъ и мучаюсь теперь. Постой же! Я тебя выдеру! Постой...

Мамаша погрозила мокрымъ кулакомъ и, плача, пошла въ комнату жильца. Ея жилецъ, Евтихій Кузьмичъ Купоросовъ, сидѣлъ у себя за столомъ и читалъ «Самоучитель танцевъ». Евтихій Кузьмичъ — человѣкъ умный и образованный. Онъ говоритъ въ носъ, умывается съ мыломъ, отъ котораго пахнетъ чѣмъ-то такимъ, отчего чихаютъ всѣ въ домѣ, кушаетъ онъ въ постные дни скоромное и ищетъ образованную невѣсту, а потому считается самымъ умнымъ жильцомъ. Поетъ онъ теноромъ.

— Батюшка!—обратилась къ нему мамаша, заливаясь слезами.— Будьте столь благородны, посѣките моего... Сдѣлайте милость! Не выдержалъ, горе мое! Вѣрите ли, не выдержалъ! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья... Посѣките его замѣсто меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихій Кузьмичъ! Уважьте больную женщину!

Купоросовъ нахмурился и выпустилъ сквозь ноздри глубочайшій вздохъ. Онъ подумалъ, постучалъ пальцами по столу и, еще разъ вздохнувъ, пошелъ къ Ванѣ.

Васъ, такъ сказать, учатъ! — началъ онъ. — Образовываютъ, ходъ даютъ, возмутительный молодой человѣкъ! Вы почему?

Онъ долго говорилъ, сказалъ цѣлую рѣчь. Упомянулъ о наукѣ, о свѣтѣ и тьмѣ.

Н-да-съ, молодой человѣкъ!

Кончивъ рѣчь, онъ снялъ съ себя ремень и потянулъ Ваню за руку.

Съ вами иначе нельзя!—сказалъ онъ.

Ваня покорно нагнулся и сунулъ свою голову въ его колѣни. Розовыя, торчащія уши его задвигались по новымъ триковымъ брюкамъ съ коричневыми лампасами...

Ваня не издалъ ни одного звука. Вечеромъ, на семейномъ совѣтѣ, рѣшено было отдать его по торговой части.

# СТРАШНАЯ НОЧЬ.

Иванъ Петровичъ Панихидинъ поблѣднѣлъ, притушилъ лампу и началъ взволнованнымъ голосомъ:

— Темная, безпросвѣтная мгла висѣла надъ землей, когда я, въ ночь подъ Рождество 1883 года, возвращался къ себѣ домой отъ нынѣ умершаго друга, у котораго всѣ мы тогда засидѣлись на спиритическомъ сеансѣ. Переулки, по которымъ я проходилъ, почему-то не были освѣщены, и мнѣ приходилось пробираться почти ощупью. Жилъ я въ Москвѣ, у Успенія-на-Могильцахъ, въ домѣ чиновника Трупова, стало-быть, въ одной изъ самыхъ глухихъ мѣстностей Арбата. Мысли мои, когда я шелъ, были тяжелы, гнетущи...

«Жизнь твоя близится къ закату... Кайся...»

Такова была фраза, сказанная мнѣ на сеансѣ Спинозой, духъ котораго намъ удалось вызвать. Я просилъ повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не вѣрю въ спиритизмъ, но мысль о смерти, даже намекъ на нее, повергаютъ меня въ унынiе. Смерть, господа, неизбѣжна, она обыденна, но, тѣмъ не менѣе, мысль о ней противна природѣ человѣка... Теперь же, когда меня окутывалъ непроницаемый, холодный мракъ и передъ глазами неистово кружились дождевыя капли, а надъ головою жалобно стоналъ вѣтеръ, когда я вокругъ себя не видѣлъ ни одной живой души, не слышалъ человѣческаго звука, душу мою наполнялъ неопредѣленный и неизъяснимый страхъ. Я, человѣкъ свободный

отъ предразсудковъ. торопился. боясь оглянуться. поглядѣть въ стороны. Мнѣ казалось. что если я оглянусь. то непремѣнно увижу смерть въ видѣ привидѣнія.

Панихидинъ порывисто вздохнулъ. вышилъ воды и продолжалъ:

— Этотъ неопредѣленный. но понятный вамъ страхъ не оставилъ меня и тогда. когда я. взобравшись на четвертый этажъ дома Трупова. отперъ дверь и вошелъ въ свою комнату. Въ моемъ скромномъ жилищѣ было темно. Въ печи плакалъ вѣтеръ и. словно просясь въ тепло. постукивалъ въ дверцу отдушника.

«Если вѣрить Спинозѣ. — улыбнулся я:—то подъ этотъ плачъ сегодня ночью мнѣ придется умереть. Жутко. однако!»

Я зажегъ спичку... Неистовый порывъ вѣтра пробѣжалъ по кровлѣ дома. Тихій плачъ обратился въ злобный ревъ. Гдѣ-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня. а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо въ такую ночь безпріютнымъ»,—подумалъ я.

Но не время было предаваться подобнымъ размышленіямъ. Когда на моей спичкѣ синимъ огонькомъ разгорѣлась сѣра и я окинулъ глазами свою комнату, мнѣ представилось зрѣлище неожиданное и ужасное... Какъ жаль. что порывъ вѣтра не достигъ моей спички! Тогда, быть-можетъ. я ничего не увидѣлъ бы, и волосы мои не стали бы дыбомъ. Я вскрикнулъ, сдѣлалъ шагъ къ двери и, полный ужаса, отчаянія, изумленія, закрылъ глаза...

Посреди комнаты стоялъ гробъ.

Синій огонекъ горѣлъ недолго, но я успѣлъ различить контуры гроба.. Я видѣлъ розовый, мерцающій искорками, глазетъ, видѣлъ золотой, галунный крестъ на крышкѣ. Есть вещи, господа, которыя запечатлѣваются въ вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видѣли ихъ одно только мгновеніе. Такъ и этотъ гробъ. Я видѣлъ его одну только секунду, но помню во всѣхъ малѣйшихъ чертахъ. Это былъ гробъ для человѣка средняго роста и, судя по розовому цвѣту, для молодой дѣвушки. Дорогой глазетъ, ножки, бронзовыя ручки -все говорило за то, что покойникъ былъ богатъ.

Опрометью выбѣжалъ я изъ своей комнаты и, не разсуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страхъ, понесся внизъ по лѣстницѣ. Въ коридорѣ и на лѣстницѣ

было темно, ноги мои путались въ полахъ шубы, и какъ я не слетѣлъ и не сломалъ себѣ шеи, —это удивительно. Очутившись на улицѣ, я прислонился къ мокрому фонарному столбу и началъ себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыханіе сперло...

Одна изъ слушательницъ прибавила огня въ лампѣ, придвинулась ближе къ разсказчику, и послѣдній продолжалъ:

— Я не удивился бы, если бы засталъ въ своей комнатѣ пожаръ, вора, бѣшеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолокъ, провалился полъ, попадали стѣны... Все это естественно и понятно. Но какъ могъ попасть въ мою комнату гробъ? Откуда онъ взялся? Дорогой, женскій, сдѣланный, очевидно, для молодой аристократки,—какъ могъ онъ попасть въ убогую комнату мелкаго чиновника? Пустъ онъ, или внутри его—трупъ? Кто же *она*, эта безвременно покончившая съ жизнью богачка, нанесшая мнѣ такой странный и страшный визитъ? Мучительная тайна!

«Если здѣсь не чудо, то преступленіе»,—блеснуло въ моей головѣ.

Я терялся въ догадкахъ. Дверь во время моего отсутствія была заперта, и мѣсто, гдѣ находился ключъ, было извѣстно только моимъ очень близкимъ друзьямъ. Не друзья же поставили мнѣ гробъ. Можно было также предположить, что гробъ былъ принесенъ ко мнѣ гробовщиками по ошибкѣ. Они могли обознаться, ошибиться этажомъ или дверью и внести гробъ не туда, куда слѣдуетъ. Но кому не извѣстно, что наши гробовщики не выйдутъ изъ комнаты, прежде чѣмъ не получатъ за работу, или, по крайней мѣрѣ, на чай?

«Духи предсказали мнѣ смерть,—думалъ я.—Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробомъ?»

Я, господа, не вѣрю и не вѣрилъ въ спиритизмъ, но такое совпаденіе можетъ повергнуть въ мистическое настроеніе даже философа.

«Но все это глупо и я трусливъ, какъ школьникъ, — рѣшилъ я.—То былъ оптическій обманъ—и больше ничего! Идя домой, я былъ такъ мрачно настроенъ, что не мудрено, если мои больные нервы увидѣли гробъ... Конечно, оптическій обманъ! Что же другое?»

Дождь хлесталъ меня по лицу, а вѣтеръ сердито трепалъ мои полы, шапку... Я озябъ и страшно промокъ. Нужно было идти, но... куда? Воротиться къ себѣ—значило бы под-

вергнуть себя риску увидѣть гробъ еще разъ, а это зрѣлище было выше моихъ силъ. Я, не видѣвшій вокругъ себя ни одной живой души, не слышавшій ни одного человѣческаго звука, оставшись одинъ, наединѣ съ гробомъ, въ которомъ, быть-можетъ, лежало мертвое тѣло, могъ бы лишиться разсудка. Оставаться же на улицѣ подъ проливнымъ дождемъ и въ холодѣ было невозможно.

Я порѣшилъ отправиться ночевать къ другу моему Упокоеву, впослѣдствіи, какъ вамъ извѣстно, застрѣлившемуся. Жилъ онъ въ меблированныхъ комнатахъ купца Черепова, что въ Мертвомъ переулкѣ.

Панихидинъ вытеръ холодный потъ, выступившій на его блѣдномъ лицѣ, и, тяжело вздохнувъ, продолжалъ:

— Дома я своего друга не засталъ. Постучавшись къ нему въ дверь и убѣдившись, что его нѣтъ дома, я нащупалъ на перекладинѣ ключъ, отперъ дверь и вошелъ. Я сбросилъ съ себя на полъ мокрую шубу и, нащупавъ въ темнотѣ диванъ, сѣлъ отдохнуть. Было темно... Въ оконной вентиляціи тоскливо жужжалъ вѣтеръ. Въ печи монотонно насвистывалъ свою однообразную пѣсню сверчокъ. Въ Кремлѣ ударили къ рождественской заутрени. Я поспѣшилъ зажечь спичку. Но свѣтъ не избавилъ меня отъ мрачнаго настроенія, а напротивъ. Страшный, невыразимый ужасъ овладѣлъ мною вновь... Я вскрикнулъ, попятнулся и, не чувствуя себя, выбѣжалъ изъ номера...

Въ комнатѣ товарища я увидѣлъ то же, что и у себя,— гробъ!

Гробъ товарища былъ почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колоритъ. Какъ онъ попалъ сюда? Что это былъ оптическій обманъ—сомнѣваться уже было невозможно... Не могъ же въ каждой комнатѣ быть гробъ! Очевидно, то была болѣзнь моихъ нервовъ, была галлюцинація. Куда бы я ни пошелъ теперь, я всюду увидѣлъ бы передъ собой страшное жилище смерти. Стало-быть, я сходилъ съ ума, заболѣвалъ чѣмъ-то въ родѣ «гробоманіи», и причину умопомѣшательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритическій сеансъ и слова Спинозы...

«Я схожу съ ума!—подумалъ я въ ужасѣ, хватая себя за голову.—Боже мой! Что же дѣлать?»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лилъ,

какъ изъ ведра, вѣтеръ пронизывалъ насквозь, а на мнѣ не было ни шубы, ни шапки. Воротиться за ними въ номеръ было невозможно, выше силъ моихъ... Страхъ крѣпко сжималъ меня въ своихъ холодныхъ объятіяхъ. Волосы мои встали дыбомъ, съ лица струился холодный потъ, хотя я и вѣрилъ, что то была галлюцинація.

— Что было дѣлать?—продолжалъ Панихидинъ.—Я сходилъ съ ума и рисковалъ страшно простудиться. Къ счастью, я вспомнилъ, что недалеко отъ Мертваго переулка живетъ мой хорошій пріятель, недавно только кончившій врачъ Погостовъ, бывшій со мной въ ту ночь на спиритическомъ сеансѣ. Я поспѣшилъ къ нему... Тогда онъ еще не былъ женатъ на богатой купчихѣ и жилъ на пятомъ этажѣ дома статскаго совѣтника Кладбищенскаго.

У Погостова моимъ нервамъ суждено было претерпѣть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этажъ, я услышалъ страшный шумъ. Наверху кто-то бѣжалъ, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

— Ко мнѣ! — услышалъ я раздирающій душу крикъ. — Ко мнѣ! Дворникъ!

И черезъ мгновеніе навстрѣчу мнѣ сверху внизъ по лѣстницѣ неслась темная фигура въ шубѣ и помятомъ цилиндрѣ...

— Погостовъ!—воскликнулъ я, узнавъ друга моего Погостова.—Это вы? Что съ вами?

Поровнявшись со мной, Погостовъ остановился и судорожно схватилъ меня за руку. Онъ былъ блѣденъ, тяжело дышалъ, дрожалъ. Глаза его безпорядочно блуждали, грудь вздымалась...

— Это вы, Панихидинъ?—спросилъ онъ глухимъ голосомъ.—Но вы ли это? Вы блѣдны, словно выходецъ изъ могилы... Да полно, не галлюцинація ли вы?... Боже мой... вы страшны...

— Но что съ вами? На васъ лица нѣтъ!

— Охъ, дайте, голубчикъ, перевести духъ... Я радъ, что васъ увидѣлъ, если это дѣйствительно вы, а не оптическій обманъ. Проклятый спиритическій сеансъ... Онъ такъ разстроилъ мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчасъ домой, увидѣлъ у себя въ комнатѣ... гробъ!

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ и попросилъ повторить.

— Гробъ, настоящій гробъ! — сказалъ докторъ, садясь

отъ предразсудковъ, торопился, боясь оглянуться, поглядѣть въ стороны. Мнѣ казалось, что если я оглянусь, то непремѣнно увижу смерть въ видѣ привидѣнія.

Панихидинъ порывисто вздохнулъ, выпилъ воды и продолжалъ:

— Этотъ неопредѣленный, но понятный вамъ страхъ не оставилъ меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этажъ дома Трупова, отперъ дверь и вошелъ въ свою комнату. Въ моемъ скромномъ жилищѣ было темно. Въ печи плакалъ вѣтеръ и, словно просясь въ тепло, постукивалъ въ дверцу отдушника.

«Если вѣрить Спинозѣ, — улыбнулся я:—то подъ этотъ плачъ сегодня ночью мнѣ придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажегъ спичку... Неистовый порывъ вѣтра пробѣжалъ по кровлѣ дома. Тихій плачъ обратился въ злобный ревъ. Гдѣ-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо въ такую ночь безпріютнымъ»,—подумалъ я.

Но не время было предаваться подобнымъ размышленіямъ. Когда на моей спичкѣ синимъ огонькомъ разгорѣлась сѣра и я окинулъ глазами свою комнату, мнѣ представилось зрѣлище неожиданное и ужасное... Какъ жаль, что порывъ вѣтра не достигъ моей спички! Тогда, быть-можетъ, я ничего не увидѣлъ бы, и волосы мои не стали бы дыбомъ. Я вскрикнулъ, сдѣлалъ шагъ къ двери и, полный ужаса, отчаянія, изумленія, закрылъ глаза...

Посреди комнаты стоялъ гробъ.

Синій огонекъ горѣлъ недолго, но я успѣлъ различить контуры гроба.. Я видѣлъ розовый, мерцающій искорками, глазетъ, видѣлъ золотой, галунный крестъ на крышкѣ. Есть вещи, господа, которыя запечатлѣваются въ вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видѣли ихъ одно только мгновеніе. Такъ и этотъ гробъ. Я видѣлъ его одну только секунду, но помню во всѣхъ малѣйшихъ чертахъ. Это былъ гробъ для человѣка средняго роста и, судя по розовому цвѣту, для молодой дѣвушки. Дорогой глазетъ, ножки, бронзовыя ручки — все говорило за то, что покойникъ былъ богатъ.

Опрометью выбѣжалъ я изъ своей комнаты и, не разсуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страхъ, понесся внизъ по лѣстницѣ. Въ коридорѣ и на лѣстницѣ

было темно, ноги мои путались въ полахъ шубы, и какъ я не слетѣлъ и не сломалъ себѣ шеи,—это удивительно. Очутившись на улицѣ, я прислонился къ мокрому фонарному столбу и началъ себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыханіе сперло...

Одна изъ слушательницъ приспустила огня въ лампѣ, придвинулась ближе къ разсказчику, и послѣдній продолжалъ:

— Я не удивился бы, если бы засталъ въ своей комнатѣ пожаръ, вора, бѣшеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолокъ, провалился полъ, попадали стѣны... Все это естественно и понятно. Но какъ могъ попасть въ мою комнату гробъ? Откуда онъ взялся? Дорогой, женскій, сдѣланный, очевидно, для молодой аристократки,—какъ могъ онъ попасть въ убогую комнату мелкаго чиновника? Пустъ онъ, или внутри его—трупъ? Кто же *она*, эта безвременно покончившая съ жизнью богачка, нанесшая мнѣ такой странный и страшный визитъ? Мучительная тайна!

«Если здѣсь не чудо, то преступленіе»,—блеснуло въ моей головѣ.

Я терялся въ догадкахъ. Дверь во время моего отсутствія была заперта, и мѣсто, гдѣ находился ключъ, было извѣстно только моимъ очень близкимъ друзьямъ. Не друзья же поставили мнѣ гробъ. Можно было также предположить, что гробъ былъ принесенъ ко мнѣ гробовщиками по ошибкѣ. Они могли обознаться, ошибиться этажомъ или дверью и внести гробъ не туда, куда слѣдуетъ. Но кому не извѣстно, что наши гробовщики не выйдутъ изъ комнаты, прежде чѣмъ не получатъ за работу, или, по крайней мѣрѣ, на чай?

«Духи предсказали мнѣ смерть,—думалъ я.—Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробомъ?»

Я, господа, не вѣрю и не вѣрилъ въ спиритизмъ, но такое совпаденіе можетъ повергнуть въ мистическое настроеніе даже философа.

«Но все это глупо и я трусливъ, какъ школьникъ,—рѣшилъ я.—То былъ оптическій обманъ—и больше ничего! Идя домой, я былъ такъ мрачно настроенъ, что не мудрено, если мои больные нервы увидѣли гробъ... Конечно, оптическій обманъ! Что же другое?»

Дождь хлесталъ меня по лицу, а вѣтеръ сердито трепалъ мои полы, шапку... Я озябъ и страшно промокъ. Нужно было идти, но... куда? Воротиться къ себѣ—значило бы под-

вергнуть себя риску увидѣть гробъ еще разъ, а это зрѣлище было выше моихъ силъ. Я, не видѣвшій вокругъ себя ни одной живой души, не слышавшій ни одного человѣческаго звука, оставшись одинъ, наединѣ съ гробомъ, въ которомъ, быть-можетъ, лежало мертвое тѣло, могъ бы лишиться разсудка. Оставаться же на улицѣ подъ проливнымъ дождемъ и въ холодѣ было невозможно.

Я порѣшилъ отправиться ночевать къ другу моему Упокоеву, впослѣдствіи, какъ вамъ извѣстно, застрѣлившемуся. Жилъ онъ въ меблированныхъ комнатахъ купца Черепова, что въ Мертвомъ переулкѣ.

Панихидинъ вытеръ холодный потъ, выступившій на его блѣдномъ лицѣ, и, тяжело вздохнувъ, продолжалъ:

— Дома я своего друга не засталъ. Постучавшись къ нему въ дверь и убѣдившись, что его нѣтъ дома, я нащупалъ на перекладинѣ ключъ, отперъ дверь и вошелъ. Я сбросилъ съ себя на полъ мокрую шубу и, нащупавъ въ темнотѣ диванъ, сѣлъ отдохнуть. Было темно... Въ оконной вентиляціи тоскливо жужжалъ вѣтеръ. Въ печи монотонно насвистывалъ свою однообразную пѣсню сверчокъ. Въ Кремлѣ ударили къ рождественской заутрени. Я поспѣшилъ зажечь спичку. Но свѣтъ не избавилъ меня отъ мрачнаго настроенія, а напротивъ. Страшный, невыразимый ужасъ овладѣлъ мною вновь... Я вскрикнулъ, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбѣжалъ изъ номера...

Въ комнатѣ товарища я увидѣлъ то же, что и у себя,—гробъ!

Гробъ товарища былъ почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колоритъ. Какъ онъ попалъ сюда? Что это былъ оптическій обманъ—сомнѣваться уже было невозможно... Не могъ же въ каждой комнатѣ быть гробъ! Очевидно, то была болѣзнь моихъ нервовъ, была галлюцинація. Куда бы я ни пошелъ теперь, я всюду увидѣлъ бы передъ собой страшное жилище смерти. Стало-быть, я сходилъ съ ума, заболѣвалъ чѣмъ-то въ родѣ «гробоманіи», и причину умопомѣшательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритическій сеансъ и слова Спинозы...

«Я схожу съ ума!—подумалъ я въ ужасѣ, хватая себя за голову.—Боже мой! Что же дѣлать?»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лилъ,

какъ изъ ведра, вѣтеръ пронизывалъ насквозь, а на мнѣ не было ни шубы, ни шапки. Воротиться за ними въ номеръ было невозможно, выше силъ моихъ... Страхъ крѣпко сжималъ меня въ своихъ холодныхъ объятіяхъ. Волосы мои встали дыбомъ, съ лица струился холодный потъ, хотя я и вѣрилъ, что то была галлюцинація.

— Что было дѣлать?—продолжалъ Панихидинъ.—Я сходилъ съ ума и рисковалъ страшно простудиться. Къ счастью, я вспомнилъ, что недалеко отъ Мертваго переулка живетъ мой хорошій пріятель, недавно только кончившій врачъ Погостовъ, бывшій со мной въ ту ночь на спиритическомъ сеансѣ. Я поспѣшилъ къ нему... Тогда онъ еще не былъ женатъ на богатой купчихѣ и жилъ на пятомъ этажѣ дома статскаго совѣтника Кладбищенскаго.

У Погостова моимъ нервамъ суждено было претерпѣть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этажъ, я услышалъ страшный шумъ. Наверху кто-то бѣжалъ, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

— Ко мнѣ! — услышалъ я раздирающій душу крикъ. — Ко мнѣ! Дворникъ!

И черезъ мгновеніе навстрѣчу мнѣ сверху внизъ по лѣстницѣ неслась темная фигура въ шубѣ и помятомъ цилиндрѣ...

— Погостовъ!—воскликнулъ я, узнавъ друга моего Погостова.—Это вы? Что съ вами?

Поровнявшись со мной, Погостовъ остановился и судорожно схватилъ меня за руку. Онъ былъ блѣденъ, тяжело дышалъ, дрожалъ. Глаза его безпорядочно блуждали, грудь вздымалась...

— Это вы, Панихидинъ?—спросилъ онъ глухимъ голосомъ.—Но вы ли это? Вы блѣдны, словно выходецъ изъ могилы... Да полно, не галлюцинація ли вы?... Боже мой... вы страшны...

— Но что съ вами? На васъ лица нѣтъ!

— Охъ, дайте, голубчикъ, перевести духъ... Я радъ, что васъ увидѣлъ, если это дѣйствительно вы, а не оптическій обманъ. Проклятый спиритическій сеансъ... Онъ такъ разстроилъ мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчасъ домой, увидѣлъ у себя въ комнатѣ... гробъ!

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ и попросилъ повторить.

— Гробъ, настоящій гробъ! — сказалъ докторъ, садясь

въ изнеможеніи на ступень.—Я не трусъ, но вѣдь и самъ чортъ испугается, если послѣ спиритическаго сеанса натолкнется въ потемкахъ на гробъ!

Путаясь и заикаясь, я разсказалъ доктору про гробы, видѣнные мною...

Минуту глядѣли мы другъ на друга, вытуча глаза и удивленно раскрывъ рты. Потомъ же, чтобы убѣдиться, что мы не галлюцинируемъ, мы принялись щипать другъ друга.

— Намъ обоимъ больно,—сказалъ докторъ,—стало-быть, сейчасъ мы не спимъ и видимъ другъ друга не во снѣ. Стало-быть, гробы, мой и оба ваши,—не оптическій обманъ, а нѣчто существующее. Что же теперь, батенька, дѣлать?

Простоявъ битый часъ на холодной лѣстницѣ и теряясь въ догадкахъ и предположеніяхъ, мы страшно озябли и порѣшили отбросить малодушный страхъ и, разбудивъ коридорнаго, пойти съ нимъ въ комнату доктора. Такъ мы и сдѣлали. Войдя въ номеръ, зажгли свѣчу, и въ самомъ дѣлѣ увидѣли гробъ, обитый бѣлымъ глазетомъ, съ золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

— Теперь можно узнать,—сказалъ блѣдный докторъ, дрожа всѣмъ тѣломъ:— пустъ этотъ гробъ, или же... онъ обитаемъ?

Послѣ долгой, понятной нерѣшимости, докторъ нагнулся и, стиснувъ отъ страха и ожиданія зубы, сорвалъ съ гроба крышку. Мы взглянули въ гробъ и...

Гробъ былъ пустъ...

Покойника въ немъ не было, но зато мы нашли въ немъ письмо такого содержанія:

«Милый Погостовъ! Ты знаешь, что дѣла моего тестя пришли въ страшный упадокъ. Онъ залѣзъ въ долги по горло. Завтра, или послѣзавтра, явятся описывать его имущество, и это окончательно погубитъ его семью, и мою, погубитъ нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнемъ семейномъ совѣтѣ мы рѣшили припрятать все цѣнное и дорогое. Такъ какъ все имущество моего тестя заключается въ гробахъ (онъ, какъ тебѣ извѣстно, гробовыхъ дѣлъ мастеръ, лучшій въ городѣ), то мы порѣшили припрятать самые лучшіе гробы. Я обращаюсь къ тебѣ, какъ къ другу, помоги мнѣ, спаси наше состояніе и нашу честь! Въ надеждѣ, что ты поможешь намъ сохранить наше имущество, посылаю тебѣ, голубчикъ, одинъ гробъ, кото-

рый прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребованія. Безъ помощи знакомыхъ и друзей мы погибнемъ. Надѣюсь, что ты не откажешь мнѣ, тѣмъ болѣе, что гробъ простоитъ у тебя не болѣе недѣли. Всѣмъ, кого я считаю за нашихъ истинныхъ друзей. я послалъ по гробу и надѣюсь на ихъ великодушіе и благородство. Любящій тебя Иванъ Челюстинъ».

Послѣ этого я мѣсяца три лѣчился отъ разстройства нервовъ, другъ же нашъ, зять гробовщика, спасъ и честь свою, и имущество, и уже содержитъ бюро погребальныхъ процессій и торгуетъ памятниками и надгробными плитами. Дѣла его идутъ не важно, и каждый вечеръ теперь, входя къ себѣ, я все боюсь, что увижу около своей кровати бѣлый мраморный памятникъ или катафалкъ.

# ЧТЕНІЕ.

(Разсказъ стараго воробья.)

Какъ-то разъ въ кабинетѣ нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидѣлъ антрепренеръ нашего театра Галамидовъ и говорилъ съ нимъ объ игрѣ и красотѣ нашихъ актрисъ.

— Но я съ вами не согласенъ, — говорилъ Иванъ Петровичъ, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талантъ! Милая такая, граціозная... Прелестная такая...

Иванъ Петровичъ хотѣлъ дальше продолжать, но отъ восторга не могъ выговорить ни одного слова и улыбнулся такъ широко и слащаво, что антрепренеръ, глядя на него, почувствовалъ во рту сладость.

— Мнѣ нравится въ ней... э-э-э... волненіе и трепетъ молодой груди, когда она читаетъ монологи... Такъ и пышетъ, такъ и пышетъ! Въ этотъ моментъ, передайте ей, я готовъ... на все!

— Ваше превосходительство, извольте подписать отвѣтъ на отношеніе херсонскаго полицейскаго правленія касательно...

Семипалатовъ поднялъ свое улыбающееся лицо и увидѣлъ передъ собой чиновника Мердяева. Мердяевъ стоялъ передъ нимъ и, выпучивъ глаза, подносилъ ему бумагу для подписи. Семипалатовъ поморщился: проза прервала поэзію на самомъ интересномъ мѣстѣ.

— Объ этомъ можно бы и послѣ,—сказалъ онъ.—Видите, вѣдь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный

народъ! Вотъ-съ, господинъ Галамидовъ... Вы говорили, что у насъ нѣтъ уже гоголевскихъ типовъ... А вотъ вамъ! Чѣмъ не типъ? Неряха, локти продраны, косой... никогда не чешется... А посмотрите, какъ онъ пишетъ! Это чортъ знаетъ что! Пишетъ безграмотно, безсмысленно... какъ сапожникъ! Вы посмотрите!

— М-да...—промычалъ Галамидовъ, посмотрѣвъ на бумагу.—Дѣйствительно... Вы, господинъ Мердяевъ, вѣроятно, мало читаете.

— Этакъ, любезнѣйшій, нельзя! — продолжалъ начальникъ...—Мнѣ за васъ стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли...

— Чтеніе много значитъ!—сказалъ Галамидовъ и вздохнулъ безъ причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, какъ рѣзко измѣнится вашъ кругозоръ. А книги вы можете достать, гдѣ угодно. У меня, напримѣръ... Я съ удовольствіемъ. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнѣйшій!—сказалъ Семипалатовъ.

Мердяевъ неловко поклонился, пошевелилъ губами и вышелъ.

На другой день пріѣхалъ къ намъ въ присутствіе Галамидовъ и привезъ съ собой связку книгъ. Съ этого момента и начинается исторія. Потомство никогда не проститъ Семипалатову его легкомысленнаго поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юношѣ, но опытному дѣйствительному статскому совѣтнику—никогда! По пріѣздѣ антрепренера, Мердяевъ былъ позванъ въ кабинетъ.

— Нате, вотъ, читайте, любезнѣйшій!—сказалъ Семипалатовъ, подавая ему книгу.—Читайте внимательно.

Мердяевъ взялъ дрожащими руками книгу и вышелъ изъ кабинета. Онъ былъ блѣденъ. Косые глазки его безпокойно бѣгали и, казалось, искали у окружающихъ предметовъ помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно разсматривать.

Книга была «Графъ Монте-Кристо».

— Противъ его воли не пойдешь!—сказалъ со вздохомъ нашъ старый бухгалтеръ Прохоръ Семенычъ Будылда.— Постарайся какъ-нибудь, понатужься... Читай себѣ помаленьку, а тамъ, Богъ дастъ, онъ забудетъ, и тогда бросить можно будетъ. Ты не пугайся... А главное — не вникай... Читай и не вникай въ эту умственность.

Мердяевъ завернулъ книгу въ бумагу и сѣлъ писать. Но не писалось ему на этотъ разъ. Руки у него дрожали и глаза косили въ разныя стороны: одинъ въ потолокъ, другой въ чернильницу. На другой день пришелъ онъ на службу заплаканный.

— Четыре раза ужъ начиналъ,— сказалъ онъ:— но ничего не разберу... Какіе-то иностранцы...

Черезъ пять дней Семипалатовъ, проходя мимо столовъ, остановился передъ Мердяевымъ и спросилъ:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читалъ, ваше превосходительство.

— О чемъ же вы читали, любезнѣйшій? А ну-ка, разскажите!

Мердяевъ поднялъ вверхъ голову и зашевелилъ губами.

— Забылъ, ваше превосходительство...—сказалъ онъ черезъ минуту.

— Значитъ, вы не читали, или... э-э-э... невнимательно читали! Авто-мма-тически! Такъ нельзя! Вы еще разъ прочтите! Вообще, господа, рекомендую! Извольте читать! Всѣ читайте! Берите тамъ у меня на окнѣ книги и читайте. Парамоновъ, подите, возьмите себѣ книгу! Подходцевъ, ступайте и вы, любезнѣйшій! Смирновъ,—и вы! Всѣ, господа! Прошу!

Всѣ пошли и взяли себѣ по книгѣ. Одинъ только Будылда осмѣлился выразить протестъ. Онъ развелъ руками, покачалъ головой и сказалъ:

— А ужъ меня извините, ваше превосходительство... Скорѣй въ отставку... Я знаю, что отъ этихъ самыхъ критикъ и сочиненій бываетъ. У меня отъ нихъ старшій внукъ родную мать въ глаза дурой зоветъ и весь постъ молоко хлещетъ. Извините-съ!

— Вы ничего не понимаете, — сказалъ Семипалатовъ, прощавшій обыкновенно старику всѣ его грубости.

Но Семипалатовъ ошибался: старикъ все понималъ. Черезъ недѣлю же мы увидѣли плоды этого чтенія. Подходцевъ, читавшій второй томъ «Вѣчнаго Жида», назвалъ Будылду «іезуитомъ»; Смирновъ сталъ являться на службу въ нетрезвомъ видѣ. Но ни на кого не подѣйствовало такъ чтеніе, какъ на Мердяева. Онъ похудѣлъ, осунулся, сталъ пить.

— Прохоръ Семенычъ! — умолялъ онъ Будылду. — За-

ставьте вѣчно Бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили... Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ѣмъ... Жена вся измучилась, вслухъ читавши, но, побей Богъ, ничего не понимаю! Сдѣлайте божескую милость!

Будылда нѣсколько разъ осмѣливался докладывать Семипалатову, но тотъ только руками махалъ и, расхаживая по правленію вмѣстѣ съ Галамидовымъ, попрекалъ всѣхъ невѣжествомъ. Прошло этакъ два мѣсяца, и кончилась вся эта исторія ужаснѣйшимъ образомъ.

Однажды Мердяевъ, придя на службу, вмѣсто того, чтобы садиться за столъ, сталъ среди присутствія на колѣни, заплакалъ и сказалъ:

— Простите меня, православные, за то, что я фальшивыя бумажки дѣлаю!

Затѣмъ онъ вошелъ въ кабинетъ и, ставъ передъ Семипалатовымъ на колѣни, сказалъ:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка въ колодецъ бросилъ!

Стукнулся лбомъ о-полъ и зарыдалъ...

— Что это значитъ?!—удивился Семипалатовъ.

— А это то значитъ, ваше превосходительство,— сказалъ Будылда со слезами на глазахъ, выступая впередъ: — что онъ ума рѣшился! У него умъ за разумъ зашелъ! Вотъ что вашъ Галамидка сочиненіями надѣлалъ! Богъ все видитъ, ваше превосходительство. А ежели вамъ мои слова не нравятся, то позвольте мнѣ въ отставку. Лучше съ голоду помереть, чѣмъ этакое на старости лѣтъ видѣть!

Семипалатовъ поблѣднѣлъ и прошелся изъ угла въ уголъ.

— Не принимать Галамидова! — сказалъ онъ глухимъ голосомъ.—А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старикъ!

И съ этой поры у насъ больше ничего не было. Мердяевъ выздоровѣлъ, но не совсѣмъ. И до сихъ поръ при видѣ книги онъ дрожитъ и отворачивается.

# ВЪ ПОТЕМКАХЪ.

Муха средней величины забралась въ носъ товарища прокурора, надворнаго совѣтника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть-можетъ, она попала туда по легкомыслію, или благодаря потемкамъ, но только носъ не вынесъ присутствія инороднаго тѣла и подалъ сигналъ къ чиханію. Гагинъ чихнулъ, чихнулъ съ чувствомъ, съ пронзительнымъ присвистомъ и такъ громко, что кровать вздрогнула и издала звукъ потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная, полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядѣла въ потемки, вздохнула и повернулась на другой бокъ. Минутъ черезъ пять она еще разъ повернулась, закрыла плотнѣе глаза, но сонъ уже не возвращался къ ней. Повздыхавъ и поворочавшись съ боку на бокъ, она приподнялась, перелѣзла черезъ мужа и надѣвъ туфли, пошла къ окну.

На дворѣ было темно. Видны были одни только силуэты деревьевъ, да темныя крыши сараевъ. Востокъ чуть-чуть побѣлѣлъ, но и эту блѣдность собирались заволокнуть тучи. Въ воздухѣ, уснувшемъ и окутанномъ во мглу, стояла тишина. Молчалъ даже дачный сторожъ, получающій деньги за нарушеніе стукомъ ночной тишины, молчалъ и коростель, единственный дикій пернатый, не чуждающійся сообщества со столичными дачниками.

Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во дворъ, она вдругъ вскрикнула. Ей показалось, что отъ цвѣтника съ тощимъ, стриженнымъ тополемъ пробирается къ дому какая-то темная фигура. Сначала она

думала, что это корова или лошадь, потомъ же, протеревъ глаза, она стала ясно различать человѣческіе контуры.

За симъ ей показалось, что темная фигура подошла къ окну, выходившему изъ кухни, и, постоявъ немного, очевидно въ нерѣшимости, стала одной ногой на карнизъ и... исчезла во мракѣ окна.

«Воръ!»—мелькнуло у нея въ головѣ, и мертвенная блѣдность залила ея лицо.

И въ одинъ мигъ ея воображеніе нарисовало картину, которой такъ боятся дачницы: воръ лѣзетъ въ кухню, изъ кухни въ столовую... серебро въ шкапу... далѣе спальня... топоръ... разбойничье лицо... золотыя вещи... Колѣна ея подогнулись и по спинѣ побѣжали мурашки.

— Вася!—затеребила она мужа.—Базиль! Василій Прокофьичъ! Ахъ, Боже мой, словно мертвый! Проснись, Базиль, умоляю тебя!

— Н-ну?—промычалъ товарищъ прокурора, потянувъ въ себя воздухъ и издавая жевательные звуки.

— Проснись, ради Создателя! Къ намъ въ кухню забрался воръ! Стою я у окна, гляжу, а кто-то въ окно лѣзетъ. Изъ кухни проберется въ столовую... ложки въ шкапу! Базиль! У Мавры Егоровны въ прошломъ году также вотъ забрались.

— Ко... кого тебѣ?

— Боже, онъ не слышитъ! Да пойми же ты, истуканъ, что я сейчасъ видѣла, какъ къ намъ въ кухню полѣзъ какой-то человѣкъ! Пелагея испугается, и... и серебро въ шкапу!

— Чепуха!

— Базиль, это несносно! Я говорю тебѣ объ опасности, а ты спишь и мычишь! Что же ты хочешь? Хочешь, чтобъ насъ обокрали и перерѣзали?

Товарищъ прокурора медленно поднялся и сѣлъ на кровати, оглашая воздухъ зѣвками.

— Чортъ васъ знаетъ, что̀ вы за народъ! — пробормоталъ онъ.—Неужели даже ночью нѣтъ покоя? Будятъ изъза пустяковъ.

— Но клянусь тебѣ, Базиль, я видѣла, какъ человѣкъ полѣзъ въ окно!

— Ну, такъ что же? И пусть лѣзетъ... Это, по всей вѣроятности, къ Пелагеѣ ея пожарный пришелъ.

— Что-о-о? Что ты сказалъ?

— Я сказалъ, что это къ Пелагеѣ пожарный пришелъ.

— Тѣмъ хуже!—вскрикнула Марья Михайловна. — Это хуже вора! Я не потерплю въ своемъ домѣ цинизма!

— Экая добродѣтель, посмотришь... Не потерплю цинизма... Да нешто это цинизмъ? Къ чему безъ толку заграничными словами выпаливать? Это, матушка моя, испоконъ вѣку такъ ведется, традиціей освящено. На то онъ и пожарный, чтобъ къ кухаркамъ ходить.

— Нѣтъ, Базиль! Значитъ, ты не знаешь меня! Я не могу допустить мысли, чтобъ въ моемъ домѣ и такое... этакое... Изволь отправиться сію минуту въ кухню и приказать ему убираться! Сію же минуту! А завтра я скажу Пелагеѣ, чтобы она не смѣла позволять себѣ подобные поступки! Когда я умру, можете допускать въ своемъ домѣ циничности, а теперь вы не смѣете. Извольте идти!

— Чоррть...—проворчалъ Гагинъ съ досадой.—Ну, разсуди своимъ бабьимъ, микроскопическимъ мозгомъ, зачѣмъ я туда пойду?

— Базиль, я падаю въ обморокъ!

Гагинъ плюнулъ, надѣлъ туфли, еще разъ плюнулъ и отправился въ кухню. Было темно, какъ въ закупоренной бочкѣ, и товарищу прокурора пришлось пробираться ощупью. По дорогѣ онъ нащупалъ дверь въ дѣтскую и разбудилъ няньку.

— Василиса, — сказалъ онъ: — ты брала вечеромъ мой халатъ чистить. Гдѣ онъ?

— Я его, баринъ, Пелагеѣ отдала чистить.

— Что за безпорядки? Брать берете, а на мѣсто не кладете... Изволь теперь путешествовать безъ халата!

Войдя въ кухню, онъ направился къ тому мѣсту, гдѣ на сундукѣ, подъ полкой съ кастрюлями, спала кухарка.

— Пелагея!—началъ онъ, нащупывая плечо и толкая.— Ты! Пелагея! Ну, что представляешься? Не спишь вѣдь! Кто это сейчасъ лѣзъ къ тебѣ въ окно?

— Гм!.. здрасте! Въ окно лѣзъ! Кому это лѣзть?

— Да ты того... нечего тѣнь наводить! Скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы онъ по добру, по здорову убирался вонъ. Слышишь? Нечего ему тутъ дѣлать!

— Да вы въ умѣ, баринъ? Здрасте... Дуру какую нашли... День-деньской мучаешься, бѣгаючи, покоя не знаешь, а

ночью съ такими словами. За четыре рубля въ мѣсяцъ живешь... при своемъ чаѣ и сахарѣ, а кромѣ этихъ словъ другой чести ни отъ кого не видишь... Я у купцовъ жила, да такого срама не видывала.

— Ну, ну... нечего Лазаря пѣть! Сію же минуту чтобы твоего солдафона здѣсь не было! Слышишь?

— Грѣхъ вамъ, баринъ!—сказала Пелагея, и въ голосѣ ея послышались слезы.—Господа образованные... благородные, а нѣтъ того понятія, что, можетъ, при горѣ-то нашемъ... при нашей несчастной жизни...—Она заплакала.—Обидѣть насъ можно. Заступиться некому.

— Ну, ну... мнѣ вѣдь все равно! Меня барыня сюда послала. По мнѣ, хоть домового впусти въ окно, такъ мнѣ все равно.

Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что онъ не правъ, дѣлая этотъ допросъ, и возвратиться къ супругѣ.

— Послушай, Пелагея,—сказалъ онъ:—ты брала чистить мой халатъ. Гдѣ онъ?

— Ахъ, баринъ, извините, забыла вамъ положить его на стулъ. Онъ виситъ около печки на гвоздикѣ...

Гагинъ нащупалъ около печки халатъ, надѣлъ его и тихо поплелся въ спальню.

Марья Михайловна по уходѣ мужа легла въ постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затѣмъ ее начало помучивать безпокойство.

«Какъ долго онъ ходитъ, однако!—думала она.—Хорошо, если тамъ тотъ... циникъ, ну, а если воръ?»

И воображеніе ея опять нарисовало картину: мужъ входитъ въ темную кухню... ударъ обухомъ... умираетъ, не издавъ ни одного звука... лужа крови...

Прошло пять минутъ, пять съ половиной, наконецъ шесть... На лбу у нея выступилъ холодный потъ.

— Базиль!—взвизгнула она.—Базиль!

— Ну, что кричишь? Я здѣсь...—услышала она голосъ и шаги мужа.—Рѣжутъ тебя, что ли?

Товарищъ прокурора подошелъ къ кровати и сѣлъ на край.

— Никого тамъ нѣтъ,—сказалъ онъ.—Тебѣ примерещилось, чудачка... Ты можешь успокоиться, твоя дурища, Пелагея, такъ же добродѣтельна, какъ и ея хозяйка. Экая ты трусиха! Экая ты...

И товарищъ прокурора началъ дразнить свою жену. Онъ разгулялся, и ему уже не хотѣлось спать.

— Экая трусиха!—смѣялся онъ.—Завтра же ступай къ доктору отъ галлюцинацій лѣчиться. Ты психопатка!

— Дегтемъ запахло... — сказала жена. — Дегтемъ, или... чѣмъ-то такимъ, лукомъ... щами.

— М-да... Что-то такое въ воздухѣ... Спать не хочется! Вотъ что, зажгу-ка я свѣчку... Гдѣ у насъ спички? И кстати покажу тебѣ фотографію прокурора судебной палаты. Вчера прощался съ нами и далъ всѣмъ по карточкѣ. Съ автографомъ.

Гагинъ чиркнулъ о стѣну спичкой и зажегъ свѣчу. Но прежде чѣмъ онъ сдѣлалъ шагъ отъ кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душу раздирающій крикъ. Оглянувшись назадъ, онъ увидѣлъ два большихъ жениныхъ глаза, обращенныхъ на него и полныхъ удивленія, ужаса, гнѣва...

— Ты снималъ въ кухнѣ свой халатъ? — спросила она, блѣднѣя.

— А что?

— Погляди на себя!

Товарищъ прокурора поглядѣлъ на себя и ахнулъ. На его плечахъ, вмѣсто халата, болталась шинель пожарнаго. Какъ она попала на его плечи? Пока онъ рѣшалъ этотъ вопросъ, жена его рисовала въ своемъ воображеніи новую картину, ужасную, невозможную: мракъ, тишина, шопотъ и проч., и проч...

# АПТЕКАРША.

Городишко Б., состоящій изъ двухъ-трехъ кривыхъ улицъ, спитъ непробуднымъ сномъ. Въ застывшемъ воздухѣ тишина. Слышно только, какъ гдѣ-то далеко, должно-быть, за городомъ, жидкимъ, охрипшимъ теноркомъ лаетъ собака. Скоро разсвѣтъ.

Все давно уже уснуло. Не спитъ только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б—ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сонъ упрямо не идетъ къ ней—и неизвѣстно отчего. Сидитъ она у открытаго окна, въ одной сорочкѣ, и глядитъ на улицу. Ей душно, скучно, досадно... такъ досадно, что даже плакать хочется, а отчего—опять-таки неизвѣстно. Какой-то комокъ лежитъ въ груди и то и дѣло подкатываетъ къ горлу... Сзади, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ аптекарши, прикорнувъ къ стѣнѣ, сладко похрапываетъ самъ Черномордикъ. Жадная блоха впилась ему въ переносицу, но онъ этого не чувствуетъ и даже улыбается, такъ какъ ему снится, будто всѣ въ городѣ кашляютъ и непрерывно покупаютъ у него капли датскаго короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, такъ что аптекаршѣ далеко видно поле... Она видитъ, какъ мало-по-малу бѣлѣетъ восточный край неба, какъ онъ потомъ багровѣетъ, словно отъ большого пожара. Неожиданно изъ-за отдаленнаго кустарника выползаетъ большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылѣзая изъ-за кустовъ, всегда почему-то бываетъ ужасно сконфужена).

И товарищъ прокурора началъ дразнить свою жену. Онъ разгулялся, и ему уже не хотѣлось спать.

— Экая трусиха!—смѣялся онъ.—Завтра же ступай къ доктору отъ галлюцинацій лѣчиться. Ты психопатка!

— Дегтемъ запахло... — сказала жена. — Дегтемъ, или... чѣмъ-то такимъ, лукомъ... щами.

— М-да... Что-то такое въ воздухѣ... Спать не хочется! Вотъ что, зажгу-ка я свѣчку... Гдѣ у насъ спички? И кстати покажу тебѣ фотографію прокурора судебной палаты. Вчера прощался съ нами и далъ всѣмъ по карточкѣ. Съ автографомъ.

Гагинъ чиркнулъ о стѣну спичкой и зажегъ свѣчу. Но прежде чѣмъ онъ сдѣлалъ шагъ отъ кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душу раздирающій крикъ. Оглянувшись назадъ, онъ увидѣлъ два большихъ жениныхъ глаза, обращенныхъ на него и полныхъ удивленія, ужаса, гнѣва...

— Ты снималъ въ кухнѣ свой халатъ? — спросила она, блѣднѣя.

— А что?

— Погляди на себя!

Товарищъ прокурора поглядѣлъ на себя и ахнулъ. На его плечахъ, вмѣсто халата, болталась шинель пожарнаго. Какъ она попала на его плечи? Пока онъ рѣшалъ этотъ вопросъ, жена его рисовала въ своемъ воображеніи новую картину, ужасную, невозможную: мракъ, тишина, шопотъ и проч., и проч...

# АПТЕКАРША.

Городишко Б., состоящій изъ двухъ-трехъ кривыхъ улицъ, спитъ непробуднымъ сномъ. Въ застывшемъ воздухѣ тишина. Слышно только, какъ гдѣ-то далеко, должно-быть, за городомъ, жидкимъ, охрипшимъ теноркомъ лаетъ собака. Скоро разсвѣтъ.

Все давно уже уснуло. Не спитъ только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б—ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сонъ упрямо не идетъ къ ней—и неизвѣстно отчего. Сидитъ она у открытаго окна, въ одной сорочкѣ, и глядитъ на улицу. Ей душно, скучно, досадно... такъ досадно, что даже плакать хочется, а отчего—опять-таки неизвѣстно. Какой-то комокъ лежитъ въ груди и то и дѣло подкатываетъ къ горлу... Сзади, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ аптекарши, прикорнувъ къ стѣнѣ, сладко похрапываетъ самъ Черномордикъ. Жадная блоха впилась ему въ переносицу, но онъ этого не чувствуетъ и даже улыбается, такъ какъ ему снится, будто всѣ въ городѣ кашляютъ и непрерывно покупаютъ у него капли датскаго короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, такъ что аптекаршѣ далеко видно поле... Она видитъ, какъ мало-по-малу бѣлѣетъ восточный край неба, какъ онъ потомъ багровѣетъ, словно отъ большого пожара. Неожиданно изъ-за отдаленнаго кустарника выползаетъ большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылѣзая изъ-за кустовъ, всегда почему-то бываетъ ужасно сконфужена).

Вдругъ среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпоръ. Слышатся голоса.

«Это офицеры отъ исправника въ лагерь идутъ»,—думаетъ аптекарша.

Немного погодя, показываются двѣ фигуры въ бѣлыхъ офицерскихъ кителяхъ: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше... Онѣ лѣниво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговариваютъ о чемъ-то. Поровнявшись съ аптекой, обѣ фигуры начинаютъ идти еще тише и глядятъ на окна.

— Аптекой пахнетъ...—говоритъ тонкій.—Аптека и есть! Ахъ, помню... На прошлой недѣлѣ я здѣсь былъ, касторку покупалъ. Тутъ еще аптекарь съ кислымъ лицомъ и съ ослиной челюстью. Вотъ, батенька, челюсть! Такой именно Самсонъ филистимлянъ избивалъ.

— М-да...—говоритъ толстый басомъ.—Спитъ фармація! И аптекарша спитъ. Тутъ, Обтесовъ, аптекарша хорошенькая.

— Видѣлъ. Мнѣ она очень понравилась... Скажите, докторъ, неужели она въ состояніи любить эту ослиную челюсть? Неужели?

— Нѣтъ, вѣроятно, не любитъ,—вздыхаетъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему жаль аптекаря.—Спитъ теперь мамочка за окошечкомъ! Обтесовъ, а? Раскинулась отъ жары... ротикъ полуоткрытъ... и ножка съ кровати свѣсилась. Чай, болванъ аптекарь въ этомъ добрѣ, ничего не смыслитъ... Ему, небось, что женщина, что бутыль съ карболкой—все равно!

— Знаете что, докторъ?—говоритъ офицеръ, останавливаясь.—Давайте-ка зайдемъ въ аптеку и купимъ чего-нибудь! Аптекаршу, быть-можетъ, увидимъ.

— Выдумалъ—ночью!

— А что же? Вѣдь они и ночью обязаны торговать. Голубчикъ, войдемте!

— Пожалуй...

Аптекарша, спрятавшись за занавѣску, слышитъ сиплый звонокъ. Оглянувшись на мужа, который храпитъ попрежнему сладко и улыбается, она набрасываетъ на себя платье, надѣваетъ на босую ногу туфли и бѣжитъ въ аптеку.

За стеклянной дверью видны двѣ тѣни... Аптекарша припускаетъ огня въ лампѣ и спѣшитъ къ двери, чтобы отпереть. И ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется пла-

кать, а только сильно стучитъ сердце. Входятъ толстякъ-докторъ и тонкій Обтесовъ. Теперь ужъ ихъ можно разсмотрѣть. Толстобрюхій докторъ смуглъ, бородатъ и неповоротливъ. При каждомъ малѣйшемъ движеніи на немъ трещитъ китель и на лицѣ выступаетъ потъ. Офицеръ же розовъ, безусъ, женоподобенъ и гибокъ, какъ англійскій хлыстъ.

— Что вамъ угодно?—спрашиваетъ ихъ аптекарша, придерживая на груди платье.

— Дайте... э-э-э... на пятнадцать копеекъ мятныхъ лепешекъ!

Аптекарша, не спѣша, достаетъ съ полки банку и начинаетъ вѣшать. Покупатели, не мигая, глядятъ на ея спину; докторъ жмурится, какъ сытый котъ, а поручикъ очень серьезенъ.

— Первый разъ вижу, что дама въ аптекѣ торгуетъ,— говоритъ докторъ.

— Тутъ ничего нѣтъ особеннаго...—отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова.—Мужъ мой не имѣетъ помощниковъ, и я ему всегда помогаю.

— Тэкъ-съ... А-у васъ миленькая аптечка! Сколько тутъ разныхъ этихъ... банокъ! И вы не боитесь вращаться среди ядовъ! Бррр!

Аптекарша запечатываетъ пакетикъ и подаетъ его доктору. Обтесовъ подаетъ ей пятіалтынный. Проходитъ полминуты въ молчаніи... Мужчины переглядываются, дѣлаютъ шагъ къ двери, потомъ опять переглядываются.

— Дайте на десять копеекъ соды!—говоритъ докторъ.

Аптекарша, опять лѣниво и вяло двигаясь, протягиваетъ руку къ полкѣ.

— Нѣтъ ли тутъ, въ аптекѣ, чего-нибудь этакаго...—бормочетъ Обтесовъ, шевеля пальцами,—чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорическаго, какой-нибудь живительной влаги... зельтерской воды, что ли? У васъ есть зельтерская вода?

— Есть,—отвѣчаетъ аптекарша.

— Браво! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка намъ бутылочки три!

Аптекарша торопливо запечатываетъ соду и исчезаетъ въ потемкахъ за дверью.

— Фруктъ!—говоритъ докторъ, подмигивая.—Такого ананаса, Обтесовъ, и на островѣ Мадейрѣ не сыщете. А? Какъ

вы думаете? Однако... слышите храпъ? Это самъ господинъ аптекарь изволятъ почивать.

Черезъ минуту возвращается аптекарша и ставитъ на прилавокъ пять бутылокъ. Она только-что была въ погребѣ, а потому красна и немножко взволнована.

— Тсс... тише!—говоритъ Обтесовъ, когда она, раскупоривъ бутылки, роняетъ штопоръ. — Не стучите такъ, а то мужа разбудите.

— Ну, такъ что же, если и разбужу?

— Онъ такъ сладко спитъ... видитъ васъ во снѣ... За ваше здоровье!

— И къ тому же, — баситъ докторъ, отрыгивая послѣ зельтерской:—мужья такая скучная исторія, что хорошо бы они сдѣлали, если бъ всегда спали. Эхъ, къ этой водицѣ да винца бы красненькаго!

— Чего еще выдумали!—смѣется аптекарша.

— Великолѣпно бы! Жаль, что въ аптекахъ не продаютъ спиритуозовъ! Впрочемъ... вы вѣдь должны продавать вино, какъ лѣкарство. Есть у васъ vinum gallicum rubrum?

— Есть.

— Ну, вотъ! Подавайте намъ его! Чортъ его подери, тащите его сюда!

— Сколько вамъ?

— Quantum satis!.. Сначала вы дайте намъ въ воду по унцу, а потомъ мы увидимъ... Обтесовъ, а? Сначала съ водой, а потомъ уже per se...

Докторъ и Обтесовъ присаживаются къ прилавку, снимаютъ фуражки и начинаютъ пить красное вино.

— А вино, надо сознаться, препаскуднѣйшее! Vinum plochissimum! Впрочемъ, въ присутствіи... э-э-э... оно кажется нектаромъ. Вы восхитительны, сударыня! Цѣлую вамъ мысленно ручку.

— Я дорого далъ бы за то, чтобы сдѣлать это не мысленно!—говоритъ Обтесовъ.—Честное слово! Я отдалъ бы жизнь!

— Это ужъ вы оставьте...—говоритъ госпожа Черномордикъ, вспыхивая и дѣлая серьезное лицо.

— Какая, однако, вы кокетка!—тихо хохочетъ докторъ, глядя на нее исподлобья, плутовски.—Глазенки такъ и стрѣляютъ! Пифъ! пафъ! Поздравляю: вы побѣдили! Мы сражены!

Аптекарша глядитъ на ихъ румяныя лица, слушаетъ ихъ болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже такъ весело! Она вступаетъ въ разговоръ, хохочетъ, кокетничаетъ и даже, послѣ долгихъ просьбъ покупателей, выпиваетъ унца два краснаго вина.

— Вы бы, офицеры, почаще въ городъ изъ лагерей приходили,—говоритъ она:—а то тутъ ужасъ какая скука. Я просто умираю.

— Еще бы!—ужасается докторъ.—Такой ананасъ... чудо природы и—въ глуши! Прекрасно выразился Грибоѣдовъ: «Въ глушь! въ Саратовъ!» Однако, намъ пора. Очень радъ познакомиться... весьма! Сколько съ насъ слѣдуетъ?

Аптекарша поднимаетъ къ потолку глаза и долго шевелитъ губами.

— Двѣнадцать рублей сорокъ восемь копеекъ! — говоритъ она.

Обтесовъ вынимаетъ изъ кармана толстый бумажникъ, долго роется въ пачкѣ денегъ и расплачивается.

— Вашъ мужъ сладко спитъ... видитъ сны...—бормочетъ онъ, пожимая на прощаньи руку аптекарши.

— Я не люблю слушать глупостей...

— Какія же это глупости? Наоборотъ... это вовсе не глупости... Даже Шекспиръ сказалъ: «Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ!»

— Пустите руку!

Наконецъ, покупатели, послѣ долгихъ разговоровъ, цѣлуютъ у аптекарши ручку и нерѣшительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходятъ изъ аптеки.

А она быстро бѣжитъ въ спальню и садится у того же окна. Ей видно, какъ докторъ и поручикъ, выйдя изъ аптеки, лѣниво отходятъ шаговъ на двадцать, потомъ останавливаются и начинаютъ о чемъ-то шептаться. О чемъ? Сердце у нея стучитъ, въ вискахъ то же стучитъ, а отчего—она и сама не знаетъ... Бьется сердце сильно, точно тѣ двое, шепчась тамъ, рѣшаютъ его участь.

Минутъ черезъ пять докторъ отдѣляется отъ Обтесова и идетъ дальше, а Обтесовъ возвращается. Онъ проходитъ мимо аптеки разъ, другой... То остановится около двери, то опять зашагаетъ... Наконецъ, осторожно звякаетъ звонокъ.

— Что? Кто тамъ?—вдругъ слышитъ аптекарша голосъ

мужа.—Тамъ звонятъ, а ты не слышишь!—говоритъ аптекарь строго.—Что за безпорядки!

Онъ встаетъ, надѣваетъ халатъ и, покачиваясь въ полуснѣ, шлепая туфлями, идетъ въ аптеку.

— Чего... вамъ?—спрашиваетъ онъ у Обтесова.

— Дайте... дайте на пятнадцать копеекъ мятныхъ лепешекъ.

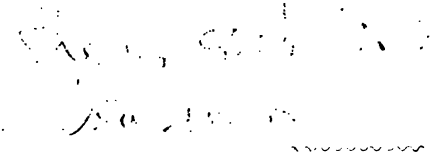
Съ безконечнымъ сопѣньемъ, зѣвая, засыпая на ходу и стуча колѣнями о прилавокъ, аптекарь лѣзетъ на полку и достаетъ банку...

Спустя двѣ минуты аптекарша видитъ, какъ Обтесовъ выходитъ изъ аптеки и, пройдя нѣсколько шаговъ, бросаетъ на пыльную дорогу мятныя лепешки. Изъ-за угла навстрѣчу ему идетъ докторъ... Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезаютъ въ утреннемъ туманѣ.

— Какъ я несчастна!—говоритъ аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздѣвается, чтобы опять улечься спать. — О, какъ я несчастна! — повторяетъ она, вдругъ заливаясь горькими слезами. — И никто, никто не знаетъ...

— Я забылъ пятнадцать копеекъ на прилавкѣ,—бормочетъ аптекарь, укрываясь одѣяломъ.—Спрячь, пожалуйста, въ конторку...

И тотчасъ же засыпаетъ.



# ОРАТОРЪ.

Въ одно прекрасное утро хоронили коллежскаго асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершаго отъ двухъ болѣзней, столь распространенныхъ въ нашемъ отечествѣ: отъ злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессія двинулась отъ церкви къ кладбищу, одинъ изъ сослуживцевъ покойнаго, нѣкто Поплавскій, сѣлъ на извозчика и поскакалъ къ своему пріятелю Григорію Петровичу Запойкину, человѣку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкинъ, какъ извѣстно многимъ читателямъ, обладаетъ рѣдкимъ талантомъ произносить экспромптомъ свадебныя, юбилейныя и похоронныя рѣчи. Онъ можетъ говорить когда угодно: спросонокъ, натощакъ, въ мертвецки пьяномъ видѣ, въ горячкѣ. Рѣчь его течетъ гладко, ровно, какъ вода изъ водосточной трубы, и обильно; жалкихъ словъ въ его ораторскомъ словарѣ гораздо больше, чѣмъ въ любомъ трактирѣ таракановъ. Говоритъ онъ всегда краснорѣчиво и длинно, такъ что иногда, въ особенности на купеческихъ свадьбахъ, чтобы остановить его, приходится прибѣгать къ содѣйствію полиціи.

— А я, братецъ, къ тебѣ!—началъ Поплавскій, заставъ его дома.—Сію же минуту одѣвайся и ѣдемъ. Умеръ одинъ изъ нашихъ, сейчасъ его на тотъ свѣтъ отправляемъ, такъ надо, братецъ, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину... На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь изъ маленькихъ, мы не стали бы тебя безпокоить, а то вѣдь секретарь... канцелярскій столпъ, нѣкоторымъ образомъ. Неловко такую шишку безъ рѣчи хоронить.

— А, секретарь!—зѣвнулъ Запойкинъ.—Это пьяница-то?

— Да, пьяница. Блины будутъ, закуска... на извозчика получишь. Поѣдемъ, душа! Разведи тамъ, на могилѣ, какую-нибудь мантифолію поцицеронистѣй, а ужъ какое спасибо получишь!

Запойкинъ охотно согласился. Онъ взъерошилъ волосы, напустилъ на лицо меланхолію и вышелъ съ Поплавскимъ на улицу.

— Знаю я вашего секретаря,—сказалъ онъ, садясь на извозчика.—Пройдоха и бестія, царство ему небесное, какихъ мало.

— Ну, не годится, Гриша, ругать покойниковъ.

— Оно конечно, aut mortuis nihil bene, но все-таки онъ жуликъ.

Пріятели догнали похоронную процессію и присоединились къ ней. Покойника несли медленно, такъ что до кладбища они успѣли раза три забѣжать въ трактиръ и пропустить за упокой души по маленькой.

На кладбищѣ была отслужена литія. Теща, жена и свояченица, покорныя обычаю, много плакали. Когда гробъ опускали въ могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня къ нему!», но въ могилу за мужемъ не пошла, вѣроятно, вспомнивъ о пенсіи. Дождавшись, когда все утихло, Запойкинъ выступилъ впередъ, обвелъ всѣхъ глазами и началъ:

— Вѣрить ли глазамъ и слуху? Не страшный ли сонъ сей гробъ, эти заплаканныя лица, стоны и вопли? Увы, это не сонъ, и зрѣніе не обманываетъ насъ! Тотъ, котораго мы еще такъ недавно видѣли столь бодрымъ, столь юношески свѣжимъ и чистымъ, который такъ недавно на нашихъ глазахъ, наподобіе неутомимой пчелы, носилъ свой медъ въ общій улей государственнаго благоустройства, тотъ, который... этотъ самый обратился теперь въ прахъ, въ вещественный миражъ. Неумолимая смерть наложила на него коснѣющую руку въ то время, когда онъ, несмотря на свой согбенный возрастъ, былъ еще полонъ расцвѣта силъ и лучезарныхъ надеждъ. Незамѣнимая потеря! Кто замѣнитъ намъ его? Хорошихъ чиновниковъ у насъ много, но Прокофій Осипычъ былъ единственный. Онъ до глубины души былъ преданъ своему честному долгу, не щадилъ силъ, не спалъ ночей, былъ безкорыстенъ, неподкупенъ...

Какъ презиралъ онъ тѣхъ, кто старался, въ ущербъ общимъ интересамъ, подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его въ измѣну своему долгу! Да, на нашихъ глазахъ Прокофій Осипычъ раздавалъ свое небольшое жалованье своимъ бѣднѣйшимъ товарищамъ, и вы сейчасъ сами слышали вопли вдовъ и сиротъ, жившихъ его подаяніями. Преданный служебному долгу и добрымъ дѣламъ, онъ не зналъ радостей въ жизни и даже отказалъ себѣ въ счастіи семейнаго бытія; вамъ извѣстно, что до конца дней своихъ онъ былъ холостъ! А кто намъ замѣнитъ его, какъ товарища? Какъ сейчасъ вижу бритое, умиленное лицо, обращенное къ намъ съ доброй улыбкой, какъ сейчасъ слышу его мягкій, нѣжно-дружескій голосъ. Миръ праху твоему, Прокофій Осипычъ! Покойся, честный, благородный труженикъ!

Запойкинъ продолжалъ, а слушатели стали шушукаться. Рѣчь понравилась всѣмъ, выжала нѣсколько слезъ, но многое показалось въ ней страннымъ. Во-первыхъ, непонятно было, почему ораторъ называлъ покойника Прокофіемъ Осиповичемъ, въ то время когда того звали Кирилломъ Ивановичемъ. Во-вторыхъ, всѣмъ извѣстно было, что покойный всю жизнь воевалъ со своей законной женой, а стало-быть не могъ называться холостымъ; въ-третьихъ, у него была густая, рыжая борода, отродясь онъ не брился, а потому непонятно, чего ради ораторъ назвалъ его лицо бритымъ. Слушатели недоумѣвали, переглядывались и пожимали плечами.

— Прокофій Осипычъ! — продолжалъ ораторъ, вдохновенно глядя въ могилу:—Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты былъ угрюмъ и суровъ, но всѣ мы знали, что подъ сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замѣчать нѣчто странное и въ самомъ ораторѣ. Онъ уставился въ одну точку, безпокойно задвигался и сталъ самъ пожимать плечами. Вдругъ онъ умолкъ, разинулъ удивленно ротъ и обернулся къ Поплавскому.

— Послушай, онъ живъ!—сказалъ онъ, глядя съ ужасомъ.

— Кто живъ?

— Да Прокофій Осипычъ! Вонъ онъ стоитъ около памятника!

— Онъ и не умиралъ! Умеръ Кириллъ Иванычъ!

— Да вѣдь ты же самъ сказалъ, что у васъ секретарь померъ!

— Кириллъ Иванычъ и былъ секретарь. Ты, чудакъ, перепуталъ! Прокофій Осипычъ, это вѣрно, былъ у насъ прежде секретаремъ, но его два года назадъ во второе отдѣленіе перевели столоначальникомъ.

— А, чортъ васъ разберетъ!

— Что же остановился? Продолжай, неловко!

Запойкинъ обернулся къ могилѣ и съ прежнимъ краснорѣчіемъ продолжалъ прерванную рѣчь. У памятника, дѣйствительно, стоялъ Прокофій Осипычъ, старый чиновникъ съ бритой физіономіей. Онъ глядѣлъ на оратора и сердито хмурился.

— И какъ это тебя угораздило!—смѣялись чиновники, когда вмѣстѣ съ Запойкинымъ возвращались съ похоронъ.— Живого человѣка похоронилъ.

— Нехорошо-съ, молодой человѣкъ!—ворчалъ Прокофій Осипычъ.—Ваша рѣчь, можетъ-быть, годится для покойника, но въ отношеніи живого она—одна насмѣшка-съ! Помилуйте, что вы говорили? Безкорыстенъ, неподкупенъ, взятокъ не беретъ! Вѣдь про живого человѣка это можно говорить только въ насмѣшку-съ. И никто васъ, сударь, не просилъ распространяться про мое лицо. Некрасивъ, безобразенъ, такъ тому и быть, но зачѣмъ всенародно мою физіономію на видъ выставлять? Обидно-съ!

# РОМАНЪ СЪ КОНТРАБАСОМЪ.

Музыкантъ Смычковъ шелъ изъ города на дачу князя Бибулова, гдѣ, по случаю сговора, «имѣлъ быть» вечеръ съ музыкой и танцами. На спинѣ его покоился огромный контрабасъ въ кожаномъ футлярѣ. Шелъ Смычковъ по берегу рѣки, катившей свои прохладныя воды хотя не величественно, но зато весьма поэтично,

«Не выкупаться ли?»—подумалъ онъ.

Не долго думая, онъ раздѣлся и погрузилъ свое тѣло въ прохладныя струи. Вечеръ былъ великолѣпный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соотвѣтственно гармоніи окружающаго. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплывъ шаговъ на сто въ сторону, онъ увидѣлъ красивую дѣвушку, сидѣвшую на крутомъ берегу и удившую рыбу. Онъ притаилъ дыханіе и замеръ отъ наплыва разнородныхъ чувствъ: воспоминанія дѣтства, тоска о минувшемъ, проснувшаяся любовь... Боже, а вѣдь онъ думалъ, что онъ уже не въ состояніи любить! Послѣ того, какъ онъ потерялъ вѣру въ человѣчество (его горячо любимая жена бѣжала съ его другомъ, фаготомъ Собакинымъ), грудь его наполнилась чувствомъ пустоты, и онъ сталъ мизантропомъ.

«Что такое жизнь?—не разъ задавалъ онъ себѣ вопросъ.—Для чего мы живемъ? Жизнь есть миѳъ, мечта... чревовѣщаніе...»

Но стоя предъ спящей красавицей (не трудно было замѣтить, что она спала), онъ вдругъ, вопреки своей волѣ, почувствовалъ въ груди нѣчто похожее на любовь. Долго онъ стоялъ передъ ней, пожирая ее глазами...

«Но довольно... — подумалъ онъ, испустивъ глубокій

вздохъ.—Прощай, чудное видѣнье! Мнѣ уже пора идти на балъ къ его сіятельству...»

И еще разъ взглянувъ на красавицу, онъ хотѣлъ уже плыть назадъ, какъ въ головѣ его мелькнула идея.

«Надо оставить ей о себѣ память!—подумалъ онъ.—Прицѣплю ей что-нибудь къ удочкѣ. Это будетъ сюрпризомъ отъ «неизвѣстнаго».

Смычковъ тихо подплылъ къ берегу, нарвалъ большой букетъ полевыхъ и водяныхъ цвѣтовъ и, связавъ его стебелькомъ лебеды, прицѣпилъ къ удочкѣ.

Букетъ пошелъ ко дну и увлекъ за собой красивый поплавокъ.

Благоразуміе, законы природы и соціальное положеніе моего героя требуютъ, чтобы романъ кончился на этомъ самомъ мѣстѣ, но—увы!—судьба автора неумолима: по независящимъ отъ автора обстоятельствамъ романъ не кончился букетомъ. Вопреки здравому смыслу и природѣ вещей, бѣдный и незнатный контрабасистъ долженъ былъ сыграть въ жизни знатной и богатой красавицы важную роль.

Подплывъ къ берегу, Смычковъ былъ пораженъ: онъ не увидѣлъ своей одежды. Ее украли... Неизвѣстные злодѣи, пока онъ любовался красавицей, утащили все, кромѣ контрабаса и цилиндра.

— Проклятіе—воскликнулъ Смычковъ.—О, люди, порожденіе ехидны! Не столько возмущаетъ меня лишеніе одежды (ибо одежда тлѣнна), сколько мысль, что мнѣ придется идти нагишомъ и тѣмъ преступить противъ общественной нравственности.

Онъ сѣлъ на футляръ съ контрабасомъ и сталъ искать выхода изъ своего ужаснаго положенія.

«Не идти же голымъ къ князю Бибулову!—думалъ онъ.—Тамъ будутъ дамы! Да и къ тому же воры вмѣстѣ съ брюками украли и находившійся въ нихъ канифоль!»

Онъ думалъ долго, мучительно, до боли въ вискахъ.

«Ба!—вспомнилъ онъ, наконецъ.—Недалеко отъ берега въ кустарникѣ есть мостикъ... Пока настанетъ темнота, я могу просидѣть подъ этимъ мостикомъ, а вечеромъ, въ потемкахъ, проберусь до первой избы...»

Остановившись на этой мысли, Смычковъ надѣлъ цилиндръ, взвалилъ на спину контрабасъ и поплелся къ ку-

старнику. Нагой, съ музыкальнымъ инструментомъ на спинѣ, онъ напоминалъ нѣкоего древняго, миѳическаго полубога.

Теперь, читатель, пока мой герой сидитъ подъ мостомъ и предается скорби, оставимъ его на нѣкоторое время и обратимся къ дѣвушкѣ, удившей рыбу. Что сталось съ нею? Красавица, проснувшись и не увидѣвъ на водѣ поплавка, поспѣшила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючокъ и поплавокъ не показались изъ воды. Очевидно, букетъ Смычкова размокъ въ водѣ, разбухъ и сталъ тяжелъ.

«Или большая рыба поймалась,—подумала дѣвушка:—или же удочка зацѣпилась».

Подергавъ еще немного за леску, дѣвушка рѣшила, что крючокъ зацѣпился.

«Какая жалость!—подумала она.—А вечеромъ такъ хорошо клюетъ! Что дѣлать?»

И недолго думая, эксцентричная дѣвушка сбросила съ себя эѳирныя одежды и погрузила прекрасное тѣло въ струи по самыя мраморныя плечи. Не легко было отцѣпить крючокъ отъ букета, въ который впуталась леска, но терпѣніе и трудъ взяли свое. Черезъ какія-нибудь четверть часа красавица, сіяющая и счастливая, выходила изъ воды, держа въ рукѣ крючокъ.

Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшіе одежду Смычкова, похитили и ея платье, оставивъ ей только банку съ червяками.

«Что же мнѣ теперь дѣлать?—заплакала она.—Неужели идти въ такомъ видѣ? Нѣтъ, никогда! Лучше смерть! Я подожду, пока стемнѣетъ; тогда, въ темнотѣ, я дойду до тетки Агафьи и пошлю ее домой за платьемъ... А пока пойду спрячусь подъ мостикъ».

Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побѣжала къ мостику. Пролѣзая подъ мостикъ, она увидѣла тамъ нагого человѣка съ музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувствъ.

Смычковъ тоже испугался. Сначала онъ принялъ дѣвушку за наяду.

«Не рѣчная ли это сирена, пришедшая увлечь меня?—подумалъ онъ, и это предположеніе польстило ему, такъ какъ онъ всегда былъ высокаго мнѣнія о своей наружности.—Если же она не сирена, а человѣкъ, то какъ объяснить это странное видоизмѣненіе? Зачѣмъ она здѣсь, подъ мостомъ? И что съ ней?»

Пока онъ рѣшалъ эти вопросы, красавица приходила въ себя.

— Не убивайте меня! — прошептала она. — Я княжна Бибулова. Умоляю васъ! Вамъ дадутъ много денегъ! Сейчасъ я отцѣпляла въ водѣ крючокъ, и какіе-то воры украли мое новое платье, ботинки и все!

— Сударыня! — сказалъ Смычковъ умоляющимъ голосомъ.—И у меня также украли мое платье. Къ тому же они вмѣстѣ съ брюками утащили и находившійся въ нихъ канифоль!

Всѣ, играющіе на контрабасахъ и тромбонахъ, обыкновенно ненаходчивы; Смычковъ же былъ пріятнымъ исключеніемъ.

— Сударыня!—сказалъ онъ, немного погодя.—Васъ, я вижу, смущаетъ мой видъ. Но, согласитесь, мнѣ нельзя уйти отсюда, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и вамъ. Я вотъ что придумалъ: не угодно ли вамъ будетъ лечь въ футляръ моего контрабаса и укрыться крышкой? Это скроетъ меня отъ васъ...

Сказавши это, Смычковъ вытащилъ изъ футляра контрабасъ. Минуту казалось ему, что онъ, уступая футляръ, профанируетъ святое искусство, но колебаніе было непродолжительно. Красавица легла въ футляръ и свернулась калачикомъ, а онъ затянулъ ремни и сталъ радоваться, что природа одарила его такимъ умомъ.

— Теперь, сударыня, вы меня не видите,—сказалъ онъ.—Лежите здѣсь и будьте покойны. Когда станетъ темно, я отнесу васъ въ домъ вашихъ родителей. За контрабасомъ же я могу придти сюда и потомъ.

Съ наступленіемъ потемокъ Смычковъ взвалилъ на плечи футляръ съ красавицей и поплелся къ дачѣ Бибулова. Планъ у него былъ такой: сначала онъ дойдетъ до первой избы и обзаведется одеждой, потомъ пойдетъ далѣе...

«Нѣтъ худа безъ добра...—думалъ онъ, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь подъ ношей.—За то теплое участіе, которое я принялъ въ судьбѣ княжны, Бибуловъ навѣрно щедро наградитъ меня».

— Сударыня, удобно ли вамъ?—спрашивалъ онъ тономъ cavalier galant, приглашающаго на кадриль.—Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь въ моемъ футлярѣ, какъ у себя дома!

Вдругъ галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанныя темнотою, идутъ двѣ человѣческія фигуры. Вглядѣвшись пристальнѣй, онъ убѣдился, что это не оптическій обманъ: фигуры, дѣйствительно, шли и даже несли въ рукахъ какіе-то узлы...

«Не воры ли это?—мелькнуло у него въ головѣ. — Они что-то несутъ! Вѣроятно, это наше платье!»

Смычковъ положилъ у дороги футляръ и погнался за фигурами.

— Стой!—закричалъ онъ.—Стой! Держи!

Фигуры оглянулись и, замѣтивъ погоню, стали улепетывать... Княжна еще долго слышала быстрые шаги и крики: «стой!» Наконецъ, все смолкло.

Смычковъ увлекся погоней, и, вѣроятно, красавицѣ пришлось бы еще долго пролежать въ полѣ у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что въ ту пору по той же дорогѣ проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучковъ и кларнетъ Размахайкинъ. Споткнувшись о футляръ, оба они удивленно переглянулись и развели руками.

— Контрабасъ!—сказалъ Жучковъ.—Ба, да это контрабасъ нашего Смычкова! Но какъ онъ сюда попалъ?

— Вѣроятно, что-нибудь случилось со Смычковымъ,— рѣшилъ Размахайкинъ. — Или онъ напился, или же его ограбили... Во всякомъ случаѣ, оставлять здѣсь контрабасъ не годится. Возьмемъ его съ собой.

Жучковъ взвалилъ себѣ на спину футляръ, и музыканты пошли дальше.

— Чортъ знаетъ, какая тяжесть! — ворчалъ всю дорогу флейта.—Ни за что на свѣтѣ не согласился бы играть на такомъ идолищѣ... Уфъ!

Придя на дачу къ князю Бибулову, музыканты положили футляръ на мѣстѣ, отведенномъ для оркестра, и пошли къ буфету.

Въ это время на дачѣ уже зажигали люстры и бра. Женихъ, надворный совѣтникъ Лакеичъ, красивый и симпатичный чиновникъ вѣдомства путей сообщенія, стоялъ посреди залы и, заложивъ руки въ карманы, бесѣдовалъ съ графомъ Шкаликовымъ. Говорили о музыкѣ.

— Я, графъ, — говорилъ Лакеичъ: — въ Неаполѣ былъ лично знакомъ съ однимъ скрипачомъ, который творилъ

буквально чудеса. Вы не повѣрите! На контрабасѣ... на обыкновенномъ контрабасѣ онъ выводилъ такія чертовскія трели, что просто ужасъ! Штраусовскіе вальсы игралъ!

— Полноте, это невозможно...—усомнился графъ.

— Увѣряю васъ! Даже листовскую рапсодію исполнялъ! Я жилъ съ нимъ въ одномъ номерѣ и даже, отъ нечего дѣлать, выучился у него играть на контрабасѣ рапсодію Листа.

— Рапсодію Листа... Гм!.. вы шутите...

— Не вѣрите?—засмѣялся Лакеичъ.— Такъ я вамъ докажу сейчасъ! Пойдемте въ оркестръ!

Женихъ и графъ направились къ оркестру. Подойдя къ контрабасу, они стали быстро развязывать ремни... и — о ужасъ!

Но тутъ, пока читатель, давшій волю своему воображенію, рисуетъ исходъ музыкальнаго спора, обратимся къ Смычкову... Бѣдный музыкантъ, не догнавши воровъ и вернувшись къ тому мѣсту, гдѣ онъ оставилъ футляръ, не увидѣлъ драгоцѣнной ноши. Теряясь въ догадкахъ, онъ нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по дорогѣ и, не найдя футляра, рѣшилъ, что онъ попалъ не на ту дорогу...

«Это ужасно! — думалъ онъ, хватая себя за волосы и леденѣя.—Она задохнется въ футлярѣ! Я убійца!»

До самой полуночи Смычковъ ходилъ по дорогамъ и искалъ футляра, но подъ конецъ, выбившись изъ силъ, отправился подъ мостикъ.

— Поищу на разсвѣтѣ,—рѣшилъ онъ.

Поиски во время разсвѣта дали тотъ же результатъ, и Смычковъ рѣшилъ подождать подъ мостомъ ночи...

— Я найду ее!—бормоталъ онъ, снимая цилиндръ и хватая себя за волосы.—Хотя бы годъ искать, но я найду ее!

. . . . . .

И теперь еще крестьяне, живущіе въ описанныхъ мѣстахъ, разсказываютъ, что ночами около мостика можно видѣть какого-то голаго человѣка, обросшаго волосами и въ цилиндрѣ. Изрѣдка изъ-подъ мостика слышится хрипѣніе контрабаса.

# БРАКЪ ПО РАЗСЧЕТУ.

(Романъ въ 2-хъ частяхъ.)

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Въ домѣ вдовы Мымриной, что̀ въ Пятисобачьемъ переулкѣ, свадебный ужинъ. Ужинаетъ 23 человѣка, изъ коихъ восемь ничего не ѣдятъ, клюютъ носомъ и жалуются, что ихъ «мутитъ». Свѣчи, лампы и хромая люстра, взятая напрокатъ изъ трактира, горятъ до того ярко, что одинъ изъ гостей, сидящихъ за столомъ, телеграфистъ, кокетливо щуритъ глаза и то и дѣло заговариваетъ объ электрическомъ освѣщеніи—ни къ селу, ни къ городу. Этому освѣщенію и вообще электричеству онъ пророчитъ блестящую будущность, но, тѣмъ не менѣе, ужинающіе слушаютъ его съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ.

— Электричество... — бормочетъ посаженый отецъ, тупо глядя въ свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освѣщеніе одно только жульничество. Всунутъ туда уголекъ и думаютъ глаза отвести! Нѣтъ, братъ, уже ежели ты даешь мнѣ освѣщеніе, то ты давай не уголекъ, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня—понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный.

— Ежели бы вы видѣли электрическую батарею, изъ чего она составлена,—говоритъ телеграфистъ, рисуясь:—то вы иначе бы разсуждали.

— И не желаю видѣть. Жульничество... Народъ простой надуваютъ... Соки послѣдніе выжимаютъ. Знаемъ мы ихъ, этихъ самыхъ... А вы, господинъ молодой человѣкъ,

имѣю чести знать вашего имени-отчества,—чѣмъ за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другимъ налили.

— Я съ вами, папаша, вполнѣ согласенъ, — говоритъ хриплымъ теноромъ женихъ Апломбовъ, молодой человѣкъ съ длинной шеей и щетинистыми волосами.—Къ чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и самъ поговорить о всевозможныхъ открытіяхъ въ научномъ смыслѣ, но вѣдь на это есть другое время! Ты какого мнѣнія, машеръ?—обращается женихъ къ сидящей рядомъ невѣстѣ.

Невѣста Дашенька, у которой на лицѣ написаны всѣ добродѣтели, кромѣ одной — способности мыслить, вспыхиваетъ и говоритъ:

— Они хочутъ свою образованность показать и всегда говорятъ о непонятномъ.

— Слава Богу, прожили вѣкъ безъ образованія и вотъ ужъ, благодарить Бога, третью дочку за хорошаго человѣка выдаемъ,—говоритъ съ другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь къ телеграфисту.—А ежели мы, по-вашему, выходимъ необразованные, то зачѣмъ вы къ намъ ходите? Шли бы къ своимъ образованнымъ!

Наступаетъ молчаніе. Телеграфистъ сконфуженъ. Онъ никакъ не ожидалъ, что разговоръ объ электричествѣ приметъ такой странный оборотъ. Наступившее молчаніе имѣетъ характеръ враждебный, кажется ему симптомомъ всеобщаго неудовольствія, и онъ находитъ нужнымъ оправдаться.

— Я, Татьяна Петровна, всегда уважалъ ваше семейство, — говоритъ онъ:—а ежели я насчетъ электрическаго освѣщенія, такъ это еще не значитъ, что я изъ гордости. Даже вотъ выпить могу... Я всегда отъ всѣхъ чувствъ жежалъ Дарьѣ Ивановнѣ хорошаго жениха. Въ наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошаго человѣка. Нынче каждый норовитъ вступить въ бракъ изъ-за интереса, изъ-за денегъ...

— Это намекъ! — говоритъ женихъ, багровѣя и мигая глазами.

— И никакого тутъ нѣтъ намека, — говоритъ телеграфистъ, нѣсколько струсивъ.—Я не говорю о присутствующихъ. Это я такъ... вообще... Помилуйте!.. Всѣ знаютъ, что вы изъ любви... Приданое пустяшное...

— Нѣтъ, не пустяшное!—обижается Дашенькина мать.—Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кромѣ того, что

мы тысячу рублей, мы три салона даемъ, постелю и вотъ эту всю мебель! Подика-сь найди въ другомъ мѣстѣ такое приданое!

— Я ничего... Мебель, дѣйствительно, хорошая... но я въ томъ смыслѣ, что вотъ они обижаются, будто я намекнулъ...

— А вы не намекайте,—говоритъ невѣстина мать.—Мы васъ по вашимъ родителямъ почитаемъ и на свадьбу пригласили, а вы разныя слова. А ежели вы знали, что Егоръ Ѳедорычъ изъ интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: такъ и такъ, молъ, на интересъ польстился... А тебѣ, батюшка, грѣхъ!— обращается вдругъ невѣстина мать къ жениху, слезливо мигая глазами.—Я ее, можетъ, вскормила, вспоила... берегла пуще алмаза изумруднаго, дѣточку мою, а ты... ты изъ интереса...

— И вы повѣрили клеветѣ?—говоритъ Апломбовъ, вставая изъ-за стола и нервно теребя свои щитинистые волосы.— Покорнѣйше васъ благодарю! Мерси за такое мнѣніе! А вы, господинъ Блинчиковъ,—обращается онъ къ телеграфисту:—вы хоть и знакомый мнѣ, но я не позволю вамъ такія безобразія строить въ чужомъ домѣ! Позвольте вамъ выйти вонъ!

— То-есть какъ?

— Позвольте вамъ выйти вонъ! Желаю, чтобы и вы были такимъ честнымъ человѣкомъ, какъ я! Однимъ словомъ, позвольте вамъ выйти вонъ!

— Да оставь! Будетъ тебѣ!—осаживаютъ жениха его пріятели.—Ну, стоитъ ли? Садись! Оставь!

— Нѣтъ, я желаю показать, что онъ не имѣетъ никакой полной правы! Я по любви вступилъ въ законный бракъ. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вамъ выйти вонъ!

— Я ничего... Я вѣдь...—говоритъ ошеломленный телеграфистъ, поднимаясь изъ-за стола.—Не понимаю даже... Извольте, я уйду... Только вы отдайте сначала мнѣ три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вотъ еще и... уйду, только вы сначала долгъ отдайте.

Женихъ долго шепчется со своими пріятелями. Тѣ по мелочамъ даютъ ему три рубля, онъ съ негодованіемъ бросаетъ ихъ телеграфисту, и послѣдній, послѣ долгихъ поисковъ своей форменной фуражки, раскланивается и уходитъ.

Такъ иногда можетъ кончиться невинный разговоръ объ

электричествѣ! Но вотъ кончается ужинъ... Наступаетъ ночь. Благовоспитанный авторъ надѣваетъ на свою фантазію крѣпкую узду и накидываетъ на текущія событія темную вуаль таинственности.

Розоперстая Аврора застаетъ еще Гименея въ Пятисобачьемъ переулкѣ. но вотъ настаетъ сѣрое утро и даетъ автору богатый матеріалъ для

## ЧАСТИ ВТОРОЙ И ПОСЛѢДНЕЙ.

Сѣрое осеннее утро. Еще нѣтъ и восьми часовъ. а въ Пятисобачьемъ переулкѣ необычайное движеніе. По тротуарамъ бѣгаютъ встревоженные городовые и дворники; у воротъ толпятся озябшія кухарки съ выраженіемъ крайняго недоумѣнія на лицахъ... Во всѣ окна глядятъ обыватели. Изъ открытаго окна прачешной, нажимая другъ друга висками и подбородками. глядятъ женскія головы.

— Не то снѣгъ. не то... и не разберешь, что оно такое,—слышатся голоса.

Въ воздухѣ отъ земли до крышъ кружится что-то бѣлое, очень похожее на снѣгъ. Мостовая бѣла. уличные фонари, крыши. дворницкія скамьи у воротъ, плечи и шапки прохожихъ—все бѣло.

— Что случилось?—спрашиваютъ прачки у бѣгущихъ дворниковъ.

Тѣ въ отвѣтъ машутъ руками и бѣгутъ дальше... Они и сами не знаютъ, въ чемъ дѣло. Но вотъ, наконецъ, медленно приходитъ одинъ дворникъ и, бесѣдуя самъ съ собой, жестикулируетъ руками. Очевидно, онъ побывалъ на мѣстѣ происшествія и знаетъ все.

— Что, родименькій, случилось?—спрашиваютъ у него прачки изъ окна.

— Неудовольствіе,—отвѣчаетъ онъ.—Въ домѣ Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вмѣсто тысячи—девятьсотъ дали.

— Ну, а онъ что?

— Осерчалъ. Я, говоритъ, того. говоритъ... Распоролъ въ сердцахъ перину и выпустилъ пухъ въ окно... Ишь, сколько пуху! Снѣгъ словно!

— Ведутъ! Ведутъ!—слышатся голоса.—Ведутъ!

Отъ дома вдовы Мымриной движется процессія. Впереди идутъ два городовыхъ съ озабоченными лицами... Сзади нихъ шагаетъ Апломбовъ въ триковомъ пальто и въ цилиндрѣ. На лицѣ у него написано: «Я честный человѣкъ, но надувать себя не позволю!»

— Ужо правосудіе покажетъ вамъ, что я за человѣкъ!— бормочетъ онъ, то и дѣло оборачиваясь.

За нимъ идутъ плачущія Татьяна Петровна и Дашенька. Шествіе замыкается дворникомъ съ книгой и толпой мальчишекъ.

— О чемъ плачешь, молодуха?—обращаются прачки къ Дашенькѣ.

— Перины жалко!—отвѣчаетъ за нее мать.—Три пуда, голубчики! И пухъ-то вѣдь какой! Пушинка къ пушинкѣ— ни одного перышка! Наказалъ Богъ на старости лѣтъ!

Процессія поворачиваетъ за уголъ, и Пятисобачій переулокъ успокаивается. Пухъ летаетъ до вечера.

# НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ.

(Разсказъ подсудимаго.)

— Быть, баринъ, бѣдѣ!—сказалъ ямщикъ, оборачиваясь ко мнѣ и указывая кнутомъ на зайца, перебѣгавшаго намъ дорогу.

Я и безъ зайца зналъ, что будущее мое отчаянное. Ѣхалъ я въ с—ій окружный судъ, гдѣ долженъ былъ сѣсть на скамью подсудимыхъ за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я къ ночи пріѣхалъ на почтовую станцію, то имѣлъ видъ человѣка, котораго облѣпили снѣгомъ, облили водой и сильно высѣкли,—до того я озябъ, промокъ и обалдѣлъ отъ однообразной дорожной тряски. На станціи встрѣтилъ меня станціонный смотритель, высокій человѣкъ въ кальсонахъ съ синими полосками, лысый, заспанный и съ усами, которые, казалось, росли изъ ноздрей и мѣшали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротникомъ, отворилъ дверь въ станціонные «покои» и молча указалъ мнѣ локтемъ на мѣсто моего успокоенія, меня обдало густымъ запахомъ кислятины, сургуча и раздавленнаго клопа — и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столѣ и освѣщавшая деревянныя, некрашенныя стѣны, коптила, какъ лучина.

— Да и вонь же у васъ, синьоръ! – сказалъ я, входя и кладя чемоданъ на столъ.

Смотритель понюхалъ воздухъ и недовѣрчиво покачалъ головой.

— Пахнетъ, какъ обыкновенно, — сказалъ онъ и поче-

сался. — Это вамъ съ морозу. Ямщики при лошадяхъ дрыхнутъ, а господа не пахнутъ.

Я услалъ смотрителя и сталъ обозрѣвать свое временное жилище. Диванъ, на которомъ мнѣ предстояло возлечь, былъ широкъ, какъ двухспальная кровать, обитъ клеенкой и былъ холоденъ, какъ ледъ. Кромѣ дивана въ комнатѣ были еще: большая чугунная печь, столъ съ упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояжъ и ширма, загораживавшая уголъ. За ширмой кто-то тихо спалъ. Осмотрѣвшись, я постлалъ себѣ на диванѣ и сталъ раздѣваться. Носъ мой скоро привыкъ къ вони. Снявши сюртукъ, брюки и сапоги, безконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгалъ вокругъ чугунной печки, высоко поднимая свои босыя ноги... Эти прыжки меня еще болѣе согрѣли. Оставалось послѣ этого растянуться на диванѣ и уснуть, но тутъ случился маленькій казусъ. Мой взглядъ нечаянно упалъ на ширмы и... представьте мой ужасъ! Изъ-за ширмы глядѣла на меня женская головка съ распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черныя брови ея двигались, на щекахъ играли хорошенькія ямочки—стало-быть, она смѣялась. Я сконфузился. Головка, замѣтивъ, что я ее увидѣлъ, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взоръ, я смирнехонько направился къ дивану, легъ и укрылся шубой.

«Какая оказія!—подумалъ я.—Значитъ она видѣла, какъ я прыгалъ! Нехорошо...»

И, припомимая черты хорошенькаго личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнѣе затѣснились въ моемъ воображеніи и... и, словно въ наказаніе за грѣшныя мысли, я вдругъ почувствовалъ на своей правой щекѣ сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймалъ, но догадался въ чемъ дѣло: запахло раздавленнымъ клопомъ.

— Это чортъ знаетъ, что такое!—услышалъ я въ то же время женскій голосокъ.—Проклятые клопы, вѣроятно, хотятъ съѣсть меня!

Гм!.. Я вспомнилъ о своей хорошей привычкѣ всегда брать съ собой въ дорогу персидскій порошокъ. И на сей разъ я не измѣнилъ этой привычкѣ. Жестянка съ порошкомъ была вытащена изъ чемодана въ какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головкѣ

средство отъ «энциклопедіи» и —знакомство готово. Но какъ предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня, — сказалъ я возможно сладенькимъ голосомъ. — Насколько я понялъ ваше послѣднее восклицаніе, васъ кусаютъ клопы. У меня же есть персидскій порошокъ. Если угодно, то...

— Ахъ, пожалуйста!

— Въ такомъ случаѣ, я сейчасъ... надѣну только шубу,— обрадовался я,—и принесу...

— Нѣтъ, нѣтъ... Вы черезъ ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и самъ знаю, что черезъ ширму. Не пугайтесь: не баши-бузукъ какой-нибудь...

— А кто васъ знаетъ! Народъ вы проѣзжій...

— Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тутъ ничего нѣтъ особеннаго... тѣмъ болѣе, что я докторъ, — солгалъ я: — а доктора, частные пристава и дамскіе парикмахеры имѣютъ право вторгаться въ частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы докторъ? Серьезно?

— Честное слово. Такъ позволите принести вамъ порошокъ?

— Ну, если вы докторъ, то пожалуй... Только зачѣмъ вамъ трудиться? Я могу мужа выслать къ вамъ... Федя!— сказала брюнетка, понизивъ голосъ. — Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Докторъ такъ любезенъ, онъ предлагаетъ намъ персидскаго порошку.

Присутствіе за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухомъ ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вѣроятности, испытываетъ ружейный курокъ, когда дѣлаетъ осѣчку: и совѣстно, и досадно, и жалко... На душѣ у меня стало такъ скверно и такимъ мерзавцемъ показался мнѣ этотъ Федя, когда вышелъ изъ-за ширмы, что я едва не закричалъ караулъ. Федя изображалъ изъ себя высокаго, жилистаго человѣка, лѣтъ пятидесяти, съ сѣдыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и съ синими жилками, безпорядочно бѣгавшими по его носу и вискамъ. Онъ былъ въ халатѣ и туфляхъ.

— Вы очень любезны, докторъ...—сказалъ онъ, принимая

отъ меня персидскій порошокъ и поворачивая къ себѣ за ширмы.—Mercі... И васъ застала пурга?

— Да!—проворчалъ я, ложась на диванъ и остервенѣло натягивая на себя шубу.—Да!

— Такъ-съ... Зиночка, по твоему носику клопикъ бѣжитъ! Позволь мнѣ снять его!

— Можешь,—засмѣялась Зиночка.—Не поймалъ! Статскій совѣтникъ, всѣ тебя боятся, а съ клопомъ справиться не можешь!

— Зиночка, при постороннемъ человѣкѣ... (вздохъ). Вѣчно ты... Ей-Богу...

— Свиньи, спать не даютъ!—проворчалъ я, сердясь самъ не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрылъ глаза, сталъ ни о чемъ не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, часъ... и я не спалъ. Въ концѣ концовъ, и сосѣди мои заворочались и стали шопотомъ браниться.

— Удивительно, даже персидскій порошокъ ничего не беретъ!—проворчалъ Федя.—Такъ ихъ много, этихъ клоповъ! Докторъ! Зиночка проситъ меня спросить васъ: отчего это клопы такъ мерзко пахнутъ?

Мы разговорились. Поговорили о клопахъ, погодѣ, русской зимѣ, о медицинѣ, въ которой такъ же мало смыслю, какъ въ астрономіи; поговорили объ Эдисонѣ...

— Ты, Зиночка, не стѣсняйся... Вѣдь онъ докторъ! — услышалъ я шопотъ послѣ разговора объ Эдисонѣ.—Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервецовъ не помогъ, а этотъ, можетъ-быть, и поможетъ.

— Спроси самъ!—прошептала Зиночка.

— Докторъ, — обратился ко мнѣ Федя: — отчего это у моей жены въ груди тѣсненіе бываетъ? Кашель, знаете ли... тѣснитъ, точно, знаете ли, запеклось что-то...

— Это длинный разговоръ, сразу нельзя сказать...—попытался я увернуться.

— Ну, такъ что жъ, что длинный? Время есть... все одно, не спимъ... Посмотрите ее, голубчикъ! Надо вамъ замѣтить, лѣчитъ ее Шервецовъ... Человѣкъ-то онъ хорошій, но... кто его знаетъ? Не вѣрю я ему! Не вѣрю! Вижу, вамъ не хочется, но будьте такъ добры! Вы ее посмотрите, а я тѣмъ временемъ пойду къ смотрителю и прикажу самоварчикъ поставить.

Федя зашаркалъ туфлями и вышелъ. Я пошелъ за ширму. Зиночка сидѣла на широкомъ диванѣ, окруженная множествомъ подушекъ, и поддерживала свой кружевной воротничокъ.

— Покажите языкъ! — началъ я, садясь около нея и хмуря брови.

Она показала языкъ и засмѣялась. Языкъ былъ обыкновенный, красный. Я сталъ щупать пульсъ.

— Гм!..—промычалъ я, не найдя пульса.

Не помню, какіе еще вопросы задавалъ я, глядя на ея смѣющееся личико, помню только, что подъ конецъ моей діагностики я былъ уже такимъ дуракомъ и идіотомъ, что мнѣ было рѣшительно не до вопросовъ.

Наконецъ, я сидѣлъ въ компаніи Феди и Зиночки за самоваромъ; надо было написать рецептъ, и я сочинилъ его по всѣмъ правиламъ врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0
Aquae destillatae 0,1
Черезъ два часа по столовой ложкѣ.
Г-жѣ Съѣловой.
Д—ръ Зайцевъ.

Утромъ, когда я, совсѣмъ уже готовый къ отъѣзду, съ чемоданомъ въ рукѣ, прощался навѣки съ моими новыми знакомыми, Федя держалъ меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убѣждалъ:

— Нѣтъ, вы обязаны взять! Я привыкъ платить за всякій честный трудъ! Вы учились, работали! Ваши знанія достались вамъ потомъ и кровью! Я понимаю это!

Нечего было дѣлать, пришлось взять десятирублевку.

Такъ въ общихъ чертахъ провелъ я ночь передъ днемъ суда. Не стану описывать тѣ ощущенія, которыя я испытывалъ, когда предо мной отворилась дверь и судебный приставъ указалъ мнѣ на скамью подсудимыхъ. Скажу только, что я поблѣднѣлъ и сконфузился, когда, оглянувшись назадъ, увидѣлъ тысячи смотрящихъ на меня глазъ; и я прочелъ себѣ отходную, когда взглянулъ на серьезныя, торжественно-важныя физіономіи присяжныхъ...

Но я не могу описать, а вы представить себѣ, моего ужаса, когда я, поднявъ глаза на столъ, покрытый краснымъ сукномъ, увидѣлъ на прокурорскомъ мѣстѣ—кого бы

вы думали?—Федю! Онъ сидѣлъ и что-то писалъ. Глядя на него, я вспомнилъ клоповъ, Зиночку, свою діагностику, и не морозъ, а цѣлый Ледовитый океанъ пробѣжалъ по моей спинѣ... Покончивъ съ писаніемъ, онъ поднялъ на меня глаза. Сначала онъ меня не узналъ, но потомъ зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Онъ медленно поднялся и вперилъ на меня свой оловянный взглядъ. Я тоже поднялся, самъ не знаю для чего, и впился въ него глазами...

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч.,—началъ предсѣдатель.

Прокуроръ сѣлъ и выпилъ стаканъ воды. Холодный потъ выступилъ у него на лбу.

— Ну, быть банѣ!—подумалъ я.

По всѣмъ признакамъ, прокуроръ рѣшилъ упечь меня. Все время онъ раздражался, копался въ свидѣтельскихъ показаніяхъ, капризничалъ, брюзжалъ...

Но, однако, пора кончить. Пишу это въ зданіи суда, во время обѣденнаго перерыва... Сейчасъ будетъ рѣчь прокурора. Что-то будетъ?

# ДАЧНИКИ.

По дачной платформѣ взадъ и впередъ прогуливалась парочка недавно поженившихся супруговъ. Онъ держалъ ее за талію, а она жалась къ нему, и оба были счастливы. Изъ-за облачныхъ обрывковъ глядѣла на нихъ луна и хмурилась: вѣроятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому ненужное дѣвство. Неподвижный воздухъ былъ густо насыщенъ запахомъ сирени и черемухи. Гдѣ-то, по ту сторону рельсовъ, кричалъ коростель...

— Какъ хорошо, Саша, какъ хорошо!—говорила жена.—Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, какъ уютно и ласково глядитъ этотъ лѣсокъ! Какъ милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляютъ ландшафтъ и говорятъ, что тамъ, гдѣ-то, есть люди... цивилизація... А развѣ тебѣ не нравится, когда до твоего слуха вѣтеръ слабо доноситъ шумъ идущаго поѣзда?

— Да... Какія, однако, у тебя руки горячія! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у насъ сегодня къ ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка... Цыпленка намъ на двоихъ довольно. Тебѣ изъ города привезли сардины и балыкъ.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей объ ея одиночествѣ, одинокой постели за лѣсами и долами...

— Поѣздъ идетъ!—сказала Варя.—Какъ хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышелъ начальникъ полустанка. На рельсахъ тамъ и сямъ замелькали сигнальные огни.

— Проводимъ поѣздъ и пойдемъ домой,—сказалъ Саша и зѣвнулъ.—Хорошо намъ съ тобой живется, Варя, такъ хорошо, что даже не вѣроятно!

Темное страшилище безшумно подползло къ платформѣ и остановилось. Въ полуосвѣщенныхъ вагонныхъ окнахъ замелькали сонныя лица, шляпки, плечи...

— Ахъ! Ахъ!—послышалось изъ одного вагона.—Варя съ мужемъ вышла насъ встрѣтить! Вотъ они! Варенька!.. Варечка! Ахъ!

Изъ вагона выскочили двѣ дѣвочки и повисли на шеѣ у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокій, тощій господинъ съ сѣдыми бачками, потомъ два гимназиста, навьюченные багажомъ, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вотъ и мы, а вотъ и мы, дружокъ!—началъ господинъ съ бачками, пожимая Сашину руку.—Чай, заждался! Небось, бранилъ дядю за то, что не ѣдетъ! Коля, Костя, Нина, Фифа... дѣти! Цѣлуйте кузена Сашу! Всѣ къ тебѣ, всѣмъ выводкомъ, и денька на три, на четыре. Надѣюсь, не стѣснимъ? Ты, пожалуйста, безъ церемоніи.

Увидѣвъ дядю съ семействомъ, супруги пришли въ ужасъ. Пока дядя говорилъ и цѣловался, въ воображеніи Саши промелькнула картина: онъ и жена отдаютъ гостямъ свои три комнаты, подушки, одѣяла; балыкъ, сардины и окрошка съѣдаются въ одну секунду, кузены рвутъ цвѣты, проливаютъ чернила, галдятъ, тетушка цѣлые дни толкуетъ о своей болѣзни (солитеръ и боль подъ ложечкой) и о томъ, что она урожденная баронесса фонъ-Финтихъ...

И Саша уже съ ненавистью смотрѣлъ на свою молодую жену и шепталъ ей:

— Это они къ тебѣ пріѣхали... чортъ бы ихъ побралъ!

— Нѣтъ, къ тебѣ! —отвѣчала она, блѣдная, тоже съ ненавистью и со злобой.—Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись къ гостямъ, она сказала съ привѣтливой улыбкой:

— Милости просимъ!

Изъ-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было пріятно, что у нея нѣтъ родственниковъ. А Саша отвернулся, чтобы скрыть отъ гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказалъ, придавая голосу радостное, благодушное выраженіе:

— Милости просимъ! Милости просимъ, дорогіе гости!

# БРОЖЕНІЕ УМОВЪ.

(Изъ лѣтописи одного города.)

Земля изображала изъ себя пекло. Послѣобѣденное солнце жгло съ такимъ усердіемъ, что даже Реомюръ, висѣвшій въ кабинетѣ акцизнаго, потерялся: дошелъ до 35,8° и въ нерѣшимости остановился... Съ обывателей лилъ потъ, какъ съ заѣзженныхъ лошадей, и на нихъ же засыхалъ: лѣнь было вытирать.

По большой базарной площади, въ виду домовъ съ наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихинъ и ходатай по дѣламъ (онъ же и старинный корреспондентъ «Сынъ Отечества») Оптимовъ. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотѣлось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нравъ и умѣренное направленіе спутника, онъ молчалъ.

На серединѣ площади Почешихинъ вдругъ остановился и сталъ глядѣть на небо.

— Что вы смотрите, Евплъ Серапіонычъ?

— Скворцы полетѣли. Гляжу, куда сядутъ. Туча-тучей! Ежели, положимъ, изъ ружья выпалить, да ежели потомъ собрать... да ежели... Въ саду отца протоіерея сѣли!

— Нисколько, Евплъ Сарапіонычъ. Не у отца протоіерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если съ этого мѣста выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетитъ, ослабнетъ. Да и за что ихъ, посудите, убивать? Птица насчетъ ягодъ вредная, это вѣрно, но все-таки тварь, всякое дыханіе. Скворецъ, скажемъ, поетъ... А для чего онъ, спрашивается, поетъ? Для хвалы поетъ. Всякое дыха-

ніе да хвалитъ Господа. Ой, нѣтъ! Кажется, у отца протоіерея сѣли!

Мимо бесѣдующихъ безшумно прошли три старыя богомолки съ котомками и въ лапоткахъ. Поглядѣвъ вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то въ домъ отца протоіерея, онѣ пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще разъ взглянули на друзей и потомъ сами стали смотрѣть на домъ отца протоіерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоіерея сѣли,— продолжалъ Оптимовъ.—У него теперь вишня поспѣла, такъ вотъ они и полетѣли клевать.

Изъ протопоповой калитки вышелъ самъ отецъ протоіерей Восьмистишіевъ и съ нимъ дьячокъ Евстигнѣй. Увидѣвъ обращенное въ его сторону вниманіе и не понимая, на что это смотрятъ люди, онъ остановился и, вмѣстѣ съ дьячкомъ, сталъ тоже глядѣть вверхъ, чтобы понять.

— Отецъ Паисій, надо полагать, на требу идетъ,—сказалъ Почешихинъ.—Помогай ему Богъ!

Въ пространствѣ между друзьями и отцомъ протоіереемъ прошли только-что выкупавшіеся въ рѣкѣ фабричные купца Пурова. Увидѣвъ отца Паисія, напрягавшаго свое вниманіе на высь поднебесную, и богомолокъ, которыя стояли неподвижно и тоже смотрѣли вверхъ, они остановились и стали глядѣть туда же. То же самое сдѣлалъ мальчикъ, ведшій нищаго-слѣпца, и мужикъ, несшій для свалки на площади боченокъ испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать, — сказалъ Почешихинъ. — Пожаръ, что ли? Да нѣтъ, не видать дыму! Эй. Кузьма! — крикнулъ онъ остановившемуся мужику. — Что тамъ случилось?

Мужикъ что-то отвѣтилъ, но Почешихинъ и Оптимовъ ничего не разслышали. У всѣхъ лавочныхъ дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшіе лабазъ купца Фертикулина, оставили свои лѣстницы и присоединились къ фабричнымъ. Пожарный, описывавшій босыми ногами круги на каланчѣ, остановился и, поглядѣвъ немного, спустился внизъ. Каланча осиротѣла. Это показалось подозрительнымъ.

— Ужъ не пожаръ ли гдѣ-нибудь? Да вы не толкайтесь! Чортъ свинячій!

— Гдѣ вы видите пожаръ? Какой пожаръ? Господа, разойдитесь! Васъ честью просятъ!

— Должно, внутри загорѣлось!

— Честью просить, а самъ руками тычетъ. Не махайте руками! Вы хоть и господинъ начальникъ, а вы не имѣете никакого полнаго права рукамъ волю давать!

— На мозоль наступилъ! А, чтобъ тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человѣка задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человѣка, ваше высокоблагородіе, задавило!

— Гдѣ? Разойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просятъ тебя, дубина!

— Мужиковъ толкай, а благородныхъ не смѣй трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто ихъ, чертей, проймешь добрымъ словомъ? Сидоровъ, сбѣгай-ка за Акимомъ Данилычемъ! Живо! Господа, вѣдь вамъ же плохо будетъ! Придетъ Акимъ Данилычъ, и вамъ же достанется! И ты тутъ, Парфенъ?! А еще тоже слѣпецъ, святой старецъ! Ничего не видитъ, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирновъ, запиши Парфена!

— Слушаю! И пуровскихъ прикажете записать? Вотъ этотъ самый, который щека распухши,—это пуровскій!

— Пуровскихъ не записывай покуда... Пуровъ завтра именинникъ!

Скворцы темной тучей поднялись надъ садомъ отца протоіерея, но Почешихинъ и Оптимовъ уже не видѣли ихъ; они стояли и все глядѣли вверхъ, стараясь понять, зачѣмъ собралась такая толпа и куда она смотритъ. Показался Акимъ Данилычъ. Что-то жуя и вытирая губы, онъ взревѣлъ и врѣзался въ толпу.

— Пожжарные, приготовьсь! Разойдитесь! Господинъ Оптимовъ, разойдитесь, вѣдь вамъ же плохо будетъ! Чѣмъ въ газеты на порядочныхъ людей писать разныя критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественнѣй! Добру-то не научатъ газеты!

— Прошу васъ не касаться гласности!—вспылилъ Оптимовъ.—Я литераторъ и не дозволю вамъ касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю васъ, какъ отца и благодѣтеля!

— Пожарные, лей!

— Воды нѣтъ, ваше высокоблаародіе!

— Не рразговаривать! Поѣзжайте за водой! Живааа!

— Не на чемъ ѣхать, ваше высокоблагородіе. Маіоръ на пожарныхъ лошадяхъ поѣхали ихнюю тетеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назадъ, чтобъ тебя черти взяли... Съѣлъ? Запиши-ка его, чорта!

— Карандашъ потерялся, ваше высокоблаародіе...

Толпа все увеличивалась и увеличивалась... Богъ знаетъ, до какихъ бы размѣровъ она выросла, если бы въ трактирѣ Грѣшкина не вздумали пробовать полученный надняхъ изъ Москвы новый органъ. Заслышавъ «Стрѣлочка», толпа ахнула и повалила къ трактиру. Такъ никто и не узналъ, почему собралась толпа, а Оптимовъ и Почешихинъ уже забыли о скворцахъ, истинныхъ виновникахъ происшествія. Черезъ часъ городъ былъ уже недвижимъ и тихъ, и виденъ былъ только одинъ-единственный человѣкъ — это пожарный, ходившій на каланчѣ...

Вечеромъ того же дня Акимъ Данилычъ сидѣлъ въ бакалейной лавкѣ Фертикулина, пилъ лимонадъ-газесъ съ коньякомъ и писалъ: «Кромѣ офиціальной бумаги, смѣю добавить, ваше —ство, и отъ себя нѣкоторое присовокупленіе. Отецъ и благодѣтель! Именно только молитвами вашей добродѣтельной супруги, живущей въ благорастворенной дачѣ близъ нашего города, дѣло не дошло до крайнихъ предѣловъ! Столько я вынесъ за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенскаго и пожарнаго маіора Портупеева не находитъ себѣ подходящаго названія. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать слабый человѣкъ, кромѣ добра ближнему ничего не желающій, и, сидя теперь среди домашняго очага своего, благодарю со слезами Того, Кто не допустилъ до кровопролитія. Виновные, за недостаткомъ уликъ, сидятъ пока взаперти, но думаю ихъ выпустить черезъ недѣльку. Отъ невѣжества преступили заповѣдь!»

# СОННАЯ ОДУРЬ.

Въ залѣ окружнаго суда идетъ засѣданіе. На скамьѣ подсудимыхъ господинъ среднихъ лѣтъ съ испитымъ лицомъ, обвиняемый въ растратѣ и подлогахъ. Тощій, узкогрудый секретарь читаетъ тихимъ теноркомъ обвинительный актъ. Онъ не признаетъ ни точекъ, ни запятыхъ, и его монотонное чтеніе похоже на жужжаніе пчелъ или журчанье ручейка. Подъ такое чтеніе хорошо мечтать, вспоминать, спать... Судьи, присяжные и публика нахохлились отъ скуки... Тишина. Изрѣдка только донесутся чьи-нибудь мѣрные шаги изъ судейскаго коридора, или осторожно кашлянетъ въ кулакъ зѣвающій присяжный...

Защитникъ подперъ свою кудрявую голову кулакомъ и тихо дремлетъ. Подъ вліяніемъ жужжанія секретаря, мысли его потеряли всякій порядокъ и бродятъ.

«Какой, однако, длинный носъ у этого судебнаго пристава,—думаетъ онъ, моргая отяжелѣвшими вѣками.—Нужно же было природѣ такъ изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннѣе, этакъ сажени двѣ-три, то, пожалуй, было бы тѣсно жить и пришлось бы дѣлать дома попросторнѣе...»

Защитникъ встряхиваетъ головой, какъ лошадь, которую укусила муха, и продолжаетъ думать:

«Что-то теперь у меня дома дѣлается? Въ эту пору обыкновенно всѣ бываютъ дома: и жена, и теща, и дѣти... Дѣтишки Колька и Зинка, навѣрное, теперь въ моемъ кабинетѣ... Колька стоитъ на креслѣ, упершя грудью о край стола и рисуетъ что-нибудь на моихъ бумагахъ. Нарисовалъ уже лошадь съ острой мордой и съ точкой вмѣсто глаза, человѣка съ протянутой рукой, кривой домикъ; а Зина стоитъ тутъ же, около стола, вытягиваетъ шею и старается увидѣть, что нарисовалъ ея братъ...

— Нарисуй папу!—проситъ она.

Колька принимается за меня. Человѣчекъ у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду—и папа готовъ. Потомъ Колька начинаетъ искать въ Сводѣ Законовъ картинокъ, а Зина хозяйничаетъ на столѣ. Попалась на глаза сонетка — звонятъ; видятъ чернильницу — нужно палецъ обмокнуть; если ящикъ въ столѣ не запертъ, то это значитъ, что нужно порыться въ немъ. Въ концѣ концовъ обоихъ осѣняетъ мысль, что оба они индѣйцы и что подъ моимъ столомъ они могутъ отлично прятаться отъ враговъ. Оба лѣзутъ подъ столъ, кричатъ, визжатъ и возятся тамъ до тѣхъ поръ, пока со стола не падаетъ лампа или вазочка... Охъ! А въ гостиной теперь навѣрное солидно прогуливается мамка съ третьимъ произведеніемъ... Произведеніе реветъ, реветъ... безъ конца реветъ!»

— «По текущимъ счетамъ Копелова,—жужжитъ секретарь:—Ачкасова, Знаковскаго и Чикиной проценты выданы не были, сумма же 1.425 рублей 41 копейка была приписана къ остатку 1883 года...»

«А можетъ-быть, у насъ уже обѣдаютъ!—плывутъ мысли у защитника.—За столомъ сидятъ теща, жена Надя, братъ жены Вася, дѣти... У тещи по обыкновенію на лицѣ тупая озабоченность и выраженіе достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще съ идеально-бѣлой, прозрачной кожицей на лицѣ, сидитъ за столомъ съ такимъ выраженіемъ, будто ее заставили насильно сидѣть; она ничего не ѣстъ и дѣлаетъ видъ, что больна. По лицу у нея, какъ у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нея на рукахъ дѣти, кухня, бѣлье мужа, гости, моль въ шубахъ, пріемъ гостей, игра на піанино! Какъ много обязанностей и какъ мало работы! Надя и ея мать не дѣлаютъ рѣшительно ничего. Если отъ скуки польютъ цвѣты или побранятся съ кухаркой, то потомъ два дня стонутъ отъ утомленія и говорятъ о каторгѣ... Братъ жены, Вася, тихо жуетъ и угрюмо молчитъ, такъ какъ получилъ сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихій, услужливый, признательный, но изнашиваетъ такую массу сапогъ, брюкъ и книгъ, что просто бѣда... Дѣтишки, конечно, капризничаютъ. Требуютъ уксусу и перцу, жалуются другъ на друга, то и дѣло роняютъ ложки. Даже при воспоминаніи голова кружится! Жена и теща зорко блюдутъ хорошій тонъ... Храни Богъ

положить локоть на столъ, взять ножъ во весь кулакъ, или ѣсть съ ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слѣва. Всѣ кушанья, даже ветчина съ горошкомъ, пахнутъ пудрой и монпансье. Все не вкусно, приторно, мизерно... Нѣтъ и тѣни добрыхъ щей и каши, которыя я ѣлъ, когда былъ холостякомъ. Теща и жена все время говорятъ по-французски, но когда рѣчь заходитъ обо мнѣ, то теща начинаетъ говорить по-русски, ибо такой безчувственный, безсердечный, безстыдный, грубый человѣкъ, какъ я, недостоинъ, чтобы о немъ говорили на нѣжномъ французскомъ языкѣ...

— Бѣдный Мишель, вѣроятно, проголодался,— говоритъ жена. — Выпилъ утромъ стаканъ чаю безъ хлѣба, такъ и побѣжалъ въ судъ...

— Не безпокойся, матушка!—злорадствуетъ теща.—Такой не проголодается! Небось, ужъ пять разъ въ буфетъ бѣгалъ. Устроили себѣ въ судѣ буфетъ и каждыя пять минутъ просятъ у предсѣдателя, нельзя ли перерывъ сдѣлать.

Послѣ обѣда теща и жена толкуютъ о сокращеніи расходовъ... Считаютъ, записываютъ и находятъ въ концѣ концовъ, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинаютъ считать съ ней вмѣстѣ, попрекаютъ ее, поднимается брань изъ-за пятака... Слезы, ядовитыя слова... Потомъ уборка комнатъ, перестановка мебели—и все отъ нечего дѣлать».

— «Коллежскій асессоръ Черепковъ показалъ,—жужжитъ секретарь,—что хотя ему и была прислана квитанція № 811, но, тѣмъ не менѣе, слѣдуемые ему 46 р. 2 к. онъ не получалъ, о чемъ и заявилъ тогда же...»

«Какъ подумаешь, да разсудишь, да взвѣсишь всѣ обстоятельства,—продолжаетъ думать защитникъ,—и, право, махнешь на все рукой и все пошлешь къ чорту... Какъ истомишься, ошалѣешь, угоришь за весь день въ этомъ чаду скуки и пошлости, то поневолѣ захочешь дать своей душѣ хоть одну свѣтлую минуту отдыха. Заберешься къ Наташѣ или, когда деньги есть, къ цыганамъ — и все забудешь... честное слово, все забудешь! Чортъ его знаетъ гдѣ, далеко за городомъ, въ отдѣльномъ кабинетѣ, развалишься на софѣ, азіаты поютъ, скачутъ, галдятъ, и чувствуешь, какъ всю душу твою переворачиваетъ голосъ этой обаятельной, этой страшной, бѣшеной цыганки Глаши...

Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза... спина!»

А секретарь жужжитъ, жужжитъ, жужжитъ... Въ глазахъ защитника начинаетъ все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходятъ въ самихъ себя, публика рябитъ, потолокъ то опускается, то поднимается... Мысли тоже прыгаютъ и наконецъ обрываются... Надя, теща, длинный носъ судебнаго пристава, подсудимый, Глаша—все это прыгаетъ, вертится и уходитъ далеко, далеко, далеко...

— Хорошо...—тихо шепчетъ защитникъ, засыпая.—Хорошо... Лежишь на софѣ, а кругомъ уютно... тепло... Глаша поетъ...

— Господинъ защитникъ!—раздается рѣзкій окликъ.

«Хорошо... тепло... Нѣтъ ни тещи, ни кормилицы... ни супа, отъ котораго пахнетъ пудрой... Глаша добрая, хорошая...»

— Господинъ защитникъ! — раздается тотъ же рѣзкій голосъ.

Защитникъ вздрагиваетъ и открываетъ глаза. Прямо, въ упоръ на него, глядятъ черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочныя губы, сіяетъ смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсѣмъ проснувшійся, полагая, что это сонъ или привидѣніе, онъ медленно поднимается и, разинувъ ротъ, смотритъ на цыганку.

— Господинъ защитникъ, не желаете ли спросить что-нибудь у свидѣтельницы?—спрашиваетъ предсѣдатель.

— Ахъ... да! Это свидѣтельница... Нѣтъ, не... не желаю. Ничего не имѣю.

Защитникъ встряхиваетъ головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это въ самомъ дѣлѣ стоитъ цыганка Глаша, что она вызвана сюда въ качествѣ свидѣтельницы.

— Впрочемъ, виноватъ, я имѣю кое-что спросить,— говоритъ онъ громко.—Свидѣтельница, — обращается онъ къ Глашѣ:—вы служите въ цыганскомъ хорѣ Кузьмичова, скажите, какъ часто въ вашемъ ресторанѣ кутилъ обвиняемый? Такъ-съ... А не помните ли, самъ ли онъ за себя платилъ всякій разъ, или же случалось, что и другіе платили за него? Благодарю васъ... достаточно.

Онъ выпиваетъ два стакана воды, и сонная одурь проходитъ совсѣмъ...

# ТАЙНА.

Вечеромъ перваго дня Пасхи дѣйствительный статскій совѣтникъ Навагинъ, вернувшись съ визитовъ, взялъ въ передней листъ, на которомъ расписывались визитеры, и вмѣстѣ съ нимъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Разоблачившись и выпивъ зельтерской, онъ усѣлся поудобнѣй на кушеткѣ и сталъ читать подписи на листѣ. Когда его взглядъ достигъ до середины длиннаго ряда подписей, онъ вздрогнулъ, удивленно фыркнулъ и, изобразивъ на лицѣ своемъ крайнее изумленіе, щелкнулъ пальцами.

— Опять!—сказалъ онъ, хлопнувъ себя по колѣну.—Это удивительно! Опять! Опять расписался этотъ, чортъ его знаетъ, кто онъ такой, Ѳедюковъ! Опять!

Среди многочисленныхъ подписей находилась на листѣ подпись какого-то Ѳедюкова. Что за птица этотъ Ѳедюковъ,— Навагинъ рѣшительно не зналъ. Онъ перебралъ въ памяти всѣхъ своихъ знакомыхъ, родственниковъ и подчиненныхъ, припоминалъ свое отдаленное прошлое, но никакъ не могъ вспомнить ничего даже похожаго на Ѳедюкова. Страннѣе же всего было то, что этотъ incognito-Ѳедюковъ въ послѣднія тринадцать лѣтъ аккуратно расписывался каждое Рождество и Пасху. Кто онъ, откуда и каковъ онъ изъ себя,— не знали ни Навагинъ, ни его жена, ни швейцаръ.

— Удивительно!—изумлялся Навагинъ, шагая по кабинету.—Странно и непонятно! Какая-то кабалистика! Позвать сюда швейцара!—крикнулъ онъ.—Чертовски странно! Нѣтъ, я все-таки узнаю, кто онъ! Послушай, Григорій,—

обратился онъ къ вошедшему швейцару,—опять расписался этотъ Ѳедюковъ! Ты видѣлъ его?

— Никакъ нѣтъ...

— Помилуй, да вѣдь онъ же расписался! Значитъ, онъ былъ въ передней? Былъ?

— Никакъ нѣтъ, не былъ.

— Какъ же онъ могъ расписаться, если онъ не былъ?

— Не могу знать.

— Кому же знать? Ты зѣваешь тамъ въ передней! Припомни-ка, можетъ-быть, входилъ кто-нибудь незнакомый! Подумай!

— Нѣтъ, вашество, незнакомыхъ никого не было. Чиновники наши были, къ ея превосходительству баронесса пріѣзжала, священники съ крестомъ приходили, а больше никого не было...

— Что жъ, онъ невидимкой расписался, что ли?

— Не могу знать, но только Ѳедюкова никакого не было. Это я хоть передъ образомъ...

— Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но!—задумался Навагинъ.—Это даже смѣшно. Человѣкъ расписывается уже тринадцать лѣтъ, и ты никакъ не можешь узнать, кто онъ. Можетъ-быть, это чья-нибудь шутка? Можетъ-быть, какой-нибудь чиновникъ вмѣстѣ со своей фамиліей подписываетъ, ради курьеза, и этого Ѳедюкова?

И Навагинъ сталъ разсматривать подпись Ѳедюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манеръ, съ завитушками и закорючками, по почерку совсѣмъ не походила на остальныя подписи. Находилась она тотчасъ же подъ подписью губернскаго секретаря Штучкина, запуганнаго и малодушнаго человѣчка, который навѣрное умеръ бы съ перепуга, если бы позволилъ себѣ такую дерзкую шутку.

— Опять таинственный Ѳедюковъ расписался!—сказалъ Навагинъ, входя къ женѣ.—Опять я не добился, кто это такой!

М-me Навагина была спиритка, а потому всѣ понятныя и непонятныя явленія въ природѣ объясняла очень просто.

— Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго,—сказала она.—Ты вотъ не вѣришь, а я говорила и говорю: въ природѣ очень много сверхъестественнаго, чего никогда не постигнетъ

нашъ слабый умъ! Я увѣрена, что этотъ Ѳедюковъ—духъ, который тебѣ симпатизируетъ... На твоемъ мѣстѣ я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздоръ, вздоръ!

Навагинъ былъ свободенъ отъ предразсудковъ, но занимавшее его явленіе было такъ таинственно, что поневолѣ въ его голову полѣзла всякая чертовщина. Весь вечеръ онъ думалъ о томъ, что incognito-Ѳедюковъ есть духъ какого-нибудь давно умершаго чиновника, прогнаннаго со службы предками Навагина, а теперь мстящаго потомку; быть-можетъ, это родственникъ какого-нибудь канцеляриста, уволеннаго самимъ Навагинымъ, или дѣвицы, соблазненной имъ...

Всю ночь Навагину снился старый, тощій чиновникъ въ потертомъ вицмундирѣ, съ желтолимоннымъ лицомъ, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновникъ говорилъ что-то могильнымъ голосомъ и грозилъ костлявымъ пальцемъ.

У Навагина едва не сдѣлалось воспаленіе мозга. Двѣ недѣли онъ молчалъ, хмурился и все ходилъ да думалъ. Въ концѣ концовъ онъ поборолъ свое скептическое самолюбіе и, войдя къ женѣ, сказалъ глухо:

— Зина, вызови Ѳедюкова!

Спиритка обрадовалась, велѣла принести картонный листъ и блюдечко, посадила рядомъ съ собой мужа и стала священнодѣйствовать. Ѳедюковъ не заставилъ долго ждать себя...

— Что тебѣ нужно?—спросилъ Навагинъ.

— Кайся...—отвѣтило блюдечко.

— Кѣмъ ты былъ на землѣ?

— Заблуждающійся...

— Вотъ видишь!—шепнула жена.—А ты не вѣрилъ!

Навагинъ долго бесѣдовалъ съ Ѳедюковымъ, потомъ вызывалъ Наполеона, Ганнибала, Аскоченскаго, свою тетку Клавдію Захаровну, и всѣ они давали ему короткіе, но вѣрные и полные глубокаго смысла отвѣты. Возился онъ съ блюдечкомъ часа четыре и уснулъ успокоенный, счастливый, что познакомился съ новымъ для него, таинственнымъ міромъ. Послѣ этого онъ каждый день занимался спиритизмомъ и въ присутствіи объяснялъ чиновникамъ, что въ природѣ вообще очень много сверхъестественнаго, чудес-

наго, на что нашимъ ученымъ давно бы слѣдовало обратить вниманіе. Гипнотизмъ, медіумизмъ, бишопизмъ, спиритизмъ, четвертое измѣреніе и прочіе туманы овладѣли имъ совершенно, такъ что по цѣлымъ днямъ онъ, къ великому удовольствію своей супруги, читалъ спиритическія книги, или же занимался блюдечкомъ, столоверченіями и толкованіями сверхъестественныхъ явленій. Съ его легкой руки занялись спиритизмомъ и всѣ его подчиненные, да такъ усердно, что старый экзекуторъ сошелъ съ ума и послалъ однажды съ курьеромъ такую телеграмму: «Въ адъ, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь въ нечистаго духа. Что дѣлать? Отвѣтъ уплаченъ. Василій Кринолинскій».

Прочитавъ не одну сотню спиритическихъ брошюръ, Навагинъ почувствовалъ сильное желаніе самому написать что-нибудь. Пять мѣсяцевъ онъ сидѣлъ и сочинялъ, и въ концѣ концовъ написалъ громадный рефератъ подъ заглавіемъ: «И мое мнѣніе». Кончивъ эту статью, онъ порѣшилъ отправить ее въ спиритическій журналъ.

День, въ который предположено было отправить статью, ему очень памятенъ. Навагинъ помнитъ, что въ этотъ незабвенный день у него въ кабинетѣ находились секретарь, переписывавшій набѣло статью, и дьячокъ мѣстнаго прихода, позванный по дѣлу. Лицо Навагина сіяло. Онъ любовно оглядѣлъ свое дѣтище, потрогалъ межъ пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказалъ секретарю:

— Я полагаю, Филиппъ Сергѣичъ, заказнымъ отправить. Этакъ вѣрнѣе...—И поднявъ глаза на дьячка, онъ сказалъ:—Васъ я велѣлъ позвать по дѣлу, любезный. Я отдаю младшаго сына въ гимназію и мнѣ нужно метрическое свидѣтельство, только нельзя ли поскорѣе.

— Очень хорошо-съ, ваше превосходительство!—сказалъ дьячокъ, кланяясь.—Очень хорошо-съ! Понимаю-съ...

— Нельзя ли къ завтрему приготовить?

— Хорошо-съ, ваше превосходительство, будьте покойны-съ! Завтра же будетъ готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь въ церковь передъ вечерней. Я тамъ буду. Прикажите спросить Ѳедюкова, я всегда тамъ...

— Какъ?!—крикнулъ генералъ, блѣднѣя.

— Ѳедюкова-съ.

— Вы... вы Ѳедюковъ?— спросилъ Навагинъ, тараща на него глаза.

— Точно такъ, Ѳедюковъ.

— Вы... вы расписывались у меня въ передней?

— Точно такъ,—сознался дьячокъ и сконфузился.—Я, ваше превосходительство, когда мы съ крестомъ ходимъ, всегда у вельможныхъ особъ расписуюсь... Люблю это самое... Какъ увижу, извините, листъ въ передней, такъ и тянетъ меня имя свое записать...

Въ нѣмомъ отупѣніи, ничего не понимая, не слыша, Навагинъ зашагалъ по кабинету. Онъ потрогалъ портьеру у двери, раза три взмахнулъ правой рукой, какъ балетный jeune-premier, видящій *ее,* посвисталъ, безсмысленно улыбнулся, указалъ въ пространство пальцемъ.

— Такъ я сейчасъ пошлю статью, ваше превосходительство,— сказалъ секретарь.

Эти слова вывели Навагина изъ забытья. Онъ тупо оглядѣлъ секретаря и дьячка, вспомнилъ и, раздраженно топнувъ ногой, крикнулъ дребезжащимъ, высокимъ теноромъ:

— Оставьте меня въ покоѣ! А-ас-тавь-те меня въ покоѣ, говорю я вамъ! Что вамъ нужно отъ меня, не понимаю?

Секретарь и дьячокъ вышли изъ кабинета и были уже на улицѣ, а онъ все еще топалъ ногами и кричалъ:

— Аставьте меня въ покоѣ! Что вамъ нужно отъ меня, не понимаю? А-ас-тавьте меня въ покоѣ!

# МСТИТЕЛЬ.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Сигаевъ вскорѣ послѣ того, какъ засталъ свою жену на мѣстѣ преступленія, стоялъ въ оружейномъ магазинѣ Шмуксъ и К° и выбиралъ себѣ подходящій револьверъ. Лицо его выражало гнѣвъ. скорбь и безповоротную рѣшимость.

«Я знаю, что мнѣ дѣлать...—думалъ онъ.—Семейныя основы поруганы, честь затоптана въ грязь, порокъ торжествуетъ, а потому я, какъ гражданинъ и честный человѣкъ. долженъ явиться мстителемъ. Сначала убью ее и любовника. а потомъ себя...»

Онъ еще не выбралъ револьвера и никого еще не убилъ, но его воображеніе уже рисовало три окровавленныхъ трупа, размозженные черепа. текущій мозгъ, сумятицу. толпу зѣвакъ, вскрытіе... Съ злорадствомъ оскорбленнаго человѣка онъ воображалъ себѣ ужасъ родни и публики. агонію измѣнницы и мысленно уже читалъ передовыя статьи, трактующія о разложеніи семейныхъ основъ.

Приказчикъ магазина—подвижная, французистая фигурка съ брюшкомъ и въ бѣломъ жилетѣ—раскладывалъ передъ нимъ револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорилъ:

— Я совѣтовалъ бы вамъ, мсье, взять вотъ этотъ прекрасный револьверъ. Система Смитъ и Вессонъ. Послѣднее слово огнестрѣльной науки. Тройного дѣйствія, съ экстракторомъ, бьетъ на шестьсотъ шаговъ, центральнаго боя. Обращаю, мсье, ваше вниманіе на чистоту отдѣлки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаемъ по десятку

нашъ слабый умъ! Я увѣрена, что этотъ Ѳедюковъ—духъ, который тебѣ симпатизируетъ... На твоемъ мѣстѣ я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздоръ, вздоръ!

Навагинъ былъ свободенъ отъ предразсудковъ, но занимавшее его явленіе было такъ таинственно, что поневолѣ въ его голову полѣзла всякая чертовщина. Весь вечеръ онъ думалъ о томъ, что incognito-Ѳедюковъ есть духъ какого-нибудь давно умершаго чиновника, прогнаннаго со службы предками Навагина, а теперь мстящаго потомку; быть-можетъ, это родственникъ какого-нибудь канцеляриста, уволеннаго самимъ Навагинымъ, или дѣвицы, соблазненной имъ...

Всю ночь Навагину снился старый, тощій чиновникъ въ потертомъ вицмундирѣ, съ желтолимоннымъ лицомъ, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновникъ говорилъ что-то могильнымъ голосомъ и грозилъ костлявымъ пальцемъ.

У Навагина едва не сдѣлалось воспаленіе мозга. Двѣ недѣли онъ молчалъ, хмурился и все ходилъ да думалъ. Въ концѣ концовъ онъ поборолъ свое скептическое самолюбіе и, войдя къ женѣ, сказалъ глухо:

— Зина, вызови Ѳедюкова!

Спиритка обрадовалась, велѣла принести картонный листъ и блюдечко, посадила рядомъ съ собой мужа и стала священнодѣйствовать. Ѳедюковъ не заставилъ долго ждать себя...

— Что тебѣ нужно?—спросилъ Навагинъ.

— Кайся...—отвѣтило блюдечко.

— Кѣмъ ты былъ на землѣ?

— Заблуждающійся...

— Вотъ видишь!—шепнула жена.—А ты не вѣрилъ!

Навагинъ долго бесѣдовалъ съ Ѳедюковымъ, потомъ вызывалъ Наполеона, Ганнибала, Аскоченскаго, свою тетку Клавдію Захаровну, и всѣ они давали ему короткіе, но вѣрные и полные глубокаго смысла отвѣты. Возился онъ съ блюдечкомъ часа четыре и уснулъ успокоенный, счастливый, что познакомился съ новымъ для него, таинственнымъ міромъ. Послѣ этого онъ каждый день занимался спиритизмомъ и въ присутствіи объяснялъ чиновникамъ, что въ природѣ вообще очень много сверхъестественнаго, чудес-

наго, на что нашимъ ученымъ давно бы слѣдовало обратить вниманіе. Гипнотизмъ, медіумизмъ, бишопизмъ, спиритизмъ, четвертое измѣреніе и прочіе туманы овладѣли имъ совершенно, такъ что по цѣлымъ днямъ онъ, къ великому удовольствію своей супруги, читалъ спиритическія книги, или же занимался блюдечкомъ, столоверченіями и толкованіями сверхъестественныхъ явленій. Съ его легкой руки занялись спиритизмомъ и всѣ его подчиненные, да такъ усердно, что старый экзекуторъ сошелъ съ ума и послалъ однажды съ курьеромъ такую телеграмму: «Въ адъ, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь въ нечистаго духа. Что дѣлать? Отвѣтъ уплаченъ. Василій Кринолинскій».

Прочитавъ не одну сотню спиритическихъ брошюръ, Навагинъ почувствовалъ сильное желаніе самому написать что-нибудь. Пять мѣсяцевъ онъ сидѣлъ и сочинялъ, и въ концѣ концовъ написалъ громадный рефератъ подъ заглавіемъ: «И мое мнѣніе». Кончивъ эту статью, онъ порѣшилъ отправить ее въ спиритическій журналъ.

День, въ который предположено было отправить статью, ему очень памятенъ. Навагинъ помнитъ, что въ этотъ незабвенный день у него въ кабинетѣ находились секретарь, переписывавшій набѣло статью, и дьячокъ мѣстнаго прихода, позванный по дѣлу. Лицо Навагина сіяло. Онъ любовно оглядѣлъ свое дѣтище, потрогалъ межъ пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказалъ секретарю:

— Я полагаю, Филиппъ Сергѣичъ, заказнымъ отправить. Этакъ вѣрнѣе...—И поднявъ глаза на дьячка, онъ сказалъ:—Васъ я велѣлъ позвать по дѣлу, любезный. Я отдаю младшаго сына въ гимназію и мнѣ нужно метрическое свидѣтельство, только нельзя ли поскорѣе.

— Очень хорошо-съ, ваше превосходительство!—сказалъ дьячокъ, кланяясь.—Очень хорошо-съ! Понимаю-съ...

— Нельзя ли къ завтрему приготовить?

— Хорошо-съ, ваше превосходительство, будьте покойны-съ! Завтра же будетъ готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь въ церковь передъ вечерней. Я тамъ буду. Прикажите спросить Ѳедюкова, я всегда тамъ...

— Какъ?!—крикнулъ генералъ, блѣднѣя.

— Ѳедюкова-съ.

— Вы... вы Ѳедюковъ?—спросилъ Навагинъ, тараща на него глаза.

— Точно такъ, Ѳедюковъ.

— Вы... вы расписывались у меня въ передней?

— Точно такъ,—сознался дьячокъ и сконфузился.—Я, ваше превосходительство, когда мы съ крестомъ ходимъ, всегда у вельможныхъ особъ расписуюсь... Люблю это самое... Какъ увижу, извините, листъ въ передней, такъ и тянетъ меня имя свое записать...

Въ нѣмомъ отупѣніи, ничего не понимая, не слыша, Навагинъ зашагалъ по кабинету. Онъ потрогалъ портьеру у двери, раза три взмахнулъ правой рукой, какъ балетный jeune-premier, видящій *ее,* посвисталъ, безсмысленно улыбнулся, указалъ въ пространство пальцемъ.

— Такъ я сейчасъ пошлю статью, ваше превосходительство,—сказалъ секретарь.

Эти слова вывели Навагина изъ забытья. Онъ тупо оглядѣлъ секретаря и дьячка, вспомнилъ и, раздраженно топнувъ ногой, крикнулъ дребезжащимъ, высокимъ теноромъ:

— Оставьте меня въ покоѣ! А-ас-тавь-те меня въ покоѣ, говорю я вамъ! Что вамъ нужно отъ меня, не понимаю?

Секретарь и дьячокъ вышли изъ кабинета и были уже на улицѣ, а онъ все еще топалъ ногами и кричалъ:

— Аставьте меня въ покоѣ! Что́ вамъ нужно отъ меня, не понимаю? А-ас-тавьте меня въ покоѣ!

# МСТИТЕЛЬ.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Сигаевъ вскорѣ послѣ того, какъ засталъ свою жену на мѣстѣ преступленія, стоялъ въ оружейномъ магазинѣ Шмуксъ и К° и выбиралъ себѣ подходящій револьверъ. Лицо его выражало гнѣвъ, скорбь и безповоротную рѣшимость.

«Я знаю, что мнѣ дѣлать...—думалъ онъ.—Семейныя основы поруганы, честь затоптана въ грязь, порокъ торжествуетъ, а потому я, какъ гражданинъ и честный человѣкъ, долженъ явиться мстителемъ. Сначала убью ее и любовника, а потомъ себя...»

Онъ еще не выбралъ револьвера и никого еще не убилъ, но его воображеніе уже рисовало три окровавленныхъ трупа, размозженные черепа, текущій мозгъ, сумятицу, толпу зѣвакъ, вскрытіе... Съ злорадствомъ оскорбленнаго человѣка онъ воображалъ себѣ ужасъ родни и публики, агонію измѣнницы и мысленно уже читалъ передовыя статьи, трактующія о разложеніи семейныхъ основъ.

Приказчикъ магазина—подвижная, французистая фигурка съ брюшкомъ и въ бѣломъ жилетѣ—раскладывалъ передъ нимъ револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорилъ:

— Я совѣтовалъ бы вамъ, мсье, взять вотъ этотъ прекрасный револьверъ. Система Смитъ и Вессонъ. Послѣднее слово огнестрѣльной науки. Тройного дѣйствія, съ экстракторомъ, бьетъ на шестьсотъ шаговъ, центральнаго боя. Обращаю, мсье, ваше вниманіе на чистоту отдѣлки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаемъ по десятку

для разбойниковъ, волковъ и любовниковъ. Очень вѣрный и сильный бой, бьетъ на большой дистанціи и убиваетъ навылетъ жену и любовника. Что касается самоубійцъ, то, мсье, я не знаю лучшей системы...

Приказчикъ поднималъ и опускалъ курки, дышалъ на стволы, прицѣливался и дѣлалъ видъ, что задыхается отъ восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что самъ онъ охотно пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ, если бы только обладалъ револьверомъ такой прекрасной системы, какъ Смитъ и Вессонъ.

— А какая цѣна?—спросилъ Сигаевъ.

— Сорокъ пять рублей, мсье.

— Гм!.. для меня это дорого!

— Въ такомъ случаѣ, мсье, я предложу вамъ другой системы, подешевле. Вотъ, не угодно ли посмотрѣть? Выборъ у насъ громадный, на разныя цѣны... Напримѣръ, этотъ револьверъ системы Лефоше стоитъ только восемнадцать рублей, но... (приказчикъ презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже устарѣла. Ее покупаютъ теперь только умственные пролетаріи и психопатки. Застрѣлиться или убить жену изъ Лефоше считается теперь знакомъ дурного тона. Хорошій тонъ признаетъ только Смита и Вессонъ.

— Мнѣ нѣтъ надобности ни стрѣляться, ни убивать,— угрюмо солгалъ Сигаевъ.—Я покупаю это просто для дачи... пугать воровъ...

— Намъ нѣтъ дѣла, для чего вы покупаете,—улыбнулся приказчикъ, скромно опуская глаза.—Если бы въ каждомъ случаѣ мы доискивались причинъ, то намъ, мсье, пришлось бы закрыть магазинъ. Для пуганья воровъ Лефоше не годится, мсье, потому что онъ издаетъ негромкій, глухой звукъ, а я предложилъ бы вамъ обыкновенный капсюльный пистолетъ Мортимера, такъ-называемый дуэльный...

«А не вызвать ли мнѣ его на дуэль?—мелькнуло въ головѣ Сигаева.—Впрочемъ, много чести... Такихъ скотовъ убиваютъ, какъ собакъ...»

Приказчикъ, граціозно поворачиваясь и сѣменя ножками, не переставая улыбаться и болтать, положилъ передъ нимъ цѣлую кучу револьверовъ. Аппетитнѣе и внушительнѣе всѣхъ выглядѣлъ Смитъ и Вессонъ. Сигаевъ взялъ въ руки одинъ револьверъ этой системы, тупо уставился на него

и погрузился въ раздумье. Воображеніе его рисовало, какъ онъ размозжаетъ черепа, какъ кровь рѣкою течетъ по ковру и паркету, какъ дрыгаетъ ногой умирающая измѣнница... Но для его негодующей души было мало этого. Кровавыя картины, вопль и ужасъ его не удовлетворяли... Нужно было придумать что-нибудь болѣе ужасное.

«Вотъ что, я убью его и себя,—придумалъ онъ.—а ее оставлю жить. Пусть она чахнетъ отъ угрызеній совѣсти и презрѣнія окружающихъ. Это для такой нервной натуры, какъ она, гораздо мучительнѣе смерти...»

И онъ представилъ себѣ свои похороны: онъ, оскорбленный, лежитъ въ гробу, съ кроткой улыбкой на устахъ, а она, блѣдная, замученная угрызеніями совѣсти, идетъ за гробомъ, какъ Ніобея, и не знаетъ, куда дѣваться отъ уничтожающихъ, презрительныхъ взглядовъ, какіе бросаетъ на нее возмущенная толпа...

— Я вижу, мсье, что вамъ нравится Смитъ и Вессонъ,—перебилъ приказчикъ его мечтанія.—Если онъ кажется вамъ дорогъ, то извольте, я уступлю пять рублей... Впрочемъ, у насъ еще есть другія системы, подешевле.

Французистая фигурка граціозно повернулась и достала съ полокъ еще дюжину футляровъ съ револьверами.

— Вотъ, мсье, цѣна тридцать рублей. Это не дорого, тѣмъ болѣе, что курсъ страшно понизился, а таможенныя пошлины, мсье, повышаются каждый часъ. Мсье, клянусь Богомъ, я консерваторъ, но и я уже начинаю роптать! Помилуйте, курсъ и таможенный тарифъ сдѣлали то, что теперь оружіе могутъ пріобрѣтать только богачи! Бѣднякамъ осталось только тульское оружіе и фосфорныя спички, а тульское оружіе—это несчастье! Стрѣляешь изъ тульскаго револьвера въ жену, а попадаешь себѣ въ лопатку...

Сигаеву вдругъ стало обидно и жаль, что онъ будетъ мертвъ и не увидитъ мученій измѣнницы. Месть тогда лишь сладка, когда имѣешь возможность видѣть и осязать ея плоды, а что толку, если онъ будетъ лежать въ гробу и ничего не сознавать.

«Не сдѣлать ли мнѣ такъ,—раздумывалъ онъ.—Убью его, потомъ побуду на похоронахъ, погляжу, а послѣ похоронъ себя убью... Впрочемъ, меня до похоронъ арестуютъ и отнимутъ оружіе... Итакъ: убью его, она останется въ живыхъ, я... я до поры до времени не убиваю себя, а пойду подъ

для разбойниковъ, волковъ и любовниковъ. Очень в
и сильный бой, бьетъ на большой дистанціи и уби
навылетъ жену и любовника. Что касается самоубійц
мсье, я не знаю лучшей системы...

Приказчикъ поднималъ и опускалъ курки, дышал
стволы, прицѣливался и дѣлалъ видъ, что задыхаетс
восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно бы
думать, что самъ онъ охотно пустилъ бы себѣ пул
лобъ, если бы только обладалъ револьверомъ такой
красной системы, какъ Смитъ и Вессонъ.

— А какая цѣна?—спросилъ Сигаевъ.

— Сорокъ пять рублей, мсье.

— Гм!.. для меня это дорого!

— Въ такомъ случаѣ, мсье, я предложу вамъ дру
стемы, подешевле. Вотъ, не угодно ли посмотрѣть? В
у насъ громадный, на разныя цѣны... Напримѣръ,
револьверъ системы Лефоше стоитъ только восемн
рублей, но... (приказчикъ презрительно поморщился)
мсье, эта система уже устарѣла. Ее покупаютъ
только умственные пролетаріи и психопатки. Застрѣ
или убить жену изъ Лефоше считается теперь зі
дурного тона. Хорошій тонъ признаетъ только См
Вессонъ.

— Мнѣ нѣтъ надобности ни стрѣляться, ни уби
угрюмо солгалъ Сигаевъ.—Я покупаю это просто для
пугать воровъ...

— Намъ нѣтъ дѣла, для чего вы покупаете,—уль
приказчикъ, скромно опуская глаза.—Если бы въ к
случаѣ мы доискивались причинъ, то намъ, мсье, щ
бы закрыть магазинъ. Для пуганья воровъ Лефоше
дится, мсье, потому что онъ издаетъ негромкій,
звукъ, а я предложилъ бы вамъ обыкновенный капс
пистолетъ Мортимера, такъ-называемый дуэльный..

«А не вызвать ли мнѣ его на дуэль?—мелькнул
ловѣ Сигаева.—Впрочемъ, много чести... Такихъ
убиваютъ, какъ собакъ... »

Приказчикъ, граціозно поворачиваясь и сѣменя и
не переставая улыбаться и болтать, положилъ пере
цѣлую кучу револьверовъ. Аппетитнѣе и
всѣхъ выглядѣлъ Смитъ и Вессон
одинъ револьверъ этой си стемы

й
а
я,

- я

обы
бхо-
огля-
ле, и
около

зялъ сѣтку
ышелъ изъ

# ЗАБЛУДШІЕ.

Дачная мѣстность, окутанная ночнымъ мракомъ. На деревенской колокольнѣ бьетъ часъ. Присяжные повѣренные Козявкинъ и Лаевъ, оба въ отмѣнномъ настроеніи и слегка пошатываясь, выходятъ изъ лѣсу и направляются къ дачамъ.

— Ну, слава Создателю, пришли...—говоритъ Козявкинъ, переводя духъ. — Въ нашемъ положеніи пройти пѣхтурой пять верстъ отъ полустанка — подвигъ. Страшно умаялся! И, какъ на зло, ни одного извозчика...

— Голубчикъ, Петя... не могу! Если черезъ пять минутъ я не буду въ постели, то умру, кажется...

— Въ по-сте-ли! Ну, это шалишь, братъ! Мы сначала поужинаемъ, выпьемъ красненькаго, а потомъ ужъ и въ постель. Мы съ Вѣрочкой не дадимъ тебѣ спать... А хорошо, братецъ ты мой, быть женатымъ! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчасъ къ себѣ домой утомленный, замученный... меня встрѣтитъ любящая жена, поноитъ чайкомъ, дастъ поѣсть и, въ благодарность за мой трудъ, за любовь, взглянетъ на меня своими черненькими глазенками такъ ласково и привѣтливо, что забуду я, братецъ ты мой, и усталость, и кражу со взломомъ, и судебную палату, и кассаціонный департаментъ... Хорошо!

— Но... у меня, кажется, ноги отломались... Я едва иду... Пить страшно хочется...

— Ну, вотъ мы и дома.

Пріятели подходятъ къ одной изъ дачъ и останавливаются передъ крайнимъ окномъ.

— Дачка славная,—говоритъ Козявкинъ.—Вотъ завтра увидишь, какіе здѣсь виды! Темно въ окнахъ. Стало-быть, Вѣрочка уже легла, не захотѣла дожидаться. Лежитъ и, должно-быть, мучится, что меня до сихъ поръ нѣтъ... (пихаетъ тростью окно, которое отворяется). Этакая вѣдь безстрашная, ложится въ постель и не запираетъ оконъ (сни-

маетъ крылатку и бросаетъ ее вмѣстѣ съ портфелемъ въ окно). Жарко! Давай-ка затянемъ серенаду, посмѣшимъ ее... (поетъ): «Мѣсяцъ плыветъ по ночнымъ небесамъ... Вѣтерочекъ чуть-чуть дышитъ... вѣтерочекъ чуть колышетъ»... Пой, Алеша! Вѣрочка, спѣть тебѣ серенаду Шуберта? (поетъ): «Пѣ-ѣснь моя-я-я... лети-итъ съ мольбо-о-о-ю»... (голосъ обрывается судорожнымъ кашлемъ). Тьфу! Вѣрочка, скажика Аксиньѣ, чтобы она отперла намъ калитку! (пауза). Вѣрочка! Не лѣнись же, встань, милая! (становится на камень и глядитъ въ окно). Вѣрунчикъ, мумочка моя, веревьюнчикъ... ангелочекъ, жена моя безподобная, встань и скажи Аксиньѣ, чтобы она отперла намъ калитку! Вѣдь не спишь же! Мамочка, ей-Богу, мы такъ утомлены и обезсилены, что намъ вовсе не до шутокъ. Вѣдь мы пѣшкомъ отъ станціи шли! Да ты слышишь, или нѣтъ? А, чортъ возьми! (дѣлаетъ попытку влѣзть въ окно и срывается). Можетъ-быть, гостю непріятны эти шутки! Ты, я вижу, Вѣра, такая же институтка, какъ была, все бы тебѣ шалить...

— А можетъ-быть, Вѣра Степановна спитъ! — говоритъ Лаевъ.

— Не спитъ! Ей, вѣроятно, хочется, чтобы я поднялъ шумъ и взбудоражилъ всѣхъ сосѣдей! Я уже начинаю сердиться, Вѣра! А, чортъ возьми! Подсади меня, Алеша, я влѣзу! Дѣвчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаевъ съ пыхтѣніемъ подсаживаетъ Козявкина. Тотъ влѣзаетъ въ окно и исчезаетъ во мракѣ комнаты.

— Вѣрка! — слышитъ черезъ минуту Лаевъ. — Гдѣ ты? Чорртъ... Тьфу, во что-то руку выпачкалъ! Тьфу!

Слышится шорохъ, хлопанье крыльевъ и отчаянный крикъ курицы.

— Вотъ те на! — слышитъ Лаевъ. — Вѣра, откуда у насъ куры? Чортъ возьми, да тутъ ихъ пропасть! Плетушка съ индѣйкой... Клюется, п-подлая!

Изъ окна съ шумомъ вылетаютъ двѣ курицы и, крича во все горло, мчатся по улицѣ.

— Алеша, да мы не туда попали! — говоритъ Козявкинъ плачущимъ голосомъ. — Тутъ куры какія-то... Я, должно-быть, обознался... Да ну васъ къ чорту, разлетались тутъ, анаѳемы!

— Такъ ты выходи поскорѣй! Понимаешь? Умираю отъ жажды!

— Сейчасъ... Найду вотъ крылатку и портфель...

— Ты спичку зажги!

— Спички въ крылаткѣ... Угораздило же меня сюда забраться! Всѣ дачи одинаковыя, самъ чортъ не различитъ ихъ въ потемкахъ. Ой, индѣйка въ щеку клюнула! П-подлая...

— Выходи поскорѣе, а то подумаютъ, что мы куръ воруемъ!

— Сейчасъ... Крылатки никакъ не найду. Тряпья здѣсь валяется много и не разберешь, гдѣ тутъ крылатка. Брось-ка мнѣ спички!

— У меня нѣтъ спичекъ!

— Положеніе, нечего сказать! Какъ же быть-то? Безъ крылатки и портфеля никакъ нельзя. Надо отыскать ихъ.

— Не понимаю, какъ это можно не узнать своей собственной дачи, — возмущается Лаевъ. — Пьяная рожа... Если бъ я зналъ, что будетъ такая исторія, ни за что бы не поѣхалъ съ тобой. Теперь бы я былъ дома, спалъ безмятежно, а тутъ изволь вотъ мучиться... Страшно утомленъ, пить хочется... голова кружится!

— Сейчасъ, сейчасъ... не умрешь...

Черезъ голову Лаева съ крикомъ пролетаетъ большой пѣтухъ. Лаевъ глубоко вздыхаетъ и, безнадежно махнувъ рукой, садится на камень. Душа у него горитъ отъ жажды, глаза слипаются, голову клонитъ внизъ... Проходитъ минутъ пять, десять, наконецъ, двадцать, а Козявкинъ все еще возится съ курами.

— Петръ, скоро ли ты?

— Сейчасъ. Нашелъ-было портфель, да опять потерялъ.

Лаевъ подпираетъ голову кулаками и закрываетъ глаза. Куриный крикъ становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетаютъ изъ окна и, кажется ему, какъ совы кружатся во тьмѣ надъ его головой. Отъ ихъ крика въ ушахъ его стоитъ звонъ, душой овладѣваетъ ужасъ.

«Сскотина!..—думаетъ онъ.—Пригласилъ въ гости, обѣщалъ угостить виномъ да простоквашей, а вмѣсто того заставилъ пройтись отъ станціи пѣшкомъ и этихъ куръ слушать...»

Возмущаясь, Лаевъ суетъ подбородокъ въ воротникъ, кладетъ голову на свой портфель и мало-по-малу успокаивается. Утомленіе беретъ свое и онъ начинаетъ засыпать.

— Нашелъ портфель! — слышитъ онъ торжествующій

крикъ Козявкина. — Найду сейчасъ крылатку и — баста, идемъ!

Но вотъ сквозь сонъ слышитъ онъ собачій лай. Лаетъ сначала одна собака, потомъ другая, третья... и собачій лай, мѣшаясь съ куринымъ кудахтаньемъ, даетъ какую-то дикую музыку. Кто-то подходитъ къ Лаеву и спрашиваетъ о чемъ-то. Засимъ слышитъ онъ, что черезъ его голову лѣзутъ въ окно, стучатъ, кричатъ... Женщина въ красномъ фартукѣ стоитъ около него съ фонаремъ въ рукѣ и о чемъ-то спрашиваетъ.

— Вы не имѣете права говорить это!—слышитъ онъ голосъ Козявкина. — Я присяжный повѣренный, кандидатъ правъ Козявкинъ. Вотъ вамъ моя визитная карточка!

— На что мнѣ ваша карточка!—говоритъ кто-то хриплымъ басомъ.—Вы у меня всѣхъ куръ поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы надѣлали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мнѣ ваша карточка?

— Вы не смѣете меня удерживать! Да-съ! Я не позволю!

«Пить хочется»...—думаетъ Лаевъ, стараясь открыть глаза и чувствуя, какъ черезъ его голову кто-то лѣзетъ изъ окна.

— Я—Козявкинъ! Тутъ моя дача, меня тутъ всѣ знаютъ!

— Никакого Козявкина мы не знаемъ!

— Что ты мнѣ разсказываешь? Позвать старосту! Онъ меня знаетъ!

— Не горячитесь, сейчасъ урядникъ пріѣдетъ... Всѣхъ дачниковъ тутошнихъ мы знаемъ, а васъ отродясь не видѣли.

— Я ужъ пятый годъ въ Гнилыхъ Выселкахъ на дачѣ живу!

— Эва! Нешто это Выселки? Здѣсь Хилово, а Гнилые Выселки правѣе будутъ, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

— Чортъ меня возьми! Это, значитъ, я не той дорогой пошелъ!

Человѣческіе и птичьи крики мѣшаются съ собачьимъ лаемъ, и изъ смѣси звукового хаоса выдѣляется голосъ Козявкина:

— Вы не смѣете! Я заплачу! Вы узнаете, съ кѣмъ имѣете дѣло!

Наконецъ, голоса мало-по-малу стихаютъ. Лаевъ чувствуетъ, что его треплютъ за плечо.

# РЕПЕТИТОРЪ.

Гимназистъ VII класса Егоръ Зиберовъ милостиво подаетъ Петѣ Удодову руку. Петя, двѣнадцатилѣтній мальчуганъ въ сѣромъ костюмчикѣ, пухлый и краснощекій, съ маленькимъ лбомъ и щетинистыми волосами, расшаркивается и лѣзетъ въ шкапъ за тетрадками. Занятіе начинается.

Согласно условію, заключенному съ отцомъ Удодовымъ, Зиберовъ долженъ заниматься съ Петей по два часа ежедневно, за что и получаетъ шесть рублей въ мѣсяцъ. Готовитъ онъ его во II классъ гимназіи. (Въ прошломъ году онъ готовилъ его въ I классъ, но Петя порѣзался).

— Ну-съ...—начинаетъ Зиберовъ, закуривая папиросу.— Вамъ задано четвертое склоненіе. Склоняйте fructus!

Петя начинаетъ склонять.

— Опять вы не выучили!—говоритъ Зиберовъ, вставая.— Въ шестой разъ задаю вамъ четвертое склоненіе, и вы ни въ зубъ толконуть! Когда же, наконецъ, вы начнете учить уроки?

— Опять не выучилъ?—слышится за дверями кашляющій голосъ, и въ комнату входитъ Петинъ папаша, отставной губернскій секретарь Удодовъ.—Опять? почему же ты не выучилъ? Ахъ, ты, свинья, свинья! Вѣрите ли, Егоръ Алексѣичъ? Вѣдь и вчерась поролъ!

И тяжело вздохнувъ, Удодовъ садится около сына и засматриваетъ въ истрепаннаго Кюнера. Зиберовъ начинаетъ экзаменовать Петю при отцѣ. Пусть глупый отецъ узнаетъ, какъ глупъ его сынъ! Гимназистъ входитъ въ экзаменаторскій азартъ, ненавидитъ, презираетъ маленькаго, краснощекаго тупицу, готовъ побить его. Ему даже досадно дѣлается, когда

мальчуганъ отвѣчаетъ впопадъ—такъ опротивѣлъ ему этотъ Петя!

— Вы даже второго склоненія не знаете! Не знаете вы и перваго! Вотъ вы какъ учитесь! Ну, скажите мнѣ, какъ будетъ звательный падежъ отъ meus filius?

— Отъ meus filius? Meus filius будетъ... это будетъ...

Петя долго глядитъ въ потолокъ, долго шевелитъ губами, но не даетъ отвѣта.

— А какъ будетъ дательный множественнаго отъ dea?

— Deabus... filiabus!—отчеканиваетъ Петя.

Старикъ Удодовъ одобрительно киваетъ головой. Гимназистъ, не ожидавшій удачнаго отвѣта, чувствуетъ досаду.

— А еще какое существительное имѣетъ въ дательномъ abus?—спрашиваетъ онъ.

Оказывается, что и «anima—душа» имѣетъ въ дательномъ abus, чего нѣтъ въ Кюнерѣ.

— Звучный языкъ латинскій! — замѣчаетъ Удодовъ. — Алоэ... тронъ... бонусъ... антропосъ... Премудрость! И все вѣдь это нужно!—говоритъ онъ со вздохомъ.

«Мѣшаетъ, скотина, заниматься...—думаетъ Зиберовъ.— Сидитъ надъ душой тутъ и надзираетъ. Терпѣть не могу контроля!»—Ну-съ,—обращается онъ къ Петѣ. — Къ слѣдующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по ариѳметикѣ... Берите доску. Какая слѣдующая задача?

Петя плюетъ на доску и стираетъ рукавомъ. Учитель беретъ задачникъ и диктуетъ:

— «Купецъ купилъ 138 арш. чернаго и синяго сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршинъ купилъ онъ того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршинъ, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяетъ задачу и тотчасъ же, ни слова не говоря, начинаетъ дѣлить 540 на 138.

— Для чего же это вы дѣлите? Постойте! Впрочемъ, такъ... продолжайте. Остатокъ получается? Здѣсь не можетъ быть остатка. Дайте-ка я раздѣлю!

Зиберовъ дѣлитъ, получаетъ 3 съ остаткомъ и быстро стираетъ.

«Странно...—думаетъ онъ, ероша волосы и краснѣя.—Какъ же она рѣшается? Гм!.. Это задача на неопредѣленныя уравненія, а вовсе не ариѳметическая»...

Учитель глядитъ въ отвѣты и видитъ 75 и 63.

«Гм!.. странно... Сложить 5 и 3, а потомъ дѣлить 540 на 8? Такъ, что ли? Нѣтъ, не то».

— Рѣшайте же!—говоритъ онъ Петѣ.

— Ну, чего думаешь? Задача-то вѣдь пустяковая!—говоритъ Удодовъ Петѣ. — Экій ты дуракъ, братецъ! Рѣшите ужъ вы ему, Егоръ Алексѣичъ.

Егоръ Алексѣичъ беретъ въ руки грифель и начинаетъ рѣшать. Онъ заикается, краснѣетъ, блѣднѣетъ.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая,—говоритъ онъ.—Ее съ иксомъ и игрэкомъ рѣшить можно. Впрочемъ, можно и такъ рѣшить. Я, вотъ, раздѣлилъ... понимаете? Теперь, вотъ, надо вычесть... понимаете? Или, вотъ что... Рѣшите мнѣ эту задачу сами къ завтраму... Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодовъ тоже улыбается. Оба они понимаютъ замѣшательство учителя. Ученикъ VII класса еще пуще конфузится, встаетъ и начинаетъ ходить изъ угла въ уголъ.

— И безъ алгебры рѣшить можно,—говоритъ Удодовъ, протягивая руку къ счетамъ и вздыхая.—Вотъ, извольте видѣть...

Онъ щелкаетъ на счетахъ, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вотъ-съ... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. Съ замираніемъ сердца поглядываетъ онъ на часы и видитъ, что до конца урока остается еще часъ съ четвертью—цѣлая вѣчность!

— Теперь диктантъ.

Послѣ диктанта—географія, за географіей—Законъ Божій, потомъ русскій языкъ,—много на этомъ свѣтѣ наукъ! Но вотъ, наконецъ, кончается двухчасовой урокъ. Зиберовъ берется за шапку, милостиво подаетъ Петѣ руку и прощается съ Удодовымъ.

— Не можете ли вы сегодня дать мнѣ немного денегъ?—проситъ онъ робко.—Завтра мнѣ нужно взносить плату за ученіе. Вы должны мнѣ за шесть мѣсяцевъ.

— Я? Ахъ, да, да...—бормочетъ Удодовъ, не глядя на Зиберова.—Съ удовольствіемъ! Только у меня сейчасъ нѣту, а я вамъ черезъ недѣльку... или черезъ двѣ...

Зиберовъ соглашается и, надѣвъ свои тяжелыя, грязныя калоши, идетъ на другой урокъ.

# СИМУЛЯНТЫ.

Генеральша Марѳа Петровна Печонкина, или, какъ ее зовутъ мужики, Печончиха, десять лѣтъ уже практикующая на поприщѣ гомеопатіи, въ одинъ изъ майскихъ вторниковъ принимаетъ у себя въ кабинетѣ больныхъ. Передъ ней на столѣ гомеопатическая аптечка, лѣчебникъ и счеты гомеопатической аптеки. На стѣнѣ въ золотыхъ рамкахъ подъ стекломъ висятъ письма какого-то петербургскаго гомеопата, по мнѣнію Марѳы Петровны, очень знаменитаго и даже великаго, и виситъ портретъ отца Аристарха, которому генеральша обязана своимъ спасеніемъ: отреченіемъ отъ зловредной аллопатіи и знаніемъ истины. Въ передней сидятъ и ждутъ паціенты, все больше мужики. Всѣ они, кромѣ двухъ-трехъ, босы, такъ какъ генеральша велитъ оставлять вонючіе сапоги на дворѣ.

Марѳа Петровна приняла уже десять человѣкъ и вызываетъ одиннадцатаго:

— Гаврила Груздь!

Дверь отворяется и, вмѣсто Гаврилы Груздя, въ кабинетъ входитъ Замухришинъ, генеральшинъ сосѣдъ, помѣщикъ изъ оскудѣвшихъ, маленькій старичокъ съ кислыми глазками и съ дворянской фуражкой подъ мышкой. Онъ ставитъ палку въ уголъ, подходитъ къ генеральшѣ и, молча, становится передъ ней на одно колѣно.

— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмичъ!—ужасается генеральша, вся вспыхивая.—Бога ради!

— Покуда живъ буду, не встану! — говоритъ Замухришинъ, прижимаясь къ ручкѣ.—Пусть весь народъ видитъ

мое колѣнопреклоненіе, ангелъ-хранитель нашъ, благодѣтельница рода человѣческаго! Пусть! Которая благодѣтельная фея даровала мнѣ жизнь, указала мнѣ путь истинный и просвѣтила мудрованіе мое скептическое, передъ тою согласенъ стоять не только на колѣняхъ, но и въ огнѣ, цѣлительница наша чудесная, мать сирыхъ и вдовыхъ! Выздоровѣлъ! Воскресъ, волшебница!

— Я... я очень рада...—бормочетъ генеральша, краснѣя отъ удовольствія.—Это такъ пріятно слышать... Садитесь, пожалуйста! А вѣдь вы въ тотъ вторникъ были такъ тяжело больны!

— Да вѣдь какъ боленъ! Вспомнить страшно!—говоритъ Замухришинъ, садясь.—Во всѣхъ частяхъ и органахъ ревматизмъ стоялъ. Восемь лѣтъ мучился, покою себѣ не зналъ... Ни днемъ, ни ночью, благодѣтельница моя! Лѣчился я и у докторовъ, и къ профессорамъ въ Казань ѣздилъ, и грязями разными лѣчился, и воды пилъ, и чего только я не перепробовалъ! Состояніе свое пролѣчилъ, матушка-красавица. Доктора эти, кромѣ вреда, ничего мнѣ не принесли. Они болѣзнь мою во внутрь мнѣ вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать—наука ихняя не дошла... Только деньги любятъ брать, разбойники, а ежели касательно пользы человѣчества, то имъ и горя мало. Пропишетъ какой-нибудь хиромантіи, а ты пей. Душегубцы, однимъ словомъ. Если бы не вы, ангелъ нашъ, быть бы мнѣ въ могилѣ! Прихожу отъ васъ въ тотъ вторникъ, гляжу на крупинки, что̀ вы дали тогда, и думаю:—«Ну, какой въ нихъ толкъ? Нешто эти песчинки, еле видимыя, могутъ излѣчить мою громадную застарѣлую болѣзнь?» Думаю, маловѣръ, и улыбаюсь, а какъ принялъ крупинку—моментально! словно и боленъ не былъ, или рукой сняло. Жена глядитъ на меня выпученными глазами и не вѣритъ:—«Да ты ли это, Коля?» — Я, говорю. И стали мы съ ней передъ образомъ на колѣнки, и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты ей, Господи, всего, что̀ мы только чувствуемъ!»

Замухришинъ вытираетъ рукавомъ глаза, поднимается со стула и выказываетъ намѣреніе снова стать на одно колѣно, но генеральша останавливаетъ и усаживаетъ его.

— Не меня благодарите!—говоритъ она, красная отъ волненія и глядя восторженно на портретъ отца Аристарха.—Не меня! Я тутъ только послушное орудіе... Дѣйствительно,

чудеса! Застарѣлый, восьмилѣтній ревматизмъ отъ одной крупинки скрофулозо!

— Изволили вы дать мнѣ три крупинки. Изъ нихъ одну принялъ я въ обѣдъ—и моментально! Другую вечеромъ, а третью на другой день,—и съ той поры хоть бы тебѣ что! Хоть бы кольнуло гдѣ! А вѣдь помирать уже собрался, сыну въ Москву написалъ, чтобъ пріѣхалъ! Умудрилъ васъ Господь, цѣлительница! Теперь вотъ хожу, и словно въ раю... Въ тотъ вторникъ, когда у васъ былъ, хромалъ, а теперь хоть за зайцемъ готовъ... Хоть еще сто лѣтъ жить. Одна только бѣда—недостатки наши. И здоровъ, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолѣла пуще болѣзни... Къ примѣру взять хоть бы такое дѣло... Теперь время овесъ сѣять, а какъ его посѣешь, ежели сѣменовъ нѣтъ? Нужно бы купить, а денегъ... извѣстно, какія у насъ деньги...

— Я вамъ дамъ овса, Кузьма Кузьмичъ... Сидите, сидите! Вы такъ меня порадовали, такое удовольствіе мнѣ доставили, что не вы, а я должна васъ благодарить!

— Радость вы наша! Создастъ же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрыя дѣла глядючи! А вотъ намъ, грѣшнымъ, и порадоваться у себя не на что... Люди мы маленькіе, малодушные, безполезные... мелкота... Одно званіе только, что дворяне, а въ матеріальномъ смыслѣ тѣ же мужики, даже хуже... Живемъ въ домахъ каменныхъ, а выходитъ одинъ миражъ, потому—крыша течетъ... Не на что тесу купить.

— Я дамъ вамъ тесу, Кузьма Кузьмичъ.

Замухришинъ выпрашиваетъ еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намѣренъ везти въ институтъ и... тронутый щедротами генеральши, отъ наплыва чувствъ всхлипываетъ, перекашиваетъ ротъ и лѣзетъ въ карманъ за платкомъ... Генеральша видитъ, какъ вмѣстѣ съ платкомъ изъ кармана его вылѣзаетъ какая-то красная бумажка и безшумно падаетъ на полъ.

— Во вѣки-вѣковъ не забуду...—бормочетъ онъ.—И дѣтямъ закажу помнить, и внукамъ... въ родъ и родъ... Вотъ, дѣти, та, которая спасла меня отъ гроба, которая...

Проводивъ своего паціента, генеральша минуту глазами, полными слезъ, глядитъ на отца Аристарха, потомъ ласкающимъ, благоговѣющимъ взоромъ обводитъ аптечку, лѣчебники, счета, кресло, въ которомъ только-что сидѣлъ

спасенный ею отъ смерти человѣкъ, и взоръ ея падаетъ на оброненную пацiентомъ бумажку. Генеральша поднимаетъ бумажку, разворачиваетъ ее и видитъ въ ней три крупинки, тѣ самыя крупинки, которыя она дала въ прошлый вторникъ Замухришину.

— Это тѣ самыя...—недоумѣваетъ она.—Даже бумажка та самая... Онъ и не разворачивалъ даже! Что́ же онъ принималъ въ такомъ случаѣ? Странно... Не станетъ же онъ меня обманывать.

И въ душу генеральши, въ первый разъ за всѣ десять лѣтъ практики, западаетъ сомнѣніе... Она вызываетъ слѣдующихъ больныхъ и, говоря съ ними о болѣзняхъ, замѣчаетъ то, что́ прежде незамѣтнымъ образомъ проскальзывало мимо ея ушей. Больные, всѣ до единаго, словно сговорившись, сначала славословятъ ее за чудесное исцѣленіе, восхищаются ея медицинскою мудростью, бранятъ докторовъ-аллопатовъ, потомъ же, когда она становится красной отъ волненія, приступаютъ къ изложенію своихъ нуждъ. Одинъ проситъ землицы для запашки, другой дровецъ, третій позволенія охотиться въ ея лѣсахъ и т. д. Она глядитъ на широкую, благодушную физіономію отца Аристарха, открывшаго ей истину, и новая истина начинаетъ сосать ее за душу. Истина не хорошая, тяжелая...

Лукавъ человѣкъ!

# ГОСПОДА ОБЫВАТЕЛИ.

(Пьеса въ двухъ дѣйствіяхъ.)

## Дѣйствіе первое.

Городская управа. Засѣданіе.

**Городской голова** *(почавкавъ губами и медленно поковырявъ у себя въ ухѣ).* Въ такомъ разѣ, не угодно ли вамъ будетъ, господа, выслушать мнѣніе брантмейстера Семена Вавилыча, который по этой части спеціалистъ? Пускай объяснитъ, а тамъ мы разсудимъ!

**Брантмейстеръ.** Я такъ понимаю... *(сморкается въ клѣтчатый платокъ).* Десять тысячъ, ассигнованныя на пожарную часть, можетъ-быть, и большія деньги, но... *(вытираетъ лысину)* это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысячъ можно имѣть пожарную команду, но какую? Одинъ смѣхъ только! Видите ли... Самое важное въ жизни человѣческой,—это каланча, и всякій ученый вамъ это скажетъ. Наша же городская каланча, разсуждая категорически, совсѣмъ не годится, потому что мала. Дома высокіе *(поднимаетъ вверхъ руку),* они кругомъ загораживаютъ каланчу, и не только что пожаръ, но дай Богъ хоть небо увидѣть. Я взыскиваю съ пожарныхъ, но развѣ они виноваты, что имъ не видно? Потомъ въ отношеніи лошадиномъ и въ разсужденіи бочекъ... *(разстегиваетъ жилетку, вздыхаетъ и продолжаетъ рѣчь въ томъ же духѣ).*

**Гласные** *(единогласно).* Прибавить сверхъ смѣты еще двѣ тысячи!

*(Городской голова дѣлаетъ минутный перерывъ для выхода изъ залы засѣданія корреспондента).*

**Брантмейстеръ.** Хорошо-съ. Теперь, стало-быть, вы разсуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина... Хорошо. Но ежели взглянуть съ той точки и въ томъ смыслѣ, что тутъ заинтересованы общественные, такъ сказать, государственные интересы, то я долженъ замѣтить, господа гласные, что если за это дѣло возьмется подрядчикъ, то я долженъ вамъ имѣть въ виду, что это обойдется городу вдвое дороже, такъ какъ подрядчикъ будетъ соблюдать тутъ свой интересъ, а не общественный. Если же строить хозяйственнымъ способомъ, не спѣша, то ежели кирпичъ, положимъ, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарныхъ лошадяхъ и ежели *(поднимаетъ глаза къ потолку, какъ бы мысленно считая)* и ежели пятьдесятъ двѣнадцатиаршинныхъ бревенъ въ пять вершковъ... *(считаетъ)*.

**Гласные** *(подавляющимъ большинствомъ голосовъ)*. Поручить ремонтъ каланчи Семену Вавилычу, для каковой цѣли ассигновать на первый разъ тысячу пятьсотъ двадцать три рубля сорокъ четыре копейки!

**Брантмейстерша** *(сидитъ среди публики и шепчетъ сосѣдкѣ)*. Не знаю, зачѣмъ это мой Сеня беретъ на себя столько хлопотъ! Съ его ли здоровьемъ заниматься постройками? Тоже, это весело — цѣлый день рабочихъ по зубамъ бить! Наживетъ на ремонтѣ какой-нибудь пустякъ, рублей пятьсотъ, а здоровья себѣ испортитъ на тысячу. Губитъ его, дурака, доброта!

**Брантмейстеръ.** Хорошо-съ. Теперь будемъ говорить о служебномъ персоналѣ. Конечно, я, какъ лицо, можно сказать, заинтересованное *(конфузится)*, могу только замѣтить, что мнѣ... мнѣ все равно... Я человѣкъ уже не молодой, больной, не сегодня-завтра могу умереть. Докторъ сказалъ, что у меня во внутренностяхъ затвердѣніе и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мнѣ лопнетъ жила и я помру безъ покаянія...

**Шопотъ въ публикѣ.** Собакѣ собачья и смерть.

**Брантмейстеръ.** Но я о себѣ не хлопочу. Пожилъ я, и слава Богу. Ничего мнѣ не нужно... Только мнѣ удивительно и... и даже обидно... *(машетъ безнадежно рукой)*. Служишь за одно только жалованье, честно, безпорочно... ни днемъ, ни ночью покою, не щадишь здоровья, и... и не знаешь, къ чему все это? Для чего хлопочу? Какой инте-

ресъ? Я не про себя разсуждаю, а вообще... Другой не станетъ жить при такомъ иждивеніи... Пьяница пойдетъ на эту должность, а человѣкъ дѣльный, солидный скорѣй съ голоду помретъ, чѣмъ за такое жалованье станетъ тутъ хлопотать съ лошадьми, да съ пожарными... *(пожавъ плечами)*. Какой интересъ? Если бы увидѣли иностранцы, какіе у насъ порядки, то, я думаю, досталось бы намъ на орѣхи во всѣхъ заграничныхъ газетахъ. Въ Западной Европѣ, взять хоть, напримѣръ, Парижъ, на каждой улицѣ по каланчѣ, и брантмейстерамъ каждогодно выдаютъ пособіе въ размѣрѣ годового жалованья. Тамъ можно служить!

**Гласные.** Выдать Семену Вавилычу въ видѣ единовременнаго пособія за долголѣтнюю службу двѣсти рублей!

**Брантмейстерша** *(шепчетъ сосѣдкѣ)*. Это хорошо, что онъ выпросилъ... Умникъ. Намедни мы были у отца протопопа, проиграли у него въ стуколку сто рублей и теперь, знаете ли, такъ жалко! *(зѣваетъ)*. Ахъ, такъ жалко! Пора бы ужъ домой идти, чай пить.

## Дѣйствіе второе.

Сцена у каланчи. Стража.

**Часовой на каланчѣ** *(кричитъ внизъ)*. Эй! На лѣсопильномъ дворѣ горитъ! Бей тревогу!

**Часовой внизу.** А ты только сейчасъ увидѣлъ? Народъ ужъ полчаса какъ бѣжитъ, а ты, чудакъ, только сейчасъ спохватился? *(глубокомысленно)*. Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу—все равно *(бьетъ тревогу)*.

*(Черезъ три минуты въ окнѣ своей квартиры, находящейся противъ каланчи, показывается брантмейстеръ въ дезабилье и съ заспанными глазами)*.

**Брантмейстеръ.** Гдѣ горитъ, Денисъ?

**Часовой внизу** *(вытягивается и дѣлаетъ подъ козырекъ)*. На лѣсопильномъ дворѣ, вашескородіе!

**Брантмейстеръ** *(покачиваетъ головой)*. Упаси Богъ! Вѣтеръ дуетъ, сушь такая... *(машетъ рукой)*. И не дай Богъ! Горе да и только съ этими несчастьями!.. *(погладивъ себя по лицу)*. Вотъ что, Денисъ... Скажи имъ, братецъ ты мой, чтобъ запрягали и ѣхали себѣ, а я сейчасъ... немного погодя пріѣду... Одѣться надо, то да сё...

**Часовой внизу.** Да некому ѣхать, вашескородіе! Всѣ поуходили, одинъ Андрей дома.

**Брантмейстеръ** *(испуганно)*. Гдѣ же они, мерзавцы?

**Часовой внизу**. Макаръ новыя подметки ставилъ, теперь сапоги понесъ въ слободку, къ дьякону. Михайлу, ваше высокородіе, вы сами изволили послать овесъ продавать... Егоръ на пожарныхъ лошадяхъ повезъ за рѣку надзирателеву свояченицу. Никита выпивши.

**Брантмейстеръ**. А Алексѣй?

**Часовой внизу**. Алексѣй пошелъ раковъ ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у васъ къ обѣду гости будутъ.

**Брантмейстеръ** *(презрительно покачавъ головой)*. Изволь вотъ служить съ такимъ народомъ! Невѣжество, необразованность... пьянство... Если бы увидѣли иностранцы, то досталось бы намъ въ заграничныхъ журналахъ! Тамъ, взять хоть Парижъ, пожарная команда все время скачетъ по улицѣ, народъ давитъ; есть пожаръ, или нѣтъ, а ты скачи! Тутъ же горитъ лѣсопильный дворъ, опасность, а ихъ никого дома нѣтъ, словно... чортъ ихъ слопалъ! Нѣтъ, далеко намъ до Европы! *(поворачивается лицомъ въ комнату, тяжко)*. Машенька, приготовь мнѣ мундиръ!

# ОТЕЦЪ СЕМЕЙСТВА.

Это случается обыкновенно послѣ хорошаго проигрыша или послѣ попойки, когда разыгрывается катаръ. Степанъ Степанычъ Жилинъ просыпается въ необычайно пасмурномъ настроеніи. Видъ у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сѣромъ лицѣ выраженіе недовольства: не то онъ обидѣлся, не то брезгаетъ чѣмъ-то. Онъ медленно одѣвается, медленно пьетъ свое виши и начинаетъ ходить по всѣмъ комнатамъ.

— Желалъ бы я знать, какая с-с-скотина ходитъ здѣсь и не затворяетъ дверей?—ворчитъ онъ сердито, запахиваясь въ халатъ и громко отплевываясь. — Убрать эту бумагу! Зачѣмъ она здѣсь валяется? Держимъ двадцать прислугъ, а порядка меньше, чѣмъ въ корчмѣ. Кто тамъ звонилъ? Кого принесло?

— Это бабушка Анфиса, что̀ нашего Ѳедю принимала,— отвѣчаетъ жена.

— Шляются тутъ... дармоѣды!

— Тебя не поймешь, Степанъ Степанычъ. Самъ приглашалъ ее, а теперь бранишься.

— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чѣмъ-нибудь, матушка, чѣмъ сидѣть этакъ, сложа руки, и на споръ лѣзть! Не понимаю этихъ женщинъ, клянусь честью! Не-по-ни-маю! Какъ онѣ могутъ проводить цѣлые дни безъ дѣла? Мужъ работаетъ, трудится, какъ волъ, какъ с-с-скотина, а жена, подруга жизни, сидитъ, какъ цацочка, ничего не дѣлаетъ и ждетъ только случая, какъ бы побраниться отъ скуки съ мужемъ. Пора матушка, оставить эти институтскія привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Непріятно слушать горькія истины?

— Странно, что горькія истины ты говоришь, только когда у тебя печень болитъ.

— Да, начинай сцены, начинай...

— Ты вчера былъ за городомъ? Или игралъ у кого-нибудь?

— А хотя бы и такъ? Кому какое дѣло? Развѣ я обязанъ отдавать кому-нибудь отчетъ? Развѣ я проигрываю не свои деньги? То, что я самъ трачу, и то, что тратится въ этомъ домѣ, принадлежитъ мнѣ! Слышите ли? Мнѣ!

И такъ далѣе, все въ такомъ родѣ. Но ни въ какое другое время Степанъ Степанычъ не бываетъ такъ разсудителенъ, добродѣтеленъ, строгъ и справедливъ, какъ за обѣдомъ, когда около него сидятъ всѣ его домочадцы. Начинается обыкновенно съ супа. Проглотивъ первую ложку, Жилинъ вдругъ морщится и перестаетъ ѣсть.

— Чортъ знаетъ что... — бормочетъ онъ. — Придется, должно-быть, въ трактирѣ обѣдать.

— А что?—тревожится жена.—Развѣ супъ не хорошъ?

— Не знаю, какой нужно имѣть свинскій вкусъ, чтобы ѣсть эту бурду! Пересоленъ, тряпкой воняетъ... клопы какіе-то вмѣсто лука... Просто возмутительно, Анфиса Ивановна!—обращается онъ къ гостьѣ-бабушкѣ.—Каждый день даешь прорву денегъ на провизію... во всемъ себѣ отказываешь, и вотъ тебя чѣмъ кормятъ! Они, вѣроятно, хотятъ, чтобы я оставилъ службу и самъ пошелъ въ кухню стряпать.

— Супъ сегодня хорошъ... — робкс замѣчаетъ гувернантка.

— Да? Вы находите? — говоритъ Жилинъ, сердито щурясь на нее. — Впрочемъ, у всякаго свой вкусъ. Вообще, надо сознаться, мы съ вами сильно расходимся во вкусахъ, Варвара Васильевна. Вамъ, напримѣръ, нравится поведеніе этого мальчишки (Жилинъ трагическимъ жестомъ указываетъ на своего сына Ѳедю), вы въ восторгѣ отъ него, а я... я возмущаюсь. Да-съ!

Ѳедя, семилѣтній мальчикъ съ блѣднымъ, болѣзненнымъ лицомъ, перестаетъ ѣсть и опускаетъ глаза. Лицо его еще больше блѣднѣетъ.

— Да-съ, вы въ восторгѣ, а я возмущаюсь... Кто изъ насъ правъ, не знаю, но смѣю думать, что я, какъ отецъ, лучше знаю своего сына, чѣмъ вы. Поглядите, какъ онъ сидитъ! Развѣ такъ сидятъ воспитанныя дѣти? Сядь хорошенько!

Ѳедя поднимаетъ вверхъ подбородокъ и вытягиваетъ

шею, и ему кажется, что онъ сидитъ ровнѣе. На глазахъ у него навертываются слезы.

— Ѣшь! Держи ложку какъ слѣдуетъ! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не смѣть плакать! Гляди на меня прямо!

Ѳедя старается глядѣть прямо, но лицо его дрожитъ и глаза переполняются слезами.

— А-а-а... ты плакать? Ты виноватъ, ты же и плачешь? Пошелъ, стань въ уголъ, скотина!

— Но... пусть онъ сначала пообѣдаетъ!—вступается жена.

— Безъ обѣда! Такіе мерз... такіе шалуны не имѣютъ права обѣдать!

Ѳедя, кривя лицо и подергивая всѣмъ тѣломъ, сползаетъ со стула и идетъ въ уголъ.

— Не то еще тебѣ будетъ! — продолжаетъ родитель.— Если никто не желаетъ заняться твоимъ воспитаніемъ, то, такъ и быть, начну я... У меня, братъ, не будешь шалить да плакать за обѣдомъ! Болванъ! Дѣло нужно дѣлать! Понимаешь? Дѣло дѣлать! Отецъ твой работаетъ, и ты работай! Никто не долженъ даромъ ѣсть хлѣба! Нужно быть человѣкомъ! Че-ло-вѣ-комъ!

— Перестань, ради Бога!—проситъ жена по-французски.— Хоть при постороннихъ не ѣшь насъ... Старуха все слышитъ и теперь, благодаря ей, всему городу будетъ извѣстно...

— Я не боюсь постороннихъ, — отвѣчаетъ Жилинъ по-русски.—Анфиса Ивановна видитъ, что я справедливо говорю. Что жъ, по-твоему, я долженъ быть доволенъ этимъ мальчишкой? Ты знаешь, сколько онъ мнѣ стоитъ? Ты знаешь, мерзкій мальчишка, сколько ты мнѣ стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мнѣ достаются онѣ даромъ? Не ревѣть! Молчать! Да ты слышишь меня, или нѣтъ? Хочешь, чтобъ я тебя, подлеца этакаго, высѣкъ?

Ѳедя громко взвизгиваетъ и начинаетъ рыдать.

— Это, наконецъ, невыносимо!—говоритъ его мать, вставая изъ-за стола и бросая салфетку.—Никогда не дастъ покойно пообѣдать! Вотъ гдѣ у меня твой кусокъ сидитъ!

Она показываетъ на затылокъ и, приложивъ платокъ къ глазамъ, выходитъ изъ столовой.

— Онѣ обидѣлись... — ворчитъ Жилинъ, насильно улыбаясь. — Нѣжно воспитаны... Такъ-то, Анфиса Ивановна, не любятъ нынче слушать правду... Мы же и виноваты!

Проходитъ нѣсколько минутъ въ молчаніи. Жилинъ обводитъ глазами тарелки и, замѣтивъ, что къ супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхаетъ и глядитъ въ упоръ на покраснѣвшее, полное тревоги, лицо гувернантки.

— Что же вы не ѣшьте, Варвара Васильевна? — спрашиваетъ онъ.—Обидѣлись, стало-быть? Тэкъ-съ... Не нравится правда. Ну, извините-съ, такая у меня натура, не могу лицемѣрить... Всегда рѣжу правду-матку (вздохъ). Однако, я замѣчаю, что присутствіе мое непріятно. При мнѣ не могутъ ни говорить, ни кушать... Что жъ? Сказали бы мнѣ, я бы ушелъ... Я и уйду.

Жилинъ поднимается и съ достоинствомъ идетъ къ двери. Проходя мимо плачущаго Ѳедя, онъ останавливается.

— Послѣ всего, что здѣсь произошло, вы с-с-свободны!— говоритъ онъ Ѳедѣ, съ достоинствомъ закидывая назадъ голову. — Я больше въ ваше воспитаніе не вмѣшиваюсь. Умываю руки! Прошу извиненія, что искренно, какъ отецъ, желая вамъ добра, обезпокоилъ васъ и вашихъ руководительницъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ навсегда слагаю съ себя отвѣтственность за вашу судьбу...

Ѳедя взвизгиваетъ и рыдаетъ еще громче. Жилинъ съ достоинствомъ поворачиваетъ къ двери и уходитъ къ себѣ въ спальную.

Выспавшись послѣ обѣда, Жилинъ начинаетъ чувствовать угрызенія совѣсти. Ему совѣстно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминаніи о томъ, что было за обѣдомъ, но самолюбіе слишкомъ велико, не хватаетъ мужества быть искреннимъ, и онъ продолжаетъ дуться и ворчать...

Проснувшись на другой день утромъ, онъ чувствуетъ себя въ отличномъ настроеніи и, умываясь, весело посвистываетъ. Придя въ столовую пить кофе, онъ застаетъ тамъ Ѳедю, который при видѣ отца поднимается и глядитъ на него растерянно.

— Ну, что, молодой человѣкъ? — спрашиваетъ весело Жилинъ, садясь за столъ. — Что у васъ новаго, молодой человѣкъ? Живешь? Ну, иди, бутузъ, поцѣлуй своего отца.

Ѳедя, блѣдный, съ серьезнымъ лицомъ, подходитъ къ отцу и касается дрожащими губами его щеки, потомъ отходитъ и молча садится на свое мѣсто.

# НЕУДАЧА.

Илья Сергѣичъ Пепловъ и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, въ маленькой залѣ, происходило, повидимому, объясненіе въ любви; объяснялись ихъ дочь Чатанька и учитель уѣзднаго училища Щупкинъ.

— Клюетъ!—шепталъ Пепловъ, дрожа отъ нетерпѣнія и потирая руки.—Смотри же, Петровна, какъ только заговорятъ о чувствахъ, тотчасъ же снимай со стѣны образъ и идемъ благословлять... Накроемъ... Благословеніе образомъ свято и ненарушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть въ судъ подаетъ.

А за дверью происходилъ такой разговоръ:

— Оставьте вашъ характеръ,— говорилъ Щупкинъ, зажигая спичку о свои клѣтчатыя брюки. — Вовсе я не писалъ вамъ писемъ!

— Ну, да! Будто я не знаю вашего почерка! хохотала дѣвица, манерно взвизгивая и то и дѣло поглядывая на себя въ зеркало. —Я сразу узнала! И какіе вы странные! Учитель чистописанія, а почеркъ какъ у курицы! Какъ же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значитъ-съ. Въ чистописаніи главное не почеркъ, главное, чтобъ ученики не забывались. Кого линейкой по головѣ ударишь, кого на колѣни... Да что почеркъ! Пустое дѣло! Некрасовъ писатель былъ, а совѣстно глядѣть, какъ онъ писалъ. Въ собраніи сочиненій показанъ его почеркъ.

— То Некрасовъ, а то вы... (вздохъ). Я за писателя съ удовольствіемъ бы пошла. Онъ постоянно бы мнѣ стихи на память писалъ!

— Стихи и я могу написать вамъ, ежели желаете.

Проходитъ нѣсколько минутъ въ молчаніи. Жилинъ об
дитъ глазами тарелки и, замѣтивъ, что къ супу еще ни
не прикасался, глубоко вздыхаетъ и глядитъ въ упоръ
покраснѣвшее, полное тревоги, лицо гувернантки.

— Что же вы не ѣдите, Варвара Васильевна? — сп
шиваетъ онъ.—Обидѣлись, стало-быть? Тэкъ-съ... Не н
вится правда. Ну, извините-съ, такая у меня натура,
могу лицемѣрить... Всегда рѣжу правду-матку (вздох
Однако, я замѣчаю, что присутствіе мое непріятно. П
мнѣ не могутъ ни говорить, ни кушать... Что жъ? С
зали бы мнѣ, я бы ушелъ... Я и уйду.

Жилинъ поднимается и съ достоинствомъ идетъ къ дв
Проходя мимо плачущаго Ѳеди, онъ останавливается.

— Послѣ всего, что здѣсь произошло, вы с-с-свободны
говоритъ онъ Ѳедѣ, съ достоинствомъ закидывая наз
голову. — Я больше въ ваше воспитаніе не вмѣшива
Умываю руки! Прошу извиненія, что искренно, какъ отец
желая вамъ добра, обезпокоилъ васъ и вашихъ руковод
тельницъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ навсегда слагаю съ се
отвѣтственность за вашу судьбу...

Ѳедя взвизгиваетъ и рыдаетъ еще громче. Жилинъ
достоинствомъ поворачиваетъ къ двери и уходитъ къ се
въ спальную.

Выспавшись послѣ обѣда, Жилинъ начинаетъ чувств
вать угрызенія совѣсти. Ему совѣстно жены, сына, Анфис
Ивановны и даже становится невыносимо жутко при вос
поминаніи о томъ, что было за обѣдомъ, но самолюб
слишкомъ велико, не хватаетъ мужества быть искреннимъ
и онъ продолжаетъ дуться и ворчать...

Проснувшись на другой день утромъ, онъ чувствуетъ
себя въ отличномъ настроеніи и, умываясь, весело посви-
стываетъ. Придя въ столовую пить кофе, онъ застаетъ
тамъ Ѳедю, который при видѣ отца поднимается и глядитъ
на него растерянно.

— Ну, что, молодой человѣкъ? — спрашиваетъ весело
Жилинъ, садясь за столъ. — Что у васъ новаго, молодой
человѣкъ? Живешь? Ну, иди, бутузъ, поцѣлуй своего отца.

Ѳедя, блѣдный, съ серьезнымъ лицомъ, подходитъ к
отцу и касается дрожащими губами его щеки, пото
отходитъ и молча садится на свое мѣсто.

# НЕУДАЧА

— О чемъ же вы писать можете?

— О любви... о чувствахъ... о вашихъ глазахъ... Прочтете — очумѣете... Слеза прошибетъ! А ежели я напишу вамъ поэтическіе стихи, то дадите тогда ручку поцѣловать?

— Велика важность!.. Да хоть сейчасъ цѣлуйте!

Щупкинъ вскочилъ и, выпучивъ глаза, припалъ къ пухлой, пахнущей яичнымъ мыломъ ручкѣ.

— Снимай образъ, — заторопился Пепловъ, толкнувъ локтемъ свою жену, блѣднѣя отъ волненія и застегиваясь.— Идемъ! Ну!

И не медля ни секунды, Пепловъ распахнулъ дверь.

— Дѣти...—забормоталъ онъ, воздѣвая руки и слезливо мигая глазами. — Господь васъ благословитъ, дѣти мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...

— И... и я благословляю...—проговорила мамаша, плача отъ счастья. —Будьте счастливы, дорогіе! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище!—обратилась она къ Щупкину.—Любите же мою дочь, жалѣйте ее...

Щупкинъ разинулъ ротъ отъ изумленія и испуга. Приступъ родителей былъ такъ внезапенъ и смѣлъ, что онъ не могъ выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили!—подумалъ онъ, млѣя отъ ужаса.— Крышка теперь тебѣ, братъ! Не выскочишь!»

И онъ покорно подставилъ свою голову, какъ бы желая сказать: «Берите, я побѣжденъ!»

— Бла... благословляю... — продолжалъ папаша и тоже заплакалъ. — Наташенька, дочь моя... становись рядомъ... Петровна, давай образъ...

Но тутъ родитель вдругъ пересталъ плакать, и лицо у него перекосило отъ гнѣва.

— Тумба! — сердито сказалъ онъ женѣ. — Голова твоя глупая! Да нешто это образъ?

— Ахъ, батюшки-свѣты!

Что случилось? Учитель чистописанія несмѣло поднялъ глаза и увидѣлъ, что онъ спасенъ: мамаша впопыхахъ сняла со стѣны, вмѣсто образа, портретъ писателя Лажечникова. Старикъ Пепловъ и его супруга Клеопатра Петровна, съ портретомъ въ рукахъ, стояли сконфуженные, не зная, что имъ дѣлать и что говорить. Учитель чистописанія воспользовался смятеніемъ и бѣжалъ.

# ЭКЗАМЕНЪ НА ЧИНЪ.

— Учитель географіи Галкинъ на меня злобу имѣетъ и, вѣрьте-съ, я у него не выдержу сегодня экзамента,— говорилъ, нервно потирая руки и потѣя, пріемщикъ Х-го почтоваго отдѣленія Ефимъ Захарычъ Фендриковъ, сѣдой, бородатый человѣкъ съ почтенной лысиной и солиднымъ животомъ.—Не выдержу... Это какъ Богъ святъ... А злится онъ на меня совсѣмъ изъ-за пустяковъ-съ. Приходитъ ко мнѣ однажды съ заказнымъ письмомъ и сквозь всю публику лѣзетъ, чтобъ я, видите ли, принялъ сперва его письмо, а потомъ ужъ прочія. Это не годится... Хоть онъ и образованнаго класса, а все-таки соблюдай порядокъ и жди. Я ему сдѣлалъ приличное замѣчаніе. «Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь». Онъ вспыхнулъ, и съ той поры возстаетъ на меня, аки Саулъ. Сынишкѣ моему Егорушкѣ единицы выводитъ, а про меня разныя названія по городу распускаетъ. Иду я однажды-съ мимо трактира Кухтина, а онъ высунулся съ бильярднымъ кіемъ изъ окна и кричитъ въ пьяномъ видѣ на всю площадь:—«Господа, поглядите: марка, бывшая въ употребленіи, идетъ!»

Учитель русскаго языка Пивомедовъ, стоявшій въ передней Х-го уѣзднаго училища вмѣстѣ съ Фендриковымъ и снисходительно курившій его папиросу, пожалъ плечами и успокоилъ:

— Не волнуйтесь. У насъ и примѣра не было, чтобъ вашего брата на экзаменахъ рѣзали. Проформа!

Фендриковъ успокоился, но не надолго. Черезъ переднюю прошелъ Галкинъ, молодой человѣкъ съ жидкой, словно оборванной, бородкой, въ парусинковыхъ брюкахъ и но-

вомъ синемъ фракѣ. Онъ строго посмотрѣлъ на Фендрикова и прошелъ дальше.

Затѣмъ разнесся слухъ, что инспекторъ ѣдетъ. Фендриковъ похолодѣлъ и сталъ ждать съ тѣмъ страхомъ, который такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ подсудимымъ и экзаменующимся впервые. Черезъ переднюю пробѣжалъ на улицу штатный смотритель уѣзднаго училища Хамовъ. За нимъ спѣшилъ навстрѣчу къ инспектору законоучитель Зміежаловъ въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ. Туда же стремились и прочіе учителя. Инспекторъ народныхъ училищъ Ахаховъ громко поздоровался, выразилъ свое неудовольствіе на пыль и вошелъ въ училище. Черезъ пять минутъ приступили къ экзаменамъ.

Проэкзаменовали двухъ поповичей на сельскаго учителя. Одинъ выдержалъ, другой же не выдержалъ. Провалившійся высморкался въ красный платокъ, постоялъ немного, подумалъ и ушелъ. Проэкзаменовали двухъ вольноопредѣляющихся третьяго разряда. Послѣ этого пробилъ часъ Фендрикова...

— Вы гдѣ служите?—обратился къ нему инспекторъ.

— Пріемщикомъ въ здѣшнемъ почтовомъ отдѣленіи, ваше высокородіе, — проговорилъ онъ, выпрямляясь и стараясь скрыть отъ публики дрожаніе своихъ рукъ. — Прослужилъ двадцать одинъ годъ, ваше высокородіе, а нынѣ потребованы свѣдѣнія для представленія меня къ чину коллежскаго регистратора, для чего и осмѣливаюсь подвергнуться испытанію на первый классный чинъ.

— Такъ-съ... Напишите диктантъ.

Пивомедовъ поднялся, кашлянулъ и началъ диктовать густымъ, пронзительнымъ басомъ, стараясь уловить экзаменующагося на словахъ, которыя пишутся не такъ, какъ выговариваются: «харапша халодная вада, когда хочица пить» и проч.

Но какъ ни изощрялся хитроумный Пивомедовъ, диктантъ удался. Будущій коллежскій регистраторъ сдѣлалъ немного ошибокъ, хотя и напиралъ больше на красоту буквъ, чѣмъ на грамматику. Въ словѣ «чрезвычайно» онъ написалъ два «н», слово «лучше» написалъ «лутше», а словами «новое поприще» вызвалъ на лицѣ инспектора улыбку, такъ какъ написалъ «новое подприще»; но вѣдь все это не грубыя ошибки.

— Диктантъ удовлетворителенъ,—сказалъ инспекторъ.

— Осмѣлюсь довести до свѣдѣнія вашего высокородія,— сказалъ подбодренный Фендриковъ, искоса поглядывая на врага своего Галкина:—осмѣлюсь доложить, что геометрію я училъ изъ книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофія, пріѣзжавшаго на каникулахъ изъ Троице-Сергіевской, Виѳанской тожъ, семинаріи. И планиметрію училъ, и стереометрію... все какъ есть...

— Стереометріи по программѣ не полагается.

— Не полагается? А я мѣсяцъ надъ ней сидѣлъ... Этакая жалость!—вздохнулъ Фендриковъ.

— Но оставимъ пока геометрію. Обратимся къ наукѣ, которую вы, какъ чиновникъ почтоваго вѣдомства, вѣроятно, любите. Географія—наука почтальоновъ.

Всѣ учителя почтительно улыбнулись. Фендриковъ былъ не согласенъ съ тѣмъ, что географія есть наука почтальоновъ (объ этомъ нигдѣ не было написано: ни въ почтовыхъ правилахъ, ни въ приказахъ по округу), но изъ почтительности сказалъ: — «Точно такъ». Онъ нервно кашлянулъ и съ ужасомъ сталъ ждать вопросовъ. Его врагъ Галкинъ откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросилъ протяжно:

— Э... скажите мнѣ, какое правленіе въ Турціи?

— Извѣстно какое... турецкое...

— Гм!.. турецкое... Это понятіе растяжимое. Тамъ правленіе конституціонное. А какіе вы знаете притоки Ганга?

— Я географію Смирнова училъ и, извините, не отчетливо выучилъ... Гангъ, это которая рѣка въ Индіи текетъ... рѣка эта текетъ въ океанъ.

— Я васъ не про это спрашиваю. Какіе притоки имѣетъ Гангъ? Не знаете? А гдѣ течетъ Аракъ? И этого не знаете? Странно... Какой губерніи Житомиръ?

— Трактъ 18, мѣсто 121.

На лбу у Фендрикова выступилъ холодный потъ. Онъ замигалъ глазами и сдѣлалъ такое глотательное движеніе, что показалось, будто онъ проглотилъ свой языкъ.

— Какъ передъ истиннымъ Богомъ, ваше высокородіе,— забормоталъ онъ.—Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердить... Двадцать одинъ годъ прослужилъ и теперь это самое, которое... Вѣкъ буду Бога молить...

— Хорошо, оставимъ географію. Что вы изъ ариѳметики приготовили?

— И ариѳметику не отчетливо... Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердить... Вѣкъ буду Бога молить... Съ самаго Покрова учусь, учусь и... ничего толку... Постарѣлъ для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высокородіе, заставьте вѣчно Бога молить.

На рѣсницахъ у Фендрикова повисли слезы.

— Прослужилъ честно и безпорочно... Говѣю ежегодно... Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердить... Будьте великодушны, ваше высокородіе.

— Ничего не приготовили?

— Все приготовилъ-съ, но ничего не помню-съ... Скоро шестьдесятъ стукнетъ, ваше высокородіе, гдѣ ужъ тутъ за науками угоняться? Сдѣлайте милость!

— Ужъ и шапку съ кокардой себѣ заказалъ...—сказалъ протоіерей Зміежаловъ и усмѣхнулся.

— Хорошо, ступайте!—сказалъ инспекторъ.

Черезъ полчаса Фендриковъ шелъ съ учителями въ трактиръ Кухтина пить чай и торжествовалъ. Лицо у него сіяло, въ глазахъ свѣтилось счастье, но ежеминутное почесываніе затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

— Экая жалость!—бормоталъ онъ.—Вѣдь этакая, скажи на милость, глупость съ моей стороны!

— Да что такое?—спросилъ Пивомедовъ.

— Зачѣмъ я стереометрію училъ, ежели ея въ программѣ нѣтъ? Вѣдь цѣлый мѣсяцъ надъ ней, подлой, сидѣлъ. Этакая жалость!

# СЧАСТЛИВЧИКЪ.

Со станціи «Бологое», Николаевской желѣзной дороги, трогается пассажирскій поѣздъ. Въ одномъ изъ вагоновъ втораго класса «для курящихъ», окутанные вагонными сумерками, дремлютъ человѣкъ пять пассажировъ. Они только-что закусили и теперь, прикорнувъ къ спинкамъ диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и въ вагонъ входитъ высокая, палкообразная фигура въ рыжей шляпѣ и въ щегольскомъ пальто, сильно напоминающая опереточныхъ и жюль-верновскихъ корреспондентовъ.

Фигура останавливается посреди вагона, сопитъ и долго щуритъ глаза на диваны.

— Нѣтъ, и это не тотъ!—бормочетъ она.—Чортъ знаетъ, что такое! Это просто возмутительно! Нѣтъ, не тотъ!

Одинъ изъ пассажировъ всматривается въ фигуру и издаетъ радостный крикъ:

— Иванъ Алексѣевичъ! Какими судьбами? Это вы?

Палкообразный Иванъ Алексѣевичъ вздрагиваетъ, тупо глядитъ на пассажира и, узнавъ его, весело всплескиваетъ руками.

— Га! Петръ Петровичъ! — говоритъ онъ. — Сколько зимъ, сколько лѣтъ! А я и не зналъ, что вы въ этомъ поѣздѣ ѣдете.

— Живы здоровы?

— Ничего себѣ, только вотъ, батенька, вагонъ свой потерялъ и никакъ теперь его не найду, этакая я идіотина! Пороть меня некому!

Палкообразный Иванъ Алексѣевичъ покачивается и хихикаетъ.

— Бываютъ же такіе случаи!—продолжаетъ онъ.—Вышелъ я послѣ второго звонка коньяку выпить. Выпилъ. конечно. Ну, думаю, такъ какъ станція слѣдующая еще

далеко, то не вышить ли и другую рюмку. Пока я думалъ и пилъ, тутъ третій звонокъ... я, какъ сумасшедшій, бѣгу и вскакиваю въ первый попавшійся вагонъ. Ну, не идіотина ли я? Не курицынъ ли сынъ?

— А вы, замѣтно, въ веселомъ настроеніи, — говоритъ Петръ Петровичъ.—Подсаживайтесь-ка! Честь и мѣсто!

— Ни-ни... пойду свой вагонъ искать! Прощайте!

— Въ потемкахъ вы, чего добраго, съ площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъѣдемъ къ станціи, вы и найдете свой вагонъ. Садитесь!

— Иванъ Алексѣевичъ вздыхаетъ и нерѣшительно садится противъ Петра Петровича. Онъ, видимо, возбужденъ и двигается, какъ на иголкахъ.

— Куда ѣдете?—спрашиваетъ Петръ Петровичъ.

— Я? Въ пространство. Такое у меня въ головѣ столпотвореніе, что я и самъ не разберу, куда я ѣду. Везетъ судьба, ну и ѣду. Ха-ха... Голубчикъ, видали ли вы когда-нибудь счастливыхъ дураковъ? Нѣтъ? Такъ вотъ глядите! Передъ вами счастливѣйшій изъ смертныхъ! Да-съ! Ничего по моему лицу не замѣтно?

— То-есть замѣтно, что... вы того... чуточку.

— Должно-быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эхъ, жалко, зеркала нѣтъ, поглядѣлъ бы на свою мордолизацію! Чувствую, батенька, что идіотомъ становлюсь. Честное слово! Ха-ха... Я, можете себѣ представить, брачное путешествіе совершаю. Ну, не курицынъ ли сынъ?

— Вы? Развѣ вы женились?

— Сегодня, милѣйшій! Повѣнчался и прямо на поѣздъ.

Начинаются поздравленія и обычные вопросы.

— Ишь ты... — смѣется Петръ Петровичъ. — То-то вы франтомъ такимъ разрядились.

— Да-съ... Для полной иллюзіи даже духами попрыскался. По уши ушелъ въ суету! Ни заботъ, ни мыслей, а одно только ощущеніе чего-то этакого... чортъ его знаетъ, какъ его и назвать... благодушія, что ли? Отродясь еще такъ себя великолѣпно не чувствовалъ!

Иванъ Алексѣевичъ закрываетъ глаза и крутитъ головой.

— Возмутительно счастливъ! — говоритъ онъ. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчасъ въ свой вагонъ. Тамъ, на диванчикѣ, около окошка сидитъ существо, которое, такъ сказать, всѣмъ своимъ существомъ предано вамъ.

Этакая блондиночка съ носикомъ... съ пальчиками... Душечка моя! Ангелъ ты мой! Пупырчикъ ты этакій! Филоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка вѣдь не то, что вотъ наши ножищи, а что-то этакое миніатюрное, волшебное... аллегорическое! Взялъ бы, да такъ и съѣлъ эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Вѣдь вы матеріалистъ, сейчасъ у васъ анализъ, то да сё! Сухіе холостяки, и больше ничего! Вотъ когда женитесь, то вспомните! Гдѣ-то теперь, скажете, Иванъ Алексѣевичъ? Да-съ, такъ вотъ пойду я сейчасъ въ свой вагонъ. Тамъ ужъ меня съ нетерпѣніемъ ждутъ... предвкушаютъ мое появленіе. Навстрѣчу мнѣ улыбка. Я подсаживаюсь и этакъ двумя пальчиками за подбородочекъ...

Иванъ Алексѣевичъ крутитъ головой и закатывается счастливымъ смѣхомъ.

— Потомъ кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талію. Кругомъ, знаете ли, тишина... поэтическій полумракъ. Весь бы міръ обнялъ въ эти минуты. Петръ Петровичъ, позвольте мнѣ васъ обнять!

— Сдѣлайте одолженіе.

Пріятели при дружномъ смѣхѣ пассажировъ обнимаются, и счастливый новобрачный продолжаетъ:

— А для бо́льшаго идіотства или, какъ тамъ въ романахъ говорятъ, для бо́льшей иллюзіи, пойдешь къ буфету и опрокидонтомъ рюмочки двѣ-три. Тутъ ужъ въ головѣ и въ груди происходитъ что-то, чего и въ сказкахъ не вычитаешь. Человѣкъ я маленькій, ничтожный, а кажется мнѣ, что и границъ у меня нѣтъ... Весь свѣтъ собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяненькаго, счастливаго новобрачнаго, заражаются его весельемъ и ужъ не чувствуютъ дремоты. Вмѣсто одного слушателя, около Ивана Алексѣевича скоро появляется ужъ пять. Онъ вертится, какъ на иголкахъ, брызжетъ, машетъ руками и болтаетъ безъ умолку. Онъ хохочетъ и всѣ хохочутъ.

— Главное, господа, поменьше думать! Къ чорту всѣ эти анализы... Хочется выпить, ну и пей, а нечего тамъ философствовать, вредно это или полезно... Всѣ эти философіи и психологіи къ чорту!

Черезъ вагонъ проходитъ кондукторъ.

— Милый человѣкъ, — обращается къ нему новобрач-

ный: — какъ будете проходить черезъ вагонъ № 209, то найдите тамъ даму въ сѣрой шляпкѣ съ бѣлой птицей и скажите ей, что я здѣсь!

— Слушаю. Только въ этомъ поѣздѣ нѣтъ 209 №. Есть 219!

— Ну, 219! Все равно! Такъ и скажите этой дамѣ: мужъ цѣлъ и невредимъ!

Иванъ Алексѣевичъ хватаетъ вдругъ себя за голову и стонетъ:

— Мужъ... Дама... Давно ли это? Мужъ... Ха-ха... Пороть тебя нужно, а ты мужъ! Ахъ, идіотина! Но она! Вчера еще была дѣвочкой... козявочкой... Просто не вѣрится!

— Въ наше время даже какъ-то странно видѣть счастливаго человѣка,—говоритъ одинъ изъ пассажировъ.—Скорѣй бѣлаго слона увидишь.

— Да, а кто виноватъ?—говоритъ Иванъ Алексѣевичъ, протягивая свои длинныя ноги съ очень острыми носками.— Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-съ, а вы какъ думали? Человѣкъ есть самъ творецъ своего собственнаго счастія. Захотите, и вы будете счастливы, но вы вѣдь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь отъ счастья!

— Вотъ-те на! Какимъ образомъ?

— Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человѣкъ въ извѣстный періодъ своей жизни любилъ. Насталъ этотъ періодъ, ну и люби во всѣ лопатки, а вы вѣдь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далѣе... Въ законѣ сказано, что нормальный индивидуй долженъ вступить въ бракъ... Безъ брака счастья нѣтъ. Приспѣло время благопріятное, ну и женись, нечего канителить... Но вѣдь вы не женитесь, все чего-то ждете! Засимъ въ Писаніи сказано, что вино веселитъ сердце человѣческое... Если тебѣ хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало-быть, иди въ буфетъ и выпей. Главное—не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблонъ великое дѣло!

— Вы говорите, что человѣкъ творецъ своего счастія. Какой къ чорту онъ творецъ, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобъ счастье его полетѣло вверхъ тормашкой? Все зависитъ отъ случая. Случись сейчасъ съ нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запѣли...

— Чепуха! — протестуетъ новобрачный. — Катастрофы бываютъ только разъ въ годъ. Никакихъ случаевъ я не

боюсь, потому что нѣтъ предлога случаться этимъ случаямъ. Рѣдки случаи! Ну ихъ къ чорту! И говорить даже о нихъ не хочу! Ну, мы, кажется, къ полустанку подъѣзжаемъ.

— Вы теперь куда ѣдете?—спрашиваетъ Петръ Петровичъ.—Въ Москву, или куда-нибудь южнѣе?

— Здравствуйте! Какъ же это я, ѣдучи на сѣверъ, попаду куда-нибудь южнѣе?

— Но вѣдь Москва не на сѣверѣ.

— Знаю, но вѣдь мы сейчасъ ѣдемъ въ Петербургъ!—говоритъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Въ Москву мы ѣдемъ, помилосердствуйте!

— То-есть, какъ же въ Москву? — изумляется новобрачный.

— Странно... Вы куда билетъ взяли?

— Въ Петербургъ.

— Въ такомъ случаѣ поздравляю. Вы не на тотъ поѣздъ попали.

Проходитъ полминуты молчанія. Новобрачный поднимается и тупо обводитъ глазами компанію.

— Да, да,—поясняетъ Петръ Петровичъ.—Въ «Бологомъ» вы не въ тотъ поѣздъ вскочили... Васъ, значитъ, угораздило послѣ коньяку во встрѣчный поѣздъ попасть.

Иванъ Алексѣевичъ блѣднѣетъ, хватаетъ себя за голову и начинаетъ быстро шагать по вагону.

— Ахъ, я идіотина! — негодуетъ онъ. — Ахъ, я подлецъ, чтобы меня черти съѣли! Ну, что я теперь буду дѣлать? Вѣдь въ томъ поѣздѣ жена! Она тамъ одна, ждетъ, томится! Ахъ, я шутъ гороховый!

Новобрачный падаетъ на диванъ и ежится, точно ему наступили на мозоль.

— Несчастный я человѣкъ!—стонетъ онъ.—Что же я буду дѣлать? Что?

— Ну, ну...—утѣшаютъ его пассажиры.—Пустяки... Вы телеграфируйте вашей женѣ, а сами постарайтесь сѣсть по пути въ курьерскій поѣздъ. Такимъ образомъ вы ее догоните.

— Курьерскій поѣздъ!—плачетъ новобрачный, «творецъ своего счастья». — А гдѣ я денегъ возьму на курьерскій поѣздъ? Всѣ мои деньги у жены!

Пошептавшись, смѣющіеся пассажиры дѣлаютъ складчину и снабжаютъ счастливца деньгами.

# СРЕДСТВО ОТЪ ЗАПОЯ.

Въ городъ Д., въ отдѣльномъ купе перваго класса, прибылъ на гастроли извѣстный чтецъ и комикъ г. Фениксовъ-Дикобразовъ 2-й. Всѣ, встрѣчавшіе его на вокзалѣ, знали, что билетъ перваго класса былъ купленъ «для форса» лишь на предпослѣдней станціи, а до тѣхъ поръ знаменитость ѣхала въ третьемъ; всѣ видѣли, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только лѣтняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но тѣмъ не менѣе, когда изъ вагона показалась сизая, заспанная физіономія Дикобразова 2-го, всѣ почувствовали нѣкоторый трепетъ и жажду познакомиться. Антрепренеръ Почечуевъ, по русскому обычаю, троекратно облобызалъ пріѣзжаго и повезъ его къ себѣ на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня черезъ два послѣ пріѣзда, но судьба рѣшила иначе: за день до спектакля въ кассу театра вбѣжалъ блѣдный, взъерошенный антрепренеръ и сообщилъ, что Дикобразовъ 2-й играть не можетъ.

— Не можетъ! — объявилъ Почечуевъ, хватая себя за волосы. — Какъ вамъ это покажется? Мѣсяцъ, цѣлый мѣсяцъ печатали аршинными буквами, что у насъ будетъ Дикобразовъ, хвастали, лохались, забрали абонементныя деньги, и вдругъ этакая подлость! А? Да за это повѣсить мало!

— Но въ чемъ дѣло? Что случилось?

— Запилъ проклятый!

— Экая важность! Проспится.

— Скорѣй издохнетъ, чѣмъ проспится! Я его еще съ

Москвы знаю: какъ начнетъ водку лопать, такъ потомъ мѣсяца два безъ просыпа. Запой! Это запой! Нѣтъ, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И въ кого я, окаянный, такимъ несчастнымъ уродился! За что... за что надъ моей головой всю жизнь висить проклятіе неба? (Почечуевъ трагикъ и по профессіи, и по натурѣ: сильныя выраженія, сопровождаемыя біеніемъ по груди кулаками, ему очень къ лицу). И какъ я гнусенъ, подлъ и презрѣненъ, рабски подставляя голову подъ удары судьбы! Не достойнѣе ли разъ навсегда покончить съ постыдной ролью Макара, на котораго всѣ шишки валятся, и пустить себѣ пулю въ лобъ? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуевъ закрылъ ладонями лицо и отвернулся къ окну. Въ кассѣ, кромѣ кассира, присутствовало много актеровъ и театраловъ, а потому дѣло не стало за совѣтами, утѣшеніями и обнадеживаніями; но все это имѣло характеръ философскій или пророческій; дальше «суеты суетъ», «наплюйте» и «авось» никто не пошелъ. Одинъ только кассиръ, толстенькій, водяночный человѣкъ, отнесся къ дѣлу посущественнѣй.

— А вы, Проклъ Львовичъ,—сказалъ онъ:—попробуйте полѣчить его.

— Запой никакимъ чортомъ не вылѣчишь!

— Не говорите-съ. Нашъ парикмахеръ превосходно отъ запоя лѣчитъ. У него весь городъ лѣчится.

Почечуевъ обрадовался возможности ухватиться хоть за соломенку, и черезъ какія-нибудь пять минутъ передъ нимъ уже стоялъ театральный парикмахеръ Ѳедоръ Гребешковъ. Представьте вы себѣ высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной, жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте къ этому поразительное сходство со скелетомъ, котораго заставили двигаться на винтахъ и пружинахъ, одѣньте фигуру въ донельзя поношенную черную пару, и у васъ получится портретъ Гребешкова.

— Здорово, Ѳедя!—обратился къ нему Почечуевъ. — Я слышалъ, дружокъ, что ты того... лѣчишь отъ запоя. Сдѣлай милость, не въ службу, а въ дружбу, полѣчи ты Дикобразова! Вѣдь, знаешь, запилъ!

— Богъ съ нимъ,—пробасилъ уныло Гребешковъ.—Актеровъ, которые попроще, купцовъ и чиновниковъ я, дѣйствительно, пользую, а тутъ вѣдь знаменитость, на всю Россію!

— Ну, такъ что жъ?

— Чтобъ запой изъ него выгнать, надо во всѣхъ органахъ и суставахъ тѣла переворотъ произвесть. Я произведу въ немъ переворотъ, а онъ выздоровѣетъ и въ амбицію... «Какъ ты смѣлъ, скажетъ, собака, до моего лица касаться?» Знаемъ мы этихъ знаменитыхъ!

— Ни-ни... не отвиливай, братецъ! Назвался груздемъ—полѣзай въ кузовъ! Надѣвай шапку, пойдемъ!

Когда черезъ четверть часа Гребешковъ входилъ въ комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядѣла на висячую лампу. Лампа висѣла спокойно, но Дикобразовъ 2-й не отрывалъ отъ нея глазъ и бормоталъ:

— Ты у меня повертишься! Я тебѣ, анаѳема, покажу, какъ вертѣться! Разбилъ графинъ, и тебя разобью, вотъ увидишь! А-а-а... и потолокъ вертится... Понимаю: заговоръ! Но лампа, лампа! Меньше всѣхъ, подлая, но больше всѣхъ вертится! Постой же...

Комикъ поднялся и, потянувъ за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился къ лампѣ, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое...

— Что такое!? — заревѣлъ онъ, поводя блуждающими глазами.—Кто ты? Откуда ты? А?

— А вотъ я тебѣ покажу, кто я... Поцѣлъ на кровать!

И не дожидаясь, когда комикъ пойдетъ къ кровати, Гребешковъ размахнулся и трахнулъ его кулакомъ по затылку съ такою силой, что тотъ кубаремъ полетѣлъ на постель. Комика, вѣроятно, раньше никогда не били, потому что онъ, несмотря на сильную хмель, поглядѣлъ на Гребешкова съ удивленіемъ и даже съ любопытствомъ.

— Ты... ты ударилъ? По... постой, ты ударилъ?

— Ударилъ. Нешто еще хочешь?

И парикмахеръ ударилъ Дикобразова еще разъ по зубамъ. Не знаю, что̀ тутъ подѣйствовало, сильные ли удары, или новизна ощущенія, но только глаза комика перестали блуждать, и въ нихъ замелькало что-то разумное. Онъ вскочилъ, и не столько со злобой, сколько съ любопытствомъ сталъ разсматривать блѣдное лицо и грязный сюртукъ Гребешкова.

— Ты... ты дерешься? — забормоталъ онъ. — Ты... ты смѣешь?

— Молчать!

И опять ударъ по лицу. Онналѣвшій комикъ сталъ-было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физіономіи.

— Легче! Легче! — послышался изъ другой комнаты голосъ Почечуева.—Легче, Ѳеденька!

— Ничего-съ, Проклъ Львовичъ! Сами же потомъ благодарить станутъ!

— Все-таки ты полегче!—проговорилъ плачущимъ голосомъ Почечуевъ, заглядывая въ комнату комика. — Тебѣ-то ничего, а меня морозъ по кожѣ деретъ. Ты подумай: среди бѣла дня бьютъ человѣка правоспособнаго, интеллигентнаго, извѣстнаго, да еще на собственной квартирѣ... Ахъ!

— Я Проклъ Львовичъ, бью не ихъ, а бѣса, что въ нихъ сидитъ. Уходите, сдѣлайте милость, и не безпокойтесь. Лежи, дьяволъ!—набросился Ѳедоръ на комика.—Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовымъ овладѣлъ ужасъ. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было имъ разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетѣло на его голову.

— Караулъ!—закричалъ онъ.—Спасите! Караулъ!

— Кричи, кричи, лѣшій! Это еще цвѣтки, а вотъ погоди, ягодки будутъ! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалѣю! Заступиться, братъ, некому! Не придетъ никто, хоть изъ пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дамъ. Вотъ она, водка-то!

Гребешковъ вытащилъ изъ кармана полуштофъ водки и блеснулъ имъ передъ глазами комика. Пьяный, при видѣ предмета своей страсти, забылъ про побои и даже заржалъ отъ удовольствія. Гребешковъ вынулъ изъ жилетнаго кармана кусочекъ грязнаго мыла и сунулъ его въ полуштофъ. Когда водка вспѣнилась и замутилась, онъ принялся всыпать въ нее всякую дрянь. Въ полуштофъ посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сѣра, канифоль и другія «спеціи», продаваемыя въ москательныхъ лавочкахъ. Комикъ пялилъ глаза на Гребешкова и страстно слѣдилъ за движеніями полуштофа. Въ заключеніе парикмахеръ сжегъ кусокъ тряпки, высыпалъ пепелъ въ водку, поболталъ и подошелъ къ кровати.

— Пей!—сказалъ онъ, наливая полъ-чайнаго стакана.— Разомъ!

Комикъ съ наслажденіемъ выпилъ, крякнулъ, но тотчасъ же вытаращилъ глаза. Лицо у него вдругъ поблѣднѣло, на лбу выступилъ потъ.

— Еще пей!—предложилъ Гребешковъ.

— Не... не хочу! По... постой...

— Пей, чтобъ тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразовъ выпилъ и, застонавъ, повалился на подушку. Черезъ минуту онъ приподнялся, и Ѳедоръ могъ убѣдиться, что его спеція дѣйствуетъ.

— Пей еще! Пущай у тебя всѣ внутренности выворотитъ, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мученій. Внутренности его буквально переворачивало. Онъ вскакивалъ, метался на постели и съ ужасомъ слѣдилъ за медленными движеніями своего безпощаднаго и неугомоннаго врага, который не отставалъ отъ него ни на минуту и неутомимо колотилъ его, когда онъ отказывался отъ спеціи. Побои смѣнялись спеціей, спеція побоями. Никогда въ другое время бѣдное тѣло Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало такихъ оскорбленій и униженій, и никогда знаменитость не была такъ слаба и беззащитна, какъ теперь. Сначала комикъ кричалъ и бранился, потомъ сталъ умолять, наконецъ, убѣдившись, что протесты ведутъ къ побоямъ, сталъ плакать. Почечуевъ, стоявшій за дверью и подслушивавшій, въ концѣ концовъ не выдержалъ и вбѣжалъ въ комнату комика.

— А ну тебя къ чорту!—сказалъ онъ, махая руками.— Пусть лучше пропадаютъ абонементныя деньги, пусть онъ водку пьетъ, только не мучь ты его, сдѣлай милость! Околѣетъ вѣдь, ну тебя къ чорту! Погляди: совсѣмъ вѣдь околѣлъ! Зналъ бы, ей-Богу не связывался...

— Ничего-съ... Сами еще благодарить будутъ, увидите-съ... Ну, ты что еще тамъ?—повернулся Гребешковъ къ комику.— Влетитъ!

До самаго вечера провозился онъ съ комикомъ. И самъ умаялся, и его заѣздилъ. Кончилось тѣмъ, что комикъ страшно ослабѣлъ, потерялъ способность даже стонать и окаменѣлъ съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. За окаменѣніемъ наступило что-то похожее на сонъ.

На другой день комикъ, къ великому удивленію Почечуева, проснулся,—стало-быть не умеръ. Проснувшись, онъ тупо

оглядѣлся, обвелъ комнату блуждающимъ взоромъ и сталъ припоминать.

— Отчего это у меня все болитъ?—недоумѣвалъ онъ.— Точно по мнѣ поѣздъ прошелъ. Нешто водки выпить? Эй, кто тамъ? Водки!

Въ это время за дверью стояли Почечуевъ и Гребешковъ.

— Водки проситъ, стало-быть, не выздоровѣлъ!—ужаснулся Почечуевъ.

— Что вы, батюшка, Проклъ Львовичъ!—удивился парикмахеръ.—Да нешто въ одинъ день вылѣчишь? Дай Богъ, чтобы въ недѣлю поправился, а не то что въ день. Иного слабенькаго и въ пять дней вылѣчишь, а это вѣдь по комплекціи тотъ же купецъ. Не скоро его проймешь.

— Что же ты мнѣ раньше не сказалъ этого, анаѳема?—застоналъ Почечуевъ.—И въ кого я несчастнымъ такимъ уродился! И чего я, окаянный, жду еще отъ судьбы? Не разумнѣе ли кончить разомъ, всадить себѣ пулю въ лобъ, и т. д.

Какъ ни мрачно глядѣлъ на свою судьбу Почечуевъ, однако черезъ недѣлю Дикобразовъ 2-й уже игралъ, и абонементныхъ денегъ не пришлось возвращать. Гримировалъ комика Гребешковъ, причемъ такъ почтительно касался къ его головѣ, что вы не узнали бы въ немъ прежняго заушателя.

— Живучъ человѣкъ!—удивлялся Почечуевъ.—Я чуть не померъ, на его муки глядючи, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало, даже еще благодаритъ этого чорта Ѳедьку, въ Москву съ собой хочетъ взять! Чудеса, да и только!

# ЖИТЕЙСКІЯ НЕВЗГОДЫ.

Левъ Ивановичъ Поповъ, человѣкъ нервный, несчастный на службѣ и въ семейной жизни, потянулъ къ себѣ счеты и сталъ считать снова. Мѣсяцъ тому назадъ онъ пріобрѣлъ въ банкирской конторѣ Кошкера выигрышный билетъ 1-го займа на условіяхъ погашенія ссуды частями, въ видѣ ежемѣсячныхъ взносовъ, и теперь высчитывалъ, сколько ему придется заплатить за все время погашенія и когда билетъ станетъ его полною собственностью.

— Билетъ стоитъ по курсу 246 рублей,—считалъ онъ.— Далъ я задатку 10 руб., значитъ, осталось 236. Хорошо-съ... Къ этой суммѣ нужно прибавить проценты за 1 мѣсяцъ въ размѣрѣ 7% годовыхъ и $^1/_4$% комиссіонныхъ, гербовый сборъ, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанціи 21 коп., страхованіе билета 1 руб. 10 коп., за транзитъ 1 руб. 22 коп., за элеваторъ 74 коп., пени 18 коп...

За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, пріѣхавшая къ мужу изъ Мценска просить отдѣльнаго вида на жительство. Въ дорогѣ она простудилась, схватила флюсъ и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолкомъ какой-то энергическій мужчина, вѣроятно ученикъ консерваторіи, разучивалъ на рояли рапсодію Листа съ такимъ усердіемъ, что, казалось, по крышѣ дома ѣхалъ товарный поѣздъ. Направо, въ сосѣднемъ номерѣ, студентъ-медикъ готовился къ экзамену. Онъ шагалъ изъ угла въ уголъ и зубрилъ густымъ семинарскимъ басомъ:

— Хроническій катарръ желудка наблюдается также у

привычныхъ пьяницъ, обжоръ, вообще у людей, ведущихъ неумѣренный образъ жизни...

Въ номерѣ стоялъ удушливый запахъ гвоздики, креозота, іода, карболки и другихъ вонючихъ веществъ, которыя Софья Саввишна употребляла противъ своей зубной боли.

— Хорошо-съ,—продолжалъ считать Поповъ.—Къ 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого къ этому мѣсяцу остается 250 руб. 81 коп. Теперь, если я въ мартѣ уплачу 5 руб., то, значитъ, останется 240 руб. 81 коп. Хорошо-съ. Теперь, считая за 1 мѣсяцъ впередъ 7% годовыхъ и 1/4% комиссіонныхъ...

— А-ахъ!—застонала жена.—Да помоги же мнѣ, Левъ Иванычъ! Умира-аю!

— Что же я, матушка, сдѣлаю? Я не докторъ... 1/4% комиссіонныхъ, 1/5% куртажа, на каботажъ 1 р. 22 коп., за транзитъ 74 коп...

— Безчувственный!—заплакала Софья Саввишна, высовывая свою опухшую физіономію изъ-за ширмы.—Ты никогда мнѣ не сочувствовалъ, мучитель! Слушай, когда я тебѣ говорю! Невѣжа!

— Стало-быть, 1/4% комиссіонныхъ... за транзитъ 74 коп., за элеваторъ 18 коп., за упаковку 32 коп.—итого 17 руб. 12 коп.

— Хрроническій катарръ желудка,—зубрилъ студентъ, шагая изъ угла въ уголъ:—наблюдается также у привычныхъ пьяницъ, обжоръ...

Поповъ встряхнулъ счеты, мотнулъ угорѣвшей головой и сталъ считать снова. Черезъ часъ онъ сидѣлъ все на томъ же мѣстѣ, таращилъ глаза въ залоговую квитанцію и бормоталъ:

— Значитъ, въ апрѣлѣ 1896 года останется 228 руб. 67 коп. Хорошо-съ... Въ сентябрѣ я взношу 5 руб., останется 223 руб. 67 коп. Ну-съ, прибавляя за 1 мѣсяцъ впередъ 7% годовыхъ, 1/4% комиссіонныхъ...

— Варваръ, подай нашатырный спиртъ! — взвизгнула Софья Саввишна.—Тиранъ! Убійца!

— Хрроническій катарръ желудка наблюдается также при стрррaданіяхъ печени...

Поповъ подалъ женѣ спиртъ и продолжалъ:

— 1/4% комиссіонныхъ, за транзитъ 74 коп., издержки по аберраціи 18 коп., цени 32 коп...

Наверху музыка было утихла, но черезъ минуту піанистъ заигралъ снова и съ такимъ ожесточеніемъ, что въ матрасѣ подъ Софьей Саввишной задвигалась пружина. Поповъ ошалѣло поглядѣлъ на потолокъ и началъ считать опять съ августа 1896 года. Онъ глядѣлъ на бумаги съ цифрами, на счеты, и видѣлъ что-то въ родѣ морской зыби; въ глазахъ его рябило, мозги путались, во рту пересохло и на лбу выступилъ холодный потъ, но онъ рѣшилъ не вставать, пока окончательно не уразумѣетъ своихъ денежныхъ отношеній къ банкирской конторѣ Кошкера.

— А-ахъ!—мучилась Софья Саввишна.—Всю правую сторону рветъ. Владычица! О-охъ, моченьки моей нѣтъ! А ему, аспиду, хоть трава не расти! Хоть умри я, ему все равно! Несчастная я, страдалица! Вышла за идола, мученица!

— Но что же я могу сдѣлать? Значитъ, въ февралѣ 1903 года я буду долженъ 208 руб. 7 коп. Хорошо-съ. Теперь, прибавляя 7% годовыхъ, и ¼% комиссіонныхъ, куртажа 74 коп...

— Хрроническій катарръ желудка наблюдается и при страданіяхъ легкихъ...

— Не мужъ ты, не отецъ своихъ дѣтей, а тиранъ и мучитель! Подай скорѣй хоть гвоздичку, безчувственный!

— Тьфу! ¼% комиссіонныхъ... т. е., что же я? За вычетомъ прибыли отъ купоновъ, съ прибавленіемъ 7% годовыхъ за мѣсяцъ впередъ, ¼% комиссіонныхъ...

— Хрроническій катарръ желудка наблюдается и при страданіяхъ легкихъ...

Часа три спустя, Поповъ подвелъ послѣдній итогъ. Оказалось, что за все время погашенія придется заплатить банкирской конторѣ Кошкера 1.347.821 руб. 92 коп. и что если вычесть отсюда выигрышъ въ двѣсти тысячъ, то все же останется убытку больше милліона. Увидѣвъ такія цифры, Левъ Ивановичъ медленно поднялся, похолодѣлъ... На лицѣ у него выступило выраженіе ужаса, недоумѣнія и оторопи, какъ будто у него выстрѣлили подъ самымъ ухомъ. Въ это время наверху за потолкомъ къ піанисту подсѣлъ товарищъ, и четыре руки, дружно ударивъ по клавишамъ, стали нажаривать рапсодію Листа. Студентъ-медикъ быстрѣе зашагалъ, прокашлялся и загудѣлъ:

— Хрроническій катарръ желудка наблюдается также у привычныхъ пьяницъ, обжорръ...

Софья Саввишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами... Боль ея, повидимому, только-что начинала разыгрываться...

Поповъ вытеръ холодный потъ, опять сѣлъ за столъ и, встряхнувъ счеты, сказалъ:

— Надо провѣрить... Очень возможно, что я немножко ошибся...

И онъ принялся опять за квитанцію и началъ снова считать:

— Билетъ стоитъ по курсу 246 руб... Далъ я задатку 10 руб., значитъ, осталось 236...

А въ ушахъ у него стучало:

— Дыр... дыр... дыр...

И уже слышались выстрѣлы, свистъ, хлопанье бичей, ревъ львовъ и леопардовъ.

— Осталось 236!—кричалъ онъ, стараясь перекричать этотъ шумъ.—Въ іюнѣ я взношу 5 рублей! Чортъ возьми, 5 рублей! Чортъ васъ дери, въ ротъ вамъ дышло, 5 рублей! Vive la France! Да здравствуетъ Деруледъ!

На утро его свезли въ больницу.

# ДОРОГАЯ СОБАКА.

Поручикъ Дубовъ, уже не молодой армейскій служака, и вольноопредѣляющійся Кнапсъ сидѣли и выпивали.

— Великолѣпный песъ! — говорилъ Дубовъ, показывая Кнапсу свою собаку Милку.—Замѣ-ча-тельная собака! Вы обратите вниманіе на морду! Морда одна чего стоитъ! Ежели на любителя наскочить, такъ за одну морду двѣсти рублей дадутъ! Не вѣрите? Въ такомъ случаѣ, вы ничего не понимаете...

— Я понимаю, но...

— Вѣдь сетеръ, чистокровный англійскій сетеръ! Стойка поразительная, а чутье... нюхъ! Боже, какой нюхъ! Знаете, сколько я далъ за Милку, когда она была еще щенкомъ? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда... собачечка, песикъ мой...

Дубовъ привлекъ къ себѣ Милку и поцѣловалъ ее между ушей. На глазахъ у него выступили слезы.

— Никому тебя не отдамъ... красавица моя... разбойникъ этакій. Вѣдь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вонъ!—крикнулъ вдругъ поручикъ.—Грязными лапами прямо на мундиръ лѣзешь! Да, Кнапсъ, полтораста рублей далъ, за щенка! Стало-быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мнѣ некогда! Гибнетъ безъ дѣла собака, талантъ свой зарываетъ... Потому-то и продаю. Купите, Кнапсъ! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у васъ денегъ мало, то извольте, я уступлю вамъ половину... Берите за пятьдесятъ! Грабьте!

— Нѣтъ, голубчикъ...—вздохнулъ Кнапсъ.—Будь ваша Милка мужескаго пола, то, можетъ-быть, я и купилъ бы, а то...

— Милка не мужескаго пола?—изумился поручикъ. — Кнапсъ, что съ вами? Милка не мужескаго... пола?! Ха-ха! Такъ что же она по вашему? Сука? Ха-ха... Хорошъ мальчикъ! Онъ еще не умѣетъ отличить кобеля отъ суки!

— Вы мнѣ говорите, словно я слѣпъ, или ребенокъ...— обидѣлся Кнапсъ!—Конечно, сука!

— Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ахъ, Кнапсъ, Кнапсъ! А еще тоже въ техническомъ кончили! Нѣтъ, душа моя, это настоящій, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очковъ впередъ дастъ, а вы... не мужескаго пола! Ха-ха...

— Простите, Михаилъ Ивановичъ, но вы... просто за дурака меня считаете... Обидно даже...

— Ну, не нужно, чортъ съ вами... Не покупайте... Вамъ не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нея это не хвостъ, а нога... Не нужно. Вамъ же хотѣлъ одолженіе сдѣлать. Вахрамѣевъ, коньяку!

Денщикъ подалъ еще коньяку. Пріятели налили себѣ по стакану и задумались. Прошло полчаса въ молчаніи.

— А хоть бы и женскаго пола...—прервалъ молчаніе поручикъ, угрюмо глядя на бутылку.—Удивительное дѣло! Для васъ же лучше. Принесетъ вамъ щенятъ, а что ни щенокъ, то и четвертная... Всякій у васъ охотно купитъ. Не знаю, почему это вамъ такъ нравятся кобели! Суки въ тысячу разъ лучше. Женскій полъ и признательнѣе, и привязчивѣе... Ну, ужъ если вы такъ боитесь женскаго пола, то извольте, берите за двадцать пять.

— Нѣтъ, голубчикъ... Ни копейки не дамъ. Во-первыхъ, собака мнѣ не нужна, а во-вторыхъ, денегъ нѣтъ.

— Такъ бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщикъ подалъ яичницу. Пріятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

— Хорошій вы малый, Кнапсъ, честный...—сказалъ поручикъ, вытирая губы.—Жалко мнѣ васъ такъ отпускать, чортъ подери... Знаете что? Берите собаку даромъ!

— Куда же я ее, голубчикъ, возьму?—сказалъ Кнапсъ и вздохнулъ.—И кто у меня съ ней возиться будетъ?

— Ну, не нужно, не нужно... чортъ съ вами! Не хотите, и не нужно... Куда же вы? Сидите!

Кнапсъ, потягиваясь, всталъ и взялся за шапку.

— Пора, прощайте...—сказалъ онъ, зѣвая.

— Такъ постойте же, я васъ провожу.

Дубовъ и Кнапсъ одѣлись и вышли на улицу. Первые сто шаговъ прошли молча.

— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку?—началъ поручикъ.—Нѣтъ ли у васъ такихъ знакомыхъ? Собака, вы видѣли, хорошая, породистая, но... мнѣ рѣшительно не нужна!

— Не знаю, милый... Какіе же у меня тутъ знакомые?

До самой квартиры Кнапса пріятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапсъ пожалъ поручику руку и отворилъ свою калитку, Дубовъ кашлянулъ и какъ-то нерѣшительно выговорилъ:

— Вы не знаете, здѣшніе живодеры собакъ принимаютъ или нѣтъ?

— Должно-быть, принимаютъ... Навѣрное не могу сказать.

— Пошлю завтра съ Вахрамѣевымъ... Чортъ съ ней, пусть съ нея кожу сдерутъ... Мерзкая собака! Отвратительная! Мало того, что нечистоту въ комнатахъ завела, но еще въ кухнѣ вчера все мясо сожрала, п-п-подлая... Добро бы, порода хорошая, а то чортъ знаетъ что, помѣсь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

— Прощайте!—сказалъ Кнапсъ.

Калитка хлопнула, и поручикъ остался одинъ.

# НЕ ВЪ ДУХѢ.

Становой приставъ Семенъ Ильичъ Прачкинъ ходилъ по своей комнатѣ изъ угла въ уголъ и старался заглушить въ себѣ непріятное чувство. Вчера онъ заѣзжалъ по дѣлу къ воинскому начальнику, сѣлъ нечаянно играть въ карты и проигралъ восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бѣсъ жадности и корыстолюбія сидѣлъ въ ухѣ станового и упрекалъ его въ расточительности.

— Восемь рублей—экая важность!—заглушалъ въ себѣ Прачкинъ этого бѣса.—Люди и больше проигрываютъ, да ничего. И къ тому же деньги дѣло наживное... Съѣздилъ разъ на фабрику, или въ трактиръ Рылова, вотъ тебѣ и всѣ восемь, даже еще больше!

— «Зима... Крестьянинъ, торжествуя...»—монотонно зубрилъ въ сосѣдней комнатѣ сынъ станового, Ваня.—«Крестьянинъ, торжествуя... обновляетъ путь...»

— Да и отыграться можно... Что это тамъ «торжествуя»?

— «Крестьянинъ, торжествуя, обновляетъ путь... обновляетъ...»

— «Торжествуя»...—продолжалъ размышлять Прачкинъ.—Влѣпить бы ему десятокъ горячихъ, такъ не очень бы торжествовалъ. Чѣмъ торжествовать, лучше бы подати исправно платилъ... Восемь рублей—экая важность! Не восемь тысячъ, всегда отыграться можно...

— «Его лошадка, снѣгъ почуя... снѣгъ почуя, плетется рысью какъ-нибудь...»

— Еще бы она вскачь понеслась! Рысакъ какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть... Неразсудительный мужикъ радъ съ-пьяну лошадь гнать, а потомъ, какъ угодитъ въ прорубь или въ оврагъ, тогда и возись съ нимъ... Поскачи только мнѣ, такъ я тебѣ такого скипидару пропишу, что лѣтъ пять не забудешь! И зачѣмъ это

я съ маленькой пошелъ? Пойди я туза трефъ, не былъ бы я безъ двухъ...

— «Бразды пушистыя взрывая, летитъ кибитка удалая... бразды пушистыя взрывая...»

— «Взрывая... Бразды взрывая... бразды...» Скажетъ же этакую штуку! Позволяютъ же писать, прости Господи! А все десятка, въ сущности, надѣлала! Принесли же ее черти не вò-время!

— «Вотъ бѣгаетъ дворовый мальчикъ... дворовый мальчикъ, въ салазки Жучку посадивъ... посадивъ...»

— Стало-быть, наѣлся, коли бѣгаетъ, да балуется... А у родителей нѣтъ того въ умѣ, чтобъ мальчишку за дѣло усадить. Чѣмъ собаку-то возить, лучше бы дрова кололъ, или Священное Писаніе читалъ... И собакъ тоже развели... ни пройти, ни проѣхать! Было бы мнѣ послѣ ужина не садиться... Поужинать бы, да и уѣхать...

— «Ему и больно и смѣшно, а мать грозитъ... а мать грозитъ ему въ окно...»

— Грози, грози... Лѣнь на дворъ выйти да наказать... Задрала бы ему шубенку, да чикъ-чикъ! чикъ-чикъ! Это лучше, чѣмъ пальцемъ грозить... А то, гляди, выйдетъ изъ него пьяница...Кто это сочинилъ?—спросилъ громко Прачкинъ.

— Пушкинъ, папаша.

— Пушкинъ? Гм!.. Должно-быть, чудакъ какой-нибудь. Пишутъ-пишутъ, а что̀ пишутъ — и сами не понимаютъ. Лишь бы написать!

— Папаша, мужикъ муку привезъ!—крикнулъ Ваня.

— Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чѣмъ болѣе онъ утѣшалъ себя, тѣмъ чувствительнѣе становилась для него потеря. Такъ было жалко восьми рублей, такъ жалко, точно онъ въ самомъ дѣлѣ проигралъ восемь тысячъ. Когда Ваня кончилъ урокъ и умолкъ, Прачкинъ стоялъ у окна и, тоскуя, вперилъ свой печальный взоръ въ снѣжные сугробы... Но видъ сугробовъ только растеребилъ его сердечную рану. Онъ напомнилъ ему о вчерашней поѣздкѣ къ воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило подъ душу... Потребность излить на чемъ-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящихъ отлагательства. Онъ не вынесъ...

— Ваня!—крикнулъ онъ.—Иди, я тебя высѣку за то, что ты вчера стекло разбилъ!

# НАДЛЕЖАЩІЯ МѢРЫ.

Маленькій, заштатный городокъ, котораго, по выраженію мѣстнаго тюремнаго смотрителя, на географической картѣ даже подъ телескопомъ не увидишь, освѣщенъ полуденнымъ солнцемъ. Тишина и спокойствіе. По направленію отъ думы къ торговымъ рядамъ медленно подвигается санитарная комиссія, состоящая изъ городового врача, полицейскаго надзирателя, двухъ уполномоченныхъ отъ думы и одного торговаго депутата. Сзади почтительно шагаютъ городовые... Путь комиссіи, какъ путь въ адъ, усыпанъ благими намѣреніями. Санитары идутъ и, размахивая руками, толкуютъ о нечистотѣ, вони, надлежащихъ мѣрахъ и прочихъ холерныхъ матеріяхъ. Разговоры до того умные, что идущій впереди всѣхъ полицейскій надзиратель вдругъ приходитъ въ восторгъ и, обернувшись, заявляетъ:

— Вотъ такъ бы намъ, господа, почаще собираться да разсуждать! И пріятно, и въ обществѣ себя чувствуешь, а то только и знаемъ, что ссоримся. Да ей-Богу!

— Съ кого бы намъ начать? — обращается торговый депутатъ къ врачу тономъ палача, выбирающаго жертву.— Не начать ли намъ, Аникита Николаичъ, съ лавки Ошейникова? Мошенникъ, во-первыхъ, и... во-вторыхъ, пора ужъ до него добраться. Намедни приносятъ мнѣ отъ него гречневую крупу, а въ ней, извините, крысиный пометъ... Жена такъ и не ѣла!

— Ну, что жъ? Съ Ошейникова начинать, такъ съ Ошейникова,—говоритъ безучастно врачъ.

Санитары входятъ въ «Магазинъ, чаю, сахару и кофію

и прочихъ колоніеальныхъ товаровъ Л. М. Ошейникова» и тотчасъ же, безъ длинныхъ предисловій, приступаютъ къ ревизіи.

— М-да-съ... — говоритъ врачъ, разсматривая красиво сложенныя пирамиды изъ казанскаго мыла.—Какихъ ты у себя здѣсь изъ мыла вавилоновъ настроилъ! Изобрѣтательность, подумаешь! Э... э... э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьянъ Гаврилычъ изволитъ мыло и хлѣбъ однимъ и тѣмъ же ножомъ рѣзать!

— Отъ этого холеры не выйдетъ-съ, Аникита Николаичъ!—резонно замѣчаетъ хозяинъ.

— Оно-то такъ, но вѣдь противно! Вѣдь и я у тебя хлѣбъ покупаю.

— Для кого поблагороднѣй, мы особый ножъ держимъ. Будьте покойны-съ... Что вы-съ...

Полицейскій надзиратель щуритъ свои близорукіе глаза на окорокъ, долго царапаетъ его ногтемъ, громко нюхаетъ, затѣмъ, пощелкавъ по окороку пальцемъ, спрашиваетъ:

— А онъ у тебя, бываетъ, не съ стрихнинами?

— Что вы-съ... Помилуйте-съ... Нешто можно-съ!

Надзиратель конфузится, отходитъ отъ окорока и щуритъ глаза на прейсъ-курантъ Асмолова и К°. Торговый депутатъ запускаетъ руку въ боченокъ съ гречневой крупой и ощущаетъ тамъ что-то мягкое, бархатистое... Онъ глядитъ туда, и по лицу его разливается нѣжность.

— Кисаньки... кисаньки! Манюнечки мои! — лепечетъ онъ. — Лежатъ въ крупѣ и мордочки подняли... нѣжатся... Ты бы, Демьянъ Гаврилычъ, прислалъ мнѣ одного котеночка!

— Это можно-съ... А вотъ, господа, закуски, ежели желаете осмотрѣть... Селедки вотъ, сыръ... балыкъ, изволите видѣть... Балыкъ въ четвергъ получилъ, самый лучшшш... Мишка, дай-ка сюда ножикъ!

Санитары отрѣзываютъ по куску балыка и, понюхавъ, пробуютъ.

— Закушу ужъ и я кстати...—говоритъ какъ бы про себя хозяинъ лавки Демьянъ Гаврилычъ.—Тамъ гдѣ-то у меня бутылочка валялась. Пойти передъ балыкомъ выпить... Другой вкусъ тогда... Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надувъ щеки и выпучивъ глаза, раскупориваетъ бутылку и со звономъ ставитъ ее на прилавокъ.

— Пить натощакъ...—говоритъ полицейскій надзиратель,

въ нерѣшимости почесывая затылокъ. — Впрочемъ, ежели по одной... Только ты поскорѣй, Демьянъ Гаврилычъ, намъ некогда съ твоей водкой!

Черезъ четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками въ зубахъ, идутъ къ лавкѣ Голорыбенко. Тутъ, какъ на зло, пройти негдѣ... Человѣкъ пять молодцовъ, съ красными, вспотѣвшими физіономіями, катятъ изъ лавки боченокъ съ масломъ.

— Держи вправо!.. Тяни за край... тяни, тяни! Брусокъ подложи... а, чортъ! Отойдите, ваше благородіе, ноги отдавимъ!

Боченокъ застрялъ въ дверяхъ и — ни съ мѣста... Молодцы налегаютъ на него и прутъ изо всѣхъ силъ, испуская громкое сопѣнье и бранясь на всю площадь. Послѣ такихъ усилій, когда отъ долгихъ сопѣній воздухъ значительно измѣняетъ свою чистоту, боченокъ, наконецъ, выкатывается и почему-то, вопреки законамъ природы, катится назадъ и опять застряваетъ въ дверяхъ. Сопѣнье начинается снова.

— Тьфу!—плюетъ надзиратель.—Пойдемте къ Шибукину. Эти черти до вечера будутъ пыхтѣть.

Шибукинскую лавку санитары находятъ запертой.

— Да вѣдь она же была отперта!—удивляются санитары, переглядываясь.—Когда мы къ Ошейникову входили, Шибукинъ стоялъ на порогѣ и мѣдный чайникъ полоскалъ. Гдѣ онъ? — обращаются они къ нищему, стоящему около запертой лавки.

— Подайте милостыньку, Христа ради,—сипитъ нищій:— убогому калѣкѣ, что милость ваша, господа благодѣтели... родителямъ вашимъ...

Санитары машутъ руками и идутъ дальше, за исключеніемъ одного только уполномоченнаго отъ думы, Плюнина. Этотъ подаетъ нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бѣжитъ въ догонку за компаніей.

Часа черезъ два комиссія идетъ обратно. Видъ у санитаровъ утомленный, замученный. Ходили они не даромъ: одинъ изъ городовыхъ, торжественно шагая, несетъ лотокъ, наполненный гнилыми яблоками.

— Теперь, послѣ трудовъ праведныхъ, недурно бы дрыгнуть,—говоритъ надзиратель, косясь на вывѣску «Ренсковый погребъ винъ и водокъ».—Подкрѣпиться бы.

— М-да, не мѣшаетъ. Зайдемте, если хотите.

Санитары спускаются въ погребъ и садятся вокругъ круглаго стола съ погнувшимися ножками. Надзиратель киваетъ сидѣльцу, и на столѣ появляется бутылка.

— Жаль, что закусить нечѣмъ,—говоритъ торговый депутатъ, вышивая и морщаясь.—Огурчика далъ бы, что ли... Впрочемъ...

Депутатъ поворачивается къ городовому съ лоткомъ, выбираетъ наиболѣе сохранившееся яблоко и закусываетъ.

— Ахъ... тутъ есть и не очень гнилыя!—какъ бы удивляется надзиратель.—Дай-ка, и я себѣ выберу! Да ты поставь здѣсь лотокъ... Какія лучше — мы выберемъ, почистимъ, а остальныя можешь уничтожить. Аникита Николаичъ, наливайте! Вотъ такъ почаще бы намъ собираться да разсуждать. А то живешь-живешь въ этой глуши, никакого образованія, ни клуба, ни общества—Австралія, да и только! Наливайте, господа! Докторъ, яблочекъ! Самолично для васъ очистилъ!

. . . . . .

— Ваше благородіе, куда лотокъ дѣвать прикажете?—спрашиваетъ городовой надзирателя, выходящаго съ компаніей изъ погреба.

— Ло...лотокъ? Который лотокъ? П-понимаю! Уничтожь вмѣстѣ съ яблоками... потому—зараза!

— Яблоки вы изволили скушать!

— А-а... очень пріятно! Послушш... поди ко мнѣ домой и скажи Марьѣ Власьевнѣ, чтобъ не сердилась... Я только на часокъ... Къ Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятія Морфея. Шпрехенъ зи деичъ, Иванъ Андреичъ.

И поднявъ къ небу глаза, надзиратель горько качаетъ головой, растопыриваетъ руки и говоритъ:

— Такъ и вся жизнь наша!

# ПЕРВЫЙ ЛЮБОВНИКЪ.

Евгеній Алексѣевичъ Поджаровъ, jeune premier, стройный, изящный, съ овальнымъ лицомъ и съ мѣшочками подъ глазами, пріѣхавъ на сезонъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, первымъ дѣломъ постарался познакомиться съ нѣсколькими почтенными семействами.

— Да-съ, синьоръ!—часто говорилъ онъ, граціозно болтая ногой и показывая свои красные чулки.—Артистъ долженъ дѣйствовать на массы посредственно и непосредственно; первое достигается служеніемъ на сценѣ, второе—знакомствомъ съ обывателями. Честное слово, parole d'honneur, не понимаю, отчего это нашъ братъ актеръ избѣгаетъ знакомствъ съ семейными домами? Отчего? Не говоря ужъ объ обѣдахъ, именинахъ, пирогахъ, суарэ-фиксахъ, не говоря ужъ о развлеченіяхъ, какое нравственное вліяніе онъ можетъ имѣть на общество! Развѣ не пріятно сознаніе, что ты заронилъ искру въ какую-нибудь толстокожую башку? А типы! А женщины! Mon Dieu, что за женщины! Голова кружится! Заберешься въ какой-нибудь купеческій домище, въ завѣтные терема, выберешь апельсинчикъ посвѣжѣе и румянѣе и—блаженство. Parole d'honneur!

Въ южномъ городѣ онъ познакомился, между прочимъ, съ почтенной семьей фабриканта Зыбаева. При воспоминаніи объ этомъ знакомствѣ онъ теперь всякій разъ презрительно морщится, щуритъ глаза и нервно теребитъ цѣпочку.

Однажды—это было на именинахъ у Зыбаева—артистъ сидѣлъ въ гостиной своихъ новыхъ знакомыхъ и по обыкновенію разглагольствовалъ. Вокругъ него въ креслахъ и на диванѣ сидѣли «типы» и благодушно слушали; изъ сосѣдней комнаты доносились женскій смѣхъ и звуки вечерняго чаепитія... Положивъ ногу на ногу, запивая каждую фразу чаемъ съ ромомъ и стараясь придать своему лицу небреж-

по-скучающее выраженіе, онъ разсказывалъ о своихъ успѣхахъ на сценѣ.

— Я актеръ по преимуществу провинціальный,—говорилъ онъ, снисходительно улыбаясь:—но случалось играть и въ столицахъ... Кстати разскажу одинъ случай, достаточно характеризующій современное умственное настроеніе. Въ Москвѣ въ мой бенефисъ мнѣ молодежь поднесла такую массу лавровыхъ вѣнковъ, что я, клянусь всѣмъ, что только есть у меня святого, не зналъ, куда дѣвать ихъ! Parole d'honneur! Впослѣдствіи, въ минуты безденежья, я снесъ лавровый листъ въ лавочку и... угадайте, сколько въ немъ было вѣсу? Два пуда и восемь фунтовъ! Ха-ха! Деньги пригодились какъ нельзя кстати. Вообще, артисты часто бываютъ бѣдны. Сегодня у меня сотни, тысячи, завтра ничего... Сегодня нѣтъ куска хлѣба, а завтра устрицы и анчоусы, чортъ возьми.

Обыватели чинно хлебали изъ своихъ стакановъ и слушали. Довольный хозяинъ, не зная, чѣмъ угодить образованному и занимательному гостю, представилъ ему пріѣзжаго гостя, своего дальняго родственника, Павла Игнатьевича Климова, мясистаго человѣка лѣтъ сорока, въ длинномъ сюртукѣ и въ широчайшихъ панталонахъ.

— Рекомендую!—сказалъ Зыбаевъ, представляя Климова.—Любитъ театры и самъ когда-то игрывалъ. Тульскій помѣщикъ!

Поджаровъ и Климовъ разговорились. Къ великому удовольствію обоихъ, оказалось, что тульскій помѣщикъ живалъ въ томъ самомъ городѣ, гдѣ jeune premier два сезона подъ рядъ игралъ на сценѣ. Начались разспросы о городѣ, объ общихъ знакомыхъ, о театрѣ...

— Знаете, мнѣ этотъ городъ ужасно нравится!—говорилъ jeune premier, показывая свои красные чулки.—Какія мостовыя, какой миленькій садъ... а какое общество! Прекрасное общество!

— Да, прекрасное общество,—согласился помѣщикъ.

— Городъ торговый, но весьма интеллигентный!.. Напримѣръ, э-э-э... директоръ гимназіи, прокуроръ... офицерство... Недуренъ также исправникъ... Человѣкъ, какъ говорятъ французы, аншантэ. А женщины! Аллахъ, что за женщины!

— Да, женщины... дѣйствительно...

— Быть-можетъ, я пристрастенъ! Дѣло въ томъ, что въ во-

шемъ городѣ мнѣ, не знаю почему, чертовски везло по амурной части! Я могъ бы написать десять романовъ. Напримѣръ, взять бы хоть этотъ романъ... Жилъ я на Егорьевской улицѣ, въ томъ самомъ домѣ, гдѣ помѣщается казначейство...

— Это красный, нештукатуренный?

— Да, да... нештукатуренный. По сосѣдству со мной, какъ теперь помню, въ домѣ Кощеева жила мѣстная красавица Варенька...

— Не Варвара ли Николаевна?—спросилъ Климовъ и просіялъ отъ удовольствія.—Дѣйствительно, красавица... Первая въ городѣ!

— Первая въ городѣ! Классическій профиль... большущіе черные глаза и коса по поясъ! Увидала она меня въ Гамлетѣ... Пишетъ письмо à la пушкинская Татьяна... Я, понятно, отвѣчаю...

Поджаровъ оглядѣлся и, убѣдившись, что въ гостиной нѣтъ дамъ, закатилъ глаза, грустно улыбнулся и вздохнулъ.

— Прихожу однажды послѣ спектакля домой,—зашепталъ онъ:—а она сидитъ у меня на диванѣ. Начинаются слезы, объясненія въ любви... поцѣлуи... О, то была чудная, то была дивная ночь! Нашъ романъ потомъ продолжался мѣсяца два, но эта ночь ужъ не повторялась. Что за ночь, parole d'honneur!

— Позвольте, какъ же это?—забормоталъ Климовъ, багровѣя и тараща глаза на актера.—Я Варвару Николаевну отлично знаю... Она моя племянница!

Поджаровъ смутился и тоже вытаращилъ глаза.

— Какъ же это-съ?—продолжалъ Климовъ, разводя руками.—Я эту дѣвушку знаю, и... и... меня удивляетъ...

— Очень жаль, что такъ пришлось...—забормоталъ актеръ, поднимаясь и чистя мизинцемъ лѣвый глазъ.—Хотя, впрочемъ... конечно, вы какъ дядя...

Гости, доселѣ съ удовольствіемъ слушавшіе и награждавшіе актера улыбками, смутились и потупили глаза.

— Нѣтъ, ужъ вы будьте такъ любезны, возьмите ваши слова назадъ...—сказалъ Климовъ въ сильномъ смущеніи.—Прошу васъ!

— Если васъ... э-э-э... это оскорбляетъ, то извольте-съ!—отвѣтилъ актеръ, дѣлая рукою неопредѣленный жестъ.

— И сознайтесь, что вы сказали неправду.

— Я? Нѣтъ... э-э-э... я не лгалъ, но... очень жалѣю, что

я проговорился... И вообще... не понимаю этого вашего тона!

Климовъ заходилъ изъ угла въ уголъ молча, какъ бы въ раздумьи или нерѣшимости. Мясистое лицо его становилось все багровѣе и на шеѣ надулись жилы. Походивъ минуты двѣ, онъ подошелъ къ актеру и сказалъ плачущимъ голосомъ:

— Нѣтъ, ужъ вы будьте добры, сознайтесь, что солгали насчетъ Вареньки! Сдѣлайте милость!

— Странно!—пожалъ плечами актеръ, насильно улыбаясь и болтая ногой.—Это... это даже оскорбительно!

— Стало-быть, вы не желаете сознаться?

— Н-не понимаю!

— Не желаете? Въ такомъ случаѣ извините... Я долженъ буду прибѣгнуть къ непріятнымъ мѣрамъ... Или я васъ тутъ сейчасъ же оскорблю, милостивый государь, или же... если вы благородный человѣкъ-съ, то извольте принять мой вызовъ на дуэль-съ... Будемъ стрѣляться!

— Извольте!—отчеканилъ jeune premier, дѣлая презрительный жестъ.—Извольте!

Смущенные до крайности гости и хозяинъ, не зная, что имъ дѣлать, отвели въ сторону Климова и стали просить его, чтобы онъ не затѣвалъ скандала. Въ дверяхъ показались удивленныя женскія физіономіи... Jeune premier повертѣлся, поболталъ и съ такимъ выраженіемъ, будто онъ не можетъ болѣе оставаться въ домѣ, гдѣ его оскорбляютъ, взялъ шапку и, не прощаясь, удалился.

Идя домой, jeune premier всю дорогу презрительно улыбался и пожималъ плечами, но у себя въ номерѣ, растянувшись на диванѣ, почувствовалъ сильнѣйшее безпокойство.

«Чортъ его возьми!—думалъ онъ. — Дуэль не бѣда, онъ меня не убьетъ, но бѣда въ томъ, что узнаютъ товарищи, а имъ отлично извѣстно, что я совралъ. Мерзко! Осрамлюсь на всю Россію...»

Поджаровъ подумалъ, покурилъ и, чтобы успокоиться, вышелъ на улицу.

«Поговорить бы съ этимъ бурбономъ, — думалъ онъ, — вбить бы ему въ глупую башку, что онъ болванъ, дуракъ... что я его вовсе не боюсь...»

Jeune premier остановился передъ домомъ Зыбаева и поглядѣлъ на окна. За кисейными занавѣсками еще горѣли огни и двигались фигуры.

— Подожду!—рѣшилъ актеръ.

Было темно и холодно. Какъ сквозь сито, моросилъ противный, осенній дождикъ... Поджаровъ облокотился о фонарный столбъ и весь отдался чувству безпокойства.

Онъ промокъ и измучился.

Въ два часа ночи изъ дома Зыбаева начали выходить гости. Послѣ всѣхъ въ дверяхъ показался тульскій помѣщикъ. Онъ вздохнулъ на всю улицу и заскребъ по тротуару своими тяжелыми калошами.

— Позвольте-съ!—началъ jeune premier, догоняя его.— На минутку.

Климовъ остановился. Актеръ улыбнулся, помялся и заговорилъ, заикаясь:

— Я... я сознаю... Я солгалъ...

— Нѣтъ-съ, вы извольте публично сознаться!—сказалъ Климовъ и опять побагровѣлъ.—Я этого дѣла не могу такъ оставить-съ...

— Но вѣдь я извиняюсь! Я прошу васъ... понимаете? Прошу, потому что, согласитесь сами, дуэль вызоветъ толки, а я служу... у меня товарищи... Могутъ Богъ знаетъ что подумать...

Jeune premier старался казаться равнодушнымъ, улыбаться, держаться прямо, но натура не слушалась: голосъ его дрожалъ, глаза виновато мигали и голову тянуло внизъ. Долго онъ бормоталъ еще что-то. Климовъ выслушалъ его, подумалъ и вздохнулъ.

— Ну, такъ и быть! — сказалъ онъ. — Богъ проститъ. Только въ другой разъ не лгите, молодой человѣкъ. Ничто такъ не унижаетъ человѣка, какъ ложь... Да-съ! Вы молоды, получили образованіе...

Тульскій помѣщикъ благодушно, родительскимъ тономъ читалъ наставленіе, а jeune premier слушалъ и кротко улыбался... Когда тотъ кончилъ, онъ оскалилъ зубы, поклонился и виноватой походкой, ежась всѣмъ тѣломъ, направился къ своей гостиницѣ.

Ложась спать полчаса спустя, онъ уже чувствовалъ себя внѣ опасности и въ отличномъ настроеніи. Покойный, довольный, что недоразумѣніе такъ благополучно кончилось, онъ укрылся одѣяломъ и скоро уснулъ, и спалъ крѣпко до десяти часовъ утра.

# ХОРОШІЙ КОНЕЦЪ.

У оберъ-кондуктора Стычкина въ одинъ изъ его недежурныхъ дней сидѣла Любовь Григорьевна, солидная, крупчатая дама лѣтъ сорока, занимающаяся сватовствомъ и многими другими дѣлами, о которыхъ принято говорить только шопотомъ. Стычкинъ, нѣсколько смущенный, но, какъ всегда, серьезный, положительный и строгій, ходилъ по комнатѣ, курилъ сигару и говорилъ:

— Весьма пріятно познакомиться. Семенъ Ивановичъ рекомендовалъ васъ съ той точки, что вы можете помочь мнѣ въ одномъ щекотливомъ, весьма важномъ дѣлѣ, касающемся счастья моей жизни. Мнѣ, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то-есть такой періодъ времени, въ который весьма многіе имѣютъ уже взрослыхъ дѣтей. Должность у меня основательная. Состоянія хотя и не имѣю большого, но могу около себя прокормить любимое существо и дѣтей. Скажу вамъ, между нами, что, кромѣ жалованья, я имѣю также и деньги въ банкѣ, которыя сберегъ вслѣдствіе своего образа жизни. Человѣкъ я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, такъ что могу многимъ себя въ примѣръ поставить. Но нѣтъ у меня только одного—своего домашняго очага и подруги жизни, и веду я свою жизнь, какъ какой-нибудь кочующій венгерецъ, съ мѣста на мѣсто, безъ всякаго удовольствія, и не съ кѣмъ мнѣ посовѣтоваться, а будучи боленъ, некому мнѣ даже воды подать и прочее. Кромѣ того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имѣетъ больше

вѣсу въ обществѣ, чѣмъ холостой... Я человѣкъ образованнаго класса, при деньгахъ, но ежели взглянуть на меня съ точки зрѣнія, то кто я? Бобыль, все равно, какъ какой-нибудь ксендзъ. А потому я весьма желалъ бы сочетаться узами игуменея, то-есть вступить въ законный бракъ съ какой-нибудь достойной особой.

— Хорошее дѣло!—вздохнула сваха.

— Человѣкъ я одинокій и въ здѣшнемъ городѣ никого не знаю. Куда я пойду и къ кому обращусь, если для меня всѣ люди въ неизвѣстности? Вотъ почему Семенъ Ивановичъ посовѣтовалъ мнѣ обратиться къ такой особѣ, которая спеціалистка по этой части и въ разсужденіи счастья людей имѣетъ свою профессію. А потому я убѣдительнѣйше прошу васъ, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашемъ содѣйствіи. Вы въ городѣ знаете всѣхъ невѣстъ и вамъ легко меня приспособить.

— Это можно...

— Кушайте, покорнѣйше прошу...

Привычнымъ жестомъ сваха поднесла рюмку ко рту, выпила и не поморщилась.

— Это можно,—повторила она.—А какую вамъ, Николай Николаичъ, невѣсту угодно?

— Мнѣ-съ? Какую судьба пошлетъ.

— Оно, конечно, это дѣло отъ судьбы, но вѣдь у всякаго свой вкусъ есть. Одинъ любитъ брюнетокъ, другой блондинокъ.

— Видите ли, Любовь Григорьевна...—сказалъ Стычкинъ, солидно вздыхая.—Я человѣкъ положительный и съ характеромъ. Для меня красота и вообще видимость имѣетъ второстепенную роль, потому что, сами знаете, съ лица воды не пить и съ красивой женой весьма много хлопотъ. Я такъ предполагаю, что въ женщинѣ главное не то, что снаружи, а то, что находится извнутри, то-есть чтобы у нея была душа и всѣ свойства. Кушайте, покорнѣйше прошу... Оно, конечно, весьма пріятно, ежели жена будетъ изъ себя полненькая, но это для обоюдной фортуны не суть важно; главное—умъ. Собственно говоря, въ женщинѣ и ума не нужно, потому что отъ ума она объ себѣ большое понятіе будетъ имѣть и думать разные идеалы. Безъ образованія нынче нельзя, это конечно, но образованіе разное бываетъ. Пріятно, ежели жена по-французски и по-нѣмецки, на разные голоса тамъ,

очень пріятно; но что изъ этого толку, ежели она не умѣетъ тебѣ пуговки, положимъ, пришить? Я образованнаго класса, съ княземъ Канителинымъ, могу сказать, все одно, какъ вотъ съ вами теперь, но я имѣю простой характеръ. Мнѣ нужна дѣвушка попроще. Главнѣе же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливилъ.

— Дѣло извѣстное.

— Ну-съ, теперь насчетъ существительнаго... Богатую мнѣ не нужно. Я не позволю себѣ такой подлости, чтобъ на деньгахъ жениться. Я желаю, чтобъ не я женинъ хлѣбъ ѣлъ, а чтобъ она мой, чтобъ она чувствовала. Но и бѣдной мнѣ тоже не нужно. Человѣкъ я хотя и со средствами, и хотя я женюсь не изъ интереса, а по любви, но нельзя мнѣ взять бѣдную, потому что, сами знаете, теперь все вздорожало и будутъ дѣти.

— Можно и съ приданымъ сыскать,—сказала сваха.

— Купайте, покорнѣйше прошу...

Помолчали минутъ пять. Сваха вздохнула, искоса поглядѣла на кондуктора и спросила:

— Ну, а того, батюшка... по холостой части тебѣ не требуется? Хорошій есть товаръ. Одна француженка, а другая будетъ изъ гречанокъ. Очень стоющія.

Кондукторъ подумалъ и сказалъ:

— Нѣтъ, благодарю васъ. Видя съ вашей стороны такое благорасположеніе, позвольте теперь спросить: сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчетъ невѣсты?

— Мнѣ не много надо. Дадите четвертную и матеріи на платье, какъ водится, и спасибо... А за приданое особо, это ужъ другой счетъ.

Стычкинъ скрестилъ на груди руки и сталъ молча думать. Подумавъ, онъ вздохнулъ и сказалъ:

— Это дорого...

— И нисколько не дорого, Николай Николаичъ! Прежде, бывало, когда свадебъ было много, брали и дешевле, а по нынѣшнему времени—какіе наши заработки? Ежели въ скромный мѣсяцъ заработаешь двѣ четвертныхъ, и слава Богу. И то, батюшка, не на свадьбахъ наживаемъ.

Стычкинъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на сваху и пожалъ плечами.

— Гм!.. Да развѣ двѣ четвертныхъ мало?—спросилъ онъ.

— Стало-быть, мало! Въ прежнее время мы побольше ста добывали, случалось.

— Гм!.. Я никакъ не ожидалъ, чтобы этакими дѣлами можно было зарабатывать такую сумму. Пятьдесятъ рублей! Не всякій мужчина столько получитъ! Кушайте, покорнѣйше прошу...

Сваха выпила и не поморщилась. Стычкинъ молча оглядѣлъ ее съ ногъ до головы и сказалъ:

— Пятьдесятъ рублей... Это, значитъ, шестьсотъ рублей въ годъ... Кушайте, покорнѣйше прошу... Съ этакими, знаете ли, дивидентами вамъ, Любовь Григорьевна, не трудно и партію себѣ составить...

— Мнѣ-то?—засмѣялась сваха.—Я старая...

— Нисколько-съ... И комплекція у васъ этакая, и лицо полное, бѣлое, и все прочее.

Сваха сконфузилась. Стычкинъ тоже сконфузился и сѣлъ рядомъ съ ней.

— Вы еще весьма можете понравиться,—сказалъ онъ.— Ежели мужъ попадется вамъ положительный, степенный, бережливый, то при его жалованьи да съ вашимъ заработкомъ вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа въ душу...

— Богъ знаетъ, что вы говорите, Николай Николаичъ...

— Что жъ? Я ничего...

Наступило молчаніе. Стычкинъ началъ громко сморкаться, а сваха раскраснѣлась и, стыдливо глядя на него, спросила:

— А вы сколько получаете, Николай Николаичъ?

— Я-съ? Семьдесятъ пять рублей, помимо наградныхъ... Кромѣ того, мы имѣемъ доходъ отъ стеариновыхъ свѣчей и зайцевъ.

— Охотой занимаетесь?

— Нѣтъ-съ, зайцами у насъ называются безбилетные пассажиры.

Прошла еще минута въ молчаніи. Стычкинъ поднялся и въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Мнѣ молодой супруги не надо,—сказалъ онъ.—Я человѣкъ пожилой и мнѣ нужна, которая такая... въ родѣ какъ бы вы... степенная и солидная... и въ родѣ вашей комплекціи...

— И Богъ знаетъ, что вы говорите... — захихикала сваха, закрывая платкомъ свое багровое лицо.

— Что жъ тутъ долго думать? Вы мнѣ по сердцу и для

меня вы подходящая въ вашихъ качествахъ. Человѣкъ я положительный, трезвый и, ежели вамъ нравлюсь, то... чего же лучше? Позвольте вамъ сдѣлать предложеніе!

Сваха прослезилась, засмѣялась и, въ знакъ своего согласія, чокнулась со Стычкинымъ.

— Ну-съ, — сказалъ счастливый оберъ-кондукторъ: — теперь позвольте вамъ объяснить, какого я желаю отъ васъ поведенія и образа жизни... Я человѣкъ строгій, солидный, положительный, обо всемъ благородно понимаю и желаю, чтобы моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нея благодѣтель и первый человѣкъ.

Онъ сѣлъ и, глубоко вздохнувъ, сталъ излагать своей невѣстѣ взглядъ на семейную жизнь и обязанности жены.

# МНОГО БУМАГИ.

(Архивное изысканіе.)

«Имѣю честь покорнѣйше заявить 8-го сего декабря замѣчена болѣзнь на двухъ мальчикахъ, которые ребята пришедши объяснили что въ школѣ и протчіи ребяты хворают глоткой жаръ и по всему тѣлу сыпъ, ходятъ они въ Жаровскую земскую школу. *Ноября 19-го* дня 1885 г. Староста Ефимъ Кириловъ».

«М. В. Д. N—ская Уѣздная Земская Управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вслѣдствіе заявленія старосты села Курносова отъ 19-го ноября, предлагаю Вамъ, м. г., отправиться въ Курносово и озаботиться по правиламъ науки о скорѣйшемъ прекращеніи эпидеміи болѣзни, по всѣмъ признакамъ, скарлатины. Изъ названнаго заявленія явствуетъ, что заболѣванія начались въ Жаровской школѣ, на каковую и прошу обратить вниманіе. *4-го декабря* 1885 г. За предсѣдателя: С. Паркинъ».

«Г. Приставу 2-го стана N—скаго уѣзда. Вслѣдствіе отношенія уѣздной земской управы за № 102 отъ 4-го декабря, которое при семъ прилагаю, прошу Васъ, м. г., сдѣлать распоряженіе о закрытіи школы въ селѣ Жаровѣ впредь до прекращенія скарлатинной эпидеміи. *13-го Декабря* 1885 г. Земскій врачъ Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана N—скаго уѣзда. № 1011. Въ Жаровское земское училище. Земскій Врачъ Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщилъ мнѣ, что въ селѣ Жаровѣ усмотрѣна имъ на дѣтяхъ эпидемія болѣзни скарлатины (или, какъ называютъ въ народѣ, дифтерита). Во избѣжаніе проявленія болѣе грустныхъ результатовъ отъ

упомянутой болѣзни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленныя закономъ мѣры къ предупрежденію и пресѣченію случаевъ развивающагося заболѣванія, я съ своей стороны поставленъ въ необходимость покорнѣйше просить: не признаете ли вы возможнымъ распустить учащихся въ Жаровской земской школѣ до время совершеннаго прекращенія свирѣпствующей болѣзни и о послѣдующемъ увѣдомить меня для дальнѣйшихъ распоряженій. *Января 2-го* дня 1886 года. Приставъ Подпрунинъ».

«Въ дирекцію народныхъ училищъ Х—ской губерніи. Г. Инспектору народныхъ училищъ. Учителя Жаровскаго училища Фортянскаго заявленіе. Честь имѣю довести до свѣдѣнія Вашего Высокоблагородія, что вслѣдствіе отношенія г. Пристава 2-го стана за № 1011 отъ 2-го января, появилась въ селѣ Жаровѣ эпидемія скарлатины, о чемъ имѣю честь Васъ извѣстить. *12-го января* 1886 г. Учитель Фортянскій».

«Г. Приставу 2-го стана N—скаго уѣзда. Въ виду того, что скарлатинная эпидемія прекратилась уже мѣсяцъ тому назадъ, къ открытію временно закрытой школы въ селѣ Жаровѣ съ моей стороны препятствій не имѣется, о чемъ я уже два раза писалъ въ управу, а теперь Вамъ пишу и покорнѣйше прошу обращаться впредь съ вашими бумагами къ уѣздному врачу, съ меня же достаточно и одной земской управы. Я занятъ съ утра до вечера и у меня нѣтъ времени отвѣчать на всѣ Ваши канцелярскія измышленія. *26-го января.* Земскій врачъ Радушный».

«М. В. Д. Его Высокоблагородію Господину N—скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапортъ. Имѣю честь препроводить при семъ отношеніе г. Земскаго Врача Радушнаго отъ 26 января за № 31 на предметъ разсмотрѣнія Вашего Высокоблагородія о преданіи суду лѣкаря Радушнаго за неумѣстныя и въ высшей степени оскорбительныя выраженія, употребленныя имъ въ офиціально-служебной бумагѣ, какъ-то: «канцелярскія измышленія». *8-го Февраля* дня 1886 г. Приставъ Подпрунинъ».

Изъ частнаго письма г. Исправника къ приставу 2-го стана: «Алексѣй Мануиловичъ, возвращаю Вамъ Вашъ рапортъ. Прекратите пожалуйста Ваши постоянныя неудовольствія съ докторомъ Радушнымъ. Такой антагонизмъ по

меньшей мѣрѣ неудобенъ въ положеніи полицейскаго чиновника, обязаннаго блюсти въ сношеніяхъ прежде всего тактъ и умѣренность. Что касается бумаги Радушнаго, то не нахожу въ ней ничего особеннаго. О скарлатинѣ въ с. Жаровѣ я уже слышалъ и въ ближайшемъ училищномъ совѣтѣ доложу о неправильныхъ дѣйствіяхъ учителя Фортянскаго, котораго считаю главнымъ виновникомъ всей этой непріятной переписки».

«М. Н. П. Инспекторъ народныхъ училищъ Х—ой губерніи, № 810. Г. Учителю Жаровскаго училища. На представленіе Ваше отъ *12-го января* сего года, поставляю Васъ въ извѣстность, что уроки во ввѣренномъ Вамъ училищѣ должны быть немедленно прекращены и ученики распущены въ отвращеніе дальнѣйшаго распространенія скарлатины. *Февраля 22-го* дня 1886 г. Инспекторъ народныхъ училищъ И. Жилеткинъ».

По прочтеніи всѣхъ документовъ, относящихся къ эпидеміи въ селѣ Жаровѣ (а ихъ, кромѣ здѣсь напечатанныхъ, имѣется еще двадцать восемь), читателю станетъ понятнымъ многое изъ слѣдующаго описанія, помѣщеннаго въ 36 № Х—кихъ Губернскихъ Вѣдомостей:

...«покончивъ съ чрезмѣрною дѣтскою смертностью, перейдемъ теперь къ болѣе веселому и отрадному. Вчера, въ церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетаніе дочери извѣстнаго бумажнаго фабриканта М. съ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ К. Вѣнчаніе совершалъ протоіерей о. Кліопа Гвоздевъ въ сослуженіи съ прочимъ соборнымъ духовенствомъ. Пѣлъ хоръ Краснoперова. Оба молодые сіяли красотой и молодостью. Говорятъ, что г. К. получаетъ въ приданое около милліона и, кромѣ того, еще имѣніе Благодушное съ конскимъ заводомъ и съ оранжереями, въ коихъ произрастаютъ ананасы и цвѣтущія пальмы, переносящія ваше воображеніе далеко на югъ. Молодые тотчасъ же послѣ вѣнца уѣхали заграницу».

Какъ пріятно быть бумажнымъ фабрикантомъ!

# СПРАВКА.

Былъ полдень. Помѣщикъ Волдыревъ, высокій, плотный мужчина съ стриженой головой и съ глазами на выкатѣ, снялъ пальто, вытеръ шелковымъ платкомъ лобъ и несмѣло вошелъ въ присутствіе. Тамъ скрипѣли...

— Гдѣ здѣсь я могу навести справку?—обратился онъ къ швейцару, который несъ изъ глубины присутствія подносъ со стаканами.—Мнѣ нужно тутъ справиться и взять копію съ журнальнаго постановленія.

— Пожалуйте туда-съ! Вотъ къ энтому, что около окна сидитъ!—сказалъ швейцаръ, указавъ подносомъ на крайнее окно.

Волдыревъ кашлянулъ и направился къ окну. Тамъ за зеленымъ, пятнистымъ, какъ тифъ, столомъ сидѣлъ молодой человѣкъ съ четырьмя хохлами на головѣ, длиннымъ, угреватымъ носомъ и въ полиняломъ мундирѣ. Уткнувъ свой большой носъ въ бумаги, онъ писалъ. Около правой ноздри его гуляла муха, и онъ то и дѣло вытягивалъ нижнюю губу и дулъ себѣ подъ носъ, что придавало его лицу крайне озабоченное выраженіе.

— Могу ли я здѣсь... у васъ,—обратился къ нему Волдыревъ:—навести справку о моемъ дѣлѣ? Я Волдыревъ... И кстати же мнѣ нужно взять копію съ журнальнаго постановленія отъ второго марта.

Чиновникъ умокнулъ перо въ чернильницу и поглядѣлъ, не много ли онъ набралъ? Убѣдившись, что перо не капнетъ, онъ заскрипѣлъ. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха сѣла на ухо.

— Могу ли я навести здѣсь справку?—повторилъ черезъ минуту Волдыревъ.—Я Волдыревъ, землевладѣлецъ...

— Иванъ Алексѣичъ!—крикнулъ чиновникъ въ воздухъ, какъ бы не замѣчая Волдырева.—Скажешь купцу Яликову, когда придетъ, чтобы копію съ заявленія въ полиціи засвидѣтельствовалъ! Тысячу разъ говорилъ ему!

— Я относительно тяжбы моей съ наслѣдниками княгини Гугулиной,—пробормоталъ Волдыревъ.—Дѣло извѣстное. Убѣдительно васъ прошу заняться мною.

Все не замѣчая Волдырева, чиновникъ поймалъ на губѣ муху, посмотрѣлъ на нее со вниманіемъ и бросилъ. Помѣщикъ кашлянулъ и громко высморкался въ свой клѣтчатый платокъ. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты двѣ длилось молчаніе. Волдыревъ вынулъ изъ кармана рублевую бумажку и положилъ ее передъ чиновникомъ на раскрытую книгу. Чиновникъ сморщилъ лобъ, потянулъ къ себѣ книгу съ озабоченнымъ лицомъ и закрылъ ее.

— Маленькую справочку... Мнѣ хотѣлось бы только узнать, на какомъ такомъ основаніи наслѣдники княгини Гугулиной... Могу ли я васъ побезпокоить?

А чиновникъ, занятый своими мыслями, всталъ и, почесывая локоть, пошелъ зачѣмъ-то къ шкапу. Возвратившись черезъ минуту къ своему столу, онъ опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побезпокою васъ на одну только минуту... Мнѣ справочку сдѣлать, только...

Чиновникъ не слышалъ; онъ сталъ что-то переписывать.

Волдыревъ поморщился и безнадежно поглядѣлъ на всю скрипѣвшую братію.

«Пишутъ! — подумалъ онъ, вздыхая.— Пишутъ, чтобы чортъ ихъ взялъ совсѣмъ!»

Онъ отошелъ отъ стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустивъ руки. Швейцаръ, опять проходившій со стаканами, замѣтилъ, вѣроятно, безпомощное выраженіе на его лицѣ, потому что подошелъ къ нему совсѣмъ близко и спросилъ тихо:

— Ну, что? Справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотятъ.

— А вы дайте ему три рубля...—шепнулъ швейцаръ.

— Я уже далъ два.

— А вы еще дайте.

Волдыревъ вернулся къ столу и положилъ на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновникъ снова потянулъ къ себѣ книгу и занялся перелистываніемъ, и вдругъ, какъ бы нечаянно, поднялъ глаза на Волдырева. Носъ его залоснился, покраснѣлъ и поморщился улыбкой.

— Ахъ... что вамъ угодно?—спросилъ онъ.

— Я хотѣлъ бы навести справку относительно моего дѣла... Я Волдыревъ.

— Очень пріятно-съ! По Гугулинскому дѣлу-съ? Очень хорошо-съ! Такъ вамъ что же, собственно говоря?

Волдыревъ изложилъ ему свою просьбу.

Чиновникъ ожилъ, точно его подхватилъ вихрь. Онъ далъ справку, распорядился, чтобы написали копію, подалъ просящему стулъ—и все это въ одно мгновеніе. Онъ даже поговорилъ о погодѣ и спросилъ насчетъ урожая. И когда Волдыревъ уходилъ, онъ провожалъ его внизъ по лѣстницѣ, привѣтливо и почтительно улыбаясь и дѣлая видъ, что онъ каждую минуту готовъ передъ просителемъ пасть ницъ. Волдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь какому-то внутреннему влеченію, онъ досталъ изъ кармана рублевку и подалъ ее чиновнику. А тотъ все кланялся и улыбался, и принялъ рублевку, какъ фокусникъ, такъ что она только промелькнула въ воздухѣ...

«Ну, люди!»... — подумалъ помѣщикъ, выйдя на улицу, остановился и вытеръ лобъ платкомъ.

# ЗНАКОМЫЙ МУЖЧИНА.

Прелестнѣйшая Ванда или, какъ она называлась въ паспортѣ, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись изъ больницы, очутилась въ положеніи, въ какомъ она раньше никогда не бывала: безъ пріюта и безъ копейки денегъ. Какъ быть?

Она первымъ дѣломъ отправилась въ ссудную кассу и заложила тамъ кольцо съ бирюзой—единственную свою драгоцѣнность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзоваго цвѣта, а безъ этихъ вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядятъ на нее и смѣются надъ простотой ея платья. И думала она только о платьѣ, вопросъ же о томъ, что она будетъ ѣсть и гдѣ будетъ ночевать, не тревожилъ ея нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомаго встрѣтить...—думала она.—Я взяла бы денегъ... Мнѣ ни одинъ не откажетъ, потому что...»

Но знакомые мужчины не встрѣчались. Ихъ не трудно встрѣтить вечеромъ въ Ренесансѣ, но въ Ренесансъ не пустятъ въ этомъ простомъ платьѣ и безъ шляпы. Какъ быть? Послѣ долгаго томленія, когда уже надоѣло и ходить, и сидѣть, и думать, Ванда рѣшила пуститься на послѣднее средство: сходить къ какому-нибудь знакомому мужчинѣ прямо на квартиру и попросить денегъ.

«Къ кому бы сходить? — размышляла она. — Къ Мишѣ нельзя—семейный... Рыжій старикъ теперь на службѣ»...

Ванда вспомнила о зубномъ врачѣ Финкелѣ, выкрестѣ, который мѣсяца три назадъ подарилъ ей браслетъ и которому она однажды за ужиномъ въ нѣмецкомъ клубѣ вылила на голову стаканъ пива. Вспомнивъ про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Онъ навѣрное дастъ, лишь бы только мнѣ дома его застать...—думала она, идя къ нему.—А не дастъ, такъ я у него тамъ всѣ лампы перебью».

Когда она подходила къ двери зубного врача, у нея уже былъ готовъ планъ: она со смѣхомъ взбѣжитъ по лѣстницѣ, влетитъ къ врачу въ кабинетъ и потребуетъ 25 рублей... Но когда она взялась за звонокъ, этотъ планъ какъ-то самъ собою вышелъ изъ головы. Ванда вдругъ начала трусить и волноваться, чего съ ней раньше никогда не бывало. Она бывала смѣла и нахальна только въ пьяныхъ компаніяхъ, теперь же, одѣтая въ обыкновенное платье, очутившись въ роли обыкновенной просительницы, которую могутъ не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Можетъ-быть, онъ ужъ забылъ про меня... — думала она, не рѣшаясь дернуть за звонокъ.—И какъ я пойду къ нему въ такомъ платьѣ? Точно нищая или мѣщанка какая-нибудь»...

И нерѣшительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это былъ швейцаръ.

— Докторъ дома?—спросила она.

Теперь ей пріятнѣе было бы, если бы швейцаръ сказалъ «нѣтъ», но тотъ, вмѣсто отвѣта, впустилъ ее въ переднюю и снялъ съ нея пальто. Лѣстница показалась ей роскошной, великолѣпной, но изъ всей роскоши ей прежде всего бросилось въ глаза большое зеркало, въ которомъ она увидѣла оборвашку безъ высокой шляпы, безъ модной кофточки и безъ туфель бронзоваго цвѣта. И Вандѣ казалось страннымъ, что теперь, когда она была бѣдно одѣта и походила на швейку или прачку, въ ней появился стыдъ и ужъ не было ни наглости, ни смѣлости, и въ мысляхъ она называла себя уже не Вандой, а какъ раньше, Настей Канавкиной...

— Пожалуйте!—сказала горничная, провожая ее въ кабинетъ.—Докторъ сейчасъ... Садитесь.

Ванда опустилась въ мягкое кресло.

«Такъ и скажу: дайте взаймы!—думала она.— Это прилично, потому что, вѣдь, онъ знакомъ со мной. Только вотъ если бъ горничная вышла отсюда. При горничной неловко... И зачѣмъ она тутъ стоитъ?»

Минуть черезъ пять отворилась дверь, и вошелъ Финкель, высокій, черномазый выкрестъ съ жирными щеками и съ глазами на выкатѣ. Щеки, глаза, животъ, толстыя бедра— все это у него было такъ сыто, противно, сурово. Въ Ренесансѣ и въ нѣмецкомъ клубѣ онъ обыкновенно бывалъ навеселѣ, много тратилъ тамъ на женщинъ и терпѣливо сносилъ ихъ шутки (напримѣръ, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то онъ только улыбнулся и погрозилъ пальцемъ); теперь же онъ имѣлъ хмурый, сонный видъ и глядѣлъ важно, холодно, какъ начальникъ, и что-то жевалъ.

— Что прикажете?—спросилъ онъ, не глядя на Ванду.

Ванда поглядѣла на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, повидимому, не узналъ ея, и покраснѣла...

— Что прикажете? — повторилъ зубной врачъ уже съ раздраженіемъ.

— Зу... зубы болятъ...—прошептала Ванда.

— Ага... Какіе зубы? Гдѣ?

Ванда вспомнила, что у нея есть одинъ зубъ съ дупломъ.

— Внизу направо...—сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте ротъ.

Финкель нахмурился, задержалъ дыханіе и сталъ разсматривать больной зубъ.

— Больно? — спросилъ онъ, ковыряя въ зубѣ какой-то желѣзкой.

— Больно...—солгала Ванда.—«Напомнить ему,—думала она, — такъ онъ навѣрное бы узналъ... Но... горничная! Зачѣмъ она тутъ стоитъ?»

Финкель вдругъ засопѣлъ, какъ паровозъ, прямо ей въ ротъ и сказалъ:

— Я не совѣтую вамъ пломбировать его... Изъ етова зуба вамъ никакого пользы, все равно.

Поковырявъ еще немножко въ зубѣ и опачкавъ губы и десны Ванды табачными пальцами, онъ опять задержалъ дыханіе и полѣзъ ей въ ротъ съ чѣмъ-то холоднымъ...

Ванда вдругъ почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего...—бормоталъ онъ.—Вы не пугайтесь... Изъ этимъ зубомъ вамъ все равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли къ ея глазамъ вырванный зубъ, а горничная подошла и подставила къ ея рту чашку.

— Дома вы холодной водой ротъ полоскайте...—сказалъ Финкель:—и тогда кровь остановится...

Онъ стоялъ передъ ней въ позѣ человѣка, который ждетъ, когда же, наконецъ, уйдутъ, оставятъ его въ покоѣ...

— Прощайте...—сказала она, поворачиваясь къ двери.

— Гм!.. А кто же мнѣ заплатитъ за работу?—спросилъ смѣющимся голосомъ Финкель.

— Ахъ, да... — вспомнила Ванда, покраснѣла и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо съ бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще большій стыдъ, чѣмъ прежде, но теперь ужъ ей было стыдно не бѣдности. Она уже не замѣчала, что на ней нѣтъ высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улицѣ, плевала кровью, и каждый красный плевокъ говорилъ ей объ ея жизни, не хорошей, тяжелой жизни, о тѣхъ оскорбленіяхъ, какія она переносила и еще будетъ переносить завтра, черезъ недѣлю, черезъ годъ—всю жизнь, до самой смерти...

— О, какъ это страшно!—шептала она.—Какъ ужасно, Боже мой!

Впрочемъ, на другой день она уже была въ Ренессансѣ и танцовала тамъ. На ней была новая громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзоваго цвѣта. И ужиномъ угощалъ ее молодой купецъ, пріѣзжій изъ Казани.

# ИЗЪ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА.

1863 г. Май, 11. Пашъ шестидесятилѣтній бухгалтеръ Глоткинъ пилъ молоко съ коньякомъ по случаю кашля и заболѣлъ по сему случаю бѣлою горячкой. Доктора, со свойственною имъ самоувѣренностью, утверждаютъ, что завтра помретъ. Наконецъ-таки я буду бухгалтеромъ! Это мѣсто мнѣ уже давно обѣщано.

Секретарь Клещевъ пойдетъ подъ судъ за нанесеніе побоевъ просителю, назвавшему его бюрократомъ. Это, повидимому, рѣшено.

Принималъ декоктъ отъ катара желудка.

1865 г. Августъ, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболѣла грудь. Сталъ кашлять и пьетъ молоко съ коньякомъ. Если помретъ, то мѣсто останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, повидимому, бѣлая горячка не всегда смертельна!

Клещевъ вырвалъ у армянина вексель и порвалъ. Пожалуй, дѣло до суда дойдетъ.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катаръ, а скрытый геморой. Очень можетъ быть!

1867 г. Іюнь, 30. Въ Аравіи, пишутъ, холера. Быть-можетъ, въ Россію придетъ, и тогда откроется много вакансій. Быть-можетъ, старикъ Глоткинъ помретъ и я получу мѣсто бухгалтера. Живучъ человѣкъ! Жить такъ долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое отъ катара принять? Не принять ли цитварнаго сѣмени?

1870 г. Январь, 2. Во дворѣ Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говоритъ, что это вѣрная примѣта, и мы съ нею до двухъ часовъ почи говорили о томъ, какъ я, ставши бухгалтеромъ, куплю себѣ снотовую шубу и шлафрокъ. И пожалуй женюсь. Конечно, не на дѣвушкѣ—это мнѣ не по годамъ, а на вдовѣ.

Вчера Клещевъ выведенъ былъ изъ клуба за то, что вслухъ неприличный анекдотъ разсказывалъ и смѣялся надъ патріотизмомъ члена торговой депутаціи Понюхова. Послѣдній, какъ слышно, подаетъ въ судъ.

Хочу съ катаромъ къ доктору Боткину сходить. Говорятъ, хорошо лѣчитъ...

1878 г. Іюнь, 4. Въ Ветлянкѣ, пишутъ, чума. Народъ такъ и валится, пишутъ. Глоткинъ пьетъ по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможетъ перцовка. Если придетъ чума, то ужъ навѣрное я буду бухгалтеромъ.

1883 г. Іюнь, 4. Умираетъ Глоткинъ. Былъ у него и со слезами просилъ прощенія за то, что смерти его съ нетерпѣніемъ ждалъ. Простилъ со слезами великодушно и посовѣтовалъ мнѣ употреблять отъ катара желудевый кофій.

А Клещевъ опять едва не угодилъ подъ судъ: заложилъ еврею взятый напрокатъ фортепьянъ. И несмотря на все это, имѣетъ уже Станислава и чинъ коллежскаго асессора. Удивительно, что творится на этомъ свѣтѣ!

Инбиря 2 золотника, калгана 1½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; все смѣшавъ, настоять на штофѣ водки и принимать отъ катара натощакъ по рюмкѣ.

Того же года. Іюнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не въ пользу мнѣ смерть сего старца! Снится мнѣ по ночамъ въ бѣлой хламидѣ и киваетъ пальцемъ. И, о горе, горе мнѣ, окаянному: бухгалтеръ не я, а Чаликовъ. Получилъ это мѣсто не я, а молодой человѣкъ, имѣющій протекцію отъ тетки генеральши. Пропали всѣ мои надежды!

1886 г. Іюнь, 10. У Чаликова жена сбѣжала. Тоскуетъ, бѣдный. Можетъ-быть, съ горя руки на себя наложитъ. Ежели наложитъ, то я—бухгалтеръ. Объ этомъ уже разговоръ. Значитъ, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хорошій случай, только нужно посовѣтоваться съ кѣмъ-нибудь; это шагъ серьезный.

Клещевъ обмѣнялся калошами съ тайнымъ совѣтникомъ Лирмансомъ. Скандалъ!

Швейцаръ Паисій посовѣтовалъ отъ катара сулему употреблять. Попробую.

# ЗЛОЙ МАЛЬЧИКЪ.

Иванъ Иванычъ Лапкинъ, молодой человѣкъ пріятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая дѣвушка со вздернутымъ носикомъ, спустились внизъ по крутому берегу и усѣлись на скамеечкѣ. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное мѣстечко! Сѣли вы тутъ, и вы скрыты отъ міра—видятъ васъ одни только рыбы да пауки-плауны, молніей бѣгающіе по водѣ. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками съ червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усѣвшись, они тотчасъ же принялись за рыбную ловлю.

— Я радъ, что мы, наконецъ, одни,—началъ Лапкинъ, оглядываясь.—Я долженъ сказать вамъ многое, Анна Семеновна... Очень многое... Когда я увидѣлъ васъ въ первый разъ... У васъ клюетъ... Я понялъ тогда, для чего я живу, понялъ, гдѣ мой кумиръ, которому я долженъ посвятить свою честную, трудовую жизнь... Это, должно-быть, большая... клюетъ... Увидя васъ, я полюбилъ впервые, полюбилъ страстно! Подождите дергать... пусть лучше клюнетъ... Скажите мнѣ, моя дорогая, заклинаю васъ, могу ли я разсчитывать—не на взаимность, нѣтъ!—этого я не стою, я не смѣю даже помыслить объ этомъ,—могу ли я разсчитывать на... Тащите!

Анна Семеновна подняла вверхъ руку съ удилищемъ, рванула и вскрикнула. Въ воздухѣ блеснула серебристо-зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ай, ахъ... Скорѣй! Сорвался!

Окунь сорвался съ крючка, запрыгалъ по травкѣ къ родной стихіи и... бултыхъ въ воду!

Въ погонѣ за рыбой Лапкинъ, вмѣсто рыбы, какъ-то нечаянно схватилъ руку Анны Семеновны, нечаянно прижалъ ее къ губамъ... Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились въ поцѣлуй. Это вышло какъ-то нечаянно. За поцѣлуемъ слѣдовалъ другой поцѣлуй, затѣмъ клятвы, увѣренія... Счастливыя минуты! Впрочемъ, въ этой земной жизни нѣтъ ничего абсолютно-счастливаго. Счастливое обыкновенно носитъ отраву въ себѣ самомъ или же отравляется чѣмъ-нибудь извнѣ. Такъ и на этотъ разъ. Когда молодые люди цѣловались, вдругъ послышался смѣхъ. Они взглянули на рѣку и обомлѣли: въ водѣ по поясъ стоялъ голый мальчикъ. Это былъ Коля, гимназистъ, братъ Анны Семеновны. Онъ стоялъ въ водѣ, глядѣлъ на молодыхъ людей и ехидно улыбался.

— А-а-а... вы цѣлуетесь?—сказалъ онъ.—Хорошо же! Я скажу мамашѣ.

— Надѣюсь, что вы, какъ честный человѣкъ...—забормоталъ Лапкинъ, краснѣя.—Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко... Полагаю, что вы, какъ честный и благородный человѣкъ...

— Дайте рубль, тогда не скажу!—сказалъ благородный человѣкъ.—А то скажу.

Лапкинъ вынулъ изъ кармана рубль и подалъ его Колѣ. Тотъ сжалъ рубль въ мокромъ кулакѣ, свистнулъ и поплылъ. И молодые люди на этотъ разъ уже больше не цѣловались.

На другой день Лапкинъ привезъ Колѣ изъ города краски и мячикъ, а сестра подарила ему всѣ свои коробочки изъ-подъ пилюль. Потомъ пришлось подарить и запонки съ собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, онъ сталъ наблюдать. Куда Лапкинъ съ Анной Семеновной, туда и онъ. Ни на минуту не оставлялъ ихъ однихъ.

— Подлецъ!—скрежеталъ зубами Лапкинъ.—Какъ малъ, и какой уже большой подлецъ! Что же изъ него дальше будетъ?!

Весь іюнь Коля не давалъ житья бѣднымъ влюбленнымъ. Онъ грозилъ доносомъ, наблюдалъ и требовалъ подарковъ; и ему все было мало, и въ концѣ концовъ онъ сталъ нога-

варивать о карманныхъ часахъ. И что же? Пришлось пообѣщать часы.

Какъ-то разъ за обѣдомъ, когда подали вафли, онъ вдругъ захохоталъ, подмигнулъ однимъ глазомъ и спросилъ у Лапкина:

— Сказать? А?

Лапкинъ страшно покраснѣлъ и зажевалъ вмѣсто вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила изъ-за стола и убѣжала въ другую комнату.

И въ такомъ положеніи молодые люди находились до конца августа, до того самаго дня, когда, наконецъ, Лапкинъ сдѣлалъ Аннѣ Семеновнѣ предложеніе. О, какой это былъ счастливый день! Поговоривши съ родителями невѣсты и получивъ согласіе, Лапкинъ прежде всего побѣжалъ въ садъ и принялся искать Колю. Найдя его, онъ чуть не зарыдалъ отъ восторга и схватилъ злого мальчика за ухо. Подбѣжала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видѣть, какое наслажденіе было написано на лицахъ у влюбленныхъ, когда Коля плакалъ и умолялъ ихъ:

— Миленькіе, славненькіе, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!

И потомъ оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены другъ въ друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающаго блаженства, какъ въ тѣ минуты, когда драли злого мальчика за уши.

# ТО БЫЛА ОНА!

— Разскажите намъ что-нибудь, Петръ Ивановичъ! — сказали дѣвицы.

Полковникъ покрутилъ свой сѣдой усъ, крякнулъ и началъ:

— Это было въ 1843 году, когда нашъ полкъ стоялъ подъ Ченстоховымъ. А надо вамъ замѣтить, сударыни мои, зима въ томъ году стояла лютая, такъ что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себѣ носовъ, или вьюга не засыпала бы снѣгомъ дорогъ. Трескучій морозище какъ сталъ въ концѣ октября, такъ и продержался вплоть до самаго апрѣля. Въ тѣ поры, надо вамъ замѣтить, я не выглядѣлъ такимъ старымъ, прокопченымъ чубукомъ, какъ теперь, а былъ, можете себѣ представить, молодецъ-молодцомъ, кровь съ молокомъ, красавецъ-мужчина, однимъ словомъ. Франтилъ я, какъ павлинъ, сорилъ деньгами направо и налѣво и закручивалъ свои усы, какъ ни одинъ прапорщикъ въ свѣтѣ. Бывало, стоило мнѣ только моргнуть глазомъ, звякнуть шпорой и крутнуть усъ—и самая гордая красавица обращалась въ послушнаго ягненка. Жаденъ я былъ до женщинъ, какъ паукъ до мухъ, и если бы, сударыни мои, я сталъ сейчасъ перечислять вамъ полячекъ и жидовочекъ, которыя въ свое время висли на моей шеѣ, то, смѣю васъ увѣрить, въ математикѣ не хватило бы чиселъ... Прибавьте ко всему этому, что я состоялъ полковымъ адъютантомъ, отлично танцовалъ мазурку и былъ женатъ на прехорошенькой женщинѣ, упокой Господи ея душу. А какой я былъ сорванецъ, буйная головушка, вы и представить себѣ не можете. Если въ уѣздѣ случалась какая-ни-

будь амурная кувырколлегія, если кто-нибудь вырывалъ жиду пейсы, или билъ по мордасамъ шляхтича, то такъ и знали, что это подпоручикъ Вывертовъ натворилъ.

Въ качествѣ адъютанта, мнѣ много приходилось рыскать по уѣзду. То я ѣздилъ овесъ или сѣно покупать, то продавалъ жидамъ и панамъ бракованныхъ лошадей, а чаще всего, сударыни мои, подъ видомъ службы, скакалъ къ панночкамъ на рандеву, или къ богатымъ помѣщикамъ поиграть въ картишки... Въ ночь подъ Рождество, какъ теперь помню, я ѣхалъ изъ Ченстохова въ деревню Шевелки, куда послали меня по служебнымъ надобностямъ. Погода была, я вамъ доложу, нестерпимая... Морозъ трещалъ и сердился, такъ что даже лошади крякали, а я и мой возница въ какіе-нибудь полчаса обратились въ двѣ сосульки... Съ морозомъ еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себѣ, на полдорогѣ вдругъ поднялась метель. Бѣлый саванъ закружился, завертѣлся, какъ чортъ передъ заутреней, вѣтеръ застоналъ, точно у него жену отняли, дорога исчезла... Не больше, какъ въ десять минутъ, меня, возницу и лошадей облѣпило снѣгомъ.

— Ваше благородіе, мы съ дороги сбились! — говоритъ возница.

— Ахъ, чортъ возьми! Что же ты, болванъ, глядѣлъ? Ну, поѣзжай прямо, авось наткнемся на жилье!

Ну-съ, ѣхали мы, ѣхали, кружились-кружились, и этакъ къ полночи наши кони уперлись въ ворота имѣнія, какъ теперь помню, графа Боядловскаго, богатаго поляка. Поляки и жиды для меня все равно, что хрѣнъ послѣ обѣда, но, надо правду сказать, шляхта гостепріимный народъ, и нѣтъ горячѣй женщинъ, какъ панночки...

Насъ впустили... Самъ графъ Боядловскій жилъ въ ту пору въ Парижѣ, и насъ принялъ его управляющій, полякъ Казимиръ Хащинскій. Помню, не прошло и часа, какъ я уже сидѣлъ во флигелѣ управляющаго, миндальничалъ съ его женой, пилъ и игралъ въ карты. Выигравъ пять червонцевъ и напившись, я попросился спать. За неимѣніемъ мѣста во флигелѣ, мнѣ отвели комнату въ графскихъ хоромахъ.

— Вы не боитесь привидѣній?—спросилъ управляющій, вводя меня въ небольшую комнату, прилегающую къ громадной пустой залѣ, полной холода и потемокъ.

— А развѣ тутъ есть привидѣнія?—спросилъ я, слушая, какъ глухое эхо повторяетъ мои слова и шаги.

— Не знаю,—засмѣялся полякъ:—но мнѣ кажется, что это мѣсто самое подходящее для привидѣній и нечистыхъ духовъ.

Я хорошо заложилъ за галстукъ и былъ пьянъ, какъ сорокъ тысячъ сапожниковъ, но, признаться, отъ такихъ словъ меня обдало холодкомъ. Чортъ побери, лучше сотня черкесовъ, чѣмъ одно привидѣніе! Но дѣлать было нечего, я раздѣлся и легъ... Моя свѣчка освѣщала стѣны еле-еле, а на стѣнахъ, можете себѣ представить, портреты предковъ, одинъ страшнѣе другого, старинное оружіе, охотничьи рога и прочая фантасмагорія... Тишина стояла, какъ въ могилѣ, только въ сосѣдней залѣ шуршали мыши и потрескивала разсохшаяся мебель. А за окномъ творилось что-то адское... Вѣтеръ отпѣвалъ кого-то, деревья гнулись съ воемъ и плачемъ; какая-то чертовщинка, должно-быть, ставня, жалобно скрипѣла и стучала по оконной рамѣ. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а съ головой и весь міръ... Когда я закрывалъ глаза, мнѣ казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла въ чехарду съ духами. Чтобы уменьшить свой страхъ, я первымъ долгомъ потушилъ свѣчу, такъ какъ пустующія комнаты при свѣтѣ гораздо страшнѣй, чѣмъ въ потемкахъ...

Три дѣвицы, слушавшія полковника, придвинулись поближе къ разсказчику и уставились на него неподвижными глазами.

— Ну-съ, — продолжалъ полковникъ: — какъ я ни старался уснуть, сонъ бѣжалъ отъ меня. То мнѣ казалось, что воры лѣзутъ въ окно, то слышался чей-то шопотъ, то кто-то касался моего плеча—вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился въ нервномъ напряженіи. Но можете себѣ представить, среди чертовщины и хаоса звуковъ я явственно различаю звукъ, похожій на шлепанье туфель. Прислушиваюсь—и что бы вы думали?—слышу я, кто-то подходитъ къ моей двери, кашляетъ и отворяетъ ее...

— Кто здѣсь?—спрашиваю я, поднимаясь.

— Это я... не бойся!—отвѣчаетъ женскій голосъ.

Я направился къ двери... Прошло нѣсколько секундъ, и

я почувствовалъ, какъ двѣ женскія ручки, мягкія, какъ гагачій пухъ, легли мнѣ на плечи.

— Я люблю тебя... Ты для меня дороже жизни, — сказалъ женскій мелодическій голосокъ.

Горячее дыханіе коснулось моей щеки... Забывъ про метель, про духовъ, про все на свѣтѣ, я обхватилъ рукой талію... и какую талію! Такія таліи природа можетъ изготовлять только по особому заказу, разъ въ десять лѣтъ... Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, какъ дыханіе младенца! Я не выдержалъ, крѣпко сжалъ ее въ объятіяхъ... Уста наши слились въ крѣпкій, продолжительный поцѣлуй и... клянусь вамъ всѣми женщинами въ мірѣ, я до могилы не забуду этого поцѣлуя.

Полковникъ умолкъ, выпилъ полстакана воды и продолжалъ, понизивъ голосъ:

— Когда на другой день я выглянулъ въ окно, то увидѣлъ, что метель стала еще больше... Ѣхать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидѣть у управляющаго, играть въ карты и пить. Вечеромъ я опять былъ въ пустомъ домѣ, я ровно въ полночь я опять обнималъ знакомую талію... Да, барышни, если бъ не любовь, околѣлъ бы я тогда отъ скуки. Спился бы, пожалуй.

Полковникъ вздохнулъ, поднялся и долго заходилъ по гостиной.

— Но... что же дальше?—спросила одна изъ барышенъ, замирая отъ ожиданія.

— Ничего. На слѣдующій день я былъ уже въ дорогѣ.

— Но... кто же была та женщина?—спросили нерѣшительно барышни.

— Понятно, кто!

— Ничего не понятно...

— Это была моя жена!

Всѣ три барышни вскочили, точно ужаленныя.

— То-есть... какъ же такъ?—спросили онѣ.

— Ахъ, Господи, что же тутъ непонятнаго? — сказалъ полковникъ съ досадой и пожалъ плечами. — Вѣдь я, кажется, достаточно ясно выражался! Ѣхалъ я въ Шевелки съ женой... Ночевала она въ пустомъ домѣ, въ сосѣдней комнатѣ... Очень ясно!

— Ммм...—проговорили барышни, разочарованно опуская руки. — Начали хорошо, а кончили Богъ знаетъ какъ...

— А развѣ тутъ есть привидѣнія?—спросилъ я, сл
какъ глухое эхо повторяетъ мои слова и шаги.

— Не знаю,—засмѣялся полякъ:—по мнѣ кажется
это мѣсто самое подходящее для привидѣній и нечи
духовъ.

Я хорошо заложилъ за галстукъ и былъ пьянъ,
сорокъ тысячъ сапожниковъ, но, признаться, отъ т
словъ меня обдало холодкомъ. Чортъ побери, лучше
черкесовъ, чѣмъ одно привидѣніе! Но дѣлать было н
я раздѣлся и легъ... Моя свѣчка освѣщала стѣны сл
а на стѣнахъ, можете себѣ представить, портреты
ковъ, одинъ страшнѣе другого, старинное оружіе, охот
рога и прочая фантасмагорія... Тишина стояла, ка
могилѣ, только въ сосѣдней залѣ шуршали мыши
трескивала разсохшаяся мебель. А за окномъ тво
что-то адское... Вѣтеръ отчаивалъ кого-то, деревья г
съ воемъ и плачемъ; какая-то чертовщинка, должн
ставня, жалобно скрипѣла и стучала по оконной
Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась
а съ головой и весь міръ... Когда я закрывалъ гла
казалось, что моя кровать поплыла по всему пусто
и играла въ чехарду съ духами. Чтобы уменьш
страхъ, я первымъ долгомъ потушилъ свѣчу, т
пустующія комнаты при свѣтѣ гораздо страшнѣй
потемкахъ...

Три дѣвицы, слушавшія полковника, придви
ближе къ разсказчику и уставились на него не
глазами.

— Ну-съ, — продолжалъ полковникъ: — ка
рался уснуть, сонъ бѣжалъ отъ меня. То
что воры лѣзутъ въ окно, то слышался чей
кто-то касался моего плеча—вообще чудил
какая знакома всякому, кто когда-нибуд
нервномъ напряженіи. Но можете себѣ п
чертовщины и хаоса звуковъ я явственн
похожій на шлепанье туфель. Прислуш
вы думали?—слышу я, кто-то подход
кашляетъ и отворяетъ се...

— Кто здѣсь?—спрашиваю я, под
— Это я... не бойся!—отвѣчаетъ
Я направился къ двери... Прошл

Жена... Извините, но это даже не интересно и... нисколько не умно.

— Странно! Значитъ, вамъ хотѣлось бы, чтобъ это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина! Ахъ, барышни, барышни! Если вы теперь такъ разсуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замужъ?

Барышни сконфузились и замолчали. Онѣ надулись, нахмурились и, совсѣмъ разочарованныя, стали громко зѣвать... За ужиномъ онѣ ничего не ѣли, катали изъ хлѣба шарики и молчали.

— Нѣтъ, это даже... безсовѣстно! — не выдержала одна изъ нихъ.—Зачѣмъ же было разсказывать, если такой конецъ? Ничего хорошаго въ этомъ разсказѣ нѣтъ... Даже дико!

— Начали такъ заманчиво и... вдругъ оборвали... — добавила другая.—Насмѣшка, и больше ничего.

— Ну, ну, ну... я пошутилъ... — сказалъ полковникъ.— Не сердитесь, барышни, я пошутилъ. То была не моя жена, а жена управляющаго...

— Да?!

Барышни вдругъ повеселѣли, глазки ихъ засверкали... Онѣ придвинулись къ полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчезъ скоро и ужинъ, такъ какъ барышни стали кушать съ большимъ аппетитомъ.

# ИНТРИГИ.

a) Выборъ предсѣдателя Общества.
b) Обсужденіе инцидента 2-го октября.
c) Рефератъ дѣйствит. члена д-ра М. Н. фонъ-Брона.
d) Текущія дѣла Общества.

Докторъ Шелестовъ, виновникъ инцидента 2-го октября, собирается на это засѣданіе; онъ давно уже стоитъ передъ зеркаломъ и старается придать своей физіономіи томное выраженіе. Если онъ сейчасъ явится на засѣданіе съ лицомъ взволнованнымъ, напряженнымъ, краснымъ или слишкомъ блѣднымъ, то его враги могутъ вообразить, что онъ придаетъ большое значеніе ихъ интригамъ; если же его лицо будетъ холодно, безстрастно, какъ бы заспано, такое лицо, какое бываетъ у людей, стоящихъ выше толпы и утомленныхъ жизнью, то всѣ враги, взглянувъ на него, втайнѣ проникнутся уваженіемъ и подумаютъ:

«Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа!»

Какъ человѣкъ, котораго мало интересуютъ враги и ихъ дрязги, онъ придетъ на засѣданіе позже всѣхъ. Онъ войдетъ въ залу безшумно, томно проведетъ рукой по волосамъ и, не поглядѣвъ ни на кого, сядетъ у самаго краешка стола. Принявъ позу скучающаго слушателя, онъ чуть замѣтно зѣвнетъ, потянетъ къ себѣ какую-нибудь газету, начнетъ читать... Всѣ будутъ говорить, спорить, кипятиться, призывать другъ друга къ порядку, а онъ будетъ молчать и смотрѣть въ газету. Но вотъ, наконецъ, когда его имя станетъ повторяться все чаще и чаще и жгучій вопросъ накалится

до-бѣла, онъ подниметъ скучающіе, утомленные глаза на коллегъ и скажетъ, какъ бы нехотя:

— Меня вынуждаютъ говорить... Я не готовился, господа, а потому простите, моя рѣчь будетъ недостаточно складна. Начну аb ovo... Въ прошломъ засѣданіи нѣкоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консиліумахъ не такъ, какъ имъ хочется, и потребовали отъ меня объясненій. Находя объясненія излишними, а обвиненіе недобросовѣстнымъ, я попросилъ исключить меня изъ числа членовъ общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серія обвиненій, я, къ прискорбію, вижу, что мнѣ не обойтись безъ объясненій. Извольте, я объяснюсь.

Далѣе, небрежно играя карандашомъ или цѣпочкой, онъ скажетъ, что, дѣйствительно, на консиліумахъ онъ иногда возвышаетъ голосъ и обрываетъ коллегъ, не стѣсняясь присутствіемъ постороннихъ; правда и то, что онъ однажды на консиліумѣ, въ присутствіи врачей и родныхъ, спросилъ у больного: «Какой это дуракъ прописалъ вамъ опіумъ?» Рѣдкій консиліумъ обходится безъ инцидента... Но почему? Очень просто. На консиліумахъ его, Шелестова, всегда поражаетъ въ товарищахъ низкій уровень знаній. Въ городѣ врачей тридцать два, и большинство изъ нихъ знаетъ меньше, чѣмъ любой студентъ перваго курса. За примѣрами ходить недалеко. Конечно, nomina sunt odiosa, но на засѣданіи всѣ люди свои, и къ тому же, чтобы не казаться голословнымъ, можно назвать имена. Напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что уважаемый товарищъ фонъ-Бронъ проткнулъ зондомъ пищеводъ чиновницѣ Сережкиной...

Въ это время фонъ-Бронъ вскочитъ, всплеснетъ руками и завопіетъ:

— Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вамъ!

Шелестовъ не обратитъ на него вниманія и будетъ продолжать:

— Всѣмъ также извѣстно, что уважаемый коллега Жила у актрисы Семирамидиной принялъ блуждающую почку за абсцессъ и сдѣлалъ пробный проколъ, отчего и послѣдовалъ въ скорости exitus letalis. Уважаемый товарищъ Безструнко, вмѣсто того, чтобы вылущить ноготь на большомъ пальцѣ лѣвой ноги, вылущилъ здоровый ноготь на правой ногѣ.

Не могу также не напомнить вамъ случая, когда уважаемый товарищъ Терхарьянцъ съ такимъ усердіемъ катетеризовалъ у солдата Иванова евстахіевы трубы, что у больного лопнули обѣ барабанныя перепонки. Припоминаю кстати, какъ этотъ же самый товарищъ, извлекая зубъ, вывихнулъ больному нижнюю челюсть и не вправилъ ее до тѣхъ поръ, пока больной не согласился уплатить ему за вправленіе пять рублей. Уважаемый товарищъ Курицынъ женатъ на племянницѣ аптекаря Груммеръ и находится съ нимъ въ стачкѣ. Всѣмъ также извѣстно, что секретарь нашего Общества, молодой товарищъ Скоропалительный, живетъ съ женою нашего достоуважаемаго и почтеннаго предсѣдателя Густава Густавовича Прехтеля... Отъ низкаго уровня знаній я незамѣтно перешелъ къ погрѣшностямъ этическаго свойства. Тѣмъ лучше. Этика—наше больное мѣсто, господа, и чтобы не казаться голословнымъ, я назову вамъ уважаемаго товарища Пузырькова, который, будучи на именинахъ у полковницы Трещинской, разсказывалъ, что будто бы съ женою нашего предсѣдателя живетъ не Скоропалительный, а я! Это смѣетъ говорить тотъ самый господинъ Пузырьковъ, котораго я въ прошломъ году засталъ съ женою уважаемаго товарища Знобиша! Кстати о докторѣ Знобишѣ... Кто пользуется репутаціей врача, у котораго лѣчиться дамамъ не совсѣмъ безопасно?—Знобишъ... Кто женился на купеческой дочери изъ-за приданаго?—Знобишъ! Что же касается нашего всѣми уважаемаго предсѣдателя, то онъ занимается втайнѣ гомеопатіей и получаетъ деньги отъ пруссаковъ за шпіонство. Прусскій шпіонъ—это ужъ ultima ratio!

Доктора, когда хотятъ казаться умными и краснорѣчивыми, употребляютъ два латинскія выраженія: *nomina sunt odiosa* и *ultima ratio*. Шелестовъ будетъ говорить не только по-латыни, но и по-французски и по-нѣмецки—какъ угодно! Онъ будетъ выводить всѣхъ на чистую воду, срывать съ интригановъ маски; предсѣдатель утомится звонить, уважаемые товарищи повскакиваютъ со своихъ мѣстъ, завопіютъ, замашутъ руками... Товарищи іудейскаго вѣроисповѣданія соберутся въ кучку и загалдятъ:

— Гал-гал-гал-гал-гал...

Шелестовъ же, ни на что не глядя, будетъ продолжать:

— Что же касается всего Общества, то, при настоящемъ его составѣ и порядкахъ, оно неминуемо должно погибнуть.

Все въ немъ построено исключительно на интригахъ. Интриги, интриги и интриги! Я, какъ одна изъ жертвъ этой сплошной, демонической интриги, считаю себя обязаннымъ изложить слѣдующее...

Онъ будетъ излагать, а его партія аплодировать и торжествующе потирать руки. И вотъ, среди невообразимаго гвалта и раскатовъ грома, начинаются выборы предсѣдателя. Фонъ-Бронъ и К° горой стоятъ за Прехтеля, но публика и благомыслящіе врачи шикаютъ имъ и кричатъ:

— Долой Прехтеля! Просимъ Шелестова! Шелестова!

Шелестовъ соглашается, но съ условіемъ, что Прехтель и фонъ-Бронъ попросятъ у него извиненія за инцидентъ 2-го октября. Опять подымается невообразимый шумъ, и опять уважаемые товарищи іудейскаго вѣроисповѣданія собираются въ кучку и — «гал-гал-гал»... Прехтель и фонъ-Бронъ, возмущенные, кончаютъ тѣмъ, что просятъ не считать ихъ болѣе членами Общества. И прекрасно!

Шелестовъ—предсѣдатель. Прежде всего онъ почиститъ авгіевы конюшни. Знобиша — вонъ! Терхарьянца — вонъ! Уважаемыхъ товарищей іудейскаго вѣроисповѣданія—вонъ! Со своей партіей онъ сдѣлаетъ то, что къ январю въ Обществѣ не останется ни одного интригана. Въ лѣчебницѣ Общества онъ прежде всего велитъ покрасить въ амбулаторной стѣны и вывѣсить объявленіе: «Курить строго запрещается»; засимъ онъ прогонитъ фельдшера и фельдшерицу, лѣкарства будетъ забирать не у Груммера, а у Хрящамбжицкаго, врачамъ предложитъ не дѣлать ни одной операціи безъ его наблюденія и т. п. А главное, онъ у себя на визитныхъ карточкахъ будетъ печатать: «Предсѣдатель Общества N—скихъ врачей».

Такъ мечтаетъ Шелестовъ, стоя у себя дома передъ зеркаломъ. Но вотъ часы бьютъ семь и напоминаютъ ему, что пора уже ѣхать на засѣданіе. Онъ пробуждается отъ сладкихъ мечтаній и спѣшитъ придать своему лицу томное выраженіе, но — увы!—хочетъ онъ сдѣлать лицо томнымъ и интереснымъ, а оно не слушается и становится кислымъ, тупымъ, какъ у озябшаго дворняшки-щенка; хочетъ онъ сдѣлать его солиднымъ, а оно вытягивается и выражаетъ недоумѣніе, и ему теперь кажется, что онъ похожъ не на щенка, а на гуся. Онъ опускаетъ вѣки, щуритъ глаза, надуваетъ щеки, морщитъ лобъ, но — хоть плюнь! — выхо-

дитъ совсѣмъ не то, что̀ хотѣлось бы. Таковы ужъ, должно-быть, природныя свойства этого лица, что съ нимъ ничего не подѣлаешь. Лобъ узенькій, маленькіе глазки бѣгаютъ быстро, какъ у плутоватой торговки, нижняя челюсть какъ-то глупо и нелѣпо торчитъ впередъ, а щеки и шевелюра имѣютъ такой видъ, точно «уважаемаго товарища» минуту назадъ вытолкали изъ бильярдной.

Глядитъ Шелестовъ на это свое лицо, злится, и ему начинаетъ казаться, что и оно интригуетъ противъ него. Идетъ онъ въ переднюю, одѣвается, и кажется ему, что интригуютъ и шуба, и калоши, и шапка.

— Извозчикъ, въ лѣчебницу!—кричитъ онъ.

Даетъ онъ двугривенный, а интриганы-извозчики просятъ четвертакъ... Садится онъ въ пролетку, ѣдетъ, а холодный вѣтеръ бьетъ ему въ лицо, мокрый снѣгъ застилаетъ глаза, лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось и все интригуетъ... Интриги, интриги и интриги!

# ВЪ ПОЧТОВОМЪ ОТДѢЛЕНІИ.

Хоронили мы какъ-то на-дняхъ молоденькую жену нашего стараго почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дѣдовъ и отцовъ, отправились въ почтовое отдѣленіе «помянуть».

Когда были поданы блины, старикъ-вдовецъ горько заплакалъ и сказалъ:

— Блины такіе же румяненькіе, какъ и покойница. Такіе же красавцы! Точь-въ-точь!

— Да,—согласились поминавшіе:—она у васъ, дѣйствительно, была красавица... Женщина первый сортъ!

— Да-съ... Всѣ удивлялись, на нее глядючи... Но, господа, любилъ я ее не за красоту и не за добрый нравъ. Эти два качества присущественны всей женской природѣ и встрѣчаются довольно часто въ подлунномъ мірѣ. Я ее любилъ за иное качество души. А именно-съ: любилъ я ее, покойницу, дай Богъ ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была вѣрна. Она была вѣрна мнѣ, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мнѣ скоро ужъ шестьдесятъ стукнетъ! Она была вѣрна мнѣ, старику!

Дьяконъ, трапезовавшій съ нами, краснорѣчивымъ мычаніемъ и кашлемъ выразилъ свое сомнѣніе.

— Вы не вѣрите, стало-быть?—обратился къ нему вдовецъ.

— Не то, что не вѣрю,—смутился дьяконъ: — а такъ... Молодыя жены нынче ужъ слишкомъ тово... рандеву, соусъ провансаль...

— Вы сомнѣваетесь, а я вамъ докажу-съ! Я въ ней под-
рживалъ ея вѣрность разными способами, такъ сказать,
ратегическаго свойства, въ родѣ какъ бы фортификаціи.
ои моемъ поведеніи и хитромъ характерѣ жена моя не
гла измѣнить мнѣ ни въ какомъ случаѣ. Я хитрость
отреблялъ для охраненія своего супружескаго ложа. Слова
кія знаю, въ родѣ какъ бы пароль. Скажу эти самыя
ова и—баста, могу спать въ спокойствіи насчетъ вѣр-
сти...

— Какія же это слова?

— Самыя простыя. Я распространялъ по городу нехоро-
й слухъ. Вамъ этотъ слухъ доподлинно извѣстенъ. Я
ворилъ всякому: «Жена моя Алена находится въ сожи-
ьствѣ съ нашимъ полицеймейстеромъ Иваномъ Алексѣи-
ъ Залихватскимъ». Этихъ словъ было достаточно. Ни
инъ человѣкъ не осмѣливался ухаживать за Аленой, ибо
лся полицеймейстерскаго гнѣва. Какъ, бывало, увидятъ
такъ и бѣгутъ прочь, чтобъ Залихватскій чего не по-
палъ. Хе-хе-хе. Вѣдь съ этимъ усастымъ идоломъ свя-
сь, такъ потомъ не радъ будешь, пять протоколовъ со-
вить насчетъ санитарнаго состоянія. Къ примѣру, уви-
ъ твою кошку на улицѣ и составитъ протоколъ, какъ
то это бродячій скотъ.

— Такъ жена ваша, значитъ, не жила съ Иваномъ Але-
ичемъ?—удивились мы протяжно.

— Нѣтъ-съ, это моя хитрость... Хе-хе... Что, ловко на-
палъ я васъ, молодежь? То-то вотъ оно и есть.

Прошло минуты три въ молчаніи. Мы сидѣли и молчали,
намъ было обидно и совѣстно, что насъ такъ хитро про-
ъ этотъ толстый, красноносый старикъ.

— Ну, Богъ дастъ, въ другой разъ женишься!—провор-
ъ дьяконъ.

# МУЖЪ.

N—скій кавалерійскій полкъ, маневрируя, остановился на ночевку въ уѣздномъ городишкѣ К. Такое событіе, какъ ночевка гг. офицеровъ, дѣйствуетъ всегда на обывателей самымъ возбуждающимъ и вдохновляющимъ образомъ. Лавочники, мечтающіе о сбытѣ лежалой заржавленной колбасы и «самыхъ лучшихъ» сардинокъ, которыя лежатъ на полкѣ уже десять лѣтъ, трактирщики и прочіе промышленники не закрываютъ своихъ заведеній въ теченіе всей ночи; воинскій начальникъ, его дѣлопроизводитель и мѣстная гарниза надѣваютъ лучшіе мундиры; полиція снуетъ, какъ угорѣлая, а съ дамами дѣлается чортъ знаетъ что!

К—скія дамы, заслышавъ приближеніе полка, бросили горячіе тазы съ вареньемъ и выбѣжали на улицу. Забывъ про свое дезабилье и растрепанный видъ, тяжело дыша и замирая, онѣ стремились навстрѣчу полку и жадно вслушивались въ звуки марша. Глядя на ихъ блѣдныя вдохновенныя лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не изъ солдатскихъ трубъ, а съ неба.

— Полкъ!—говорили онѣ радостно.—Полкъ идетъ!

А на что понадобился имъ этотъ незнакомый, случайно зашедшій полкъ, который уйдетъ завтра же на разсвѣтѣ? Когда потомъ гг. офицеры стояли среди площади и, заложивъ руки назадъ, рѣшали квартирный вопросъ, всѣ онѣ сидѣли въ квартирѣ слѣдовательши и взапуски критиковали полкъ. Имъ было уже, Богъ вѣсть откуда, извѣстно, что командиръ женатъ, но не живетъ съ женой, что у старшаго

фицера родятся ежегодно мертвыя дѣти, что адъютантъ безнадежно влюбленъ въ какую-то графиню и даже разъ покушался на самоубійство. Извѣстно имъ было все. Когда подъ окнами мелькнулъ рябой солдатъ въ красной рубахѣ, онѣ отлично знали, что это денщикъ подпоручика Рымзова бѣгаетъ по городу и ищетъ для своего барина въ долгъ англійской горькой. Офицеровъ видѣли онѣ только мельк омъ и въ спины, но уже рѣшили, что между ними нѣтъ ни одного хорошенькаго и интереснаго... Наговорившись, онѣ вытребовали къ себѣ воинскаго начальника и старшину клуба и приказали имъ устроить во что бы то ни стало танцовальный вечеръ.

Желаніе ихъ было исполнено. Въ девятомъ часу вечера на улицѣ передъ клубомъ гремѣлъ военный оркестръ, а въ томъ клубѣ гг. офицеры танцовали съ к—скими дамами. Имы чувствовали себя на крыльяхъ. Упоенныя танцами, музыкой и звономъ шпоръ, онѣ всей душой отдались мимолетному знакомству и совсѣмъ забыли про своихъ штатныхъ. Ихъ отцы и мужья, отошедшіе на самый задній планъ, толпились въ передней около тощаго буфета. Всѣ и казначеи, секретари и надзиратели, испитые, гемороидальные и мѣшковатые, отлично сознавали свою убогость и не входили въ залу, а только издали поглядывали, какъ ихъ жены и дочери танцовали съ ловкими и стройными офицерами.

Между мужьями находился акцизный Кириллъ Петровичъ Шаликовъ, существо пьяное, узкое и злое, съ большой стриженой головой и съ жирными, отвислыми губами. Когда-то онъ былъ въ университетѣ, читалъ Писарева и Добролюбова, пѣлъ пѣсни, а теперь онъ говорилъ про себя, что онъ коллежскій асессоръ и больше ничего. Онъ стоялъ, прислонившись къ косяку, и не отрывалъ глазъ отъ своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленькая брюнетка лѣтъ двадцати, длинноносая, съ острымъ подбородкомъ, напудренная и затянутая, танцовала безъ передышки, до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она тѣломъ, а не душой... Вся ея фигура выражала восторгъ и наслажденіе. Грудь ея волновалась, на щекахъ играли красныя пятнышки, ея движенія были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцовала въ институтѣ и мечтала о роскошной,

веселой жизни и когда была увѣрена, что у нея будетъ мужемъ непремѣнно баронъ или князь.

Акцизный глядѣлъ на нее и морщился отъ злости... Ревности онъ не чувствовалъ, но ему непріятно было, во-первыхъ, что благодаря танцамъ, негдѣ было играть въ карты; во-вторыхъ, онъ терпѣть не могъ духовой музыки; въ-третьихъ, ему казалось, что гг. офицеры слишкомъ небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, въ-четвертыхъ, его возмущало и приводило въ негодованіе выраженіе блаженства на женіномъ лицѣ...

— Глядѣть противно! — бормоталъ онъ.—Скоро уже сорокъ лѣтъ, ни кожи, ни рожи, а тоже поди ты, напудрилась, завилась, корсетъ надѣла! Кокетничаетъ, жеманничаетъ и воображаетъ, что это у нея хорошо выходитъ... Ахъ, скажите, какъ вы прекрасны!

Анна Павловна такъ ушла въ танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа.

— Конечно, гдѣ намъ, мужикамъ!—злорадствовалъ акцизный.—Теперь мы за штатомъ... Мы тюлени, уѣздные медвѣди! А она царица бала; она вѣдь настолько еще сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могутъ. Пожалуй, и влюбиться не прочь.

Во время мазурки лицо акцизнаго перекосило отъ злости. Съ Анной Павловной танцовалъ мазурку черный офицеръ съ выпученными глазами и съ татарскими скулами. Онъ работалъ ногами серьезно и съ чувствомъ, дѣлая строгое лицо, и такъ выворачивалъ колѣни, что походилъ на игрушечнаго паяца, котораго дергаютъ за ниточку. А Анна Павловна, блѣдная, трепещущая, согнувъ томно станъ и закатывая глаза, старалась дѣлать видъ, что она едва касается земли, и, повидимому, ей самой казалось, что она не на землѣ, не въ уѣздномъ клубѣ, а гдѣ-то далеко-далеко—на облакахъ! Не одно только лицо, но уже все тѣло выражало блаженство... Акцизному стало невыносимо; ему захотѣлось насмѣяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Аннѣ Павловнѣ, что она забылась, что жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ ей теперь кажется въ упоеніи...

— Погоди, я покажу тебѣ, какъ блаженно улыбаться!— бормоталъ онъ. — Ты не институтка, не дѣвочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!

Мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолю-

бія, маленькаго, уѣзднаго человѣконенавистничества, того самаго, которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ водки и отъ сидячей жизни, закопошились въ немъ, какъ мыши... Дождавшись конца мазурки, онъ вошелъ въ залу и направился къ женѣ. Анна Павловна сидѣла въ это время съ кавалеромъ и, обмахиваясь вѣеромъ, кокетливо щурила глаза и разсказывала, какъ она когда-то танцовала въ Петербургѣ. (Губы у нея были сложены сердечкомъ и произносила она такъ:—«У насъ въ Шютюрбюргѣ»).

— Анюта, пойдемъ домой!—прихрипѣлъ акцизный.

Увидѣвъ передъ собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, какъ бы вспомнивъ, что у нея есть мужъ, потомъ вся вспыхнула: ей стало стыдно что у нея такой испитой, угрюмый, обыкновенный мужъ...

— Пойдемъ домой!—повторилъ акцизный.

— Зачѣмъ? Вѣдь еще рано!

— Я прошу тебя идти домой! — сказалъ акцизный съ разстановкой, дѣлая злое лицо.

— Зачѣмъ? Развѣ что̀ случилось?—встревожилась Анна Павловна.

— Ничего не случилось, но я желаю, чтобъ ты сію минуту шла домой... Желаю, вотъ и все, и пожалуйста, безъ разговоровъ.

Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и насмѣшливо поглядывалъ на акцизнаго. Она поднялась и отошла съ мужемъ въ сторону.

— Что ты выдумалъ?—начала она.—Зачѣмъ мнѣ домой? Вѣдь еще и одиннадцати часовъ нѣтъ!

— Я желаю, и баста! Изволь идти—и все тутъ.

— Перестань выдумывать глупости! Ступай самъ, если хочешь.

— Ну, такъ я скандалъ сдѣлаю!

Акцизный видѣлъ, какъ выраженіе блаженства постепенно сползало съ лица его жены, какъ ей было стыдно и какъ она страдала—и у него стало какъ будто легче на душѣ.

— Зачѣмъ я тебѣ сейчасъ понадобилась? — спросила жена.

— Ты не нужна мнѣ, но я желаю, чтобъ ты сидѣла дома. Желаю, вотъ и все.

Анна Павловна не хотѣла и слушать, потомъ начала умолять, чтобы мужъ позволилъ ей остаться еще хоть полчаса;

потомъ, сама не зная зачѣмъ, извинялась, клялась—и все это шопотомъ, съ улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нея съ мужемъ недоразумѣніе. Она стала увѣрять, что останется еще недолго, только десять минутъ, только пять минутъ; но акцизный упрямо стоялъ на своемъ.

— Какъ хочешь, оставайся! Только я скандалъ сдѣлаю.

И, разговаривая теперь съ мужемъ, Анна Павловна осунулась, похудѣла и постарѣла. Блѣдная, кусая губы и чуть не плача, она пошла въ переднюю и стала одѣваться...

— Куда же вы?—удивлялись к—скія дамы.—Анна Павловна, куда же вы это, милочка?

— Голова заболѣла,—говорилъ за жену акцизный.

Выйдя изъ клуба, супруги до самаго дома шли молча. Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея согнувшуюся, убитую горемъ и униженную фигурку, припоминалъ блаженство, которое такъ раздражало его въ клубѣ, и сознаніе, что блаженства уже нѣтъ, наполняло его душу побѣднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ, и въ то же время ему недоставало чего-то и хотѣлось вернуться въ клубъ и сдѣлать такъ, чтобы всѣмъ стало скучно и горько, и чтобы всѣ почувствовали, какъ ничтожна, плоска эта жизнь, когда вотъ идешь въ потемкахъ по улицѣ и слышишь, какъ всхлипываетъ подъ ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утромъ—и опять ничего, кромѣ водки и кромѣ картъ! О, какъ это ужасно!

А Анна Павловна едва шла... Она была все еще подъ впечатлѣніемъ танцевъ, музыки, разговоровъ, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покаралъ такъ Господь Богъ? Было ей горько, обидно и душно отъ ненависти, съ которой она прислушивалась къ тяжелымъ шагамъ мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, ѣдкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и въ то же время сознавала, что ея акцизнаго не проймешь никакими словами. Что ему слова? Безпомощнѣе состоянія не могъ бы придумать и злѣйшій врагъ.

А музыка между тѣмъ гремѣла, и потемки были полны самыхъ плясовыхъ, зажигательныхъ звуковъ.

# ВЪ НОМЕРАХЪ.

— Послушайте, милѣйшій!—набросилась на хозяина баовая и брызжущая жилица 47-го номера, полковница Натырина.—Или дайте мнѣ другой номеръ, или же я совмъ уѣду изъ вашихъ проклятыхъ номеровъ! Это вертепъ! милуйте, у меня дочери взрослыя, а тутъ день и ночь нѣ только мерзости слышишь! На что это похоже? День ночь! Иной разъ онъ такое выпалитъ, что просто уши утъ! Просто какъ извозчикъ! Хорошо еще, что мои бѣдя дѣвочки ничего не понимаютъ, а то хоть на улицу съ ии бѣги... Онъ и сейчасъ что-то говоритъ! Вы послуйте!

— Я, братецъ ты мой, еще лучше случай знаю,—донесся шлый басъ изъ сосѣдняго номера.—Помнишь ты поруа Дружкова? Такъ вотъ этотъ самый Дружковъ дѣлаетъ ажды клопштосомъ желтаго въ уголъ и по обыкновенію, ешь, высоко ногу задралъ... Вдругъ что-то: трррес! Дуи сначала, что онъ на бильярдѣ сукно порвалъ, а какъ лядѣли, братецъ ты мой, у него Соединенные Штаты по мъ швамъ! Такъ высоко задралъ, бестія, ногу, что ни ого шва не осталось... Ха-ха-ха. А тутъ въ это время ы были... между прочимъ, жена этой слюни—подпоруа Окурина... Окуринъ взбѣленился... Какъ онъ, молъ, етъ вести себя неприлично при его женѣ? Слово за сло.. знаешь вѣдь нашихъ!.. Посылаетъ Окуринъ къ Друж-у секундантовъ, а Дружковъ не будь глупъ и скажи... ха-ха... и скажи:—«Пусть онъ посылаетъ не ко мнѣ, а

къ портному, который шилъ мнѣ эти штаны. Онъ вѣдь виповатъ!»—Ха-ха-ха... Ха-ха-ха!

Лиля и Мила, дочки полковницы, сидѣвшія у окна и подпиравшія кулаками пухлыя щеки, потупили заплывшіе глазки и вспыхнули.

— Теперь вы слышали?—продолжала Нашатырина, обращаясь къ хозяину.—И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница! Мужъ мой воинскимъ начальникомъ! Я не позволю, чтобы почти въ моемъ присутствіи какой-нибудь извозчикъ говорилъ такія мерзости!

— Онъ, сударыня, не извозчикъ, а штабсъ-капитанъ Кикинъ... Изъ благородныхъ-съ.

— Если онъ забылъ свое благородство до такой степени, что выражается, какъ извозчикъ, то онъ заслуживаетъ еще бо̀льшаго презрѣнія! Однимъ словомъ, не разсуждайте, а извольте принять мѣры!

— Но что же я могу сдѣлать, сударыня? Не вы одинѣ жалуетесь, всѣ жалуются,—да что же я съ нимъ сдѣлаю? Придешь къ нему въ номеръ и начнешь стыдить: «Ганнибалъ Иванычъ! Бога побойтесь! Совѣстно!», а онъ сейчасъ къ лицу съ кулаками и разныя слова: «Накося выкуси» и прочее. Безобразіе! Проснется утромъ и давай ходить по коридору въ одномъ, извините, нижнемъ. А то вотъ возьметъ револьверъ въ пьяномъ видѣ и давай садить пули въ стѣну. Днемъ винище трескаетъ, ночью въ карты рѣжется... А послѣ картъ драка... Отъ жильцовъ совѣстно!

— Что же вы не откажете этому негодяю?

— Да нешто выкуришь этакого? Задолжалъ за три мѣсяца, ужъ мы и денегъ не просимъ, уходи только, сдѣлай милость... Мировой присудилъ ему номеръ очистить, а онъ и на апелляцію, и на кассацію, да такъ и тянетъ... Горе, да и только! Господи, а человѣкъ-то какой! Молодой, красивый, умственный... Когда не выпивши, лучше и человѣка не надо. Намедни пьянъ не былъ и весь день родителямъ письма писалъ.

— Бѣдные родители!—вздохнула полковница.

— Извѣстно, бѣдные! Нешто пріятно имѣть такого лодаря? И ругаютъ его, и изъ номеровъ гонятъ, и нѣтъ того дня, чтобъ за скандалы не судился. Горе!

— Бѣдная, несчастная жена!—вздохнула полковница.

— Онъ, сударыня, не женатъ. Гдѣ ужъ ему! Была бы цѣла одна голова—и за то благодарить Бога...

Полковница прошлась изъ угла въ уголъ.

— Не женатый, вы говорите?—спросила она.

— Никакъ нѣтъ, сударыня.

Полковница опять прошлась изъ угла въ уголъ и подумала немного.

— Гм!.. Не женатъ...—проговорила она въ раздумьи.— Гм!.. Лиля и Мила, не сидите у окна—сквозитъ! Какъ жаль! Молодой человѣкъ и такъ себя распустилъ! А все отчего? Вліянія хорошаго нѣтъ! Нѣтъ матери, которая бы... Не женатъ? Ну, вотъ... такъ и есть... Пожалуйста, будьте такъ добры,—продолжала полковница мягко, подумавъ:—сходите къ нему и отъ моего имени попросите, чтобы онъ... воздержался отъ выраженій... Скажите: полковница Нашатырина просила... Съ дочерями, скажите, въ 47-мъ номерѣ живетъ... изъ своего имѣнія пріѣхала...

— Слушаю-съ.

— Такъ и скажите: полковница съ дочерями. Пусть хоть придетъ извиниться... Мы послѣ обѣда всегда дома. Ахъ, Мила, закрой окно!

— Ну, на что вамъ, мама, сдался этотъ... забулдыга?— протянула Лиля по уходѣ хозяина.—Нашли кого приглашать! Пьяница, буянъ, оборванецъ!

— Ахъ, не говори, ma chère!.. Вы вѣчно такъ говорите, ну и... сидите вотъ! Что жъ? Какой бы онъ ни былъ, а все же пренебрегать не слѣдуетъ... Всякъ злакъ на пользу человѣка. Кто знаетъ? — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей. — Можетъ-быть, тутъ ваша судьба. Одѣньтесь же на всякій случай...

# ГРИША.

Гриша, маленькій, пухлый мальчикъ, родившійся два года и восемь мѣсяцевъ тому назадъ, гуляетъ съ нянькой по бульвару. На немъ длинный ватный бурнусикъ, шарфъ, большая шапка съ мохнатой пуговкой и теплыя калоши. Ему душно и жарко, а тутъ еще разгулявшееся апрѣльское солнце бьетъ прямо въ глаза и щиплетъ вѣки.

Вся его неуклюжая, робко, неувѣренно шагающая фигура выражаетъ крайнее недоумѣніе.

До сихъ поръ Гриша зналъ одинъ только четырехъугольный міръ, гдѣ въ одномъ углу стоитъ его кровать, въ другомъ—нянькинъ сундукъ, въ третьемъ—стулъ, а въ четвертомъ—горитъ лампадка. Если взглянуть подъ кровать, то увидишь куклу съ отломанной рукой и барабанъ, а за нянькинымъ сундукомъ очень много разныхъ вещей: катушки отъ нитокъ, бумажки, коробка безъ крышки и сломанный паяцъ. Въ этомъ мірѣ, кромѣ няни и Гриши, часто бываетъ мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нѣтъ глазъ и хвоста. Изъ міра, который называется дѣтской, дверь ведетъ въ пространство, гдѣ обѣдаютъ и пьютъ чай. Тутъ стоитъ Гришинъ стулъ на высокихъ ножкахъ и висятъ часы, существующіе для того только, чтобы махать маятникомъ и звонить. Изъ столовой можно пройти въ комнату, гдѣ стоятъ красныя кресла. Тутъ на коврѣ темнѣетъ пятно, за которое Гришѣ до сихъ поръ грозятъ пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускаютъ и гдѣ мелькаетъ папа—личность въ высшей степени загадочная!

Няня и мама понятны: онѣ одѣваютъ Гришу, кормятъ и укладываютъ его спать, но для чего существуетъ папа — неизвѣстно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Гришѣ барабанъ. Она то появляется, то исчезаетъ. Куда она исчезаетъ? Гриша не разъ заглядывалъ подъ кровать, за сундукъ и подъ диванъ, но тамъ ея не было...

Въ этомъ же новомъ мірѣ, гдѣ солнце рѣжетъ глаза, столько папъ, мамъ и тетъ, что не знаешь, къ кому и подбѣжать. Но страннѣе и нелѣпѣе всего — лошади. Гриша глядитъ на ихъ двигающіяся ноги и ничего не можетъ понять. Глядитъ на няньку, чтобы та разрѣшила его недоумѣніе, но та молчитъ.

Вдругъ онъ слышитъ страшный топотъ... По бульвару, мѣрно шагая, двигается прямо на него толпа солдатъ съ красными лицами и съ банными вѣниками подъ мышкой. Гриша весь холодѣетъ отъ ужаса и глядитъ вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бѣжитъ и не плачетъ,—значитъ, не опасно. Гриша провожаетъ глазами солдатъ и самъ начинаетъ шагать имъ въ тактъ.

Черезъ бульваръ перебѣгаютъ двѣ большія кошки съ длинными мордами, съ высунутыми языками и съ задранными вверхъ хвостами. Гриша думаетъ, что и ему тоже нужно бѣжать, и бѣжитъ за кошками.

— Стой! — кричитъ ему нянька, грубо хватая его за плечи.—Куда ты? Нешто тебѣ велѣно шалить?

Вотъ какая-то няня сидитъ и держитъ маленькое корыто съ апельсинами. Гриша проходитъ мимо нея и молча беретъ себѣ одинъ апельсинъ.

— Это ты зачѣмъ же? — кричитъ его спутница, хлопая его по рукѣ и вырывая апельсинъ.—Дуракъ!

Теперь Гриша съ удовольствіемъ бы поднялъ стеклышко, которое валяется подъ ногами и сверкаетъ какъ лампадка, но онъ боится, что его опять ударятъ по рукѣ.

— Мое вамъ почтеніе! — слышитъ вдругъ Гриша почти надъ самымъ ухомъ чей-то громкій, густой голосъ и видитъ высокаго человѣка со свѣтлыми пуговицами.

Къ великому его удовольствію, этотъ человѣкъ подаетъ нянькѣ руку, останавливается съ ней и начинаетъ разговаривать. Блескъ солнца, шумъ экипажей, лошади, свѣтлыя пуговицы, все это такъ поразительно ново и не

страшно, что душа Гриши наполняется чувствомъ наслажденія и онъ начинаетъ хохотать.

— Пойдемъ! Пойдемъ!—кричитъ онъ человѣку со свѣтлыми пуговицами, дергая его за фалду.

— Куда пойдемъ?—спрашиваетъ человѣкъ.

— Пойдемъ!—настаиваетъ Гриша.

Ему хочется сказать, что не дурно бы также прихватить съ собой папу, маму и кошку, но языкъ говорить совсѣмъ не то, что нужно.

Немного погодя, нянька сворачиваетъ съ бульвара и вводитъ Гришу въ большой дворъ, гдѣ есть еще снѣгъ. И человѣкъ со свѣтлыми пуговицами тоже идетъ за ними. Минуютъ старательно снѣговыя глыбы и лужи, потомъ по грязной, темной лѣстницѣ входятъ въ комнату. Тутъ много дыма, пахнетъ жаркимъ, и какая-то женщина стоитъ около печки и жаритъ котлеты. Кухарка и нянька цѣлуются и вмѣстѣ съ человѣкомъ садятся на скамью и начинаютъ говорить тихо. Гришѣ, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?»—думаетъ онъ, оглядываясь.

Видитъ онъ темный потолокъ, ухватъ съ двумя рогами, печку, которая глядитъ большимъ, чернымъ дуломъ...

— Ма-а-ма!—тянетъ онъ.

— Ну, ну, ну!—кричитъ нянька.—Подождешь!

Кухарка ставитъ на столъ бутылку, двѣ рюмки и пирогъ. Двѣ женщины и человѣкъ со свѣтлыми пуговицами чокаются и пьютъ по нѣсколько разъ, и человѣкъ обнимаетъ то няньку, то кухарку. И потомъ всѣ трое начинаютъ тихо пѣть.

Гриша тянется къ пирогу, и ему даютъ кусочекъ. Онъ ѣстъ и глядитъ, какъ пьетъ нянька... Ему тоже хочется выпить.

— Дай! Няня, дай!—проситъ онъ.

Кухарка даетъ ему отхлебнуть изъ своей рюмки. Онъ таращитъ глаза, морщится, кашляетъ и долго потомъ машетъ руками, а кухарка глядитъ на него и смѣется.

Вернувшись домой, Гриша начинаетъ разсказывать мамѣ, стѣнамъ и кровати, гдѣ онъ былъ и что видѣлъ. Говоритъ онъ не столько языкомъ, сколько лицомъ и руками. Показываетъ онъ, какъ блеститъ солнце, какъ бѣгаютъ лошади, какъ глядитъ страшная печь и какъ пьетъ кухарка...

Вечеромъ онъ никакъ не можетъ уснуть. Солдаты съ вѣниками, большія кошки, лошади, стеклышко, корыто съ апельсинами, свѣтлыя пуговицы, — все это собралось въ кучу и давитъ его мозгъ. Онъ ворочается съ-боку-на-бокъ, болтаетъ и въ концѣ концовъ, не вынося своего возбужденія, начинаетъ плакать.

— А у тебя жаръ! — говоритъ мама, касаясь ладонью его лба.—Отчего бы это могло случиться?

— Печка!—плачетъ Гриша.—Пошла отсюда, печка!

— Вѣроятно, покушалъ лишнее...—рѣшаетъ мама.

И Гриша, распираемый впечатлѣніями новой, только-что изведанной жизни, получаетъ отъ мамы ложку касторки.

# НЕОБЫКНОВЕННЫЙ.

Первый часъ ночи. Передъ дверью Марьи Петровны Кошкиной, старой дѣвы-акушерки, останавливается высокій господинъ въ цилиндрѣ и въ шинели съ капюшономъ. Въ осеннихъ потемкахъ не отличишь ни лица, ни рукъ, но уже въ манерѣ покашливать и дергать за звонокъ слышится солидность, положительность и нѣкоторая внушительность. Послѣ третьяго звонка отворяется дверь, и показывается сама Марья Петровна. На ней, поверхъ бѣлой юбки, наброшено мужское пальто. Маленькая лампочка съ зеленымъ колпакомъ, которую она держитъ въ рукахъ, краситъ въ зелень ея заспанное, весноватое лицо, жилистую шею и жидкіе, рыжеватые волосики, выбивающіеся изъ-подъ чепца.

— Могу ли я видѣть акушерку?—спрашиваетъ господинъ.

— Я-съ акушерка. Что вамъ угодно?

Господинъ входитъ въ сѣни, и Марья Петровна видитъ передъ собой высокаго, стройнаго мужчину, уже не молодого, но съ красивымъ, строгимъ лицомъ и съ пушистыми бакенами.

— Я коллежскій асессоръ Кирьяковъ,—говоритъ онъ.— Пришелъ я просить васъ къ своей женѣ. Только, пожалуйста, поскорѣе.

— Хорошо-съ... — соглашается акушерка. — Я сейчасъ одѣнусь, а вы потрудитесь подождать меня въ залѣ.

Кирьяковъ снимаетъ шинель и входитъ въ залу. Зеленый свѣтъ лампочки скудно ложится на дешевую мебель въ бѣлыхъ заплатанныхъ чехлахъ, на жалкіе цвѣты, на

косяки, по которымъ вьется плющъ... Пахнетъ геранью и карболкой. Стѣнные часики тикаютъ робко, точно конфузясь передъ постороннимъ мужчиной.

— Я готова-съ!—говоритъ Марья Петровна, входя минутъ черезъ пять въ залу, уже одѣтая, умытая и бодрая.— Поѣдемте-съ!

— Да, надо спѣшить... — говоритъ Кирьяковъ. — Между прочимъ, не лишній вопросъ: сколько вы возьмете за труды?

— Я, право, не знаю... — конфузливо улыбается Марья Петровна.—Сколько дадите...

— Нѣтъ, я этого не люблю,— говоритъ Кирьяковъ, холодно и неподвижно глядя на акушерку.—Договоръ лучше денегъ. Мнѣ не нужно вашего, вамъ не нужно моего. Во избѣжаніе недоразумѣній, намъ разумнѣе уговориться заранѣе.

— Я, право, не знаю... Опредѣленной цѣны нѣтъ.

— Я самъ тружусь и привыкъ цѣнить чужой трудъ. Несправедливости я не люблю. Для меня одинаково будетъ непріятно, если я вамъ не доплачу, или если вы съ меня потребуете лишнее, а потому я настаиваю на томъ, чтобы вы назвали вашу цѣну.

— Вѣдь цѣны разныя бываютъ!

— Гм!.. Въ виду вашихъ колебаній, которыя мнѣ непонятны, я самъ долженъ назначить цѣну. Дать вамъ я могу два рубля.

— Что вы, помилуйте! — говоритъ Марья Петровна, краснѣя и пятясь назадъ. — Мнѣ даже совѣстно... Чѣмъ два рубля брать, такъ я ужъ лучше даромъ. Извольте, за пять рублей...

— Два рубля, ни копейки больше. Вашего мнѣ не нужно, но и лишнее платить я не намѣренъ.

— Какъ вамъ угодно-съ, но за два рубля я не поѣду...

— Но по закону вы не имѣете права отказываться.

— Извольте, я задаромъ поѣду.

— Даромъ я не хочу. Каждый трудъ долженъ быть вознаграждаемъ. Я самъ тружусь и понимаю.

— За два рубля не поѣду-съ... — кротко заявляетъ Марья Петровна.—Извольте, задаромъ...

— Въ такомъ случаѣ, очень жалѣю, что напрасно обезпокоилъ... Честь имѣю кланяться.

— Какіе вы, право... — говоритъ акушерка, провожая

Кирьякова въ переднюю.—Если ужъ вамъ такъ угодно, то извольте, я за три рубля поѣду.

Кирьяковъ хмурится и думаетъ цѣлыхъ двѣ минуты, сосредоточенно глядя на полъ, потомъ говоритъ рѣшительно «нѣтъ!» и выходитъ на улицу. Удивленная и сконфуженная акушерка запираетъ за нимъ дверь и идетъ къ себѣ въ спальню.

«Красивый, солидный, но какой странный, Богъ съ нимъ»,—думаетъ она, ложась.

Но не проходитъ и получаса, какъ опять звонокъ; она поднимается и видитъ въ передней того же Кирьякова.

— Удивительные безпорядки! — говоритъ онъ. — Ни въ аптекѣ, ни городовые, ни дворники, никто не знаетъ адресовъ акушерокъ, и такимъ образомъ я поставленъ въ необходимость согласиться на ваши условія. Я дамъ вамъ три рубля, но... предупреждаю, что, нанимая прислугу и вообще пользуясь чьими-либо услугами, я заранѣе условливаюсь, чтобы при расплатѣ не было разговоровъ о прибавкахъ, на чай и пр. Каждый долженъ получать свое.

Марья Петровна не долго слушала Кирьякова, но уже чувствуетъ, что онъ надоѣлъ ей, опротивѣлъ, что его ровная, мѣрная рѣчь тяжестью ложится ей на душу. Она одѣвается и выходитъ съ нимъ на улицу. Въ воздухѣ тихо, но холодно и такъ пасмурно, что даже фонарные огни еле видны. Подъ ногами всхлипываетъ слякоть. Акушерка всматривается и не видитъ извозчика...

— Вѣроятно, недалеко?—спрашиваетъ она.

— Недалеко,—угрюмо отвѣчаетъ Кирьяковъ.

Проходятъ одинъ переулокъ, другой, третій... Кирьяковъ шагаетъ, и даже въ походкѣ его сказывается солидность и положительность.

— Какая ужасная погода!—заговариваетъ съ нимъ акушерка.

Но онъ солидно молчитъ и замѣтно старается идти по гладкимъ камнямъ, чтобы не портить калошъ. Наконецъ, послѣ долгой ходьбы, акушерка входитъ въ переднюю; оттуда видна большая, прилично убранная зала. Въ комнатахъ, даже въ спальнѣ, гдѣ лежитъ роженица, ни души... Родственниковъ и старухъ, которыми на всякихъ родинахъ хоть прудъ пруди, тутъ не видно. Мечется, какъ угорѣлая,

одна только кухарка съ тупымъ, испуганнымъ лицомъ. Слышны громкіе стоны.

Проходитъ три часа. Марья Петровна сидитъ у кровати роженицы и шепчетъ о чемъ-то. Обѣ женщины уже успѣли познакомиться, узнали другъ друга, посудачили, поахали...

— Вамъ нельзя говорить! — тревожится акушерка, а сама такъ и сыплетъ вопросами.

Но вотъ открывается дверь, и тихо, солидно входитъ въ спальню самъ Кирьяковъ. Онъ садится на стулъ и поглаживаетъ бакены. Наступаетъ молчаніе... Марья Петровна робко поглядываетъ на его красивое, но безстрастное, деревянное лицо и ждетъ, когда онъ начнетъ говорить. Но онъ упорно молчитъ и о чемъ-то думаетъ. Не дождавшись, акушерка рѣшается сама начать разговоръ и произноситъ фразу, какую обыкновенно говорятъ на родинахъ:

— Ну, вотъ и слава Богу, однимъ человѣкомъ на этомъ свѣтѣ больше!

— Да, пріятно, — говоритъ Кирьяковъ, сохраняя деревянное выраженіе лица: — хотя, впрочемъ, съ другой стороны, чтобы имѣть лишнихъ дѣтей, нужно имѣть лишнія деньги. Ребенокъ не родится сытымъ и одѣтымъ.

На лицѣ у роженицы показывается виноватое выраженіе, точно она произвела на свѣтъ живое существо безъ позволенія, или изъ пустой прихоти. Кирьяковъ со вздохомъ поднимается и солидно выходитъ.

— Какой онъ у васъ, Богъ съ нимъ... — говоритъ акушерка роженицѣ.—Строгій такой и не улыбнется...

Роженица разсказываетъ, что *онъ* у нея всегда такой... Онъ честенъ, справедливъ, разсудителенъ, разумно экономенъ, но все это въ такихъ необыкновенныхъ размѣрахъ, что простымъ смертнымъ дѣлается душно. Родня разошлась съ нимъ, прислуга не живетъ больше мѣсяца, знакомыхъ нѣтъ, жена и дѣти вѣчно напряжены отъ страха за каждый свой шагъ. Онъ не деретъся, не кричитъ, добродѣтелей у него гораздо больше, чѣмъ недостатковъ, но когда онъ уходитъ изъ дому, всѣ чувствуютъ себя здоровѣе и легче. Отчего это такъ, роженица и сама не можетъ понять.

— Нужно тазы вычистить хорошенько и поставить ихъ въ кладовую,—говоритъ Кирьяковъ, опять входя въ спальню.—Эти флаконы тоже нужно спрятать: пригодятся.

То, что онъ говоритъ, очень просто и обыкновенно, но

акушерка почему-то чувствуетъ оторопь. Она начинаетъ бояться этого человѣка и вздрагиваетъ всякій разъ, когда слышитъ его шаги. Утромъ, собираясь уходить, она видитъ, какъ въ столовой маленькій сынъ Кирьякова, бледный, стриженый гимназистъ, пьетъ чай... Противъ него стоитъ Кирьяковъ и говоритъ своимъ мѣрнымъ, ровнымъ голосомъ:

— Ты умѣешь ѣсть, умѣй же и работать. Ты вотъ сейчасъ глотнулъ, но не подумалъ, вѣроятно, что этотъ глотокъ стоитъ денегъ, а деньги добываются трудомъ. Ты ѣшь и думай...

Акушерка глядитъ на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что еще немного—и стѣны упадутъ, не вынося давящаго присутствія необыкновеннаго человѣка. Не помня себя отъ страха и уже чувствуя сильную ненависть къ этому человѣку, Марья Петровна беретъ свои узелки и торопливо уходитъ.

На полдорогѣ она вспоминаетъ, что забыла получить свои три рубля, но, постоявъ немного и подумавъ, машетъ рукой и идетъ дальше.

# ЛЕВЪ И СОЛНЦЕ.

Въ одномъ изъ городовъ, расположенныхъ по сю сторону Уральскаго хребта, разнесся слухъ, что на-дняхъ прибылъ въ городъ и остановился въ гостиницѣ «Японія» персидскій сановникъ Рахатъ-Хеламъ. Этотъ слухъ не произвелъ на обывателей никакого впечатлѣнія: пріѣхалъ персъ, ну и ладно. Одинъ только городской голова, Степанъ Ивановичъ Куцынъ, узнавъ отъ секретаря управы о пріѣздѣ восточнаго человѣка, задумался и спросилъ:

— Куда онъ ѣдетъ?

— Кажется, въ Парижъ или въ Лондонъ.

— Гм!.. Значитъ, важная птица?

— А чортъ его знаетъ.

Придя изъ управы къ себѣ домой и пообѣдавъ, городской голова опять задумался, и ужъ на этотъ разъ думалъ до самаго вечера. Пріѣздъ знатнаго перса сильно заинтриговалъ его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахатъ-Хелама и что, наконецъ, наступило благопріятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, завѣтную мечту. Дѣло въ томъ, что Куцынъ имѣлъ двѣ медали, Станислава 3-й степени, знакъ Краснаго Креста и знакъ «Общества спасанія на водахъ», и кромѣ того онъ сдѣлалъ себѣ еще брелокъ (золотое ружье и гитара, которыя перекрещивались), и этотъ брелокъ, продѣтый въ мундирную петлю, похожъ былъ издали на что-то особенное и прекрасно сходилъ за знакъ отличія. Извѣстно же, что чѣмъ больше имѣешь орденовъ и медалей, тѣмъ больше ихъ хочется,—и городской голова давно уже желалъ получить персидскій

орденъ «Льва и Солнца», желалъ страстно, безумно. Онъ отлично зналъ, что для полученія этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать въ пріютъ, ни служить по выборамъ, а нуженъ только подходящій случай. И теперь ему казалось, что этотъ случай наступилъ.

На другой день, въ полдень, онъ надѣлъ всѣ свои знаки отличія, цѣпь и поѣхалъ въ «Японію». Судьба ему благопріятствовала. Когда онъ вошелъ въ номеръ знатнаго перса, то послѣдній былъ одинъ и ничего не дѣлалъ. Рахатъ-Хеламъ, громадный азіатъ съ длиннымъ, бекасинымъ носомъ, съ глазами на выкатѣ и въ фескѣ, сидѣлъ на полу и рылся въ своемъ чемоданѣ.

— Прошу извинить за безпокойство, — началъ Куцынъ, улыбаясь. — Честь имѣю рекомендоваться: потомственный почетный гражданинъ и кавалеръ Степанъ Ивановичъ Куцынъ, мѣстный городской голова. Почитаю своимъ долгомъ почтить въ лицѣ вашей персоны, такъ сказать, представителя дружественной и сосѣдственной намъ державы.

Персъ обернулся и пробормоталъ что-то на очень плохомъ французскомъ языкѣ, прозвучавшемъ какъ стукъ деревяшки о доску.

— Границы Персіи,—продолжалъ Куцынъ заранѣе выученное привѣтствіе:—тѣсно соприкасаются съ предѣлами нашего обширнаго отечества, а потому взаимныя симпатіи побуждаютъ меня, такъ сказать, выразить вамъ солидарность.

Знатный персъ поднялся и опять пробормоталъ что-то на деревянномъ языкѣ. Куцынъ, не знавшій языковъ, мотнулъ головой въ знакъ того, что не понимаетъ.

«Ну, какъ я съ нимъ буду разговаривать? — подумалъ онъ. — Хорошо бы сейчасъ за переводчикомъ послать, да дѣло щекотливое, нельзя говорить при свидѣтеляхъ. Переводчикъ разболтаетъ потомъ по всему городу».

И Куцынъ сталъ вспоминать иностранныя слова, какія зналъ изъ газетъ.

— Я городской голова... — пробормоталъ онъ. — То-есть, лордъ-меръ... муниципале... Вуй? Компрене?

Онъ хотѣлъ выразить на словахъ или мимикой свое общественное положеніе и не зналъ, какъ это сдѣлать. Выручила его картина съ крупною надписью: «Городъ Венеція», висѣвшая на стѣнѣ. Онъ указалъ пальцемъ на

городъ, потомъ себѣ на голову, и такимъ образомъ, по его мнѣнію, получилась фраза: «Я городской голова». Персъ ничего не понялъ, но улыбнулся и сказалъ:

— Каряшо, мусье... каряшо...

Полчаса спустя городской голова похлопывалъ перса то по колѣну, то по плечу и говорилъ:

— Компрене? Вуй? Какъ лордъ-меръ и муниципале... я предлагаю вамъ сдѣлать маленькій променажъ... Компрене? Променажъ...

Куцынъ ткнулъ пальцемъ на Венецію и двумя пальцами изобразилъ шагающія ноги. Рахатъ-Хеламъ, не спускавшій глазъ съ его медалей и, повидимому, догадываясь, что это самое важное лицо въ городѣ, понялъ слово «променажъ» и любезно осклабился. Затѣмъ оба надѣли пальто и вышли изъ номера. Внизу, около двери, ведущей въ ресторанъ «Японія», Куцынъ подумалъ, что недурно было бы угостить перса. Онъ остановился и, указывая ему на столы, сказалъ:

— По русскому обычаю, не мѣшало бы тово... пюре, антрекотъ... шампань и прочее... Компрене?

Знатный гость понялъ и, немного погодя, оба сидѣли въ самомъ лучшемъ кабинетѣ ресторана, пили шампанское и ѣли.

— Выпьемъ за процвѣтаніе Персіи!—говорилъ Куцынъ.— Мы, русскіе, любимъ персовъ. Хотя мы и разной вѣры, но общіе интересы, взаимныя, такъ сказать, симпатіи... прогрессъ... Азіатскіе рынки... мирныя завоеванія, такъ сказать...

Знатный персъ ѣлъ и пилъ съ большимъ аппетитомъ. Онъ ткнулъ вилкой въ балыкъ и, восторженно мотнувъ головой, сказалъ:

— Каряшо! Бьенъ!

— Вамъ нравится? — обрадовался городской голова.— Бьенъ? Вотъ и прекрасно.—И обратившись къ лакею, онъ сказалъ:—Лука, распорядись, братецъ, послать его превосходительству въ номеръ два балыка, которые получше!

Потомъ городской голова и персидскій сановникъ поѣхали осматривать звѣринецъ. Обыватели видѣли, какъ ихъ Степанъ Иванычъ, красный отъ шампанскаго, веселый, очень довольный, водилъ перса по главнымъ улицамъ и по базару,

показывая ему достопримѣчательности города, водилъ и на каланчу.

Между прочимъ, обыватели видѣли, какъ онъ остановился около каменныхъ воротъ со львами и указалъ персу сначала на льва, потомъ вверхъ, на солнце, потомъ себѣ на грудь, потомъ опять на льва и на солнце, а персъ замоталъ головой, какъ бы въ знакъ согласія, и, улыбаясь, показалъ свои бѣлые зубы. Вечеромъ оба сидѣли въ гостиницѣ «Лондонъ» и слушали арфистокъ, а гдѣ были ночью—неизвѣстно.

На другой день городской голова утромъ былъ въ управѣ; служащіе, очевидно, кое-что уже знали и догадывались, такъ какъ секретарь подошелъ къ нему и сказалъ, насмѣшливо улыбаясь:

— У персовъ есть такой обычай: если къ вамъ пріѣзжаетъ знатный гость, то вы должны собственноручно зарѣзать для него барана.

А немного погодя, подали пакетъ, полученный по почтѣ. Городской голова распечаталъ и увидѣлъ въ немъ карикатуру. Былъ нарисованъ Рахатъ-Хеламъ, а передъ нимъ стоялъ на колѣняхъ самъ городской голова и, простирая къ нему руки, говорилъ:

Въ знакъ дружбы двухъ монархій—
Россіи и Ирана,
Изъ уваженья къ вамъ, почтеннѣйшій посолъ,
Я самъ себя бъ разрѣзалъ, какъ барана,
Но, извините, я—оселъ.

Городской голова испыталъ непріятное чувство, похожее на сосаніе подъ ложечкой, но не надолго. Въ полдень онъ опять уже былъ у знатнаго перса, опять угощалъ его и, показывая ему достопримѣчательности города, опять подводилъ его къ каменнымъ воротамъ и опять указывалъ то на льва, то на солнце, то себѣ на грудь. Обѣдали въ «Японіи», послѣ обѣда, съ сигарами въ зубахъ, оба красные, счастливые, опять восходили на каланчу, и городской голова, очевидно желая угостить гостя рѣдкимъ зрѣлищемъ, крикнулъ сверху часовому, ходившему внизу:

— Бей тревогу!

Но тревоги не вышло, такъ какъ пожарные въ это время были въ банѣ.

Ужинали въ «Лондонѣ». а послѣ ужина персъ уѣхалъ.

Провожая его, Степанъ Иванычъ три раза поцѣловался съ нимъ, по русскому обычаю, и даже прослезился. А когда поѣздъ тронулся, онъ крикнулъ:

— Поклонитесь отъ насъ Персіи. Скажите ей, что мы ее любимъ!

Прошелъ годъ и четыре мѣсяца. Былъ сильный морозъ, градусовъ въ тридцать пять, и дулъ пронзительный вѣтеръ. Степанъ Иванычъ ходилъ по улицѣ, распахнувши на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадается навстрѣчу и не видитъ на его груди «Льва и Солнца». Ходилъ онъ такъ до вечера, распахнувши шубу, очень озябъ, а ночью ворочался съ-боку-на-бокъ и никакъ не могъ уснуть.

На душѣ у него было тяжело, внутри жгло и сердце безпокойно стучало: ему хотѣлось теперь получить сербскій орденъ «Такова». Хотѣлось страстно, мучительно.

# АНТРЕПРЕНЕРЪ ПОДЪ ДИВАНОМЪ.

(Закулисная исторія.)

Шелъ «Водевиль съ переодѣваніемъ». Клавдія Матвѣевна Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбѣжала въ свою уборную и начала сбрасывать съ себя платье цыганки, чтобы въ мгновеніе ока облечься въ гусарскій костюмъ. Во избѣжаніе лишнихъ складокъ, чтобы этотъ костюмъ сидѣлъ возможно гладко и красиво, даровитая артистка рѣшила сбросить съ себя все до послѣдней нитки и надѣть его поверхъ одѣянія Евы. И вотъ, когда она раздѣлась и, пожимаясь отъ легкаго холода, стала расправлять гусарскіе рейтузы, до ея слуха донесся чей-то вздохъ. Она сдѣлала большіе глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнулъ и даже какъ будто прошепталъ:

— Грѣхи наши тяжкіе... Оxx...

Недоумѣвающая артистка осмотрѣлась и, не увидѣвъ въ уборной ничего подозрительнаго, рѣшила заглянуть на всякій случай подъ свою единственную мебель—подъ диванъ. И что же? Подъ диваномъ она увидѣла длинную человѣческую фигуру.

— Кто здѣсь?! — вскрикнула она, въ ужасѣ отскакивая отъ дивана и прикрываясь гусарской курткой.

— Это я... я... послышался изъ-подъ дивана дрожащій шопотъ.—Не пугайтесь, это я... Тсс!

Въ гнусавомъ шопотѣ, похожемъ на сковородное шипѣ-

ніе, артисткѣ не трудно было узнать голосъ антрепренера Индюкова.

— Вы?!—возмутилась она, красная какъ піонъ.—Какъ... какъ вы смѣли? Это, значитъ, вы, старый подлецъ, все время здѣсь лежали? Этого еще не доставало!

— Матушка... голуба моя!—зашипѣлъ Индюковъ, высовывая свою лысую голову изъ-подъ дивана:—не сердитесь, драгоцѣнная! Убейте, растопчите меня, какъ змія, но не шумите! Ничего я не видѣлъ, не вижу и видѣть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже въ могилѣ стоящаго! Не за чѣмъ инымъ тутъ валяюсь, какъ только ради спасенія моего! Погибаю! Глядите: волосы на головѣ моей стоятъ дыбомъ! Изъ Москвы пріѣхалъ мужъ моей Глашеньки, Прындинъ. Теперь ходитъ по театру и ищетъ погибели моей. Ужасно! Вѣдь, кромѣ Глашеньки, я ему, злодѣю моему, пять тысячъ долженъ!

— Мнѣ какое дѣло? Убирайтесь сію же минуту вонъ, иначе я... я не знаю, что̀ съ вами, съ подлецомъ, сдѣлаю!

— Тсс! Душенька, тсс! На колѣняхъ прошу, ползаю! Куда же мнѣ отъ него укрыться, ежели не у васъ? Вѣдь онъ вездѣ меня найдетъ, сюда только не посмѣетъ войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назадъ я его видѣлъ! Стою, это, я во время перваго дѣйствія за кулисами, гляжу, а онъ идетъ изъ партера на сцену.

— Стало-быть, вы и во время драмы здѣсь валялись?—ужаснулась артистка.—И... и все видѣли?

Антрепренеръ заплакалъ:

— Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьетъ, проклятый! Вѣдь ужъ разъ стрѣлялъ въ меня въ Нижнемъ... Въ газетахъ писали!

— Ахъ... это, наконецъ, невыносимо! Уходите, мнѣ пора уже одѣваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я... крикну, громко расплачусь... лампой въ васъ пущу!

— Тссс!.. Надежда вы моя... якорь спасенія! Пятьдесятъ рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесятъ!

Артистка прикрылась кучей платья и побѣжала къ двери, чтобы крикнуть. Индюковъ поползъ за ней на колѣняхъ и схватилъ ее за ногу повыше лодыжекъ.

— Семьдесятъ пять рублей, только не гоните!— прошипѣлъ онъ, задыхаясь.—Еще полъ-бенефиса прибавлю!

# АНТРЕПРЕНЕРЪ ПОДЪ ДИВА

(Закулисная исторія.)

Шелъ «Водевиль съ переодѣваніемъ». Клавд
Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная арт
преданная святому искусству, вбѣжала въ свс
начала сбрасывать съ себя платье цыганки, чт
веніе ока облечься въ гусарскій костюмъ.
лишнихъ складокъ, чтобы этотъ костюмъ сид
гладко и красиво, даровитая артистка рѣшила
себя все до послѣдней нитки и надѣть его пос
Евы. И вотъ, когда она раздѣлась и, пожимаяс
холода, стала расправлять гусарскіе рейтузы,
донесся чей-то вздохъ. Она сдѣлала большіе
слушалась. Опять кто-то вздохнулъ и даже
прошепталъ:

— Грѣхи наши тяжкіе... Охх...

Недоумѣвающая артистка осмотрѣлась и, н
уборной ничего подозрительнаго, рѣшила загля
кій случай подъ свою единственную мебель
И что же? Подъ диваномъ она увидѣла дли
ческую фигуру.

— Кто здѣсь?! — вскрикнула она, въ ужас
отъ дивана и прикрываясь гусарской курткой

— Это я... я... послышался изъ-подъ дива
шопотъ.— Не пугайтесь, это я... Тсс!

Въ гнусавомъ шопотѣ, похожемъ на сковор

обозначался...

... — Низко!

бы полное
а то вѣдь,
сапожникъ
платить за
о...
лъ:
я обязанъ,
его знаетъ,

— Лжете!

— Накажи меня Богъ! Клянусь! Чтобъ мнѣ ни дна, и покрышки... Полъ-бенефиса и семьдесятъ пять прибавки!

Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери.

— Вѣдь вы все врете... — сказала она плачущимъ го лосомъ.

— Провались я сквозь землю! Чтобъ мнѣ царствія не беснаго не было! Да развѣ я подлецъ какой, что ли?

— Ладно, помните же... — согласилась артистка. — Н полѣзайте подъ диванъ.

Индюковъ тяжело вздохнулъ и съ сопѣньемъ полѣз подъ диванъ, а Дольская-Каучукова стала быстро одѣ ваться. Ей было совѣстно, даже жутко отъ мысли, что в уборной подъ диваномъ лежитъ посторонній человѣкъ, и сознаніе, что она сдѣлала уступку только въ интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасыва съ себя немного спустя гусарское платье, она уже не толь не бранилась, но даже и посочувствовала:

— Вы тамъ выпачкаетесь, голубчикъ Кузьма Алексѣичъ Чего я только подъ диванъ не ставлю!

Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букетъ съ лентами, на которыхъ было напи сано: «Оставайтесь съ нами». Уходя послѣ овацій къ себ въ уборную, она встрѣтила за кулисами Индюкова. Запах канный, помятый и взъерошенный, антрепренеръ сіялъ потиралъ руки отъ удовольствія.

— Ха-ха... Вообразите, голубушка! — заговорилъ он подходя къ ней.—Посмѣйтесь надъ старымъ хрычомъ! Во образите, то былъ вовсе не Прындинъ! Ха-ха... Чортъ ег возьми, длинная, рыжая борода меня съ панталыку сбила. У Прындина тоже длинная, рыжая борода... Обознался старый хрѣнъ! Ха-ха... Напрасно только безпокоилъ васъ красавица...

— Но вы же смотрите, помните, что мнѣ обѣщали, — сказала Дольская-Каучукова.

— Помню, помню, родная моя, но... голубушка моя вѣдь то не Прындинъ былъ! Мы только насчетъ Прын дина условились, а зачѣмъ я буду обѣщаніе исполнять ежели это не Прындинъ? Будь то Прындинъ, ну тогда, ко

нечно, другое дѣло, а то вѣдь, сами видите, обознался... Чудака какого-то за Прындина принялъ!

— Какъ это низко! — возмутилась актриса. — Низко! Мерзко!

— Будь это Прындинъ, конечно, вы имѣли бы полное право требовать, чтобъ я обѣщаніе исполнилъ, а то вѣдь, чортъ его знаетъ, кто онъ такой. Можетъ, онъ сапожникъ какой или, извините, портной — такъ мнѣ и платить за него? Я честный человѣкъ, матушка... Понимаю...

И отойдя, онъ все жестикулировалъ и говорилъ:

— Если бы то былъ Прындинъ, то конечно, я обязанъ, а то вѣдь кто-то неизвѣстный... какой-то, шутъ его знаетъ, рыжій человѣкъ, а вовсе не Прындинъ.

# ЖАЛОБНАЯ КНИГА.

Лежитъ она, эта книга, въ спеціально построенной для нея конторкѣ на станціи желѣзной дороги. Ключъ отъ конторки «хранится у станціоннаго жандарма», на дѣлѣ же никакого ключа не нужно, такъ какъ конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»

Подъ этимъ нарисована рожица съ длиннымъ носомъ и рожками. Подъ рожицей написано:

«Ты картина, я портретъ, ты скотина, а я нѣтъ. Я — морда твоя».

«Подъѣзжая къ сіей станціи и глядя на природу въ окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкинъ».

«Кто писалъ не знаю, а я дуракъ читаю».

«Оставилъ память начальникъ стола претензій Коловроевъ».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости въ отношеніи моей женѣ. Жена моя вовсе не шумѣла, а напротивъ старалась чтобъ все было тихо. А также и насчетъ жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взялъ. Жительство имѣю въ именіи Андрея Ивановича Ищеева который знаетъ мое поведеніе. Конторщикъ Самолучшевъ».

«Никандровъ соціалистъ!»

«Находясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ возмутительнаго поступка... (зачеркнуто). Проѣзжая черезъ эту станцію, я былъ возмущенъ до глубины души слѣдующимъ... (зачеркнуто). На моихъ глазахъ произошло слѣдующее возмути-

тельное происшествіе, рисующее яркими красками наши желѣзнодорожные порядки... (далѣе все зачеркнуто, кромѣ подписи). Ученикъ 7-го класса Курской гимназіи Алексѣй Зудьевъ».

«Въ ожиданіи отхода поѣзда обозрѣвалъ физіогномію начальника станціи и остался ею весьма недоволенъ. Объявляю о семъ по линіи. Неунывающій дачникъ».

«Я знаю кто это писалъ. Это писалъ. М. Д.».

«Господа! Тельцовскій шуллеръ!»

«Жандармиха ѣздила вчера съ буфетчикомъ Костькой за рѣку. Желаемъ всего лучшаго. Не унывай, жандармъ!»

«Проѣзжая черезъ станцію и будучи голоденъ въ разсужденіи чего бы покушать я не могъ найти постной пищи. Дьяконъ Духовъ».

«Лопай, что даютъ»...

«Кто найдетъ кожаный портсигаръ тотъ пущай отдастъ въ кассу Андрею Егорычу».

«Такъ какъ меня прогоняютъ со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что всѣ вы мошенники и воры. Телеграфистъ Козьмодемьянскій».

«Добродѣтелью украшайтесь».

«Катинька, я васъ люблю безумно!»

«Прошу въ жалобной книгѣ не писать постороннихъ вещей. За начальника станціи Ивановъ 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дуракъ».

# ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежитъ она, эта книга, въ спеціально
нея конторкѣ на станціи желѣзной дороги
торки «хранится у станціоннаго жандар
никакого ключа не нужно, такъ какъ кон
перта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»

Подъ этимъ нарисована рожица съ дли
рожками. Подъ рожицей написано:

«Ты картина, я портретъ, ты скотина,
морда твоя».

«Подъѣзжая къ сіей станціи и глядя на
у меня слетела шляпа. И. Ярмонкинъ».

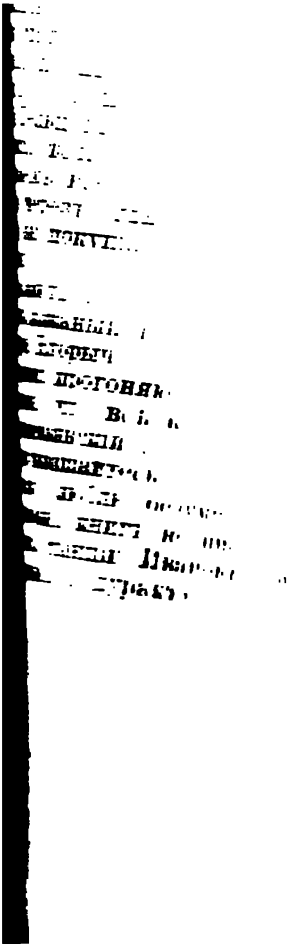
«Кто писалъ не знаю, а я дуракъ чита

«Оставилъ память начальникъ стола
вроевъ».

«Приношу начальству мою жалобу на
кина за его грубости въ отношеніи моей
вовсе не шумѣла, а напротивъ старалась
тихо. А также и насчетъ жандарма Клятви
грубо за плечо взялъ. Жительство имѣю
Ивановича Ищеева который знаетъ мое по
щикъ Самолучшевъ».

«Никандровъ соціалистъ!»

«Находясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ
поступка... (зачеркнуто). Про
былъ возмущенъ до глубин
нуто). На моихъ глазах



сѣ одѣваться во время представленія, а Акулина пошла въ лѣсъ за грибами. Папа, отчего это когда комары кусаются, то у нихъ дѣлаются животы красные?

— Не знаю... Оттого, что они сосутъ кровь. Стало-быть, никого нѣтъ дома?

— Никого. Только я одинъ дома.

Зайкинъ садится въ кресло и минуту тупо глядитъ въ окно.

— Кто же намъ обѣдать подастъ?—спрашиваетъ онъ.

— Обѣдать сегодня не варили, папа! Мама думала, что ты сегодня не пріѣдешь, и не велѣла варить обѣдъ. Она съ Ольгой Кирилловной будетъ обѣдать на репетиціи.

— Покорнѣйше благодарю, а ты же что ѣлъ?

— Я ѣлъ молоко. Для меня купили молока на шесть копеекъ. Папа, а зачѣмъ комары сосутъ кровь?

Зайкинъ вдругъ чувствуетъ, какъ что-то тяжелое подкатываетъ къ его печени и начинаетъ сосать ее. Ему становится такъ досадно, обидно и горько, что онъ тяжело дышитъ и дрожитъ; ему хочется вскочить, ударить о-полъ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и разразиться бранью, но тутъ онъ вспоминаетъ, что доктора строго запретили ему волноваться, встаетъ и, насилуя себя, начинаетъ насвистывать изъ «Гугенотовъ».

— Папа, ты умѣешь представлять въ театрѣ?—слышитъ онъ голосъ Цети.

— Ахъ, не приставай ко мнѣ съ глупыми вопросами!—сердится Зайкинъ.—Пристадъ, какъ банный листъ! Тебѣ уже шесть лѣтъ, а ты все такъ же глупъ, какъ и три года назадъ... Глупый, распущенный мальчишка! Къ чему, напримѣръ, ты эти карты портишь? Какъ ты смѣешь ихъ портить?

— Эти карты не твои,— говоритъ Цетя, оборачиваясь.— Мнѣ Наталья ихъ дала.

— Врешь! Врешь, дрянной мальчишка!—раздражается Зайкинъ все болѣе и болѣе.—Ты всегда врешь! Высѣчь тебя нужно, свиненка этакаго! Я тебѣ уши оборву!

Цетя вскакиваетъ, вытягиваетъ шею и глядитъ въ упоръ на красное, гнѣвное лицо отца. Большіе глаза его сначала мигаютъ, потомъ заволакиваются влагой, и лицо мальчика кривится.

— Да ты что бранишься?—визжитъ Цетя.—Что ты ко

мнѣ приставъ, дуракъ? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты... сердишься! Ну, за что ты меня бранишь?

Мальчикъ говоритъ убѣдительно и такъ горько плачетъ, что Зайкину становится совѣстно.

«И правда, за что я къ нему придираюсь»,—думаетъ онъ.—Ну, будетъ... будетъ,—говоритъ онъ, трогая мальчика за плечо.—Виноватъ, Петюха... прости. Ты у меня умница, славный, я тебя люблю.

Петя утираетъ рукавомъ глаза, садится со вздохомъ на прежнее мѣсто и начинаетъ вырѣзывать даму. Зайкинъ идетъ къ себѣ въ кабинетъ. Онъ растягивается на диванѣ и, подложивъ руки подъ голову, задумывается. Недавнія слезы мальчика смягчили его гнѣвъ, и отъ печени мало-по-малу отлегло. Чувствуются только утомленіе и голодъ.

— Папа!—слышитъ Зайкинъ за дверью.—Показать тебѣ мою насѣкомую коллекцію?

— Покажи!

Петя входитъ въ кабинетъ и подаетъ отцу длинный зеленый ящичекъ. Еще не поднося къ уху, Зайкинъ слышитъ отчаянное жужжанье и царапанье лапокъ о стѣнки ящика. Поднявъ крышку, онъ видитъ множество бабочекъ, жуковъ, кузнечиковъ и мухъ, приколотыхъ ко дну ящика булавками. Всѣ, за исключеніемъ двухъ-трехъ бобочекъ, еще живы и шевелятся.

— А кузнечикъ все еще живъ!—удивляется Петя. Вчера утромъ поймали его, а онъ до сихъ поръ не умеръ!

— Кто это тебя научилъ прикалывать ихъ?—спрашиваетъ Зайкинъ.

Ольга Кирилловна.

Самоѣ бы Ольгу Кирилловну приколоть такъ!—говоритъ Зайкинъ съ отвращеніемъ.—Унеси отсюда! Стыдно мучить животныхъ!

«Боже, какъ онъ мерзко воспитывается»,—думаетъ онъ по уходѣ Пети.

Павелъ Матвѣевичъ забылъ уже про утомленіе и голодъ и думаетъ только о судьбѣ своего мальчика. За окнами, между тѣмъ, дневной свѣтъ мало-по-малу тускнетъ... Слышно, какъ дачники компаніями возвращаются съ вечерняго купанья. Кто-то останавливается около открытаго окна столовой и кричитъ: «Грибковъ не желаете ли?» —кричитъ и, не получивъ отвѣта, шлепаетъ босыми ногами дальше... Но

вотъ, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной занавѣской теряетъ свои очертанія и въ окно начинаетъ потягивать свѣжестью вечера, дверь въ сѣняхъ съ шумомъ открывается и слышатся быстрые шаги, говоръ, смѣхъ...

— Мама!—взвизгиваетъ Петя.

Зайкинъ выглядываетъ изъ кабинета и видитъ свою жену Надежду Степановну, здоровую, розовую, какъ всегда... Съ нею Ольга Кирилловна, сухая блондинка съ крупными веснушками, и двое какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ: одинъ молодой, длинный, съ рыжей, курчавой головой и съ большимъ кадыкомъ, другой—низенькій, коренастый, съ бритой актерской физіономіей и сизымъ, кривымъ подбородкомъ.

— Наталья, ставь самоваръ!—кричитъ Надежда Степановна, громко шурша платьемъ.—Говорятъ, Павелъ Матвѣевичъ пріѣхалъ? Павелъ, гдѣ ты? Здравствуй, Павелъ!—говоритъ она, вбѣгая въ кабинетъ и тяжело дыша.—Ты пріѣхалъ? Очень рада... Со мной пріѣхали двое нашихъ любителей... пойдемъ, я тебя представлю... Вотъ тотъ, что подлиннѣй, это Коромысловъ... прекрасно поетъ, а другой, этотъ маленькій... нѣкій Смеркаловъ, настоящій актеръ... читаетъ великолѣпно. Уфъ, утомилась! Сейчасъ у насъ ренетиція была... Великолѣпно идетъ! Мы ставимъ «Жильца съ тромбономъ» и «Она его ждетъ»... Послѣ завтра спектакль...

— Зачѣмъ ты ихъ привезла?—спрашиваетъ Зайкинъ.

— Необходимо, попочка! Послѣ чая намъ нужно роли повторить и пропѣть кое-что... Я съ Коромысловымъ дуэтъ буду пѣть... Да, какъ бы не забыть! Пошли, голубчикъ, Натальюшку взять сардинъ, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вѣроятно, и ужинать будутъ... Охъ, устала!

— Гм!.. у меня денегъ нѣтъ!

— Нельзя же, попочка! Неловко! Не заставляй меня краснѣть!

Черезъ полчаса Наталья посылается за водкой и закуской; Зайкинъ, напившись чаю и съѣвши цѣлый французскій хлѣбъ, уходитъ въ спальню и ложится на постель, а Надежда Степановна и ея гости, шумя и смѣясь, приступаютъ къ повторенію ролей. Павелъ Матвѣевичъ долго слышитъ гнусавое чтеніе Коромыслова и актерскіе возгласы Смеркалова... За чтеніемъ слѣдуетъ длинный разговоръ,

прерываемый визгливымъ смѣхомъ Ольги Кирилловны. Смеркаловъ, на правахъ настоящаго актера, съ апломбомъ и жаромъ объясняетъ роли...

Далѣе слѣдуетъ дуэтъ, а за дуэтомъ звяканье посуды... Зайкинъ сквозь сонъ слышитъ, какъ уговариваютъ Смеркалова прочесть «Грѣшницу» и какъ, тотъ, поломавшись, начинаетъ декламировать. Онъ шипитъ, бьетъ себя по груди, плачетъ, хохочетъ хриплымъ басомъ... Зайкинъ морщится и прячетъ голову подъ одѣяло.

— Вамъ идти далеко и темно,—слышитъ онъ часъ спустя голосъ Надежды Степановны.—Почему вамъ не остаться у насъ ночевать? Коромысловъ ляжетъ здѣсь, въ гостиной, на диванѣ, а вы, Смеркаловъ, на Петиной постели... Петю можно въ кабинетѣ мужа положить... Право, оставайтесь!

Наконецъ, когда часы бьютъ два, все смолкаетъ... Отворяется въ спальной дверь и показывается Надежда Степановна.

— Павелъ, ты спишь? – шепчетъ она.

— Нѣтъ, а что?

— Поди, голубчикъ, къ себѣ въ кабинетъ, лягъ на диванѣ, а тутъ, на твоей кровати, я Ольгу Кирилловну положу. Поди, милый! Я бы ее въ кабинетѣ положила, да она боится спать одной... Вставай же!

Зайкинъ поднимается, накидываетъ на себя халатъ и, взявши подушку, плетется въ кабинетъ... Дойдя ощупью до своего дивана, онъ зажигаетъ спичку и видитъ: на диванѣ лежитъ Петя. Мальчикъ не спитъ и большими глазами глядитъ на спичку.

— Папа, отчего это комары не спятъ ночью? - спрашиваетъ онъ.

— Оттого... оттого,— бормочетъ Зайкинъ: – оттого, что мы здѣсь съ тобой лишніе... Даже спать негдѣ!

— Папа, а отчего это на лицѣ у Ольги Кирилловны веснушки?

— Ахъ, отстань! Надоѣлъ!

Подумавъ немного, Зайкинъ одѣвается и выходитъ на улицу освѣжиться... Онъ глядитъ на сѣрое утреннее небо, на неподвижныя облака, слушаетъ лѣнивый крикъ соннаго коростеля и начинаетъ мечтать о завтрашнемъ днѣ, когда онъ, поѣхавъ въ городъ и вернувшись изъ суда, завалится

спать... Вдругъ изъ-за угла показывается человѣческ фигура.

«Сторожъ, должно-быть»,—думаетъ Зайкинъ.

Но, вглядѣвшись и подойдя поближе, онъ узнаетъ фигурѣ вчерашняго дачника въ рыжихъ панталонахъ.

— Вы не спите?—спрашиваетъ онъ.

— Да, не спится что-то...—вздыхаютъ рыжіе пан лоны.—Природой наслаждаюсь... Ко мнѣ, знаете ли, п ѣхала съ ночнымъ поѣздомъ дорогая гостья... мамаша мо жены. Съ нею прибыли мои племянницы... прекрасныя д вушки. Весьма радъ, хотя и... очень сыро! А вы тоже з волите природой наслаждаться?

— Да,—мычитъ Зайкинъ:—и я тоже природой... знаете ли, нѣтъ ли тутъ гдѣ-нибудь поблизости какого-н будь кабака или трактирчика?

Рыжіе панталоны поднимаютъ глаза къ небу и глубок мысленно задумываются...

# СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

— Ребята, пустите съ дороги, старшина съ писаремъ идетъ!

— Герасиму Алпатычу, съ праздникомъ! - гудитъ толпа навстрѣчу старшинѣ.—Дай Богъ, чтобъ, значитъ, Герасимъ Алпатычъ, не вамъ, не намъ, а какъ Богу угодно.

Подгулявшій старшина хочетъ что-то сказать, но не можетъ. Онъ неопредѣленно шевелитъ пальцами, пучитъ глаза и надуваетъ свои красныя, опухшія щеки съ такой силой, какъ будто беретъ самую высокую ноту на большой трубѣ. Писарь, маленькій, куцый человѣкъ съ краснымъ носикомъ и въ жокейскомъ картузѣ, придаетъ своему лицу энергическое выраженіе и входитъ въ толпу.

— Который тутъ утопъ?—спрашиваетъ онъ.—Гдѣ утопшій человѣкъ?

— Вотъ этотъ самый!

Длинный, тощій старикъ, въ синей рубахѣ и лаптяхъ, только-что вытащенный мужиками изъ воды и мокрый съ головы до пятъ, разставивъ руки и разбросавъ въ стороны ноги, сидитъ у берега на лужѣ и лепечетъ:

— Святители-угодники... братцы православные... Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда... Двухъ сыновъ подѣлилъ, а самъ у Прохора Сергѣева... въ штукатурахъ. Таперича, это самое, стало-быть, даетъ мнѣ семь рублевъ и говоритъ: «Ты, говоритъ, Ѳедя, долженъ теперича, говоритъ, почитать меня замѣсто родителя». Ахъ, волкъ-те заѣшь!

— Ты откеда?—спрашиваетъ писарь.

— Замѣсто, говоритъ, родителя... Ахъ, волкъ-те заѣш Это за семь-то рублевъ?

— Вотъ этакъ лопочетъ и самъ не знаетъ по-каковски,— кричитъ сотскій Анисимъ не своимъ голосомъ, мокрый і поясъ и видимо встревоженный происшествіемъ.—Дай тебѣ объясню, Егоръ Макарычъ! Ребята, постой, не галд Я желаю все какъ есть Егору Макарычу... Идетъ он значитъ, изъ Курнева... Да погоди, ребята, не болтай зр Идетъ онъ, значитъ, изъ Курнева, и понесла его нелегка бродомъ. Человѣкъ, значитъ, выпивши, не въ своемъ ум полѣзъ сдуру въ воду, а его съ ногъ сшибло и зачал вертѣть, какъ щепку. Кричитъ благимъ матомъ, а тутъ съ Ляксандрой... Чего такое? По какому случаю человѣк кричитъ? Видимъ, тонетъ... Что тутъ дѣлать? Бросай, крич Ляксандра, къ шуту гармонію, мужика спасать! Лѣзем прямо, какъ есть, а тамъ вертитъ и крутитъ, вертитъ крутитъ— спаси, Царица Небесная! Попали въ самую вер тячую... Онъ его за рубаху, я за волосья. Тутъ проч народъ, который увидѣлъ, бѣжитъ на берегъ, крикъ по няли... каждому спасать душу желается... Замучилис Егоръ Макарычъ! Не подоспѣй мы во-время, совсѣмъ б утопъ ради праздника...

— Какъ тебя звать?—спрашиваетъ писарь утоплен ника.—Какого происхожденія?

Тотъ безсмысленно поводитъ глазами и молчитъ.

— Очумѣлъ!—говоритъ Анисимъ.—И какъ не очумѣть Почитай, полное брюхо воды. Милый человѣкъ, какъ теб звать? Молчитъ! Какая въ немъ жизнь? Видимость одна, душа небось наполовину вышла... Экое горе ради праз ника! Что тутъ прикажешь дѣлать? Помретъ, чего добраго. Погляди, какъ рожа-то посинѣла!

— Послушай, ты!—кричитъ писарь, трепля утопленник за плечо.—Ты! Отвѣчай, тебѣ говорю! Какого ты происх жденія? Молчишь, словно тебѣ весь мозухъ въ головѣ водо залило. Ты!

— Это за семь-то рублей?—бормочетъ утопленникъ.— Поди ты, говорю, къ псу... Мы не желаемъ...

— Чего ты не желаешь? Отвѣчай явственно!

Утопленникъ молчитъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холод стучитъ зубами.

— Одно только званіе, что живой,—говоритъ Анисимъ: — а поглядѣть, такъ и на человѣка не похожъ. Капель бы ему какихъ...

— Капель... — передразниваетъ писарь. — Какія тутъ капли? Человѣкъ утопъ, а онъ—капли! Откачивать надо! Что рты поразѣвали? Народъ безчувственный! Бѣгите скорѣй въ волостное за рогожей, да качайте!

Нѣсколько человѣкъ срываются съ мѣста и бѣгутъ къ деревнѣ за рогожей. На писаря находитъ вдохновеніе. Онъ засучиваетъ рукава, потираетъ ладонями бока и дѣлаетъ массу мелкихъ тѣлодвиженій, свидѣтельствующихъ объ избыткѣ энергіи и рѣшимости.

— Не толпитесь, не толпитесь,— бормочетъ онъ.— Которые лишніе, уходите! Поѣхали за урядникомъ? А вы бы уходили, Герасимъ Алпатычъ,— обращается онъ къ старшинѣ.—Вы назюзюкались, и въ вашемъ интересномъ положеніи самое лучшее теперь сидѣть дома.

Старшина неопредѣленно шевелитъ пальцами и, желая что-то сказать, такъ надуваетъ лицо, что оно, того и гляди, лопнетъ и разлетится во всѣ стороны.

— Ну, клади его,—кричитъ писарь, когда приносятъ рогожу.—Берите за руки и за ноги. Вотъ такъ. Теперь кладите.

— Поди ты, говорю, къ псу, бормочетъ утопленникъ, не сопротивляясь и какъ бы не замѣчая, что его поднимаютъ и кладутъ на рогожу.—Мы не желаемъ.

— Ничего, ничего, другъ,— говоритъ ему писарь:— не унывайся. Мы тебя малость покачаемъ и, Богъ дастъ, придешь въ чувство. Сейчасъ пріѣдетъ урядникъ и составитъ протоколъ на основаніи существующихъ законовъ. Качай! Господи благослови!

Восемь дюжихъ мужиковъ, въ томъ числѣ и сотскій Анисимъ, берутся за углы рогожи; сначала они качаютъ нерѣшительно, какъ бы не вѣря въ свои силы, потомъ же, войдя мало-по-малу во вкусъ, придаютъ своимъ лицамъ звѣрское, сосредоточенное выраженіе и качаютъ съ жадностью и съ азартомъ. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгиваютъ, точно хотятъ вмѣстѣ съ утопленникомъ взлетѣть на небо.

— Разъ! разъ! разъ! разъ!

Вокругъ нихъ бѣгаетъ кущій писарь и, вытягиваясь изо

всѣхъ силъ, чтобы достать руками рогожку, кричитъ
своимъ голосомъ:

— Шибче! Шибче! Всѣ сразу, въ тактъ! Разъ! раз
Анисимъ, не отставай, прошу тебя убѣдительно! Разъ!

Во время короткой передышки изъ рогожи показываютъ
всклокоченная голова и блѣдное лицо съ выраженіемъ
доумѣнія, ужаса и физической боли, но тотчасъ исчезаютъ
потому что рогожа вновь летитъ вверхъ направо, стре
тельно опускается внизъ и съ трескомъ взлетаетъ ввер
налѣво. Толпа зрителей издаетъ одобрительные звуки:

— Такъ его! Потрудитесь для души! Спасибо!

— Молодчина, Егоръ Макарычъ! Потрудись для души,
это правильно!

— А ужъ мы его, братцы, такъ не отпустимъ! Ка
значитъ, станетъ на ноги, въ умъ прійдетъ,—ставь вед
за труды!

— Ахъ, въ ротъ-те дышло съ макомъ! Глядика-сь, братц
шмелевская барыня съ приказчикомъ ѣдетъ. Такъ и ес
Приказчикъ въ шляпѣ.

Около толпы останавливается коляска, въ которой сиди
полная, пожилая дама, въ pince-nez и съ пестрымъ зонт
комъ; спиной къ ней, на козлахъ, рядомъ съ кучеромъ, с
дитъ приказчикъ—молодой человѣкъ, въ соломенной шляп
У барыни лицо испугано.

— Что такое?—спрашиваетъ она.—Что это дѣлаютъ?

— Утоплаго человѣка откачиваемъ! Съ праздникомъ! М
ленько выпивши, потому собственно такое дѣло—нын
поперекъ всей деревни съ образами ходили! Праздникъ!

— Боже мой!—ужасается барыня.—Они утопленни
откачиваютъ! Что же это такое? Этьенъ,—обращается о
къ приказчику:—подите, ради Бога, скажите имъ, что
они не смѣли этого дѣлать. Они уморятъ его! Откачивать
это предразсудокъ! Нужно растирать и искусственное д
ханіе. Идите, я васъ прошу!

Этьенъ прыгаетъ съ козелъ и направляется къ кача
щимъ. Видъ у него строгій.

— Что вы дѣлаете?—кричитъ онъ сердито.—Неш
можно человѣка откачивать?

— А то какъ же его?—спрашиваетъ писарь.—Вѣдь о
утоплый!

— Такъ что жъ, что утоплый? Обмершихъ отъ утонут

надо не откачивать, а растирать. Такъ въ каждомъ календарѣ написано. Будетъ вамъ, бросьте!

Писарь конфузливо пожимаетъ плечами и отходитъ въ сторону. Качающіе кладутъ рогожу на землю и удивленно глядятъ то на барыню, то на Этьена. Утопленникъ уже съ закрытыми глазами лежитъ на спинѣ и тяжело дышитъ.

— Пьяницы!—сердится Этьенъ.

— Милый человѣкъ!—говоритъ Анисимъ, запыхавшись и прижимая руку къ сердцу.—Степанъ Иванычъ! Зачѣмъ такія слова? Нешто мы свиньи, не понимаемъ?

— Не смѣй качать! Растирать нужно! Берите его, растирайте! Раздѣвайте скорѣй!

— Ребята, растирать!

Утопленника раздѣваютъ и подъ руководствомъ Этьена начинаютъ растирать. Барыня, не желающая видѣть голаго мужика, отъѣзжаетъ подаль.

— Этьенъ! — стонетъ она. — Этьенъ! Подите сюда! Вы знаете, какъ дѣлается искусственное дыханіе? Нужно переворачивать съ-боку-на-бокъ и давить грудь и животъ.

— Поворачивайте его съ-боку-на-бокъ!— говоритъ Этьенъ, возвращаясь отъ барыни къ толпѣ.—Да животъ ему давите, только полегче.

Писарь, которому послѣ кипучей, энергической дѣятельности становится какъ-то не по себѣ, подходитъ къ утопленнику и тоже принимается растирать.

— Старайтесь, братцы, убѣдительно васъ прошу!—говоритъ онъ.—Убѣдительно васъ прошу!

— Этьенъ! — стонетъ барыня. — Подите сюда! Давайте ему нюхать жженыя перья и щекочите... Велите щекотать! Скорѣй, ради Бога!

Проходитъ пять, десять минутъ... Барыня глядитъ на толпу и видитъ внутри ея сильное движеніе. Слышно, какъ пыхтятъ работающіе мужики и какъ распоряжаются Этьенъ и писарь. Пахнетъ жженными перьями и спиртомъ. Проходитъ еще десять минутъ, а работа все продолжается. Но вотъ, наконецъ, толпа разступается и изъ нея выходитъ красный и вспотѣвшій Этьенъ. За нимъ идетъ Анисимъ.

— Надо было бы съ самаго начала растирать,— говоритъ Этьенъ.—Теперь ужъ ничего не подѣлаешь.

— Гдѣ ужъ тутъ подѣлать, Степанъ Иванычъ!— вздыхаетъ Анисимъ.— Поздно захватили!

— Ну, что?—спрашиваетъ барыня.—Живъ?

— Нѣтъ, померъ, царство ему небесное,—вздыхаетъ А симъ, крестясь. — О ту пору, какъ изъ воды вытащи движимость въ немъ была и глаза раскрывши, а тепер закоченѣлъ весь.

— Какъ жаль!

— Значитъ, планида ему такая, чтобъ не на суш въ водѣ смерть принять. На часокъ бы съ вашей мило

Этьенъ вскакиваетъ на козла, и кучеръ, оглянувшись толпу, которая сторонится отъ мертваго тѣла, бьетъ по шадямъ. Коляска катитъ дальше.

# ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА.

Купе перваго класса.

На диванѣ, обитомъ малиновымъ бархатомъ, полулежитъ хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый вѣеръ трещитъ въ ея судорожно сжатой рукѣ, pince-nez то и дѣло спадаетъ съ ея хорошенькаго носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волнъ. Она взволнована... Противъ нея на диванчикѣ сидитъ губернаторскій чиновникъ особыхъ порученій, молодой начинающій писатель, помѣщающій въ губернскихъ вѣдомостяхъ небольшіе разсказы или, какъ самъ онъ называетъ, «новэллы»— изъ великосвѣтской жизни... Онъ глядитъ ей въ лицо, глядитъ въ упоръ, съ видомъ знатока. Онъ наблюдаетъ, изучаетъ, улавливаетъ эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимаетъ ее, постигаетъ... Душа ея, вся ея психологія у него какъ на ладони.

— О, я постигаю васъ! — говоритъ чиновникъ особыхъ порученій, цѣлуя ея руку около браслета.— Ваша чуткая, отзывчивая душа ищетъ выхода изъ лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете побѣдительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемаръ! — говоритъ дамочка, грустно улыбаясь.— Жизнь моя такъ полна, такъ разнообразна, такъ пестра... Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусѣ Достоевскаго... Покажите міру мою душу, Вольдемаръ, покажите эту бѣдную душу! Вы — психологъ.

Не прошло и часа, какъ мы сидимъ въ купе и говоримъ, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю васъ, говорите!

— Слушайте. Родилась я въ бѣдной чиновничьей семьѣ. Отецъ добрый малый, умный, но... духъ времени и среды... vous comprenez, я не виню моего бѣднаго отца. Онъ пилъ, игралъ въ карты... бралъ взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусокъ хлѣба, сознаніе ничтожества... Ахъ, не заставляйте меня вспоминать! Мнѣ нужно было самой пробивать себѣ путь... Уродливое институтское воспитаніе, чтеніе глупыхъ романовъ, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнѣнія? А муки зарождающагося невѣрія въ жизнь, въ себя?.. Ахъ! Вы писатель и знаете насъ, женщинъ. Вы поймете... Къ несчастью, я надѣлена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человѣкомъ! Да! Быть человѣкомъ—въ этомъ я видѣла свое счастье!

— Чудная!—лепечетъ писатель, цѣлуя руку около браслета.—Не васъ цѣлую, дивная, а страданіе человѣческое! Помните Раскольникова? Онъ такъ цѣловалъ.

— О, Вольдемаръ! Мнѣ нужна была слава... шумъ, блескъ, какъ для всякой—къ чему скромничать?—недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновеннаго... не женскаго! И вотъ... И вотъ... подвернулся на моемъ пути богатый старикъ-генералъ... Поймите меня, Вольдемаръ! Вѣдь это было самопожертвованіе, самоотреченіе, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, дѣлать добро... А какъ я страдала, какъ невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятія этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, въ свое время онъ храбро сражался. Бывали минуты... ужасныя минуты! Но меня подкрѣпляла мысль, что старикъ не сегодня—завтра умретъ, что я стану жить, какъ хотѣла, отдамся любимому человѣку, буду счастлива... А у меня есть такой человѣкъ. Вольдемаръ! Видитъ Богъ, есть!

Дамочка усиленно машетъ вѣеромъ. Лицо ея принимаетъ плачущее выраженіе.

— Но вотъ старикъ умеръ... Мнѣ онъ оставилъ кое-что, я свободна, какъ птица. Теперь-то и жить мнѣ счастливо... Не правда ли, Вольдемаръ? Счастье стучится ко мнѣ въ окно. Стоитъ только впустить его, но... нѣтъ! Вольдемаръ,

слушайте, заклинаю васъ! Теперь-то и отдаться любимому человѣку, сдѣлаться его подругой, помощницей, носительницей его идеаловъ, быть счастливой... отдохнуть... Но какъ все пошло, гадко и глупо на этомъ свѣтѣ! Какъ все подло, Вольдемаръ! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моемъ пути опять стоитъ препятствіе! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ахъ, сколько мукъ, если бъ вы знали! Сколько мукъ!

— Но что же? Что стало на вашемъ пути? Умоляю васъ, говорите! Что же?

— Другой богатый старикъ...

Изломанный вѣеръ закрываетъ хорошенькое личико. Писатель подпираетъ кулакомъ свою многодумную голову, вздыхаетъ и съ видомъ знатока-психолога задумывается. Локомотивъ свищетъ и шикаетъ, краснѣютъ отъ заходящаго солнца оконныя занавѣсочки...

# Оглавленіе

## I ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Въ банѣ. . . . . | 5 |
| Сирена. . . . . | 13 |
| Толстый и тонкій . . . . | 19 |
| Женское счастье . . . . | 21 |
| Альбомъ . . . . . | 25 |
| Случай съ классикомъ . . | 28 |
| Страшная ночь . . . . . | 31 |
| Чтеніе . . . . . | 38 |
| Въ потемкахъ . . . . | 42 |
| Аптекарша . . . . . | 47 |
| Ораторъ . . . . . | 53 |
| Романъ съ контрабасомъ . | 57 |
| Бракъ по разсчету. (Романъ въ 2-хъ частяхъ.) . . . | 63 |
| Ночь передъ судомъ. (Разсказъ подсудимаго). . . | 68 |
| Дачники . . . . . | 74 |
| Броженіе умовъ. (Изъ лѣтописи одного города.) . . | 76 |
| Сонная одурь . . . . . | 80 |
| Тайна . . . . . | 84 |
| Мститель . . . . . | 89 |
| Заблудшіе . . . . . | 94 |
| Репетиторъ . . . . . | 98 |
| Симулянты . . . . . | 101 |
| Господа обыватели. (Пьеса въ двухъ дѣйствіяхъ.). . | 105 |
| Отецъ семейства . . . . | 109 |
| Неудача . . . . . | 113 |
| Экзаменъ на чинъ . . . . | 115 |
| Счастливчикъ. . . . . | |
| Средство отъ запоя . . . | |
| Житейскія невзгоды . . . | |
| Дорогая собака . . . . . | |
| Не въ духѣ . . . . . | |
| Надлежащія мѣры. . . . | |
| Первый любовникъ . . . | |
| Хорошій конецъ. . . . | |
| Много бумаги. (Архивное изысканіе.). . . . . | |
| Справка . . . . . | |
| Знакомый мужчина. . . . | |
| Изъ дневника помощника бухгалтера . . . . . | |
| Злой мальчикъ . . . . . | |
| То была она! . . . . . | |
| Интриги . . . . . | |
| Въ почтовомъ отдѣленіи. . | |
| Мужъ . . . . . | |
| Въ номерахъ. . . . . | |
| Гриша . . . . . | |
| Необыкновенный . . . . | |
| Левъ и солнце . . . . . | |
| Антрепренеръ подъ диваномъ. (Закулисная исторія.) . . . . . | |
| Жалобная книга. . . . . | |
| Лишніе люди. . . . . | |
| Скорая помощь. . . . . | |
| Загадочная натура. . . . | |

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

**Изъ записокъ вспыльчиваго человѣка.**—Тссс!..—Месть.—Длинный языкъ.—Нервы.—**Кривое зеркало.**—На кладбищѣ.—Сапоги.—Радость.—Умный дворникъ.—Въ цирульнѣ.—Сапожникъ и нечистая сила.—Мальчики.—Иванъ Матвѣичъ.—Беззащитное существо.—Дамы.—Полинька.—Приданое.—Свадьба.—Темнота.—Мыслитель.—Дочь Альбіона.—На чужбинѣ.—Кухарка женится.—Шило въ мѣшкѣ.—Драма.—Произведеніе искусства.—Орденъ.—Смерть чиновника.—Канитель.—Хирургія.—Винтъ.—Капитанскій мундиръ.—Живая хронологія.—Восклицательный знакъ.—Ну, публика!—Пересолилъ.—Налимъ.—Хамелеонъ.—Клевета.—Шведская спичка.—Художество.—Упразднили!

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# РАЗСКАЗЫ.

# Изъ записокъ вспыльчиваго человѣка.

Я человѣкъ серьезный, и мой мозгъ имѣетъ направленіе философское. По профессіи я финансистъ, изучаю финансовое право и пишу диссертацію подъ заглавіемъ: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Согласитесь, что мнѣ рѣшительно нѣтъ никакого дѣла до дѣвицъ, романсовъ, луны и прочихъ глупостей.

Утро. Десять часовъ. Моя maman наливаетъ мнѣ стаканъ кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончикъ, чтобы тотчасъ же приняться за диссертацію. Беру чистый листъ бумаги, макаю перо въ чернила и вывожу заглавіе: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Немного подумавъ, пишу: «Историческій обзоръ. Судя по нѣкоторымъ намекамъ, имѣющимся у Геродота и Ксенофонта, собачій налогъ ведетъ свое начало отъ...»

Но тутъ слышу въ высшей степени подозрительные шаги. Гляжу съ балкончика внизъ и вижу дѣвицу съ длиннымъ лицомъ и съ длинной таліей. Зовутъ ее, кажется, Наденька, или Варенька, что, впрочемъ, рѣшительно все равно. Она что-то ищетъ, дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ меня, и напѣваетъ:

«Помнишь ли ты тотъ напѣвъ, нѣги полный...»

Я прочитываю то, что написалъ, хочу продолжать, но тутъ дѣвица дѣлаетъ видъ, что замѣтила меня, и говоритъ печальнымъ голосомъ:

— Здравствуйте, Николай Андреичъ! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла больбошку съ браслета.

Перечитываю еще разъ начало своей диссертаціи, поправляю хвостикъ у буквы «б» и хочу продолжать, но дѣвица не унимается.

— Николай Андреичъ,—говоритъ она:—будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиныхъ такая громадная собака, что я не рѣшаюсь идти одна.

Дѣлать нечего, кладу перо и схожу внизъ. Наденька, или Варенька, беретъ меня подъ руку, и мы направляемся къ ея дачѣ.

Когда на мою долю выпадаетъ обязанность ходить подъ руку съ дамой или дѣвицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючкомъ, на который повѣсили большую шубу; Наденька же; или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дѣдъ ея былъ армянинъ), обладаетъ способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тѣла и, какъ піявка, прижиматься къ боку. И такъ мы идемъ... Проходя мимо Карелиныхъ, я вижу большую собаку, которая напоминаетъ мнѣ о собачьемъ налогѣ. Я съ тоской вспоминаю о начатомъ трудѣ и вздыхаю.

— О чемъ вы вздыхаете?—спрашиваетъ Наденька, или Варенька, и испускаетъ сама вздохъ.

Тутъ я долженъ сдѣлать оговорку. Наденька, или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовутъ, кажется, Машенькой) откуда-то вообразила, что я въ нее влюбленъ, а потому считаетъ долгомъ человѣколюбія всегда глядѣть на меня съ состраданіемъ и лѣчить словесно мою душевную рану.

— Послушайте,—говоритъ она, останавливаясь:—я знаю, отчего вы вздыхаете. — Вы любите, да! Но прошу васъ именемъ нашей дружбы, вѣрьте, та дѣвушка, которую вы любите, глубоко уважаетъ васъ! За вашу любовь она не можетъ платить вамъ тѣмъ же, но виновата ли она, что сердце ея давно уже принадлежитъ другому?

Носъ Машеньки краснѣетъ и пухнетъ, глаза наливаются слезами; она, повидимому, ждетъ отъ меня отвѣта, но, къ счастью, мы уже пришли... На террасѣ сидитъ Машенькина maman, женщина добрая, но съ предразсудками; взглянувъ на взволнованное лицо дочери, она останавливаетъ на мнѣ долгій взглядъ и вздыхаетъ, какъ бы желая сказать: — «Ахъ, молодежь, даже скрыть не умѣете!» Кромѣ нея на террасѣ сидятъ нѣсколько разноцвѣтныхъ дѣвицъ

и между ними мой сосѣдъ по дачѣ, отставной офицеръ, раненый въ послѣднюю войну въ лѣвый високъ и въ правое бедро. Этотъ несчастный, подобно мнѣ, задался цѣлью посвятить это лѣто литературному труду. Онъ пишетъ «Мемуары военнаго человѣка». Подобно мнѣ, онъ каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успѣетъ написать: «Я родился въ ...», какъ подъ балкончикъ является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый рабъ Божій берется подъ стражу.

Всѣ сидящія на террасѣ чистятъ для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцвѣтныя дѣвицы съ визгомъ хватаютъ мою шляпу и требуютъ, чтобы я остался. Я сажусь. Мнѣ подаютъ тарелку съ ягодой и шпильку. Начинаю чистить.

Разноцвѣтныя дѣвицы говорятъ на тему о мужчинахъ. Такой-то хорошенькій, такой-то красивъ, но не симпатиченъ, третій некрасивъ, но симпатиченъ, четвертый былъ бы недуренъ, если бы его носъ не походилъ на наперстокъ и т. д.

— А вы, m-r Nicolas,—обращается ко мнѣ Варенькина maman: — некрасивы, но симпатичны... Въ вашемъ лицѣ что-то есть... Впрочемъ, — вздыхаетъ она: — въ мужчинѣ главное не красота, а умъ...

Дѣвицы вздыхаютъ и потупляютъ взоры... Онѣ тоже согласны, что въ мужчинѣ главное не красота, а умъ. Я косо поглядываю на себя въ зеркало, чтобы убѣдиться, насколько я симпатиченъ. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щекахъ, волосы подъ глазами — цѣлая роща, изъ которой на манеръ каланчи выглядываетъ мой солидный носъ. Хорошъ, нечего сказать!

— Впрочемъ, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами,—вздыхаетъ Наденькина maman, какъ бы подкрѣпляя какую-то свою тайную мысль.

А Наденька страдаетъ за меня, но въ то же время сознаніе, что противъ сидитъ влюбленный въ нее человѣкъ, доставляетъ ей, повидимому, величайшее наслажденіе. Покончивъ съ мужчинами, дѣвицы говорятъ о любви. Послѣ длиннаго разговора о любви, одна изъ дѣвицъ встаетъ и уходитъ. Оставшіяся начинаютъ перемывать косточки ушедшей. Всѣ находятъ, что она глупа, несносна, безобразна, что у нея лопатка не на мѣстѣ.

Но вотъ, слава Богу, идетъ, наконецъ, горничная, посланная моею maman, и зоветъ меня обѣдать. Теперь я могу оставить непріятное общество и идти продолжать свою диссертацію. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина maman, сама Варенька и разноцвѣтныя дѣвицы окружаютъ меня и заявляютъ, что я не имѣю никакого права уходить, такъ какъ далъ имъ вчера честное слово обѣдать съ ними, а послѣ обѣда идти въ лѣсъ за грибами. Кланяюсь и сажусь... Въ душѣ моей кипитъ ненависть, я чувствую, что еще минута и—я за себя не ручаюсь, произойдетъ взрывъ, но деликатность и боязнь нарушить хорошій тонъ заставляютъ меня повиноваться дамамъ. И я повинуюсь.

Садимся обѣдать. Раненый офицеръ, у котораго отъ раны въ вискъ образовалось сведеніе челюстей, ѣстъ съ такимъ видомъ, какъ будто бы онъ зануздант и имѣетъ во рту удила. Я катаю шарики изъ хлѣба, думаю о собачьемъ налогѣ и, зная свой вспыльчивый характеръ, стараюсь молчать. Наденька глядитъ на меня съ состраданіемъ. Окрошка, языкъ съ горошкомъ, жареная курица и компотъ. Аппетита нѣтъ, но я изъ деликатности ѣмъ. Послѣ обѣда, когда я одинъ стою на террасѣ и курю, ко мнѣ подходитъ Машенькина maman, сжимаетъ мои руки и говоритъ задыхаясь:

— Но вы не отчаявайтесь, Nicolas... Это такое сердце... такое сердце!

Идемъ въ лѣсъ по грибы... Варенька виснетъ на моей рукѣ и присасывается къ боку. Страдаю невыносимо, но терплю.

Входимъ въ лѣсъ.

— Послушайте, m-r Nicolas,—вздыхаетъ Наденька:—отчего вы такъ грустны? Отчего вы молчите?

Странная дѣвушка: о чемъ же я могу говорить съ ней? Что у насъ общаго?

— Ну, скажите что-нибудь...—проситъ она.

Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ея пониманію. Подумавъ, говорю:

— Лѣсоистребленіе приноситъ громадный вредъ Россіи...

— Nicolas!—вздыхаетъ Варенька, и носъ ея краснѣетъ.—Nicolas, я вижу, вы избѣгаете откровеннаго разговора... Вы какъ будто желаете казнить своимъ молчаніемъ... Вамъ не отвѣчаютъ на ваше чувство и вы хотите страдать

молча, въ одиночку... это ужасно, Nicolas! — восклицаетъ она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, какъ ея носъ начинаетъ пухнуть.—Что бы вы сказали, если бы та дѣвушка, которую вы любите, предложила вамъ вѣчную дружбу?

Я бормочу что-то несвязное, потому что рѣшительно не знаю, что сказать ей... Помилуйте: во-первыхъ, никакой дѣвушки я не люблю и, во-вторыхъ, для чего бы мнѣ могла понадобиться вѣчная дружба? Въ-третьихъ, я очень вспыльчивъ. Машенька, или Варенька, закрываетъ лицо руками и говоритъ вполголоса, какъ бы про себя:

— Онъ молчитъ... Очевидно, онъ хочетъ жертвы съ моей стороны. Не могу же я любить его, если я все еще люблю другого! Впрочемъ... я подумаю... Хорошо, я подумаю... Я соберу всѣ силы моей души и, быть-можетъ, цѣною своего счастья спасу этого человѣка отъ страданій!

Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идемъ дальше и собираемъ грибы. Все время молчимъ. На лицѣ у Наденьки выраженіе душевной борьбы. Слышенъ лай собакъ: это мнѣ напоминаетъ о моей диссертаціи, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьевъ я вижу раненаго офицера. Бѣдняга мучительно хромаетъ направо и налѣво: справа у него раненое бедро, слѣва виситъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ. Лицо выражаетъ покорность судьбѣ.

Изъ лѣса идемъ обратно на дачу пить чай, затѣмъ играемъ въ крокетъ и слушаемъ, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ поетъ романсъ: «Нѣтъ, не любишь ты! Нѣтъ! Нѣтъ!..» При словѣ «нѣтъ» она кривитъ ротъ до самаго уха.

— Charmant!—стонутъ остальныя дѣвицы.—Charmant!

Наступаетъ вечеръ. Изъ-за кустовъ выползаетъ отвратительная луна. Въ воздухѣ тишина и непріятно пахнетъ свѣжимъ сѣномъ. Беру шляпу и хочу уходить.

— Мнѣ нужно вамъ сообщить кое-что, — значительно шепчетъ мнѣ Машенька.—Не уходите.

Предчувствую что-то недоброе, но изъ деликатности остаюсь. Машенька беретъ меня подъ руку и ведетъ куда-то по аллеѣ. Теперь ужъ вся фигура ея выражаетъ борьбу. Она блѣдна, тяжело дышитъ и, кажется, намѣрена оторвать у меня правую руку. Что съ ней?

— Послушайте... — бормочетъ она. — Нѣтъ, не могу... Нѣтъ...

Она хочетъ что-то сказать, но колеблется. Но вотъ по лицу ея я вижу, что она рѣшилась. Сверкнувъ глазами, съ опухшимъ носомъ, она хватаетъ меня за руку и говоритъ быстро:

— Nicolas, я ваша! Любить васъ не могу, но обѣщаю вамъ вѣрность!

Затѣмъ она прижимается къ моей груди и вдругъ отскакиваетъ.

— Кто-то идетъ...—шепчетъ она.—Прощай... Завтра въ 11 часовъ буду въ бесѣдкѣ... Прощай!

И она исчезаетъ. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебіеніе, я иду къ себѣ домой. Меня ждетъ «Прошедшее и будущее собачьяго налога», но работать я уже не могу. Я взбѣшенъ. Можно даже сказать, я ужасенъ. Чортъ возьми, я не позволю обращаться со мной, какъ съ мальчишкой! Я вспыльчивъ и шутить со мной опасно! Когда входитъ ко мнѣ горничная звать меня къ ужину, я кричу ей: «Подите вонъ!» Такая вспыльчивость обѣщаетъ мало хорошаго.

На другой день утромъ. Погода дачная, т. е. температура ниже нуля, рѣзкій, холодный вѣтеръ, дождь, грязь и запахъ нафталина, потому что моя maman повынимала изъ сундука свои салопы. Чертовское утро. Это какъ разъ 7-е августа 1887 года, когда было затменіе солнца. Надо вамъ замѣтить, что во время затменія каждый изъ насъ можетъ принести громадную пользу, не будучи астрономомъ. Такъ, каждый изъ насъ можетъ: 1) опредѣлить діаметръ солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измѣрить температуру, 4) наблюдать въ моментъ затменія животныхъ и растенія, 5) записать собственныя впечатлѣнія и т. д. Это такъ важно, что я пока оставилъ въ сторонѣ «Прошедшее и будущее собачьяго налога» и рѣшилъ наблюдать затменіе. Всѣ мы встали очень рано. Весь предстоящій трудъ я подѣлилъ такъ: я опредѣлю діаметръ солнца и луны, раненый офицеръ нарисуетъ корону, все же остальное возьмутъ на себя Машенька и разноцвѣтныя дѣвицы. Вотъ всѣ мы собрались и ждемъ.

— Отчего бываетъ затменіе?— спрашиваетъ Машенька.

Я отвѣчаю:

— Солнечныя затменія происходятъ въ томъ случаѣ,

когда луна, обращаясь въ плоскости эклиптики, помѣщается на линіи, соединяющей центры солнца и земли?

— А что значитъ эклиптика?

Я объясняю. Машенька, внимательно выслушавъ, спрашиваетъ:

— Можно ли сквозь копченое стекло увидѣть линію, соединяющую центры солнца и земли?

Я отвѣчаю ей, что эта линія проводится умственно.

— Если она умственная,—недоумѣваетъ Варенька:— то какъ же на ней можетъ помѣститься луна?

Не отвѣчаю. Я чувствую, какъ отъ этого наивнаго вопроса начинаетъ увеличиваться моя печень.

— Все это вздоръ,—говоритъ Варенькина maman.—Нельзя знать того, что будетъ, и къ тому же вы ни разу не были на небѣ, почему же вы знаете, что будетъ съ луной и солнцемъ? Все это фантазіи.

Но вотъ черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятеніе. Коровы, овцы и лошади, задравъ хвосты и ревя, въ страхѣ носились по полю. Собаки выли. Клопы, вообразивъ, что настала ночь, вылѣзли изъ щелей и начали кусать тѣхъ, кто спалъ. Дьяконъ, который въ это время везъ къ себѣ изъ огорода огурцы, ужаснувшись, выскочилъ изъ телѣги и спрятался подъ мостъ, а его лошадь въѣхала съ телѣгой въ чужой дворъ, гдѣ огурцы были съѣдены свиньями. Акцизный, ночевавшій не дома, а у одной дачницы, выскочилъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и, вбѣжавъ въ толпу, закричалъ дикимъ голосомъ:

— Спасайся, кто можетъ!

Многія дачницы, даже молодыя и красивыя, разбуженныя шумомъ, выскочили на улицу, не надѣвъ башмаковъ. Произошло еще много такого, чего я не рѣшусь разсказать.

— Ахъ, какъ страшно! — визжатъ разноцвѣтныя дѣвицы.—Ахъ! Это ужасно!

— Mesdames, наблюдайте!—кричу я имъ.—Время дорого!

А самъ я тороплюсь, измѣряю діаметръ... Вспоминаю о коронѣ и ищу глазами раненаго офицера. Онъ стоитъ и ничего не дѣлаетъ.

— Что же вы?—кричу я.—А корона?

Онъ пожимаетъ плечами и безпомощно указываетъ мнѣ глазами на свои руки. У бѣдняги на обѣ руки нависли разноцвѣтныя дѣвицы, жмутся къ нему отъ страха и мѣ-

шаютъ работать. Беру карандашъ и записываю время съ секундами. Это важно. Записываю географическое положеніе наблюдательнаго пункта. Это тоже важно. Хочу опредѣлить діаметръ, но въ это время Машенька беретъ меня за руку и говоритъ:

— Не забудьте же, сегодня въ одиннадцать часовъ!

Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюденія, но Варенька судорожно беретъ меня подъ руку и прижимается къ моему боку. Карандашъ, стекла, чертежи—все это валится на траву. Чортъ знаетъ что! Пора же, наконецъ, понять этой дѣвушкѣ, что я вспыльчивъ, что я, вспыливъ, становлюсь бѣшенымъ и тогда не могу за себя ручаться.

Хочу я продолжать, но затменіе уже кончилось!

— Взгляните на меня!—шепчетъ она нѣжно.

О, это уже верхъ издѣвательства! Согласитесь, что такая игра человѣческимъ терпѣніемъ можетъ кончиться только худомъ. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издѣваться надо мною и, чортъ подери, когда я взбѣшенъ, никому не совѣтую близко подходить ко мнѣ, чортъ возьми совсѣмъ! Я готовъ на все!

Одна изъ дѣвицъ, вѣроятно, замѣтивъ по моему лицу, что я взбѣшенъ, говоритъ, очевидно, съ той цѣлью, чтобы успокоить меня:

— А я, Николай Андреевичъ, исполнила ваше порученіе. Я наблюдала млекопитающихъ. Я видѣла, какъ передъ затменіемъ сѣрая собака погналась за кошкой и потомъ долго виляла хвостомъ.

Такъ изъ затменія ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончикъ работать. Раненый офицеръ рискнулъ выйти на свой балконъ и даже написалъ: «Я родился въ...», и теперь я вижу въ окно, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ тащитъ его къ себѣ на дачу. Работать я не могу, потому что все еще взбѣшенъ и чувствую сердцебіеніе. Въ бесѣдку я не иду. Это невѣжливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! Въ 12 часовъ получаю письмо отъ Машеньки; въ письмѣ упреки, просьба придти въ бесѣдку и обращеніе на «ты»... Въ часъ получаю другое письмо, въ два третье... Надо идти. Но прежде чѣмъ идти, я долженъ подумать, о чемъ я буду

говорить съ ней. Поступлю, какъ порядочный человѣкъ. Во-первыхъ, я скажу ей, что она напрасно воображаетъ, что я ее люблю. Впрочемъ, такихъ вещей не говорятъ женщинамъ. Сказать женщинѣ: «Я васъ не люблю»—такъ же неделикатно, какъ сказать писателю: «Вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Варенькѣ свой взглядъ на бракъ. Надѣваю теплое пальто, беру зонтикъ и иду къ бесѣдкѣ. Зная свой вспыльчивый характеръ, боюсь, какъ бы не сказать чего-нибудь лишняго. Постараюсь сдерживать себя.

Въ бесѣдкѣ меня ждутъ. Наденька блѣдна и заплакана. Увидѣвъ меня, она радостно вскрикиваетъ, бросается ко мнѣ на шею и говоритъ:

— Наконецъ-то! Ты играешь моимъ терпѣніемъ. Послушай, я не спала всю ночь... Я все думала. Мнѣ кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то... полюблю тебя...

Я сажусь и начинаю излагать свой взглядъ на бракъ. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности краткимъ, я дѣлаю маленькій историческій обзоръ. Говорю о бракѣ индусовъ и египтянъ, затѣмъ перехожу къ позднѣйшимъ временамъ; нѣсколько мыслей изъ Шопенгауэра. Машенька слушаетъ со вниманіемъ, но вдругъ, по странной непослѣдовательности идей, находитъ нужнымъ прервать меня.

— Nicolas, поцѣлуй меня!—говоритъ она.

Я смущенъ и не знаю, что̀ сказать ей. Она повторяетъ свое требованіе. Дѣлать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь къ ея длинному лицу, причемъ ощущаю то же самое, что чувствовалъ въ дѣтствѣ, когда меня заставили однажды поцѣловать на панихидѣ мою умершую бабушку. Не довольствуясь моимъ поцѣлуемъ, Варенька вскакиваетъ и порывисто обнимаетъ меня. Въ это время въ дверяхъ бесѣдки показывается Машенькина maman... Она дѣлаетъ испуганное лицо, говоритъ кому-то «тссс!» и исчезаетъ, какъ Мефистофель въ трюмѣ.

Смущенный и взбѣшенный, я возвращаюсь къ себѣ на дачу. Дома я застаю Варенькину maman, которая со слезами на глазахъ обнимаетъ мою maman, а моя maman плачетъ и говоритъ:

— Я сама этого желала!

Затѣмъ—какъ вамъ это нравится?—Наденькина maman подходитъ ко мнѣ, обнимаетъ меня и говоритъ:

— Богъ васъ благословитъ! Ты же смотри, люби ее... Помни, что для тебя она приноситъ жертву...

И теперь меня женятъ. Въ то время, какъ я пишу эти строки, надъ моей душой стоятъ шафера и торопятъ меня. Эти люди положительно не знаютъ моего характера! Вѣдь я вспыльчивъ и не могу за себя ручаться! Чортъ возьми, вы увидите, что будетъ дальше! Везти подъ вѣнецъ вспыльчиваго, взбѣшеннаго человѣка — это, по-моему, такъ же неумно, какъ просовывать руку въ клѣтку къ разъяренному тигру. Увидимъ, увидимъ, что будетъ!

. . . . . .

Итакъ, я женатъ. Всѣ меня поздравляютъ, и Варенька все жмется ко мнѣ и говоритъ:

— Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!

И при этомъ у нея пухнетъ носъ.

Узналъ отъ шаферовъ, что раненый офицеръ ловкимъ манеромъ избѣжалъ Гименея. Онъ представилъ разноцвѣтной дѣвицѣ медицинское свидѣтельство, что, благодаря ранѣ въ високъ, онъ умственно ненормаленъ, а потому по закону не имѣетъ права жениться. Идея! Я тоже могъ бы представить свидѣтельство. Мой дядя пилъ запоемъ, другой дядя былъ очень разсѣянъ (однажды вмѣсто шапки надѣлъ себѣ на голову дамскую муфту), тетка много играла на роялѣ и при встрѣчѣ съ мужчинами показывала имъ языкъ. Къ тому же еще мой въ высшей степени вспыльчивый характеръ—очень подозрительный симптомъ. Но почему хорошія идеи приходятъ такъ поздно? Почему?

# ТССС!...

Иванъ Егоровичъ Краснухинъ, газетный сотрудникъ средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и какъ-то особенно сосредоточенный. Видъ у него такой, точно онъ ждетъ обыска или замышляетъ самоубійство. Пошагавъ по своей комнатѣ, онъ останавливается, взъерошиваетъ волосы и говоритъ тономъ Лаэрта, собирающагося мстить за свою сестру:

— Разбитъ, утомленъ душой, на сердцѣ гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описалъ того мучительнаго разлада, который происходитъ въ писателѣ, когда онъ грустенъ, но долженъ смѣшить толпу, или когда веселъ, а долженъ по заказу лить слезы? Я долженъ быть игривъ, равнодушно-холоденъ, остроуменъ, но представьте, что меня гнететъ тоска или, положимъ, я боленъ, у меня умираетъ ребенокъ, родитъ жена!

Говоритъ онъ это, потрясая кулакомъ и вращая глазами... Потомъ онъ идетъ въ спальню и будитъ жену.

— Надя,—говоритъ онъ:—я сажусь писать... Пожалуйста, чтобы мнѣ никто не мѣшалъ. Нельзя писать, если ревутъ дѣти, храпятъ кухарки... Распорядись также, чтобы былъ чай и... бивштексъ, что ли... Ты знаешь, я безъ чая не могу писать... Чай—это единственное, что подкрѣпляетъ меня въ работѣ.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ снимаетъ сюртукъ, жилетку и саноги. Разоблачается онъ медленно, затѣмъ, придавъ своему лицу выраженіе оскорбленной невинности, садится за письменный столъ.

На столѣ ничего случайнаго, будничнаго, но все, каждая самомалѣйшая бездѣлушка, носитъ на себѣ характеръ обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великихъ писателей, куча черновыхъ рукописей, томъ Бѣлинскаго съ загнутой страницей, затылочная кость вмѣсто пепельницы, газетный листъ, сложенный небрежно, но такъ, чтобы видно было мѣсто, очерченное синимъ карандашомъ съ крупной надписью на поляхъ: «подло!» Тутъ же съ десятокъ свѣже-очиненныхъ карандашей и ручекъ съ новыми перьями, очевидно положенныхъ для того, чтобы внѣшнія причины и случайности, въ родѣ порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободнаго, творческаго полета...

Краснухинъ откидывается на спинку кресла и, закрывъ глаза, погружается въ обдумываніе темы. Ему слышно, какъ жена шлепаетъ туфлями и колетъ лучину для самовара. Она еще не совсѣмъ проснулась, это видно изъ того, что самоварная крышка и ножъ то и дѣло валятся изъ рукъ. Скоро доносится шипѣніе самовара и поджариваемаго мяса. Жена не перестаетъ колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдругъ Краснухинъ вздрагиваетъ, открываетъ испуганно глаза и начинаетъ нюхать воздухъ.

— Боже мой, угаръ!—стонетъ онъ, страдальчески морща лицо. — Угаръ! Эта несносная женщина задалась цѣлью отравить меня! Ну, скажите же, Бога ради, могу ли я писать при такой обстановкѣ?

Онъ бѣжитъ въ кухню и разражается тамъ драматическимъ воплемъ. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочкахъ, приноситъ ему стаканъ чаю, онъ попрежнему сидитъ въ креслѣ, съ закрытыми глазами, и погруженъ въ свою тему. Онъ не шевелится, слегка барабанитъ по лбу двумя пальцами и дѣлаетъ видъ, что не слышитъ присутствія жены... На лицѣ его попрежнему выраженіе оскорбленной невинности.

Какъ дѣвочка, которой подарили дорогой вѣеръ, онъ, прежде чѣмъ написать заглавіе, долго кокетничаетъ передъ

самимъ собой, рисуется, ломается... Онъ сжимаетъ себѣ виски, то корчится и поджимаетъ подъ кресло ноги, точно отъ боли, то томно жмурится, какъ котъ на диванѣ... Наконецъ, не безъ колебанія, протягиваетъ онъ къ чернильницѣ руку и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто подписываетъ смертный приговоръ, дѣлаетъ заглавіе...

— Мама, дай воды!—слышитъ онъ голосъ сына.

— Тссс!—говоритъ мать.—Папа пишетъ! Тссс...

Папа пишетъ быстро-быстро, безъ помарокъ и остановокъ, едва успѣвая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитыхъ писателей глядятъ на его быстро бѣгающее перо, не шевелятся и, кажется, думаютъ: «Эка, братъ, какъ ты насобачился!»

— Тссс!—скрипитъ перо.

— Тссс!—издаютъ писатели, когда вздрагиваютъ вмѣстѣ со столомъ отъ толчка колѣномъ.

Вдругъ Краснухинъ выпрямляется, кладетъ перо и прислушивается... Онъ слышитъ ровный, монотонный шопотъ... Это въ сосѣдней комнатѣ жилецъ, Ѳома Николаевичъ, молится Богу.

— Послушайте!—кричитъ Краснухинъ.—Не угодно ли вамъ потише молиться? Вы мѣшаете мнѣ писать!

— Виноватъ-съ...—робко отвѣчаетъ Ѳома Николаевичъ.

— Тссс!

Исписавъ пять страничекъ, Краснухинъ потягивается и глядитъ на часы.

— Боже, уже три часа!—стонетъ онъ.—Люди спятъ, а я... одинъ я долженъ работать!

Разбитый, утомленный, склонивъ голову на бокъ, онъ идетъ въ спальню, будитъ жену и говоритъ томнымъ голосомъ:

— Надя, дай мнѣ еще чаю! Я... ослабѣлъ!

Пишетъ онъ до четырехъ часовъ, и охотно писалъ бы до шести, если бы не изсякла тема. Кокетничанье и ломанье передъ самимъ собой, передъ неодушевленными предметами, вдали отъ нескромнаго, наблюдающаго ока, деспотизмъ и тиранія надъ маленькимъ муравейникомъ, брошеннымъ судьбою подъ его власть, составляютъ соль и медъ его существованія. И какъ этотъ деспотъ здѣсь, дома, не похожъ на того маленькаго, приниженнаго, безсловеснаго,

бездарнаго человѣчка, котораго мы привыкли видѣть въ редакціяхъ!

— Я такъ утомленъ, что едва ли усну...—говоритъ онъ ложась спать. — Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляетъ не такъ тѣло, какъ душу... Мнѣ бы бромистаго калія принять... Охъ, видитъ Богъ, если бъ не семья, бросилъ бы я эту работу... Писать по заказу! Это ужасно!

Спитъ онъ до двѣнадцати, или до часу дня, спитъ крѣпко и здорово... Ахъ, какъ бы еще онъ спалъ, какіе бы видѣлъ сны, какъ бы развернулся, если бы сталъ извѣстнымъ писателемъ, редакторомъ, или хотя бы издателемъ!

— Онъ всю ночь писалъ!—шепчетъ жена, дѣлая испуганное лицо.—Тссс!

Никто не смѣетъ ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сонъ—святыня, за оскорбленіе которой дорого поплатится виновный!

— Тссс!—носится по квартирѣ.—Тссс!

# МЕСТЬ.

Левъ Саввичъ Турмановъ, дюжинный обыватель, имѣющій капиталецъ, молодую жену и солидную плѣшь, какъ-то игралъ на именинахъ у пріятеля въ винтъ. Послѣ одного хорошаго минуса, когда его въ потъ ударило, онъ вдругъ вспомнилъ, что давно не пилъ водки. Поднявшись, онъ на цыпочкахъ, солидно покачиваясь, пробрался между столовъ, прошелъ черезъ гостиную, гдѣ танцовала молодежь (тутъ онъ снисходительно улыбнулся и отечески похлопалъ по плечу молодого, жидкаго аптекаря), затѣмъ юркнулъ въ маленькую дверь, которая вела въ буфетную. Тутъ, на кругломъ столикѣ, стояли бутылки, графины съ водкой... Около нихъ, среди другой закуски, зеленѣя лукомъ и петрушкой, лежала на тарелкѣ наполовину уже съѣденная селедка. Левъ Саввичъ налилъ себѣ рюмку, пошевелилъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь говорить рѣчь, выпилъ и сдѣлалъ страдальческое лицо, потомъ ткнулъ вилкой въ селедку и... Но тутъ за стѣной послышались голоса.

— Пожалуй, пожалуй... — бойко говорилъ женскій голосъ.—Только когда это будетъ?

«Моя жена,—узналъ Левъ Саввичъ.—Съ кѣмъ это она?»

— Когда хочешь, мой другъ...—отвѣчалъ за стѣной густой, сочный басъ.—Сегодня не совсѣмъ удобно, завтра я цѣлешенькій день занятъ...

«Это Дегтяревъ!—узналъ Турмановъ въ басѣ одного изъ своихъ пріятелей.—И ты, Брутъ, туда же! Неужели и его ужъ подцѣпила? Экая ненасытная, неугомонная баба! Дня не можетъ продышать безъ романа!»

— Да, завтра я занятъ, — продолжалъ басъ. — Если хочешь, напиши мнѣ завтра что-нибудь... Буду радъ и счастливъ... Только намъ слѣдовало бы упорядочить нашу

корреспонденцію. Нужно придумать какой-нибудь фокусъ. Почтой посылать не совсѣмъ удобно. Если я тебѣ напишу, то твой индюкъ можетъ перехватить письмо у почтальона; если ты мнѣ напишешь, то моя половина получитъ безъ меня и навѣрное распечатаетъ.

— Какъ же быть?

— Нужно фокусъ какой-нибудь придумать. Черезъ прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Собакевичъ навѣрное держитъ въ ежовыхъ горничную и лакея... Что, онъ въ карты играетъ?

— Да. Вѣчно, дуралей, проигрываетъ!

— Значитъ, въ любви ему везетъ! — засмѣялся Дегтяревъ.—Вотъ, мамочка, какой фортель я придумалъ... Завтра, ровно въ шесть часовъ вечера, я, возвращаясь изъ конторы, буду проходить черезъ городской садъ, гдѣ мнѣ нужно повидаться со смотрителемъ. Такъ вотъ ты, душа моя, постарайся непремѣнно къ шести часамъ, не позже, положить записочку въ ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоитъ налѣво отъ виноградной бесѣдки...

— Знаю, знаю...

— Это выйдетъ и поэтично, и таинственно, и ново... Не узнаетъ ни твой пузанъ, ни моя благовѣрная. Поняла?

Левъ Саввичъ вышилъ еще одну рюмку и отправился къ игорному столу. Открытіе, которое онъ только-что сдѣлалъ, не поразило его, не удивило и нимало не возмутило. Время, когда онъ возмущался, устраивалъ сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло; онъ махнулъ рукой и теперь смотрѣлъ на романы своей вѣтреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было непріятно. Такія выраженія, какъ индюкъ, Собакевичъ, пузанъ и пр., покоробили его самолюбіе.

«Какая же, однако, каналья этотъ Дегтяревъ! — думалъ онъ, записывая минусы.—Когда встрѣчается на улицѣ, такимъ милымъ другомъ прикидывается, скалитъ зубы и по животу гладитъ, а теперь, поди-ка, какія пули отливаетъ! Въ лицо другомъ величаетъ, а за глаза я у него и индюкъ, и пузанъ»...

Чѣмъ больше онъ погружался въ свои противные минусы, тѣмъ тяжелѣе становилось чувство обиды...

«Молокососъ... — думалъ онъ, сердито ломая мѣлокъ. — Мальчишка... Не хочется только связываться, а то я показалъ бы тебѣ Собакевича!»

За ужиномъ онъ не могъ равнодушно видѣть физіономію Дегтярева, а тотъ, какъ нарочно, неотвязчиво приставалъ къ нему съ вопросами: выигралъ ли онъ? отчего онъ такъ грустенъ? и проч. И даже имѣлъ нахальство, на правахъ добраго знакомаго, громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровьѣ мужа. А супруга, какъ ни въ чемъ не бывало, глядѣла на мужа масляными глазками, весело смѣялась, невинно болтала, такъ что самъ чортъ не заподозрилъ бы ее въ невѣрности.

Возвратясь домой, Левъ Саввичъ чувствовалъ себя злымъ и неудовлетвореннымъ, точно онъ вмѣсто телятины съѣлъ за ужиномъ старую калошу. Быть-можетъ, онъ пересилилъ бы себя и забылся, но болтовня супруги и ея улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка. гуся, пузана...

«По щекамъ бы его, подлеца, отхлопать...—думалъ онъ.—Оборвать бы его публично».

И онъ думалъ, что хорошо бы теперь побить Дегтярева, подстрѣлить его на дуэли, какъ воробья... спихнуть съ должности, или положить въ мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее—дохлую крысу, напримѣръ... Недурно бы женино письмо заранѣе выкрасть изъ вазы, а вмѣсто него положить какіе-нибудь скабрезные стишки съ подписью «твоя Акулька», или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Долго Турмановъ ходилъ по спальной и услаждалъ себя подобными мечтами. Вдругъ онъ остановился и хлопнулъ себя по лбу.

— Нашелъ, браво!—воскликнулъ онъ и даже просіялъ отъ удовольствія.—Это выйдетъ отлично! О-отлично!

Когда уснула его супруга, онъ сѣлъ за столъ и послѣ долгаго раздумья, коверкая свой почеркъ и изобрѣтая грамматическія ошибки, написалъ слѣдующее: «Купцу Дулинову. Милостивый Государь! Если къ шести часамъ вечера сиводня 12-го сентября въ мраморную вазу, что находица въ городскомъ саду налѣво отъ виноградной беседки, не будитъ положено вами двѣсти рублей, то вы будете убиты и ваша галантірейная лавка взлетитъ на воздухъ». Написавъ такое письмо. Левъ Саввичъ подскочилъ отъ восторга.

— Каково придумано, а?—бормоталъ онъ, потирая руки.—Шикарно! Лучшей мести самъ сатана не придумаетъ! Естественно, купчина струситъ и сейчасъ же донесетъ полиціи. а полиція засядетъ къ шести часамъ въ кусты—и цапъ-

царапъ его, голубчика, когда онъ за письмомъ полѣзетъ!.. То-то струситъ! Пока дѣло выяснится, такъ успѣетъ, каналья, и натерпѣться, и насидѣться... Браво!

Левъ Саввичъ прилѣпилъ марку къ письму и самъ снесъ его въ почтовый ящикъ. Уснулъ онъ съ блаженнѣйшей улыбкой и спалъ такъ сладко, какъ давно уже не спалъ. Проснувшись утромъ и вспомнивши свою выдумку, онъ весело замурлыкалъ и даже потрогалъ невѣрную жену за подбородочекъ. Отправляясь на службу и потомъ сидя въ канцеляріи, онъ все время улыбался и воображалъ себѣ ужасъ Дегтярева, когда тотъ попадетъ въ западню...

Въ шестомъ часу онъ не выдержалъ и побѣжалъ въ городской садъ, чтобы воочію полюбоваться отчаяннымъ положеніемъ врага.

«Ага!»—подумалъ онъ, встрѣтивъ городового.

Дойдя до виноградной бесѣдки, онъ сѣлъ подъ кустъ и, устремивъ жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпѣніе его не имѣло предѣловъ.

Ровно въ шесть часовъ показался Дегтяревъ. Молодой человѣкъ былъ, повидимому, въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Цилиндръ его ухарски сидѣлъ на затылкѣ и изъ-за распахнувшагося пальто вмѣстѣ съ жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Онъ насвистывалъ и курилъ сигару...

«Вотъ сейчасъ узнаешь индюка да Собакевича!—злорадствовалъ Турмановъ.—Погоди!»

Дегтяревъ подошелъ къ вазѣ и лѣниво сунулъ въ нее руку... Левъ Саввичъ приподнялся и впился въ него глазами... Молодой человѣкъ вытащилъ изъ вазы небольшой пакетъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и пожалъ плечами, потомъ нерѣшительно распечаталъ, опять пожалъ плечами и изобразилъ на лицѣ своемъ крайнее недоумѣніе; въ пакетѣ были двѣ радужныя бумажки!

Долго осматривалъ Дегтяревъ эти бумажки. Въ концѣ концовъ, не переставая пожимать плечами, онъ сунулъ ихъ въ карманъ и произнесъ:—«Мегсі!»

Несчастный Левъ Саввичъ слышалъ это «mercі». Цѣлый вечеръ потомъ стоялъ онъ противъ лавки Дулинова, грозился на вывѣску кулакомъ и бормоталъ въ негодованіи:

—Трррусъ! Купчишка! Презрѣнный Китъ Китычъ! Трррусъ! Заяцъ толстопузый!..

# ДЛИННЫЙ ЯЗЫКЪ.

Наталья Михайловна, молодая дамочка, пріѣхавшая утромъ изъ Ялты, обѣдала и, неугомонно треща языкомъ, разсказывала мужу о томъ, какія прелести въ Крыму. Мужъ, обрадованный, глядѣлъ съ умиленіемъ на ея восторженное лицо, слушалъ и изрѣдка задавалъ вопросы...

— Но, говорятъ, жизнь тамъ необычайно дорога?—спросилъ онъ между прочимъ.

— Какъ тебѣ сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не такъ страшенъ чортъ, какъ его рисуютъ. Я, напримѣръ, съ Юліей Петровной имѣла очень удобный и приличный номеръ за двадцать рублей въ сутки. Все, дружочекъ мой, зависитъ отъ умѣнья жить. Конечно, если ты захочешь поѣхать куда-нибудь въ горы... напримѣръ, на Ай-Петри... возьмешь лошадь, проводника,—ну, тогда, конечно, дорого. Ужасъ, какъ дорого! Но, Васичка, какія тамъ го-оры! Представь ты себѣ высокія-высокія горы, на тысячу разъ выше, чѣмъ церковь... Наверху туманъ, туманъ, туманъ... Внизу громаднѣйшіе камни, камни, камни... И пиніи... Ахъ, вспомнить не могу!

— Кстати... безъ тебя тутъ я въ какомъ-то журналѣ читалъ про тамошнихъ проводниковъ-татаръ... Такія мерзости! Что, это въ самомъ дѣлѣ какіе-нибудь особенные люди?

Наталья Михайловна сдѣлала презрительную гримаску и мотнула головой.

— Обыкновенные татары, ничего особеннаго...—сказала она.—Впрочемъ, я видѣла ихъ издалека, мелькомъ... Указывали мнѣ на нихъ, но я не обратила вниманія. Всегда,

папочка, я чувствовала предубѣжденіе ко всѣмъ этимъ черкесамъ, грекамъ... маврамъ!..

— Говорятъ, донъ-жуаны страшные.

— Можетъ-быть! Бываютъ мерзавки, которыя...

Наталья Михайловна вдругъ вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядѣла на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:

— Васичка, я тебѣ скажу, какія есть без-нрав-ственны-я! Ахъ, какія безнравственныя! Не то чтобы, знаешь, простыя, или средняго круга, а аристократки, эти надутыя бон-тонши! Просто ужасъ. глазамъ своимъ я не вѣрила! Умру и не забуду! Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы... ахъ, Васичка, я даже и говорить не хочу! Взять хотя бы мою спутницу Юлію Петровну... Такой хорошій мужъ, двое дѣтей... принадлежитъ къ порядочному кругу, корчитъ всегда изъ себя святую и—вдругъ, можешь себѣ представить... Только, папочка, это, конечно, entre nous... Даешь честное слово, что никому не скажешь?

— Ну, вотъ еще выдумала! Разумѣется, не скажу.

— Честное слово? Смотри же! Я тебѣ вѣрю...

Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выраженіе и зашептала:

— Представь ты себѣ такую вещь... Поѣхала эта Юлія Петровна въ горы... Была отличная погода! Впереди ѣдетъ она со своимъ проводникомъ, немножко позади—я. Отъѣхали мы версты три-четыре, вдругъ, понимаешь ты, Васичка, Юлія вскрикиваетъ и хватаетъ себя за грудь. Ея татаринъ хватаетъ ее за талію, иначе бы она съ сѣдла свалилась... Я со своимъ проводникомъ подъѣзжаю къ ней... Что такое? Въ чемъ дѣло? «Охъ, кричитъ, умираю! Дурно! Не могу дальше ѣхать!» Представь мой испугъ! Такъ поѣдемте, говорю, назадъ! — «Нѣтъ, говоритъ, Natalie, не могу я ѣхать назадъ! Если я сдѣлаю еще хоть одинъ шагъ, то умру отъ боли! У меня спазмы!» И проситъ, умоляетъ, ради Бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назадъ въ городъ и привезли ей бестужевскихъ капель, которыя ей помогаютъ.

— Постой... Я тебя не совсѣмъ понимаю...—пробормоталъ мужъ, почесывая лобъ. —Раньше ты говорила, что видѣла этихъ татаръ только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана разсказываешь.

— Ну, ты опять придираешься къ слову!—поморщилась дамочка, нимало не смущаясь.—Терпѣть не могу подозрительности! Терпѣть не могу! Глупо и глупо!

— Я не придираюсь, но... зачѣмъ говорить неправду? Каталась съ татарами, ну, такъ тому и быть, Богъ съ тобой, но... зачѣмъ вилять?

— Гм!.. вотъ странный! — возмутилась дамочка. — Ревнуетъ къ Сулейману! Воображаю, какъ это ты поѣхалъ бы въ горы безъ проводника! Воображаю! Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи. Молчи и молчи! Безъ проводника тамъ шагу нельзя сдѣлать.

— Еще бы!

— Пожалуйста, безъ этихъ глупыхъ улыбокъ! Я тебѣ не Юлія какая-нибудь... Я ея и не оправдываю, но я... пссс! Я хоть и не корчу изъ себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейманъ не выходилъ изъ границъ... Нѣ-ѣтъ! Маметкулъ, бывало, у Юліи все время сидитъ, а у меня какъ только бьетъ одиннадцать часовъ, сейчасъ: «Сулейманъ, маршъ! Уходите!» И мой глупый татарка уходитъ. Онъ у меня, папочка, въ ежовыхъ былъ... Какъ только разворчится насчетъ денегъ или чего-нибудь, я сейчасъ: «Ка-акъ? Что-о? Что-о-о?» Такъ у него вся душа въ пятки... Ха-ха-ха... Глаза, понимаешь, Васичка, черные-пречерные, какъ уголь, морденка татарская, глупая такая, смѣшная... Я его вотъ какъ держала! Вотъ!

— Воображаю...—промычалъ супругъ, катая шарики изъ хлѣба.

— Глупо, Васичка! Я вѣдь знаю, какія у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь... Но, я тебя увѣряю, онъ у меня даже во время прогулокъ не выходилъ изъ границъ. Напримѣръ, ѣдемъ ли въ горы, или къ водопаду У чан-Су, я ему всегда говорю: «Сулейманъ, ѣхать сзади! Ну!» И всегда онъ ѣхалъ сзади, бѣдняжка... Даже во время... въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ я ему говорила: «А все-таки ты не долженъ забывать, что ты только татаринъ, а я жена статскаго совѣтника!» Ха-ха...

Дамочка захохотала, потомъ быстро оглянулась и, сдѣлавъ испуганное лицо, зашептала:

— Но Юлія! Ахъ, эта Юлія! Я понимаю, Васичка, отчего не пошалить, отчего не отдохнуть отъ пустоты свѣтской жизни? Все это можно... шали, сдѣлай милость, никто

тебя не осудитъ, но глядѣть на это серьезно, д
сцены... нѣтъ, какъ хочешь, я этого не понимаю! Вооб
она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды приходи
ней Маметкулъ, ея пассія... Дома ея не было... Ну,
звала его къ себѣ... начались разговоры, то да сё..
знаешь, препотѣшные! Незамѣтно этакъ провели веч
Вдругъ, влетаетъ Юлія... Набрасывается на меня, на
меткула... дѣлаетъ намъ сцену... фи! Я этого не пон
Васичка...

Васичка крякнулъ, нахмурился и заходилъ по ком

— Весело вамъ тамъ жилось, нечего сказать! — пр
чалъ онъ, брезгливо улыбаясь.

— Ну, какъ это глу-упо! — обидѣлась Наталья М
ловна.—Я знаю, о чемъ ты думаешь! Всегда у тебя
гадкія мысли! Не стану же я тебѣ ничего разсказы
Не стану!

Дамочка надула губки и умолкла.

# НЕРВЫ.

Дмитрій Осиповичъ Ваксинъ, архитекторъ, воротился изъ города къ себѣ на дачу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что пережитаго спиритическаго сеанса. Раздѣваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадамъ Ваксина уѣхала къ Троицѣ), Ваксинъ сталъ невольно припоминать все слышанное и видѣнное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечеръ прошелъ въ однихъ только страшныхъ разговорахъ. Какая-то барышня ни съ того, ни съ сего заговорила объ угадываніи мыслей. Съ мыслей незамѣтно перешли къ духамъ, отъ духовъ къ привидѣніямъ, отъ привидѣній къ заживопогребеннымъ... Какой-то господинъ прочелъ страшный разсказъ о мертвецѣ, перевернувшемся въ гробу. Самъ Ваксинъ потребовалъ блюдечко и показалъ барышнямъ, какъ нужно бесѣдовать съ духами. Вызвалъ онъ, между прочимъ, дядю своего Клавдія Мироновича и мысленно спросилъ у него: «Не пора ли мнѣ домъ перевести на имя жены?»—на что дядя отвѣтилъ: «Во благовременіи все хорошо».

«Много таинственнаго и... страшнаго въ природѣ... — размышлялъ Ваксинъ, ложась подъ одѣяло.—Страшны не мертвецы, а эта неизвѣстность»...

Пробило часъ ночи. Ваксинъ повернулся на другой бокъ и выглянулъ изъ-подъ одѣяла на синій огонекъ лампадки. Огонь мелькалъ и еле освѣщалъ кіотъ и большой портретъ дяди Клавдія Мироныча, висѣвшій противъ кровати.

«А что, если въ этомъ полумракѣ явится сейчасъ дядина тѣнь? — мелькнуло въ головѣ Ваксина. — Нѣтъ, это невозможно!»

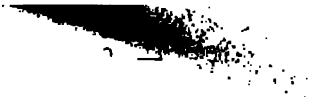
тебя не осудитъ, но глядѣть на это серьезно
сцены... нѣтъ, какъ хочешь, я этого не понимаю! Г
она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды при
ней Маметкулъ, ея пассія... Дома ея не было...
звала его къ себѣ... начались разговоры, то д
знаешь, препотѣшные! Незамѣтно этакъ прове
Вдругъ, влетаетъ Юлія... Набрасывается на м
меткула... дѣлаетъ намъ сцену... фи! Я этого
Васичка...

Васичка крякнулъ, нахмурился и заходилъ

— Весело вамъ тамъ жилось, нечего сказ
чалъ онъ, брезгливо улыбаясь.

— Ну, какъ это глу-упо! — обидѣлась На
ловна.—Я знаю, о чемъ ты думаешь! Всегд
гадкія мысли! Не стану же я тебѣ ничег
Не стану!

Дамочка надула губки и умолкла.



...ской комнатъ...
...кинъ... Я
...май...
...
го
за.
омъ
...улъ,
...вѣчу.
...ксина
...ди ми-

...орѣшилъ
...
...нъ позво-
...онъ, зазво-
...ь холодный,
...стясь, браня
...омъ нижнемъ

...рожащимъ голо-
Карловна! Вы...

...ла тишина...
...у! И къ чему эта...
...сти, если человѣкъ...
...манирлихъ. Въ ваши

...ъ... Не даетъ покой
... баронъ Анцигъ и ба-
...а спишки, я понимай...
...а сказала баронессъ... Я

...лась мнѣ ваша честность?
...нимаете? Я боленъ!
...шій женщинъ, и вы должны
...ный! Я не желай быть ея

Понимаете? Дура!
...къ, сложилъ руки н
... его страхъ. Вернуть

Привидѣнія—предразсудокъ, плодъ умовъ недозрѣлыхъ, но, тѣмъ не менѣе, все-таки Ваксинъ натянулъ на голову одѣяло и плотнѣе закрылъ глаза. Въ воображеніи его промелькнулъ перевернувшійся въ гробу трупъ, заходили образы умершей тещи, одного повѣсившагося товарища, дѣвушки-утопленницы... Ваксинъ сталъ гнать изъ головы мрачныя мысли, но чѣмъ энергичнѣе онъ гналъ, тѣмъ яснѣе становились образы и страшнѣе мысли. Ему стало жутко.

«Чортъ знаетъ что... Боишься, словно маленькій... Глупо!»

«Чикъ... чикъ... чикъ»,—стучали за стѣной часы. Въ сельской церкви на погостѣ зазвонилъ сторожъ. Звонъ былъ медленный, заунывный, за душу тянущій... По затылку и по спинѣ Ваксина пробѣжали холодныя мурашки. Ему показалось, что надъ его головой кто-то тяжело дышитъ, точно дядя вышелъ изъ рамы и склонился надъ племянникомъ... Ваксину стало невыносимо жутко. Онъ стиснулъ отъ страха зубы и притаилъ дыханіе. Наконецъ, когда въ открытое окно влетѣлъ майскій жукъ и загудѣлъ надъ его постелью, онъ не вынесъ и отчаянно дернулъ за сонетку.

— Деметрій Осипычъ, was wollen Sie?—послышался черезъ минуту за дверью голосъ гувернантки.

— Ахъ, это вы, Розалія Карловна?—обрадовался Ваксинъ.—Зачѣмъ вы безпокоитесь? Гаврила могъ бы...

— Хаврилу ви сами въ городъ отпустилъ, а Глафира куда-то съ вечера ушла... Никого нѣтъ дома... Was wollen Sie doch?

— Я, матушка, вотъ что хотѣлъ сказать... Тово... Да вы войдите, не стѣсняйтесь! У меня темно...

Въ спальную вошла толстая, краснощекая Розалія Карловна и остановилась въ ожидательной позѣ.

— Садитесь, матушка... Видите ли, въ чемъ дѣло...—«О чемъ бы ее спросить?»—подумалъ Ваксинъ, косясь на портретъ дяди и чувствуя, какъ душа его постепенно приходитъ въ покойное состояніе.—Я, собственно говоря, вотъ о чемъ хотѣлъ просить васъ... Когда завтра человѣкъ отправится въ городъ, то не забудьте приказать ему, чтобы онъ... тово... зашелъ гильзъ купить... Да вы садитесь!

— Гильзъ? Хорошо! Was wollen Sie noch?

— Ich will... Ничего я не will, но... Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю...

комнату, гдѣ мелькала лампадка и глядѣлъ изъ рамы дядюшка, не хватало силъ, стоять же у дверей гувернантки въ одномъ нижнемъ платьѣ было неудобно во всѣхъ отношеніяхъ. Что было дѣлать? Пробило два часа, а страхъ все еще не проходилъ и не уменьшался. Въ коридорѣ было темно и изъ каждаго угла глядѣло что-то темное. Ваксинъ повернулся лицомъ къ косяку, но тотчасъ же ему показалось, что кто-то слегка дернулъ его сзади за сорочку и тронулъ за плечо...

— Чортъ подери... Розалія Карловна!

Отвѣта не послѣдовало. Ваксинъ нерѣшительно открылъ дверь и заглянулъ въ комнату. Добродѣтельная нѣмка безмятежно спала. Маленькій ночникъ освѣщалъ рельефы ея полновѣснаго, дышащаго здоровьемъ тѣла. Ваксинъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на плетеный сундукъ, стоявшій около двери. Въ присутствіи спящаго, но живого существа, онъ почувствовалъ себя легче.

«Пусть спитъ, нѣмчура...- думалъ онъ.—Посижу у нея, а когда разсвѣтетъ, выйду... Теперь рано свѣтаетъ».

Въ ожиданіи разсвѣта, Ваксинъ прикорнулъ на сундукѣ, подложилъ руку подъ голову и задумался.

«Что значитъ нервы, однако! Человѣкъ развитой, мыслящій, а между тѣмъ... чортъ знаетъ что! Совѣстно даже»...

Скоро, прислушавшись къ тихому, мѣрному дыханію Розаліи Карловны, онъ совсѣмъ успокоился...

Въ шесть часовъ утра жена Ваксина, воротившись отъ Троицы и не найдя мужа въ спальной, отправилась къ гувернанткѣ попросить у нея мелочи, чтобы расплатиться съ извозчикомъ. Войдя къ нѣмкѣ, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись отъ жары, спала Розалія Карловна, а на сажень отъ нея, на плетеномъ сундукѣ, свернувшись калачикомъ, похрапывалъ сномъ праведника ея мужъ. Онъ былъ босъ и въ одномъ нижнемъ. Что сказала жена и какъ глупа была физіономія мужа, когда онъ проснулся, предоставляю изображать другимъ. Я же, въ безсиліи, слагаю оружіе.

# КРИВОЕ ЗЕРКАЛО.

(Святочный разсказъ.)

Я и жена вошли въ гостиную. Тамъ пахло мохомъ и сыростью. Милліоны крысъ и мышей бросились въ стороны, когда мы освѣтили стѣны, не видавшія свѣта въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Когда мы затворили за собой дверь, пахнулъ вѣтеръ и зашевелилъ бумагу, стопами лежавшую въ углахъ. Свѣтъ упалъ на эту бумагу и мы увидѣли старинныя письмена и средневѣковыя изображенія. На позеленѣвшихъ отъ времени стѣнахъ висѣли портреты предковъ. Предки глядѣли надменно, сурово, какъ будто хотѣли сказать:

— Выпороть бы тебя, братецъ!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвѣчало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвѣчало моимъ предкамъ...

А вѣтеръ вылъ и стоналъ. Въ каминной трубѣ кто-то плакалъ, и въ этомъ плачѣ слышалось отчаяніе. Крупныя капли дождя стучали въ темныя, тусклыя окна, и ихъ стукъ наводилъ тоску.

— О, предки, предки! — сказалъ я, вздыхая значительно.— Если бы я былъ писателемъ, то, глядя на портреты, написалъ бы длинный романъ. Вѣдь каждый изъ этихъ старцевъ былъ когда-то молодъ и у каждаго, или у каждой, былъ романъ... и какой романъ! Взгляни, напримѣръ, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имѣетъ свою въ высшей степени интересную повѣсть. Видишь ли ты,— спросилъ я у жены:— видишь ли зеркало, которое виситъ тамъ въ углу?

комнату, гдѣ мелькала лампадка и глядѣлъ изъ рамы ди
дюшка, не хватало силъ, стоять же у дверей гувернантк
въ одномъ нижнемъ платьѣ было неудобно во всѣхъ отно
шеніяхъ. Что было дѣлать? Пробило два часа, а страх
все еще не проходилъ и не уменьшался. Въ коридорѣ был
темно и изъ каждаго угла глядѣло что-то темное. Ваксинъ
повернулся лицомъ къ косяку, но тотчасъ же ему показа
лось, что кто-то слегка дернулъ его сзади за сорочку и
тронулъ за плечо...

— Чортъ подери... Розалія Карловна!

Отвѣта не послѣдовало. Ваксинъ нерѣшительно открылъ
дверь и заглянулъ въ комнату. Добродѣтельная нѣмка без
мятежно спала. Маленькій ночникъ освѣщалъ рельефы ея
полновѣснаго, дышащаго здоровьемъ тѣла. Ваксинъ вошелъ
въ комнату и сѣлъ на плетеный сундукъ, стоявшій около
двери. Въ присутствіи спящаго, но живого существа, онъ
почувствовалъ себя легче.

«Пусть спитъ, нѣмчура...—думалъ онъ.—Посижу у нея
а когда разсвѣтетъ, выйду... Теперь рано свѣтаетъ».

Въ ожиданіи разсвѣта, Ваксинъ прикорнулъ на сундукѣ
подложилъ руку подъ голову и задумался.

«Что значитъ нервы, однако! Человѣкъ развитой, мысля
щій, а между тѣмъ... чортъ знаетъ что! Совѣстно даже».

Скоро, прислушавшись къ тихому, мѣрному дыханію Ро
заліи Карловны, онъ совсѣмъ успокоился...

Въ шесть часовъ утра жена Ваксина, воротившись от
Троицы и не найдя мужа въ спальной, отправилась к
гувернанткѣ попросить у нея мелочи, чтобы расплатиться
съ извозчикомъ. Войдя къ нѣмкѣ, она увидала картин
на кровати, вся раскинувшись отъ жары, спала Розал
Карловна, а на сажень отъ нея, на плетеномъ сундук
свернувшись калачикомъ, похрапывалъ сномъ праведни
ея мужъ. Онъ былъ босъ и въ одномъ нижнемъ. Что ск
зала жена и какъ глупа была физіономія мужа, когда он
проснулся, предоставляю изображать другимъ. Я же, и
безсиліи, слагаю оружіе.

# КРИВОЕ ЗЕРКАЛО.

(Святочный разсказъ.)

Я и жена вошли въ гостиную. Тамъ пахло мохомъ и сыростью. Милліоны крысъ и мышей бросились въ стороны, когда мы освѣтили стѣны, не видавшія свѣта въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Когда мы затворили за собой дверь, пахнулъ вѣтеръ и зашевелилъ бумагу, стопами лежавшую въ углахъ. Свѣтъ упалъ на эту бумагу и мы увидѣли старинныя письмена и средневѣковыя изображенія. На позеленѣвшихъ отъ времени стѣнахъ висѣли портреты предковъ. Предки глядѣли надменно, сурово, какъ будто хотѣли сказать:

— Выпороть бы тебя, братецъ!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвѣчало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвѣчало моимъ предкамъ...

А вѣтеръ вылъ и стоналъ. Въ каминной трубѣ кто-то плакалъ, и въ этомъ плачѣ слышалось отчаяніе. Крупныя капли дождя стучали въ темныя, тусклыя окна, и ихъ стукъ наводилъ тоску.

— О, предки, предки! сказалъ я, вздыхая значительно.— Если бы я былъ писателемъ, то, глядя на портреты, написалъ бы длинный романъ. Вѣдь каждый изъ этихъ старцевъ былъ когда-то молодъ и у каждаго, или у каждой, былъ романъ... и какой романъ! Взгляни, напримѣръ, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая [illegible] имѣетъ свою въ высшей степени интересную по-
[illegible] ли ты,— спросилъ я у жены:— видишь ли
[illegible] тамъ въ углу?

И я указалъ женѣ на большое зеркало въ черной бронзовой оправѣ, висѣвшее въ углу около портрета моей прабабушки.

— Это зеркало обладаетъ волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадныя деньги и не разставалась съ нимъ до самой смерти. Она смотрѣлась въ него дни и ночи, не переставая, смотрѣлась даже, когда пила и ѣла. Ложась спать, она всякій разъ клала его съ собой въ постель и, умирая, просила положить его съ ней вмѣстѣ въ гробъ. Не исполнили ея желанія только потому, что зеркало не влѣзло въ гробъ.

— Она была кокетка?—спросила жена.

— Положимъ. Но развѣ у нея не было другихъ зеркалъ? Почему она такъ полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И развѣ у нея не было зеркалъ получше? Нѣтъ, тутъ, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Преданіе говоритъ, что въ зеркалѣ сидитъ чортъ и что у прабабушки-де была слабость къ чертямъ. Конечно, это вздоръ, но несомнѣнно, что зеркало въ бронзовой оправѣ обладаетъ таинственной силой.

Я смахнулъ съ зеркала пыль, поглядѣлъ въ него и захохоталъ. Хохоту моему глухо отвѣтило эхо. Зеркало было криво и физіономію мою скривило во всѣ стороны: носъ очутился на лѣвой щекѣ, а подбородокъ раздвоился и полѣзъ въ сторону.

— Странный вкусъ у моей прабабушки!—сказалъ я.

Жена нерѣшительно подошла къ зеркалу, тоже взглянула въ него — и тотчасъ же произошло нѣчто ужасное. Она поблѣднѣла, затряслась всѣми членами и вскрикнула. Подсвѣчникъ выпалъ у нея изъ рукъ, покатился по полу и свѣча потухла. Насъ окуталъ мракъ. Тотчасъ же я услышалъ паденіе на полъ чего-то тяжелаго: то упала безъ чувствъ моя жена.

Вѣтеръ застоналъ еще жалобнѣй, забѣгали крысы, въ бумагахъ зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбомъ и зашевелились, когда съ окна сорвалась ставня и полетѣла внизъ. Въ окнѣ показалась луна...

Я схватилъ жену, обнялъ и вынесъ ее изъ жилища предковъ. Очнулась она только на другой день вечеромъ.

— Зеркало! Дайте мнѣ зеркало!—сказала она, приходя въ себя.

—Гдѣ зеркало?

Цѣлую недѣлю потомъ она не пила, не ѣла, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на головѣ, металась, и наконецъ, когда докторъ объявилъ, что она можетъ умереть отъ истощенія и что положеніе ея въ высшей степени опасно, я, пересиливая свой страхъ, опять спустился внизъ и принесъ ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидѣвъ его, она захохотала отъ счастья, потомъ схватила его, поцѣловала и впилась въ него глазами.

И вотъ прошло уже болѣе десяти лѣтъ, а она все еще глядится въ зеркало и не отрывается ни на одно мгновеніе.

— Неужели это я?—шепчетъ она, и на лицѣ ея вмѣстѣ съ румянцемъ вспыхиваетъ выраженіе блаженства и восторга.—Да, это я! Все лжетъ, кромѣ этого зеркала! Лгутъ люди, лжетъ мужъ! О, если бы я раньше увидѣла себя, если бы я знала, какая я на самомъ дѣлѣ, то не вышла бы за этого человѣка! Онъ не достоинъ меня! У ногъ моихъ должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядѣлъ въ зеркало и—открылъ страшную тайну. Въ зеркалѣ я увидѣлъ женщину ослѣпительной красоты, какой я не встрѣчалъ никогда въ жизни. Это было чудо природы, гармонія красоты, изящества и любви. Но въ чемъ же дѣло? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена въ зеркалѣ казалась такой прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во всѣ стороны, и отъ такого перемѣщенія его чертъ оно стало случайно прекраснымъ. Минусъ на минусъ дало плюсъ.

И теперь мы оба, я и жена, сидимъ передъ зеркаломъ и, не отрываясь ни на одну минуту, смотримъ въ него: носъ мой лѣзетъ на лѣвую щеку, подбородокъ раздвоился и сдвинулся въ сторону, но лицо жены очаровательно — и бѣшеная, безумная страсть овладѣваетъ мною.

— Ха-ха-ха!—дико хохочу я.

А жена шепчетъ едва слышно:

— Какъ я прекрасна!

# НА КЛАДБИЩѢ.

.Гдѣ теперь его кляузы, ябедничество, крючки, взятки?»

*Гамлетъ.*

— Господа, вѣтеръ поднялся, и уже начинаетъ темнѣть. Не убраться ли намъ по добру, по здорову?

Вѣтеръ прогулялся по желтой листвѣ старыхъ березъ, и съ листьевъ посыпался на насъ градъ крупныхъ капель. Одинъ изъ нашихъ поскользнулся на глинистой почвѣ и, чтобы не упасть, ухватился за большой сѣрый крестъ.

— «Титулярный совѣтникъ и кавалеръ Егоръ Грязноруковъ...»—прочелъ онъ.—Я зналъ этого господина... Любилъ жену, носилъ Станислава, ничего не читалъ... Желудокъ его варилъ исправно... Чѣмъ не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но—увы!—случай стерегъ его... Бѣдняга палъ жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получилъ такой ударъ двери въ голову, что схватилъ сотрясеніе мозга (у него былъ мозгъ) и умеръ... А вотъ подъ этимъ памятникомъ лежитъ человѣкъ, съ пеленокъ ненавидѣвшій стихи, эпиграммы... Словно въ насмѣшку, весь его памятникъ испещренъ стихами... Кто-то идетъ!

Съ нами поровнялся человѣкъ въ поношенномъ пальто и съ бритой, синевато-багровой физіономіей. Подъ мышкой у него былъ полуштофъ, изъ кармана торчалъ свертокъ съ колбасой.

— Гдѣ здѣсь могила актера Мушкина? — спросилъ онъ насъ хриплымъ голосомъ.

Мы повели его къ могилѣ актера Мушкина, умершаго года два назадъ.

— Чиновникъ будете?—спросили мы у него.

— Нѣтъ-съ, актеръ... Нынче актера трудно отличить отъ консисторскаго чиновника. Вы это вѣрно замѣтили... Характерно, хотя для чиновника и не совсѣмъ лестно-съ.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевеломъ и утеряла образъ могилы... Маленькій дешевый крестикъ, похилившійся и поросшій зеленымъ, почернѣвшимъ отъ холода мохомъ, смотрѣлъ старчески-уныло и словно хворалъ.

— «забвенному другу Мушкину»...—прочли мы.

Время стерло частицу *не* и исправило человѣческую ложь.

— Актеры и газетчики собрали ему на памятникъ и... пропили, голубчики...—вздохнулъ актеръ, кладя земной поклонъ и касаясь колѣнами и шапкой мокрой земли.

— То-есть, какъ же пропили?

— Очень просто. Собрали деньги, напечатали объ этомъ въ газетахъ и пропили... Это я не для осужденія говорю, а такъ... На здоровье, ангелы! Вамъ на здоровье, а ему память вѣчная.

— Отъ пропивки плохое здоровье, а память вѣчная — одна грусть. Дай Богъ временную память, а насчетъ вѣчной—что ужъ!

— Это вы вѣрно-съ. Извѣстный вѣдь былъ Мушкинъ. вѣковъ за гробомъ штукъ десять несли, а ужъ забыли! Кому любъ онъ былъ, тѣ его забыли, а кому зло сдѣлалъ, тѣ помнятъ. Я, напримѣръ, его во-вѣки-вѣковъ не забуду, потому, кромѣ зла, ничего отъ него не видѣлъ. Не люблю покойника.

— Какое же онъ вамъ зло сдѣлалъ?

— Зло великое,—вздохнулъ актеръ, и по лицу его разлилось выраженіе горькой обиды. — Злодѣй онъ былъ для меня и разбойникъ, царство ему небесное. На него глядючи и его слушаючи, я въ актеры поступилъ. Выманилъ онъ меня своимъ искусствомъ изъ дома родительскаго, прельстилъ суетой артистической, много обѣщалъ, а далъ слезы и горе... Горька доля актерская! Потерялъ я и молодость, и трезвость, и образъ Божій... За душой ни гроша, каблуки кривые, на штанахъ бахрома и шахматы, ликъ словно собаками изгрызенъ... Въ головѣ свободомысліе и неразуміе...

Отнялъ онъ у меня и вѣру, злодѣй мой! Добро бы тал былъ, а то такъ, ни за грошъ пропалъ... Холодно, го почтенные... Не желаете ли? На всѣхъ хватитъ... Б Вышьемъ за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мер онъ, а одинъ онъ у меня на свѣтѣ, одинъ, какъ пе Въ послѣдній разъ съ нимъ вижусь... Доктора сказали скоро отъ пьянства помру, такъ вотъ пришелъ прости Враговъ прощать надо.

Мы оставили актера бесѣдовать съ мертвымъ Му нымъ и пошли далѣе. Заморосилъ мелкій холодный д

При поворотѣ на главную аллею, усыпанную щеб мы встрѣтили похоронную процессію. Четыре носиль въ бѣлыхъ коленкоровыхъ поясахъ и въ грязныхъ гахъ, облѣпленныхъ листвой, несли коричневый гробъ. С вилось темно, и они спѣшили, спотыкаясь и покачива силками...

— Гуляемъ мы здѣсь только два часа, а при нас третьяго несутъ... По домамъ, господа?

# САПОГИ.

Фортепіанный настройщикъ Муркинъ, бритый человѣкъ съ желтымъ лицомъ, табачнымъ носомъ и съ ватой въ ушахъ, вышелъ изъ своего номера въ коридоръ и дребезжащимъ голосомъ прокричалъ:

— Семенъ! Коридорный!

И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка, или что онъ только-что у себя въ номерѣ увидѣлъ привидѣніе.

— Помилуй, Семенъ!—закричалъ онъ, увидѣвъ бѣгущаго къ нему коридорнаго.—Что же это такое? Я человѣкъ ревматическій, болѣзненный, а ты заставляешь меня выходить босикомъ! Отчего ты до сихъ поръ не даешь мнѣ сапогъ? Гдѣ они?

Семенъ вошелъ въ номеръ Муркина, поглядѣлъ на то мѣсто, гдѣ онъ имѣлъ обыкновеніе ставить вычищенные сапоги, и почесалъ затылокъ: сапогъ не было.

— Гдѣ жъ имъ быть, проклятымъ?—проговорилъ Семенъ.—Вечеромъ, кажись, чистилъ и тутъ поставилъ... Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши былъ... Должно полагать, въ другой номеръ поставилъ. Именно такъ и есть, Афанасій Егорычъ, въ другой номеръ! Сапогъ-то много, а чортъ ихъ въ пьяномъ видѣ разберетъ, ежели себя не помнишь... Должно, къ барынѣ поставилъ, что рядомъ живетъ... къ актрисѣ...

— Изволь я теперь изъ-за тебя идти къ барынѣ безпокоить! Изволь вотъ изъ-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркинъ подошелъ къ двери сосѣдняго номера и осторожно постучалъ.

— Кто тамъ?—послышался черезъ минуту женскій голосъ.

— Это я-съ!—началъ жалобнымъ голосомъ Муркинъ, становясь въ позу кавалера, говорящаго съ великосвѣтской дамой.—Извините за безпокойство, сударыня, но я человѣкъ болѣзненный, ревматическій... Мнѣ, сударыня, доктора велѣли ноги въ теплѣ держать, тѣмъ болѣе, что мнѣ сейчасъ нужно идти настраивать рояль къ генеральшѣ Шевелицыной. Не могу же я къ ней босикомъ идти!..

— Да вамъ что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а въ отношеніи сапогъ! Невѣжда Семенъ почистилъ мои сапоги и по ошибкѣ поставилъ въ вашъ номеръ. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мнѣ мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжокъ съ кровати и шлепанье туфель, послѣ чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила къ ногамъ Муркина пару сапогъ. Настройщикъ поблагодарилъ и отправился къ себѣ въ номеръ.

— Странно...—пробормоталъ онъ, надѣвая сапогъ.—Словно какъ будто это не правый сапогъ. Да тутъ два лѣвыхъ сапога! Оба лѣвые! Послушай, Семенъ, да это не мои сапоги! Мои сапоги съ красными ушками и безъ латокъ, а это какіе-то порванные, безъ ушекъ!

Семенъ поднялъ сапоги, перевернулъ ихъ нѣсколько разъ передъ своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча...—проворчалъ онъ, глядя искоса.

Онъ былъ косъ на лѣвый глазъ.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера... каждый вторникъ сюда ходитъ... Стало-быть, это онъ вмѣсто своихъ ваши надѣлъ... Я къ ней въ номеръ поставилъ, значитъ, обѣ пары: его и ваши. Комиссія!

— Такъ поди и перемѣни!

— Здравствуйте!—усмѣхнулся Семенъ.—Поди и перемѣни... А гдѣ жъ мнѣ взять его теперь? Ужъ часъ времени, какъ ушелъ... Поди, ищи вѣтра въ полѣ!

— Гдѣ же онъ живетъ?

— А кто жъ его знаетъ! Приходитъ сюда каждый втор-

никъ, а гдѣ живетъ — намъ неизвѣстно. Придетъ, переночуетъ, и жди до другого вторника...

— Вотъ видишь, свинья, что ты надѣлалъ! Ну, что мнѣ теперь дѣлать! Мнѣ къ генеральшѣ Шевелицыной пора, анаѳема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Перемѣнить сапоги недолго. Надѣньте эти сапоги, походите въ нихъ до вечера, а вечеромъ въ театръ... Актера Блистанова тамъ спросите... Ежели въ театръ не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникамъ сюда и ходитъ...

— Но почему же тутъ два лѣвыхъ сапога? — спросилъ настройщикъ, брезгливо берясь за сапоги.

— Какіе Богъ послалъ, такіе и носитъ. По бѣдности... Гдѣ актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у васъ, Павелъ Александрычъ! Чистая срамота!» А онъ и говоритъ: «Умолкни, говоритъ, и блѣднѣй! Въ этихъ самыхъ сапогахъ, говоритъ, я графовъ и князей игралъ!» Чудной народъ! Одно слово, артистъ. Будь я губернаторъ, или какой начальникъ, забралъ бы всѣхъ этихъ актеровъ—и въ острогъ.

Безконечно кряхтя и морщась, Муркинъ натянулъ на свои ноги два лѣвыхъ сапога и, прихрамывая, отправился къ генеральшѣ Шевелицыной. Цѣлый день ходилъ онъ по городу, настраивалъ фортепіано и цѣлый день ему казалось, что весь міръ глядитъ на его ноги и видитъ на нихъ сапоги съ латками и съ покривившимися каблуками! Кромѣ нравственныхъ мукъ, ему пришлось еще испытать и физическія: онъ натеръ себѣ мозоль.

Вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. Давали «Синюю Бороду». Только передъ послѣднимъ дѣйствіемъ, и то благодаря протекціи знакомаго флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя въ мужскую уборную, онъ засталъ въ ней весь мужской персоналъ. Одни переодѣвались, другіе мазались, третьи курили. Синяя Борода стоялъ съ королемъ Бобешомъ и показывалъ ему револьверъ.

— Купи! — говорилъ Синяя Борода. — Самъ купилъ въ Курскѣ по случаю за восемь, ну, а тебѣ отдамъ за шесть... Замѣчательный бой!

— Поосторожнѣй... Заряженъ вѣдь!

— Могу ли я видѣть господина Блистанова?—спросилъ вошедшій настройщикъ.

— Я самый!—повернулся къ нему Синяя Борода.—Что вамъ угодно?

— Извините, сударь, за безпокойство,—началъ настройщикъ умоляющимъ голосомъ: — но, вѣрьте... я человѣкъ болѣзненный, ревматическій... Мнѣ доктора приказали ноги въ теплѣ держать...

— Да вамъ, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-съ...—продолжалъ настройщикъ, обращаясь къ Синей Бородѣ. — Того-съ... эту ночь вы изволили быть въ меблированныхъ комнатахъ купца Бухтѣева... въ 64 номерѣ...

— Ну, что врать-то!—усмѣхнулся король Бобешъ.—Въ 64 номерѣ моя жена живетъ!

— Жена-съ? Очень пріятно-съ...—Муркинъ улыбнулся.— Онѣ-то, ваша супруга, собственно мнѣ и выдали ихніе сапоги... Когда они, — настройщикъ указалъ на Блистанова: — отъ нихъ ушли-съ, я хватился своихъ сапогъ... кричу, знаете ли, коридорнаго, а коридорный и говоритъ: «Да я, сударь, ваши сапоги въ сосѣдній номеръ поставилъ!» Онъ по ошибкѣ, будучи въ состояніи опьяненія, поставилъ въ 64 номеръ мои сапоги и ваши-съ,—повернулся Муркинъ къ Блистанову:—а вы, уходя вотъ отъ ихней супруги, надѣли мои-съ...

— Да вы что же это? — проговорилъ Блистановъ и нахмурился.—Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-съ! Храни меня Богъ-съ! Вы меня не поняли-съ... Я вѣдь насчетъ чего? Насчетъ сапогъ! Вы вѣдь изволили ночевать въ 64 номерѣ?

— Когда?

— Въ эту ночь-съ.

— А вы меня тамъ видѣли?

— Нѣтъ-съ, не видѣлъ-съ,—отвѣтилъ Муркинъ въ сильномъ смущеніи, садясь и быстро снимая сапоги.—Я не видѣлъ-съ, но мнѣ ваши сапоги вотъ ихняя супруга выбросила... Это вмѣсто моихъ-съ.

— Такъ какое же вы имѣете право, милостивый государь, утверждать подобныя вещи? Не говорю ужъ о себѣ, но вы оскорбляете женщину, да еще въ присутствіи ея мужа!

За кулисами поднялся страшный шумъ. Король Бобешъ, оскорбленный мужъ, вдругъ побагровѣлъ и изо всей силы ударилъ кулакомъ по столу, такъ что въ уборной по сосѣдству съ двумя актрисами сдѣлалось дурно.

— И ты вѣришь?—кричалъ ему Синяя Борода.—Ты вѣришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, какъ собаку? Хочешь? Я изъ него бивштексъ сдѣлаю! Я его размозжу!

И всѣ, гулявшіе въ этотъ вечеръ въ городскомъ саду около лѣтняго театра, разсказываютъ теперь, что они видѣли, какъ передъ четвертымъ актомъ отъ театра по главной аллеѣ промчался босой человѣкъ съ желтымъ лицомъ и съ глазами, полными ужаса. За нимъ гнался человѣкъ въ костюмѣ Синей Бороды и съ револьверомъ въ рукѣ. Что случилось далѣе—никто не видѣлъ. Извѣстно только, что Муркинъ потомъ, послѣ знакомства съ Блистановымъ, двѣ недѣли лежалъ больной и къ словамъ: «я человѣкъ болѣзненный, ревматическій» сталъ прибавлять еще—«я человѣкъ раненый»...

# РАДОСТЬ.

Было двѣнадцать часовъ ночи.

Митя Кулдаровъ, возбужденный, взъерошенный, влетѣлъ въ квартиру своихъ родителей и быстро заходилъ по всѣмъ комнатамъ. Родители уже ложились спать. Сестра лежала въ постели и дочитывала послѣднюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты?—удивились родители.—Что съ тобой?

— Охъ, не спрашивайте! Я никакъ не ожидалъ! Нѣтъ, я никакъ не ожидалъ! Это... это даже невѣроятно!

Митя захохоталъ и сѣлъ въ кресло, будучи не въ силахъ держаться на ногахъ отъ счастья.

— Это невѣроятно! Вы не можете себѣ представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула съ постели и, накинувъ на себя одѣяло, подошла къ брату. Гимназисты проснулись.

— Что съ тобой? На тебѣ лица нѣтъ!

— Это я отъ радости, мамаша! Вѣдь теперь меня знаетъ вся Россія! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этомъ свѣтѣ существуетъ коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, а теперь вся Россія знаетъ объ этомъ! Мамаша! О, Господи!

— Митя вскочилъ, побѣгалъ по всѣмъ комнатамъ и опять сѣлъ.

— Да что такое случилось? Говори толкомъ!

— Вы живете, какъ дикіе звѣри, газетъ не читаете, не

обращаете никакого вниманія на гласность, а въ газетахъ такъ много замѣчательнаго! Ежели что случится, сейчасъ все извѣстно, ничего не укроется! Какъ я счастливъ! О, Господи! Вѣдь только про знаменитыхъ людей въ газетахъ печатаютъ, а тутъ взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Гдѣ?

Папаша поблѣднѣлъ. Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, какъ были, въ однѣхъ короткихъ ночныхъ сорочкахъ, подошли къ своему старшему брату.

— Да-съ! Про меня напечатали! Теперь обо мнѣ вся Россія знаетъ! Вы, мамаша, спрячьте этотъ нумеръ на память! Будемъ читать иногда. Поглядите!

Митя вытащилъ изъ кармана нумеръ газеты, подалъ отцу и ткнулъ пальцемъ въ мѣсто, обведенное синимъ карандашомъ.

— Читайте!

Отецъ надѣлъ очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Папаша кашлянулъ и началъ читать:

«29-го декабря, въ одиннадцать часовъ вечера, коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ...

— Видите, видите? Дальше!

...коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, выходя изъ портерной, что на Малой Бронной, въ домѣ Козихина, и находясь въ нетрезвомъ состояніи...

— Это я съ Семеномъ Петровичемъ... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

... и находясь въ нетрезвомъ состояніи, поскользнулся и упалъ подъ лошадь стоявшаго здѣсь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновскаго уѣзда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнувъ черезъ Кулдарова и протащивъ черезъ него сани съ находившимся въ нихъ второй гильдіи московскимъ купцомъ Степаномъ Луковымъ, помчалась по улицѣ и была задержана дворниками. Кулдаровъ, вначалѣ находясь въ безчувственномъ состояніи, былъ отведенъ къ полицейскій участокъ и освидѣтельствованъ врачомъ. Ударъ, который онъ получилъ по затылку...

— Это я объ оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

.... который онъ получилъ по затылку, отнесенъ къ легкимъ. О случившемся составленъ протоколъ. Потерпѣвшему подана медицинская помощь»...

— Велѣли затылокъ холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вотъ! Теперь по всей Россіи пошло! Дайте сюда!

Митя схватилъ газету, сложилъ ее и сунулъ въ карманъ.

— Побѣгу къ Макаровымъ, имъ покажу... Надо еще Иваницкимъ показать, Наталіи Ивановнѣ, Анисиму Васильичу... Побѣгу! Прощайте!

Митя надѣлъ фуражку съ кокардой и, торжествующій, радостный, выбѣжалъ на улицу.

# УМНЫЙ ДВОРНИКЪ.

Посреди кухни стоялъ дворникъ Филиппъ и читалъ наставленіе. Его слушали лакеи, кучеръ, двѣ горничныя, поваръ, кухарка и два мальчика-поваренка, его родныя дѣти. Каждое утро онъ что-нибудь да проповѣдывалъ, въ это же утро предметомъ рѣчи его было просвѣщеніе.

— И живете вы всѣ какъ какой-нибудь свинячій народъ,—говорилъ онъ, держа въ рукахъ шапку съ бляхой.— Сидите вы тутъ сиднемъ и кромѣ невѣжества не видать въ васъ никакой цивилизаціи. Мишка въ шашки играетъ, Матрена орѣшки щелкаетъ, Никифоръ зубы скалитъ. Нешто это умъ? Это не отъ ума, а отъ глупости. Нисколько нѣтъ въ васъ умственныхъ способностей! А почему?

— Оно дѣйствительно, Филиппъ Никандрычъ,—замѣтилъ поваръ.—Извѣстно, какой въ насъ умъ? Мужицкій. Нешто мы понимаемъ?

— А почему въ васъ нѣтъ умственныхъ способностей?— продолжалъ дворникъ. — Потому что нѣтъ у вашего брата настоящей точки. И книжекъ вы не читаете, и насчетъ писаній нѣтъ у васъ никакого смысла. Взяли бы книжечку, сѣли бы себѣ, да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вотъ ты, Миша, взялъ бы книжечку, да прочелъ бы тутъ. Тебѣ польза, да и другимъ пріятность. А въ книжкахъ обо всѣхъ предметахъ распространеніе. Тамъ и объ естествѣ найдешь, и о божествѣ, о странахъ земныхъ. Что изъ чего дѣлается, какъ разный народъ на всѣхъ языкахъ. И идолопоклонство тоже. Обо всемъ въ ки

найдешь, была бы охота. А то сидитъ себѣ около печи, жретъ да пьетъ. Чисто какъ скоты неподобные! Тьфу!

— Вамъ, Никандрычъ, на часы пора, — замѣтила кухарка.

— Знаю. Не твое дѣло мнѣ указывать. Вотъ, къ примѣру скажемъ, хоть меня взять. Какое мое занятіе при моемъ старческомъ возрастѣ? Чѣмъ душу свою удовлетворить? Лучше нѣтъ, какъ книжка, или вѣдомости. Сейчасъ вотъ пойду на часы. Просижу у воротъ часа три. И вы думаете, зѣвать буду, или пустяки съ бабами болтать? Нѣ-ѣтъ, не таковскій! Возьму съ собой книжечку, сяду и буду читать себѣ въ полное удовольствіе. Такъ-то.

Филиппъ досталъ изъ шкапа истрепанную книжку и сунулъ ее за пазуху.

— Вотъ оно мое занятіе. Сызмальства привыкъ. Ученье свѣтъ, неученье тьма—слыхали, чай? То-то...

Филиппъ надѣлъ шапку, крякнулъ и, бормоча, вышелъ изъ кухни. Онъ пошелъ за ворота, сѣлъ на скамью и нахмурился, какъ туча.

— Это не народъ, а какіе-то химики свинячіе,—пробормоталъ онъ, все еще думая о кухонномъ населеніи.

Успокоившись, онъ вытащилъ книжку, степенно вздохнулъ и принялся за чтеніе.

«Такъ написано, что лучше и не надо,—подумалъ онъ, прочитавъ первую страницу и покрутивъ головой.—Умудритъ же Господь!»

Книжка была хорошая, московскаго изданія: «Разведеніе корнеплодовъ. Нужна ли намъ брюква». Прочитавъ первыя двѣ страницы, дворникъ значительно покачалъ головой и кашлянулъ.

— Правильно написано!

Прочитавъ третью страничку, Филиппъ задумался. Ему хотѣлось думать объ образованіи и почему-то о французахъ. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись въ колѣна. Глаза прищурились.

И видѣлъ Филиппъ сонъ. Все, видѣлъ онъ, измѣнилось: земля та же самая, дома такіе же, ворота прежнія, но люди совсѣмъ не тѣ стали. Всѣ люди мудрые, нѣтъ ни одного дурака и по улицамъ ходятъ все французы и француженки. Водовозъ, и тотъ разсуждаетъ:—«Я, признаться, климатомъ

очень недоволенъ и желаю на градусникъ поглядѣть», а у самого въ рукахъ толстая книга.

— А ты почитай календарь,—говоритъ ему Филиппъ.

Кухарка глупа, но и она вмѣшивается въ умные разговоры и вставляетъ свои замѣчанія. Филиппъ идетъ въ участокъ, чтобы прописать жильцовъ, — и странно, даже въ этомъ суровомъ мѣстѣ говорятъ только объ умномъ и вездѣ на столахъ лежатъ книжки. А вотъ кто-то подходитъ къ лакею Мишѣ, толкаетъ его и кричитъ:—«Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часахъ спишь, болванъ?—слышитъ Филиппъ чей-то громовый голосъ.—Спишь, негодяй, скотина?

Филиппъ вскочилъ и протеръ глаза; передъ нимъ стоялъ помощникъ участковаго пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестія! Я покажу тебѣ, какъ на часахъ спать, морда!

Черезъ два часа дворника потребовали въ участокъ. Потомъ онъ опять былъ въ кухнѣ. Тутъ, тронутые его наставленіями, всѣ сидѣли вокругъ стола и слушали Мишу, который читалъ что-то по складамъ.

Филиппъ, нахмуренный, красный, подошелъ къ Мишѣ, ударилъ рукавицей по книгѣ и сказалъ мрачно:

— Брось!

# ВЪ ЦИРУЛЬНѢ.

Утро. Еще нѣтъ и семи часовъ, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяинъ, малый лѣтъ двадцати-трехъ, неумытый, засаленный, но франтовато одѣтый, занятъ уборкой. Убирать въ сущности нечего, но онъ вспотѣлъ, работая. Тамъ тряпочкой вытретъ, тамъ пальцемъ сколупнетъ, тамъ клопа найдетъ и смахнетъ его со стѣны.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатыя стѣны оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами—тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, надъ нею позеленѣвшій отъ сырости колокольчикъ, который вздрагиваетъ и болѣзненно звенитъ самъ, безъ всякой причины. А поглядите вы въ зеркало, которое виситъ на одной изъ стѣнъ, и вашу физіономію перекоситъ во всѣ стороны самымъ безжалостнымъ образомъ! Передъ этимъ зеркаломъ стригутъ и бреютъ. На столикѣ, такомъ же неумытомъ и засаленномъ, какъ самъ Макаръ Кузьмичъ, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведеннаго одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоитъ больше пятиалтыннаго.

Надъ дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и въ цирульню входитъ пожилой мужчина въ дубленомъ полушубкѣ и валенкахъ. Его голова и шея окутаны женской шалью.

Это Эрастъ Иванычъ Ягодовъ, крестный отецъ Макара Кузьмича. Когда-то онъ служилъ въ консерваторіи въ сто-

ахъ, теперь же живетъ около Краснаго пруда и занится слесарствомъ.
– Макарушка, здравствуй, свѣтъ!—говоритъ онъ Макару ьмичу, увлекшемуся уборкой.
Ѣлуются. Ягодовъ стаскиваетъ съ головы шаль, крестся и садится.
– Даль-то какая!—говоритъ онъ, кряхтя.—Шутка ли? Краснаго пруда до Калужскихъ воротъ.
– Какъ поживаете-съ?
– Плохо, братъ. Горячка была.
– Что вы? Горячка!
– Горячка. Мѣсяцъ лежалъ, думалъ, что помру. Соболся. Теперь волосъ лѣзетъ. Докторъ постричься прилъ. Волосъ, говоритъ, новый пойдетъ, крѣпкій. Вотъ думаю въ умѣ: пойду-ка къ Макару. Чѣмъ къ кому ому, такъ лучше ужъ къ родному. И сдѣлаетъ лучше, енегъ не возьметъ. Далеконько немножко, оно правда, вѣдь это что жъ? Та же прогулка.
– Я съ удовольствіемъ. Пожалуйте-съ!
Макаръ Кузьмичъ, шаркнувъ ногой, указываетъ на стулъ. довъ садится и глядитъ на себя въ зеркало, и видимо оленъ зрѣлищемъ: въ зеркалѣ получается кривая рожа калмыцкими губами, тупымъ широкимъ носомъ и съ ами на лбу. Макаръ Кузьмичъ покрываетъ плечи своего нта бѣлой простыней съ желтыми пятнами и начитъ визжать ножницами.
– Я васъ на-чисто, до гола!—говоритъ онъ.
– Натурально. На татарина чтобъ похожъ былъ, на бу. Волосъ гуще пойдетъ.
– Тетенька какъ поживаютъ-съ?
– Ничего, живетъ себѣ. Намедни къ майоршѣ приниь ходила. Рубль дали.
– Такъ-съ. Рубль. Придержите ухо-съ!
– Держу... Не обрѣжь, смотри. Ой, больно! Ты меня за осы дергаешь.
– Это ничего-съ. Безъ этого въ нашемъ дѣлѣ невозно. А какъ поживаютъ Анна Эрастовна?
– Дочка? Ничего, прыгаетъ. На прошлой недѣлѣ, въ ду, за Шейкина просватали. Отчего не приходилъ?
Ножницы перестаютъ визжать. Макаръ Кузьмичъ опуетъ руки и спрашиваетъ испуганно:

— Кого просватали?

— Анну.

— Это какъ же-съ? За кого?

— За Шейкина, Прокофія Петрова. Въ Златоустенскомъ переулкѣ его тетка въ экономкахъ. Хорошая женщина. Натурально, всѣ мы рады, слава Богу. Черезъ недѣлю свадьба. Приходи, погуляемъ.

— Да какъ же это такъ, Эрастъ Иванычъ? — говоритъ Макаръ Кузьмичъ, блѣдный, удивленный, и пожимаетъ плечами.—Какъ же это возможно? Это... это никакъ невозможно! Вѣдь Анна Эрастовна... вѣдь я... вѣдь я чувства къ ней питалъ, я намѣреніе имѣлъ. Какъ же такъ?

— Да такъ. Взяли и просватали. Человѣкъ хорошій.

На лицѣ у Макара Кузьмича выступаетъ холодный потъ. Онъ кладетъ на столъ ножницы и начинаетъ тереть себѣ кулакомъ носъ.

— Я намѣреніе имѣлъ...—говоритъ онъ.—Это невозможно, Эрастъ Иванычъ! Я... я влюбленъ и предложеніе сердца дѣлалъ... И тетенька обѣщали. Я всегда уважалъ васъ все равно, какъ родителя... стригу васъ всегда задаромъ. Всегда вы отъ меня одолженіе имѣли и, когда мой папаша скончался, вы взяли диванъ и десять рублей денегъ и назадъ мнѣ не вернули. Помните?

— Какъ не помнить! Помню. Только какой же ты женихъ, Макаръ? Нешто ты женихъ? Ни денегъ, ни званія, ремесло пустяшное...

— А Шейкинъ богатый?

— Шейкинъ въ артельщикахъ. У него въ залогѣ лежитъ полторы тысячи. Такъ-то, братъ... Толкуй не толкуй, а дѣло ужъ сдѣлано. Назадъ не воротишь, Макарушка. Другую себѣ ищи невѣсту... Свѣтъ не клиномъ сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?

Макаръ Кузьмичъ молчитъ и стоитъ недвижимъ, потомъ достаетъ изъ кармана платочекъ и начинаетъ плакать.

— Ну, чего!—утѣшаетъ его Эрастъ Иванычъ. — Брось! Эка, реветъ, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!

Макаръ Кузьмичъ беретъ ножницы, минуту глядитъ на нихъ безмысленно и роняетъ на столъ. Руки у него трясутся.

— Не могу! — говоритъ онъ. — Не могу сейчасъ, силы

моей нѣтъ! Несчастный я человѣкъ! И она несчастная! Любили мы другъ друга, обѣщались, и разлучили насъ люди недобрые безъ всякой жалости. Уходите, Эрастъ Иванычъ! Не могу я васъ видѣть.

— Такъ я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.

— Ладно.

— Поуспокойся, а я къ тебѣ завтра, пораньше утромъ.

У Эраста Иваныча половина головы выстрижена до гола, и онъ похожъ на каторжника. Неловко оставаться съ такой головой, но дѣлать нечего. Онъ окутываетъ голову и шею шалью и выходитъ изъ цирульни. Оставшись одинъ, Макаръ Кузьмичъ садится и продолжаетъ плакать потихоньку.

На другой день рано утромъ опять приходитъ Эрастъ Иванычъ.

— Вамъ что угодно-съ?— спрашиваетъ его холодно Макаръ Кузьмичъ.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.

— Пожалуйте деньги впередъ. Задаромъ не стригу-съ.

Эрастъ Иванычъ, не говоря ни слова, уходитъ, и до сихъ поръ еще у него на одной половинѣ головы волосы длинные, а на другой—короткіе. Стрижку за деньги онъ считаетъ роскошью и ждетъ, когда на остриженной половинѣ волосы сами вырастутъ. Такъ и на свадьбѣ гулялъ.

# САПОЖНИКЪ И НЕЧИСТАЯ СИЛА.

Былъ канунъ Рождества. Марья давно уже храпѣла на печи, въ лампочкѣ выгорѣлъ весь керосинъ, а Ѳедоръ Ниловъ все сидѣлъ и работалъ. Онъ давно бы бросилъ работу и вышелъ на улицу, но заказчикъ изъ Колокольнаго переулка, заказавшій ему головки двѣ недѣли назадъ, былъ вчера, бранился и приказалъ кончить сапоги непремѣнно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная!—ворчалъ Ѳедоръ, работая.—Одни люди спятъ давно, другіе гуляютъ, а ты вотъ, какъ Каинъ какой, сиди и шей чортъ знаетъ на кого...

Чтобъ не уснуть какъ-нибудь нечаянно, онъ то и дѣло доставалъ изъ-подъ стола бутылку и пилъ изъ горлышка и послѣ каждаго глотка крутилъ головой и говорилъ громко:

— Съ какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляютъ, а я обязанъ шить на нихъ? Оттого, что у нихъ деньги есть, а я нищій?

Онъ ненавидѣлъ всѣхъ заказчиковъ, особенно того, который жилъ въ Колокольномъ переулкѣ. Это былъ господинъ мрачнаго вида, длинноволосый, желтолицый, въ большихъ синихъ очкахъ и съ сиплымъ голосомъ. Фамилія у него была нѣмецкая, такая, что не выговоришь. Какого онъ былъ званія и чѣмъ занимался, понять было невозможно. Когда, двѣ недѣли назадъ, Ѳедоръ пришелъ къ нему снимать мѣрку, онъ, заказчикъ, сидѣлъ на полу и толокъ что-то въ ступкѣ. Не успѣлъ Ѳедоръ поздороваться, какъ содержимое ступки вдругъ вспыхнуло и загорѣлось яркимъ, краснымъ пламенемъ, завоняло сѣрой и жженными перьями,

комната наполнилась густымъ, розовымъ дымомъ, такъ
о Ѳедоръ разъ пять чихнулъ; и возвращаясь послѣ этого
мой, онъ думалъ: «Кто Бога боится, тотъ не станетъ
ниматься такими дѣлами».

Когда въ бутылкѣ ничего не осталось, Ѳедоръ положилъ
оги на столъ и задумался. Онъ подперъ тяжелую го-
зу кулакомъ и сталъ думать о своей бѣдности, о тяже-
й безпросвѣтной жизни, потомъ о богачахъ, объ ихъ
ьшихъ домахъ, каретахъ, о сотенныхъ бумажкахъ...
къ было бы хорошо, если бы у этихъ, чортъ ихъ подери,
ачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли ихъ
бы и собольи шапки! Какъ бы хорошо, если бы богачи
ю-по-малу превратились въ нищихъ, которымъ ѣсть не-
о, а бѣдный сапожникъ сталъ бы богачомъ и самъ бы
ажился надъ бѣднякомъ - сапожникомъ наканунѣ Ро-
ства.

Мечтая такъ, Ѳедоръ вдругъ вспомнилъ о своей работѣ
ткрылъ глаза.

Вотъ такъ исторія! подумалъ онъ, оглядывая сапоги.—
овки у меня давно ужъ готовы, а я все сижу. Надо
ги къ заказчику!»

Онъ завернулъ работу въ красный платокъ, одѣлся и
шелъ на улицу. Шелъ мелкій, жесткій снѣгъ, коловшій
о какъ иголками. Было холодно, склизко, темно, газо-
фонари горѣли тускло и почему-то на улицѣ пахло
осиномъ такъ, что Ѳедоръ сталъ перхать и кашлять.
мостовой взадъ и впередъ ѣздили богачи, и у каждаго
ача въ рукахъ былъ окорокъ и четверть водки. Изъ
етъ и саней глядѣли на Ѳедора богатыя барышни, по-
ывали ему языки и кричали со смѣхомъ:

— Нищій! Нищій!

Сзади Ѳедора шли студенты, офицеры, купцы и генералы
разнили его:

— Пьяница! Пьяница! Сапожникъ-безбожникъ, душа го
ища! Нищій!

Все это было обидно, но Ѳедоръ молчалъ и только от-
вывался. Когда же встрѣтился ему сапожныхъ дѣлъ
теръ Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы и сказалъ:—«Я
шился на богатой, у меня работаютъ подмастерья, а ты
дій, тебѣ ѣсть нечего»,—Ѳедоръ не выдержалъ и по-
лся за нимъ. Гнался онъ до тѣхъ поръ, пока не очу-

тился въ Колокольномъ переулкѣ. Его заказчикъ жилъ въ четвертомъ домѣ отъ угла, въ квартирѣ въ самомъ верхнемъ этажѣ. Къ нему нужно было идти длиннымъ, темнымъ дворомъ и потомъ взбираться вверхъ по очень высокой, скользкой лѣстницѣ, которая шаталась подъ ногами. Когда Ѳедоръ вошелъ къ нему, онъ, какъ и тогда, двѣ недѣли назадъ, сидѣлъ на полу и толокъ что-то въ ступкѣ.

— Ваше высокоблагородіе, сапожки принесъ! — сказалъ угрюмо Ѳедоръ.

Заказчикъ поднялся и молча сталъ примѣрять сапоги. Желая помочь ему, Ѳедоръ опустился на одно колѣно и стащилъ съ него старый сапогъ, но тотчасъ же вскочилъ и въ ужасѣ попятился къ двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге!—подумалъ Ѳедоръ.—Вотъ она какая исторія!»

Первымъ дѣломъ слѣдовало бы перекреститься, потомъ бросить все и бѣжать внизъ; но тотчасъ же онъ сообразилъ, что нечистая сила встрѣтилась ему въ первый и, вѣроятно, въ послѣдній разъ въ жизни и не воспользоваться ея услугами было бы глупо. Онъ пересилилъ себя и рѣшилъ попытать счастья. Заложивъ назадъ руки, чтобъ не креститься, онъ почтительно кашлянулъ и началъ:

— Говорятъ, что нѣтъ поганѣй и хуже на свѣтѣ, какъ нечистая сила, а я такъ понимаю, ваше высокоблагородіе, что нечистая сила самая образованная. У чорта, извините, копыта и хвостъ сзади, да зато у него въ головѣ больше ума, чѣмъ у иного студента.

— Люблю за такія слова,—сказалъ польщенный заказчикъ.—Спасибо, сапожникъ! Что же ты хочешь?

И сапожникъ, не теряя времени, сталъ жаловаться на свою судьбу. Онъ началъ съ того, что съ самаго дѣтства онъ завидовалъ богатымъ. Ему всегда было обидно, что не всѣ люди одинаково живутъ въ большихъ домахъ и ѣздятъ на хорошихъ лошадяхъ. Почему, спрашивается, онъ бѣденъ? Чѣмъ онъ хуже Кузьмы Лебедкина изъ Варшавы, у котораго собственный домъ и жена ходитъ въ шляпкѣ? У него такой же носъ, такія же руки, ноги, голова, спина, какъ у богачей, такъ почему же онъ обязанъ работать, когда другіе гуляютъ? Почему онъ женатъ на Марьѣ, а не на дамѣ, отъ которой пахнетъ духами? Въ домахъ богатыхъ заказчиковъ ему часто приходится видѣть красивыхъ

ень, но онѣ не обращаютъ на него никакого вниманія
ко иногда смѣются и шепчутъ другъ другу:—«Какой
) сапожника красный носъ!» Правда, Марья хоро-
,обрая, работящая баба, но вѣдь она необразованная,
нея тяжелая и бьется больно, а когда приходится
гь при ней о политикѣ, или о чемъ-нибудь умномъ,
вмѣшивается и несетъ ужасную чепуху.
Ито же ты хочешь?—перебилъ его заказчикъ.
\ я прошу, ваше высокоблагородіе, Чортъ Иванычъ,
аша милость, сдѣлайте меня богатымъ человѣкомъ!
Азволь. Только вѣдь за это ты долженъ отдать мнѣ
ушу! Пока пѣтухи еще не запѣли, иди и подпиши
а этой бумажкѣ, что отдаешь мнѣ свою душу.
Заше высокоблагородіе!—сказалъ Ѳедоръ вѣжливо.—
вы мнѣ головки заказывали, я не бралъ съ васъ де-
передъ. Надо сначала заказъ исполнить, а потомъ
ньги требовать.
Ну, ладно!—согласился заказчикъ.
ступкѣ вдругъ вспыхнуло яркое пламя, повалилъ
розовый дымъ и завоняло жженымъ перьями и сѣрой.
дымъ разсѣялся, Ѳедоръ протеръ глаза и увидѣлъ,
ь уже не Ѳедоръ и не сапожникъ, а какой-то другой
къ, въ жилеткѣ и съ цѣпочкой, въ новыхъ брюкахъ,
идитъ онъ въ креслѣ за большимъ столомъ. Два лакея
ли ему кушанья, низко кланялись и говорили:
Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородіе!
ое богатство! Подали лакеи большой кусокъ жареной
ны и миску съ огурцами, потомъ принесли на ско-
жаренаго гуся, немного погодя — вареной свинины
номъ. И какъ все это благородно, политично! Ѳедоръ
передъ каждымъ блюдомъ выпивалъ по большому
у отличной водки, точно генералъ какой-нибудь или
Послѣ свинины подали ему каши съ гусинымъ са-
потомъ яичницу со свинымъ саломъ и жареную пе-
и онъ все ѣлъ и восхищался. Но что еще? Еще
пирогъ съ лукомъ и пареную рѣпу съ квасомъ. «И
то господа не полопаются отъ такой ѣды!»—думалъ
Въ заключеніе подали большой горшокъ съ медомъ.
обѣда явился чортъ въ синихъ очкахъ и спросилъ,
кланяясь:
Довольны ли вы обѣдомъ, Ѳедоръ Пантелѣичъ?

Но Ѳедоръ не могъ выговорить ни одного слова, такъ его распирало послѣ обѣда. Сытость была непріятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, онъ сталъ осматривать сапогъ на своей лѣвой ногѣ.

— За такіе сапоги я меньше не бралъ, какъ семь съ полтиной. Какой это сапожникъ шилъ?—спросилъ онъ.

— Кузьма Лебедкинъ,—отвѣтилъ лакей!

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы. Онъ остановился въ почтительной позѣ у двери и спросилъ:

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?

— Молчать!—крикнулъ Ѳедоръ и топнулъ ногой.—Не смѣй разсуждать и помни свое сапожницкое званіе, какой ты человѣкъ есть! Болванъ! Ты не умѣешь сапоговъ шить! Я тебѣ всю харю побью! Ты зачѣмъ пришелъ?

— За деньгами-съ.

— Какія тебѣ деньги? Вонъ! Въ субботу приходи! Человѣкъ, дай ему въ шею!

Но тотчасъ же онъ вспомнилъ, какъ надъ нимъ самимъ мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душѣ, и чтобы развлечь себя, онъ вынулъ изъ кармана толстый бумажникъ и сталъ считать свои деньги. Денегъ было много, но Ѳедору хотѣлось еще больше. Вѣсъ въ синихъ очкахъ принесъ ему другой бумажникъ, потолще, но ему захотѣлось еще больше, и чѣмъ дольше онъ считалъ, тѣмъ недовольнѣе становился.

Вечеромъ нечистый привелъ къ нему высокую, грудастую барыню въ красномъ платьѣ и сказалъ, что это его новая жена. До самой ночи онъ все цѣловался съ ней и ѣлъ пряники. А ночью лежалъ онъ на мягкой, пуховой перинѣ, ворочался съ-боку-на-бокъ и никакъ не могъ уснуть. Ему было жутко.

Денегъ много,—говорилъ онъ женѣ:—того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свѣчкой поглядѣла!

Всю ночь не спалъ онъ и то и дѣло вставалъ, чтобы взглянуть, цѣлъ ли сундукъ. Подъ утро надо было идти въ церковь къ утрени. Въ церкви одинаковая честь всѣмъ, богатымъ и бѣднымъ. Когда Ѳедоръ былъ бѣденъ, то молился въ церкви такъ: «Господи, прости меня грѣшнаго!» То же самое говорилъ онъ и теперь, ставши богатымъ. Какая же разница? А послѣ смерти богатаго Ѳедора зако-

ить не въ золото, не въ алмазы, а въ такую же черную
лю, какъ и послѣдняго бѣдняка. Горѣть Ѳедоръ будетъ
томъ же огнѣ, гдѣ и сапожники. Обидно все это каза-
ь Ѳедору, а тутъ еще во всемъ тѣлѣ тяжесть отъ обѣда
мѣсто молитвы въ голову лѣзутъ разныя мысли о сун-
ѣ съ деньгами, о ворахъ, о своей проданной, загублен-
душѣ.

Вышелъ онъ изъ церкви сердитый. Чтобъ прогнать не-
ошія мысли, онъ, какъ часто это бывало раньше, за-
улъ во все горло пѣсню. Но только-что онъ началъ,
ъ къ нему подбѣжалъ городовой и сказалъ, дѣлая подъ
ырекъ:

— Баринъ, нельзя господамъ пѣть на улицѣ! Вы не
ожникъ!

Ѳедоръ прислонился спиной къ забору и сталъ думать:
ъ бы развлечься?

— Баринъ!—крикнулъ ему дворникъ.—Не очень-то на
оръ напирай, шубу запачкаешь!

Ѳедоръ пошелъ въ лавку и купилъ себѣ самую лучшую
монію, потомъ шелъ по улицѣ и игралъ. Всѣ прохожіе
зывали на него пальцами и смѣялись.

— А еще тоже баринъ! — дразнили его извозчики.—
вно сапожникъ какой...

— Нешто господамъ можно безобразить? — сказалъ ему
одовой.—Вы бы еще въ кабакъ пошли!

— Баринъ, подайте милостыньки Христа-ради!—вопили
ціе, обступая Ѳедора со всѣхъ сторонъ.—Подайте!

Раньше, когда онъ былъ сапожникомъ, нищіе не обра-
ли на него никакого вниманія, теперь же они не давали
проходу.

Изъ дома встрѣтила его новая жена, барыня, одѣтая въ
ную кофту и красную юбку. Онъ хотѣлъ приласкать
и уже размахнулся, чтобы дать ей раза въ спину, но
сказала сердито:

— Мужикъ! Невѣжа! Не умѣешь обращаться съ ба-
ями! Коли любишь, то ручку поцѣлуй, а драться не
золю.

Ну, жизнь анаѳемская! — подумалъ Ѳедоръ. — Живутъ
и! Ни тебѣ пѣсню запѣть, ни тебѣ на гармоніи, ни
ѣ съ бабой поиграть... Тьфу!»

Только-что онъ сѣлъ съ барыней пить чай, какъ явился нечистый въ синихъ очкахъ и сказалъ:

— Ну, Ѳедоръ Пантелѣичъ, я свое соблюлъ въ точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значитъ богато жить, будете съ васъ!

И потащилъ Ѳедора въ адъ, прямо въ пекло, и черти слетались со всѣхъ сторонъ и кричали:

— Дуракъ! Болванъ! Оселъ!

Въ аду страшно воняло керосиномъ, такъ что можно было задохнуться.

И вдругъ все исчезло. Ѳедоръ открылъ глаза и увидѣлъ свой столъ, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и отъ маленькаго огонька на фитилѣ валилъ вонючій дымъ, какъ изъ трубы. Около стоялъ заказчикъ въ синихъ очкахъ и кричалъ сердито:

— Дуракъ! Болванъ! Оселъ! Я тебя проучу, мошенника! Взялъ заказъ двѣ недѣли тому назадъ, а сапоги до сихъ поръ не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться къ тебѣ за сапогами по пяти разъ на день? Мерзавецъ! Скотина!

Ѳедоръ встряхнулъ головой и принялся за сапоги. Заказчикъ еще долго бранился и грозилъ. Когда онъ, наконецъ, успокоился, Ѳедоръ спросилъ угрюмо:

— А чѣмъ вы, баринъ, занимаетесь?

— Я приготовляю бенгальскіе огни и ракеты. Я пиротехникъ.

Зазвонили къ утрени. Ѳедоръ сдалъ сапоги, получилъ деньги и пошелъ въ церковь.

По улицѣ взадъ и впередъ сновали кареты и сани съ медвѣжьими полостями. По тротуару вмѣстѣ съ простымъ народомъ шли купцы, барыни, офицеры... Но Ѳедоръ ужъ не завидовалъ и не роптalъ на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатымъ и бѣднымъ одинаково дурно. Одни имѣютъ возможность ѣздить въ каретѣ, а другіе—пѣть во все горло пѣсни и играть на гармоникѣ, а въ общемъ всѣхъ ждетъ одно и то же, одна могила, и въ жизни нѣтъ ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

# МАЛЬЧИКИ.

— Володя пріѣхалъ!—крикнулъ кто-то на дворѣ.

— Володичка пріѣхали! — завопила Наталья, вбѣгая въ столовую.—Ахъ, Боже мой!

Вся семья Королевыхъ, съ часу на часъ поджидавшая своего Володю, бросилась къ окнамъ. У подъѣзда стояли широкія розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей шелъ густой туманъ. Сани были пусты, потому что Володя уже стоялъ въ сѣняхъ и красными, озябшими пальцами развязывалъ башлыкъ. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на вискахъ были покрыты инеемъ, и весь онъ отъ головы до ногъ издавалъ такой вкусный морозный запахъ, что глядя на него, хотѣлось озябнуть и сказать: «бррр!». Мать и тетка бросились обнимать и цѣловать его, Наталья повалилась къ его ногамъ и начала стаскивать съ него валенки, сестры подняли визгъ, двери скрипѣли, хлопали, а отецъ Володи въ одной жилеткѣ и съ ножницами въ рукахъ вбѣжалъ въ переднюю и закричалъ испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доѣхалъ? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему съ отцомъ поздороваться! Что я не отецъ, что ли?

— Гавъ! Гавъ! — ревѣлъ басомъ Милордъ, огромный, черный песъ, стуча хвостомъ по стѣнамъ и по мебели.

Все смѣшалось въ одинъ сплошной, радостный звукъ, продолжавшійся минуты двѣ. Когда первый порывъ радости прошелъ, Королевы замѣтили, что кромѣ Володи въ передней находился еще одинъ маленькій человѣкъ, окутанный въ платки, шали и башлыки и покрытый инеемъ;

онъ неподвижно стоялъ въ углу, въ тѣни, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто?—спросила шопотомъ мать.

— Ахъ!—спохватился Володя.—Это, честь имѣю представить, мой товарищъ Чечевицынъ, ученикъ второго класса... Я привезъ его съ собой погостить у насъ.

— Очень пріятно, милости просимъ!—сказалъ радостно отецъ.—Извините, я по-домашнему, безъ сюртука... Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздѣться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказаніе!

Немного погодя, Володя и его другъ Чечевицынъ, ошеломленные шумной встрѣчей и все еще розовые отъ холода, сидѣли за столомъ и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снѣгъ и узоры на окнахъ, дрожало на самоварѣ и купало свои чистые лучи въ полоскательной чашкѣ. Въ комнатѣ было тепло, и мальчики чувствовали, какъ въ ихъ озябшихъ тѣлахъ, не желая уступать другъ другу, щекотались тепло и морозъ.

— Ну, вотъ скоро и Рождество!—говорилъ нараспѣвъ отецъ, крутя изъ темно-рыжаго табаку папиросу. — А давно ли было лѣто и мать плакала, тебя провожаючи? Анъ ты и пріѣхалъ... Время, братъ, идетъ быстро! Ахнуть не успѣешь, какъ старость прійдетъ. Господинъ Чибисовъ, кушайте, прошу васъ, не стѣсняйтесь! У насъ попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша—самой старшей изъ нихъ было одиннадцать лѣтъ,—сидѣли за столомъ и не отрывали глазъ отъ новаго знакомаго. Чечевицынъ былъ такого же возраста и роста, какъ Володя, но не такъ пухлъ и бѣлъ, а худъ, смуглъ, покрытъ веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькіе, губы толстыя, вообще былъ онъ очень некрасивъ и если бъ на немъ не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Онъ былъ угрюмъ, все время молчалъ и ни разу не улыбнулся. Дѣвочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно-быть, очень умный и ученый человѣкъ. Онъ о чемъ-то все время думалъ и такъ былъ занятъ своими мыслями, что когда его спрашивали о чемъ-нибудь, то онъ вздрагивалъ, встряхивалъ головой и просилъ повторить вопросъ.

Дѣвочки замѣтили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этотъ разъ говорилъ мало, вовсе не улы-

бался и какъ будто даже не радъ былъ тому, что пріѣхалъ домой. Пока сидѣли за чаемъ, онъ обратился къ сестрамъ только разъ, да и то съ какими-то странными словами. Онъ указалъ пальцемъ на самоваръ и сказалъ:

— А въ Калифорніи вмѣсто чаю пьютъ джинъ.

Онъ тоже былъ занятъ какими-то мыслями и, судя по тѣмъ взглядамъ, какими онъ изрѣдка обмѣнивался съ другомъ своимъ Чечевицынымъ, мысли у мальчиковъ были общія.

Послѣ чаю всѣ пошли въ дѣтскую. Отецъ и дѣвочки сѣли за столъ и занялись работой, которая была прервана пріѣздомъ мальчиковъ. Они дѣлали изъ разноцвѣтной бумаги цвѣты и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сдѣланный цвѣтокъ дѣвочки встрѣчали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этотъ цвѣтокъ падалъ съ неба; папаша тоже восхищался и изрѣдка бросалъ ножницы на полъ, сердясь на нихъ за то, что онѣ тупы. Мамаша вбѣгала въ дѣтскую съ очень озабоченнымъ лицомъ и спрашивала:

— Кто взялъ мои ножницы? Опять ты, Иванъ Николаичъ, взялъ мои ножницы?

— Господи Боже мой, даже ножницъ не даютъ!—отвѣчалъ плачущимъ голосомъ Иванъ Николаичъ и, откинувшись на спинку стула, принималъ позу оскорбленнаго человѣка, но черезъ минуту опять восхищался.

Въ предыдущіе свои пріѣзды Володя тоже занимался приготовленіями для елки, или бѣгалъ на дворъ поглядѣть, какъ кучеръ и пастухъ дѣлали снѣговую гору, но теперь онъ и Чечевицынъ не обратили никакого вниманія на разноцвѣтную бумагу и ни разу даже не побывали въ конюшнѣ, а сѣли у окна и стали о чемъ-то шептаться; потомъ они оба вмѣстѣ раскрыли географическій атласъ и стали разсматривать какую-то карту.

— Сначала въ Пермь...—тихо говорилъ Чечевицынъ...— Оттуда въ Тюмень... потомъ Томскъ... потомъ... потомъ... въ Камчатку... Отсюда самоѣды перевезутъ на лодкахъ черезъ Беринговъ проливъ... Вотъ тебѣ и Америка... Тутъ много пушныхъ звѣрей.

— А Калифорнія?—спросилъ Володя.

— Калифорнія ниже... Лишь бы въ Америку попасть, а

Калифорнія не за горами. Добывать же себѣ пропитаніе можно охотой и грабежомъ.

Чечевицынъ весь день сторонился дѣвочекъ и глядѣлъ на нихъ исподлобья. Послѣ вечерняго чая случилось, что его минутъ на пять оставили одного съ дѣвочками. Неловко было молчать. Онъ сурово кашлянулъ, потеръ правой ладонью лѣвую руку, поглядѣлъ угрюмо на Катю и спросилъ:

— Вы читали Майнъ-Рида?

— Нѣтъ, не читала... Послушайте, вы умѣете на конькахъ кататься?

Погруженный въ свои мысли, Чечевицынъ ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а только сильно надулъ щеки и сдѣлалъ такой вздохъ, какъ будто ему было очень жарко. Онъ еще разъ поднялъ глаза на Катю и сказалъ:

— Когда стадо бизоновъ бѣжитъ черезъ пампасы, то дрожитъ земля, а въ это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржутъ.

Чечевицынъ грустно улыбнулся и добавилъ:

— А также индѣйцы нападаютъ на поѣзда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это въ родѣ муравчиковъ, только съ крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господинъ Чечевицынъ.

— Нѣтъ. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобѣдимыхъ.

Маша, самая маленькая дѣвочка, поглядѣла на него, потомъ на окно, за которымъ уже наступалъ вечеръ, и сказала въ раздумьи:

— А у насъ чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятныя слова Чечевицына и то, что онъ постоянно шептался съ Володей, и то, что Володя не игралъ, а все думалъ о чемъ-то,—все это было загадочно и странно. И обѣ старшія дѣвочки, Катя и Соня, стали зорко слѣдить за мальчиками. Вечеромъ, когда мальчики ложились спать, дѣвочки подкрались къ двери и подслушали ихъ разговоръ. О, что онѣ узнали! Мальчики собирались бѣжать куда-то въ Америку добывать золото; у нихъ для дороги было уже все готово: пистолетъ, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добыванія огня, компасъ и четыре рубля денегъ. Онѣ узнали, что мальчикамъ придется пройти пѣш-

комъ нѣсколько тысячъ верстъ, а по дорогѣ сражаться съ тиграми и дикарями, потомъ добывать золото и слоновую кость, убивать враговъ, поступать въ морскіе разбойники, шить джинъ и въ концѣ концовъ жениться на красавицахъ и обрабатывать плантаціи. Володя и Чечевицынъ говорили и въ увлеченіи перебивали другъ друга. Себя Чечевицынъ называлъ при этомъ такъ: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю—«блѣднолицый братъ мой».

— Ты смотри же, не говори мамѣ,—сказала Катя Сонѣ, отправляясь съ ней спать.—Володя привезетъ намъ изъ Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь мамѣ, то его не пустятъ.

Наканунѣ сочельника Чечевицынъ цѣлый день разсматривалъ карту Азіи и что-то записывалъ, а Володя, томный, пухлый, какъ укушенный пчелой, угрюмо ходилъ по комнатамъ и ничего не ѣлъ. И разъ даже въ дѣтской онъ остановился передъ иконой, перекрестился и сказалъ:

— Господи, прости меня грѣшнаго! Господи, сохрани мою бѣдную, несчастную маму!

Къ вечеру онъ расплакался. Идя спать, онъ долго обнималъ отца, мать и сестеръ. Катя и Соня понимали, въ чемъ тутъ дѣло, а младшая, Маша, ничего не понимала, рѣшительно ничего, и только при взглядѣ на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохомъ:

— Когда постъ, няня говоритъ, надо кушать горохъ и чечевицу.

Рано утромъ въ сочельникъ Катя и Соня тихо поднялись съ постелей и пошли подсмотрѣть, какъ мальчики будутъ бѣжать въ Америку. Подкрались къ двери.

— Такъ ты не поѣдешь?—сердито спрашивалъ Чечевицынъ.—Говори: не поѣдешь?

— Господи!—тихо плакалъ Володя.—Какъ же я поѣду? Мнѣ маму жалко.

— Блѣднолицый братъ мой, я прошу тебя, поѣдемъ! Ты же увѣрялъ, что поѣдешь, самъ меня сманилъ, а какъ ѣхать, такъ вотъ и струсилъ.

— Я... я не струсилъ, а мнѣ... мнѣ маму жалко.

— Ты говори: поѣдешь, или нѣтъ?

— Я поѣду, только... только погоди. Мнѣ хочется дома пожить.

— Въ такомъ случаѣ, я самъ поѣду! -рѣшилъ Чечевиц-

цынъ. — И безъ тебя обойдусь. А еще тоже хотѣлъ охотиться на тигровъ, сражаться! Когда такъ, отдай же мои пистоны!

Володя заплакалъ такъ горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Такъ ты не поѣдешь?—еще разъ спросилъ Чечевицынъ.

— По... поѣду.

— Такъ одѣвайся!

И Чечевицынъ, чтобы уговорить Володю, хвалилъ Америку, рычалъ какъ тигръ, изображалъ пароходъ, бранился, обѣщалъ отдать Володѣ всю слоновую кость и всѣ львиныя и тигровыя шкуры.

И этотъ худенькій, смуглый мальчикъ, со щетинистыми волосами и веснушками казался, дѣвочкамъ необыкновеннымъ, замѣчательнымъ. Это былъ герой, рѣшительный, неустрашимый человѣкъ, и рычалъ онъ такъ, что, стоя за дверями, въ самомъ дѣлѣ можно было подумать, что это тигръ или левъ.

Когда дѣвочки вернулись къ себѣ и одѣвались, Катя съ глазами полными слезъ сказала:

— Ахъ, мнѣ такъ страшно!

До двухъ часовъ, когда сѣли обѣдать, все было тихо, но за обѣдомъ вдругъ оказалось, что мальчиковъ нѣтъ дома. Послали въ людскую, въ конюшню, во флигель къ приказчику—тамъ ихъ не было. Послали въ деревню—и тамъ не нашли. И чай потомъ тоже пили безъ мальчиковъ, а когда садились ужинать, мамаша очень безпокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили въ деревню, искали, ходили съ фонарями на рѣку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день пріѣзжалъ урядникъ, писали въ столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вотъ у крыльца остановились розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей валилъ паръ.

— Володя пріѣхалъ!—крикнулъ кто-то на дворѣ.

— Володичка пріѣхали!—завопила Наталья, вбѣгая въ столовую.

И Милордъ залаялъ басомъ: «гавъ! гавъ!» Оказалось, что мальчиковъ задержали въ городѣ, въ Гостиномъ дворѣ (тамъ они ходили и все спрашивали, гдѣ продается порохъ). Володя, какъ вошелъ въ переднюю, такъ и зары-

далъ и бросился матери на шею. Дѣвочки, дрожа, съ ужасомъ думали о томъ, что теперь будетъ, слышали, какъ папаша повелъ Володю и Чечевицына къ себѣ въ кабинетъ и долго тамъ говорилъ съ ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Развѣ это такъ можно?—убѣждалъ папаша.—Не дай Богъ, узнаютъ въ гимназіи, васъ исключатъ. А вамъ стыдно, господинъ Чечевицынъ! Не хорошо-съ! Вы зачинщикъ и, надѣюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Развѣ это такъ можно? Вы гдѣ ночевали?

— На вокзалѣ!—гордо отвѣтилъ Чечевицынъ.

Володя потомъ лежалъ, и ему къ головѣ прикладывали полотенце, смоченное въ уксусѣ. Послали куда-то телеграмму, и на другой день пріѣхала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уѣзжалъ Чечевицынъ, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь съ дѣвочками, онъ не сказалъ ни одного слова; только взялъ у Кати тетрадку и написалъ въ знакъ памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

# ИВАНЪ МАТВѢИЧЪ.

Шестой часъ вечера. Одинъ изъ достаточно извѣстныхъ русскихъ ученыхъ—будемъ называть его просто ученымъ—сидитъ у себя въ кабинетѣ и нервно кусаетъ ногти.

— Это просто возмутительно!—говоритъ онъ, то и дѣло посматривая на часы.—Это верхъ неуваженія къ чужому времени и труду. Въ Англіи такой субъектъ не заработалъ бы ни гроша, умеръ бы съ голода! Ну, погоди же, придешь ты...

И, чувствуя потребность излить на чемъ-нибудь свой гнѣвъ и нетерпѣніе, ученый подходитъ къ двери, ведущей въ женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя,—говоритъ онъ негодующимъ голосомъ. —Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди такъ не дѣлаютъ! Это мерзость! Рекомендуетъ переписчика и не знаетъ, кого онъ рекомендуетъ! Мальчишка аккуратнѣйшимъ образомъ опаздываетъ каждый день на два, на три часа. Ну, развѣ это переписчикъ? Для меня эти два-три часа дороже, чѣмъ для другого два-три года! Придетъ онъ, я его изругаю, какъ собаку, денегъ ему не заплачу и вышвырну вонъ! Съ такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тѣмъ онъ все ходитъ и ходитъ.

— А сегодня я рѣшилъ. Достаточно ужъ я изъ-за него потерялъ. Ты извини, но я съ нимъ ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вотъ, наконецъ, слышится звонокъ. Ученый дѣлаетъ

сное лицо, выпрямляется и, закинувъ назадъ голову,
ъ въ переднюю. Тамъ, около вѣшалки, уже стоитъ его
списчикъ Иванъ Матвѣичъ, молодой человѣкъ лѣтъ во-
надцати, съ овальнымъ, какъ яйцо, безусымъ лицомъ,
поношенномъ, облѣзломъ пальто и безъ калошъ. Онъ за-
хался и старательно вытираетъ свои большіе, неуклюжіе
оги о подстилку, причемъ старается скрыть отъ гор-
чной дыру на сапогѣ, изъ которой выглядываетъ бѣлый
улокъ. Увидѣвъ ученаго, онъ, улыбается той продолжи-
ельной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бы-
ваетъ на лицахъ только у дѣтей и очень простодушныхъ
людей.

— А, здравствуйте,—говоритъ онъ, протягивая большую,
мокрую руку.—Что, прошло у васъ горло?

— Иванъ Матвѣичъ!— говоритъ ученый дрогнувшимъ
голосомъ, отступая назадъ и складывая вмѣстѣ пальцы
обѣихъ рукъ.—Иванъ Матвѣичъ!

Затѣмъ онъ подскакиваетъ къ переписчику, хватаетъ его
за плечо и начинаетъ слабо трясти.

— Что вы со мной дѣлаете!?—говоритъ онъ съ отчая-
ніемъ.—Ужасный, гадкій вы человѣкъ, что вы дѣлаете со
мной! Вы надо мной смѣетесь, издѣваетесь? Да?

Иванъ Матвѣичъ, судя по улыбкѣ, которая еще не со-
всѣмъ сползла съ его лица, ожидалъ совсѣмъ другого пріема,
и потому, увидѣвъ дышащее негодованіемъ лицо ученаго,
онъ еще больше вытягиваетъ въ длину свою овальную фи-
зіономію и въ изумленіи открываетъ ротъ.

— Что... что такое?—спрашиваетъ онъ.

— И вы еще спрашиваете!—всплескиваетъ руками уче-
ный.—Знаете, какъ дорого для меня время, и такъ опазды-
ваете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я вѣдь сейчасъ не изъ дому,—бормочетъ Иванъ Мат-
вѣичъ, нерѣшительно развязывая шарфъ. — Я у тетки на
именинахъ былъ, а тетка верстъ за шесть отсюда живетъ...
Если бы я прямо изъ дому шелъ, ну, тогда другое дѣло.

— Ну, сообразите, Иванъ Матвѣичъ, есть ли логика въ
вашихъ поступкахъ? Тутъ дѣло нужно дѣлать, дѣло срочное, а вы по именинамъ, да по теткамъ шляетесь! Ахъ, да
развязывайте поскорѣе вашъ ужасный шарфъ! Это, наконецъ, невыносимо!

Ученый опять подскакиваетъ къ переписчику и помогаетъ ему распутать шарфъ.

— Какая вы баба... Ну, идите!.. Скорѣй, пожалуйста!

Сморкаясь въ грязный, скомканный платочекъ и поправляя свой сѣренькій пиджачокъ, Иванъ Матвѣичъ идетъ черезъ залу и гостиную въ кабинетъ. Тутъ для него давно уже готово и мѣсто, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь,—подгоняетъ ученый, нетерпѣливо потирая руки.—Несносный вы человѣкъ... Знаете, что работа срочная, и такъ опаздываете. Поневолѣ браниться станешь. Ну, пишите... На чемъ мы остановились?

Иванъ Матвѣичъ приглаживаетъ свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается изъ угла въ уголъ, сосредоточивается и начинаетъ диктовать:

— Суть въ томъ... запятая... что нѣкоторыя, такъ сказать, основныя формы... написали?—формы единственно обусловливаются самой сущностью тѣхъ началъ... запятая... которыя находятъ въ нихъ свое выраженіе и могутъ воплотиться только въ нихъ... Съ новой строки... Тамъ, конечно, точка... Наиболѣе самостоятельности представляютъ... представляютъ... тѣ формы, которыя имѣютъ не столько политическій... запятая... сколько соціальный характеръ...

— Теперь у гимназистовъ другая форма... сѣрая...—говоритъ Иванъ Матвѣичъ.—Когда я учился, при мнѣ лучше было: мундиры носили...

— Ахъ, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый.—Характеръ... написали? Говоря же о преобразованіяхъ, относящихся къ устройству... государственныхъ функцій, а не регулированію народнаго быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются національностью своихъ формъ... послѣднія три слова въ ковычкахъ... Э-э... тово... Такъ что вы хотѣли сказать про гимназію?

— Что при мнѣ другую форму носили.

— Ага... такъ... А вы давно оставили гимназію?

— Да я же вамъ говорилъ вчера! Я ужъ года три какъ не учусь... Я изъ четвертаго класса вышелъ...

— А зачѣмъ вы гимназію бросили?—спрашиваетъ ученый, заглядывая въ писанье Ивана Матвѣича.

— Такъ, по домашнимъ обстоятельствамъ.

— Опять вамъ говорить, Иванъ Матвѣичъ! Когда, на-

конецъ, вы бросите вашу привычку растягивать строки? Въ строкѣ не должно быть меньше сорока буквъ!

— Что жъ, вы думаете, я это нарочно?—обижается Иванъ Матвѣичъ. — Зато въ другихъ строкахъ больше сорока буквъ... Вы сочтите. А ежели вамъ кажется, что я натягиваю, то вы можете мнѣ плату убавить.

— Ахъ, да не въ томъ дѣло! Какой вы неделикатный, право... Чуть что, сейчасъ вы о деньгахъ. Главное—аккуратность, Иванъ Матвѣичъ, аккуратность главное! Вы должны пріучать себя къ аккуратности.

Горничная вноситъ въ кабинетъ на подносѣ два стакана чаю и корзинку съ сухарями... Иванъ Матвѣичъ неловко, обѣими руками, беретъ свой стаканъ и тотчасъ же начинаетъ пить. Чай слишкомъ горячъ. Чтобы не ожечь губъ Иванъ Матвѣичъ старается дѣлать маленькіе глотки. Онъ съѣдаетъ одинъ сухарь, потомъ другой, третій и, конфузливо покосившись на ученаго, робко тянется за четвертымъ... Его громкіе глотки, аппетитное чавканье и выраженіе голодной жадности въ приподнятыхъ бровяхъ раздражаютъ ученаго.

— Кончайте скорѣй... Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу въ одно время и пить, и писать... Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пѣшкомъ ходите!

— Да... А какая нехорошая погода! Въ нашихъ краяхъ въ это время ужъ весной пахнетъ... Вездѣ лужи, снѣгъ таетъ.

— Вы вѣдь, кажется, южанинъ?

— Изъ Донской области... А въ мартѣ у насъ совсѣмъ ужъ весна. Тутъ морозъ, всѣ въ шубахъ ходятъ, а тамъ травка... вездѣ сухо и тарантуловъ даже ловить можно.

— А зачѣмъ ловить тарантуловъ?

— Такъ... отъ нечего дѣлать... — говоритъ Иванъ Матвѣичъ и вздыхаетъ. — Ихъ ловить забавно. Нацѣпишь на нитку кусочекъ смолы, опустишь смолку въ норку и начнешь смолкой бить тарантула по спинѣ, а онъ, проклятый, разсердится, схватитъ лапками за смолу, и увязнетъ... А что мы съ ними дѣлали! Накидаемъ ихъ, бывало, полный тазикъ и пустимъ къ нимъ бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паукъ есть, въ родѣ тоже какъ бы та-

рантула. Въ дракѣ онъ одинъ можетъ сто тарантуловъ убить.

— М-да... Однако, будемъ писать... На чемъ мы остановились?

Ученый диктуетъ еще строкъ двадцать, потомъ садится и погружается въ размышленіе.

Иванъ Матвѣичъ въ ожиданіи, пока тотъ надумаетъ, сидитъ и, вытягивая шею, старается привести въ порядокъ воротничокъ своей сорочки. Галстукъ сидитъ не плотно, запонки выскочили и воротникъ то и дѣло расходится.

— М-да...—говоритъ ученый.—Такъ-съ... Что, не нашли еще себѣ мѣста, Иванъ Матвѣичъ?

— Нѣтъ. Да гдѣ его найдешь? Я, знаете ли, надумалъ въ вольноопредѣляющіеся идти. А отецъ совѣтуетъ въ аптеку поступить.

— М-да... А лучше, если бы въ университетъ поступили. Экзаменъ трудный, но при терпѣніи и усидчивомъ трудѣ можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

— Признаться, мало...—говоритъ Иванъ Матвѣичъ, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нѣтъ...

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя... Нѣтъ не читалъ!

— Иванъ Матвѣичъ! И вамъ не совѣстно? Ай-ай! Такой хорошій вы малый, такъ много въ васъ оригинальнаго, и вдругъ... Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вамъ дамъ! Обязательно прочтите! Иначе мы разссоримся!

Опять наступаетъ молчаніе. Ученый полулежитъ на мягкой кушеткѣ и думаетъ, а Иванъ Матвѣичъ, оставивъ въ покоѣ воротнички, все свое вниманіе обращаетъ на сапоги. Онъ и не замѣтилъ, какъ подъ ногами отъ растаявшаго снѣга образовались двѣ большія лужи. Ему совѣстно.

— Что-то не клеится сегодня... — бормочетъ ученый.— Иванъ Матвѣичъ, вы, кажется, и птицъ любите ловить?

— Это осенью... Здѣсь я не ловлю, а тамъ, дома, всегда ловилъ.

— Такъ-съ... хорошо-съ. А писать все-таки нужно.

Ученый рѣшительно встаетъ и начинаетъ диктовать, но черезъ десять строкъ опять садится на кушетку

— Нѣтъ ужъ, вѣроятно, отложимъ до завтрашняго
а, — говоритъ онъ. — Приходите завтра утромъ, только
аньше, часамъ къ девяти. Храни васъ Богъ опоздать.
Иванъ Матвѣичъ кладетъ перо, встаетъ изъ-за стола и
ится на другой стулъ. Проходитъ минуть пять въ мол-
ии, и онъ начинаетъ чувствовать, что ему пора уходить,
онъ лишній, но въ кабинетѣ ученаго такъ уютно,
тло и тепло, и еще настолько свѣжо впечатлѣніе отъ
бныхъ сухарей и сладкаго чая, что у него сжимается
дце отъ одной мысли о домѣ. Дома—бѣдность, голодъ,
одъ, ворчунъ-отецъ, попреки, а тутъ такъ безмятежно,
о и даже интересуются его тарантулами и птицами.
Ученый смотритъ на часы и берется за книгу.
— Такъ вы дадите мнѣ Гоголя? — спрашиваетъ Иванъ
вѣичъ, поднимаясь.
— Дамъ, дамъ. Только куда же вы спѣшите, голубчикъ?
идите, разскажите что-нибудь...
Иванъ Матвѣичъ садится и широко улыбается. Почти
дый вечеръ сидитъ онъ въ этомъ кабинетѣ и всякій
ь чувствуетъ въ голосѣ и во взглядѣ ученаго что-то
быкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бы-
ъ даже минуты, когда ему кажется, что ученый при-
лся къ нему, привыкъ, и если бранитъ его за опазды-
ія, то только потому, что скучаетъ по его болтовнѣ о
антулахъ и о томъ, какъ на Дону ловятъ щеглятъ.

# БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО.

Какъ ни силенъ былъ ночью припадокъ подагры, какъ ни скрипѣли потомъ нервы, а Кистуновъ все-таки отправился утромъ на службу и своевременно началъ пріемку просителей и кліентовъ банка. Видъ у него былъ томный, замученный, и говорилъ онъ еле-еле, чуть дыша, какъ умирающій.

— Что вамъ угодно?—обратился онъ къ просительницѣ, въ допотопномъ салопѣ, очень похожей сзади на большого навознаго жука.

— Изволите ли видѣть, ваше превосходительство,— начала скороговоркой просительница:—мужъ мой, коллежскій асессоръ Щукинъ, проболѣлъ пять мѣсяцевъ, и пока онъ, извините, лежалъ дома и лѣчился, ему безъ всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьемъ, они, изволите видѣть, вычли изъ его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? спрашиваю.— «А онъ, говорятъ, изъ товарищеской кассы бралъ и за него другіе чиновники ручались». Какъ же такъ? Нешто онъ могъ безъ моего согласія брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бѣдная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная... Отъ всѣхъ обиду терплю и ни отъ кого добраго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полѣзла въ салопъ за платкомъ. Кистуновъ взялъ отъ нея прошеніе и сталъ читать.

— Позвольте, какъ же это?—пожалъ онъ плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсѣмъ къ намъ не отно-

сите́л. Вы потрудитесь обратиться въ то вѣдомство, гдѣ служилъ вашъ мужъ.

— И-и, батюшка, я въ пяти мѣстахъ уже была и вездѣ даже прошенія не взяли!—сказала Щукина.—Я ужъ и голову потеряла, да спасибо, дай Богъ здоровья зятю Борису Матвѣичу, надоумилъ къ вамъ сходить. «Вы, говоритъ, мамаша, обратитесь къ господину Кистунову: онъ вліятельный человѣкъ, для васъ все можетъ сдѣлать»... Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можемъ для васъ сдѣлать... Поймите вы: вашъ мужъ, насколько я могу судить, служилъ по военно-медицинскому вѣдомству, а наше учрежденіе совершенно частное, коммерческое, у насъ банкъ. Какъ не понять этого!

Кистуновъ еще разъ пожалъ плечами и повернулся къ господину въ военной формѣ съ флюсомъ.

— Ваше превосходительство, — пропѣла жалобнымъ голосомъ Щукина:—а что мужъ боленъ былъ, у меня докторское свидѣтельство есть! Вотъ оно, извольте поглядѣть!

— Прекрасно, я вѣрю вамъ,—сказалъ раздраженно Кистуновъ:—но, повторяю, это къ намъ не относится. Странно и даже смѣшно! Неужели вашъ мужъ не знаетъ, куда вамъ обращаться?

— Онъ, ваше превосходительство, у меня ничего не знаетъ. Зарядилъ одно: «Не твое дѣло! пошла вонъ»! да и все тутъ... А чье же дѣло? Вѣдь на моей-то шеѣ они сидятъ! На мое-ей!

Кистуновъ опять повернулся къ Щукиной и сталъ объяснять ей разницу между вѣдомствомъ военно-медицинскимъ и частнымъ банкомъ. Та внимательно выслушала его, кивнула въ знакъ согласія головой и сказала:

— Такъ, такъ, такъ... Понимаю, батюшка. Въ такомъ случаѣ, ваше превосходительство, прикажите выдать мнѣ хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уфъ! — вздохнулъ Кистуновъ, откидывая назадъ голову.—Вамъ не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться къ намъ съ подобной просьбой такъ же странно, какъ подавать прошеніе о разводѣ, напримѣръ, въ аптеку или въ пробирную палатку. Вамъ не доплатили, но мы-то тутъ при чемъ?

— Ваше превосходительство, заставьте вѣчно Бога мо-

лить, пожалѣйте меня, сироту,—заплакала Щукина.—Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И съ жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бѣгай, а тутъ еще говѣю и зять безъ мѣста... Только одна слава, что пью и ѣмъ, а сама еле на ногахъ стою... Всю ночь не спала.

Кистуновъ почувствовалъ сердцебіеніе. Сдѣлавъ страдальческое лицо и прижавъ руку къ сердцу, онъ опять началъ объяснять Щукиной, но голосъ его оборвался...

— Нѣтъ, извините, я не могу съ вами говорить,—сказалъ онъ и махнулъ рукой.—У меня даже голова закружилась. Вы и намъ мѣшаете, и время понапрасну теряете. Уфъ!.. Алексѣй Николаичъ,—обратился онъ къ одному изъ служащихъ:—объясните вы, пожалуйста, госпожѣ Щукиной!

Кистуновъ, обойдя всѣхъ просителей, отправился къ себѣ въ кабинетъ и подписалъ съ десятокъ бумагъ, а Алексѣй Николаичъ все еще возился со Щукиной. Сидя у себя въ кабинетѣ, Кистуновъ долго слышалъ два голоса: монотонный, сдержанный басъ Алексѣя Николаича и плачущій, взвизгивающій голосъ Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болѣзненная,—говорила Щукина.—На видъ, можетъ, я крѣпкая, а ежели разобрать, такъ во мнѣ ни одной жилочки нѣтъ здоровой. Еле на ногахъ стою и аппетита рѣшилась... Кофій сегодня пила, и безъ всякаго удовольствія.

А Алексѣй Николаичъ объяснялъ ей разницу между вѣдомствами и сложную систему направленія бумагъ. Скоро онъ утомился и его смѣнилъ бухгалтеръ.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистуновъ, нервно ломая пальцы и то и дѣло подходя къ графину съ водой. — Это идіотка, пробка! Меня замучила и ихъ заѣздитъ, подлая! Уфъ... сердце бьется!

Черезъ полчаса онъ позвонилъ. Явился Алексѣй Николаичъ.

— Что у васъ тамъ?—томно спросилъ Кистуновъ.

— Да никакъ не втолкуемъ, Петръ Александрычъ! Просто замучились. Мы ей про Ѳому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ея голоса слышать... Заболѣлъ я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петръ Александрычъ, пусть ее выведетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ!—испугался Кистуновъ.—Она визгъ поднметъ, а въ этомъ домѣ много квартиръ, и про насъ чортъ знаетъ что могутъ подумать... Ужъ вы, голубчикъ, какънибудь постарайтесь объяснить ей.

Черезъ минуту опять послышалось гудѣнье Алексѣя Николаича. Прошло четверть часа, и на смѣну его басу зажужжалъ сильный тенорокъ бухгалтера.

— За-мѣ-чательно подлая! — возмущался Кистуновъ, нервно вздрагивая плечами.—Глупа, какъ сивый меринъ, чортъ бы ее взялъ. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

Въ сосѣдней комнатѣ Алексѣй Николаичъ, выбившись изъ силъ, наконецъ, постучалъ пальцемъ по столу, потомъ себѣ по лбу.

— Однимъ словомъ, у васъ на плечахъ не голова,— сказалъ онъ:—а вотъ что...

— Ну, нечего, нечего...—обидѣлась старуха.—Своей женѣ постучи... Скважина! Не очень-то рукамъ волю давай.

И, глядя на нее со злобой, съ остервенѣніемъ, точно желая проглотить ее, Алексѣй Николаичъ сказалъ тихимъ, придушеннымъ голосомъ:

— Вонъ отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдругъ Щукина. — Да какъ вы смѣете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой мужъ коллежскій асессоръ! Скважина этакая! Схожу къ адвокату Дмитрію Карлычу, такъ отъ тебя званія не останется! Троихъ жильцовъ засудила, а за твои дерзкія слова ты у меня въ ногахъ наваляешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вонъ отсюда, язва!—прошипѣлъ Алексѣй Николаичъ.

Кистуновъ отворилъ дверь и выглянулъ въ присутствіе.

— Что такое?—спросилъ онъ плачущимъ голосомъ.

Щукина, красная какъ ракъ, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала въ воздухъ пальцами. Служащіе въ банкѣ стояли по сторонамъ и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство!—бросилась къ Кистунову Щукина.—Вотъ этотъ, вотъ самый... вотъ этотъ... (она указала на Алексѣя Николаича) постучалъ себѣ пальцемъ по

лбу, а потомъ по столу... Вы велѣли ему мое дѣло разобрать, а онъ насмѣхается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой мужъ коллежскій асессоръ и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня,—простоналъ Кистуновъ:—я разберу... приму мѣры... Уходите... послѣ!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мнѣ нынче деньги надобны!

Кистуновъ дрожащей рукой провелъ себя по лбу, вздохнулъ и опять началъ объяснять.

— Сударыня, я уже вамъ говорилъ. Здѣсь банкъ, учрежденіе частное, коммерческое... Что же вы отъ насъ хотите? И поймите толкомъ, что вы намъ мѣшаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Такъ, такъ...—согласилась она.—Только ужъ вы, ваше превосходительство, сдѣлайте милость, заставьте вѣчно Бога молить, будьте отцомъ роднымъ, защитите. Ежели медицинскаго свидѣтельства мало, то я могу и изъ участка удостовѣреніе представить... Прикажите выдать мнѣ деньги!

У Кистунова зарябило въ глазахъ. Онъ выдыхнулъ весь воздухъ, сколько его было въ легкихъ, и въ изнеможеніи опустился на стулъ.

— Сколько вы хотите получить?—спросилъ онъ слабымъ голосомъ.

— 24 рубля 36 копеекъ.

Кистуновъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда четвертной билетъ и подалъ его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина завернула въ платочекъ деньги, спрятала и, сморщивъ лицо въ сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на мѣсто?

— Я уѣду... боленъ...—сказалъ Кистуновъ томнымъ голосомъ.—У меня страшное сердцебіеніе.

По отъѣздѣ его, Алексѣй Николаичъ послалъ Никиту за лавровишневыми каплями, и всѣ, принявъ по 20 капель, усѣлись за работу, а Щукина потомъ часа два еще сидѣла въ передней и разговаривала со швейцаромъ, ожидая, когда вернется Кистуновъ.

Приходила она и на другой день.

# ДАМЫ.

Ѳедоръ Петровичъ, директоръ народныхъ училищъ N—ской губерніи, считающій себя человѣкомъ справедливымъ и великодушнымъ, принималъ однажды у себя въ канцеляріи учителя Временскаго.

— Нѣтъ, г. Временскій,—говорилъ онъ:—отставка неизбѣжна. Съ такимъ голосомъ, какъ у васъ, нельзя продолжать учительской службы. Да какъ онъ у васъ пропалъ?

— Я холоднаго пива, вспотѣвши, выпилъ...—прошипѣлъ учитель.

— Экая жалость! Служилъ человѣкъ четырнадцать лѣтъ, и вдругъ такая напасть! Чортъ знаетъ, изъ-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намѣрены дѣлать?

Учитель ничего не отвѣтилъ.

— Вы семейный?—спросилъ директоръ.

— Жена и двое дѣтей, ваше превосходительство...—прошипѣлъ учитель.

Наступило молчаніе. Директоръ всталъ изъ-за стола и прошелся изъ угла въ уголъ, волнуясь.

— Ума не приложу, что мнѣ съ вами дѣлать!—сказалъ онъ. — Учителемъ быть вы не можете, до пенсіи вы еще не дотянули... отпустить же васъ на произволъ судьбы, на всѣ четыре стороны, не совсѣмъ ловко. Вы для насъ свой человѣкъ, прослужили четырнадцать лѣтъ, значитъ, наше дѣло помочь вамъ... Но какъ помочь? Что я для васъ могу сдѣлать? Войдите вы въ мое положеніе: что я могу для васъ сдѣлать?

Наступило молчаніе; директоръ ходилъ и все думалъ, а Временскій, подавленный своимъ горемъ, сидѣлъ на краешкѣ стула и тоже думалъ. Вдругъ директоръ просіялъ и даже пальцами щелкнулъ.

— Удивляюсь, какъ это я раньше не вспомнилъ!—заговорилъ онъ быстро.—Послушайте, вотъ что я могу предложить вамъ... На будущей недѣлѣ письмоводитель у насъ въ пріютѣ уходитъ въ отставку. Если хотите, поступайте на его мѣсто! Вотъ вамъ!

Временскій, не ожидавшій такой милости, тоже просіялъ.

— И отлично,—сказалъ директоръ.—Сегодня же напишите прошеніе...

Отпустивъ Временскаго, Ѳедоръ Петровичъ почувствовалъ облегченіе и даже удовольствіе: передъ нимъ уже не торчала согбенная фигура шипящаго педагога, и пріятно было сознавать, что, предложивъ Временскому свободную вакансію, онъ поступилъ справедливо и по совѣсти, какъ добрый, вполнѣ порядочный человѣкъ. Но это хорошее настроеніе продолжалось недолго. Когда онъ вернулся домой и сѣлъ обѣдать, его жена, Настасья Ивановна, вдругъ вспомнила:

— Ахъ, да, чуть было не забыла! Вчера пріѣзжала ко мнѣ Нина Сергѣевна и просила за одного молодого человѣка. Говорятъ, у насъ въ пріютѣ вакансія открывается...

— Да, но это мѣсто уже другому обѣщано, — сказалъ директоръ и нахмурился. — И ты знаешь мое правило: я никогда не даю мѣстъ по протекціи.

— Я знаю, но для Нины Сергѣевны, полагаю, можно сдѣлать исключеніе. Она насъ какъ родныхъ любитъ, а мы для нея до сихъ поръ еще ничего хорошаго не сдѣлали. И не думай, Ѳедя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь, и меня.

— А кого она рекомендуетъ?

— Ползухина.

— Какого Ползухина? Это того, что на новый годъ въ собраніи Чацкаго игралъ? Джентльмена этого? Ни за что!

Директоръ пересталъ ѣсть.

— Ни за что!—повторилъ онъ.—Боже меня сохрани!

— Но почему же?

— Пойми, матушка, что ужъ ежели молодой человѣкъ дѣйствуетъ не прямо, а черезъ женщинъ, то, стало-быть, онъ дрянь! Почему онъ самъ ко мнѣ не идетъ?

Послѣ обѣда директоръ легъ у себя въ кабинетѣ на софѣ и сталъ читать полученныя газеты и письма.

«Милый Ѳедоръ Петровичъ!—писала ему жена городского головы.—Вы какъ-то говорили, что я сердцевѣдка и знатокъ людей. Теперь вамъ предстоитъ провѣрить это на дѣлѣ. Къ вамъ придетъ на-дняхъ просить мѣста письмоводителя въ нашемъ пріютѣ нѣкій К. Н. Ползухинъ, котораго я знаю за прекраснаго молодого человѣка. Юноша очень симпатиченъ. Принявъ въ немъ участіе, вы убѣдитесь», и т. д.

— Ни за что!—проговорилъ директоръ.—Боже меня сохрани!

Послѣ этого не проходило дня, чтобы директоръ не получалъ писемъ, рекомендовавшихъ Ползухина. Въ одно прекрасное утро явился и самъ Ползухинъ, молодой человѣкъ, полный, съ бритымъ, жокейскимъ лицомъ, въ новой черной парѣ...

— По дѣламъ службы я принимаю не здѣсь, а въ канцеляріи,—сказалъ сухо директоръ, выслушавъ его просьбу.

— Простите, ваше превосходительство, но наши общіе знакомые посовѣтовали мнѣ обратиться именно сюда.

— Гм!..—промычалъ директоръ, съ ненавистью глядя на его остроносые башмаки. — Насколько я знаю,— сказалъ онъ:—у вашего батюшки есть состояніе и вы не нуждаетесь, какая же вамъ надобность проситься на это мѣсто? Вѣдь жалованье грошовое!

— Я не изъ-за жалованья, а такъ... И все-таки служба казенная...

— Такъ-съ... Мнѣ кажется, черезъ мѣсяцъ же вамъ надоѣстъ эта должность и вы ее бросите, а между тѣмъ есть кандидаты, для которыхъ это мѣсто—карьера на всю жизнь. Есть бѣдняки, для которыхъ...

— Не надоѣстъ, ваше превосходительство! — перебилъ Ползухинъ.—Честное слово, я буду стараться!

Директора взорвало.

— Послушайте,—спросилъ онъ, презрительно улыбаясь:— почему вы не обратились сразу ко мнѣ, а нашли нужнымъ предварительно безпокоить дамъ?

— Я не зналъ, что это для васъ будетъ непріятно, — отвѣтилъ Ползухинъ и сконфузился.—Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значенія рекомендательнымъ письмамъ, то я могу вамъ представить аттестаціи...

Онъ досталъ изъ кармана бумагу и подалъ ее директору. Подъ аттестаціей, написанной канцелярскимъ слогомъ и почеркомъ, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернаторъ подписалъ не читая, лишь бы только отдѣлаться отъ какой-нибудь навязчивой барыни.

— Нечего дѣлать, преклоняюсь... слушаю-съ...—сказалъ директоръ, прочитавъ аттестацію, и вздохнулъ.—Подавайте завтра прошеніе... Нечего дѣлать...

И когда Ползухинъ ушелъ, директоръ весь отдался чувству отвращенія.

— Дрянь! — шипѣлъ онъ, шагая изъ угла въ уголъ.— Добился-таки своего, негодный шаркунъ, бабій угодникъ! Гадина! Тварь!

Директоръ громко плюнулъ въ дверь, за которой скрылся Ползухинъ, и вдругъ сконфузился, потому что въ это время входила къ нему въ кабинетъ барыня, жена управляющаго казенной палаты...

— Я на минутку, на минутку...—начала барыня.—Садитесь, кумъ, и слушайте меня внимательно... Ну-съ, говорятъ, у васъ есть свободная вакансія... Завтра или сегодня будетъ у васъ молодой человѣкъ, нѣкто Ползухинъ...

Барыня щебетала, а директоръ глядѣлъ на нее мутными, осовѣлыми глазами, какъ человѣкъ, собирающійся упасть въ обморокъ, глядѣлъ и улыбался изъ приличія.

А на другой день, принимая у себя въ канцеляріи Временскаго, директоръ долго не рѣшался сказать ему правду. Онъ мялся, путался и не находилъ, съ чего начать, что сказать. Ему хотѣлось извиниться передъ учителемъ, разсказать ему всю сущую правду, но языкъ заплетался, какъ у пьянаго, уши горѣли и стало вдругъ обидно и досадно, что приходится играть такую нелѣпую роль—въ своей канцеляріи, передъ своимъ подчиненнымъ. Онъ вдругъ ударилъ по столу, вскочилъ и закричалъ сердито:

— Нѣтъ у меня для васъ мѣста! Нѣтъ и нѣтъ! Оставьте меня въ покоѣ! Не мучайте меня! Отстаньте отъ меня, наконецъ, сдѣлайте одолженіе!

И вышелъ изъ канцеляріи.

# ПОЛИНЬКА.

Второй часъ дня. Въ галантерейномъ магазинѣ «Парижскія Новости», что въ одномъ изъ пассажей, торговля въ разгарѣ. Слышенъ монотонный гулъ приказчичьихъ голосовъ, гулъ, какой бываетъ въ школѣ, когда учитель заставляетъ всѣхъ учениковъ зубрить что-нибудь вслухъ. И этого однообразнаго шума не нарушаютъ ни смѣхъ дамъ, ни стукъ входной стеклянной двери, ни бѣготня мальчиковъ.

Посреди магазина стоитъ Полинька, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной мастерской, маленькая, худощавая блондинка, и ищетъ кого-то глазами. Къ ней подбѣгаетъ чернобровый мальчикъ и спрашиваетъ, глядя на нее очень серьезно:

— Что прикажете, сударыня?

— Со мной всегда Николай Тимофеичъ занимается,— отвѣчаетъ Полинька.

А приказчикъ Николай Тимофеичъ, стройный брюнетъ, завитой, одѣтый по модѣ, съ большой булавкой на галстукѣ, уже расчистилъ мѣсто на прилавкѣ, вытянулъ шею и съ улыбкой глядитъ на Полиньку.

— Пелагея Сергѣевна, мое почтеніе!—кричитъ онъ хорошимъ, здоровымъ баритономъ.—Пожалуйте!

— А, здрасте, говоритъ Полинька, подходя къ нему. — Видите, я опять къ вамъ... Дайте мнѣ аграманту какого-нибудь.

— Для чего вамъ собственно?

— Для лифчика, для спинки, однимъ словомъ на весь гарнитурчикъ.

— Сію минуту.

Николай Тимофеичъ кладетъ передъ Полинькой нѣсколько сортовъ аграманта; та лѣниво выбираетъ и начинаетъ торговаться.

— Помилуйте, рубль вовсе не дорого!—убѣждаетъ приказчикъ, снисходительно улыбаясь.—Это аграмантъ французскій, восьмигранный... Извольте, у насъ есть обыкновенный, вѣсовой... Тотъ 45 копѣекъ аршинъ, это ужъ не то достоинство! Помилуйте-съ!

— Мнѣ еще нуженъ стеклярусный бокъ съ аграмантными пуговицами,—говоритъ Полинька, нагибаясь надъ аграмантомъ, и почему-то вздыхаетъ. — А не найдутся ли у васъ подъ этотъ цвѣтъ стеклярусныя бонбошки?

— Есть-съ.

Полинька еще ниже нагибается къ прилавку и тихо спрашиваетъ:

— А зачѣмъ это вы, Николай Тимофеичъ, въ четвергъ ушли отъ насъ такъ рано?

— Гм!.. Странно, что вы это замѣтили,—говоритъ приказчикъ съ усмѣшкой.—Вы такъ были увлечены господиномъ студентомъ, что... странно, какъ это вы замѣтили!

Полинька вспыхиваетъ и молчитъ. Приказчикъ съ нервной дрожью въ пальцахъ закрываетъ коробки и безъ всякой надобности ставитъ ихъ одна на другую. Проходитъ минута въ молчаніи.

— Мнѣ еще стеклярусныхъ кружевъ,—говоритъ Полинька, поднимая виноватые глаза на приказчика.

— Какихъ вамъ? Стеклярусныя кружева по тюлю черныя и цвѣтныя—самая модная отдѣлка.

— А почемъ они у васъ?

— Черныя отъ 80 копеекъ, а цвѣтныя на 2 р. 50 к. А къ вамъ я больше никогда не приду-съ, — тихо добавляетъ Николай Тимофеичъ.

— Почему?

— Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. Съ какой стати мнѣ себя мучить? Странное дѣло! Нешто мнѣ пріятно видѣть, какъ этотъ студентъ около васъ разыгрываетъ роль-съ? Вѣдь я все вижу и понимаю. Съ самой осени онъ за вами ухаживаетъ по-настоящему и почти каждый день вы съ нимъ гуляете, а когда онъ у васъ въ гостяхъ сидитъ, такъ вы въ него впившись глазами, словно въ ан-

гола какого-нибудь. Вы въ него влюблены, для васъ лучше и человѣка нѣтъ, какъ онъ, ну и отлично, нечего и разговаривать...

Полинька молчитъ и въ замѣшательствѣ водитъ пальцемъ по прилавку.

— Я все отлично вижу, — продолжалъ приказчикъ. — Какой же мнѣ резонъ къ вамъ ходить? У меня самолюбіе есть. Не всякому пріятно пятымъ колесомъ въ возу быть. Чего вы спрашивали-то?

— Мнѣ мамаша много кой-чего велѣла взять, да я забыла. Еще плюмажу нужно.

— Какого прикажете?

— Получше, какой моднѣй.

— Самый модный теперь изъ птичьяго пера. Цвѣтъ, ежели желаете, модный теперь геліотропъ, или цвѣтъ канакъ, то-есть бордо съ желтымъ. Выборъ громадный. А къ чему вся эта исторія клонится, я рѣшительно не понимаю. Вы вотъ влюбившись, а чѣмъ это кончится?

На лицѣ Николая Тимофеича около глазъ выступили красныя пятна. Онъ мнетъ въ рукахъ нѣжную пушистую тесьму и продолжаетъ бормотать:

— Воображаете за него замужъ выйти, что ли? Ну, насчетъ этого—оставьте ваше воображеніе. Студентамъ запрещается жениться, да и развѣ онъ къ вамъ затѣмъ ходитъ, чтобы все честнымъ образомъ кончить? Какъ же! Вѣдь они, студенты эти самые, насъ и за людей не считаютъ... Ходятъ они къ купцамъ да къ модисткамъ только затѣмъ, чтобъ надъ необразованностью посмѣяться и пьянствовать. У себя дома, да въ хорошихъ домахъ стыдно пить, ну, а у такихъ простыхъ, необразованныхъ людей, какъ мы, некого имъ стыдиться, можно и вверхъ ногами ходить. Да-съ! Такъ какого же вы плюмажу возьмете? А ежели онъ за вами ухаживаетъ и въ любовь играетъ, то извѣстно зачѣмъ... Когда станетъ докторомъ или адвокатомъ, будетъ вспоминать: «Эхъ, была у меня, скажетъ, когда-то блондиночка одна! Гдѣ-то она теперь»? Небось и теперь ужъ тамъ, у себя, среди студентовъ, хвалится, что у него модисточка есть на примѣтѣ.

Полинька садится на стулъ и задумчиво глядитъ на гору бѣлыхъ коробокъ.

— Нѣтъ, ужъ я не возьму плюмажу!—вздыхаетъ она.—

Пусть сама мамаша беретъ, какого хочетъ, а я ошибиться могу. Мнѣ вы дайте шесть аршинъ бахромы для дипломата, что по 40 копеекъ аршинъ. Для того же дипломата дадите пуговицъ кокосовыхъ, съ насквозь прошивными ушками... чтобы покрѣпче держались...

Николай Тимофеичъ заворачиваетъ ей и бахромы, и пуговицъ. Она виновато глядитъ ему въ лицо и видимо ждетъ, что онъ будетъ продолжать говорить, но онъ угрюмо молчитъ и приводитъ въ порядокъ плюмажъ.

— Не забыть бы еще для капота пуговицъ взять...—говоритъ она послѣ нѣкотораго молчанія, утирая платкомъ блѣдныя губы.

— Какихъ вамъ?

— Для купчихи шьемъ, значитъ, дайте что-нибудь выдающееся изъ ряда обыкновеннаго...

— Да, если купчихѣ, то нужно выбирать попестрѣе. Вотъ-съ пуговицы. Сочетаніе цвѣтовъ синяго, краснаго и моднаго золотистаго. Самыя глазастыя. Кто поделикатнѣе, тѣ берутъ у насъ черныя матовыя съ однимъ блестящимъ ободочкомъ. Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете разсудить? Ну, къ чему поведутъ эти... прогулки?

— Я сама не знаю...—шепчетъ Полинька, и нагибается къ пуговицамъ.—Я сама не знаю, Николай Тимофеичъ, что со мной дѣлается.

За спиной Николая Тимофеича, прижавъ его къ прилавку, протискивается солидный приказчикъ съ бакенами и, сіяя самою утонченною галантностью, кричитъ:

— Будьте любезны, мадамъ, пожаловать въ это отдѣленіе! Кофточки джерсе имѣются три номера: гладкая, сутажетъ и со стеклярусомъ! Какую вамъ прикажете?

Одновременно около Полиньки проходитъ толстая дама, которая говоритъ густымъ низкимъ голосомъ, почти басомъ:

— Только пожалуйста, чтобъ онѣ были безъ спивокъ, а тканыя, и чтобъ пломба была вваленная.

— Дѣлайте видъ, что товаръ осматриваете, — шепчетъ Николай Тимофеичъ, наклоняясь къ Полинькѣ и насильно улыбаясь.—Вы, Богъ съ вами, какая-то блѣдная и больная, совсѣмъ изъ лица измѣнились. Броситъ онъ васъ Пелагея Сергѣевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а съ голода, на деньги ваши польстится. Сдѣлаетъ себѣ на приданое приличную обстановку, а потомъ стыдиться васъ

ет. Отъ гостей и товарищей будетъ васъ прятать, по-у что вы не образованная, такъ и будетъ говорить: моя алда. Развѣ вы можете держать себя въ докторскомъ адвокатскомъ обществѣ? Вы для нихъ модистка, невѣственное существо.

– Николай Тимофеичъ! — кричитъ кто-то съ другого ца магазина.—Вотъ мадемуазель просятъ три аршина ты съ нико! Есть у насъ?

Николай Тимофеичъ поворачивается въ сторону, оскалетъ свое лицо и кричитъ:

– Есть-съ! Есть ленты съ нико, атаманъ съ атласомъ тласъ съ муаромъ!

– Кстати, чтобъ не забыть, Оля просила взять для нея сетъ!—говоритъ Полинька.

– У васъ на глазахъ... слезы! —пугается Николай Тиеичъ... — Затѣмъ это? Пойдемте къ корсетамъ, я васъ рожу, а то неловко.

Насильно улыбаясь и съ преувеличенною развязностью, казчикъ быстро ведетъ Полиньку къ корсетному отдѣю и прячетъ ее отъ публики за высокую пирамиду изъ обокъ...

– Вамъ какой прикажете корсетъ?—громко спрашиваонъ и тутъ же шепчетъ: Утрите глаза!

– Мнѣ... мнѣ въ 48 сантиметровъ! Только, пожалуйста, просила двойной съ подкладкой... съ настоящимъ кимъ усомъ... Мнѣ поговорить съ вами нужно, Николай офеичъ. Приходите нынче!

– О чемъ же говорить? Не о чемъ говорить.

– Вы одинъ только... меня любите и, кромѣ васъ, не кѣмъ мнѣ поговорить.

– Не камышъ, не кости, а настоящій китовый усъ... О ь же намъ говорить? Говорить не о чемъ... Вѣдь пойсъ нимъ сегодня гулять?

– По...пойду.

– Ну, такъ о чемъ же тутъ говорить? Не поможешь оворами... Влюблены вѣдь?

– Да...—шепчетъ нерѣшительно Полинька, и изъ глазъ брызжутъ крупныя слезы.

– Какіе же могутъ быть разговоры?—бормочетъ Нико-Тимофеичъ, нервно пожимая плечами и блѣднѣя.—Н

какихъ разговоровъ и не нужно... Утрите глаза, вотъ и в
Я... я ничего не желаю...

Въ это время къ пирамидѣ изъ коробокъ подходитъ
сокій, тощій приказчикъ и говоритъ своей покупательни

— Не угодно ли, прекрасный эластикъ для подвяз
не останавливающій крови, признанный медициной...

Николай Тимофеичъ загораживаетъ Полиньку и, стара
скрыть ея и свое волненіе, морщитъ лицо въ улыбку
громко говоритъ:

— Есть два сорта кружевъ, сударыня! Бумажныя и ш
ковыя! Оріенталь, британскія, валенсьенъ, кроше, торшон
это бумажныя-съ, а рококо, сутажетъ, камбре—это шел
выя... Ради Бога, утрите слезы! Сюда идутъ!

И видя, что слезы все еще текутъ, онъ продолжа
еще громче:

— Испанскія, рококо, сутажетъ, камбре... Чулки фел
косовые, бумажные, шелковые...

# ПРИДАНОЕ.

Много я видалъ на своемъ вѣку домовъ, большихъ и малыхъ, каменныхъ и деревянныхъ, старыхъ и новыхъ, но особенно врѣзался мнѣ въ память одинъ домъ. Это, впрочемъ, не домъ, а домикъ. Онъ малъ, въ одинъ маленькій этажъ и въ три окна, и ужасно похожъ на маленькую, горбатую старушку въ чепцѣ. Оштукатуренный въ бѣлый цвѣтъ, съ черепичной крышей и ободранной трубой, онъ весь утонулъ въ зелени шелковицъ, акацій и тополей, посаженныхъ дѣдами и прадѣдами теперешнихъ хозяевъ. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мѣшаетъ ему, впрочемъ, быть городскимъ домикомъ. Его широкій дворъ стоитъ въ рядъ съ другими, тоже широкими зелеными дворами, и входитъ въ составъ Московской улицы. Никто по этой улицѣ никогда не ѣздитъ, рѣдко кто ходитъ.

Ставни въ домикѣ постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются въ свѣтѣ. Свѣтъ имъ не нуженъ. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любятъ свѣжаго воздуха. Люди, постоянно живущіе среди шелковицъ, акацій и репейника, равнодушны къ природѣ. Однимъ только дачникамъ Богъ далъ способность понимать красоты природы, остальное же человѣчество относительно этихъ красотъ коснѣетъ въ глубокомъ невѣжествѣ. Не цѣнятъ люди того, чѣмъ богаты. «Что имѣемъ, не хранимъ»; мало того,—что имѣемъ, того не любимъ. Вокругъ домика рай земной, зелень, живутъ веселыя птицы, въ домикѣ же, — увы! Лѣтомъ въ немъ знойно и душно, зимою — жарко, какъ въ банѣ, угарно и скучно, скучно...

Въ первый разъ посѣтилъ я этотъ домикъ уже давно, по дѣлу: я привезъ поклонъ отъ хозяина дома, полковника Чикамасова, его женѣ и дочери. Это первое мое посѣщеніе я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себѣ маленькую, сырую женщину, лѣтъ сорока, съ ужасомъ и изумленіемъ глядящую на васъ въ то время, когда вы входите изъ передней въ залу. Вы «чужой», гость, «молодой человѣкъ»—и этого уже достаточно, чтобы повергнуть въ изумленіе и ужасъ. Въ рукахъ у васъ нѣтъ ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но васъ встрѣчаютъ тревогой.

— Кого я имѣю честь и удовольствіе видѣть?—спрашиваетъ васъ дрожащимъ голосомъ пожилая женщина, въ которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачѣмъ пришли. Ужасъ и изумленіе смѣняются пронзительнымъ, радостнымъ «ахъ!» и закатываніемъ глазъ. Это «ахъ», какъ эхо, передается изъ передней въ залъ, изъ зала въ гостиную, изъ гостиной въ кухню... и такъ до самаго погреба. Скоро весь домикъ наполняется разноголосыми, радостными «ахъ». Минутъ черезъ пять вы сидите въ гостиной, на большомъ, мягкомъ, горячемъ диванѣ и слышите, какъ ахаетъ ужъ вся Московская улица.

Пахло порошкомъ отъ моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые въ платочекъ, лежали возлѣ меня на стулѣ. На окнахъ герань, кисейныя тряпочки. На тряпочкахъ сытыя мухи. На стѣнѣ портретъ какого-то архіерея, написанный масляными красками и прикрытый стекломъ съ разбитымъ уголышкомъ. Отъ архіерея идетъ рядъ предковъ съ желто-лимонными, цыганскими физіономіями. На столѣ наперстокъ, катушка нитокъ и недовязанный чулокъ, на полу выкройки и черная кофточка съ живыми нитками. Въ сосѣдней комнатѣ двѣ встревоженныя, оторопѣвшія старухи хватаютъ съ пола выкройки и куски ланкорта...

— У насъ, извините, ужасный безпорядокъ!—сказала Чикамасова.

Чикамасова бесѣдовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали выкройки. Дверь тоже какъ-то конфузливо, то отворялась на вершокъ, то затворялась.

— Ну, что тебѣ? — обратилась Чикамасова къ двери.

— Où est mon cravatte, lequel mon père m'avait envoyé de Koursk?—спросилъ за дверью женскій голосокъ.

— Ah, est ce que, Marie, que... Ахъ, развѣ можно... Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous... Спроси у Лукерьи...

«Однако, какъ хорошо говоримъ мы по-французски!» — прочелъ я въ глазахъ у Чикамасовой, покраснѣвшей отъ удовольствія.

Скоро отворилась дверь, и я увидѣлъ высокую худую дѣвицу, лѣтъ девятнадцати, въ длинномъ кисейномъ платьѣ и золотомъ поясѣ, на которомъ, помню, висѣлъ перламутровый вѣеръ. Она вошла, присѣла и вспыхнула. Вспыхнулъ сначала ея длинный, нѣсколько рябоватый носъ, съ носа пошло къ глазамъ, отъ глазъ къ вискамъ.

— Моя дочь! —пропѣла Чикамасова. — А это, Манечка, молодой человѣкъ, который...

Я познакомился и выразилъ свое удивленіе по поводу множества выкроекъ. Мать и дочь опустили глаза.

— У насъ на Вознесенье была ярмарка, — сказала мать. — На ярмаркѣ мы всегда накупаемъ матерій и шьемъ потомъ цѣлый годъ до слѣдующей ярмарки. Въ люди шитье мы никогда не отдаемъ. Мой Петръ Степанычъ достаетъ не особенно много, и намъ нельзя позволять себѣ роскошь. Приходится самимъ шить.

— Но кто же у васъ носитъ такую массу? Вѣдь васъ только двое.

— Ахъ... развѣ это можно носить? Это не носить! Это — приданое!

— Ахъ, maman, что вы? — сказала дочь и зарумянилась.—Они и въ правду могутъ подумать... Я никогда не выйду замужъ! Никогда!

Сказала это, а у самой при словѣ «замужъ» загорѣлись глазки.

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потомъ покормили малиной со сливками. Въ семь часовъ вечера былъ ужинъ изъ шести блюдъ, и во время этого ужина я услышалъ громкій зѣвокъ; кто-то громко зѣвнулъ въ сосѣдней комнатѣ. Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на дверь: такъ зѣвать можетъ только мужчина.

— Это братъ Петра Семеныча, Егоръ Семенычъ...—пояснила Чикамасова, замѣтивъ мое удивленіе.—Онъ живетъ у насъ съ прошлаго года. Вы извините его, онъ не можетъ выйти къ вамъ. Дикарь такой... конфузится чужихъ... Въ монастырь собирается... На службѣ огорчили его... Такъ вотъ съ горя...

Послѣ ужина Чикамасова показала мнѣ епитрахиль, которую собственноручно вышивалъ Егоръ Семенычъ, чтобы потомъ пожертвовать въ церковь. Манечка сбросила съ себя на минуту робость и показала мнѣ кисетъ, который она вышивала для своего папаши. Когда я сдѣлалъ видъ, что пораженъ ея работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просіяла и предложила мнѣ пойти съ ней въ кладовую. Въ кладовой я увидѣлъ штукъ пять большихъ сундуковъ и множество сундучковъ и ящичковъ.

— Это... приданое!—шепнула мнѣ мать.—Сами нашили.

Поглядѣвъ на эти угрюмые сундуки, я сталъ прощаться съ хлѣбосольными хозяевами. И съ меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мнѣ сдержать лѣтъ черезъ семь послѣ перваго моего посѣщенія, когда я посланъ былъ въ городокъ, въ качествѣ эксперта по одному судебному дѣлу. Зайдя въ знакомый домикъ, я услыхалъ тѣ же аханья... Меня узнали... Еще бы! Мое первое посѣщеніе въ жизни ихъ было цѣлымъ событіемъ, а событія тамъ, гдѣ ихъ мало, помнятся долго. Когда я вошелъ въ гостиную, мать, еще болѣе потолстѣвшая и уже посѣдѣвшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю матерію; дочь сидѣла на диванѣ и вышивала. Тѣ же выкройки, тотъ же запахъ порошка отъ моли, тотъ же портретъ съ разбитымъ уголышкомъ. Но перемѣны все-таки были. Возлѣ архіерейскаго портрета висѣлъ портретъ Петра Семеныча и дамы были въ траурѣ. Петръ Семенычъ умеръ черезъ недѣлю послѣ производства своего въ генералы.

Начались воспоминанія... Генеральша всплакнула.

— У насъ большое горе!—сказала она.—Петра Семеныча—вы знаете?—уже нѣтъ. Мы съ ней сироты и сами должны о себѣ заботиться. А Егоръ Семенычъ живъ, но мы не можемъ сказать о немъ ничего хорошаго. Въ монастырь его не приняли за... за горячіе напитки. И онъ пьетъ теперь еще больше съ горя. Я собираюсь съѣздить къ пред-

водителю, хочу жаловаться. Вообразите, онъ нѣсколько разъ открывалъ сундуки и... забиралъ Манечкино приданое и жертвовалъ его странникамъ. Изъ двухъ сундуковъ все повытаскалъ! Если такъ будетъ продолжаться, то моя Манечка останется совсѣмъ безъ приданаго...

— Что вы говорите, maman!—сказала Манечка и сконфузилась.—Они и взаправду могутъ Богъ знаетъ что подумать... Я никогда, никогда не выйду замужъ!

Манечка вдохновенно, съ надеждой глядѣла въ потолокъ и видимо не вѣрила въ то, что говорила.

Въ передней юркнула маленькая мужская фигурка съ большой лысиной и въ коричневомъ сюртукѣ, въ калошахъ вмѣсто сапогъ, и прошуршала, какъ мышь.

«Егоръ Семенычъ, должно-быть»,—подумалъ я.

Я смотрѣлъ на мать и дочь вмѣстѣ: обѣ онѣ страшно постарѣли и осунулись. Голова матери отливала серебромъ, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лѣтъ на пять, не больше.

— Я собираюсь съѣздить къ предводителю,—сказала мнѣ старуха, забывши, что уже говорила объ этомъ.—Хочу жаловаться! Егоръ Семенычъ забираетъ у насъ все, что мы нашиваемъ, и куда-то жертвуетъ за спасеніе души. Моя Манечка осталась безъ приданаго!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.

— Приходится все снова шить, а вѣдь мы не Богъ знаетъ какія богачки! Мы съ ней сироты!

— Мы сироты!—повторила Манечка.

Въ прошломъ году судьба опять забросила меня въ знакомый домикъ. Войдя въ гостиную, я увидѣлъ старушку Чикамасову. Она, одѣтая во все черное, съ плерезами, сидѣла на диванѣ и шила что-то. Рядомъ съ ней сидѣлъ старичокъ въ коричневомъ сюртукѣ и въ калошахъ вмѣсто сапогъ. Увидѣвъ меня, старичокъ вскочилъ и побѣжалъ вонъ изъ гостиной...

Въ отвѣтъ на мое привѣтствіе старушка улыбнулась и сказала:

— Je suis charmée de vous revoir, monsieur.

— Что вы шьете?—спросилъ я, немного погодя.

— Это рубашечка. Я сошью и отнесу къ батюшкѣ спрятать, а то Егоръ Семенычъ унесетъ. Я теперь все прячу у батюшки,—сказала она шопотомъ.

И взглянувъ на портретъ дочери, стоявшій передъ ней на столѣ, она вздохнула и сказала:

— Вѣдь мы сироты!

А гдѣ же дочь? Гдѣ же Манечка? Я не разспрашивалъ; не хотѣлось разспрашивать старушку, одѣтую въ глубокій трауръ, и пока я сидѣлъ въ домикѣ и потомъ уходилъ, Манечка не вышла ко мнѣ, я не слышалъ ни ея голоса, ни ея тихихъ, робкихъ шаговъ... Было все понятно и было такъ тяжело на душѣ.

# СВАДЬБА.

Шаферъ въ цилиндрѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, запыхавшись, сбрасываетъ въ передней пальто и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сообщить что-то страшное, вбѣгаетъ въ залъ.

Женихъ уже въ церкви! — объявляетъ онъ, тяжело переводя духъ.

Наступаетъ тишина. Всѣмъ вдругъ становится грустно.

Отецъ невѣсты, отставной подполковникъ, съ тощимъ, испитымъ лицомъ, чувствуя, вѣроятно, что его куцая, военная фигурка въ рейтузахъ недостаточно торжественна, солидно надуваетъ щеки и выпрямляется. Онъ беретъ со столика образъ. Его жена, маленькая старушка въ тюлевомъ чепцѣ съ широкими лентами, беретъ хлѣбъ-соль и становится рядомъ съ нимъ. Начинается благословеніе.

Невѣста Любочка безшумно, какъ тѣнь, опускается передъ отцомъ на колѣни, и ея фата волнуется при этомъ и цѣпляется, за цвѣты, разбросанные по платью, и изъ прически выбивается нѣсколько шпилекъ. Поклонившись образу и поцѣловавшись съ отцомъ, который еще сильнѣе надуваетъ щеки, Любочка опускается передъ матерью; фата ея опять цѣпляется, и двѣ барышни, взволнованныя, подбѣгаютъ къ ней, обдергиваютъ, поправляютъ, прикалываютъ булавками...

Тишина, всѣ молчатъ, не шевелятся; только одни шафера, какъ горячія пристяжныя, нетерпѣливо переминаются съ ноги на ногу, точно ждутъ, когда имъ позволено будетъ сорваться съ мѣста.

— Кто повезетъ образъ?—слышится тревожный шопотъ.—Спира, гдѣ ты? Спира!

— Цичасъ!—отвѣчаетъ изъ передней дѣтскій голосъ.

— Богъ съ вами, Дарья Даниловна!—кто-то вполголоса утѣшаетъ старуху, которая припала къ дочери лицомъ и всхлипываетъ.—Да развѣ можно плакать, Христосъ съ вами? Надо радоваться, душенька, а не плакать.

Благословеніе кончается. Любочка, блѣдная, такая торжественная, строгая на видъ, цѣлуется со своими подругами, и послѣ этого всѣ съ шумомъ, толкая другъ друга, устремляются въ переднюю. Шафера съ тревожной спѣшкой, крича безъ всякой надобности «pardon», одѣваютъ невѣсту.

— Любочка, дай я на тебя хоть еще разочекъ посмотрю!—стонетъ старуха.

— Ахъ, Дарья Даниловна! — вздыхаетъ кто-то укоризненно. — Радоваться надо, а вы это Богъ знаетъ что выдумали...

— Спира! Да гдѣ же ты? Спира! Наказаніе съ этимъ мальчишкой! Иди впередъ!

— Цичасъ!

Одинъ изъ шаферовъ беретъ шлейфъ невѣсты, и процессія начинаетъ спускаться внизъ. На перилахъ лѣстницы и на косякахъ всѣхъ дверей виснутъ чужія горничныя и няньки; онѣ пожираютъ глазами невѣсту, слышится ихъ одобрительное жужжанье. Въ заднихъ рядахъ раздаются тревожные голоса: кто-то что-то забылъ, у кого-то невѣстинъ букетъ; дамы взвизгиваютъ, умоляя не дѣлать чего-то, потому что «примѣта есть».

У подъѣзда уже давно ждутъ карета и коляска. На лошадиныхъ гривахъ бумажные цвѣты и у всѣхъ кучеровъ руки перевязаны около плечъ цвѣтными платками. На козлахъ кареты сидитъ чудо-богатырь съ широкой окладистой бородой, въ новомъ кафтанѣ. Его протянутыя впередъ руки съ сжатыми кулаками, откинутая назадъ голова, необычайно широкія плечи, придаютъ ему не человѣческій, не живой видъ; весь онъ точно окаменѣлъ...

— Тпррр!—говоритъ онъ тонкимъ голосомъ и тотчасъ же добавляетъ густымъ басомъ:—шалишь! (отчего и кажется, что въ его широкой шеѣ два горла).—Тпррр! Шалишь!

Улица по обѣ стороны запружена публикой.

— Пода-ай! — кричатъ шафера, хотя подавать нечего, такъ какъ карета давно уже подана. Спира съ образомъ, невѣста и двѣ подруги садятся въ карету. Дверца хлопаетъ, и улица оглашается грохотомъ кареты.

— Коляску шаферамъ! пода-ай!

Шафера прыгаютъ въ коляску и, когда она трогается съ мѣста, приподнимаются и, корчась какъ въ судорогахъ, натягиваютъ на себя свои пальто. Подаются слѣдующіе экипажи.

— Софья Денисовна, садитесь!—слышатся голоса.—Пожалуйте и вы, Николай Миронычъ! Тпррр! Не безпокойтесь, барышня, всѣмъ будетъ мѣсто! Берегись!

— Слышишь, Макаръ!—кричитъ отецъ невѣсты.—Назадъ изъ церкви поѣзжайте другой дорогой! Примѣта есть!

Экипажи гремятъ по мостовой, шумъ, крики... Наконецъ, всѣ уѣхали, стало опять тихо. Отецъ невѣсты возвращается въ домъ; въ залѣ лакеи убираютъ столъ, въ сосѣдней темной комнаткѣ, которую всѣ въ домѣ называютъ «проходной», сморкаются музыканты, всюду суета, бѣготня, но ему кажется, что въ домѣ пусто. Солдаты-музыканты копошатся въ своей маленькой, темной комнаткѣ, все никакъ не могутъ помѣститься со своими громоздкими пюпитрами и инструментами. Пришли они недавно, но уже воздухъ въ «проходной» сталъ замѣтно гуще, нѣтъ никакой возможности дышать. Ихъ «старшой» Осиповъ, у котораго отъ старости усы и бакены сбились въ наклю, стоитъ передъ пюпитромъ и сердито глядитъ въ ноты.

— А тебѣ, Осиповъ, сносу нѣтъ:—говоритъ подполковникъ.—Сколько лѣтъ я тебя уже знаю? Лѣтъ двадцать!

— Больше, ваше высокоблагородіе. На вашей свадьбѣ играли, ежели изволите помнить.

— Да, да...—вздыхаетъ подполковникъ и задумывается.—Такая братъ исторія... Сыновей, слава Богу, поженилъ, теперь вотъ дочку выдаю, и остаемся мы со старухой сироты... Нѣту у насъ теперь дѣтокъ. На чистоту раздѣлались.

— Кто знаетъ? Можетъ, Ефимъ Петровичъ, вамъ Богъ еще пошлетъ, ваше высокоблагородіе...

Ефимъ Петровичъ съ удивленіемъ глядитъ на Осипова и смѣется въ кулакъ.

— Еще?—спрашиваетъ онъ.—Какъ ты сказалъ? Дѣтей еще Богъ пошлетъ? Мнѣ-то?

Онъ давится отъ смѣха, и слезы у него выступаютъ на глазахъ; музыканты изъ вѣжливости тоже смѣются. Ефимъ Петровичъ ищетъ глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказалъ Осиповъ, но она сама уже летитъ прямо на него, стремительно, сердитая, съ заплаканными глазами.

— Бога ты не боишься, Ефимъ Петровичъ! — говоритъ она, всплескивая руками. — Мы ищемъ, ищемъ ромъ, съ ногъ сбились, а ты тутъ стоишь! Гдѣ ромъ? Николай Миронычъ не можетъ безъ рома, а тебѣ горюшка мало! Поди, узнай у Игната, куда онъ ромъ поставилъ!

Ефимъ Петровичъ идетъ въ подвальный этажъ, гдѣ помѣщается кухня. По грязной лѣстницѣ снуютъ бабы и лакеи. Молодой солдатъ, накинувъ мундиръ на одно плечо, упершись колѣномъ о ступень и вертитъ мороженицу; потъ течетъ съ его краснаго лица. Въ темной и тѣсной кухнѣ, въ облакахъ дыма, работаютъ повара, взятые напрокатъ изъ клуба. Одинъ потрошитъ каплуна, другой дѣлаетъ изъ морковки звѣздочки, третій, красный какъ кумачъ, суетъ въ печь противень. Ножи стучатъ, посуда звенитъ, масло шипитъ. Попавъ въ этотъ адъ, Ефимъ Петровичъ забываетъ, о чемъ говорила ему старуха.

— А вамъ здѣсь, братцы, не тѣсно?—спрашиваетъ онъ.

— Ничего-съ, Ефимъ Петровичъ. Въ тѣснотѣ да не въ обидѣ, будьте покойны-съ...

— Ужъ вы постарайтесь, ребята.

Въ темномъ углу выростаетъ фигура Игната, буфетчика изъ клуба.

— Будьте покойны-съ, Ефимъ Петровичъ! — говоритъ онъ.—Все предоставимъ въ лучшемъ видѣ. Съ чѣмъ прикажете дѣлать мороженое: съ ромомъ, съ го-сотерномъ или безъ ничего?

Вернувшись въ комнаты, Ефимъ Петровичъ долго слоняется по комнатамъ, потомъ останавливается въ дверяхъ «проходной» и опять заводитъ разговоръ съ Осиповымъ.

— Такъ-то, братъ...—говоритъ онъ.—Сиротами остаемся. Покуда новый домъ не высохнетъ, молодые съ нами поживутъ, а тамъ прощайте! Только мы ихъ и видѣли...

Оба вздыхаютъ... Музыканты изъ вѣжливости тоже вздыхаютъ, отчего воздухъ становится еще гуще.

— Да, братъ,—вяло продолжаетъ Ефимъ Петровичъ: — была одна дочка, да и ту отдаемъ. Человѣкъ онъ образованный, говоритъ по-французски... Только вотъ попиваетъ, но кто нынче не пьетъ? Всѣ пьютъ.

— Это ничего, что пьетъ,—говоритъ Осиповъ.—Главное достоинство, Ефимъ Петровичъ, чтобы дѣло свое помнилъ. А ежели, положимъ, выпить, то почему не выпить? Выпить можно.

— Конечно, можно.

Слышится всхлипыванье.

— Развѣ онъ можетъ чувствовать?—жалуется Дарья Даниловна какой-то старухѣ.—Вѣдь мы ему, мать моя, отсчитали десять тысячъ копеечка въ копеечку, домъ на Любочку записали, десятинъ триста земли... легко ли сказать? А нешто онъ можетъ чувствовать? Не таковскіе они нынче, чтобы чувствовать.

Столъ съ фруктами уже готовъ. Бокалы тѣсно стоятъ на двухъ подносахъ, бутылки съ шампанскимъ завернуты въ салфетки, въ столовой шипятъ самовары. Лакей безъ усовъ, съ бакенами записываетъ на бумажкѣ имена лицъ, здоровье которыхъ онъ будетъ провозглашать за ужиномъ, и читаетъ ихъ, точно учитъ наизусть. Изъ комнатъ выгоняютъ чужую собаку. Напряженное ожиданіе... Но вотъ раздаются тревожные голоса:

— Ѣдутъ! Ѣдутъ! Батюшка Ефимъ Петровичъ, ѣдутъ!

Старуха, обомлѣвшая, съ выраженіемъ крайней растерянности, хватаетъ хлѣбъ-соль, Ефимъ Петровичъ надуваетъ щеки, и оба вмѣстѣ спѣшатъ въ переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраиваютъ инструменты, съ улицы доносится шумъ экипажей. Опять вошла со двора собака, ее гонятъ, она взвизгиваетъ... Еще одна минута ожиданія—и въ «проходной», рѣзко, остервенѣло рванувъ, раздается оглушительный, дикій, неистовый маршъ. Воздухъ оглашается восклицаніями, поцѣлуями, хлопаютъ пробки, у лакеевъ лица строгія...

Любочка и ея супругъ, солидный господинъ въ золотыхъ

очкахъ, ошеломлены. Оглушительная музыка, яркій свѣтъ, всеобщее вниманіе, масса незнакомыхъ лицъ угнетаютъ ихъ... Они тупо глядятъ по сторонамъ, ничего не видятъ, ничего не понимаютъ.

Пьютъ шампанское и чай, все идетъ чинно и степенно. Многочисленные родственники, какіе-то необыкновенные дѣдушки и бабушки, которыхъ раньше никто никогда не видѣлъ, духовенство, отставные военные съ плоскими затылками, посажёные отецъ и мать жениха, крестные, стоятъ около стола и, осторожно прихлебывая чай, бесѣдуютъ о Болгаріи; барышни, какъ мухи, жмутся у стѣнъ; даже шафера утратили свой безпокойный видъ и стоятъ смирно у дверей.

Но проходитъ часъ-другой, и весь домъ дрожитъ уже отъ музыки и танцевъ. У шаферовъ опять такой видъ, точно они съ цѣпи сорвались. Въ столовой, гдѣ покоемъ накрытъ закусочный столъ, толпятся старики и нетанцующая молодежь; Ефимъ Петровичъ, выпившій уже рюмокъ пять, подмигиваетъ, щелкаетъ пальцами и давится отъ смѣха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферовъ, и это ему нравится, кажется остроумнымъ, забавнымъ, и онъ радъ, такъ радъ, что не можетъ выразить на словахъ, а только хохочетъ... Его жена, не ѣвшая ничего съ утра и опьянѣвшая отъ шампанскаго, блаженно улыбается и говоритъ всѣмъ:

— Нельзя, нельзя, господа, въ спальню ходить! Это не деликатно въ спальню ходить. Не заглядывайте!

Это значитъ: пожалуйте поглядѣть спальню! Все ея материнское тщеславіе и всѣ таланты ушли въ эту спальню. И есть чѣмъ похвастать! Посреди спальни стоятъ двѣ кровати съ высокими постелями; наволочки кружевныя, одѣяла шелковыя, стеганыя, съ мудреными, непонятными вензелями. На постели Любочки лежитъ чепчикъ съ розовыми лентами, а на постели ея мужа шлафрокъ мышинаго цвѣта съ голубыми кистями. Каждый изъ гостей, взглянувъ на постели, считаетъ своимъ долгомъ значительно подмигнуть глазомъ и сказать «м-да-а», а старуха сіяетъ и говоритъ шопотомъ:

— Спальня-то рублей триста стоила, батюшка. Шутка ли! Ну, уходите, мужчинамъ не годится сюда ходить.

Въ третьемъ часу подаютъ ужинъ. Лакей съ бакенами

провозглашаетъ тосты, а музыка играетъ тушъ. Ефимъ Петровичъ напивается окончательно и уже никого не узнаетъ; ему кажется, что онъ не у себя дома, а въ гостяхъ, что его обидѣли; онъ въ передней надѣваетъ пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричитъ хриплымъ голосомъ:

— Не желаю я тутъ больше оставаться! Вы всѣ подлецы! Негодяи! Я васъ выведу на чистую воду!

А возлѣ стоитъ жена и говоритъ ему:

— Уймись, безбожная твоя душа! Уймись, истуканъ, иродъ, наказаніе мое!

# ТЕМНОТА.

Молодой парень, бѣлобрысый и скуластый, въ рваномъ тулупчикѣ и въ большихъ, черныхъ валенкахъ, выждалъ, когда земскій докторъ, кончивъ пріемку, возвращался изъ больницы къ себѣ на квартиру, и подошелъ къ нему несмѣло.

— Къ вашей милости,—сказалъ онъ.

— Чю тебѣ?

Парень ладонью провелъ себѣ по носу снизу вверхъ, поглядѣлъ на небо и потомъ уже отвѣтилъ:

— Къ вашей милости... Тутъ у тебя, вашескоблородіе, въ арестанской палатѣ мой братъ Васька, кузнецъ изъ Варварина...

— Да, такъ что же?

— Я, стало-быть, Васькинъ братъ... У отца насъ двое: онъ—Васька, да я—Кирила. Акромѣ насъ три сестры, а Васька женатый и ребятенокъ есть... Народу много, а работать некому... Въ кузницѣ, почитай, уже два года огня не раздували. Самъ я на ситцевой фабрикѣ, кузнечить не умѣю, а отецъ какой работникъ? Не токмо, скажемъ, работать, путемъ ѣсть не можетъ, ложку мимо рта несетъ.

— Что же тебѣ отъ меня нужно?

— Сдѣлай милость, отпусти Ваську!

Докторъ удивленно поглядѣлъ на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошелъ дальше. Парень забѣжалъ впередъ и бухнулъ ему въ ноги.

— Докторъ, господинъ хорошій!—взмолился онъ, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу.—Яви божескую

милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вѣчно Бога молить! Ваше благородіе, отпусти! Съ голоду всѣ дохнутъ! Мать день-деньской реветъ, Васькина баба реветъ... просто смерть! На свѣтъ бѣлый не глядѣлъ бы! Сдѣлай милость, отпусти его, господинъ хорошій!

— Да ты глупъ, или съ ума сошелъ?—спросилъ докторъ, глядя на него сердито. — Какъ же я могу его отпустить? Вѣдь онъ арестантъ!

Кирила заплакалъ.

— Отпусти!

— Тьфу, чудакъ! Какое же я имѣю право? Тюремщикъ я, что ли? Привели его ко мнѣ въ больницу лѣчиться, я лѣчу, а отпускать его я имѣю такое же право, какъ тебя засадить въ тюрьму. Глупая голова!

— Да вѣдь его задаромъ посадили! Покеда до суда онъ, почитай, годъ въ острогѣ сидѣлъ, а теперь, спрашивается, за что сидитъ? Добро бы, убивалъ, скажемъ, или коней кралъ, а то такъ попалъ, здорово-живешь.

— Вѣрно, но я-то тутъ при чемъ?

— Посадили мужика и сами не знаютъ, за что. Былъ онъ выпивши, ваше благородіе, ничего не помнилъ и даже отца по уху урѣзалъ, щеку себѣ напоролъ на сукъ спьянато, а двое нашихъ ребятъ—захотѣлось имъ, видишь, турецкаго табаку—стали ему говорить, чтобы онъ съ ними ночью въ армяшкину лавку забрался, за табакомъ. Онъ спьяна-то послушался, дуракъ. Сломали они это, знаешь, замокъ, забрались и давай чертить. Все разворочали, стекла побили, муку разсыпали. Пьяные—одно слово! Ну, сичасъ урядникъ... то да сё, къ слѣдователю. Годъ цѣльный въ острогѣ сидѣли, а недѣлю назадъ, въ среду, судили всѣхъ трехъ, въ городѣ. Солдатъ сзади съ ружьемъ... присягалъ народъ. Васька-то всѣхъ меньше виноватъ, а господа такъ разсудили, что онъ первый коноводъ. Обоихъ ребятъ въ острогъ, а Ваську въ арестанскую роту на три года. А за что? Разсуди по-божецки!

— Опять-таки я тутъ ни при чемъ. Ступай къ начальству.

— Я уже былъ у начальства! Ходилъ въ судъ, хотѣлъ прошеніе подать, они и прошенія не взяли. Былъ я и у станового, и у слѣдователя былъ, и всякій говоритъ: не

мое дѣло! Чье-жъ дѣло? А въ больницѣ тутъ старшей тебя нѣтъ. Что хочешь, ваше благородіе, то и дѣлаешь.

— Дуракъ ты! — вздохнулъ докторъ. — Разъ присяжные обвинили, то ужъ тутъ не можетъ ничего подѣлать ни губернаторъ, ни даже министръ, а не то что становой. Напрасно хлопочешь!

— А судилъ-то кто?

— Господа присяжные засѣдатели...

— Какіе же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьевъ былъ, Алешка Хукъ былъ.

— Ну, мнѣ холодно съ тобой разговаривать...

Докторъ махнулъ рукой и быстро пошелъ къ своей двери. Кирила хотѣлъ-было пойти за нимъ, но, увидѣвъ, какъ хлопнула дверь, остановился. Минутъ десять стоялъ онъ неподвижно среди больничнаго двора и, не надѣвая шапки, глядѣлъ на докторскую квартиру, потомъ глубоко вздохнулъ, медленно почесался и пошелъ къ воротамъ.

— Къ кому же идти? — бормоталъ онъ, выходя на дорогу. — Одинъ говоритъ — не мое дѣло, другой говоритъ — не мое дѣло. Чье же дѣло? Нѣтъ, вѣрно, пока не подмажешь, ничего не подѣлаешь. Докторъ-то говоритъ, а самъ все время на кулакъ мнѣ глядитъ: не дамъ ли синенькую? Ну, братъ, я и до губернатора дойду.

Переминаясь съ ноги на ногу, то и дѣло оглядываясь безъ всякой надобности, онъ лѣниво плелся по дорогѣ и, повидимому, раздумывалъ, куда идти... Было не холодно и снѣгъ слабо поскрипывалъ у него подъ ногами. Передъ нимъ, не дальше какъ въ полуверстѣ, разстилался на холмѣ уѣздный городишко, въ которомъ недавно судили его брата. Направо темнѣлъ острогъ съ красной крышей и съ будками по угламъ, налѣво была большая городская роща, теперь покрытая инеемъ. Было тихо, только какой-то старикъ въ бабьей кацавейкѣ и въ громадномъ картузѣ шелъ впереди, кашлялъ и покрикивалъ на корову, которую гналъ къ городу.

— Дѣдъ, здорово! — проговорилъ Кирила, поровнявшись со старикомъ.

— Здорово...

— Продавать гонишь?

— Нѣтъ, такъ... — лѣниво отвѣтилъ старикъ.

— Мѣщанинъ, что ли?

Разговорились. Кирила разсказалъ, зачѣмъ онъ былъ въ больницѣ и о чемъ говорилъ съ докторомъ.

— Оно, конечно, докторъ этихъ дѣловъ не знаетъ,—говорилъ ему старикъ, когда оба они вошли въ городъ.—Онъ хоть и баринъ, но обученъ лѣчить всякими средствіями, а чтобъ совѣтъ настоящій тебѣ дать, или, скажемъ, протоколъ написать,—онъ этого не можетъ. На то особое начальство есть. У мирового и станового ты былъ. Эти тоже въ твоемъ дѣлѣ не способны.

— Куда-жъ идти?

— По вашимъ крестьянскимъ дѣламъ самый главный и къ этому приставленъ непремѣнный членъ. Къ нему и иди. Господинъ Синеоковъ.

— Это что въ Золотовѣ?

— Ну, да, въ Золотовѣ. Онъ у васъ главный. Ежели что по вашимъ дѣламъ касающее, то супротивъ него даже исправникъ не имѣетъ полнаго права.

— Далече, братъ, идти!.. Чай, верстъ пятнадцать, а то и больше.

— Кому надобность, тотъ и сто верстъ пройдетъ.

— Оно такъ... Прошеніе ему подать, что ли?

— Тамъ узнаешь. Коли прошеніе, писарь тебѣ живо напишетъ. У непремѣннаго члена есть писарь.

Разставшись съ дѣдомъ, Кирила постоялъ среди площади, подумалъ и пошелъ назадъ изъ города. Онъ рѣшилъ сходить въ Золотово.

Дней черезъ пять, возвращаясь послѣ пріемки больныхъ къ себѣ на квартиру, докторъ опять увидѣлъ у себя на дворѣ Кирилу. На этотъ разъ парень былъ не одинъ, а съ какимъ-то тощимъ, очень блѣднымъ старикомъ, который, не переставая, кивалъ головой, какъ маятникомъ, и шамкалъ губами.

— Ваше благородіе, я опять къ твоей милости!—началъ Кирила.—Вотъ съ отцомъ пришелъ, сдѣлай милость, отпусти Ваську! Непремѣнный членъ разговаривать не сталъ. Говоритъ: «Пошелъ вонъ!»

— Ваше высокородіе!—зашипѣлъ горломъ старикъ, поднимая дрожащія брови:—будьте милостивы! Мы люди бѣдные, благодарить не можемъ вашу честь, но ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могутъ. Пущай работаютъ.

— Отработаемъ!—сказалъ Кирила и поднялъ руку, т
желая принести клятву.—Отпусти! Съ голоду дохнуть! Ре
ревутъ, ваше-благородіе!

Парень быстро взглянулъ на отца, дернулъ его за
кавъ и оба они, какъ по командѣ, повалились доктору
ноги. Тотъ махнулъ рукой и, не оглядываясь, быстро
шелъ къ своей двери.

# МЫСЛИТЕЛЬ.

Знойный полдень. Въ воздухѣ ни звуковъ, ни движеній... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую Богомъ и людьми, усадьбу. Подъ опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремнаго смотрителя Яшкина, за маленькимъ треногимъ столомъ сидятъ самъ Яшкинъ и его гость, штатный смотритель уѣзднаго училища Пимфовъ. Оба безъ сюртуковъ; жилетки ихъ разстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность ихъ выражать что-нибудь парализована зноемъ... Лицо Пимфова совсѣмъ скисло и заплыло лѣнью, глаза его посоловѣли, нижняя губа отвисла. Въ глазахъ же и на лбу у Яшкина еще замѣтна кое-какая дѣятельность; повидимому, онъ о чемъ-то думаетъ... Оба глядятъ другъ на друга, молчатъ и выражаютъ свои мученія пыхтѣньемъ и хлопаньемъ ладонями по мухамъ. На столѣ графинъ съ водкой, мочалистая вареная говядина и коробка изъ-подъ сардинъ съ сѣрой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

— Да-съ!—издаетъ вдругъ Яшкинъ, и такъ неожиданно, что собака, дремлющая недалеко отъ стола, вздрагиваетъ и, поджавъ хвостъ, бѣжитъ въ сторону.—Да-съ! Что ни говорите, Филиппъ Максимычъ, а въ русскомъ языкѣ очень много лишнихъ знаковъ препинанія!

— То-есть, почему же-съ?—скромно вопрошаетъ Пимфовъ, вынимая изъ рюмки крылышко мухи.—Хотя и много знаковъ, но каждый изъ нихъ имѣетъ свое значеніе и мѣсто.

— Ужъ это вы оставьте. Никакого значенія не имѣютъ

ваши знаки. Одно только мудрованіе... Наставитъ десятокъ запятыхъ въ одной строчкѣ и думаетъ, что онъ умный. Напримѣръ, товарищъ прокурора Мериновъ послѣ каждаго слова запятую ставитъ. Для чего это? Милостивый государь—запятая, посѣтивъ тюрьму такого-то числа—запятая, я замѣтилъ—запятая, что арестанты—запятая... тьфу! Въ глазахъ рябитъ! Да и въ книгахъ то же самое... Точка съ запятой, двоеточіе, кавычки разныя. Противно читать даже. А иной франтъ, мало ему одной точки, возьметъ и натыкаетъ ихъ цѣлый рядъ... Для чего это?

— Наука того требуетъ...—вздыхаетъ Пимфовъ.

— Наука... Умопомраченіе, а не наука... Для форсу выдумали... пыль въ глаза пущать... Напримѣръ, ни въ одномъ иностранномъ языкѣ нѣтъ этого ять, а въ Россіи есть... Для чего онъ, спрашивается? Напиши ты хлѣбъ съ ятемъ или безъ ятя, нешто не все равно?

— Богъ знаетъ, что̀ вы говорите, Илья Мартынычъ!—обижается Пимфовъ.—Какъ же это можно хлѣбъ черезъ *е* писать? Такое говорятъ, что слушать даже непріятно.

Пимфовъ выпиваетъ рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачиваетъ лицо въ сторону.

— Да и сѣкли же меня за этотъ ять!—продолжаетъ Яшкинъ.—Помню это, вызываетъ меня разъ учитель къ черной доскѣ и диктуетъ: «Лѣкарь уѣхалъ въ городъ». Я взялъ и написалъ *лькарь* съ *е*. Выпоролъ. Черезъ недѣлю опять къ доскѣ, опять пиши: «Лѣкарь уѣхалъ въ городъ». Пишу на этотъ разъ съ ятемъ. Опять поротъ. За что же, Иванъ Ѳомичъ? Помилуйте, сами же вы говорили, что тутъ ять нужно! «Тогда, говоритъ, я заблуждался, прочитавъ же вчера сочиненіе нѣкоего академика о ять въ словѣ *лькарь*, соглашаюсь съ академіей наукъ. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и поролъ. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши отъ этого ять... Будь я министромъ, запретилъ бы я вашему брату ятемъ людей морочить.

— Прощайте,—вздыхаетъ Пимфовъ, моргая глазами и надѣвая сюртукъ.—Не могу я слышать, ежели про науки...

— Ну, ну, ну... ужъ и обидѣлся!—говоритъ Яшкинъ, хватая Пимфова за рукавъ.—Я вѣдь это такъ, для разговора только... Ну, сядемъ, выпьемъ!

Оскорбленный Пимфовъ садится, выпиваетъ и отворачиваетъ лицо въ сторону. Наступаетъ тишина. Мимо пью-

ихъ кухарка Ѳеона проноситъ лохань съ помоями. Слы-
тся помойный плескъ и визгъ облитой собаки. Безжиз-
ное лицо Пимфова раскисаетъ еще больше; вотъ-вотъ
стаетъ отъ жары и потечетъ внизъ на жилетку. На лбу
шкина собираются морщинки. Онъ сосредоточенно гля-
ть на мочалистую говядину и думаетъ... Подходитъ къ
олу инвалидъ, угрюмо косится на графинъ и, увидѣвъ,
о онъ пустъ, приноситъ новую порцію... Еще выпиваютъ.
— Да-съ!—говоритъ вдругъ Яшкинъ.
Пимфовъ вздрагиваетъ и съ испугомъ глядитъ на Яш-
на. Онъ ждетъ отъ него новыхъ ересей.
— Да-съ!—повторяетъ Яшкинъ, задумчиво глядя на гра-
нъ.—По моему мнѣнію, и наукъ много лишнихъ!
— То-есть, какъ же это-съ? — тихо спрашиваетъ Пим-
въ.—Какія науки вы находите лишними?
— Всякія... Чѣмъ больше наукъ знаетъ человѣкъ, тѣмъ
ьше онъ мечтаетъ о себѣ. Гордости больше... Я бы пе-
ѣшалъ всѣ эти... науки... Ну, ну... ужъ и обидѣлся!
ій какой, ей-Богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Вы-
ть, выпьемъ!
Подходитъ Ѳеона и, сердито тыкая въ стороны своими
лыми локтями, ставитъ передъ пріятелями зеленыя щи
мискѣ. Начинается громкое хлебаніе и чавканье. Словно
з земли выростаютъ три собаки и кошка. Онѣ стоятъ
редъ столомъ и умильно поглядываютъ на жующіе рты.
щами слѣдуетъ молочная каша, которую Ѳеона ставитъ
такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки.
редъ кашей пріятели молча выпиваютъ.
— Все на этомъ свѣтѣ лишнее! — замѣчаетъ вдругъ
кинъ.
Пимфовъ роняетъ на колѣни ложку, испуганно глядитъ
Яшкина, хочетъ протестовать, но языкъ ослабѣлъ отъ
ля и запутался въ густой кашѣ... Вмѣсто обычнаго «то-
ь, какъ же это-съ?» получается одно только мычаніе.
— Все лишнее... — продолжаетъ Яшкинъ.—И науки, и
и... и тюремныя заведенія, и мухи... и каша... И вы
ній... Хоть вы и хорошій человѣкъ, и въ Бога вѣруете,
и вы лишній...
— Прощайте, Илья Мартынычъ! — лепечетъ Пимфовъ,
ясь надѣть сюртукъ и никакъ не попадая въ рукава.
— Сейчасъ вотъ мы натрескались, налопались,—а для

чего это? Такъ... Все это лишнее... Ѣдимъ, и сами не знаемъ, для чего... Ну, ну... ужъ и обидѣлся! Я вѣдь это такъ только... для разговора! И куда вамъ идти? Посидимъ, потолкуемъ... выпьемъ!

Наступаетъ тишина, изрѣдка только прерываемая звяканьемъ рюмокъ, да пьянымъ покрякиваньемъ... Солнце начинаетъ ужъ клониться къ западу, и тѣнь липы все растетъ и растетъ. Приходитъ Ѳеона и, фыркая, рѣзко махая руками, разстилаетъ около стола коврикъ. Пріятели молча выпиваютъ по послѣдней, располагаются на коврѣ и, повернувшись другъ къ другу спинами, начинаютъ засыпать...

«Слава Богу,—думаетъ Пимфовъ:—сегодня не дошелъ до сотворенія міра и іерархіи, а то бы волосы дыбомъ, хоть святыхъ выноси...»

# ДОЧЬ АЛЬБІОНА.

Къ дому помѣщика Грябова подкатила прекрасная ко-ска съ каучуковыми шинами, толстымъ кучеромъ и бар-тнымъ сидѣньемъ. Изъ коляски выскочилъ уѣздный пред-итель дворянства Ѳедоръ Андреичъ Отцовъ. Въ перед-встрѣтилъ его сонный лакей.

— Господа дома?—спросилъ предводитель.

— Никакъ нѣтъ-съ. Барыня съ дѣтьми въ гости по-ли, а баринъ съ мамзелью-гувернаткой рыбу ловятъ-съ. самаго утра-съ.

Отцовъ постоялъ, подумалъ и пошелъ къ рѣкѣ искать юбова. Нашелъ онъ его версты за двѣ отъ дома, по-дя къ рѣкѣ. Поглядѣвъ внизъ съ крутого берега и уви-ъ Грябова, Отцовъ прыснулъ... Грябовъ, большой, тол-й человѣкъ съ очень большой головой, сидѣлъ на пе-кѣ, поджавъ подъ себя по-турецки ноги, и удилъ. Шляпа его была на затылкѣ, галстукъ сползъ на бокъ. Возлѣ о стояла высокая, тонкая англичанка съ выпуклыми ьими глазами и большимъ птичьимъ носомъ, похожимъ рѣй на крючокъ, чѣмъ на носъ. Одѣта она была въ бѣ-кисейное платье, сквозь которое сильно просвѣчивали ція, желтыя плечи. На золотомъ поясѣ висѣли золотые ики. Она тоже удила. Вокругъ обоихъ царила гробовая шина. Оба были неподвижны, какъ рѣка, на которой вали ихъ поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая!—засмѣялся От-ъ.—Здравствуй, Иванъ Кузьмичъ!

— А... это ты? — спросилъ Грябовъ, не отрывая глазъ отъ воды.—Пріѣхалъ?

— Какъ видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвыкъ еще?

— Кой чортъ... Весь день ловлю, съ утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймалъ ни я, ни эта кикимора. Сидимъ, сидимъ и хоть бы одинъ чортъ! Просто хоть караулъ кричи.

— А ты наплюй. Пойдемъ водку пить!

— Постой... Можетъ-быть, что-нибудь да поймаемъ. Подъ вечеръ рыба клюетъ лучше... Сижу, братъ, здѣсь съ самаго утра! Такая скучища, что и выразить тебѣ не могу. Дернулъ же меня чортъ привыкнуть къ этой ловлѣ! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, какъ подлецъ какой-нибудь, какъ каторжный, и на воду гляжу, какъ дуракъ какой-нибудь! На покосъ надо ѣхать, а я рыбу ловлю. Вчера въ Хапоньевѣ преосвященный служилъ, а я не поѣхалъ, здѣсь просидѣлъ вотъ съ этой стерлядью... съ чертовкой съ этой...

— Но... ты съ ума сошелъ?—спросилъ Отцовъ, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при дамѣ... и все же...

— Да чортъ съ ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслитъ. Ты ее хоть хвали, хоть брани—ей все равно! Ты на носъ посмотри! Отъ одного носа въ обморокъ упадешь! Сидимъ по цѣлымъ днямъ вмѣстѣ, и хоть бы одно слово! Стоитъ, какъ чучело, и бѣльмы на воду таращитъ.

Англичанка зѣвнула, перемѣнила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, братъ, я не мало!—продолжалъ Грябовъ.—Живетъ дурища въ Россіи десять лѣтъ, и хоть бы одно слово по-русски!.. Напъ какой-нибудь аристократишка поѣдетъ къ нимъ и живо по-ихнему брехать научится, а они... чортъ ихъ знаетъ! Ты посмотри на носъ! На носъ ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напалъ на женщину?

— Она не женщина, а дѣвица... О женихахъ, небось, мечтаетъ, чортова кукла. И пахнетъ отъ нея какою-то гнилью... Возненавидѣлъ, братъ, ее! Видѣть равнодушно не могу! Какъ взглянетъ на меня своими глазищами, такъ меня и покоробитъ всего, словно я локтемъ о перила ударился. Тоже любитъ рыбу ловить. Погляди: ловитъ и сви-

щеннодѣйствуетъ! Съ презрѣніемъ на все смотритъ... Стоитъ, каналья, и сознаетъ, что она человѣкъ и что, стало-быть, она царь природы. А знаешь, какъ ее зовутъ? Уилька Чарльзовна Тфайсъ! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышавъ свое имя, медленно повела носъ въ сторону Грябова и измѣрила его презрительнымъ взглядомъ. Съ Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрѣніемъ. И все это молча, важно и медленно.

— Видалъ?—спросилъ Грябовъ, хохоча. — Нате, молъ, вамъ! Ахъ ты, кикимора! Для дѣтей только и держу этого тритона. Не будь дѣтей, я бы ее и за десять верстъ къ своему имѣнію не подпустилъ... Носъ точно у ястреба... А талія? Эта кукла напоминаетъ мнѣ длинный гвоздь. Такъ, знаешь, взялъ бы и въ землю вбилъ. Постой... У меня, кажется, клюетъ...

Грябовъ вскочилъ и поднялъ удилище. Леска натянулась... Грябовъ дернулъ еще разъ и не вытащилъ крючка.

— Зацѣпилась! — сказалъ онъ и поморщился. — За камень, должно-быть... Чортъ возьми...

На лицѣ у Грябова выразилось страданіе. Вздыхая, безпокойно двигаясь и бормоча проклятья, онъ началъ дергать за лесу. Дерганье ни къ чему не привело. Грябовъ поблѣднѣлъ.

— Экая жалость! Въ воду лѣзть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Подъ вечеръ хорошо ловится... Вѣдь этакая комиссія, прости Господи! Придется лѣзть въ воду. Придется! А если бы ты зналъ, какъ мнѣ не хочется раздѣваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздѣваться. Все-таки, вѣдь, дама!

Грябовъ сбросилъ шляпу и галстукъ.

— Миссъ... э-э-э...—обратился онъ къ англичанкѣ.—Миссъ Тфайсъ! Же ву при... Ну, какъ ей сказать? Ну, какъ тебѣ сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Миссъ Тфайсъ облила Грябова презрѣніемъ и издала посовой звукъ.

— Что-съ? Не понимаете? Ступай, тебѣ говорятъ, отсюда! Мнѣ раздѣваться нужно, чортова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябовъ дернулъ миссъ за рукавъ, указалъ ей на кусты

и присѣлъ: ступай, молъ, за кусты и спрячься тамъ. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную англійскую фразу. Помѣщики прыснули.

— Первый разъ въ жизни ея голосъ слышу... Нечего сказать, голосокъ! Не понимаетъ! Ну, что мнѣ дѣлать съ ней?

— Плюнь! Пойдемъ водки выпьемъ!

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечеръ... Ну, что ты прикажешь дѣлать? Вотъ комиссія! Придется при ней раздѣваться...

Грябовъ сбросилъ сюртукъ и жилетъ и сѣлъ на песокъ снимать сапоги.

— Послушай, Иванъ Кузьмичъ,—сказалъ предводитель, хохоча въ кулакъ.—Это ужъ, другъ мой, глумленіе, издѣвательство.

— Ее никто не проситъ не понимать! Это наука имъ, иностранцамъ!

Грябовъ снялъ сапоги, панталоны, сбросилъ съ себя бѣлье и очутился въ костюмѣ Адама. Отцовъ ухватился за животъ. Онъ покраснѣлъ и отъ смѣха, и отъ конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ея пробѣжала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть,—сказалъ Грябовъ, хлопая себя по бедрамъ.—Скажи на милость, Ѳедоръ Андреичъ, отчего это у меня каждое лѣто сыпь на груди бываетъ?

— Да полѣзай скорѣй въ воду или прикройся чѣмъ-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая!—сказалъ Грябовъ, полѣзая въ воду и крестясь.—Брр... холодная вода... Посмотри, какъ бровями двигаетъ! Не уходитъ... Выше толпы стоитъ! Хе-хе-хе... И за людей насъ не считаетъ!

Войдя по-колѣна въ воду и вытянувшись во весь свой громадный ростъ, онъ мигнулъ глазомъ и сказалъ:

— Это, братъ, ей не Англія!

Миссъ Тфайсъ хладнокровно перемѣнила червячка, зѣвнула и закинула удочку. Отцовъ отвернулся. Грябовъ отцѣпилъ крючокъ, окунулся и съ сопѣньемъ вылѣзъ изъ воды. Черезъ двѣ минуты онъ сидѣлъ уже на песочкѣ и опять удилъ рыбу.

# НА ЧУЖБИНѢ.

Воскресный полдень. Помѣщикъ Камышевъ сидитъ у себя въ столовой за роскошно сервированнымъ столомъ и медленно завтракаетъ. Съ нимъ раздѣляетъ трапезу чистенькій, гладко-выбритый старикъ-французикъ, m-r Шампунь. Этотъ Шампунь былъ когда-то у Камышева гувернеромъ, училъ его дѣтей манерамъ, хорошему произношенію и танцамъ, потомъ же, когда дѣти Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чѣмъ-то въ родѣ бонны мужского пола. Обязанности бывшаго гувернера не сложны. Онъ долженъ прилично одѣваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, ѣсть, пить, спать— и больше, кажется, ничего. За это онъ получаетъ столъ, комнату и неопредѣленное жалованье.

Камышевъ ѣстъ и, по обыкновенію, празднословитъ.

— Смерть!—говоритъ онъ, вытирая слезы, выступившія послѣ куска ветчины, густо вымазаннаго горчицей.—Уфъ! Въ голову и во всѣ суставы ударило. А вотъ отъ вашей французской горчицы не будетъ этого, хоть всю банку съѣшь.

— Кто любитъ французскую, а кто русскую...—кротко заявляетъ Шампунь.

— Никто не любитъ французской, развѣ только одни французы. А французу что ни подай—все съѣстъ: и лягушку, и крысу, и таракановъ... брр! Вамъ, напримѣръ, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вамъ жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете ѣсть и причмокивать... По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

— Все русское скверно, а французское—о, сэ трэ жоли! По-вашему, лучше и страны нѣтъ, какъ Франція, а, по-моему... ну, что такое Франція, говоря по совѣсти? Кусо-

чекъ земли! Пошли туда нашего исправника, такъ онъ черезъ мѣсяцъ же перевода запроситъ: повернуться негдѣ! Вашу Францію всю въ одинъ день объѣздить можно, а у насъ выйдешь за ворота — конца краю не видно! Ѣдешь, ѣдешь...

— Да, monsieur, Россія громадная страна.

— То-то вотъ и есть! По-вашему, лучше французовъ и людей нѣтъ. Ученый, умный народъ! Цивилизація! Согласенъ, французы всѣ ученые, манерные... это вѣрно... Французъ никогда не позволитъ себѣ невѣжества: во-время дамѣ стулъ подастъ, раковъ не станетъ ѣсть вилкой, не плюнетъ на полъ, но... нѣтъ того духу! Духу того въ немъ нѣтъ! Я не могу только вамъ объяснить, но, какъ бы это выразиться, во французѣ не хватаетъ чего-то такого, этакого... (говорящій шевелитъ пальцами), чего-то такого... юридическаго. Я помню, читалъ гдѣ-то, что у васъ у всѣхъ умъ пріобрѣтенный изъ книгъ, а у насъ умъ врожденный. Если русскаго обучить, какъ слѣдуетъ, наукамъ, то никакой вашъ профессоръ не сравняется.

— Можетъ быть...—какъ бы нехотя говоритъ Шампунь.

— Нѣтъ, не можетъ быть, а вѣрно! Нечего морщиться, правду говорю! Русскій умъ—изобрѣтательный умъ! Только, конечно, ходу ему не даютъ, да и хвастать онъ не умѣетъ... Изобрѣтетъ что-нибудь и поломаетъ, или же дѣтишкамъ отдастъ поиграть, а вашъ французъ изобрѣтетъ какую-нибудь чепуху и на весь свѣтъ кричитъ. Намедни кучеръ Іона сдѣлалъ изъ дерева человѣчка: дернешь это человѣчка за ниточку, а онъ и сдѣлаетъ непристойность. Однако же, Іона не хвастаетъ. Вообще... не нравятся мнѣ французы! Я про васъ не говорю, а вообще... Безнравственный народъ! Наружностью словно какъ бы и на людей походятъ, а живутъ какъ собаки... Взять хоть, напримѣръ, бракъ. У насъ коли женился, такъ прилѣпись къ женѣ и никакихъ разговоровъ, а у васъ чортъ знаетъ что. Мужъ цѣлый день въ кафе сидитъ, а жена напуститъ полный домъ французовъ и давай съ ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживаетъ Шампунь, вспыхивая. — Во Франціи семейный принципъ стоитъ очень высоко!

— Знаемъ мы этотъ принципъ! А вамъ стыдно защищать. Надо безпристрастно: свиньи, такъ и есть свиньи...

асибо нѣмцамъ за то, что побили... Ей-Богу, спасибо. Дай
ъ имъ здоровья...
— Въ такомъ случаѣ, monsieur, я не понимаю,—говоритъ
анцузъ, вскакивая и сверкая глазами: — если вы нена-
ите французовъ, то зачѣмъ вы меня держите?
— Куда же мнѣ васъ дѣвать?
— Отпустите меня, и я уѣду во Францію!
— Что-о-о? Да нешто васъ пустятъ теперь во Францію?
дь вы измѣнникъ своему отечеству! То у васъ Наполеонъ
акій человѣкъ, то Гамбетта... самъ чортъ васъ не раз-
етъ!
— Monsieur,—говоритъ по-французски Шампунь, брызжа
омкая въ рукахъ салфетку.—Ваше оскорбленіе, которое
нанесли сейчасъ моему чувству, не могъ бы придумать
рагъ мой! Все кончено!!
И сдѣлавъ рукой трагическій жестъ, французъ манерно
саетъ на столъ салфетку и съ достоинствомъ выходитъ.
Часа черезъ три на столѣ перемѣняется сервировка, и
слуга подаетъ обѣдъ. Камышевъ садится за обѣдъ одинъ.
слѣ предобѣденной рюмки у него является жажда праздно-
нія. Поболтать хочется, а слушателя нѣтъ...
— Что дѣлаетъ Альфонсъ Людовиковичъ?—спрашиваетъ
лакея.
— Чемоданъ укладываютъ-съ.
— Экая дуррында, прости Господи!. — говоритъ Камы-
зъ и идетъ къ французу.
Шампунь сидитъ у себя на полу среди комнаты и дро-
щими руками укладываетъ въ чемоданъ бѣлье, флаконы
-подъ духовъ, молитвенники, помочи, галстуки... Вся его
личная фигура, чемоданъ, кровать и столъ такъ и ды-
тъ изяществомъ и женственностью. Изъ его большихъ
убыхъ глазъ капаютъ въ чемоданъ крупныя слезы.
— Куда же это вы?—спрашиваетъ Камышевъ, постоявъ
ного.
Французъ молчитъ.
— Уѣзжать хотите?—продолжаетъ Камышевъ.—Что жъ,
ъ знаете... Не смѣю удерживать... Только вотъ что странно:
ъ это вы безъ паспорта поѣдете? Удивляюсь! Вы знаете, я
ь потерялъ вашъ паспортъ. Сунулъ его куда-то между бу-
ъ, онъ и потерялся... А у насъ насчетъ паспортовъ строго.
успѣете и пяти верстъ проѣхать, какъ васъ сцарапаютъ.

Шампунь поднимаетъ голову и недовѣрчиво глядитъ на Камышева.

— Да... Вотъ увидите! Замѣтятъ по лицу, что вы безъ паспорта, и сейчасъ: кто таковъ? Альфонсъ Шампунь! Знаемъ мы этихъ Альфонсовъ Шампуней! А не угодно ли вамъ по этапу въ не столь отдаленныя!

— Вы это шутите?

— Съ какой стати мнѣ шутить! Очень мнѣ нужно! Только смотрите, условіе: не извольте потомъ хныкать и письма писать. И пальцемъ не пошевельну, когда васъ мимо въ кандалахъ проведутъ!

Шампунь вскакиваетъ и, блѣдный, широкоглазый, начинаетъ шагать по комнатѣ.

— Что вы со мной дѣлаете?!—говоритъ онъ, въ отчаяніи хватая себя за голову.—Боже мой! О, будь проклятъ тотъ часъ, когда мнѣ пришла въ голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну... я пошутилъ!—говоритъ Камышевъ, понизивъ тонъ.—Чудакъ какой, шутокъ не понимаетъ! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгиваетъ Шампунь, успокоенный тономъ Камышева.—Клянусь вамъ, я привязанъ къ Россіи, къ вамъ и къ вашимъ дѣтямъ... Оставить васъ для меня такъ же тяжело, какъ умереть! Но каждое ваше слово рѣжетъ мнѣ сердце!

— Ахъ, чудакъ! Если я французовъ ругаю, такъ вамъ-то съ какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаемъ, такъ всѣмъ и обижаться? Чудакъ, право! Берите примѣръ вотъ съ Лазаря Исакича, арендатора... Я его и такъ, и этакъ, и жидомъ, и пархомъ, и свинячье ухо изъ полы дѣлаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

— Но то вѣдь рабъ! Изъ-за копейки онъ готовъ на всякую низость!

— Ну, ну, ну... будетъ! Пойдемъ обѣдать! Миръ и согласіе!

Шампунь пудритъ свое заплаканное лицо и идетъ съ Камышевымъ въ столовую. Первое блюдо съѣдается молча, послѣ второго начинается та же исторія, и такимъ образомъ страданія Шампуня не имѣютъ конца.

# КУХАРКА ЖЕНИТСЯ.

Гриша, маленькій, семилѣтній карапузикъ, стоялъ около кухонной двери, подслушивалъ и заглядывалъ въ замочную скважину. Въ кухнѣ происходило нѣчто, по его мнѣнію, необыкновенное, доселѣ не виданное. За кухоннымъ столомъ, на которомъ обыкновенно рубятъ мясо и крошатъ лукъ, сидѣлъ большой, плотный мужикъ въ извозчичьемъ кафтанѣ, рыжій, бородатый, съ большой каплей пота на носу. Онъ держалъ на пяти пальцахъ правой руки блюдечко и пилъ чай, причемъ такъ громко кусалъ сахаръ, что Гришину спину подиралъ морозъ. Противъ него на грязномъ табуретѣ сидѣла старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и въ то же время сіяло какимъ-то торжествомъ. Кухарка Пелагея возилась около печки и видимо старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ея лицѣ Гриша видѣлъ цѣлую иллюминацію: оно горѣло и переливало всѣми цвѣтами, начиная съ красно-багроваго и кончая смертельно-блѣднымъ. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но въ сущности ничего не дѣлала. На столъ, за которымъ пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвѣчала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

— Кушайте, Данило Семенычъ!—угощала нянька извозчика.—Да что вы все чай, да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала къ гостю сороковушку и рюмку, причемъ лицо ея принимало ехиднѣйшее выраженіе.

— Не потребляю-съ... нѣтъ-съ—отнѣкивался извозчикъ.—Не невольте, Аксинья Степановна.

— Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человѣку невозможно, чтобъ не пить. Выкушайте!

Извозчикъ косился на водку, потомъ на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менѣе ехидное выраженіе: нѣтъ, молъ, не поймаешь, старая вѣдьма!

— Не пью-съ, увольте-съ... При нашемъ дѣлѣ не годится это малодушество. Мастеровой человѣкъ можетъ пить, потому онъ на одномъ мѣстѣ сидитъ, нашъ же братъ завсегда на виду, въ публикѣ. Не такъ ли-съ? Пойдешь въ кабакъ, а тутъ лошадь ушла; напьешься ежели—еще хуже: того и гляди уснешь, или съ козелъ свалишься. Дѣло такое.

— А вы сколько въ день выручаете, Данило Семенычъ?

— Какой день. Въ иной день на зелененькую выѣздишь, а въ другой разъ такъ и безъ гроша ко двору поѣдешь. Дни разные бываютъ-съ. Нонче наше дѣло совсѣмъ ничего не стоитъ. Извозчиковъ, сами знаете, хоть прудъ пруди, сѣно дорогое, а сѣдокъ пустяковый, поровитъ все на конкѣ проѣхать. А все жъ, благодарить Бога, не на что жалиться. И сыты, и одѣты, и... можемъ даже другого кого осчастливить... (извозчикъ покосился на Пелагею)... ежели имъ по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышалъ. Подошла къ двери мамаша и послала его въ дѣтскую учиться.

— Ступай учиться. Не твое дѣло тутъ слушать!

Придя къ себѣ въ дѣтскую, Гриша положилъ передъ собой «Родное Слово», но ему не читалось. Все только-что видѣнное и слышанное вызвало въ его головѣ массу вопросовъ.

«Кухарка женится...—думалъ онъ.—Странно. Не понимаю, зачѣмъ это жениться? Мамаша женилась на папашѣ, кузина Вѣрочка—на Павлѣ Андреичѣ. Но на папѣ и Павлѣ Андреичѣ, такъ и быть ужъ, можно жениться: у нихъ есть золотыя цѣпочки, хорошіе костюмы, у нихъ всегда сапоги вычищенные; но жениться на этомъ страшномъ извозчикѣ съ краснымъ носомъ, въ валенкахъ... фи! И почему это нянькѣ хочется, чтобъ бѣдная Пелагея женилась?»

Когда изъ кухни ушелъ гость, Пелагея явилась въ комнаты и занялась уборкой. Волненіе еще не оставило ея. Лицо ея было красно и словно испуганно. Она едва касалась вѣникомъ пола и по пяти разъ мела каждый уголъ. Долго она не выходила изъ той комнаты, гдѣ сидѣла мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество и ей хотѣлось

высказаться, подѣлиться съ кѣмъ-нибудь впечатлѣніями, излить душу.

— Ушелъ!—проворчала она, видя, что мамаша не начинаетъ разговора.

— А онъ, замѣтно, хорошій человѣкъ,—сказала мамаша, не отрывая глазъ отъ вышиванья.—Трезвый такой, степенный.

— Ей-Богу, барыня, не выйду!—крикнула вдругъ Пелагея, вся вспыхнувъ.—Ей-Богу, не выйду!

— Ты не дури, не маленькая. Это шагъ серьезный, нужно обдумать хорошенько, а такъ, зря, нечего кричать. Онъ тебѣ нравится?

— Выдумываете, барыня!—застыдилась Пелагея.—Такое скажутъ, что... ей-Богу...

«Сказала бы: не нравится!»—подумалъ Гриша.

— Какая ты, однако, ломака... Нравится?

— Да онъ, барыня, старый! Гы-ы!

— Выдумывай еще!—окрысилась на Пелагею изъ другой комнаты нянька.—Сорока годовъ еще не исполнилось. Да на что тебѣ молодой? Съ лица, дура, воды не пить... Выходи, вотъ и все!

— Ей-Богу, не выйду!—взвизгнула Пелагея.

— Блажишь! Какого лѣшаго тебѣ еще нужно? Другая бы въ ножки поклонилась, а ты—не выйду! Тебѣ бы все съ почтальонами да лепетиторами перемигиваться! Къ Гришенькѣ лепетиторъ ходитъ, барыня, такъ она объ него всѣ свои глазищи обмозолила. У, безстыжая!

— Ты этого Данилу раньше видала?—спросила барыня Пелагею.

— Гдѣ мнѣ его видѣть? Первый разъ сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела... чорта окаяннаго... И откуда онъ взялся на мою голову!

За обѣдомъ, когда Пелагея подавала кушанья, всѣ обѣдающіе засматривали ей въ лицо и дразнили ее извозчикомъ. Она страшно краснѣла и принужденно хихикала.

«Должно-быть, совѣстно жениться... — думалъ Гриша.— Ужасно совѣстно!»

Всѣ кушанья были пересолены, изъ недожаренныхъ цыплятъ сочилась кровь и, въ довершеніе всего, во время обѣда изъ рукъ Пелагеи сыпались тарелки и ножи, какъ съ по-

хилившейся полки, но никто не сказалъ ей ни слова упрека, такъ какъ всѣ понимали состояніе ея духа. Разъ только папаша съ сердцемъ швырнулъ салфетку и сказалъ мамашѣ:

— Что у тебя за охота всѣхъ женить да замужъ выдавать! Какое тебѣ дѣло? Пусть сами женятся, какъ хотятъ.

Послѣ обѣда въ кухнѣ замелькали сосѣдскія кухарки и горничныя, и до самаго вечера слышалось шушуканье. Откуда онѣ пронюхали о сватовствѣ—Богъ вѣсть. Проснувшись въ полночь, Гриша слышалъ, какъ въ дѣтской за занавѣской шушукались нянька и кухарка. Нянька убѣждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши послѣ этого, Гриша видѣлъ во снѣ похищеніе Пелагеи Черноморомъ и вѣдьмой...

Съ другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своимъ чередомъ, словно извозчика и на свѣтѣ не было. Изрѣдка только нянька одѣвалась въ новую шаль, принимала торжественно-суровое выраженіе и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоровъ... Пелагея съ извозчикомъ не видалась, и когда ей напоминали о немъ, она вспыхивала и кричала:

— Да будь онъ трижды проклятъ, чтобъ я о немъ думала! Тьфу!

Однажды вечеромъ въ кухню, когда тамъ Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дѣло, но, Пелагея, знай, что онъ не можетъ здѣсь жить... Ты знаешь, я не люблю, если кто въ кухнѣ сидитъ. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

— И Богъ знаетъ, что выдумываете, барыня! — взвизгнула кухарка. — Да что вы меня имъ попрекаете? Пущай онъ сбѣсится! Вотъ еще навязался на мою голову, чтобъ ему...

Заглянувъ въ одно воскресное утро въ кухню, Гриша замеръ отъ удивленія. Кухня биткомъ была набита народомъ. Тутъ были кухарки со всего двора, дворникъ, два городовыхъ, унтеръ съ нашивками, мальчикъ Филька... Этотъ Филька обыкновенно трется около прачешной и играетъ съ собаками, теперь же онъ былъ причесанъ, умытъ и держалъ икону въ фольговой ризѣ. Посреди кухни стояла Пелагея въ новомъ ситцевомъ платьѣ и съ цвѣткомъ на головѣ. Рядомъ съ нею стоялъ извозчикъ. Оба

колодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

— Ну-съ... кажись, время...—началъ унтеръ послѣ долгаго молчанія.

Пелагея заморгала всѣмъ лицомъ и заревѣла... Унтеръ взялъ со стола большой хлѣбъ, сталъ рядомъ съ нянькой и началъ благословлять. Извозчикъ подошелъ къ унтеру, бухнулъ передъ нимъ поклонъ и чмокнулъ его въ руку. То же самое сдѣлалъ онъ и передъ Аксиньей. Пелагея машинально слѣдовала за нимъ и тоже бухала поклоны. Наконецъ, отворилась наружная дверь, въ кухню пахнулъ бѣлый туманъ, и вся публика съ шумомъ двинулась изъ кухни на дворъ.

«Бѣдная, бѣдная! — думалъ Гриша, прислушиваясь къ рыданьямъ кухарки. — Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

Послѣ вѣнца до самаго вечера въ прачешной пѣли и играли на гармоникѣ. Мамаша все время сердилась, что отъ няньки пахнетъ водкой и что изъ-за этихъ свадебъ никому поставить самоваръ. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.

«Бѣдная, плачетъ теперь гдѣ-нибудь въ потемкахъ! — думалъ онъ. — А извозчикъ на нее: цыцъ! цыцъ!»

На другой день утромъ кухарка была уже въ кухнѣ. Выходилъ на минуту извозчикъ. Онъ поблагодарилъ мамашу и взглянувъ сурово на Пелагею, сказалъ:

— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте замѣсто отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, осматривайте, чтобъ все благородно... безъ шалостевъ... А также, барыня, дозвольте рубликовъ пять въ счетъ ейнаго жалованья. Хомутъ надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на волѣ, какъ хотѣла, не отдавая никому отчета, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего явился какой-то чужой, который откуда-то получилъ право на ея поведеніе и собственность! Гришѣ стало горько. Ему страстно, до слезъ захотѣлось приласкать эту, какъ онъ думалъ, жертву человѣческаго насилія. Выбравъ изъ кладовой самое большое яблоко, онъ прокрался на кухню, сунулъ его въ руку Пелагеѣ и опрометью бросился назадъ.

# ШИЛО ВЪ МѢШКѢ.

На обывательской тройкѣ, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спѣшилъ Петръ Павловичъ Посудинъ въ уѣздный городишко N., куда вызывало его полученное имъ анонимное письмо.

«Накрыть... Какъ снѣгъ на голову...—мечталъ онъ, пряча лицо свое въ воротникъ. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуютъ, небось, воображаютъ, что концы въ воду спрятали... Ха-ха... Воображаю ихъ ужасъ и удивленіе, когда въ разгаръ торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполохъ будетъ! Ха-ха...»

Намечтавшись вдоволь, Посудинъ вступилъ въ разговоръ со своимъ возницей. Какъ человѣкъ, алчущій популярности, онъ прежде всего спросилъ о себѣ самомъ:

— А Посудина ты знаешь?

— Какъ не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаемъ мы его!

— Что же ты смѣешься?

— Чудное дѣло! Каждаго послѣдняго писаря знаешь, а чтобъ Посудина не знать! На то онъ здѣсь и поставленъ, чтобъ его всѣ знали.

— Это такъ... Ну, что? Какъ онъ, по-твоему? Хорошъ?

— Ничего...—зѣвнулъ возница. — Господинъ хорошій, знаетъ свое дѣло... Двухъ годовъ еще нѣтъ, какъ его сюда прислали, а ужъ надѣлалъ дѣловъ.

— Что же онъ такое особенное сдѣлалъ?

— Много добра сдѣлалъ, дай Богъ ему здоровья. Желѣзную дорогу выхлопоталъ, Хохрюкова въ нашемъ уѣздѣ

лъ... Конца краю не было этому Хохрюкову... Шельма
ыжига, всѣ прежніе его руку держали, а пріѣхалъ
ъ — и загудѣлъ Хохрюковъ къ чорту, словно его
ыло... Во, братъ! Посудина, братъ, не подкупишь,
Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а онъ не ста-
бѣ пріймать грѣхъ на душу... Нѣ-ѣть!

за Богу, хоть съ этой стороны меня поняли, — по-
Посудинъ, ликуя. — Это хорошо».

бразованный господинъ... — продолжалъ возница: —
ый... Наши ѣздили къ нему жалиться, такъ онъ
съ господами: всѣхъ за ручку, «вы, садитесь»... Го-
акой, быстрый... Слова тебѣ путемъ не скажетъ, а
ыркъ! фыркъ! Чтобъ онъ тебѣ шагомъ ходилъ, или
ни Боже мой, а норовитъ все бѣгомъ, все бѣгомъ!
му и слова сказать не успѣли, какъ онъ: «лоша-
а прямо сюда... Пріѣхалъ и все обдѣлалъ... ни ко-
е взялъ. Куда лучше прежняго! Конечно, и прежній
былъ. Видный такой, важный, звончѣе его во всей
и никто не кричалъ... Бывало, ѣдетъ, такъ за десять
слыхать; но ежели по наружной части, или внутрен-
ламъ, то нынѣшній куда ловчѣе! У нынѣшняго въ
этой самой мозги во сто разъ больше... Одно только
Всѣмъ хорошъ человѣкъ, но одна бѣда: пьяница!

ъ такъ клюква!» — подумалъ Посудинъ.

гкуда же ты знаешь,—спросилъ онъ:—что я... что
ница.

но, конечно, ваше благородіе, самъ я не видалъ его
, не стану врать, по люди сказывали. И люди-то
нымъ не видали, а слава такая про него ходитъ...
бликѣ, или куда въ гости пойдетъ, на балъ, это, или
ство,—никогда не пьетъ. Дома хлещетъ... Встанетъ
протретъ глаза и первымъ дѣломъ — водки! Камер-
инесетъ ему стаканъ, а онъ ужъ другого проситъ...
льный день и глушитъ. И скажи ты на милость:
и ни въ одномъ глазѣ! Стало-быть, соблюдать себя
Бывало, какъ нашъ Хохрюковъ запьетъ, такъ не
люди, даже собаки воютъ. Посудинъ же — хоть бы
съ у него покраснѣлъ! Запрется у себя въ кабинетѣ
ъ... Чтобъ люди не примѣтили, онъ себѣ въ столѣ
такой приспособилъ, съ трубочкой. Всегда въ этомъ

ящикѣ водка... Нагнешься къ трубочкѣ. пососешь, и пьянъ... Въ каретѣ тоже, въ портфелѣ...

«Откуда они знаютъ? — ужаснулся Посудинъ. — Боже мой, даже это извѣстно! Какая мерзость...»

— А вотъ тоже насчетъ женскаго пола... Шельма! (возница засмѣялся и покрутилъ головой). Безобразіе, да и только! Штукъ десять у него этихъ самыхъ... вертефлюхъ... Двѣ у него въ домѣ живутъ... Одна у него, эта Настасья Ивановна, какъ бы замѣсто распорядительши, другая — какъ ее, чортъ?—Людмила Семеновна, на манеръ писарши... Главнѣе всѣхъ Настасья. Эта что захочетъ, онъ все дѣлаетъ... Такъ и вертитъ имъ, словно лиса хвостомъ. Большая власть ей дадена. И его такъ не боятся, какъ ея... Ха-ха... А третья вертуха на Качальной улицѣ живетъ... Срамота!

«Даже по именамъ знаетъ, — подумалъ Посудинъ, краснѣя. — И кто же знаетъ? Мужикъ, ямщикъ... который [illegible] въ городѣ-то никогда не бывалъ!.. Какая мерзость... гадость... пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросилъ онъ раздраженнымъ голосомъ.

— Люди сказывали... Самъ я не видалъ, но отъ людей слыхивалъ. Да узнать нешто трудно? Камердину, или кучеру языка не отрѣжешь... Да чай, и сама Настасья ходитъ по всѣмъ переулкамъ, да счастьемъ своимъ бабьимъ похваляется. Отъ людского глаза не скроешься... Вотъ тоже взялъ манеру этотъ Посудинъ потихоньку на слѣдствія ѣздить... Прежній, бывало, какъ захочетъ куда ѣхать, такъ за мѣсяцъ даетъ знать, а когда ѣдетъ, такъ шуму этого, грому, звону и... не приведи Создатель! И спереди его скачутъ, и сзади скачутъ, и съ боковъ скачутъ. Пріѣдетъ къ мѣсту, выспится, наѣстся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подереть глотку, потопочетъ ногами, опять выспится и тѣмъ же порядкомъ назадъ... А нынѣшній, какъ прослышитъ что, норовитъ съѣздить потихоньку, быстро, чтобъ никто не видалъ и не зналъ... Па-атѣха! Выйдетъ непримѣтно изъ дому, чтобъ чиновники не видали, и на машину... Доѣдетъ до какой ему нужно станціи и не то что почтовыхъ, или что поблагороднѣй, а норовитъ мужика напять. Закутается весь, какъ баба, и всю дорогу хрипитъ, какъ старый песъ, чтобъ голоса его не

узнали. Просто кишки порвешь со смѣху, когда люди разсказываютъ. Ѣдетъ дурень и думаетъ, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человѣку — тьфу! разъ плюнуть...

— Какъ же его узнаютъ?

— Оченно просто. Прежде, какъ нашъ Хохрюковъ потихоньку ѣздилъ, такъ мы его по тяжелымъ рукамъ узнавали. Ежели сѣдокъ бьетъ по зубамъ, то это, значитъ, и есть Хохрюковъ. А Посудина сразу увидать можно... Простой пассажиръ просто себя и держитъ, а Посудинъ не таковскій, чтобъ простоту соблюдать. Пріѣдетъ, скажемъ, хоть на почтовую станцію, и начнетъ!.. Ему и воняетъ, и душно, и холодно... Ему и цыплятъ подавай, и фрухтовъ, и вареньевъ всякихъ... Такъ на станціяхъ и знаютъ: ежели кто зимой спрашиваетъ цыплятъ и фрухтовъ, то это и есть Посудинъ. Ежели кто говоритъ смотрителю «милѣйшій мой» и гоняетъ народъ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудинъ. И пахнетъ отъ него не такъ, какъ отъ людей, и ложится спать на свой манеръ... Ляжетъ на станціи на диванѣ, попрыщетъ около себя духами и велитъ около подушки три свѣчки поставить. Лежитъ и бумаги читаетъ... Ужъ тутъ не то что смотритель, но и кошка разберетъ, что это за человѣкъ такой...

«Правда, правда... — подумалъ Посудинъ. — И какъ я этого раньше не зналъ!»

— А кому есть надобность, то и безъ фрухтовъ, и безъ цыплятъ узнаетъ. По телеграфу все извѣстно... Какъ тамъ ни кутай рыла, какъ ни прячься, а ужъ тутъ знаютъ, что ѣдешь. Ждутъ... Посудинъ еще у себя изъ дому не выходилъ, а тутъ ужъ—сдѣлай одолженіе, все готово! Пріѣдетъ онъ, чтобъ ихъ на мѣстѣ накрыть, подъ судъ отдать, или смѣнить кого, а они надъ нимъ же и посмѣются. Хоть ты, скажутъ, ваше сіятельство, и потихоньку пріѣхалъ, а гляди: у насъ все чисто!.. Онъ повертится, повертится да съ тѣмъ и уѣдетъ, съ чѣмъ пріѣхалъ... Да еще похвалитъ, руки пожметъ имъ всѣмъ, извиненія за безпокойство попроситъ... Вотъ какъ! А ты думалъ какъ? Хо-хо, ваше благородіе! Народъ тутъ ловкій, ловкачъ на ловкачѣ!.. Глядѣть любо, что за черти! Да вотъ, хоть нынѣшній случай взять... Ѣду я сегодня утромъ порожнемъ, а навстрѣчу со станціи летитъ жидъ, буфетчикъ. «Куда, спрашиваю, ваше

жидовское благородіе, ѣдешь?» А онъ и говоритъ: «Въ городъ N. вино и закуску везу. Тамъ нынче Посудина ждутъ». Ловко? Посудинъ, можетъ, еще только собирается ѣхать, или кутаетъ лицо, чтобъ его не узнали. Можетъ, ужъ ѣдетъ и думаетъ, что знать никто не знаетъ, что онъ ѣдетъ, а ужъ для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыръ, и закуска разная... А? Ѣдетъ онъ и думаетъ: «Крышка вамъ, ребята!» а ребятамъ и горя мало! Пущай ѣдетъ! У нихъ давно ужъ все спрятано!

— Назадъ!—прохрипѣлъ Посудинъ. — Поѣзжай назадъ, ссскотина!

И удивленный возница повернулъ назадъ.

# ДРАМА.

— Павелъ Васильичъ, тамъ какая-то дама пришла, васъ рашиваетъ, — доложилъ Лука. — Ужъ цѣлый часъ дожи-ется...

Павелъ Васильевичъ только-что позавтракалъ. Услыхавъ дамѣ, онъ поморщился и сказалъ:

— Ну ее къ чорту! Скажи, что я занятъ.

— Она, Павелъ Васильичъ, уже пять разъ приходила. оритъ, что очень нужно васъ видѣть... Чуть не пла-тъ.

— Гм... Ну, ладно, проси ее въ кабинетъ.

Павелъ Васильевичъ не спѣша надѣлъ сюртукъ, взялъ одну руку перо, въ другую—книгу и, дѣлая видъ, что ъ очень занятъ, пошелъ въ кабинетъ. Тамъ уже ждала гостья—большая полная дама съ краснымъ мясистымъ домъ и въ очкахъ, на видъ весьма почтенная и одѣтая ьше чѣмъ прилично (на ней былъ турнюръ съ четырьмя рехватами и высокая шляпка съ рыжей птицей). Уви-въ хозяина, она закатила подъ лобъ глаза и сложила питвенно руки.

— Вы, конечно, не помните меня, — начала она высо-мъ мужскимъ тенóромъ, замѣтно волнуясь.—Я... я имѣла овольствіе познакомиться съ вами у Хруцкихъ... Я — рашкина...

— А-а-а... мм... Садитесь! Чѣмъ могу быть полезенъ?

— Видите ли, я... я...—продолжала дама, садясь и еще

болѣе волнуясь.—Вы меня не помните... Я—Мурашкина... Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда съ наслажденіемъ читаю ваши статьи... Не подумайте, что я льщу,—избави Богъ,—я воздаю только должное... Всегда, всегда васъ читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то-есть, конечно... я не смѣю называть себя писательницей, но... все-таки и моя капля меда есть въ ульѣ. Я напечатала разновременно три дѣтскихъ разсказа, — вы не читали, конечно... много переводила и... и мой покойный братъ работалъ въ «Дѣлѣ».

— Такъ-съ... э-э-э... Чѣмъ могу быть полезенъ?

— Видите ли... (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась). Я знаю вашъ талантъ... ваши взгляды, Павелъ Васильевичъ, и мнѣ хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе или, вѣрнѣе... попросить совѣта. Я, надо вамъ сказать, pardon pour l'expression, разрѣшилась отъ бремени драмой и мнѣ, прежде чѣмъ посылать ее въ цензуру, хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе.

Мурашкина первно, съ выраженіемъ пойманной птицы, порылась у себя въ платьѣ и вытащила большую жирную тетрадищу.

Павелъ Васильевичъ любилъ только свои статьи, чужія же, которыя ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатлѣніе пушечнаго жерла, направленнаго ему прямо въ физіономію. Увидѣвъ тетрадь, онъ испугался и поспѣшилъ сказать:

— Хорошо, оставьте... я прочту.

— Павелъ Васильевичъ! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты... вамъ каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчасъ въ душѣ посылаете меня къ чорту, но... будьте добры, позвольте мнѣ прочесть вамъ мою драму сейчасъ... Будьте милы!

— Я очень радъ... — замялся Павелъ Васильевичъ: — но, сударыня, я... я занятъ... Мнѣ... мнѣ сейчасъ ѣхать нужно.

— Павелъ Васильевичъ! — простонала барыня, и глаза ея наполнились слезами. — Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уѣзжаю въ Казань, и мнѣ сегодня хотѣлось бы знать ваше мнѣніе.

Подарите мнѣ полчаса вашего вниманія... только полчаса! Умоляю васъ!

Павелъ Васильевичъ былъ въ душѣ тряпкой и не умѣлъ отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колѣни, онъ сконфузился и забормоталъ растерянно:

— Хорошо-съ, извольте... я послушаю... Полчаса я готовъ.

Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усѣвшись, начала читать. Сначала она прочла о томъ, какъ лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышнѣ Аннѣ Сергѣевнѣ, которая построила въ селѣ школу и больницу. Горничная, когда лакей вышелъ, произнесла монологъ о томъ, что ученье — свѣтъ, а неученье—тьма; потомъ Мурашкина вернула лакея въ гостиную и заставила его сказать длинный монологъ о баринѣ-генералѣ, который не терпитъ убѣжденій дочери, собирается выдать ее за богатаго камеръ-юнкера и находитъ, что спасеніе народа заключается въ кругломъ невѣжествѣ. Затѣмъ, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентинѣ Ивановичѣ, сынѣ бѣднаго учителя, безвозмездно помогающемъ своему больному отцу. Валентинъ прошелъ всѣ науки, но не вѣруетъ ни въ дружбу, ни въ любовь, не знаетъ цѣли въ жизни и жаждетъ смерти, а потому ей, барышнѣ, нужно спасти его.

Павелъ Васильевичъ слушалъ и съ тоской вспоминалъ о своемъ диванѣ. Онъ злобно оглядывалъ Мурашкину, чувствовалъ, какъ по его барабаннымъ перепонкамъ стучалъ ея мужской теноръ, ничего не понималъ и думалъ:

«Чортъ тебя принесъ... Очень мнѣ нужно слушать твою чепуху!.. Ну, чѣмъ я виноватъ, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вотъ наказаніе!»

Павелъ Васильевичъ взглянулъ на простѣнокъ, гдѣ висѣлъ портретъ его жены, и вспомнилъ, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршинъ тесьмы, фунтъ сыру и зубного порошку.

«Какъ бы мнѣ не потерять образчикъ тесьмы,—думалъ онъ.—Куда я его сунулъ? Кажется, въ синемъ пиджакѣ... А подлыя мухи успѣли-таки засыпать многоточіями женинъ портретъ. Надо будетъ приказать Ольгѣ помыть стекло...

Читаетъ XII явленіе, значитъ, скоро конецъ перваго дѣйствія. Неужели въ такую жару, да еще при такой корпуленціи, какъ у этой туши, возможно вдохновеніе? Чѣмъ драмы писать, ѣла бы лучше холодную окрошку, да спала бы въ погребѣ...»

— Вы не находите, что этотъ монологъ нѣсколько длиненъ?—спросила вдругъ Мурашкина, поднимая глаза.

Павелъ Васильевичъ не слышалъ монолога. Онъ сконфузился и сказалъ такимъ виноватымъ тономъ, какъ будто не барыня, а онъ самъ написалъ этотъ монологъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, нисколько... Очень мило...

Мурашкина просіяла отъ счастья и продолжала читать:

— *Анна.*—Васъ заѣлъ анализъ. Вы слишкомъ рано перестали жить сердцемъ и довѣрились уму.—*Валентинъ.*—Что такое сердце? Это понятіе анатомическое. Какъ условный терминъ того, что называется чувствами, я не признаю его. — *Анна* (смутившись). — А любовь? Неужели и она есть продуктъ ассоціаціи идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь?—*Валентинъ* (съ горечью).—Не будемъ трогать старыхъ, еще не зажившихъ ранъ (пауза). О чемъ вы задумались? — *Анна.* — Мнѣ кажется, что вы несчастливы.

Во время XVI явленія Павелъ Васильевичъ зѣвнулъ и нечаянно издалъ зубами звукъ, какой издаютъ собаки, когда ловятъ мухъ. Онъ испугался этого неприличнаго звука и, чтобы замаскировать его, придалъ своему лицу выраженіе умилительнаго вниманія.

«XVII явленіе... Когда же конецъ? — думалъ онъ. — О, Боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минутъ, то я крикну караулъ... Невыносимо!»

Но вотъ, наконецъ, барыня стала читать быстрѣе и громче, возвысила голосъ и прочла: «занавѣсъ».

Павелъ Васильевичъ легко вздохнулъ и собрался подняться, но тотчасъ же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать...

— Дѣйствіе второе. Сцена представляетъ сельскую улицу. Направо школа, налѣво больница. На ступеняхъ послѣдней сидятъ поселяне и поселянки.

— Виноватъ...—перебилъ Павелъ Васильевичъ.—Сколько всѣхъ дѣйствій?

— Пять, — отвѣтила Мурашкина и тотчасъ же, словно оясь, чтобы слушатель не ушелъ, быстро продолжала. — Съ окна школы глядитъ Валентинъ. Видно, какъ въ глу-инѣ сцены поселяне носятъ свои пожитки въ кабакъ.

Какъ приговоренный къ казни и увѣренный въ невоз-жности помилованія, Павелъ Васильевичъ ужъ не ждалъ нца, ни на что не надѣялся, а только старался, чтобы о глаза не слипались и чтобы съ лица не сходило вы-женіе вниманія. Будущее, когда барыня кончитъ драму уйдетъ, казалось ему такимъ отдаленнымъ, что онъ и не умалъ о немъ.

— Тру-ту-ту-ту... — звучалъ въ его ушахъ голосъ Му-ашкиной.—Тру-ту-ту... Жжжж...

«Забылъ я соды принять—думалъ онъ.—О чемъ, бишь, ? Да, о содѣ... У меня, по всей вѣроятности, катаръ елудка... Удивительно: Смирновскій цѣлый день глушитъ одку, и у него до сихъ поръ нѣтъ катара... На окно ая-то птичка сѣла... Воробей...»

Павелъ Васильевичъ сдѣлалъ усиліе, чтобы разомкнуть апряженныя, слипающіяся вѣки, зѣвнулъ, не раскрывая та, и поглядѣлъ на Мурашкину. Та затуманилась, зака-алась въ его глазахъ, стала трехголовой и уперлась голо-ой въ потолокъ...

— *Валентинъ.*—Нѣтъ, позвольте мнѣ уѣхать...—*Анна* испуганно).—Зачѣмъ?—*Валентинъ* (въ сторону).—Она по-лѣднѣла! (Ей) Не заставляйте меня объяснять причинъ. корѣе я умру, но вы не узнаете этихъ причинъ.—*Анна* послѣ паузы).—Вы не можете уѣхать...

Мурашкина стала пухнуть, распухла въ громадину и лилась съ сѣрымъ воздухомъ кабинета; виденъ былъ олько одинъ ея двигающійся ротъ; потомъ она вдругъ гала маленькой, какъ бутылка, закачалась и вмѣстѣ со оломъ ушла въ глубину комнаты...

— *Валентинъ* (держа Анну въ объятіяхъ).—Ты воскре-ила меня, указала цѣль жизни! Ты обновила меня, какъ есенній дождь обновляетъ пробужденную землю! Но... оздно, поздно! Грудь мою точитъ неизлѣчимый недугъ...

Павелъ Васильевичъ вздрогнулъ и уставился посоловѣ-ыми, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядѣлъ ъ неподвижно, какъ будто ничего не понимая...

— Явленіе XI. Тѣ же, баронъ и становой съ поня-

тыми... *Валентинъ.*—Берите меня!—*Анна.*—Я его и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю жизни!—*Баронъ.*—Анна Сергѣевна, вы забываете бите этимъ своего отца...

Мурашкина опять стала пухнуть... Дико осмат Павелъ Васильевичъ приподнялся, вскрикнулъ г неестественнымъ голосомъ, схватилъ со стола прессъ-папье и, не помня себя, со всего размаха имъ по головѣ Мурашкиной...

— Вяжите меня, я убилъ ее!—сказалъ онъ че нуту вбѣжавшей прислугѣ.

Присяжные оправдали его.

# ПРОИЗВЕДЕНІЕ ИСКУССТВА.

Держа подъ мышкой что-то, завернутое въ 223-й нумеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей», Саша Смирновъ, единственный сынъ у матери, сдѣлалъ кислое лицо и вошелъ въ кабинетъ доктора Кошелькова.

— А, милый юноша!—встрѣтилъ его докторъ.—Ну, какъ мы себя чувствуемъ? Что скажете хорошенькаго?

Саша заморгалъ глазами, приложилъ руку къ сердцу и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Кланялась вамъ, Иванъ Николаевичъ, мамаша и велѣла благодарить васъ... Я единственный сынъ у матери, и вы спасли мнѣ жизнь... вылѣчили отъ опасной болѣзни, и... мы оба не знаемъ, какъ благодарить васъ.

— Полно, юноша!—перебилъ докторъ, раскисая отъ удовольствія.—Я сдѣлалъ только то, что всякій другой сдѣлалъ бы на моемъ мѣстѣ.

— Я единственный сынъ у своей матери... Мы люди бѣдные и, конечно, не можемъ заплатить вамъ за вашъ трудъ, и... намъ очень совѣстно, докторъ, хотя, впрочемъ, мамаша и я... единственный сынъ у матери, убѣдительно просимъ васъ принять въ знакъ нашей благодарности... вотъ эту вещь, которая... Вещь очень дорогая, изъ старинной бронзы... рѣдкое произведеніе искусства.

— Напрасно!—поморщился докторъ.—Ну, къ чему это?

— Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста, не отказывайтесь,—продолжалъ бормотать Саша, развертывая свертокъ.—Вы обидите отказомъ и меня, и мамашу... Вещь очень хорошая... изъ старинной бронзы... Досталась она намъ отъ покойнаго папаши и мы хранили ее, какъ дорогую память... Мой папаша скупалъ старинную бронзу и продавалъ ее любителямъ... Теперь мамаша и я этимъ же занимаемся...

Саша развернулъ вещь и торжественно поставилъ ее на столъ. Это былъ невысокій канделябръ старой бронзы, художественной работы. Изображалъ онъ группу: на пьедесталѣ стояли двѣ женскія фигуры въ костюмахъ Евы и въ позахъ, для описанія которыхъ у меня не хватаетъ ни смѣлости, ни подобающаго темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имѣли такой видъ, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвѣчникъ, то онѣ спрыгнули бы съ пьедестала и устроили бы въ комнатѣ такой дебошъ, о которомъ, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядѣвъ на подарокъ, докторъ медленно почесалъ за ухомъ, крякнулъ и нерѣшительно высморкался.

— Да, вещь, дѣйствительно, прекрасная,—пробормоталъ онъ:—но... какъ бы выразиться, не того... нелитературно слишкомъ... Это ужъ не декольте, а чортъ знаетъ что...

— То-есть, почему же?

— Самъ змій-искуситель не могъ бы придумать ничего сквернѣе... Вѣдь поставить на столѣ такую фантасмагорію значитъ всю квартиру загадить!

— Какъ вы странно, докторъ, смотрите на искусство!—обидѣлся Саша.—Вѣдь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняетъ благоговѣйное чувство и къ горлу подступаютъ слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное... Вы поглядите, сколько движенія, какая масса воздуху, экспрессіи!

— Все это я отлично понимаю, милый мой,—перебилъ докторъ: — но вѣдь я человѣкъ семейный, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ.

— Конечно, если смотрѣть съ точки зрѣнія толпы,—сказалъ Саша:—то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется въ иномъ свѣтѣ... Но, докторъ, будьте выше толпы, тѣмъ болѣе, что своимъ отказомъ вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сынъ у матери... вы спасли мнѣ жизнь... Мы отдаемъ вамъ самую дорогую для насъ вещь, и... и я жалѣю только, что у васъ нѣтъ пары для этого канделябра...

— Спасибо, голубчикъ, я очень благодаренъ... Кланяйтесь мамашѣ, но, ей-Богу, сами посудите, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ... Ну, впрочемъ, пусть остается! Вѣдь вамъ не втолкуешь.

— И толковать нечего,—обрадовался Саша.—Этотъ канделябръ вы тутъ поставьте, вотъ около вазы. Эка жалость, что пары нѣтъ! Такая жалость! Ну, прощайте, докторъ.

По уходѣ Саши докторъ долго глядѣлъ на канделябръ, чесалъ у себя за ухомъ и размышлялъ.

«Вещь превосходная, спора нѣтъ,—думалъ онъ:—и бросать ее жалко... Оставить же у себя невозможно... Гм!.. Вотъ задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»

Послѣ долгаго размышленія, онъ вспомнилъ про своего хорошаго пріятеля, адвоката Ухова, которому былъ долженъ за веденіе дѣла.

— И отлично,—рѣшилъ докторъ.—Ему, какъ пріятелю, неловко взять съ меня деньги, и будетъ очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же онъ холостъ и легкомысленъ...

Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, докторъ одѣлся, взялъ канделябръ и поѣхалъ къ Ухову.

— Здорово, пріятель!—сказалъ онъ, заставъ адвоката дома.—Я къ тебѣ... Пришелъ благодарить, братецъ, за твои труды... Денегъ не хочешь брать, такъ возьми хоть эту вотъ вещицу... вотъ, братецъ ты мой... Вещица—роскошь!

Увидѣвъ вещицу, адвокатъ пришелъ въ неописанный восторгъ.

— Вотъ такъ штука!—захохоталъ онъ.—Ахъ, чортъ подери его совсѣмъ, придумаютъ же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Гдѣ ты досталъ такую прелесть?

Изливъ свой восторгъ, адвокатъ пугливо поглядѣлъ на двери и сказалъ:

— Только ты, братъ, убери свой подарокъ. Я не возьму...

— Почему?—испугался докторъ.

— А потому... У меня бываетъ тутъ мать, кліенты... да и отъ прислуги совѣстно.

— Ни-ни-ни... Не смѣешь отказываться!—замахалъ руками докторъ.—Это свинство съ твоей стороны! Вещь художественная... сколько движенія... экспрессіи... И говорить не хочу! Обидишь!

— Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацѣпить...

Но докторъ еще пуще замахалъ руками, выскочилъ изъ квартиры Ухова, и довольный, что сумѣлъ сбыть съ рукъ подарокъ, поѣхалъ домой...

По уходѣ его адвокатъ осмотрѣлъ канделябръ, потрогалъ его со всѣхъ сторонъ пальцами и, подобно доктору, долго ломалъ голову надъ вопросомъ: что дѣлать съ подаркомъ?

«Вещь прекрасная,—разсуждалъ онъ:—и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее—это подарить кому-нибудь... Вотъ что, поднесу-ка я этотъ канделябръ сегодня вечеромъ комику Шашкину. Каналья любитъ подобныя штуки, да и кстати же у него сегодня бенефисъ...»

Сказано—сдѣлано. Вечеромъ тщательно завернутый канделябръ былъ поднесенъ комику Шашкину. Весь вечеръ уборную комика брали приступомъ мужчины, приходившіе полюбоваться на подарокъ; все время въ уборной стоялъ восторженный гулъ и смѣхъ, похожій на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь изъ актрисъ подходила къ двери и спрашивала: «можно войти?», то тотчасъ же слышался хриплый голосъ комика:

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка! Я не одѣтъ!

Послѣ спектакля комикъ пожималъ плечами, разводилъ руками и говорилъ:

— Ну, куда я эту гадость дѣну? Вѣдь я на частной квартирѣ живу! У меня артистки бываютъ! Это не фотографія, въ столъ не спрячешь!

— А вы, сударь, продайте,—посовѣтовалъ парикмахеръ, разоблачая комика.—Тутъ въ предмѣстьи живетъ старуха, которая покупаетъ старинную бронзу... Поѣзжайте и спросите Смирнову... Ее всякій знаетъ.

Комикъ послушался... Дня черезъ два докторъ Кошельковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и, приложивъ палецъ ко лбу, думалъ о желчныхъ кислотахъ. Вдругъ отворилась дверь, и въ кабинетъ влетѣлъ Саша Смирновъ. Онъ улыбался, сіялъ и вся его фигура дышала счастьемъ... Въ рукахъ онъ держалъ что-то завернутое въ газету.

— Докторъ!—началъ онъ, задыхаясь.—Представьте мою радость! На ваше счастье, намъ удалось пріобрѣсти пару для вашего канделябра!.. Мамаша такъ счастлива... Я единственный сынъ у матери... вы спасли мнѣ жизнь...

И Саша, дрожа отъ чувства благодарности, поставилъ передъ докторомъ канделябръ. Докторъ разинулъ ротъ, хотѣлъ было что-то сказать, но не сказалъ ничего: у него отнялся языкъ.

# ОРДЕНЪ.

— —

Учитель военной прогимназіи, коллежскій регистраторъ Левъ Пустяковъ, обиталъ рядомъ съ другомъ своимъ поручикомъ Леденцовымъ. Къ послѣднему онъ и направилъ свои стопы въ новогоднее утро.

— Видишь ли, въ чемъ дѣло, Гриша,—сказалъ онъ поручику послѣ обычнаго поздравленія съ новымъ годомъ.— Я не сталъ бы тебя безпокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мнѣ, голубчикъ, на сегодняшній день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обѣдаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: онъ страшно любитъ ордена и чуть ли не мерзавцами считаетъ тѣхъ, у кого не болтается что-нибудь на шеѣ или въ петлицѣ. И къ тому же, у него двѣ дочери... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, какъ другу... Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сдѣлай милость!

Все это проговорилъ Пустяковъ, заикаясь, краснѣя и робко оглядываясь на дверь. Поручикъ выругался, но согласился.

Въ два часа пополудни Пустяковъ ѣхалъ на извозчикѣ къ Спичкинымъ и, распахнувши чуточку шубу, глядѣлъ себѣ на грудь. На груди сверкалъ золотомъ и отливалъ эмалью чужой Станиславъ.

«Какъ-то и уваженія къ себѣ больше чувствуешь!—думалъ учитель, покрякивая.—Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоитъ, а какой фуроръ производитъ!»

Подъѣхавъ къ дому Спичкина, онъ распахнулъ шубу и сталъ медленно расплачиваться съ извозчикомъ. Извозчикъ,

какъ показалось ему, увидѣвъ его погоны, пуговицы и Станислава, окаменѣлъ. Пустяковъ самодовольно кашлянулъ и вошелъ въ домъ. Снимая въ передней шубу, онъ заглянулъ въ залу. Тамъ за длиннымъ обѣденнымъ столомъ сидѣли уже человѣкъ пятнадцать и обѣдали. Слышался говоръ и звяканье посуды.

— Кто это тамъ звонитъ?—послышался голосъ хозяина.— Ба, Левъ Николаичъ! Милости просимъ. Немножко опоздали, но это не бѣда... Сейчасъ только сѣли.

Пустяковъ выставилъ впередъ грудь, поднялъ голову и, потирая руки, вошелъ въ залу. Но тутъ онъ увидѣлъ нѣчто ужасное. За столомъ, рядомъ съ Зиной, сидѣлъ его товарищъ по службѣ, учитель французскаго языка Трамблянъ. Показать французу орденъ—значило бы вызвать массу самыхъ непріятныхъ вопросовъ, значило бы осрамиться на вѣки, обезславиться... Первою мыслью Пустякова было сорвать орденъ, или бѣжать назадъ; но орденъ былъ крѣпко пришитъ и отступленіе было уже невозможно. Быстро прикрывъ правой рукой орденъ, онъ сгорбился, неловко отдалъ общій поклонъ и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стулъ, какъ разъ противъ сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!»—подумалъ Спичкинъ, поглядѣвъ на его сконфуженное лицо.

Передъ Пустяковымъ поставили тарелку супу. Онъ взялъ лѣвой рукой ложку, но, вспомнивъ, что лѣвой рукой не подобаетъ ѣсть въ благоустроенномъ обществѣ, заявилъ, что онъ уже отобѣдалъ и ѣсть не хочетъ.

— Я уже покушалъ-съ... Мерси-съ...—пробормоталъ онъ.— Былъ я съ визитомъ у дяди, протоіерея Елеева, и онъ упросилъ меня... тово... пообѣдать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: супъ издавалъ вкусный запахъ, а отъ паровой осетрины шелъ необыкновенно-аппетитный дымокъ. Учитель попробовалъ освободить правую руку и прикрыть орденъ лѣвой, но это оказалось неудобнымъ.

«Замѣтятъ... И черезъ всю грудь рука будетъ протянута, точно пѣть собираюсь. Господи, хоть бы скорѣе обѣдъ кончился! Въ трактирѣ ужо пообѣдаю!»

Послѣ третьяго блюда онъ робко, однимъ глазкомъ поглядѣлъ на француза. Трамблянъ, почему-то сильно сконфу-

женный, глядѣлъ на него и тоже ничего не ѣлъ. Поглядѣвъ другъ на друга, оба еще болѣе сконфузились и опустили глаза въ пустыя тарелки.

«Замѣтилъ, подлецъ!—подумалъ Пустяковъ.—По рожѣ вижу, что замѣтилъ! А онъ, мерзавецъ, кляузникъ. Завтра же донесетъ директору!»

Съѣли хозяева и гости четвертое блюдо, съѣли, волею судебъ, и пятое...

Поднялся какой-то высокій господинъ съ широкими, волосистыми ноздрями, горбатымъ носомъ и отъ природы прищуренными глазами. Онъ погладилъ себя по головѣ и провозгласилъ:

— Э-э-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процвѣтаніе сидящихъ здѣсь дамъ!

Обѣдающіе шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всѣмъ комнатамъ. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяковъ поднялся и взялъ свою рюмку въ лѣвую руку.

— Левъ Николаичъ, потрудитесь передать этотъ бокалъ Настасьѣ Тимоѳеевнѣ!—обратился къ нему какой-то мужчина, подавая бокалъ.—Заставьте ее выпить!

На этотъ разъ Пустяковъ, къ великому своему ужасу, долженъ былъ пустить въ дѣло и правую руку. Станиславъ съ помятой красной ленточкой увидѣлъ, наконецъ, свѣтъ и засіялъ. Учитель поблѣднѣлъ, опустилъ голову и робко поглядѣлъ въ сторону француза. Тотъ глядѣлъ на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и съ лица медленно сползалъ конфузъ...

— Юлій Августовичъ!—обратился къ французу хозяинъ.—Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблянъ нерѣшительно протянулъ правую руку къ бутылкѣ и... о, счастье! Пустяковъ увидалъ на его груди орденъ. И то былъ не Станиславъ, а цѣлая Анна! Значитъ, и французъ сжульничалъ! Пустяковъ засмѣялся отъ удовольствія, сѣлъ на стулъ и развалился... Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грѣшны однимъ грѣхомъ и некому, стало-быть, доносить и безславить...

— А-а-а... гм!..—промычалъ Спичкинъ, увидѣвъ на груди учителя орденъ.

— Да-съ! — сказалъ Пустяковъ. — Удивительное дѣло, Юлій Августовичъ! Какъ было мало у насъ передъ празд-

никами представленій! Сколько у насъ народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дѣло!

Трамблянъ весело закивалъ головой и выставилъ впередъ лѣвый лацканъ, на которомъ красовалась Анна 3-й степени.

Послѣ обѣда Пустяковъ ходилъ по всѣмъ комнатамъ и показывалъ барышнямъ орденъ. На душѣ у него было легко, вольготно, хотя и пощипывалъ подъ ложечкой голодъ.

«Знай я такую штуку,—думалъ онъ, завистливо поглядывая на Трамбляна, бесѣдовавшаго со Спичкинымъ объ орденахъ:—я бы Владиміра нацѣпилъ. Эхъ, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. Въ остальномъ же онъ былъ совершенно счастливъ.

# СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА.

одинъ прекрасный вечеръ, не менѣе прекрасный экзе-
ь, Иванъ Дмитричъ Червяковъ, сидѣлъ во второмъ
креселъ и глядѣлъ въ бинокль на «Корневильскіе ко-
а». Онъ глядѣлъ и чувствовалъ себя на верху бла-
ва. Но вдругъ... Въ разсказахъ часто встрѣчается это
другъ». Авторы правы: жизнь такъ полна внезапно-
Но вдругъ лицо его поморщилось, глаза подкатились,
ie остановилось... онъ отвелъ отъ глазъ бинокль, на-
и... апчхи!!! Чихнулъ, какъ видите. Чихать никому
дѣ не возбраняется. Чихаютъ и мужики, и полицей-
еры, и иногда даже и тайные совѣтники. Всѣ чи-
. Червяковъ нисколько не сконфузился, утерся пла-
ъ и, какъ вѣжливый человѣкъ, поглядѣлъ вокругъ
не обезпокоилъ ли онъ кого-нибудь своимъ чиханьемъ?
тъ ужъ пришлось сконфузиться. Онъ увидѣлъ, что
юкъ, сидѣвшій впереди него, въ первомъ ряду кре-
старательно вытиралъ свою лысину и шею перчаткой
моталъ что-то. Въ старичкѣ Червяковъ узналъ стат-
генерала Бризжалова, служащаго по вѣдомству путей
енія.

его обрызгалъ!—подумалъ Червяковъ. — Не мой на-
икъ, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
вяковъ кашлянулъ, подался туловищемъ впередъ и
талъ генералу на ухо:

Извините, ваше—ство, я васъ обрызгалъ... я не-
о...

Ничего, ничего...

— Ради Бога, извините. Я вѣдь... я не желалъ!

— Ахъ, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяковъ сконфузился, глупо улыбнулся и началъ глядѣть на сцену. Глядѣлъ онъ, но ужъ блаженства больше не чувствовалъ. Его начало помучивать безпокойство. Въ антрактѣ онъ подошелъ къ Бризжалову, походилъ возлѣ него и, поборовши робость, пробормоталъ:

— Я васъ обрызгалъ, ваше—ство... Простите... Я вѣдь... не то чтобы...

— Ахъ, полноте... Я ужъ забылъ, а вы все о томъ же!— сказалъ генералъ и нетерпѣливо шевельнулъ нижней губой.

«Забылъ, а у самого ехидство въ глазахъ,—подумалъ Червяковъ, подозрительно поглядывая на генерала.—И говорить не хочетъ. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желалъ... что это законъ природы, а то подумаетъ, что я плюнуть хотѣлъ. Теперь не подумаетъ, такъ послѣ подумаетъ!..»

Придя домой, Червяковъ разсказалъ женѣ о своемъ невѣжествѣ. Жена, какъ показалось ему, слишкомъ легкомысленно отнеслась къ происшедшему; она только испугалась, а потомъ, когда узнала, что Бризжаловъ «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,—сказала она.—Подумаетъ, что ты себя въ публикѣ держать не умѣешь!

— То-то вотъ и есть! Я извинялся, да онъ какъ-то странно... Ни одного слова путнаго не сказалъ. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяковъ надѣлъ новый вицъ-мундиръ, подстригся и пошелъ къ Бризжалову объяснять... Войдя въ пріемную генерала, онъ увидѣлъ тамъ много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже началъ пріемъ прошеній. Опросивъ нѣсколько просителей, генералъ поднялъ глаза и на Червякова.

— Вчера въ «Аркадіи», ежели припомните, ваше—ство,— началъ докладывать экзекуторъ: — я чихнулъ-съ и... нечаянно обрызгалъ... Изв...

— Какіе пустяки... Богъ знаетъ что! Вамъ что угодно?— обратился генералъ къ слѣдующему просителю.

«Говорить не хочетъ!—подумалъ Червяковъ, блѣднѣя.— Сердится, значитъ... Нѣтъ, этого нельзя такъ оставить... Я ему объясню...»

Когда генералъ кончилъ бесѣду съ послѣднимъ просителемъ и направился во внутренніе апартаменты, Червяковъ шагнулъ за нимъ и забормоталъ:

— Ваше—ство! Ежели я осмѣливаюсь безпокоить ваше—ство, то именно изъ чувства, могу сказать, раскаянія!.. Не точно, сами изволите знать-съ!

Генералъ состроилъ плаксивое лицо и махнулъ рукой.

— Да вы просто смѣетесь, милостисдарь!—сказалъ онъ, скрываясь за дверью.

«Какія же тутъ насмѣшки?—подумалъ Червяковъ.—Вотъ тутъ нѣтъ никакихъ насмѣшекъ! Генералъ, а не можетъ понять! Когда такъ, не стану же я больше извиняться передъ этимъ фанфарономъ! Чортъ съ нимъ! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-Богу, не стану!» Такъ думалъ Червяковъ, идя домой. Письма генералу онъ не написалъ. Думалъ, думалъ, и никакъ не выдумалъ того письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходилъ безпокоить ваше—ство,—заборматалъ онъ, когда генералъ поднялъ на него вопрошающіе глаза:—не для того, чтобы смѣяться, какъ вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулъ-съ... а смѣяться я и не думалъ. Смѣю ли я смѣяться? Ежели мы будемъ смѣяться, такъ никакого тогда, значитъ, и уваженія къ персонамъ... не будетъ...

— Пошелъ вонъ!!—гаркнулъ вдругъ посинѣвшій и затрясшійся генералъ.

— Что-съ?—спросилъ шопотомъ Червяковъ, млѣя отъ ужаса.

— Пошелъ вонъ!!—повторилъ генералъ, затопавъ ногами.

Въ животѣ у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, онъ попятился къ двери, вышелъ на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицъ-мундира, онъ легъ на диванъ и... померъ.

# КАНИТЕЛЬ.

На клиросѣ стоитъ дьячокъ Отлукавинъ и держитъ между вытянутыми, жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленькій лобъ его собрался въ морщины, на носу играютъ пятна всѣхъ цвѣтовъ, начиная съ розоваго и кончая темно-синимъ. Передъ нимъ на рыжемъ переплетѣ Цвѣтной Тріоди лежатъ двѣ бумажки. На одной изъ нихъ написано «о здравіи», на другой — «за упокой», и подъ обоими заглавіями по ряду именъ... Около клироса стоитъ маленькая старушонка съ озабоченнымъ лицомъ и съ котомкой на спинѣ. Она задумалась.

— Дальше кого?—спрашиваетъ дьячокъ, лѣниво почесывая за ухомъ.—Скорѣй, убогая, думай, а то мнѣ некогда. Сейчасъ часы читать стану.

— Сейчасъ, батюшка... Ну, пиши... О здравіи рабовъ Божіихъ: Андрея и Дарьи со чады... Митрія, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцемъ скачешь, успѣешь.

— Написалъ Марію? Ну, таперя Кирилла, Гордѣя, младенца новопреставленнаго Герасима, Пантелѣя... Записалъ усопшаго Пантелѣя?

— Постой... Пантелѣй померъ?

— Померъ...—вздыхаетъ старуха.

— Такъ какъ же ты велишь о здравіи записывать?—сердится дьячокъ, зачеркивая Пантелѣя и перенося его на другую бумажку.—Вотъ тоже еще... Ты говори толкомъ, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчасъ... постой... Ну, пиши... Ивана-

Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Какъ пошелъ на службу въ четвертомъ годѣ, такъ съ той поры и не слыхать...

— Стало-быть, онъ померъ?

— А кто жъ его знаетъ! Можетъ, померъ, а можетъ, и живъ... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажемъ, померъ, то за упокой, коли живъ, то о здравіи... Пойми вотъ вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименькій, его на обѣ записочки запиши, а тамъ видно будетъ. Да ему все равно, какъ его ни записывай: непутящій человѣкъ... пропащій... Записалъ? Теперя за упокой Марка, Левонтія, Арину... ну, и Кузьму съ Анной... болящую Ѳедосью...

— Болящую-то Ѳедосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалѣлъ, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, такъ и говори, что не померла, а нечего въ за-упокой лѣзть! Путаешь тутъ! Изволь вотъ теперь Ѳедосью хѣрить и въ другое мѣсто писать... всю бумагу изгадилъ! Ну, слушай, я тебѣ прочту... О здравіи Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипія, Маріи, Кирилла, новопреставленнаго младенца Гер... Постой, какъ же сюда этотъ Герасимъ попалъ? Новопреставленный, и вдругъ—о здравіи! Нѣтъ, запутала ты меня, убогая! Богъ съ тобой, совсѣмъ запутала!

Дьячокъ крутитъ головой, зачеркиваетъ Герасима и переноситъ его въ заупокойный отдѣлъ.

— Слушай! О здравіи Маріи, Кирилла, воина Захаріи... Кого еще?

— Авдотью записалъ?

— Авдотью? Гм!.. Авдотью... Евдокію...—пересматриваетъ дьячокъ обѣ бумажки.—Помню, записывалъ ее, а теперь, шутъ ее знаетъ... никакъ не найдешь... Вотъ она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой?— удивляется старуха. — Году еще нѣтъ, какъ замужъ вышла, а ты на нее ужъ смерть накликаешь!.. Самъ вотъ, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты съ молитвой пиши, а коли будешь въ сердцѣ злобу имѣть, то бѣсу радость. Это тебя бѣсъ хороводитъ да путаетъ...

— Постой, не мѣшай...

Дьячокъ хмурится и, подумавъ, медленно зачеркиваетъ на заупокойномъ листкѣ Авдотью. Перо на буквѣ «д» взвизгиваетъ и даетъ большую кляксу. Дьячокъ конфузится и чешетъ затылокъ.

— Авдотью, стало-быть, долой отсюда...—бормочетъ онъ смущенно:—а записать ее туда... Такъ? Постой... Ежели ее туда, то будетъ о здравіи, ежели же сюда, то за упокой... Совсѣмъ запутала баба! И этотъ еще воинъ Захарія встрялъ сюда... Шутъ его принесъ... Ничего не разберу! Надо сызнова...

Дьячокъ лѣзетъ въ шкапчикъ и достаетъ оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарію, коли такъ...—говоритъ старуха.—Ужъ Богъ съ нимъ, выкинь...

— Молчи!

Дьячокъ макаетъ медленно перо и списываетъ съ обѣихъ бумажекъ имена на новый листокъ.

— Я ихъ всѣхъ гуртомъ запишу,—говоритъ онъ:—а ты неси къ отцу дьякону... Пущай дьяконъ разберетъ, кто здѣсь живой, кто мертвый; онъ въ семинаріи обучался, а я этихъ самыхъ дѣловъ... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха беретъ бумажку, подаетъ дьячку старинныя полторы копейки и сѣменитъ къ алтарю.

# ХИРУРГІЯ.

Земская больница. За отсутствіемъ доктора, уѣхавшаго жениться, больныхъ принимаетъ фельдшеръ Курятинъ, толстый человѣкъ, лѣтъ сорока, въ поношенной чечунчовой жакеткѣ и въ истрепанныхъ триковыхъ брюкахъ. На лицѣ выраженіе чувства долга и пріятности. Между указательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой руки — сигара, распространяющая зловоніе.

Въ пріемную входитъ дьячокъ Вонмигласовъ, высокій, коренастый старикъ, въ коричневой рясѣ и съ широкимъ кожанымъ поясомъ. Правый глазъ съ бѣльмомъ и полузакрытъ, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячокъ ищетъ глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль съ карболовымъ растворомъ, потомъ вынимаетъ изъ краснаго платочка просфору и съ поклономъ кладетъ ее передъ фельдшеромъ.

— А-а-а... мое вамъ!—зѣваетъ фельдшеръ.—Съ чѣмъ пожаловали?

— Съ воскреснымъ днемъ васъ, Сергѣй Кузьмичъ... Къ вашей милости... Истинно и правдиво въ псалтыри сказано, извините: «Питіе мое съ плачемъ растворяхъ». Сѣлъ намедни со старухой чай пить и — ни Боже мой, ни капельки, ни синь-пороха, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нѣту! А кромѣ того, что въ самомъ зубѣ, но и всю эту сторону... Такъ и ломитъ, такъ и ломитъ! Въ ухо отдаетъ, извините, словно въ немъ гвоздикъ или другой какой предметъ: такъ и стрѣляетъ, такъ и стрѣляетъ! Согрѣшихомъ и беззаконновахомъ... Студными

бо окаляхъ душу грѣхми и въ лѣности житіе мое иждихъ... За грѣхи, Сергѣй Кузьмичъ, за грѣхи! Отецъ іерей послѣ литургіи упрекаетъ: «Косноязыченъ ты, Ефимъ, и гугнивъ сталъ. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тутъ пѣніе, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте ротъ!

Вонмигласовъ садится и раскрываетъ ротъ.

Курятинъ хмурится, глядитъ въ ротъ и среди пожелтѣвшихъ отъ времени и табаку зубовъ усматриваетъ одинъ зубъ, украшенный зіяющимъ дупломъ.

— Отецъ діаконъ велѣли водку съ хрѣномъ прикладывать—не помогло. Гликерія Анисимовна, дай Богъ имъ здоровья, дали на руку ниточку носить съ Аѳонской горы, да велѣли теплымъ молокомъ зубъ полоскать, а я, признаться, ниточку-то надѣлъ, а въ отношеніи молока не соблюлъ: Бога боюсь, постъ...

— Предразсудокъ... (пауза). Вырвать его нужно, Ефимъ Михеичъ!

— Вамъ лучше знать, Сергѣй Кузьмичъ. На то вы и обучены, чтобъ это дѣло понимать какъ оно есть, что вырвать, а что каплями или прочимъ чѣмъ... На то вы, благодѣтели, и поставлены, дай Богъ вамъ здоровья, чтобы мы за васъ денно и нощно, отцы родные... по гробъ жизни...

— Пустяки...—скромничаетъ фельдшеръ, подходя къ шкапу и роясь въ инструментахъ.—Хирургія—пустяки... Тутъ во всемъ привычка, твердость руки... Разъ плюнуть... Намедни тоже, вотъ какъ и вы, пріѣзжаетъ въ больницу помѣщикъ Александръ Иванычъ Египетскій... Тоже съ зубомъ... Человѣкъ образованный, обо всемъ разспрашиваетъ, во все входитъ, какъ и что. Руку пожимаетъ, по имени и отчеству... Въ Петербургѣ семь лѣтъ жилъ, всѣхъ профессоровъ перенюхалъ... Долго мы съ нимъ тутъ... Христомъ-Богомъ молитъ: вырвите вы мнѣ его, Сергѣй Кузьмичъ! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тутъ понимать надо, безъ понятія нельзя... Зубы разные бываютъ. Одинъ рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третій ключомъ... Кому какъ.

Фельдшеръ беретъ козью ножку, минуту смотритъ на нее вопросительно, потомъ кладетъ и беретъ щипцы.

— Ну-съ, раскройте ротъ пошире...—говоритъ онъ, подходя съ щипцами къ дьячку.—Сейчасъ мы его... тово... Разъ

плюнуть... Десну подрѣзать только... тракцію сдѣлать по вертикальной оси... и все... (подрѣзываетъ десну) и все...

— Благодѣтели вы наши... Намъ, дуракамъ, и невдомекъ, а васъ Господь просвѣтилъ...

— Не разсуждайте, ежели у васъ ротъ раскрытъ... Этотъ легко рвать, а бываетъ такъ, что одни только корешки... Этотъ—разъ плюнуть... (накладываетъ щипцы). Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... Въ мгновеніе ока... (дѣлаетъ тракцію). Главное, чтобъ поглубже взять (тянетъ)... чтобъ коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать Пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... какъ его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянетъ). Сейчасъ... Вотъ, вотъ... Дѣло-то вѣдь не легкое...

— Отцы... радѣтели... (кричитъ) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лѣтъ тянешь?

— Дѣло-то вѣдь... хирургія... Сразу нельзя... Вотъ, вотъ...

Вонмигласовъ поднимаетъ колѣни до локтей, шевелитъ пальцами, выпучиваетъ глаза, прерывисто дышитъ... На багровомъ лицѣ его выступаетъ потъ, на глазахъ слезы. Курятинъ сопитъ, топчется передъ дьячкомъ и тянетъ... Проходятъ мучительнѣйшія полминуты—и щипцы срываются съ зуба. Дьячокъ вскакиваетъ и лѣзетъ пальцами въ ротъ. Во рту нащупываетъ онъ зубъ на старомъ мѣстѣ.

— Тянулъ!—говоритъ онъ плачущимъ и въ то же время пасмѣшливымъ голосомъ.—Чтобъ тебя такъ на томъ свѣтѣ потянуло! Благодаримъ покорно! Коли не умѣешь рвать, такъ не берись! Свѣта Божьяго не вижу...

— А ты зачѣмъ руками хватаешь?—сердится фельдшеръ.—Я тяну, а ты мнѣ подъ руку толкаешь и разныя глупыя слова... Дура!

— Самъ ты дура!

— Ты думаешь, мужикъ, легко зубъ-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полѣзъ да въ колокола отбарабанилъ! (дразнитъ) «Не умѣешь, не умѣешь!» Скажи, какой указчикъ нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвалъ, да и тотъ ничего, никакихъ словъ... Человѣкъ почище тебя, а не хваталъ руками... Садись! Садись, тебѣ говорю!

— Свѣта не вижу... Дай духъ перевести... Охъ! (садится).

Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученаго! Экій, Господи, народъ необразованный! Живи, вотъ, съ этакими... очумѣешь! Раскрой ротъ... (накладываетъ щипцы). Хирургія, братъ, не шутка... Это не на клиросѣ читать... (дѣлаетъ тракцію). Не дергайся... Зубъ, выходитъ, застарѣлый, глубоко корни пустилъ... (тянетъ). Не шевелись... Такъ... такъ... Не шевелись... Ну, ну... (слышенъ хрустящій звукъ). Такъ и зналъ!

Вонмигласовъ сидитъ минуту неподвижно, словно безъ чувствъ. Онъ ошеломленъ... Глаза его тупо глядятъ въ пространство, на блѣдномъ лицѣ потъ.

— Было бъ мнѣ козьей ножкой...—бормочетъ фельдшеръ.—Этакая оказія!

Придя въ себя, дьячокъ суетъ въ ротъ пальцы и на мѣстѣ больного зуба находитъ два торчащихъ выступа.

— Парршивый чортъ...—выговариваетъ онъ.—Насажалъ васъ здѣсь, иродовъ, на нашу погибель!

— Поругайся мнѣ еще тутъ...—бормочетъ фельдшеръ, кладя въ шкапъ щипцы.—Невѣжа... Мало тебя въ бурсѣ березой потчивали... Господинъ Египетскій, Александръ Иванычъ, въ Петербургѣ лѣтъ семь жилъ... образованность... одинъ костюмъ рублей сто стоитъ... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебѣ, не околѣешь!

Дьячокъ беретъ со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходитъ во-свояси...

# ВИНТЪ.

Въ одну скверную осеннюю ночь Андрей Степановичъ Пересолинъ ѣхалъ изъ театра. Ѣхалъ онъ и размышлялъ о той пользѣ, какую приносили бы театры, если бы въ нихъ давались пьесы нравственнаго содержанія. Проѣзжая мимо правленія, онъ бросилъ думать о пользѣ и сталъ глядѣть на окна дома, въ которомъ онъ, выражаясь языкомъ поэтовъ и шкиперовъ, управлялъ рулемъ. Два окна, выходившія изъ дежурной комнаты, были ярко освѣщены.

«Неужели они до сихъ поръ съ отчетомъ возятся?—подумалъ Пересолинъ.—Четыре ихъ тамъ дурака, и до сихъ поръ еще не кончили! Чего добраго, люди подумаютъ, что я имъ и ночью покою не даю. Пойду подгоню ихъ... Остановись, Гурій!»

Пересолинъ вылѣзъ изъ экипажа и пошелъ въ правленіе. Парадная дверь была заперта, задній же ходъ, имѣвшій одну только испортившуюся задвижку, былъ настежь. Пересолинъ воспользовался послѣднимъ, и черезъ какую-нибудь минуту стоялъ уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолинъ, взглянувъ въ нее, увидѣлъ нѣчто необычайное. За столомъ, заваленнымъ большими счетными листами, при свѣтѣ двухъ лампъ, сидѣли четыре чиновника и играли въ карты. Сосредоточенные, неподвижные, съ лицами, окрашенными въ зеленый цвѣтъ отъ абажуровъ, они напоминали сказочныхъ гномовъ или, чего Боже избави, фальшивыхъ монетчиковъ... Еще болѣе таинственности придавала имъ ихъ игра. Судя по ихъ манерамъ и карточнымъ терминамъ, которые они изрѣдка вы-

крикивали. то былъ винтъ; судя же по всему тому, что услышалъ Пересолинъ, эту игру нельзя было назвать ни винтомъ, ни даже игрой въ карты. То было нѣчто неслыханное, странное и таинственное... Въ чиновникахъ Пересолинъ узналъ Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремѣя Недоѣхова и Ивана Писулина.

— Какъ же это ты ходишь, чортъ голландскій,—разсердился Звиздулинъ, съ остервенѣніемъ глядя на своего партнера vis-à-vis.—Развѣ такъ можно ходить? У меня на рукахъ былъ Дороѳеевъ самъ-другъ, Шепелевъ съ женой да Степка Ерлаковъ, а ты ходишь съ Кофейкина. Вотъ мы и безъ двухъ! А тебѣ бы, садовая голова, съ Поганкина ходить!

— Ну, и что жъ тогда бъ вышло?—окрысился партнеръ.—Я пошелъ бы съ Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолинъ на рукахъ.

«Мою фамилію къ чему-то приплели...—пожалъ плечами Пересолинъ.—Не понимаю!»

Писулинъ сдалъ снова и чиновники продолжали:

— Государственный банкъ...

— Два—казенная палата...

— Безъ козыря...

— Ты безъ козыря?? Гм!.. Губернское правленье—два... Погибать—такъ погибать, шутъ возьми! Тотъ разъ на народномъ просвѣщеніи безъ одной остался, сейчасъ на губернскомъ правленіи нарвусь. Плевать!

— Маленькій шлемъ на народномъ просвѣщеніи!

«Не понимаю!»—прошепталъ Пересолинъ.

— Хожу со статскаго... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернскаго.

— Зачѣмъ намъ титуляшку? Мы и Пересолинымъ хватимъ...

— А мы твоего Пересолина по зубамъ... по зубамъ... У насъ Рыбниковъ есть. Быть вамъ безъ трехъ! Показывайте Пересолиху! Нечего вамъ ее, каналью, за обшлагъ прятать!

«Мою жену затрогали...—подумалъ Пересолинъ...—Не понимаю».

И, не желая долѣе оставаться въ недоумѣніи, Пересолинъ открылъ дверь и вошелъ въ дежурную. Если бы передъ чиновниками явился самъ чортъ съ рогами и съ хвостомъ, то онъ не удивилъ бы и не испугалъ такъ, какъ испугалъ

и удивилъ ихъ начальникъ. Явись передъ ними умершій въ прошломъ году экзекуторъ, проговори онъ имъ гробовымъ голосомъ: «Идите за мной, ангелы, въ мѣсто, уготованное каналіямъ», и дыхни онъ на нихъ холодомъ могилы, они не поблѣднѣли бы такъ, какъ поблѣднѣли, узнавъ Пересолина. У Недоѣхова отъ перепугу даже кровь изъ носа пошла, а у Кулакевича забарабанило въ правомъ ухѣ и самъ собою развязался галстукъ. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на полъ. Минуту въ дежурной царила тишина...

— Хорошо же вы отчетъ переписываете!—началъ Пересолинъ.—Теперь понятно, почему вы такъ любите съ отчетомъ возиться... Что вы сейчасъ дѣлали?..

— Мы только на минутку, ваше—ство...—прошепталъ Звиздулинъ.—Карточки разсматривали... Отдыхали...

Пересолинъ подошелъ къ столу и медленно пожалъ плечами. На столѣ лежали не карты, а фотографическія карточки обыкновеннаго формата, снятыя съ картона и наклеенныя на игральныя карты. Карточекъ было много. Разсматривая ихъ, Пересолинъ увидѣлъ себя, свою жену, много своихъ подчиненныхъ, знакомыхъ...

— Какая чепуха... Какъ же вы это играете?

— Это не мы, ваше—ство, выдумали... Сохрани Богъ... Это мы только примѣръ взяли...

— Объясни-ка, Звиздулинъ! Какъ вы играли? Я все видѣлъ и слышалъ, какъ вы меня Рыбниковымъ били... Ну, чего мнешься? Вѣдь я тебя не ѣмъ? Разсказывай!

Звиздулинъ долго стѣснялся и трусилъ. Наконецъ, когда Пересолинъ сталъ сердиться, фыркать и краснѣть отъ нетерпѣнія, онъ послушался. Собравъ карточки и перетасовавъ, онъ разложилъ ихъ по столу и началъ объяснять:

— Каждый портретъ, ваше—ство, какъ и каждая карта, свою суть имѣетъ... значеніе. Какъ и въ колодѣ, такъ и здѣсь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты — черви, губернское правленіе — трефы, служащіе по министерству народнаго просвѣщенія — бубны, а пиками будетъ отдѣленіе государственнаго банка. Ну-съ... Дѣйствительные статскіе совѣтники у насъ тузы, статскіе совѣтники—короли, супруги особъ IV и V класса—дамы, коллежскіе совѣтники—валеты, надворные совѣтники—десятки,

и такъ далѣе. Я, напримѣръ,—вотъ моя карточка, [illegible] такъ какъ, будучи губернскій секретарь...

— Ишь ты... Я, стало-быть, тузъ?

— Трефовый-съ, а ея превосходительство—дама-съ...

— Гм!.. Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграемъ! Посмотрю...

Пересолинъ снялъ пальто и, недовѣрчиво улыбаясь, сѣлъ за столъ. Чиновники тоже сѣли по его приказанію, и игра началась...

Сторожъ Назаръ, пришедшій въ семь часовъ утра мести дежурную комнату, былъ пораженъ. Картина, которую увидѣлъ онъ, войдя со щеткой, была такъ поразительна, что онъ помнитъ ее теперь даже тогда, когда, напившись пьянъ, лежитъ въ безпамятствѣ. Пересолинъ, блѣдный, сонный и непричесанный, стоялъ передъ Недоѣховымъ и, держа его за пуговицу, говорилъ:

— Пойми же, что ты не могъ съ Шепелева ходить, если зналъ, что у меня на рукахъ я самъ-четвертъ. У Звиздулина Рыбниковъ съ женой, три учителя гимназіи, да моя жена, у Недоѣхова банковцы и три маленькихъ изъ губернской управы. Тебѣ бы нужно было съ Крышкина ходить! Ты не гляди, что они съ казенной палаты ходятъ! Они себѣ на умѣ!

— Я, ваше—ство, пошелъ съ титулярнаго, потому думалъ, что у нихъ дѣйствительный.

— Ахъ, голубчикъ, да вѣдь такъ нельзя думать! Это не игра! Такъ играютъ одни только сапожники. Ты разсуждай!.. Когда Кулакевичъ пошелъ съ надворнаго губернскаго правленія, ты долженъ былъ бросать Ивана Ивановича Гренландскаго, потому что зналъ, что у него Наталья Дмитріевна самъ-третей съ Егоръ Егорычемъ... Ты все испортилъ! Я тебѣ сейчасъ докажу. Садитесь, господа, еще одинъ роберъ сыграемъ!

И, уславши удивленнаго Назара, чиновники усѣлись и продолжали игру.

# КАПИТАНСКІЙ МУНДИРЪ.

Восходящее солнце хмурилось на уѣздный городъ, пѣтухи еще только потягивались, а между тѣмъ въ кабакѣ дяди Рылкина уже были посѣтители. Ихъ было трое: портной Меркуловъ, городовой Жратва и казначейскій разсыльный Смѣхуновъ. Всѣ трое были выпивши.

— Не говори! И не говори!—разсуждалъ Меркуловъ, держа городового за пуговицу. — Чинъ гражданскаго вѣдомства, ежели взять котораго повыше, въ портняжномъ смыслѣ завсегда утретъ носъ генералу. Взять таперича хотя камергера... Что это за человѣкъ? Какого званія? А ты считай... Четыре аршина сукна наилучшаго фабрики Прюнделя съ сыновьями, пуговки, золотой воротникъ, штаны бѣлые съ золотымъ лампасомъ, всѣ груди въ золотѣ, на воротѣ, на рукавахъ и на клапанахъ блескъ! Таперича ежели шить на господъ гофмейстеровъ, шталмейстеровъ, церемоніймейстеровъ и прочихъ министерій... Ты какъ понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревскаго. Мундиръ—не подходи! Берешься за него руками, а въ жилкахъ пульса—цикъ! цикъ! Настоящіе господа, ежели шьютъ, то не смѣй ихъ безпокоить. Снялъ мѣрку и шей, а ходить примѣривать да прифасониваться никакъ невозможно. Ежели ты стоющій портной, то сразу по мѣркѣ сдѣлай... Съ колокольни спрыгни, въ сапоги попади—вѣ какъ! А около насъ былъ, братецъ ты мой, какъ теперь помню, жандармскій корпусъ... Хозяинъ нашъ Осипъ Якличъ и выбиралъ изъ жандармовъ, которые подходящіе, чтобъ заказчику подъ корпусъ подходили, для примѣрки.

Ну-съ, это самое... выбрали мы, братецъ ты мой, для графскаго мундира одного подходящаго жандармика. Позвали... Надѣвай, харя, и чувствуй!.. Потѣха! Надѣлъ онъ, это самое, мундиръ таперя, поглядѣлъ на груди—и что жъ! Обомлѣлъ, знаешь, затрепеталъ, безъ чувствъ...

— А на исправниковъ шили?—освѣдомился Смѣхуновъ.

— Эко-ся, важная птица! Въ Петербургѣ исправниковъ этихъ, какъ собакъ нерѣзаныхъ... Тутъ передъ ними шапку ломаютъ, а тамъ—«посторонись, чево прешь!» Шили мы на господъ военныхъ, да на особъ первыхъ четырехъ классовъ. Особа особѣ рознь... Ежели ты, положимъ, пятаго класса, то ты—пустяки... Приходи черезъ недѣлю и все готово — потому, окромя воротника и нарукавниковъ, ничего... А ежели который четвертаго класса, или третьяго, или, положимъ, второго, тутъ ужъ хозяинъ всѣмъ въ зубы и бѣги въ жандармскій корпусъ. Шили мы разъ, братецъ ты мой, на персидскаго консула. Нашили мы ему на грудяхъ и на спинѣ золотыхъ кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдастъ; анъ нѣтъ, заплатилъ... Въ Петербургѣ даже и въ татарахъ благородство есть.

Долго разсказывалъ Меркуловъ. Въ девятомъ часу онъ, подъ вліяніемъ воспоминаній, заплакалъ и сталъ горько жаловаться на судьбу, загнавшую его въ городишко, наполненный одними только купцами и мѣщанами. Городовой отвелъ уже двоихъ въ полицію, разсыльный уходилъ два раза на почту и въ казначейство и опять приходилъ, а онъ все жаловался. Въ полдень онъ стоялъ передъ дьячкомъ, билъ себя кулакомъ по груди и роптал:

— Не желаю я на хамовъ шить! Не согласенъ! Въ Петербургѣ я самолично на барона Шпуцеля и на господъ офицеровъ шилъ! Отойди отъ меня, длиннополая кутья, чтобъ я тебя не видѣлъ своими глазами! Отойди!

— Возмечтали вы о себѣ высоко, Трифонъ Пантелѣичъ,—убѣждалъ портного дьячокъ.—Хоть вы и артистъ въ своемъ цехѣ, но Бога и религію не должны забывать. Арій возмечталъ въ родѣ, какъ вы, и померъ поносной смертью. Ой, помрете и вы!

— И помру! Пущай лучше помру, чѣмъ зипуны шить!

— Мой анаѳема здѣсь?—послышался вдругъ за дверью бабій голосъ, и въ кабакъ вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба съ подсученными рукавами и перетянутымъ

животомъ.—Гдѣ онъ, идолъ?—окинула она негодующимъ взоромъ посѣтителей.—Иди домой, чтобъ тебя разорвало, тамъ тебя какой-то офицеръ спрашиваетъ!

— Какой офицеръ?—удивился Меркуловъ.

— А шутъ его знаетъ! Сказываетъ, заказать пришелъ.

Меркуловъ почесалъ всей пятерней свой большой носъ, что онъ дѣлалъ всякій разъ, когда хотѣлъ выразить крайнее изумленіе, и пробормоталъ:

— Бѣлены баба объѣлась... Пятнадцать годовъ не видалъ лица благороднаго и вдругъ нынче, въ постный день—офицеръ съ заказомъ! Гм!.. Пойти поглядѣть...

Меркуловъ вышелъ изъ кабака и, спотыкаясь, побрелъ домой... Жена не обманула его. У порога своей избы онъ увидѣлъ капитана Урчаева, дѣлопроизводителя мѣстнаго воинскаго начальника.

— Ты гдѣ это шатаешься?—встрѣтилъ его капитанъ.—Цѣлый часъ жду... Можешь мнѣ мундиръ сшить?

— Ваше благор... Господи!—забормоталъ Меркуловъ, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вмѣстѣ съ клочкомъ волосъ.—Ваше благородіе! Да нешто впервой мнѣ это самое? Ахъ Господи! На барона Шпуцеля шилъ... Эдуарда Карлыча... господинъ подпоручикъ Зембулатовъ до сей поры мнѣ десять рублей долженъ. Ахъ! Жена, да дай же его благородію стульчикъ, побей меня Богъ... Прикажете мѣрочку снять, или дозволите шить на глазомѣръ?

— Ну-съ... Твое сукно и чтобъ черезъ недѣлю было готово... Сколько возьмешь?

— Помилуйте, ваше благородіе... Что вы-съ,—усмѣхнулся Меркуловъ.—Я не купецъ какой-нибудь. Мы вѣдь понимаемъ, какъ съ господами... Когда на консула персидскаго шили, и то безъ словъ...

Снявши съ капитана мѣрку и проводивъ его, Меркуловъ цѣлый часъ стоялъ посреди избы и съ отупѣніемъ глядѣлъ на жену. Ему не вѣрилось...

— Вѣдь этакая, скажи на милость, оказія!—проворчалъ онъ наконецъ.—Гдѣ же я денегъ возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братецъ ты мой, мнѣ въ кредитъ тѣ деньги, что за корову выручили!

Аксинья показала ему кукишъ и плюнула. Немного погодя, она работала кочергой, била на мужниной головѣ горшки, таскала его за бороду, выбѣгала на улицу и кри-

чала: «Ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ! Убилъ!..» Но ни къ чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала въ постели и прятала отъ подмастерій свои синяки, а Меркуловъ ходилъ по лавкамъ и, ругаясь съ купцами, выбиралъ подходящее сукно.

Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утромъ и обводя мутными глазами свой маленькій мірокъ, онъ уже не плевалъ съ остервенѣніемъ... А что диковиннѣе всего, онъ пересталъ ходить въ кабакъ и занялся работой. Тихо помолившись, онъ надѣвалъ большіе стальные очки, хмурился и священнодѣйственно раскладывалъ на столѣ сукно.

Черезъ недѣлю мундиръ былъ готовъ. Выгладивъ его, Меркуловъ вышелъ на улицу, повѣсилъ на плетень и занялся чисткой; сниметъ пушинку, отойдетъ на сажень, щурится долго на мундиръ и опять сниметъ пушинку—и этакъ часа два.

— Бѣда съ этими господами!—говорилъ онъ прохожимъ.—Нѣтъ ужъ больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные—подика-сь угоди.

На другой день послѣ чистки Меркуловъ помазалъ голову масломъ, причесался, завернулъ мундиръ въ новый коленкоръ и отправился къ капитану.

— Некогда мнѣ съ тобой, остолопомъ, разговаривать!—останавливалъ онъ каждаго встрѣчнаго.—Нешто не видишь, что мундиръ къ капитану несу?

Черезъ полчаса онъ воротился отъ капитана.

— Съ полученіемъ васъ, Трифонъ Пантелѣичъ!—встрѣтила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.

— Ну, и дура!—отвѣтилъ ей мужъ.—Нешто настоящіе господа платятъ сразу? Это не купецъ какой-нибудь—взялъ да тебѣ сразу и вывалилъ! Дура...

Дня два Меркуловъ лежалъ на печи, не пилъ, не ѣлъ, и предавался чувству самоудовлетворенія, точь-въ-точь какъ Геркулесъ по совершеніи всѣхъ своихъ подвиговъ. На третій онъ отправился за получкой.

— Ихъ благородіе вставши?—прошепталъ онъ, вползая въ переднюю и обращаясь къ денщику.

И получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ сталъ столбомъ у косяка и принялся ждать.

— Гони въ шею! Скажи, что въ субботу! — услышалъ онъ, послѣ продолжительнаго ожиданія, хрипѣнье капитана.

То же самое услышалъ онъ въ субботу, въ одну, потомъ въ другую... Цѣлый мѣсяцъ ходилъ онъ къ капитану, высиживалъ долгіе часы въ передней и вмѣсто денегъ получалъ приглашеніе убираться къ чорту и придти въ субботу. Но онъ не унывалъ, не ропталъ, а напротивъ... Онъ даже пополнѣлъ. Ему нравилось долгое ожиданіе въ передней, «гони въ шею» звучало въ его ушахъ сладкой мелодіей.

— Сейчасъ узнаешь благороднаго!—восторгался онъ всякій разъ, возвращаясь отъ капитана домой. — У насъ въ Питерѣ всѣ такіе были...

До конца дней своихъ согласился бы Меркуловъ ходить къ капитану и ждать въ передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученныя за корову.

— Принесъ деньги?—встрѣчала она его каждый разъ.— Нѣтъ? Что же ты со мной дѣлаешь, песъ лютый? А?.. Митька, гдѣ кочерга?

Однажды подъ вечеръ Меркуловъ шелъ съ рынка и тащилъ на спинѣ куль съ углемъ. За нимъ торопилась Аксинья.

— Ужо будетъ тебѣ дома на орѣхи! Погоди,—бормотала она, думая о деньгахъ, вырученныхъ за корову.

Вдругъ Меркуловъ остановился, какъ вкопанный, и радостно вскрикнулъ. Изъ трактира «Веселіе», мимо котораго они шли, опрометью выбѣжалъ какой-то господинъ въ цилиндрѣ, съ краснымъ лицомъ и пьяными глазами. За нимъ гнался капитанъ Урчаевъ съ кіемъ въ рукѣ, безъ шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундиръ его былъ весь въ мѣлу, одна погона глядѣла въ сторону.

— Я заставлю тебя играть, шулеръ!—кричалъ капитанъ, неистово махая кіемъ и утирая со лба потъ. — Я научу тебя, протобестія, какъ играть съ порядочными людьми!

— Поглядика-сь, дура!—зашепталъ Меркуловъ, толкая жену подъ локоть и хихикая.—Сейчасъ видать благороднаго. Купецъ ежели что сошьетъ для своего мужицкаго рыла, такъ и сносу нѣтъ, лѣтъ десять таскаетъ, а этотъ ужъ истрепалъ мундиръ! Хоть новый шей!

— Поди попроси у него деньги!—сказала Аксинья.—Поди!

— Что ты, дура! На улицѣ? И ни-ни...

Какъ ни противился Меркуловъ, но жена заставила его подойти къ разсвирѣпѣвшему капитану и заговорить о деньгахъ.

— Пошелъ вонъ! — отвѣтилъ ему капитанъ. — Ты мнѣ надоѣлъ!

— Я, ваше благородіе, понимаю-съ... Я ничего-съ... но жена... неразумная тварь... Сами знаете, какой умъ въ головѣ у ихняго бабьяго званія...

— Ты мнѣ надоѣлъ, говорятъ тебѣ! — взревѣлъ капитанъ, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошелъ прочь!

— Понимаю, ваше благородіе! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи... Отцу Іудѣ корову продали...

— А-а-а... ты еще разговаривать, тля!

Капитанъ размахнулся и — трахъ! Со спины Меркулова посыпался уголь, изъ глазъ — искры, изъ рукъ выпала шапка... Аксинья обомлѣла.. Минуту стояла она недвижно, какъ Лотова жена, обращенная въ соляной столбъ потомъ зашла впередъ и робко взглянула на лицо мужа Къ ея великому удивленію, на лицѣ Меркулова плавала блаженная улыбка, на смѣющихся глазахъ блестѣли слезы

— Сейчасъ видать настоящихъ господъ! — бормотал онъ. — Люди деликатные, образованные... Точь-въ-точь... вало... по самому этому мѣсту, когда носилъ шубу к рону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу... Размахнулись трахъ! И господинъ подпоручикъ Зембулатовъ тоже... шелъ къ нимъ, а они вскочили и изо всей мочи... прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! П мое время!

Меркуловъ махнулъ рукой и, собравъ уголь, домой.

# ЖИВАЯ ХРОНОЛОГІЯ.

Гостиная статскаго совѣтника Шарамыкина окутана пріятнымъ полумракомъ. Большая бронзовая лампа съ зеленымъ абажуромъ краситъ въ зелень à la «украинская ночь» стѣны, мебель, лица... Изрѣдка въ потухающемъ каминѣ вспыхиваетъ тлѣющее полѣно и на мгновеніе заливаетъ лица цвѣтомъ пожарнаго зарева; но это не портитъ общей свѣтовой гармоніи. Общій тонъ, какъ говорятъ художники, выдержанъ.

Передъ каминомъ въ креслѣ, въ позѣ только что пообѣдавшаго человѣка, сидитъ самъ Шарамыкинъ, пожилой господинъ съ сѣдыми чиновничьими бакенами и съ кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нѣжность, губы сложены въ грустную улыбку. У его ногъ, протянувъ къ камину ноги и лѣниво потягиваясь, сидитъ на скамеечкѣ вице-губернаторъ Лопневъ, бравый мужчина, лѣтъ сорока. Около піанино возятся дѣти Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Изъ слегка отворенной двери, ведущей въ кабинетъ г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свѣтъ. Тамъ за дверью, за своимъ письменнымъ столомъ сидитъ жена Шарамыкина, Анна Павловна, предсѣдательница мѣстнаго дамскаго комитета, живая и пикантная дамочка, лѣтъ тридцати съ хвостикомъ. Ея черные, бойкіе глазки бѣгаютъ сквозь пенснэ по страницамъ французскаго романа. Подъ романомъ лежитъ растрепанный комитетскій отчетъ за прошлый годъ.

— Прежде нашъ городъ въ этомъ отношеніи былъ счастливѣе,—говоритъ Шарамыкинъ, щуря свои кроткіе глаза

на тлѣющіе уголья. — Ни одной зимы не проходило безъ того, чтобы не пріѣзжала какая-нибудь звѣзда. Бывали и знаменитые актеры, и пѣвцы, а нынче... чортъ знаетъ что! кромѣ фокусниковъ да шарманщиковъ никто не наѣзжаетъ. Никакого эстетическаго удовольствія... Живемъ, какъ въ лѣсу. Да-съ... А помните, ваше превосходительство, того итальянскаго трагика... какъ его?.. еще такой брюнетъ, высокій... Дай Богъ память... Ахъ, да! Луиджи-Эрнесто-де-Руджіеро... Талантъ замѣчательный... Сила! Одно слово скажетъ, бывало, и театръ ходоромъ ходитъ. Моя Анюточка принимала большое участіе въ его талантѣ. Она ему и театръ выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала... Онъ ее за это декламаціи и мимикѣ училъ. Душа человѣкъ! Пріѣзжалъ онъ сюда... чтобъ не соврать... лѣтъ двѣнадцать тому назадъ... Нѣтъ, вру... Меньше, лѣтъ десять... Анюточка, сколько нашей Нинѣ лѣтъ?

— Десятый годъ! — кричитъ изъ своего кабинета Анна Павловна.—А что?

— Ничего, мамочка, это я такъ... И пѣвцы хорошіе пріѣзжали, бывало... Помните вы tenore di grazia Прилучина? Что за душа человѣкъ! Что за наружность! Блондинъ... лицо этакое выразительное, манеры парижскія... что за голосъ, ваше превосходительство! Одна только бѣда нѣкоторыя ноты желудкомъ пѣлъ и «ре» фистулой бралъ, а то все хорошо. У Тамберлика, говорилъ, учился... Мы съ Анюточкой выхлопотали ему залу въ общественномъ собраніи, и въ благодарность за это онъ, бывало, нам цѣлые дни и ночи распѣвалъ... Анюточку пѣть училъ. Пріѣзжалъ онъ, какъ теперь помню, въ великомъ посту лѣтъ... лѣтъ двѣнадцать тому назадъ. Нѣтъ, больше... Вотъ память, прости Господи! Анюточка, сколько нашей Надечкѣ лѣтъ?

— Двѣнадцать!

— Двѣнадцать... ежели прибавить десять мѣсяцевъ... Ну, такъ и есть... тринадцать!.. Прежде у насъ въ городѣ какъ-то и жизни больше было... Взять къ примѣру хоть благотворительные вечера. Какіе прекрасные бывали у насъ прежде вечера. Что за прелесть! И поютъ, и играютъ, и читаютъ... Послѣ войны, помню, когда здѣсь плѣнные турки стояли, Анюточка дѣлала вечеръ въ пользу раненыхъ. Собрали тысячу сто рублей... Турки-офицеры, помню, безъ

ума были отъ Анюточкина голоса и все ей руку цѣловали. Хе, хе... Хоть и азіаты, а признательная нація. Вечеръ до того удался, что я, вѣрите ли, въ дневникъ записалъ. Это было, какъ теперь помню, въ... семьдесятъ шестомъ... нѣтъ! въ семьдесятъ седьмомъ... Нѣтъ! Позвольте, когда у насъ турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечкѣ лѣтъ?

— Мнѣ, папа, семь лѣтъ!—говоритъ Коля, черномазый мальчуганъ съ смуглымъ лицомъ и черными, какъ уголь, волосами.

— Да, постарѣли и энергіи той ужъ нѣтъ!..—соглашается Лопневъ, вздыхая.—Вотъ гдѣ причина... Старость, батенька! Новыхъ иниціаторовъ нѣтъ, а старые состарились... Нѣтъ ужъ того огня. Я, когда былъ помоложе, не любилъ, чтобъ общество скучало... Я былъ первымъ помощникомъ вашей Анны Павловны... Вечеръ ли съ благотворительною цѣлью устроить, лотерею ли, пріѣзжую ли знаменитость поддержать—все бросалъ и начиналъ хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набѣгался, что даже заболѣлъ... Не забыть мнѣ этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы съ вашей Анной Павловной въ пользу погорѣльцевъ?

— Да это въ какомъ году было?

— Не очень давно... Въ семьдесятъ девятомъ... Нѣтъ, въ восьмидесятомъ, кажется! Позвольте, сколько вашему Ванѣ лѣтъ?

— Пять!—кричитъ изъ кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало-быть, это было шесть лѣтъ тому назадъ... Да-съ, батенька, были дѣла! Теперь ужъ не то! Нѣтъ того огня!

Лопневъ и Шарамыкинъ задумываются. Тлѣющее полѣно вспыхиваетъ въ послѣдній разъ и подергивается пепломъ.

# ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАКЪ.

(Святочный разсказъ.)

Въ ночь подъ Рождество Ефимъ Ѳомичъ Перекладинъ, коллежскій секретарь, легъ спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила!—рявкнулъ онъ со злобой на жену, когда та спросила, отчего онъ такой хмурый.

Дѣло въ томъ, что онъ только-что вернулся изъ гостей, гдѣ сказано было много непріятныхъ и обидныхъ для него вещей. Сначала заговорили о пользѣ образованія вообще, потомъ же незамѣтно перешли къ образовательному цензу служащей братіи, причемъ было высказано много сожалѣній, упрековъ и даже насмѣшекъ по поводу низкаго уровня. И тутъ, какъ это водится во всѣхъ россійскихъ компаніяхъ, съ общихъ матерій перешли къ личностямъ.

— Взять, напримѣръ, хоть васъ, Ефимъ Ѳомичъ,—обратился къ Перекладину одинъ юноша.—Вы занимаете приличное мѣсто... а какое образованіе вы получили?

— Никакого-съ. Да у насъ образованіе и не требуется,— кротко отвѣтилъ Перекладинъ. — Пиши правильно, вотъ и все...

— Гдѣ же это вы правильно писать-то научились?

— Привыкъ-съ... За сорокъ лѣтъ службы можно руку набить-съ... Оно, конечно, спервоначалу трудно было, дѣлывалъ ошибки, но потомъ привыкъ-съ... и ничего...

— А знаки препинанія?

— И знаки препинанія ничего... Правильно ставлю.

— Гм!.. — сконфузился юноша. — Но привычка совсѣмъ не то, что образованіе. Мало того, что вы знаки препи-

нанія правильно ставите... мало-съ! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-съ! А это ваше безсознательное... рефлекторное правописаніе и гроша не стоитъ. Это машинное производство и больше ничего.

Перекладинъ смолчалъ и даже кротко улыбнулся (юноша былъ сынъ статскаго совѣтника и самъ имѣлъ право на чинъ X класса), но теперь, ложась спать, онъ весь обратился въ негодованіе и злобу.

«Сорокъ лѣтъ служилъ,—думалъ онъ: — и никто меня дуракомъ не назвалъ, а тутъ, поди ты, какіе критики нашлись! «Безсознательно!.. Лефлекторно! Машинное производство»... Ахъ, ты, чортъ тебя возьми! Да я еще, можетъ-быть, больше тебя понимаю, даромъ что въ твоихъ университетахъ не былъ!»

Изливъ мысленно по адресу критика всѣ извѣстныя ему ругательства и согрѣвшись подъ одѣяломъ, Перекладинъ сталъ успокаиваться.

«Я знаю... понимаю... — думалъ онъ, засыпая. — Не поставлю тамъ двоеточія, гдѣ запятую нужно, стало-быть, сознаю, понимаю. Да... Такъ-то, молодой человѣкъ... Сначала пожить нужно, послужить, а потомъ ужъ стариковъ судить»...

Въ закрытыхъ глазахъ засыпавшаго Перекладина сквозь толпу темныхъ, улыбавшихся облаковъ метеоромъ пролетѣла огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный, темный фонъ, разстилавшійся передъ его воображеніемъ, покрылся густыми толпами летавшихъ запятыхъ...

«Хоть эти запятыя взять... — думалъ Перекладинъ, чувствуя, какъ его члены сладко нѣмѣютъ отъ наступавшаго сна.—Я ихъ отлично понимаю... Для каждой могу мѣсто найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуй, и увидишь... Запятыя ставятся въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ надо, гдѣ и не надо. Чѣмъ путаниѣе бумага выходитъ, тѣмъ больше запятыхъ нужно. Ставятся онѣ передъ «который» и передъ «что». Ежели въ бумагѣ перечислять чиновниковъ, то каждаго изъ нихъ надо запятой отдѣлять... Знаю!»

Золотыя запятыя завертѣлись и унеслись въ сторону. На ихъ мѣсто прилетѣли огненныя точки...

«А точка въ концѣ бумаги ставится... Гдѣ нужно большую передышку сдѣлать и на слушателя взглянуть, тамъ тоже точка. Послѣ всѣхъ длинныхъ мѣстъ нужно точку, чтобъ секретарь, когда будетъ читать, слюной не истекъ. Больше же нигдѣ точка не ставится...»

Опять налетаютъ запятыя... Онѣ мѣшаются съ точками, кружатся — и Перекладинъ видитъ цѣлое сонмище точекъ съ запятой и двоеточій...

«И этихъ знаю...—думаетъ онъ.—Гдѣ запятой мало, а точки много, тамъ надо точку съ запятой. Передъ «но» и «слѣдственно» всегда ставлю точку съ запятой... Ну-съ, а двоеточіе? Двоеточіе ставится послѣ словъ «постановили», «рѣшили»...

Точки съ запятой и двоеточія потухли. Наступила очередь вопросительныхъ знаковъ. Эти выскочили изъ облаковъ и заканканировали...

«Эка невидаль: знакъ вопросительный! Да хоть тысяча ихъ, всѣмъ мѣсто найду. Ставятся они всегда, когда запросъ нужно дѣлать или, положимъ, о бумагѣ справиться... «Куда отнесенъ остатокъ суммъ за такой-то годъ?» или— «Не найдетъ ли полицейское управленіе возможнымъ оную Иванову и проч.?..»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по командѣ, вытянулись въ знаки восклицательные...

«Гм!.. Этотъ знакъ препинанія въ письмахъ часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отецъ и благодѣтель!..» А въ бумагахъ когда?

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились въ ожиданіи...

«Въ бумагахъ они ставятся, когда... тово... этого... какъ его? Гм!.. Въ самомъ дѣлѣ, когда же ихъ въ бумагахъ ставятъ? Постой... дай Богъ память... Гм!..»

Перекладинъ открылъ глаза и повернулся на другой бокъ. Но не успѣлъ онъ вновь закрыть глаза, какъ на темномъ фонѣ опять появились восклицательные знаки.

«Чортъ ихъ возьми... Когда же ихъ ставить нужно? — подумалъ онъ, стараясь выгнать изъ своего воображенія непрошенныхъ гостей.—Неужели забылъ? Или забылъ, или же... никогда ихъ не ставилъ...»

Перекладинъ сталъ припоминать содержаніе всѣхъ бу-

магъ, которыя онъ написалъ за сорокъ лѣтъ своего служенія; но какъ онъ ни думалъ, какъ ни морщилъ лобъ, въ своемъ прошломъ онъ не нашелъ ни одного восклицательнаго знака.

«Что за оказія! Сорокъ лѣтъ писалъ и ни разу восклицательнаго знака не поставилъ... Гм!.. Но когда же онъ, чортъ длинный, ставится?»

Изъ-за ряда огненныхъ восклицательныхъ знаковъ показалась ехидно смѣющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились въ одинъ большой восклицательный знакъ.

Перекладинъ встряхнулъ головой и открылъ глаза.

«Чортъ знаетъ что...—подумалъ онъ.—Завтра къ утрени вставать надо, а у меня это чертобѣсіе изъ головы не выходитъ... Тьфу! Но... когда же онъ ставится? Вотъ тебѣ и привычка! Вотъ тебѣ и набилъ руку! За сорокъ лѣтъ ни одного восклицательнаго! А?»

Перекладинъ перекрестился и закрылъ глаза, но тотчасъ же открылъ ихъ; на темномъ фонѣ все еще стоялъ большой знакъ...

«Тьфу! Этакъ всю ночь не уснешь». — Марѳуша! — обратился онъ къ своей женѣ, которая часто хвасталась тѣмъ, что кончила курсъ въ пансіонѣ. — Ты не знаешь ли, душенька, когда въ бумагахъ ставится восклицательный знакъ?

— Еще бы не знать! Недаромъ въ пансіонѣ семь лѣтъ училась. Наизусть всю грамматику помню. Этотъ знакъ ставится при обращеніяхъ, восклицаніяхъ и при выраженіяхъ восторга, негодованія, радости, гнѣва и прочихъ чувствъ.

«Тэкъ-съ...—подумалъ Перекладинъ.—Восторгъ, негодованіе, радость, гнѣвъ и прочія чувства...»

Коллежскій секретарь задумался... Сорокъ лѣтъ писалъ онъ бумаги, написалъ онъ ихъ тысячи, десятки тысячъ, но не помнитъ ни одной строки, которая выражала бы восторгъ, негодованіе или что-нибудь въ этомъ родѣ...

«И прочія чувства...—думалъ онъ.—Да нешто въ бумагахъ нужны чувства? Ихъ и безчувственный писать можетъ...»

Рожа юноши-критика опять выглянула изъ-за огненнаго знака и ехидно улыбнулась. Перекладинъ поднялся и сѣлъ

на кровати. Голова его болѣла, на лбу выступилъ х
ный потъ... Въ углу ласково теплилась лампадка, м
глядѣла празднично, чистенько, отъ всего такъ и
тепломъ и присутствіемъ женской руки, но бѣдном
ношѣ было холодно, неуютно, точно онъ заболѣлъ ти
Знакъ восклицательный стоялъ уже не въ закрытыхъ
захъ, а передъ нимъ, въ комнатѣ, около женинаго ту
и насмѣшливо мигалъ ему...

— Пишущая машина! Машина! — шептало приви
дуя на чиновника сухимъ холодомъ. — Деревяжка бе
ственная!

Чиновникъ укрылся одѣяломъ, но и подъ одѣяломъ
увидѣлъ привидѣніе; прильнулъ лицомъ къ жениному
и изъ-за плеча торчало то же самое... Всю ночь п
чился бѣдный Перекладинъ, но и днемъ не оставил
привидѣніе. Онъ видѣлъ его всюду: въ надѣваемых
погахъ, въ блюдечкѣ съ чаемъ, въ Станиславѣ...

«И прочія чувства...—думалъ онъ.—Это правда, чт
какихъ чувствъ не было... Пойду сейчасъ къ начал
расписываться... а развѣ это съ чувствами дѣлается?
зря... Поздравительная машина...»,

Когда Перекладинъ вышелъ на улицу и крикнулъ и
чика, то ему показалось, что вмѣсто извозчика подка
восклицательный знакъ.

Придя въ переднюю начальника, онъ вмѣсто швеі
увидѣлъ тотъ же знакъ... И все это говорило ему о
торгѣ, негодованіи, гнѣвѣ... Ручка съ перомъ тоже гл
восклицательнымъ знакомъ. Перекладинъ взялъ ее, о
нулъ перо въ чернила и расписался:

«Коллежскій секретарь Ефимъ Перекладинъ!!!»

И ставя эти три знака, онъ восторгался, негодо
радовался, кипѣлъ гнѣвомъ.

— На тебѣ! На тебѣ! — бормоталъ онъ, надавливая
перо.

Огненный знакъ удовлетворился и исчезъ.

# НУ, ПУБЛИКА!

— Шабашъ, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора ужъ за умъ взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, такъ работай честно, усердно, по совѣсти, пренебрегая покоемъ и сномъ. Баловство брось... Привыкъ, братъ, задаромъ жалованье получать, а это вотъ и не хорошо... и не хорошо...

Прочитавъ себѣ нѣсколько подобныхъ нравоученій, оберъ-кондукторъ Подтягинъ начинаетъ чувствовать непреодолимое стремленіе къ труду. Уже второй часъ ночи, но, несмотря на это, онъ будитъ кондукторовъ и вмѣстѣ съ ними идетъ по вагонамъ контролировать билеты.

— Вашш... билеты! — выкрикиваетъ онъ, весело пощелкивая щипчиками.

Сонныя фигуры, окутанныя вагоннымъ полумракомъ, вздрагиваютъ, встряхиваютъ головами и подаютъ свои билеты.

— Вашш... билеты! — обращается Подтягинъ къ пассажиру II класса, тощему, жилистому человѣку, окутанному въ шубу и одѣяло и окруженному подушками. — Вашш... билеты!

Жилистый человѣкъ не отвѣчаетъ. Онъ погруженъ въ сонъ. Оберъ-кондукторъ трогаетъ его за плечо и нетерпѣливо повторяетъ:

— Вашш... билеты!

Пассажиръ вздрагиваетъ, открываетъ глаза и съ ужасомъ глядитъ на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вамъ говорятъ по-человѣчески: вашш... билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонетъ жилистый человѣкъ, дѣлая пла-

чущее лицо. — Господи, Боже мой! Я страдаю ревматизмомъ... три ночи не спалъ, нарочно морфію принялъ, чтобъ уснуть, а вы... съ билетомъ! Вѣдь это безжалостно, безчеловѣчно! Если бы вы знали, какъ трудно мнѣ уснуть, то не стали бы безпокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелѣпо! И на что вамъ мой билетъ понадобился? Глупо даже!

Подтягинъ думаетъ, обидѣться ему, или нѣтъ, — и рѣшаетъ обидѣться.

— Вы здѣсь не кричите! Здѣсь не кабакъ! — говоритъ онъ.

— Да въ кабакѣ люди человѣчнѣй...— кашляетъ пассажиръ.—Изволь я теперь уснуть во второй разъ! И удивительное дѣло: всю заграницу объѣздилъ, и никто у меня тамъ билета не спрашивалъ, а тутъ, словно чортъ ихъ подъ локоть толкаетъ, то и дѣло, то и дѣло!..

— Ну, и поѣзжайте за границу, ежели вамъ тамъ нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морятъ пассажировъ угаромъ, духотой и сквознякомъ, такъ хотятъ еще, чортъ ее подери, формалистикой добить. Билетъ ему понадобился! Скажите, какое усердіе! Добро бы это для контроля дѣлалось, а то вѣдь половина поѣзда безъ билетовъ ѣдетъ!

— Послушайте, господинъ!—вспыхиваетъ Подтягинъ.— И ежели вы не перестанете кричать и безпокоить публику, то я принужденъ буду высадить васъ на станціи и составить актъ объ этомъ фактѣ!

— Это возмутительно!—негодуетъ публика.—Пристаетъ къ больному человѣку! Послушайте, да имѣйте же сожалѣніе!

— Да вѣдь они сами ругаются!—труситъ Подтягинъ.— Хорошо, я не возьму билета... Какъ угодно... Только вѣдь, сами знаете, служба моя этого требуетъ... Ежели бъ не служба, то, конечно... Можете даже начальника станціи спросить... Кого угодно спросите...

Подтягинъ пожимаетъ плечами и отходитъ отъ больного. Сначала онъ чувствуетъ себя обиженнымъ и нѣсколько третированнымъ, потомъ же, пройдя вагона два-три, онъ начинаетъ ощущать въ своей оберъ-кондукторской груди нѣкоторое безпокойство, похожее на угрызенія совѣсти.

«Дѣйствительно, не нужно было будить больного, — думаетъ онъ. — Впрочемъ, я не виноватъ... Они тамъ ду-

ваютъ, что это я съ жиру, отъ нечего дѣлать, а того не знаютъ, что этого служба требуетъ... Ежели они не вѣрятъ, такъ я могу къ нимъ начальника станціи привести».

Станція. Поѣздъ стоитъ пять минутъ. Передъ третьимъ звонкомъ въ описанный вагонъ II класса входитъ Подтягинъ. За нимъ шествуетъ начальникъ станціи, въ красной фуражкѣ.

— Вотъ этотъ господинъ,—начинаетъ Подтягинъ:—говорятъ, что я не имѣю полнаго права спрашивать съ нихъ билетъ, и... и обижаются. Прошу васъ, господинъ начальникъ станціи, объяснить имъ — по службѣ я требую билетъ, или зря? Господинъ,—обращается Подтягинъ къ жилистому человѣку. — Господинъ! Можете вотъ начальника станціи спросить, ежели мнѣ не вѣрите.

Больной вздрагиваетъ, словно ужаленный, открываетъ глаза и, сдѣлавъ плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принялъ другой порошокъ и только-что задремалъ, какъ онъ опять... опять! Умоляю васъ, имѣйте вы сожалѣніе!

— Вы можете поговорить вотъ съ господиномъ начальникомъ станціи... Имѣю я полное право билетъ спрашивать, или нѣтъ!

— Это невыносимо! Нате вамъ вашъ билетъ! Нате! Я куплю еще пять билетовъ, только дайте мнѣ умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны! Безчувственный народъ!

— Это просто издѣвательство!—негодуетъ какой-то господинъ въ военной формѣ. — Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте... — морщится начальникъ станціи, дергая Подтягина за рукавъ.

Подтягинъ пожимаетъ плечами и медленно уходитъ за начальникомъ станціи.

«Изволь тутъ угодить!—недоумѣваетъ онъ.—Я для него же позвалъ начальника станціи, чтобъ онъ понималъ, успокоился, а онъ... ругается».

Другая станція. Поѣздъ стоитъ десять минутъ. Передъ вторымъ звонкомъ, когда Подтягинъ стоитъ около буфета и пьетъ сельтерскую воду, къ нему подходятъ два господина, одинъ въ формѣ инженера, другой въ военномъ пальто.

— Послушайте, оберъ-кондукторъ! — обращается инженеръ къ Подтягину. — Ваше поведеніе по отношенію къ больному пассажиру возмутило всѣхъ очевидцевъ. Я инженеръ Пузицкій, это вотъ... господинъ полковникъ. Если вы не извинитесь передъ пассажиромъ, то мы подадимъ жалобу начальнику движенія, нашему общему знакомцу.

— Господа, да вѣдь я... да вѣдь вы...—оторопѣлъ Подтягинъ.

— Объясненій намъ не надо. Но предупреждаемъ, если не извинитесь, то мы беремъ пассажира подъ свою защиту.

— Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Черезъ полчаса Подтягинъ, придумавъ извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входитъ въ вагонъ.

— Господинъ!—обращается онъ къ больному.—Послушайте, господинъ!

Больной вздрагиваетъ и вскакиваетъ.

— Что?

— Я тово... какъ его?.. Вы не обижайтесь...

— Охъ... воды... — задыхается больной, хватаясь за сердце.—Третій порошокъ морфія принялъ, задремалъ и.. опять! Боже, когда же, наконецъ, кончится эта пытка?

— Я тово... Вы извините...

— Слушайте... Высадите меня на слѣдующей станціи.. Болѣе терпѣть я не въ состояніи... Я... я умираю...

— Это подло, гадко!—возмущается публика.— Убирайтесь вонъ отсюда! Вы поплатитесь за подобное издѣвательство! Вонъ!

Подтягинъ машетъ рукой, вздыхаетъ и выходитъ изъ вагона. Идетъ онъ въ служебный вагонъ, садится изнеможенный за столъ и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вотъ ей угодить! Извольте вотъ служить, трудиться! Поневолѣ плюнешь на все и запьешь.. Ничего не дѣлаешь—сердятся, начнешь дѣлать—тоже сердятся... Выпить!»

Подтягинъ выпиваетъ сразу полбутылки и больше уж не думаетъ о трудѣ, долгѣ и честности.

# ПЕРЕСОЛИЛЪ.

Землемѣръ Глѣбъ Гавриловичъ Смирновъ пріѣхалъ на станцію «Гнилушки». До усадьбы, куда онъ былъ вызванъ для межеванія, оставалось еще проѣхать на лошадяхъ верстъ тридцать—сорокъ. (Ежели возница не пьянъ и лошади не клячи, то и тридцати верстъ не будетъ, а коли возница съ мухой да кони наморены, то цѣлыхъ пятьдесятъ наберется).

— Скажите, пожалуйста, гдѣ я могу найти здѣсь почтовыхъ лошадей?—обратился землемѣръ къ станціонному жандарму.

— Которыхъ? Почтовыхъ? Тутъ за сто верстъ путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовыхъ... Да вамъ куда ѣхать?

— Въ Дѣвкино, имѣніе генерала Хохотова.

— Что жъ?—зѣвнулъ жандармъ.—Ступайте за станцію, тамъ на дворѣ иногда бываютъ мужики, возятъ пассажировъ.

Землемѣръ вздохнулъ и поплелся за станцію. Тамъ, послѣ долгихъ поисковъ, разговоровъ и колебаній, онъ нашелъ здоровеннѣйшаго мужика, угрюмаго, рябого, одѣтаго въ рваную сермягу и лапти.

— Чортъ знаетъ, какая у тебя телѣга!—поморщился землемѣръ, влѣзая въ телѣгу.—Не разберешь, гдѣ у нея задъ, гдѣ передъ...

— Что жъ тутъ разбирать-то? Гдѣ лошадиный хвостъ, тамъ передъ, а гдѣ сидитъ ваша милость, тамъ задъ...

Лошаденка была молодая, но тощая, съ растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнулъ ее веревочнымъ кнутомъ, она только замотала головой, когда же онъ выбранился и стегнулъ ее еще разъ, то телѣга взвизгнула и задрожала, какъ въ лихорадкѣ. Послѣ третьяго удара телѣга покачнулась, послѣ же четвертаго она тронулась съ мѣста.

— Этакъ мы всю дорогу поѣдемъ?—спросилъ землемѣръ, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русскихъ возницъ соединять тихую, черепашью ѣзду съ душу выворачивающей тряской.

— До-о-ѣдемъ!—успокоилъ возница.—Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбѣжаться, такъ потомъ и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телѣга выѣхала со станціи, были сумерки. Направо отъ землемѣра тянулась темная, замерзшая равнина, безъ конца и краю... Поѣдешь по ней, такъ навѣрно заѣдешь къ чорту на кулички. На горизонтѣ, гдѣ она исчезала и сливалась съ небомъ, лѣниво догорала холодная осенняя заря... Налѣво отъ дороги въ темнѣющемъ воздухѣ высились какіе-то бугры, не то прошлогодніе стоги, не то деревня. Что было впереди, землемѣръ не видѣлъ, ибо съ этой стороны все поле зрѣнія застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здѣсь глушь!—думалъ землемѣръ, стараясь прикрыть свои уши воротникомъ отъ шинели.—Ни кола, ни двора. Не ровенъ часъ—нападутъ и ограбятъ, такъ никто и не узнаетъ, хоть изъ пушекъ пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцемъ тронетъ, такъ душа вонъ! И морда у него звѣрская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросилъ землемѣръ: — какъ тебя зовутъ?

— Меня-то? Климъ.

— Что, Климъ, какъ у васъ здѣсь? Не опасно? Не шалятъ?

— Ничего, Богъ миловалъ... Кому жъ шалить?

— Это хорошо, что не шалятъ... Но на всякій случай все-таки я взялъ съ собой три револьвера,—совралъ землемѣръ.—А съ револьверомъ, знаешь, шутки плохи. Съ десятью разбойниками можно справиться...

Стемнѣло. Телѣга вдругъ заскрипѣла, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налѣво.

«Куда же это онъ меня повезъ?—подумалъ землемѣръ.—Ѣхалъ все прямо и вдругъ налѣво. Чего добраго, завезетъ, подлецъ, въ какую-нибудь трущобу и... и... Бываютъ вѣдь случаи!»—Послушай,—обратился онъ къ возницѣ.—Такъ ты говоришь, что здѣсь не опасно? Это жаль... Я люблю съ разбойниками драться... На видъ-то я худой, болѣзненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Такъ что жъ ты думаешь? Одного я такъ тряхнулъ, что... что, понимаешь, Богу душу отдалъ, а два другіе изъ-за меня въ Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, въ родѣ тебя, и... и сковырнешь.

Климъ оглянулся на землемѣра, заморгалъ всѣмъ лицомъ и стегнулъ по лошаденкѣ.

— Да, братъ...—продолжалъ землемѣръ.—Не дай Богъ со мной связаться. Мало того, что разбойникъ безъ рукъ, безъ ногъ останется, но еще и передъ судомъ отвѣтитъ... Мнѣ всѣ судьи и исправники знакомы. Человѣкъ я казенный, нужный... Я вотъ ѣду, а начальству извѣстно... такъ и глядитъ, чтобъ мнѣ кто-нибудь худа не сдѣлалъ. Вездѣ по дорогѣ за кустиками урядники да сотскіе понатыканы... По... по... постой!—заоралъ вдругъ землемѣръ.—Куда же это ты въѣхалъ? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лѣсъ!

«Дѣйствительно, лѣсъ...—подумалъ землемѣръ.—А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волненія... Онъ уже замѣтилъ, что я трушу. Отчего это онъ сталъ такъ часто на меня оглядываться? Навѣрное, замышляетъ что-нибудь... Раньше ѣхалъ еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь какъ мчится!»

— Послушай, Климъ, зачѣмъ ты такъ гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбѣжалась... Ужъ какъ разбѣжится, такъ никакимъ средствіемъ ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такія.

— Врешь, братъ! Вижу, что врешь! Только я тебѣ не совѣтую такъ быстро ѣхать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

— Зачѣмъ?

— А затѣмъ... затѣмъ, что за мной со станціи должны выѣхать четыре товарища. Надо, чтобъ они насъ догнали... Они обѣщали догнать меня въ этомъ лѣсу... Съ ними веселѣй будетъ ѣхать... Народъ здоровый, коренастый... у каждаго по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, какъ на иголкахъ? а? Я, братъ, тово... братъ... На меня нечего оглядываться... интереснаго во мнѣ ничего нѣтъ... Развѣ вотъ револьверы только... Изволь, если хочешь, я ихъ выну, покажу... Изволь...

Землемѣръ сдѣлалъ видъ, что роется въ карманахъ, и въ это время случилось то, чего онъ не могъ ожидать при всей своей трусости. Климъ вдругъ вывалился изъ телѣги и на четверенькахъ побѣжалъ къ чащѣ.

— Караулъ!—заголосилъ онъ.—Караулъ! Бери, окаянный, и лошадь, и телѣгу, только не губи ты моей души! Караулъ!

Послышались скорые, удаляющіеся шаги, трескъ хвороста—и все смолкло... Землемѣръ, не ожидавшій такого репримanда, первымъ дѣломъ остановилъ лошадь, потомъ усѣлся поудобнѣй на телѣгѣ и сталъ думать.

«Убѣжалъ... испугался, дуракъ... Ну, какъ теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могутъ подумать, что я у него лошадь укралъ... Какъ быть?»—Климъ! Климъ!

— Климъ!..—отвѣтило эхо.

Отъ мысли, что ему всю ночь придется просидѣть въ темномъ лѣсу на холодѣ и слышать только волковъ, эхо да фырканье тощей кобылки, землемѣра стало коробить вдоль спины, словно холоднымъ терпугомъ.

— Климушка!—закричалъ онъ.—Голубчикъ! Гдѣ ты, Климушка?

Часа два кричалъ землемѣръ, и только послѣ того, какъ онъ охрипъ и помирился съ мыслью о ночевкѣ въ лѣсу, слабый вѣтерокъ донесъ до него чей-то стонъ.

— Климъ! Это ты, голубчикъ? Поѣдемъ!

— У...убьешь!

— Да я пошутилъ, голубчикъ! Накажи меня осподь, пошутилъ! Какіе у меня револьверы? Это я отъ страха вралъ! Сдѣлай милость, поѣдемъ! Мерзну!

Климъ, сообразивъ, вѣроятно, что настоящій разбойникъ давно бы ужъ исчезъ съ лошадью и телѣгой, вышелъ изъ лѣсу и нерѣшительно подошелъ къ своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутилъ, а ты испугался... Садись!

— Богъ съ тобой, баринъ,—проворчалъ Климъ, влѣзая въ телѣгу.—Если бъ зналъ, и за сто цѣлковыхъ не повезъ бы. Чуть я не померъ отъ страха...

Климъ стегнулъ по лошаденкѣ. Телѣга задрожала. Климъ стегнулъ еще разъ, и телѣга покачнулась. Послѣ четвертаго удара, когда телѣга тронулась съ мѣста, землемѣръ закрылъ уши воротникомъ и задумался. Дорога и Климъ ему уже не казались опасными.

# НАЛИМЪ.

Лѣтнее утро. Въ воздухѣ тишина; только поскрипываетъ на берегу кузнечикъ, да гдѣ-то робко мурлыкаетъ орличка. На небѣ неподвижно стоятъ перистыя облака, похожія на разсыпанный снѣгъ... Около строящейся купальни, подъ зелеными вѣтвями ивняка, барахтается въ водѣ плотникъ Герасимъ, высокій, тощій мужикъ съ рыжей курчавой головой и съ лицомъ, поросшимъ волосами. Онъ пыхтитъ, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то изъ-подъ корней ивняка. Лицо его покрыто потомъ. На сажень отъ Герасима, по горло въ водѣ, стоитъ плотникъ Любимъ, молодой горбатый мужикъ съ треугольнымъ лицомъ и съ узкими, китайскими глазками. Какъ Герасимъ, такъ и Любимъ, оба въ рубахахъ и портахъ. Оба посинѣли отъ холода, потому что ужъ больше часа сидятъ въ водѣ...

— Да что ты все рукой тычешь?—кричитъ горбатый Любимъ, дрожа какъ въ лихорадкѣ.—Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдетъ, анаѳема! Держи, говорю!

— Не уйдетъ... Куда ему уйтить? Онъ подъ корягу забился...—говоритъ Герасимъ охрипшимъ, глухимъ басомъ, идущимъ не изъ гортани, а изъ глубины живота.—Скользкій, шутъ, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабровъ-то... Постой, ухватилъ за что-то... За губу ухватилъ... Кусается, шутъ!

— Не тащи за губу, не тащи—выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почалъ рукой тыкать!

Да и безпонятный же мужикъ, прости Царица Небесная! Хватай!

— «Хватай»...—дразнитъ Герасимъ.—Командеръ какой нашелся... Шелъ бы да и хваталъ бы самъ, горбатый чортъ... Чего стоишь?

— Ухватилъ бы я, коли бъ можно было... Нешто при моей низкой комплекціи можно подъ берегомъ стоять? Тамъ глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбачъ взмахиваетъ руками, подплываетъ къ Герасиму и хватается за вѣтки. При первой же попыткѣ стать на ноги, онъ погружается съ головой и пускаетъ пузыри.

— Говорилъ же, что глыбоко!—говоритъ онъ, сердито вращая бѣлками.—На шею тебѣ сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Корягъ много, словно лѣстница...

Горбачъ нащупываетъ пяткой корягу и, крѣпко ухватившись сразу за нѣсколько вѣтокъ, становится на нее... Совладавши съ равновѣсіемъ и укрѣпившись на новой позиціи, онъ изгибается и, стараясь не набрать въ ротъ воды, начинаетъ правой рукой шарить между корягами. Путаясь въ водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакиваетъ на колючія клешни рака.

— Тебя еще тутъ, чорта не видали!—говоритъ Любимъ и со злобой выбрасываетъ на берегъ рака.

Наконецъ, рука его нащупываетъ руку Герасима и, спускаясь по ней, доходитъ до чего-то склизкаго, холоднаго.

— Во-отъ онъ!..—улыбается Любимъ.—Зда-аровый, шутъ... Оттопырь-ка пальцы, я его сичасъ... за зебры... Постой, не толкай локтемъ... я его сичасъ... сичасъ... дай только взяться... Далече, шутъ, подъ корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слыхать... Убей мнѣ на шеѣ комара—жжетъ! Я сичасъ... подъ зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцемъ!

Горбачъ, надувъ щеки, притаивъ дыханіе, вытаращиваетъ глаза и, повидимому, уже залѣзаетъ пальцами «подъ зебры», но тутъ вѣтки, за которыя цѣпляется его лѣвая рука, обрываются, и онъ, потерявъ равновѣсіе,—бултыхъ въ воду! Словно испуганные, бѣгутъ отъ берега волнистые круги и на мѣстѣ паденія вскакиваютъ пузыри. Горбачъ выплываетъ и, фыркая, хватается за вѣтки.

— Утонешь еще, чортъ, отвѣчать за тебя придется!..— хрипитъ Герасимъ.— Вылазь, ну тя къ лѣшему! Я самъ вытащу!

Начинается ругань... А солнце печетъ и печетъ. Тѣни становятся короче и уходятъ въ самихъ себя, какъ рога улитки... Высокая трава, пригрѣтая солнцемъ, начинаетъ испускать изъ себя густой, приторно-медовый запахъ. Ужъ скоро полдень, а Герасимъ и Любимъ все еще барахтаются подъ ивнякомъ. Хриплый басъ и озябшій, визгливый теноръ неугомонно нарушаютъ тишину лѣтняго дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его вышихну! Да куда суешься-то съ кулачищемъ? Ты пальцемъ, а не кулакомъ, рыло! Заходи сбоку! Слѣва заходи, слѣва, а то вправѣ колдобина! Угодишь къ лѣшему на ужинъ! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу къ водопою лѣниво плетется стадо, гонимое пастухомъ Ефимомъ. Пастухъ, дряхлый старикъ съ однимъ глазомъ и покривившимся ртомъ, идетъ, понуря голову, и глядитъ себѣ подъ ноги. Первыми подходятъ къ водѣ овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его изъ-подъ низу! — слышитъ онъ голосъ Любима.—Просунь палецъ! Да ты глухой, чо-ортъ, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы?—кричитъ Ефимъ.

— Налима! Никакъ не вытащимъ! Подъ корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефимъ минуту щуритъ свой глазъ на рыболововъ, затѣмъ снимаетъ лапти, сбрасываетъ съ плечъ мѣшочекъ и снимаетъ рубаху. Сбросить порты не хватаетъ у него терпѣнія, и онъ, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лѣзетъ въ портахъ въ воду... Шаговъ пятьдесятъ онъ проходитъ по илистому дну, но затѣмъ пускается вплавь.

— Постой, ребятушки!—кричитъ онъ.—Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умѣючи!..

Ефимъ присоединяется къ плотникамъ, и всѣ трое, толкая другъ друга локтями и колѣнями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одномъ мѣстѣ... Горбатый Любимъ захлебывается, и воздухъ оглашается рѣзкимъ, судорожнымъ кашлемъ.

— Гдѣ пастухъ?—слышится съ берега крикъ.—Ефимъ! Пастухъ! Гдѣ ты? Стадо въ садъ полѣзло! Гони, гони изъ саду! Гони! Да гдѣ жъ онъ, старый разбойникъ?

Слышатся мужскіе голоса, затѣмъ женскій... Изъ-за рѣшётки барскаго сада показывается баринъ Андрей Андреичъ въ халатѣ изъ персидской шали и съ газетой въ рукѣ... Онъ смотритъ вопросительно по направленію криковъ, несущихся съ рѣки, и потомъ быстро сѣменитъ къ купальнѣ...

— Что здѣсь? Кто оретъ?—спрашиваетъ онъ строго, увидавъ сквозь вѣтви ивняка три мокрыя головы рыболововъ.—Что вы здѣсь копошитесь?

— Ры... рыбку ловимъ...—лепечетъ Ефимъ, не поднимая головы.

— А вотъ я тебѣ задамъ рыбку! Стадо въ садъ полѣзло, а онъ рыбку!.. Когда же купальня будетъ готова, черти? Два дня какъ работаете, а гдѣ ваша работа?

— Бу... будетъ готова...—кряхтитъ Герасимъ.—Лѣто велико, успѣешь еще, вашескородіе, помыться... Пфррр... Никакъ вотъ тутъ съ налимомъ не управимся... Забрался подъ корягу и словно въ норѣ: ни туда, ни сюда...

— Налимъ?—спрашиваетъ баринъ и глаза его подергиваются лакомъ.—Такъ тащите его скорѣй!

— Ужо дашь полтинничекъ... Удружимъ ежели... Здоровенный налимъ, что твоя купчиха... Стоитъ, вашескородіе, полтинникъ... за труды... Не мни его, Любимъ, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человѣкъ... какъ тебя? Кверху, а не книзу, дьяволъ! Не болтайте ногами!

Проходитъ пять минутъ, десять... Барину становится невтерпежъ.

— Василій!—кричитъ онъ, повернувшись къ усадьбѣ.—Васька! Позовите ко мнѣ Василія!

Прибѣгаетъ кучеръ Василій. Онъ что-то жуетъ и тяжело дышитъ.

— Полѣзай въ воду,—приказываетъ ему баринъ:—помоги имъ вытащить налима... Налима не вытащатъ!

Василій быстро раздѣвается и лѣзетъ въ воду.

— Я сичасъ...—бормочетъ онъ.—Гдѣ налимъ? Я сичасъ... Мы это мигомъ! А ты бы ушелъ, Ефимъ! Нечего тебѣ тутъ, старому человѣку, не въ свое дѣло мѣшаться! Который тутъ налимъ? Я его сичасъ... Вотъ онъ! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаемъ: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его такъ вытащишь? Надо за голову!

— А голова подъ корягой! Знамо дѣло, дуракъ!

— Ну, не лай, а то влетитъ! Сволочь!

— При господинѣ баринѣ и такія слова... — лепечетъ Ефимъ.—Не вытащите вы, братцы! Ужъ больно ловко онъ засѣлъ туда!

— Погодите, я сейчасъ...—говоритъ баринъ и начинаетъ торопливо раздѣваться. — Четыре васъ дурака, и налима вытащить не можете!

Раздѣвшись, Андрей Андреичъ даетъ себѣ остынуть и лѣзетъ въ воду. Но и его вмѣшательство не ведетъ ни къ чему.

— Подрубить корягу надо! — рѣшаетъ, наконецъ, Любимъ.—Герасимъ, сходи за топоромъ! Топоръ подайте!

— Пальцевъ-то себѣ не отрубите! — говоритъ баринъ, когда слышатся подводные удары топора о корягу.—Ефимъ, пошелъ вонъ отсюда! Постойте, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламываютъ, и Андрей Андреичъ, къ великому своему удовольствію, чувствуетъ, какъ его пальцы лѣзутъ налиму подъ жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное, аршинное тѣло. Налимъ тяжело ворочаетъ хвостомъ и старается вырваться.

— Шалишь... Дудки, братъ. Попался? Ага!

По всѣмъ лицамъ разливается медовая улыбка. Минута проходитъ въ молчаливомъ созерцаніи.

— Знатный налимъ!—лепечетъ Ефимъ, почесывая подъ ключицами.—Чай, фунтовъ десять будетъ...

— Нда...—соглашается баринъ.—Печенка-то такъ и отдувается. Такъ и претъ ее изъ нутра. А... ахъ!

Налимъ вдругъ неожиданно дѣлаетъ рѣзкое движеніе хвостомъ вверхъ и рыболовы слышатъ сильный плескъ... Всѣ растопыриваютъ руки, но уже поздно: налимъ — поминай какъ звали.

# ХАМЕЛЕОНЪ.

Черезъ базарную площадь идетъ полицейскій надзиратель Очумѣловъ въ новой шинели и съ узелкомъ въ рукѣ. За нимъ шагаетъ рыжій городовой съ рѣшетомъ, до верху наполненнымъ конфискованнымъ крыжовникомъ. Кругомъ тишина... На площади ни души... Открытыя двери лавокъ и кабаковъ глядятъ на свѣтъ Божій уныло, какъ голодныя пасти; около нихъ нѣтъ даже нищихъ.

— Такъ ты кусаться, окаянная!—слышитъ вдругъ Очумѣловъ.—Ребята не пущай ее! Нынче не велѣно кусаться! Держи! А... а!

Слышенъ собачій визгъ. Очумѣловъ глядитъ въ сторону и видитъ: изъ дровянаго склада купца Пичугина, прыгая на трехъ ногахъ и оглядываясь, бѣжитъ собака. За ней гонится человѣкъ въ ситцевой крахмальной рубахѣ и разстегнутой жилеткѣ. Онъ бѣжитъ за ней и, подавшись туловищемъ впередъ, падаетъ на землю и хватаетъ собаку за заднія лапы. Слышенъ вторично собачій визгъ и крикъ: «Не пущай!» Изъ лавокъ высовываются сонныя физіономіи и скоро около дровянаго склада, словно изъ земли выросши, собирается толпа.

— Никакъ безпорядокъ, ваше благородіе!... — говоритъ городовой.

Очумѣловъ дѣлаетъ полуоборотъ налѣво и шагаетъ къ сборищу. Около самыхъ воротъ склада, видитъ онъ, стоитъ вышеписанный человѣкъ въ разстегнутой жилеткѣ и, поднявъ вверхъ правую руку, показываетъ толпѣ окровавленный палецъ. На полупьяномъ лицѣ его какъ бы написано: «Ужо

я сорву съ тебя, шельма!» да и самый палецъ имѣетъ видъ знаменія побѣды. Въ этомъ человѣкѣ Очумѣловъ узнаетъ золотыхъ дѣлъ мастера Хрюкина. Въ центрѣ толпы, растопыривъ переднія ноги и дрожа всѣмъ тѣломъ, сидитъ на землѣ самъ виновникъ скандала—бѣлый борзой щенокъ съ острой мордой и желтымъ пятномъ на спинѣ. Въ слезящихся глазахъ его выраженіе тоски и ужаса.

— По какому это случаю тутъ? — спрашиваетъ Очумѣловъ, врѣзываясь въ толпу.—Почему тутъ? Это ты зачѣмъ палецъ?... Кто кричалъ?

— Иду я, ваше благородіе, никого не трогаю... — начинаетъ Хрюкинъ, кашляя въ кулакъ: — насчетъ дровъ съ Митрій Матричемъ,—и вдругъ эта подлая ни съ того, ни съ сего за палецъ... Вы меня извините, я человѣкъ, который работающій... Работа у меня мелкая. Пущай мнѣ заплатятъ, потому—я этимъ пальцемъ, можетъ, недѣлю не пошевельну... Этого, ваше благородіе, и въ законѣ нѣтъ, чтобъ отъ твари терпѣть... Ежели каждый будетъ кусаться, то лучше и не жить на свѣтѣ...

— Гм!.. Хорошо...—говоритъ Очумѣловъ строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого такъ не оставлю. Я покажу вамъ, какъ собакъ распускать! Пора обратить вниманіе на подобныхъ господъ, не желающихъ подчиняться постановленіямъ! Какъ оштрафуютъ его, мерзавца, такъ онъ узнаетъ у меня, что значитъ собака и прочій бродячій скотъ! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдыринъ,—обращается надзиратель къ городовому:—узнай, чья это собака, и составляй протоколъ! А собаку истребить надо. Не медля! Она навѣрное бѣшеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говоритъ кто-то изъ толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдыринъ, съ меня пальто... Ужасъ, какъ жарко! Должно полагать, передъ дождемъ... Одного только я не понимаю: какъ она могла тебя укусить?—обращается Очумѣловъ къ Хрюкину.— Нешто она достанетъ до пальца? Она маленькая, а ты вѣдь вонъ какой здоровила! Ты, должно-быть, расковырялъ палецъ гвоздикомъ, а потомъ и пришла въ твою голову идея, чтобъ сорвать. Ты вѣдь... извѣстный народъ! Знаю васъ, чертей!

— Онъ, ваше благородіе, цыгаркой ей въ харю для смѣха, а она, не будь дура, и тяпни!... Вздорный человѣкъ, ваше благородіе!

— Врешь, кривой! Не видалъ, такъ, стало-быть, зачѣмъ врать? Ихъ благородіе умный господинъ и понимаютъ, ежели кто вретъ, а кто по совѣсти, какъ передъ Богомъ... А ежели я вру, такъ пущай мировой разсудитъ. У него въ законѣ сказано... Нынче всѣ равны... У меня у самого братъ въ жандармахъ... ежели хотите знать...

— Не разсуждать!

— Нѣтъ, это не генеральская...—глубокомысленно замѣчаетъ городовой. — У генерала такихъ нѣтъ. У него все больше лягавыя...

— Ты это вѣрно знаешь?

— Вѣрно, ваше благородіе...

— Я и самъ знаю. У генерала собаки дорогія, породистыя, а это—чортъ знаетъ что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держатъ?!.. Гдѣ же у васъ умъ? Попадись этакая собака въ Петербургѣ или Москвѣ, то знаете, что было бы? Тамъ не посмотрѣли бы въ законъ, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкинъ, пострадалъ и дѣла этого такъ не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А, можетъ-быть, и генеральская... — думаетъ вслухъ городовой. — На мордѣ у ней не написано... Намедни во дворѣ у него такую видѣлъ.

— Вѣстимо, генеральская!—говоритъ голосъ изъ толпы.

— Гм!.. Надѣнь-ка, братъ Елдыринъ, на меня пальто... Что-то вѣтромъ подуло... Знобитъ... Ты отведешь ее къ генералу и спросишь тамъ. Скажешь, что я нашелъ и прислалъ... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, можетъ-быть, дорогая, а ежели каждый свинья будетъ ей въ носъ сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака—нѣжная тварь... А ты, болванъ, опусти руку! Нечего свой дурацкій палецъ выставлять! Самъ виноватъ!..

— Поваръ генеральскій идетъ, его спросимъ... Эй, Прохоръ! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумалъ! Этакихъ у насъ отродясь не бывало!

— И спрашивать тутъ долго нечего,—говоритъ Очумѣловъ. — Она бродячая! Нечего тутъ долго разговаривать...

Ежели сказалъ, что бродячая, стало-быть и бродячая... Истребить, вотъ и все.

— Это не наша,—продолжаетъ Прохоръ.—Это генералова брата, что намеднись пріѣхалъ. Нашъ не охотникъ до борзыхъ. Братъ ихній охочъ...

— Да развѣ братецъ ихній пріѣхали? Владиміръ Иванычъ?—спрашиваетъ Очумѣловъ, и все лицо его заливается улыбкой умиленія.—Ишь ты, Господи! А я и не зналъ! Погостить пріѣхали?

— Въ гости...

— Ишь ты, Господи... Соскучились по братцѣ... А я вѣдь и не зналъ! Такъ это ихняя собачка? Очень радъ... Возьми ее... Собачонка ничего себѣ... Шустрая такая... Цапъ этого за палецъ! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится шельма... цуцыкъ этакій...

Прохоръ зоветъ собаку и идетъ съ ней отъ дровяного склада... Толпа хохочетъ надъ Хрюкинымъ.

— Я еще доберусь до тебя!—грозитъ ему Очумѣловъ и, запахиваясь въ шинель, продолжаетъ свой путь по базарной площади.

# КЛЕВЕТА.

---

гель чистописанія Сергѣй Капитонычъ Ахинеевъ вы
свою дочку Наталью за учителя исторіи и географіи
Петровича Лошадиныхъ. Свадебное веселье текло,
о маслу. Въ залѣ пѣли, играли, плясали. По комна-
какъ угорѣлые, сновали взадъ и впередъ взятые на
ь изъ клуба лакеи въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ
анныхъ галстукахъ. Стоялъ шумъ и говоръ. Учитель
тики Тарантуловъ, французъ Падекуа и младшій ре-
контрольной палаты Егоръ Венедиктычъ Мзда, сидя
на диванѣ, спѣша и перебивая другъ друга, раз-
али гостямъ случаи погребенія заживо и высказы-
вое мнѣніе о спиритизмѣ. Всѣ трое не вѣрили въ
измъ, но допускали, что на этомъ свѣтѣ есть много
чего никогда не постигнетъ умъ человѣческій. Въ
комнатѣ учитель словесности Додонскій объяснялъ
ь случаи, когда часовой имѣетъ право стрѣлять въ
ящихъ. Разговоры были, какъ видите, страшные, но
пріятные. Въ окна со двора засматривали люди,
ему соціальному положенію не имѣвшіе права войти

о въ полночь хозяинъ Ахинеевъ прошелъ въ кухню
ѣть, все ли готово къ ужину. Въ кухнѣ отъ пола до
ь стоялъ дымъ, состоявшій изъ гусиныхъ, утиныхъ

и многихъ другихъ запаховъ. На двухъ столахъ были ра
ложены и разставлены въ художественномъ безпорядкѣ атр
буты закусокъ и выпивокъ. Около столовъ суетилась к
харка Марѳа, красная баба съ двойнымъ перетянуты
животомъ.

— Покажи-ка мнѣ, матушка, осетра!—сказалъ Ахинеев
потирая руки и облизываясь. — Запахъ-то какой, міазм
какая! Такъ бы и съѣлъ всю кухню! Нуко-ся, показ
осестра!

Марѳа подошла къ одной изъ скамей и осторожно при
подняла засаленный газетный листъ. Подъ этимъ листомъ,
на огромнѣйшемъ блюдѣ, покоился большой заливной
осетръ, пестрѣвшій каперсами, оливками и морковкой.
Ахинеевъ поглядѣлъ на осестра и ахнулъ. Лицо его про
сіяло, глаза подкатились. Онъ нагнулся и издалъ губа
ми звукъ неподмазаннаго колеса. Постоявъ немного, онъ
щелкнулъ отъ удовольствія пальцами и еще разъ чмокнулъ
губами.

— Ба! Звукъ горячаго поцѣлуя... Ты съ кѣмъ это здѣсь
цѣлуешься, Марѳуша? — послышался голосъ изъ сосѣдней
комнаты, и въ дверяхъ показалась стриженая голова по
мощника классныхъ наставниковъ, Ванькина. — Съ кѣмъ
это ты? А-а-а... очень пріятно! Съ Сергѣй Капитонычемъ!
Хорошъ дѣдъ, нечего сказать! Съ женскимъ полонезомъ
тетъ-а-тетъ!

— Я вовсе не цѣлуюсь,—скопфузился Ахинеевъ: — кто
тебѣ, дураку, сказалъ? Это я тово... губами чмокнулъ
въ отношеніи... въ разсужденіи удовольствія... При видѣ
рыбы...

— Разсказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за
дверью. Ахинеевъ покраснѣлъ.

«Чортъ знаетъ что! — подумалъ онъ.—Пойдетъ теперь,
мерзавецъ, и насплетничаетъ. На весь городъ осрамитъ,
скотина»...

Ахинеевъ робко вошелъ въ залу и искоса поглядѣлъ въ
сторону: гдѣ Ванькинъ? Ванькинъ стоялъ около фортепіано
и, ухарски изогнувшись, шепталъ что-то смѣявшейся свое-
ченицѣ инспектора.

«Это про меня!—подумалъ Ахинеевъ.—Про меня, чтобъ

разорвало! А та и вѣритъ... и вѣритъ! Смѣется! Боже мой! Нѣтъ, такъ нельзя оставить... нѣтъ... Нужно будетъ лать, чтобъ ему не повѣрили... Поговорю со всѣми съ ми, и онъ же у меня въ дуракахъ-сплетникахъ остася»

Ахинеевъ почесался и, не переставая конфузиться, подоъ къ Падекуа.

— Сейчасъ я въ кухнѣ былъ и насчетъ ужина распоряся,—сказалъ онъ французу.—Вы, я знаю, рыбу любите, меня, батенька, осетръ, вво! Въ два аршина! Хе-хе-хе... кстати... чуть было не забылъ... Въ кухнѣ-то сейчасъ, осетромъ съ этимъ—сущій анекдотъ! Вхожу я сейчасъ кухню и хочу кушанья оглядѣть... Гляжу на осетра и удовольствія... отъ пикантности губами чмокъ! А въ время вдругъ дуракъ этотъ Ванькинъ входитъ и гово-ъ... ха-ха-ха... и говоритъ: «А-а-а... вы цѣлуетесь здѣсь?» Марѳой-то, съ кухаркой! Выдумалъ же, глупый чело-ъ! У бабы ни рожи, ни кожи, на всѣхъ звѣрей похожа, ъ... цѣловаться! Чудакъ!

— Кто чудакъ?—спросилъ подошедшій Тарантуловъ.

— Да вонъ тотъ, Ванькинъ! Вхожу это я въ кухню... и онъ разсказалъ про Ванькина.

— Насмѣшилъ, чудакъ! А по-моему, пріятнѣй съ барбо-ъ цѣловаться, чѣмъ съ Марѳой,—прибавилъ Ахинеевъ, янулся и увидѣлъ сзади себя Мзду.

— Мы насчетъ Ванькина,—сказалъ онъ ему.—Чудачина! одитъ это въ кухню, увидѣлъ меня рядомъ съ Марѳой, и давай штуки разныя выдумывать. «Чего, говоритъ, цѣлуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говоскорѣй съ индюкомъ поцѣлуюсь, чѣмъ съ Марѳой. у меня и жена есть, говорю, дуракъ ты этакій. Нашилъ!

— Кто васъ насмѣшилъ?—спросилъ подошедшій къ Ахиву отецъ-законоучитель.

— Ванькинъ. Стою я, знаете, въ кухнѣ и на осетра жу...

И такъ далѣе. Черезъ какіе-нибудь полчаса уже всѣ гости ли про исторію съ осетромъ и Ванькинымъ.

Пусть теперь имъ разсказываетъ!—думалъ Ахинеевъ, ирая руки. — Пусть! Онъ начнетъ разсказывать, а ему

сейчасъ: «Полно тебѣ, дуракъ, чепуху городить! Намъ ... извѣстно!»

И Ахинеевъ до того успокоился, что выпилъ отъ радости лишнихъ четыре рюмки. Проводивъ послѣ ужина молодыхъ въ спальню, онъ отправился къ себѣ и уснулъ, какъ ни въ чемъ неповинный ребенокъ, а на другой день онъ уже не помнилъ исторіи съ осетромъ. Но, увы! Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Злой языкъ сдѣлалъ свое злое дѣло, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно черезъ недѣлю, а именно въ среду послѣ третьяго урока, когда Ахинеевъ стоялъ среди учительской и толковалъ о порочныхъ наклонностяхъ ученика Высѣкина, къ нему подошелъ директоръ и отозвалъ его въ сторону.

— Вотъ что, Сергѣй Капитонычъ,—сказалъ директоръ.— Вы извините... Не мое это дѣло, но все-таки я долженъ дать понять... Моя обязанность... Видите ли, ходятъ слухи, что вы живете съ этой... съ кухаркой... Не мое это дѣло, но... Живите съ ней, цѣлуйтесь... что хотите, только, пожалуйста, не такъ гласно! Прошу васъ! Не забывайте, что вы педагогъ!

Ахинеевъ озябъ и обомлѣлъ. Какъ ужаленный сразу цѣлымъ роемъ и какъ ошпаренный кипяткомъ, онъ пошелъ домой. Шелъ онъ домой, и ему казалось, что на него весь городъ глядитъ, какъ на вымазаннаго дегтемъ... Дома ожидала его новая бѣда.

— Ты что же это ничего не трескаешь?— спросила его за обѣдомъ жена.—О чемъ задумался? Объ амурахъ думаешь? О Марѳушкѣ стосковался? Все мнѣ, махаметъ, извѣстно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у... вварваръ!

И шлепъ его по щекѣ!.. Онъ всталъ изъ-за стола и, не чувствуя подъ собой земли, безъ шапки и пальто, побрелъ къ Ванькину. Ванькина онъ засталъ дома.

— Подлецъ ты! — обратился Ахинеевъ къ Ванькину.— За что ты меня передъ всѣмъ свѣтомъ въ грязи выпачкалъ? За что ты на меня клевету пустилъ?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничалъ, будто я съ Марѳой цѣловался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойникъ?

Ванькинъ заморгалъ и замигалъ всѣми фибрами своего поношеннаго лица, поднялъ глаза къ образу и проговорилъ

— Накажи меня Богъ! Лопни мои глаза, и чтобъ я изъ, ежели хоть одно слово про васъ сказалъ! Чтобъ ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнѣнію. Очевидно, онъ насплетничалъ.

Но кто же? Кто? — задумался Ахинеевъ, перебирая въ ей памяти всѣхъ своихъ знакомыхъ и стуча себя по ди.—Кто же?»

— Кто же?—спросимъ и мы читателя...

# ШВЕДСКАЯ СПИЧКА.

(Уголовный разсказъ.)

## I.

Утромъ, 6-го октября 1885 г., въ канцелярію станового пристава 2-го участка С—го уѣзда явился прилично одѣтый молодой человѣкъ и заявилъ, что его хозяинъ, отставной гвардіи корнетъ Маркъ Ивановичъ Кляузовъ, убитъ. Заявляя объ этомъ, молодой человѣкъ былъ блѣденъ и крайне взволнованъ. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?—спросилъ его становой.

— Псѣковъ, управляющій Кляузова. Агрономъ и механикъ.

Становой и понятые, прибывшіе вмѣстѣ съ Псѣковымъ на мѣсто происшествія, нашли слѣдующее. Около флигеля, въ которомъ жилъ Кляузовъ, толпилась масса народу. Вѣсть о происшествіи съ быстротою молніи облетѣла окрестности, и народъ, благодаря праздничному дню, стекался къ флигелю со всѣхъ окрестныхъ деревень. Стоялъ шумъ и говоръ. Кое-гдѣ попадались блѣдныя, заплаканныя физіономіи. Дверь въ спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчалъ ключъ.

— Очевидно, злодѣи пробрались къ нему черезъ окно,— замѣтилъ при осмотрѣ двери Псѣковъ.

Пошли въ садъ, куда выходило окно изъ спальни. Окно глядѣло мрачно, зловѣще. Оно было занавѣшено зеленой,

линялой занавѣской. Одинъ уголъ занавѣски былъ слегка
вороченъ, что давало возможность заглянуть въ спальню.
— Смотрѣлъ ли кто-нибудь изъ васъ въ окно?—спросилъ
новой.
— Никакъ нѣтъ, ваше высокородіе,—сказалъ садовникъ
ремъ, маленькій сѣдовласый старичокъ съ лицомъ отстав-
го унтера. — Не до глядѣнья тутъ, коли всѣ поджилки
сутся!
— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ!—вздохнулъ
новой, глядя на окно.—Говорилъ я тебѣ, что ты пло-
мъ кончишь! Говорилъ я тебѣ, сердягѣ,—не слушался!
спутство не доводитъ до добра!
— Спасибо Ефрему,—сказалъ Псѣковъ: — безъ него мы
не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что
ѣсь что-то не такъ. Приходитъ сегодня ко мнѣ утромъ
говоритъ: «А отчего это нашъ баринъ такъ долго не про-
пается? Цѣлую недѣлю изъ спальни не выходитъ!» Какъ
азалъ онъ мнѣ это, меня точно кто обухомъ... Мысль
часъ мелькнула... Онъ не показывался съ прошлой суб-
ы, а вѣдь сегодня воскресенье! Семь дней—шутка ска-
ъ!
— Да, бѣдняга...—вздохнулъ еще разъ становой.—Умный
ный, образованный, добрый такой. Въ компаніи, можно
зать, первый человѣкъ. Но распутникъ, царствіе ему
бесное! Я всего ожидалъ! Степанъ,—обратился становой
одному изъ понятыхъ:—съѣзди сію минуту ко мнѣ и
пли Андрюшку къ исправнику, пущай доложитъ! Скажи:
рка Иваныча убили! Да забѣги къ уряднику—чего онъ
ъ прохлаждается? Пущай сюда ѣдетъ! А самъ ты по-
кай, какъ можно скорѣе, къ слѣдователю Николаю Ермо-
чу и скажи ему, чтобы ѣхалъ сюда! Постой, я ему
ьмо напишу.
Становой разставилъ вокругъ флигеля сторожей, напи-
ъ слѣдователю письмо и пошелъ къ управляющему пить
й. Минутъ черезъ десять онъ сидѣлъ на табуретѣ, осто-
жно кусалъ сахаръ и глоталъ горячій, какъ уголь, чай.
— Вотъ-съ... — говорилъ онъ Псѣкову.—Вотъ-съ... Дво-
инъ, богатый человѣкъ... любимецъ боговъ, можно ска-
ъ, какъ выразился Пушкинъ, а что изъ него вышло?
чего! Пьянствовалъ, распутничалъ и... вотъ-съ!.. убили.
Черезъ два часа прикатилъ слѣдователь. Николай Ермо-

лаевичъ Чубиковъ (такъ зовутъ слѣдователя), высокій, плотный старикъ, лѣтъ 60, подвизается на своемъ поприщѣ уже четверть столѣтія. Извѣстенъ всему уѣзду, какъ человѣкъ честный, умный, энергичный и любящій свое дѣло. На мѣсто происшествія прибылъ съ нимъ и его непремѣнный спутникъ, помощникъ и письмоводитель Дюковскій, высокій молодой человѣкъ, лѣтъ 26.

— Неужели, господа? — заговорилъ Чубиковъ, входя въ комнату Псѣкова и наскоро пожимая всѣмъ руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нѣтъ, это невозможно! Не-воз-мож-но!

— Подите же вотъ...—вздохнулъ становой.

— Господи ты Боже мой! Да вѣдь я же его въ прошлую пятницу на ярмаркѣ въ Тарабаньковѣ видѣлъ! Я съ нимъ, извините, водку пилъ!

— Подите же вотъ...—вздохнулъ еще разъ становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли къ флигелю.

— Разступись!—крикнулъ урядникъ народу.

Войдя во флигель, слѣдователь занялся прежде всего осмотромъ двери въ спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной въ желтую краску и неповрежденной. Особыхъ примѣтъ, могущихъ послужить какими-либо указаніями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

— Прошу, господа, лишнихъ удалиться! — сказалъ слѣдователь, когда послѣ долгаго стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это въ интересахъ слѣдствія... Урядникъ, никого не впускать!

Чубиковъ, его помощникъ и становой открыли дверь и нерѣшительно, одинъ за другимъ, вошли въ спальню. Ихъ глазамъ представилось слѣдующее зрѣлище. У единственнаго окна стояла большая деревянная кровать съ огромной пуховой периной. На измятой перинѣ лежало скомканное измятое одѣяло. Подушка въ ситцевой наволочкѣ, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столикѣ передъ кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцати-копеечнаго достоинства. Тутъ же лежали и сѣрныя спички. Кромѣ кровати, столика и единственнаго стула, другой мебели въ спальнѣ не было. Заглянувъ подъ кровать, становой увидѣлъ десятка два пустыхъ бутылокъ, старую соломенную шляпу и четверть водки. Подъ столикомъ валялся

одинъ сапогъ, покрытый пылью. Окинувъ взглядомъ комнату, слѣдователь нахмурился и покраснѣлъ.

— Мерзавцы!—пробормоталъ онъ, сжимая кулаки.

— А гдѣ же Маркъ Иванычъ?—тихо спросилъ Дюковскій.

— Прошу васъ не вмѣшиваться!—грубо сказалъ ему Чубиковъ.—Извольте осмотрѣть полъ! Это второй такой случай въ моей практикѣ, Евграфъ Кузьмичъ,—обратился онъ къ становому, понизивъ голосъ. — Въ 1870 году былъ у меня тоже такой случай. Да вы навѣрное помните... Убійство купца Портретова. Тамъ тоже такъ. Мерзавцы убили и вытащили трупъ черезъ окно...

Чубиковъ подошелъ къ окну, отдернулъ въ сторону занавѣску и осторожно пихнулъ окно. Окно отворилось.

— Отворяется, значитъ, не было заперто... Гм!.. Слѣды на подоконникѣ. Видите? Вотъ слѣды отъ колѣна... Кто-то лѣзъ оттуда... Нужно будетъ, какъ слѣдуетъ, осмотрѣть окно.

— На полу ничего особеннаго не замѣтно,—сказалъ Дюковскій.—Ни пятенъ, ни царапинъ. Нашелъ одну только обгорѣвшую шведскую спичку. Вотъ она! Насколько я помню, Маркъ Иванычъ не курилъ; въ общежитіи же онъ употреблялъ сѣрныя спички, отнюдь же не шведскія. Эта спичка можетъ служить уликой...

— Ахъ... замолчите, пожалуйста!—махнулъ рукой слѣдователь.—Лѣзетъ со своей спичкой! Не терплю горячихъ головъ! Чѣмъ спички искать, вы бы лучше постель осмотрѣли!

По осмотрѣ постели Дюковскій отрапортовалъ:

— Ни кровяныхъ, ни какихъ-либо другихъ пятенъ... Свѣжихъ разрывовъ также нѣтъ. На подушкѣ слѣды зубовъ. Одѣяло облито жидкостью, имѣющею запахъ пива и вкусъ его же... Общій видъ постели даетъ право думать, что на ней происходила борьба.

— Безъ васъ знаю, что борьба! Васъ не о борьбѣ спрашиваютъ. Чѣмъ борьбу-то искать, вы бы лучше...

— Одинъ сапогъ здѣсь, другого же нѣтъ налицо.

— Ну, такъ что же?

— А то, что его задушили, когда онъ снималъ сапоги. Не успѣлъ онъ снять другого сапога, какъ...

— Понесъ!.. И почемъ вы знаете, что его задушили?

— На подушкѣ слѣды зубовъ. Сама подушка сильно помята и отброшена отъ кровати на $2^1/_2$ аршина.

— Толкуетъ, пустомеля! Пойдемте-ка лучше въ садъ. Вы бы лучше въ саду посмотрѣли, чѣмъ здѣсь рыться... Это я и безъ васъ сдѣлаю.

Придя въ садъ, слѣдствіе прежде всего занялось осмотромъ травы. Трава подъ окномъ была помята. Кустъ репейника подъ окномъ у самой стѣны оказался тоже помятымъ. Дюковскому удалось найти на немъ нѣсколько поломанныхъ вѣточекъ и кусочекъ ваты. На верхнихъ головкахъ были найдены тонкіе волоски темно-синей шерсти.

— Какого цвѣта былъ его послѣдній костюмъ? — спросилъ Дюковскій у Псѣкова.

— Желтый, парусинковый.

— Отлично. Они, значитъ, были въ синемъ.

Нѣсколько головокъ репейника было срѣзано и старательно заворочено въ бумагу. Въ это время пріѣхалъ исправникъ Арцыбашевъ-Свистаковскій и докторъ Тютюевъ. Исправникъ поздоровался и тотчасъ же принялся удовлетворять свое любопытство; докторъ же, высокій и въ высшей степени тощій человѣкъ со впалыми глазами, длиннымъ носомъ и острымъ подбородкомъ, ни съ кѣмъ не здоровался и ни о чемъ не спрашивая, сѣлъ на пень, вздохнулъ и проговорилъ:

— А сербы опять взбудоражались! Что имъ нужно, не понимаю! Ахъ, Австрія, Австрія! Твои это дѣла!

Осмотръ окна снаружи не далъ рѣшительно ничего; осмотръ же травы и ближайшихъ къ окну кустовъ далъ слѣдствію много полезныхъ указаній. Дюковскому удалось, напримѣръ, прослѣдить на травѣ длинную темную полосу, состоявшую изъ пятенъ и тянувшуюся отъ окна на нѣсколько саженъ вглубь сада. Полоса заканчивалась подъ однимъ изъ сиреневыхъ кустовъ большимъ темно-коричневымъ пятномъ. Подъ тѣмъ же кустомъ былъ найденъ сапогъ, который оказался парой сапога, найденнаго въ спальнѣ.

— Это давнишняя кровь!—сказалъ Дюковскій, осматривая пятна.

Докторъ при словѣ «кровь» поднялся и лѣниво, мелкомъ взглянулъ на пятна.

— Да, кровь,—пробормоталъ онъ.

— Значитъ, не задушенъ, коли кровь! — сказалъ Чубиковъ, язвительно поглядѣвъ на Дюковскаго.

— Въ спальнѣ его задушили, здѣсь же, боясь, чтобы

онъ не ожилъ, его ударили чѣмъ-то острымъ. Пятно подъ кустомъ показываетъ, что онъ лежалъ тамъ относительно долгое время, пока они искали способовъ, какъ и на чемъ вынести его изъ сада.

— Ну, а сапогъ?

— Этотъ сапогъ еще болѣе подтверждаетъ мою мысль, что его убили, когда онъ снималъ передъ сномъ сапоги. Одинъ сапогъ онъ снялъ, другой же, т. е. этотъ, онъ успѣлъ снять только наполовину. Наполовину снятый сапогъ во время тряски и паденія самъ снялся...

— Сообразительность, посмотришь!—усмѣхнулся Чубиковъ.—Такъ и рѣжетъ, такъ и рѣжетъ! И когда вы отучитесь лѣзть со своими разсужденіями? Чѣмъ разсуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы съ кровью!

По осмотрѣ и снятіи плана мѣстности, слѣдствіе отправилось къ управляющему писать протоколъ и завтракать. За завтракомъ разговорились.

— Часы, деньги и прочее... все цѣло,—началъ разговоръ Чубиковъ.—Какъ дважды два четыре, убійство совершено не съ корыстными цѣлями.

— Совершено человѣкомъ интеллигентнымъ, — вставилъ Дюковскій.

— Изъ чего же это вы заключаете?

— Къ моимъ услугамъ шведская спичка, употребленія которой еще не знаютъ здѣшніе крестьяне. Употребляютъ этакія спички только помѣщики, и то не всѣ. Убивалъ, кстати сказать, не одинъ, а минимумъ трое: двое держали, а третій душилъ. Кляузовъ былъ силенъ, и убійцы должны были знать это.

— Къ чему могла послужить ему его сила, ежели онъ, положимъ, спалъ?

— Убійцы застали его за сниманіемъ сапогъ. Снималъ сапоги, значитъ, не спалъ.

— Нечего выдумывать! Ѣшьте лучше!

— А по моему понятію, ваше высокоблагородіе,—сказалъ садовникъ Ефремъ, ставя на столъ самоваръ:—пакость эту самую сдѣлалъ никто другой, какъ Николашка.

— Весьма возможно,—сказалъ Псѣковъ.

— А кто этотъ Николашка?

— Бариновъ камердинеръ, ваше высокоблагородіе,—отвѣчалъ Ефремъ. — Кому другому, какъ не ему? Разбойникъ,

ваше высокоблагородіе! Пьяница и распутникъ такой, что и не приведи Царица Небесная! Барину онъ водку завсегда носилъ, барина онъ укладывалъ въ постелю... Кому же, какъ не ему? А еще тоже, смѣю предположить вашему высокоблагородію, похвалялся разъ, шельма, въ кабакѣ, что барина убьетъ. Изъ-за Акульки все вышло, изъ-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она понравилась, они ее къ себѣ приблизили, ну, а онъ... извѣстно, осерчалъ... На кухнѣ пьяный валяется теперь. Плачетъ... вретъ, что барина жалко...

— А дѣйствительно, изъ-за Акульки можно осерчать,— сказалъ Псѣковъ. — Она солдатка, баба, но... Недаромъ Маркъ Иванычъ прозвалъ ее Наной. Въ ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

— Видалъ... Знаю...—сказалъ слѣдователь, сморкаясь въ красный платокъ.

Дюковскій покраснѣлъ и опустилъ глаза. Становой забарабанилъ пальцемъ по блюдечку. Исправникъ закашлялся и полѣзъ зачѣмъ-то въ портфель. На одного только доктора, повидимому, не произвело никакого впечатлѣнія напоминаніе объ Акулькѣ и Нанѣ. Слѣдователь приказалъ привести Николашку. Николашка, молодой, долговязый парень съ длиннымъ, рябымъ носомъ и впалой грудью, въ пиджакѣ съ барскаго плеча, вошелъ въ комнату Псѣкова и поклонился слѣдователю въ ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Самъ онъ былъ пьянъ и еле держался на ногахъ.

— Гдѣ баринъ?—спросилъ его Чубиковъ.

— Убили, ваше высокоблагородіе.

Сказавъ это, Николашка замигалъ глазами и заплакалъ.

— Знаемъ, что убили. А гдѣ онъ теперь? Тѣло-то его гдѣ?

— Сказываютъ, въ окно вытащили и въ саду закопали.

— Гм!.. О результатахъ слѣдствія уже извѣстно на кухнѣ... Скверно. Любезный, гдѣ ты былъ въ ту ночь, когда убили барина? Въ субботу, то-есть?

Николашка поднялъ вверхъ голову, вытянулъ шею и задумался.

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ.—Былъ выпимши и не помню.

— Alibi!—шепнулъ Дюковскій, усмѣхаясь и потирая руки.

— Такъ-съ. Ну, а отчего это у барина подъ окномъ кровь?

Николашка задралъ вверхъ голову и задумался.

— Скорѣй думай!—сказалъ исправникъ.

— Сичасъ. Кровь эта отъ пустяка, ваше высокоблагородіе. Курицу я рѣзалъ. Я ее рѣзалъ очень просто, какъ обыкновенно, а она возьми да и вырвись изъ рукъ, возьми да побѣги... Отъ этого самаго и кровь.

Ефремъ показалъ, что, дѣйствительно, Николашка каждый вечеръ рѣжетъ куръ и въ разныхъ мѣстахъ, но никто не видѣлъ, чтобы недорѣзанная курица бѣгала по саду, чего, впрочемъ, нельзя отрицать безусловно.

— Alibi,— усмѣхнулся Дюковскій.— И какое дурацкое alibi!

— Съ Акулькой знавался?

— Былъ грѣхъ.

— А баринъ у тебя сманилъ ее?

— Никакъ нѣтъ. У меня Акульку отбили вотъ они-съ, господинъ Псѣковъ, Иванъ Михайлычъ-съ, а у Ивана Михайлыча отбилъ баринъ. Такъ дѣло было.

Псѣковъ смутился и принялся чесать себѣ лѣвый глазъ. Дюковскій впился въ него глазами, прочелъ смущеніе и вздрогнулъ. На управляющемъ увидѣлъ онъ синія панталоны, на которыя ранѣе не обратилъ вниманія. Панталоны напомнили ему о синихъ волоскахъ, найденныхъ на ренейникѣ. Чубиковъ, въ свою очередь, подозрительно взглянулъ на Псѣкова.

— Ступай!— сказалъ онъ Николашкѣ.— А теперь позвольте вамъ задать одинъ вопросъ, г. Псѣковъ. Вы, конечно, были въ субботу подъ воскресенье здѣсь?

— Да, въ десять часовъ я ужиналъ съ Маркомъ Иванычемъ.

— А потомъ?

Псѣковъ смутился и всталъ изъ-за стола.

— Потомъ... потомъ... Право, не помню,— забормоталъ онъ.— Я много выпилъ тогда... Не помню, гдѣ и когда уснулъ... Чего вы на меня всѣ такъ смотрите? Точно я убилъ!

— Гдѣ вы проснулись?

— Проснулся въ людской кухнѣ на печи... Всѣ могутъ подтвердить. Какъ я попалъ на печь, не знаю...

— Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?

— Ничего нѣтъ тутъ особеннаго...

— Отъ васъ она перешла къ Кляузову?

— Да... Ефремъ, подай еще грибовъ! Хотите чаю, Евграфъ Кузьмичъ?

Наступило молчаніе тяжелое, жуткое, длившееся минутъ пять. Дюковскій молчалъ и не отрывалъ своихъ колючихъ глазъ отъ поблѣдѣвшаго лица Псѣкова. Молчаніе нарушилъ слѣдователь.

— Нужно будетъ, — сказалъ онъ: — сходить въ больной домъ и поговорить тамъ съ сестрой покойнаго, Маріей Ивановной. Не дастъ ли она намъ какихъ-либо указаній.

Чубиковъ и его помощникъ поблагодарили за завтракъ и пошли въ барскій домъ. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорока-пятилѣтнюю дѣву, застали они молящейся передъ высокимъ фамильнымъ кіотомъ. Увидѣвъ въ рукахъ гостей портфели и фуражки съ кокардами, она поблѣднѣла.

— Приношу, прежде всего, извиненіе за нарушеніе, такъ сказать, вашего молитвеннаго настроенія,—началъ, расшаркиваясь, галантный Чубиковъ.—Мы къ вамъ съ просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существуетъ подозрѣніе, что вашъ братецъ, нѣкоторымъ образомъ, убитъ. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царямъ, ни пахарямъ. Не можете ли вы помочь намъ какимъ-либо указаніемъ, разъясненіемъ...

— Ахъ, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще болѣе блѣднѣя и закрывая лицо руками.—Ничего я не могу вамъ сказать! Ничего! Умоляю васъ! Я ничего... Что я могу? Ахъ, нѣтъ, нѣтъ... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла въ другую комнату. Слѣдователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

— Чортова баба! — выругался Дюковскій, выходя изъ больного дома. — Повидимому, что-то знаетъ и скрываетъ. И у горничной что-то на лицѣ написано... Постойте же, черти! Все разберемъ!

Вечеромъ Чубиковъ и его помощникъ, освѣщенные блѣднолицей луной, возвращались къ себѣ домой; они сидѣли въ шарабанѣ и подводили въ своихъ головахъ итоги минувшаго дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиковъ вообще не любилъ говорить въ дорогѣ, болтунъ же Дюковскій молчалъ въ угоду старику. Въ концѣ пути, однако, помощникъ не вынесъ молчанія и заговорилъ:

— Что Николашка причастенъ въ этомъ дѣлѣ,—сказалъ
ъ:—non dubitandum est. И по рожѣ его видно, что онъ за
тука... Alibi выдаетъ его съ руками и ногами. Нѣтъ также
мнѣнія, что въ этомъ дѣлѣ не онъ иниціаторъ. Онъ былъ
лько глупымъ, нанятымъ орудіемъ. Согласны? Не послѣд-
ою также роль въ этомъ дѣлѣ играетъ и скромный Псѣ-
въ. Синія панталоны, смущеніе, лежанье на печи отъ
раха послѣ убійства, alibi и Акулька.

— Мели, Емеля, твоя недѣля. По-вашему, значитъ, тотъ
убійца, кто Акульку зналъ? Эхъ, вы, горячка! Соску бы
мъ сосать, а не дѣла разбирать! Вы тоже за Акулькой
аживали, — значитъ и вы участникъ въ этомъ дѣлѣ?

— У васъ тоже Акулька мѣсяцъ въ кухаркахъ жила,
... я ничего не говорю. Въ ночь подъ то воскресенье я
ралъ съ вами въ карты, видѣлъ васъ, иначе бы я и къ
мъ придрался. Дѣло, батенька, не въ бабѣ. Дѣло въ под-
нькомъ, гаденькомъ, скверненькомъ чувствѣ... Скромному
лодому человѣку не понравилось, видите ли, что не онъ
рхъ взялъ. Самолюбіе, видите ли... Мстить захотѣлось.
этомъ-съ... Толстыя губы его сильно говорятъ о чувствен-
сти. Помните, какъ онъ губами причмокивалъ, когда
ульку съ Наной сравнивалъ? Что онъ, мерзавецъ, сго-
етъ страстью — несомнѣнно! Итакъ: оскорбленное само-
біе и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для
го, чтобы совершить убійство. Двое въ нашихъ рукахъ;
кто же третій? Николашка и Псѣковъ держали. Кто же
шилъ? Псѣковъ робокъ, конфузливъ, вообще трусъ. Ни-
лашки же не умѣютъ душить подушкой; они дѣйствуютъ
поромъ, обухомъ... Душилъ кто-то третій, но кто онъ?
Дюковскій нахлобучилъ на глаза шляпу и задумался.
олчалъ онъ до тѣхъ поръ, пока шарабанъ не подъѣхалъ
дому слѣдователя.

— Эврика! — сказалъ онъ, входя въ домикъ и снимая
льто. — Эврика, Николай Ермолаичъ! Не знаю только,
къ мнѣ это раньше въ голову не пришло. Знаете, кто
етій?

— Отстаньте, пожалуйста! Вонъ ужинъ готовъ! Садитесь
инать!

Слѣдователь и Дюковскій сѣли ужинать. Дюковскій на-
лъ себѣ рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая
азами, сказалъ:

— Такъ знайте же, что третій, дѣйствовавшій заодно съ негодяемъ Псѣковымъ и душившій — была женщина! Да-съ! Я говорю о сестрѣ убитаго, Маріѣ Ивановнѣ!

Чубиковъ поперхнулся водкой и уставилъ глаза на Дюковскаго.

— Вы... не тово? Голова у васъ... не тово? Не болитъ?

— Я здоровъ. Хорошо, пусть я съ ума сошелъ, но чѣмъ вы объясните ея смущеніе при нашемъ появленіи? Какъ вы объясните ея нежеланіе давать показанія? Допустимъ, что это пустяки — хорошо! ладно! — такъ вспомните про ихъ отношенія. Она ненавидѣла своего брата! Она старовѣрка, онъ развратникъ, безбожникъ... Вотъ гдѣ гнѣздится ненависть! Говорятъ, что онъ успѣлъ убѣдить ее въ томъ, что онъ аггелъ сатаны. При ней онъ занимался спиритизмомъ!

— Ну, такъ что же?

— Вы не понимаете? Она, старовѣрка, убила его изъ фанатизма! Мало того, что она убила плевелъ, развратника, она освободила міръ отъ антихриста — и въ этомъ, мнитъ она, ея заслуга, ея религіозный подвигъ! О, вы не знаете этихъ старыхъ дѣвъ, старовѣрокъ! Прочитайте-ка Достоевскаго! А что пишутъ Лѣсковъ, Печерскій!.. Она и она, хоть зарѣжьте! Она душила! О, ехидная баба! Развѣ не затѣмъ только стояла она у иконъ, когда мы вошли, чтобы отвести намъ глаза? Дай, молъ, стану и буду молиться, а они подумаютъ, что я покойна, что я не ожидаю ихъ! Это методъ всѣхъ преступниковъ-новичковъ. Голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Родной мой! Отдайте мнѣ это дѣло! Дайте мнѣ лично довести его до конца! Милый мой! Я началъ, я и до конца доведу!

Чубиковъ замоталъ головой и нахмурился.

— Мы и сами умѣемъ трудныя дѣла разбирать, — сказалъ онъ. — А ваше дѣло не лѣзть, куда не слѣдуетъ. Пишите себѣ подъ диктовку, когда вамъ диктуютъ, — вотъ ваше дѣло!

Дюковскій вспыхнулъ, хлопнулъ дверью и вышелъ.

— Умница, шельма! — пробормоталъ, глядя ему вслѣдъ Чубиковъ. — Бо-ольшая умница! Горячъ только некстати. Нужно будетъ ему на ярмаркѣ портсигаръ въ презентъ купить...

На другой день утромъ къ слѣдователю былъ приведенъ изъ Кляузовки молодой парень съ большой головой и за-

ячьей губой, который, назвавшись пастухомъ Данилкой, далъ очень интересное показаніе.

— Былъ я выпимши, — сказалъ онъ. — До полночи у кумы просидѣлъ. Идучи домой, спьяна полѣзъ въ рѣку купаться. Купаюсь я... глядь! Идутъ по плотинѣ два человѣка и что-то черное несутъ. — «Тю!» — крикнулъ я на нихъ. Они испужались и что есть духу давай стрекача къ макарьевскимъ огородамъ. Побей меня Богъ, коли то не барина волокли!

Въ тотъ же день передъ вечеромъ Псѣковъ и Николашка были арестованы и отправлены подъ конвоемъ въ уѣздный городъ. Въ городѣ они были посажены въ тюремный замокъ.

## II.

Прошло двѣнадцать дней.

Было утро. Слѣдователь Николай Ермолаичъ сидѣлъ у себя за зеленымъ столомъ и перелистывалъ «кляузовское» дѣло; Дюковскій безпокойно, какъ волкъ въ клѣткѣ, шагалъ изъ угла въ уголъ.

— Вы убѣждены въ виновности Николашки и Псѣкова, — говорилъ онъ, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убѣдиться въ виновности Марьи Ивановны? Вамъ мало уликъ, что ли?

— Я не говорю, что я не убѣжденъ. Я убѣжденъ, но не вѣрится какъ-то... Уликъ настоящихъ нѣтъ, а все какая-то философія... Фанатизмъ, то да се...

— А вамъ непремѣнно подавай топоръ, окровавленныя простыни!.. Юристы! Такъ я же вамъ докажу! Вы перестанете у меня такъ халатно относиться къ психической сторонѣ дѣла! Быть вашей Марьѣ Ивановнѣ въ Сибири! Я докажу! Мало вамъ философіи, такъ у меня есть нѣчто вещественное... Оно покажетъ вамъ, какъ права моя философія! Дайте мнѣ только поѣздить.

— О чемъ это вы?

— Про шведскую спичку-съ... Забыли? А я не забылъ! Я узнаю, кто зажигалъ ее въ комнатѣ убитаго! Зажигалъ не Николашка, не Псѣковъ, у которыхъ при обыскѣ спичекъ не оказалось, а третій, т. е. Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поѣздить по уѣзду, поразузнать...

— Ну, ладно, садитесь... Давайте допросъ дѣлать.

Дюковскій сѣлъ за столикъ и уткнулъ свой длинный носъ въ бумаги.

— Ввести Николая Тетехова! — крикнулъ слѣдователь.

Ввели Николашку. Николашка былъ блѣденъ и худъ, какъ щепка. Онъ дрожалъ.

— Тетеховъ! — началъ Чубиковъ. — Въ 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены къ тюремному заключенію. Въ 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали въ тюрьму... Намъ все извѣстно...

На лицѣ у Николашки выразилось удивленіе. Всевѣдѣніе слѣдователя изумило его. Но скоро удивленіе смѣнилось выраженіемъ крайней скорби. Онъ зарыдалъ и попросилъ позволенія пойти умыться и успокоиться. Его увели.

— Ввести Псѣкова! — приказалъ слѣдователь.

Ввели Псѣкова. Молодой человѣкъ за послѣдніе дни сильно измѣнился въ лицѣ. Онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ и осунулся. Въ глазахъ читалась апатія.

— Садитесь, Псѣковъ, — сказалъ Чубиковъ. — Надѣюсь, что сегодняшній разъ вы будете благоразумны и не станете лгать, какъ тѣ разы. Во всѣ тѣ дни вы отрицали свое участіе въ убійствѣ Кляузова, несмотря на всю массу уликъ, говорящихъ противъ васъ. Это неразумно. Сознаніе облегчаетъ вину. Сегодня я бесѣдую съ вами въ послѣдній разъ. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будетъ уже поздно. Ну, разсказывайте намъ...

— Ничего я не знаю... И уликъ вашихъ не знаю, — прошепталъ Псѣковъ.

— Напрасно-съ! Ну, такъ позвольте же мнѣ разсказать вамъ, какъ было дѣло. Въ субботу вечеромъ вы сидѣли въ скальнѣ Кляузова и пили съ нимъ водку и пиво (Дюковскій вонзилъ свой взглядъ въ лицо Псѣкова и не отрывалъ его въ продолженіе всего монолога). Вамъ прислуживалъ Николай. Въ первомъ часу Маркъ Ивановичъ заявилъ вамъ о своемъ желаніи ложиться спать. Въ первомъ часу онъ всегда ложился. Когда онъ снималъ сапоги и отдавалъ вамъ приказанія по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили оньянѣвшаго хозяина и опрокинули его на постель. Одинъ изъ васъ сѣлъ ему на ноги, другой на голову. Въ это время изъ сѣней вошла извѣстная вамъ женщина въ черномъ платьѣ, которая ранѣе условилась съ вами

относительно своего участія въ этомъ преступномъ дѣлѣ. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свѣча. Женщина вынула изъ кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свѣчу. Не такъ ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далѣе... Задушивъ его и убѣдившись, что онъ не дышитъ, вы и Николай вытащили его черезъ окно и положили около репейника. Боясь, чтобы онъ не ожилъ, вы ударили его чѣмъ-то острымъ. Затѣмъ вы понесли и положили его на нѣкоторое время подъ сиреневый кустъ. Отдохнувъ и подумавъ, вы понесли его... Перенесли черезъ плетень... Потомъ пошли по дорогѣ... Далѣе слѣдуетъ плотина. Около плотины испугалъ васъ какой-то мужикъ. Но что съ вами?

Псѣковъ, блѣдный какъ полотно, поднялся и зашатался.

— Мнѣ душно! — сказалъ онъ. — Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста.

Псѣкова вывели.

— Наконецъ-таки сознался! — сладко потянулся Чубиковъ. — Выдалъ себя! Какъ я его ловко, однако! Такъ и засыпалъ...

— И женщину въ черномъ не отрицаетъ! — засмѣялся Дюковскій. — Но, однако, меня ужасно мучитъ шведская спичка! Не могу долѣе терпѣть! Прощайте! Ѣду.

Дюковскій надѣлъ фуражку и уѣхалъ. Чубиковъ началъ допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знаетъ...

— Жила я только съ вами, а больше ни съ кѣмъ! — сказала она.

Въ шестомъ часу вечера воротился Дюковскій. Онъ былъ взволнованъ, какъ никогда. Руки его дрожали до такой степени, что онъ былъ не въ состояніи разстегнуть пальто. Щеки его горѣли. Видно было, что онъ воротился не безъ новости.

— Veni, vidi, vici! — сказалъ онъ, влетая въ комнату Чубикова и падая въ кресло. — Клянусь вамъ честью, я начинаю вѣровать въ свою геніальность! Слушайте, чортъ насъ возьми совсѣмъ! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смѣшно и грустно! Въ нашихъ рукахъ уже есть трое... не такъ ли? Я нашелъ четвертаго или, вѣрнѣе — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновеніе къ ея плечамъ я отдалъ бы десять лѣтъ жизни! Но... слу-

найте... Поѣхалъ я въ Кляузовку и давай вокругъ нея описывать спираль. Посѣтилъ я на пути всѣ лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведскія спички. Всюду мнѣ говорили «нѣтъ». Колесилъ я до сей поры. Двадцать разъ я терялъ надежду и столько же разъ получалъ ее обратно. Валандался цѣлый день и только часъ тому назадъ набрелъ на искомое. За три версты отсюда. Подаютъ мнѣ пачку изъ десяти коробочекъ. Одной коробки нѣтъ какъ нѣтъ... Сейчасъ: кто купилъ эту коробку? Такая-то... — Понравилось ей... пшикаютъ. Голубчикъ мой! Николай Ермолаичъ! Что можетъ иногда сдѣлать человѣкъ, изгнанный изъ семинаріи и начитавшійся Габоріо, такъ уму непостижимо! Съ сегодняшняго дня начинаю уважать себя! — Уффф... Ну, ѣдемъ!

— Куда это?

— Къ ней, къ четвертой... Поспѣшить нужно, иначе... иначе я сгорю отъ нетерпѣнія! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вотъ кто! Она купила ту коробку спичекъ!

— Вы... ты... вы... съ ума сошелъ?

— Очень понятно! Во-первыхъ, она куритъ. Во-вторыхъ, она по уши была влюблена въ Кляузова. Онъ отвергъ ея любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, какъ однажды засталъ ихъ въ кухнѣ за ширмой. Она клялась ему, а онъ курилъ ея папиросу и пускалъ ей дымъ въ лицо. Но, однако, поѣдемте... Скорѣе, а то уже темнѣетъ... Поѣдемте!

— Я еще не сошелъ съ ума настолько, чтобы изъ-за какого-нибудь мальчишки безпокоить ночью благородную, честную женщину!

— Благородная, честная... Тряпка вы послѣ этого, а не слѣдователь! Никогда не осмѣливался бранить васъ, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халатъ! Ну, голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Прошу васъ!

Слѣдователь махнулъ рукой и плюнулъ.

— Прошу васъ! Прошу не для себя, а въ интересахъ правосудія! Умоляю, наконецъ! Сдѣлайте мнѣ одолженіе хоть разъ въ жизни!

Дюковскій сталъ на колѣни.

— Николай Ермолаичъ! Ну, будьте такъ добры! Назо-

вите меня подлецомъ, негодяемъ, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дѣло вѣдь какое! Дѣло-то! Романъ, а не дѣло! На всю Россію слава пойдетъ! Слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ васъ сдѣлаютъ! Поймите вы, неразумный старикъ!

Слѣдователь нахмурился и перѣшительно протянулъ руку къ шляпѣ.

— Ну, чортъ съ тобой!—сказалъ онъ.—Ѣдемъ.

Было уже темно, когда шарабанъ слѣдователя подкатилъ къ крыльцу станового.

— Какіе мы свиньи!—сказалъ Чубиковъ, берясь за звонокъ.—Безпокоимъ людей.

— Ничего, ничего... Не робѣйте... Скажемъ, что у насъ рессора лопнула.

Чубикова и Дюковскаго встрѣтила на порогѣ высокая, полная женщина, лѣтъ двадцати трехъ, съ черными, какъ смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

— Ахъ... очень пріятно!—сказала она, улыбаясь во все лицо.—Какъ разъ къ ужину поспѣли. Моего Евграфа Кузьмича нѣтъ дома... У попа засидѣлся... Но мы и безъ него обойдемся... Садитесь! Вы это со слѣдствія?..

— Да-съ... У насъ, знаете ли, рессора лопнула,—началъ Чубиковъ, войдя въ гостиную и усаживаясь въ кресло.

— Вы сразу... ошеломите! — шепнулъ ему Дюковскій.— Ошеломите!

— Рессора... Мм... да... Взяли и заѣхали.

— Ошеломите, вамъ говорятъ! Догадается, коли канителить будете!

— Ну, такъ дѣлай, какъ самъ знаешь, а меня избавь! — пробормоталъ Чубиковъ, вставая и отходя къ окну. — Не могу! Ты заварилъ кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора...—началъ Дюковскій, подходя къ становихѣ и морща свой длинный носъ. — Мы заѣхали не для того, чтобы... э-э-э... ужинать и не къ Евграфу Кузьмичу. Мы пріѣхали затѣмъ, чтобы спросить васъ, милостивая государыня, гдѣ находится Маркъ Ивановичъ, котораго вы убили?

— Что? Какой Маркъ Иванычъ?—заверещала становиха, и ея большое лицо вдругъ, въ одинъ мигъ, залилось алой краской.—Я... не понимаю.

— Спрашиваю васъ именемъ закона! Гдѣ Кляузовъ? Намъ все извѣстно!

— Черезъ кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковскаго.

— Извольте указать намъ, гдѣ онъ!?

— Но откуда вы узнали? Кто вамъ разсказалъ?

— Намъ все извѣстно-съ! Я требую именемъ закона!

Слѣдователь, ободренный замѣшательствомъ становихи, подошелъ къ ней и сказалъ:

— Укажите намъ, и мы уйдемъ. Иначе же мы...

— На что онъ вамъ?

— Къ чему эти вопросы, сударыня? Мы васъ просимъ указать! Вы дрожите, смущены... Да, онъ убитъ и, если хотите, убитъ вами! Сообщники выдали васъ!

Становиха поблѣднѣла.

— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Онъ у меня въ банѣ спрятанъ. Только ради Бога, не говорите мужу! Умоляю васъ! Онъ не вынесетъ.

Становиха сняла со стѣны большой ключъ и повела своихъ гостей черезъ кухню и сѣни во дворъ. На дворѣ было темно. Накрапывалъ мелкій дождь. Становиха пошла впередъ. Чубиковъ и Дюковскій зашагали за ней по высокой травѣ, вдыхая въ себя запахи дикой конопли и помоевъ, всхлипывавшихъ подъ ногами. Дворъ былъ большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. Въ темнотѣ показались силуэты деревьевъ, а между деревьями — маленькій домикъ съ покривившеюся трубой.

— Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю васъ, не говорите никому!

Подойдя къ банѣ, Чубиковъ и Дюковскій увидѣли на дверяхъ огромнѣйшій висячій замокъ.

— Приготовьте огарокъ и спички! — шепнулъ слѣдователь своему помощнику.

Становиха отперла замокъ и впустила гостей въ баню. Дюковскій чиркнулъ спичкой и освѣтилъ предбанникъ. Среди предбанника стоялъ столъ. На столѣ рядомъ съ маленькимъ толстенькимъ самоваромъ стоялъ супникъ съ остывшими щами и блюдо съ остатками какого-то соуса.

— Дальше!

Вошли въ слѣдующую комнату, въ баню. Тамъ тоже

стоялъ столъ. На столѣ большое блюдо съ окорокомъ, бутыль съ водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но гдѣ же... этотъ? Гдѣ убитый?— спросилъ слѣдователь.

— Онъ на верхней полочкѣ!—прошептала становиха все еще блѣдная и дрожащая.

Дюковскій взялъ въ руки огарокъ и полѣзъ на верхнюю полку. Тамъ онъ увидѣлъ длинное человѣческое тѣло, лежавшее неподвижно на большой пуховой перинѣ. Тѣло издавало легкій храпъ...

— Насъ морочатъ, чортъ возьми!— закричалъ Дюковскій.—Это не онъ! Здѣсь лежитъ какой-то живой болванъ. Эй, кто вы, чортъ васъ возьми?

Тѣло потянуло въ себя со свистомъ воздухъ и задвигалось. Дюковскій толкнулъ его локтемъ. Оно подняло вверхъ руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лѣзетъ?— спросилъ охрипшій, тяжелый басъ.— Тебѣ что нужно?

Дюковскій поднесъ къ лицу неизвѣстнаго огарокъ и вскрикнулъ. Въ багровомъ носѣ, взъерошенныхъ, нечесанныхъ волосахъ, въ черныхъ, какъ смоль, усахъ, изъ которыхъ одинъ былъ ухарски закрученъ и съ нахальствомъ глядѣлъ вверхъ на потолокъ, онъ узналъ корнета Кляузова.

— Вы... Маркъ... Иванычъ?! Не можетъ быть!

Слѣдователь взглянулъ наверхъ и замеръ...

— Это я, да... А это вы, Дюковскій! Какого дьявола вамъ здѣсь нужно? А тамъ внизу, что еще за рожа? Батюшки, слѣдователь! Какими судьбами?

Кляузовъ сбѣжалъ внизъ и обнялъ Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула за дверь.

— Какими путями? Выпьемъ, чортъ возьми! Тра-та-тито-томъ... Выпьемъ! Кто васъ привелъ сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здѣсь? Впрочемъ, все равно! Выпьемъ!

Кляузовъ зажегъ лампу и налилъ три рюмки водки.

— То-есть, я тебя не понимаю,— сказалъ слѣдователь, разводя руками.—Ты это, или не ты?

— Будетъ тебѣ... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковскій, выпивай свою рюмку! Про-ведемте-жъ, друзь-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять,— сказалъ слѣдователь, машинально выпивая водку.—Зачѣмъ ты здѣсь?

— Почему же мнѣ не быть здѣсь, ежели мнѣ здѣсь хорошо?

Кляузовъ выпилъ и закусилъ ветчиной.

— Живу у становихи, какъ видишь. Въ глуши, въ добряхъ, какъ домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, братъ, мнѣ ея стало! Сжалился, ну, и живу здѣсь, въ заброшенной банѣ, отшельникомъ... Питаюсь. На будущей недѣлѣ думаю убраться отсюда... Ужъ надоѣло...

— Непостижимо!—сказалъ Дюковскій.

— Что же тутъ непостижимаго?

— Непостижимо! Ради Бога, какъ попалъ вашъ сапогъ въ садъ?

— Какой сапогъ?

— Мы нашли одинъ сапогъ въ спальнѣ, а другой въ саду.

— А вамъ для чего это знать? Не ваше дѣло... Да пей же, чортъ васъ возьми. Разбудили, такъ пейте! Интересная исторія, братецъ, съ этимъ сапогомъ. Я не хотѣлъ идти къ Олѣ. Не въ духѣ, знаешь, былъ, подъ шефе... Она приходитъ подъ окно и начинаетъ ругаться... Знаешь, какъ бабы вообще... Я, спьяна, возьми да и пусти въ нее сапогомъ... Ха-ха... Не ругайся, молъ. Она влѣзла въ окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить, пьянаго. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но, куда вы? Чубиковъ, куда ты?

Слѣдователь плюнулъ и вышелъ изъ бани. За нимъ, повѣсивъ голову, вышелъ Дюковскій. Оба молча сѣли въ шарабанъ и поѣхали. Никогда въ другое время дорога не казалась имъ такою скучной и длинной, какъ въ этотъ разъ. Оба молчали. Чубиковъ всю дорогу дрожалъ отъ злости, Дюковскій пряталъ свое лицо въ воротникъ, точно боялся, чтобы темнота и моросившій дождь не прочли стыда на его лицѣ.

Пріѣхавъ домой, слѣдователь засталъ у себя доктора Тютюева. Докторъ сидѣлъ за столомъ и, глубоко вздыхая, перелистывалъ «Ниву».

— Дѣла-то какія на бѣломъ свѣтѣ!—сказалъ онъ, встрѣчая слѣдователя съ грустной улыбкой.—Опять Австрія того!.. И Гладстонъ тоже нѣкоторымъ образомъ...

Чубиковъ бросилъ подъ столъ шляпу и затрясся.

— Скелетъ чортовъ! Не лѣзь ко мнѣ! Тысячу разъ гово-

лъ я тебѣ, чтобы ты не лѣзъ ко мнѣ со своею политикой! Не до политики тутъ! А тебѣ,-- обратился Чубиковъ къ Дюковскому, потрясая кулакомъ:--а тебѣ... во вѣки вѣковъ не забуду!

— Но... шведская спичка вѣдь! Могъ ли я знать!

— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я изъ тебя, чортъ знаетъ, что сдѣлаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковскій вздохнулъ, взялъ шляпу и вышелъ.

— Пойду запью!— рѣшилъ онъ, выйдя за ворота, и побрелъ печально въ трактиръ.

Становиха, придя изъ бани домой, нашла мужа въ гостиной.

— Зачѣмъ слѣдователь пріѣзжалъ?--спросилъ мужъ.

— Пріѣзжалъ сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ!—вздохнулъ становой, поднимая вверхъ глаза.—Говорилъ я тебѣ, что распутство не доводитъ до добра! Говорилъ я тебѣ,—но слушался!

# ХУДОЖЕСТВО.

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности рѣчки Быстрянки, кое-гдѣ посыпанной снѣгомъ, стоятъ два мужика: куцый Сережка и церковный сторожъ Матвѣй. Сережка, малый лѣтъ тридцати, коротконогій, оборванный, весь облѣзлый, сердито глядитъ на ледъ. Изъ его поношеннаго полушубка, словно изъ линяющемъ псѣ, отвисаютъ клочья шерсти. Въ рукахъ онъ держитъ циркуль, сдѣланный изъ двухъ длинныхъ спицъ. Матвѣй, благообразный старикъ, въ новомъ тулупѣ и валенкахъ, глядитъ кроткими голубыми глазами наверхъ, гдѣ на высокомъ, отлогомъ берегу живописно ютится село. Въ рукахъ у него тяжелый ломъ.

— Что-жъ, это мы до вечера такъ будемъ стоять, сложа руки?—прерываетъ молчаніе Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвѣя.—Ты стоять сюда пришелъ, старый шутъ, или работать?

— Такъ ты тово... показывай...—бормочетъ Матвѣй, кротко мигая глазами.

— Показывай... Все я: я и показывай, я и дѣлай. У самихъ ума нѣтъ! Мѣрять чиркулемъ, вотъ нужно что! Не вымѣрявши, нельзя ледъ ломать. Мѣряй! Бери чиркуль!

Матвѣй беретъ изъ рукъ Сережки циркуль и неумѣло, топчась на одномъ мѣстѣ и тыча во всѣ стороны локтями, начинаетъ выводить на льду окружность. Сережка презрительно щуритъ глаза и видимо наслаждается его застѣнчивостью и невѣжествомъ.

— Э-э-э! —сердится онъ.—И того ужъ не можешь! Сказано, мужикъ глупый, деревеньщина! Тебѣ гусей пасти, а не Іордань дѣлать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебѣ говорю!

Сережка рветъ изъ рукъ вспотѣвшаго Матвѣя циркуль и въ одно мгновеніе, молодцовато повернувшись на одномъ каблукѣ, чертитъ на льду окружность. Границы для будущей Іордани уже готовы; теперь остается только колоть ледъ...

Но прежде чѣмъ приступить къ работѣ, Сережка долго еще ломается, капризничаетъ, попрекаетъ:

— Я не обязанъ на васъ работать! Ты при церкви служишь, ты и дѣлай!

Онъ видимо наслаждается своимъ обособленнымъ положеніемъ, въ какое поставила его теперь судьба, давшая ему рѣдкій талантъ—удивлять разъ въ годъ весь міръ своимъ искусствомъ. Бѣдному, кроткому Матвѣю приходится выслушать отъ него много ядовитыхъ, презрительныхъ словъ. Принимается Сережка за дѣло съ досадой, съ сердцемъ. Ему лѣнь. Не успѣлъ онъ начертить окружность, какъ его уже тянетъ наверхъ, въ село, пить чай, шататься, пустословить.

— Я сейчасъ приду...—говоритъ онъ, закуривая.—А ты тутъ пока, чѣмъ такъ стоять и считать воронъ, принесъ бы на чемъ сѣсть, да подмети.

Матвѣй остается одинъ. Воздухъ сѣръ и неласковъ, но тихъ. Изъ-за разбросанныхъ по берегу избъ привѣтливо выглядываетъ бѣлая церковь. Около ея золотыхъ крестовъ, не переставая, кружатся галки. Въ сторону отъ села, гдѣ берегъ обрывается и становится крутымъ, надъ самой кручей стоитъ спутанная лошадь неподвижно, какъ каменная — должно быть, спитъ, или задумалась.

Матвѣй стоитъ тоже неподвижно, какъ статуя, и терпѣливо ждетъ. Задумчиво-сонный видъ рѣки, кружевье галокъ и лошадь нагоняютъ на него дремоту. Проходитъ часъ, другой, а Сережки все нѣтъ. Давно уже рѣка подметена и принесенъ ящикъ, чтобъ сидѣть, а пьянчуга не показывается. Матвѣй ждетъ и только позѣваетъ. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажутъ ему стоять на рѣкѣ день, мѣсяцъ, годъ, и онъ будетъ стоять.

Наконецъ Сережка показывается изъ-за избъ. Онъ идетъ

въ развалку, еле ступая. Идти далеко, лѣнь, и онъ спускается не по дорогѣ, а выбираетъ короткій путь, сверху внизъ по прямой линіи, и при этомъ вязнетъ въ снѣгу, цѣпляется за кусты, ползетъ на спинѣ—и все это медленно, съ остановками.

— Ты что же это?—набрасывается онъ на Матвѣя.—Что безъ дѣла стоишь? Когда же колоть ледъ?

Матвѣй крестится, беретъ въ обѣ руки ломъ и начинаетъ колоть ледъ, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящикъ и слѣдитъ за тяжелыми неуклюжими движеніями своего помощника.

— Легче у краевъ! Легче!—командуетъ онъ.—Не умѣешь такъ не берись, а коли взялся, такъ дѣлай! Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при видѣ зрителей еще больше волнуется!

— Возьму и не стану дѣлать...—говоритъ онъ, закуривая вонючую папиросу и сплевывая.—Погляжу, какъ вы безъ меня тутъ. Въ прошломъ годѣ въ Костюковѣ Стенька Гульковъ взялся по-моему Іордань строить. И что-жъ? Смѣхъ одинъ вышелъ. Костюковскіе къ намъ же и пришли—видимо не видимо! Изо всѣхъ деревень народу навалило.

— Потому окромѣ насъ нигдѣ настоящей Іордани...

— Работай, некогда разговаривать... Да, дѣдъ... Во всей губерніи другой такой Іордани не найдешь. Солдаты сказываютъ, поди-ка поищи, въ городахъ даже хуже. Легче, легче!

Матвѣй кряхтитъ и отдувается. Работа не легкая. Ледъ крѣпокъ и глубокъ; нужно его скалывать и тотчасъ же уносить куски далеко въ сторону, чтобы не загромождать площади.

Но какъ ни тяжела работа, какъ ни безтолкова команда Сережки, къ тремъ часамъ дня на Быстрянкѣ уже темнѣетъ большой водяной кругъ.

— Въ прошломъ годѣ лучше было...—сердится Сережка.—И этого даже ты не могъ сдѣлать! Э, голова! Держать же такихъ дураковъ при храмѣ Божіемъ! Ступай, доску принеси колышки дѣлать! Неси кругъ, ворона! Да тово... хлѣба захвати гдѣ-нибудь... огурцовъ, что ли.

Матвѣй уходитъ и, немного погодя, приноситъ на плечахъ громадный деревянный кругъ, покрашенный еще въ прежніе годы, съ разноцвѣтными узорами. Въ центрѣ круга

красный крестъ, по краямъ дырочки для колышковъ. Сережка беретъ этотъ кругъ и закрываетъ имъ прорубь.

— Какъ разъ... годится... Подновимъ только краску и за первый сортъ... Ну, что-жъ стоишь? Дѣлай аналой! Или того... ступай бревна принеси, крестъ дѣлать...

Матвѣй, съ самаго утра ничего не ѣвшій и не пившій, опять плетется на гору. Какъ ни лѣнивъ Сережка, но колышки онъ дѣлаетъ самъ, собственноручно. Онъ знаетъ, что эти колышки обладаютъ чудодѣйственной силою: кому достанется колышекъ послѣ водосвятія, тотъ весь годъ будетъ счастливъ. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со слѣдующаго дня. Тутъ Сережка являетъ себя передъ невѣжественнымъ Матвѣемъ во всемъ величіи своего таланта. Его болтовнѣ, попрекамъ, капризамъ и прихотямъ нѣтъ конца. Сколачиваетъ Матвѣй изъ двухъ большихъ бревенъ высокій крестъ, онъ недоволенъ, и велитъ передѣлывать. Стоитъ Матвѣй, Сережка сердится, отчего онъ не идетъ; онъ идетъ, Сережка кричитъ ему, чтобы онъ не шелъ, а работалъ. Не удовлетворяютъ его ни инструменты, ни погода, ни собственный талантъ; ничто не нравится.

Матвѣй вышиливаетъ большой кусокъ льда для аналоя.

— Зачѣмъ же ты уголокъ отшибъ?—кричитъ Сережка и злобно таращитъ на него глаза.—Зачѣмъ же ты, я тебя спрашиваю, уголокъ отшибъ?

— Прости, Христа ради.

— Дѣлай сызнова!

Матвѣй пилитъ снова... и нѣтъ конца его мукамъ! Около проруби, покрытой изукрашеннымъ кругомъ, долженъ стоять аналой; на аналоѣ нужно выточить крестъ и раскрытое евангеліе. Но это не все. За аналоемъ будетъ стоять высокій крестъ, видимый всей толпѣ и играющій на солнцѣ, какъ осыпанный алмазами и рубинами. На крестѣ голубь, выточенный изъ льда. Путь отъ церкви къ Іордани будетъ посыпанъ елками и можжевельникомъ. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работаетъ онъ терпугомъ, долотомъ и шиломъ. Крестъ на аналоѣ, евангеліе и епитрахиль, спускающаяся съ аналоя, удаются ему вполнѣ. Затѣмъ приступаетъ къ голубю. Пока онъ старается выточить на лицѣ голубя кротость и смиренномудріе, Матвѣй, поворачиваясь какъ медвѣдь, обдѣлываетъ крестъ, ско-

лоченный изъ бревенъ. Онъ беретъ крестъ и окунаетъ его въ прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнетъ на крестѣ, онъ окунаетъ его въ другой разъ, и такъ до тѣхъ поръ, пока бревна не покроются густымъ слоемъ льда... Работа не легкая, требующая и избытка силъ, и терпѣнія.

Но вотъ тонкая работа кончена. Сережка бѣгаетъ по селу, какъ угорѣлый. Онъ спотыкается, бранится, клянется, что сейчасъ пойдетъ на рѣку и сломаетъ всю работу. Это онъ ищетъ подходящихъ красокъ.

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, мѣдянки; не заплативъ ни копейки, онъ опрометью выбѣгаетъ изъ одной лавки и бѣжитъ въ другую. Изъ лавки рукой подать въ кабакъ. Тутъ выпьетъ, махнетъ рукой и, не заплативъ, летитъ дальше. Въ одной избѣ беретъ онъ свекловичныхъ бураковъ, въ другой луковичной шелухи, изъ которой дѣлаетъ онъ желтую краску. Онъ бранится, толкается, грозитъ и... хоть бы одна живая душа огрызнулась! Всѣ улыбаются ему, сочувствуютъ, величаютъ Сергѣемъ Никитичемъ, всѣ чувствуютъ, что художество есть не его личное, а общее, народное дѣло. Одинъ творитъ, остальные ему помогаютъ. Сережка самъ по себѣ ничтожество, лѣнтяй, пьянчуга и мотъ, но когда онъ съ суриком или циркулемъ въ рукахъ, то онъ уже нѣчто высшее, Божій слуга.

Настаетъ крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далекомъ пространствѣ кишатъ народомъ. Все, что составляетъ Іордань, старательно скрыто подъ новыми рогожами. Сережка смирно ходитъ около рогожъ и старается побороть волненіе. Онъ видитъ тысячи народа: тутъ много и изъ чужихъ приходовъ; всѣ эти люди въ морозъ, по снѣгу прошли не мало верстъ пѣшкомъ только за тѣмъ, чтобы увидѣть его знаменитую Іордань. Матвѣй, который кончилъ свое чернорабочее, медвѣжье дѣло, уже опять въ церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли... Погода прекрасная... На небѣ ни облочка. Солнце свѣтитъ ослѣпительно.

Наверху раздается благовѣстъ... Тысячи головъ обнажаются, движутся тысячи рукъ,—тысячи крестныхъ знаменій!

И Сережка не знаетъ, куда дѣваться отъ нетерпѣнія. Но вотъ, наконецъ, звонятъ къ «Достойно»; затѣмъ, полчаса спустя, на колокольнѣ и въ толпѣ замѣтно какое-то

ніе. Изъ церкви одну за другою выносятъ хоругви, ается бойкій, спѣшащій трезвонъ. Сережка дрожащей й сдергиваетъ рогожи... и народъ видитъ нѣчто необы-ое. Аналой, деревянный кругъ, колышки и крестъ на переливаютъ тысячами красокъ. Крестъ и голубь испу-ть изъ себя такіе лучи, что смотрѣть больно... Боже стивый, какъ хорошо! Въ толпѣ пробѣгаетъ гулъ уди-я и восторга; трезвонъ дѣлается еще громче, день еще е. Хоругви колышутся и двигаются надъ толпой, точно по амъ. Крестный ходъ, сіяя ризами иконъ и духовенства, енно сходитъ внизъ по дорогѣ и направляется къ Іор-. Машутъ колокольнѣ руками, чтобы тамъ перестали ить, и водосвятіе начинается. Служатъ долго, медленно, но стараясь продлить торжество и радость общей на-ой молитвы. Тишина.

вотъ погружаютъ крестъ, и воздухъ оглашается не-новеннымъ гуломъ. Пальба изъ ружей, трезвонъ, гром-ыраженія восторга, крики и давка въ погонѣ за ко-ами. Сережка прислушивается къ этому гулу, видитъ чи устремленныхъ на него глазъ, и душа лѣнтяя на-нется чувствомъ славы и торжества.

# УПРАЗДНИЛИ!

Недавно, во время половодья, помѣщикъ, отставной прапорщикъ Вывертовъ, угощалъ заѣхавшаго къ нему земемѣра Катавасова. Вышивали, закусывали и говорили о новостяхъ. Катавасовъ, какъ городской житель, обо всемъ зналъ: о холерѣ, о войнѣ и даже объ увеличеніи акциза въ размѣрѣ одной копейки на градусъ. Онъ говорилъ, а Вывертовъ слушалъ, ахалъ и каждую новость встрѣчалъ восклицаніями: «Скажите, однако! Ишь ты вѣдь! А-а-а»...

— А отчего вы нынче безъ погончиковъ, Семенъ Антипычъ?—полюбопытствовалъ онъ между прочимъ.

Землемѣръ не сразу отвѣтилъ. Онъ помолчалъ, выпилъ рюмку водки, махнулъ рукой и тогда уже сказалъ:

— Упразднили!

— Ишь-ты! А-а-а... Я газетъ-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало-быть, нынче гражданское вѣдомство не носитъ уже погоновъ? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будутъ васъ съ господами офицерами смѣшивать и честь вамъ отдавать. Отчасти же, признаться, и не хорошо. Нѣтъ уже у васъ того вида, сановитости! Нѣтъ того благородства!

— Ну, да что!—сказалъ землемѣръ и махнулъ рукой.—Внѣшній видъ наружности не составляетъ важнаго предмета. Въ погонахъ ты, или безъ погоновъ—это все равно, было бы въ тебѣ званіе сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вотъ васъ такъ дѣйствительно обидѣли, Павелъ Игнатьичъ! Могу посочувствовать.

— То-есть, какъ-съ? спросилъ Вывертовъ. Кто же меня эть обидѣть?

— Я насчетъ того факта, что васъ упразднили. Прапщикъ хоть и маленькій чинъ, хоть и ни то, ни сё, но же онъ слуга отечества, офицеръ... кровь проливалъ... что его упразднять?

— То-есть... извините, я васъ не совсѣмъ понимаю-съ... — лепеталъ Вывертовъ, блѣдиѣя и дѣлая большіе глаза. — го же меня упразднилъ?

— Да развѣ вы не слыхали? Былъ такой указъ, чтобъ прапорщиковъ вовсе не было. Чтобъ ни одного прапорщика! Чтобъ и духу ихъ не было! Да развѣ вы не слыхали? Всѣхъ служащихъ прапорщиковъ велѣно въ подпоручики произвести, а вы, отставные, какъ знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, такъ и не надо.

— Гм... Кто же я теперь такой есть?

— А Богъ васъ знаетъ, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумѣніе, вопръ! Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой.

Вывертовъ хотѣлъ спросить что-то, но не смогъ. Подъ ложечкой у него похолодѣло, колѣни подогнулись, языкъ не поворачивался. Какъ жевалъ колбасу, такъ она и осталась у него во рту не разжеванной.

— Не хорошо съ вами поступили, что и говорить!— сказалъ землемѣръ и вздохнулъ.—Все хорошо, но этого мѣропріятія одобрить не могу. То-то, небось, теперь въ иностранныхъ газетахъ! А?

— Опять-таки я не понимаю...—выговорилъ Вывертовъ.— Ежели я теперь не прапорщикъ, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало-быть, ежели я васъ понимаю, мнѣ можетъ теперь всякій сгрубить, можетъ на меня тыкнуть?

— Этого ужъ я не знаю. Насъ же принимаютъ теперь за кондукторовъ! Намедни начальникъ движенія на здѣшней дорогѣ идетъ, знаете ли, въ своей инженерной шинели, по-нынѣшнему безъ погоновъ, а какой-то генералъ и кричитъ: «Кондукторъ, скоро ли поѣздъ пойдетъ?» Вцѣпились! Скандалъ! Объ этомъ въ газетахъ нельзя писать, но вѣдь... всѣмъ извѣстно! Шила въ мѣшкѣ не утаишь!

Вывертовъ, ошеломленный новостью, ужъ больше не пилъ и не ѣлъ. Разъ попробовалъ онъ выпить холоднаго квасу,

чтобы прійти въ чувство, но квасъ остановился поперекъ горла и—назадъ.

Проводивъ землемѣра, упраздненный прапорщикъ заходилъ по всѣмъ комнатамъ и сталъ думать. Думалъ, думалъ и ничего не надумалъ. Ночью онъ лежалъ въ постели, вздыхалъ и тоже думалъ.

— Да будетъ тебѣ мурлыкать!—сказала жена Арина Матвѣевна и толкнула его локтемъ. — Стонетъ, словно родить собирается! Можетъ-быть, это еще и не правда. Ты завтра съѣзди къ кому-нибудь и спроси. Трянка!

— А вотъ какъ останешься безъ званія и титула, тогда тебѣ и будетъ трянка. Развалилась тутъ, какъ бѣлуга, и—трянка! Не ты, небось, кровь проливала!

На другой день утромъ, всю ночь не спавшій Вывертовъ запрягъ своего каураго въ бричку и поѣхалъ наводить справки. Рѣшилъ онъ заѣхать къ кому-нибудь изъ сосѣдей, а ежели представится надобность, то и къ самому предводителю. Проѣзжая черезъ Ипатьево, онъ встрѣтился тамъ съ протоіереемъ Пафнутіемъ Амаликитянскимъ. Отецъ протоіерей шелъ отъ церкви къ дому и, сердито помахивая жезломъ, то и дѣло оборачивался къ шедшему за нимъ дьячку и бормоталъ: «Да и дуракъ же ты, братецъ! Вотъ дуракъ!»

Вывертовъ вылѣзъ изъ брички и подошелъ подъ благословеніе.

— Съ праздникомъ васъ, отецъ протоіерей!—поздравилъ онъ цѣлуя руку.—Обѣдню изволили служить-съ?

— Да, литургію.

— Такъ-съ... У всякаго свое дѣло! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряемъ по мѣрѣ силъ... А отчего вы сегодня безъ орденовъ?

Батюшка вмѣсто отвѣта нахмурился, махнулъ рукой и зашагалъ дальше.

— Имъ запретили!—пояснилъ дьячокъ шопотомъ.

Вывертовъ проводилъ глазами сердито шагавшаго протоіерея, и сердце его сжалось отъ горькаго предчувствія: сообщеніе, сдѣланное землемѣромъ, казалось теперь близкимъ къ истинѣ!

Прежде всего заѣхалъ онъ къ сосѣду маіору Ижицѣ, и когда его бричка въѣзжала въ маіорскій дворъ, онъ увидѣлъ картину. Ижица въ халатѣ и турецкой фескѣ стоялъ

посреди двора, сердито топалъ ногами и размахивалъ руками. Мимо него взадъ и впередъ кучеръ Филька водилъ хромавшую лошадь.

— Негодяй!—кипятился маіоръ.—Мошенникъ! Каналья! Повѣсить тебя мало, анаѳему! Афганецъ! Ахъ, мое вамъ почтеніе!—сказалъ онъ, увидѣвъ Вывертова.—Очень радъ васъ видѣть. Какъ вамъ это понравится? Недѣля ужъ, какъ ссадилъ лошади ногу, и молчитъ, мошенникъ! Ни слова! Не догляди я самъ, пропало бы къ чорту копыто! А? Каковъ народецъ? И его не бить по мордѣ? Не бить? Не бить, я васъ спрашиваю?

— Лошадка славная,—сказалъ Вывертовъ, подходя къ Ижицѣ.—Жалко! Вы, маіоръ, за коноваломъ пошлите. У меня, маіоръ, на деревнѣ есть отличный коновалъ!

— Маіоръ,—проворчалъ Ижица, презрительно улыбаясь.—Маіоръ!.. Не до шутокъ мнѣ! У меня лошадь заболѣла, а вы: маіоръ! маіоръ! Точно галка: крр!.. крр!

— Я васъ, маіоръ, не понимаю. Нешто можно благороднаго человѣка съ галкой сравнивать?

— Да какой же я маіоръ? Нешто я маіоръ?

— Кто же вы?

— А чортъ меня знаетъ, кто я!—сказалъ Ижица.—Ужъ больше года, какъ маіоровъ нѣтъ. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?

Вывертовъ съ ужасомъ поглядѣлъ на Ижицу и сталъ стирать съ лица потъ, предчувствуя что-то очень недоброе.

— Однако позвольте же...—сказалъ онъ.—Я васъ все-таки не понимаю... Маіоръ вѣдь чинъ значительный!

— Да-съ!!

— Такъ какъ же это? И вы... ничего?

Маіоръ только махнулъ рукой и началъ разсказывать ему, какъ подлецъ Филька сшибъ лошади копыто, разсказывалъ длинно и въ концѣ-концовъ даже къ самому лицу его подпесъ больное копыто съ гноящейся ссадиной и навознымъ пластыремъ, но Вывертовъ не понималъ, не чувствовалъ и глядѣлъ на все, какъ сквозь рѣшётку. Безсознательно онъ простился, влѣзъ въ свою бричку и крикнулъ съ отчаяніемъ:

— Къ предводителю! Живо! Лупи кнутомъ!

Предводитель, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ягодышевъ, жилъ не далеко. Черезъ какой-нибудь часъ Вы-

вертовъ входилъ уже къ нему въ кабинетъ и кланялся. Предводитель сидѣлъ на софѣ и читалъ «Новое Время». Увидѣвъ входящаго, онъ кивнулъ головой и указалъ на кресло.

— Я, ваше превосходительство,—началъ Вывертовъ:— долженъ былъ сначала представиться вамъ, но находясь въ невѣдѣніи касательно своего званія, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашему превосходительству за разъясненіемъ...

— Позвольте-съ, почтеннѣйшій,—перебилъ его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительствомъ. Прошу-съ!

— Что вы-съ... Мы люди маленькіе...

— Не въ томъ дѣло-съ! Пишутъ вотъ... (предводитель ткнулъ въ «Новое Время» и проткнулъ его пальцемъ) пишутъ вотъ, что мы, дѣйствительные статскіе совѣтники, не будемъ ужъ болѣе превосходительствами. За достовѣрное сообщаютъ-съ! Что-жъ? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!

Ягодышевъ всталъ и гордо прошелся по кабинету... Вывертовъ испустилъ вздохъ и уронилъ на полъ фуражку.

«Ужъ ежели до нихъ добрались,—подумалъ онъ:— то о прапорщикахъ да о маіорахъ и спрашивать нечего. Уйду лучше...»

Вывертовъ пробормоталъ что-то и вышелъ, забывъ въ кабинетѣ предводителя фуражку. Черезъ два часа онъ пріѣхалъ къ себѣ домой блѣдный, безъ шапки, съ тупымъ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вылѣзая изъ брички, онъ робко взглянулъ на небо: не упразднили ли ужъ и солнца? Жена, пораженная его видомъ, забросала его вопросами, но на всѣ вопросы онъ отвѣчалъ только маханіемъ руки...

Недѣлю онъ не пилъ, не ѣлъ, не спалъ, а какъ шальной ходилъ изъ угла въ уголъ и думалъ. Лицо его осунулось, взоры потускнѣли... Ни съ кѣмъ онъ не заговаривалъ, ни къ кому ни за чѣмъ не обращался, а когда Арина Матвѣевна приставала къ нему съ вопросами, онъ только отмахивался рукой и—ни звука... Ужъ чего только съ нимъ ни дѣлали, чтобы привести его въ чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла изъ лампадки, сажали на горячій кирпичъ, но ничто не помогало, онъ хирѣлъ и отмахивался. Позвали, наконецъ, для вразумленія отца Пафнутія. Протоіерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь кло-

нится не къ уничтоженію, а къ возвеличенію, но доброе сѣмя его упало на неблагодарную почву. Взялъ пятерку за труды, да такъ и уѣхалъ, ничего не добившись.

Помолчавъ недѣлю, Вывертовъ какъ будто бы заговорилъ.

— Что-жъ ты молчишь, харя?—набросился онъ внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издѣвайся! Тыкай на уничтоженнаго! Торжествуй!

Сказалъ это, заплакалъ и опять замолчалъ на недѣлю. Арина Матвѣевна рѣшила пустить ему кровь. Пріѣхалъ фельдшеръ, выпустилъ изъ него двѣ тарелки крови, и отъ этого словно бы полегчало. На другой день послѣ кровопролитія, Вывертовъ подошелъ къ кровати, на которой лежала жена, и сказалъ:

— Я, Арина, этого такъ не оставлю. Теперь я на все рѣшился... Чинъ я свой заслужилъ, и никто не имѣетъ полнаго права на него посягать. Я вотъ что надумалъ: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошеніе и подпишусь: прапорщикъ такой-то... пра-пор-щикъ... Понимаешь? На-зло! Пра-пор-щикъ... Пускай! На-зло!

И эта мысль такъ понравилась Вывертову, что онъ просіялъ и даже попросилъ ѣсть. Теперь онъ, озаренный новымъ рѣшеніемъ, ходитъ по комнатамъ, язвительно улыбается и мечтаетъ:

— Пра-пор-щикъ... На-зло!

# Оглавленіе

## II ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Изъ записокъ вспыльчиваго человѣка | 5 |
| Тссс!... | 15 |
| Месть | 19 |
| Длинный языкъ | 23 |
| Нервы | 27 |
| Кривое зеркало | 31 |
| На кладбищѣ | 34 |
| Сапоги | 37 |
| Радость | 42 |
| Умный дворникъ | 45 |
| Въ цирульнѣ | 48 |
| Сапожникъ и нечистая сила | 52 |
| Мальчики | 59 |
| Иванъ Матвѣичъ | 66 |
| Беззащитное существо | 72 |
| Дамы | 77 |
| Полинька | 81 |
| Приданое | 87 |
| Свадьба | 91 |
| Темнота | 100 |
| Мыслитель | 105 |
| Дочь Альбіона | 109 |
| На чужбинѣ | 113 |
| Кухарка женится | 117 |
| Шило въ мѣшкѣ | 122 |
| Драма | 127 |
| Произведеніе искусства | 133 |
| Орденъ | 137 |
| Смерть чиновника | 141 |
| Канитель | 144 |
| Хирургія | 147 |
| Винтъ | 151 |
| Капитанскій мундиръ | 155 |
| Живая хронологія | 161 |
| Восклицательный знакъ | 164 |
| Ну, публика! | 169 |
| Пересолилъ | 173 |
| Налимъ | 178 |
| Хамелеопъ | 183 |
| Клевета | 187 |
| Шведская спичка | 192 |
| Художество | 212 |
| Упразднили! | 218 |

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

**ТОМЪ ТРЕТІЙ.**

СОДЕРЖАНІЕ:

ъ Припишбеевъ.—Анюта.—Въ Москвѣ на Трубной площади.—Лошадиная фа —Трагикъ.—Страдальцы.—Наканунѣ поста.—Житейская мелочь.—Маска.— олохъ.—Шуточка.—Писатель.—На Страстной недѣлѣ.—Perpetuum mobile.— ство побѣдителя.—Ворона.—Неосторожность.—Хористка. — Страхи. — Послѣ ь.—Ненастье.—Изъ огня да въ полымя.—Бѣглецъ.—Происшествіе.—Злоумыш къ.—Дѣтвора.—Мертвое тѣло.—Зиночка.—Нахлѣбники. — Талантъ. — Дорогіе .—Въ сараѣ.—Разсказъ г-жи NN.—Выигрышный билетъ.—Морозъ.—Сильныя ощущенія.—Нищій.—Пьяные.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# УНТЕРЪ ПРИШИБЕЕВЪ.

— Унтеръ-офицеръ Пришибеевъ! Вы обвиняетесь въ томъ, что 3-го сего сентября оскорбили словами и дѣйствіемъ урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотскаго Ефимова, понятыхъ Иванова и Гаврилова и еще шестерыхъ крестьянъ, при чемъ первымъ тремъ было нанесено вами оскорбленіе при исполненіи ими служебныхъ обязанностей. Признаете вы себя виновнымъ?

Пришибеевъ, сморщенный унтеръ съ колючимъ лицомъ, дѣлаетъ руки по швамъ и отвѣчаетъ хриплымъ, придушеннымъ голосомъ, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородіе, господинъ мировой судья! Сталобыть, по всѣмъ статьямъ закона выходитъ причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновенъ не я, а всѣ прочіе. Все это дѣло вышло изъ-за, царствіе ему небесное, мертваго трупа. Иду это я третьяго числа съ женой Анфисой тихо, благородно, смотрю—стоитъ на берегу куча разнаго народа людей. По какому полному праву тутъ народъ собрался?—спрашиваю. Зачѣмъ? Нешто въ законѣ сказано, чтобъ народъ табуномъ ходилъ? Кричу: разойдись! Сталъ расталкивать народъ, чтобъ расходились по домамъ, приказалъ сотскому гнать въ-зашей...

— Позвольте, вы вѣдь не урядникъ, не староста,—развѣ это ваше дѣло народъ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса изъ разныхъ

угловъ камеры.—Житья отъ него нѣту, вашескородіе! Пятнадцать лѣтъ отъ него терпимъ! Какъ пришелъ со службы, такъ съ той поры хоть изъ села бѣги. Замучилъ всѣхъ!

— Именно такъ, вашескородіе!—говоритъ свидѣтель староста.—Всѣмъ міромъ жалимся. Жить съ нимъ никакъ невозможно! Съ образами ли ходимъ, свадьба ли, или, положимъ, случай какой, вездѣ онъ кричитъ, шумитъ, все порядки вводитъ. Ребятамъ уши деретъ, за бабами подглядываетъ, чтобъ чего не вышло, словно свекоръ какой... Намеднись по избамъ ходилъ, приказывалъ, чтобъ пѣсней не пѣли и чтобъ огней не жгли. Закона, говоритъ, такого нѣтъ, чтобъ пѣсни пѣть.

— Погодите, вы еще успѣете дать показаніе,—говоритъ мировой:—а теперь пусть Пришибеевъ продолжаетъ. Продолжайте, Пришибеевъ!

— Слушаю-съ!—хрипитъ унтеръ.—Вы, ваше высокородіе, изволите говорить, не мое это дѣло народъ разгонять... Хорошо-съ... А ежели безпорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народъ безобразилъ? Гдѣ это въ законѣ написано, чтобъ народу волю давать? Я не могу дозволять-съ. Ежели я не стану ихъ разгонять, да взыскивать, то кто же станетъ? Никто порядковъ настоящихъ не знаетъ, во всемъ селѣ только я одинъ, можно сказать, ваше высокородіе, знаю, какъ обходиться съ людьми простого званія, и, ваше высокородіе, я могу все понимать. Я не мужикъ, я унтеръ-офицеръ, отставной каптенармусъ, въ Варшавѣ служилъ, въ штабѣ-съ, а послѣ того, изволите знать, какъ въ чистую вышелъ, былъ въ пожарныхъ-съ, а послѣ того по слабости болѣзни ушелъ изъ пожарныхъ, и два года въ мужской классической прогимназіи въ швейцарахъ служилъ... Всѣ порядки знаю-съ. А мужикъ—простой человѣкъ, онъ ничего не понимаетъ, и долженъ меня слушать, потому—для его же пользы. Взять хоть это дѣло къ примѣру... Разгоняю я народъ, а на берегу на песочкѣ утопленый трупъ мертваго человѣка. По какому такому основанію, спрашиваю, онъ тутъ лежитъ? Нешто это порядокъ? Что урядникъ глядитъ? Отчего ты, говорю, урядникъ, начальству знать не даешь? Можетъ, этотъ утопленый покойникъ самъ утопъ, а можетъ, тутъ дѣло Сибирью пахнетъ. Можетъ, тутъ уголовное смертоубійство... А урядникъ Жигинъ никакого вниманія, только папироску куритъ. «Что это, говоритъ, у насъ за

указчикъ такой? Откуда, говоритъ, онъ у васъ такой взялся? Нешто мы безъ него, говоритъ, не знаемъ нашего поведенія?» Стало-быть, говорю, ты не знаешь, дуракъ этакой, коли тутъ стоишь и безъ вниманія. «Я, говоритъ, еще вчера далъ знать становому приставу». Зачѣмъ же, спрашиваю, становому приставу? По какой статьѣ свода законовъ? Нешто въ такихъ дѣлахъ, когда утопшіе, или удавившіе, и прочее тому подобное,—нешто въ такихъ дѣлахъ становой можетъ? Тутъ, говорю, дѣло уголовное, гражданское... Тутъ, говорю, скорѣй посылать эстафетъ господину слѣдователю и судьямъ-съ. И перво-на-перво ты долженъ, говорю, составить актъ и послать господину мировому судьѣ. А онъ, урядникъ, все слушаетъ и смѣется. И мужики тоже. Всѣ смѣялись, ваше высокородіе. Подъ присягой могу показать. И этотъ смѣялся, и вотъ этотъ, и Жигинъ смѣялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядникъ и говоритъ: «Мировому, говоритъ, судьѣ такія дѣла не подсудны». Отъ этихъ самыхъ словъ меня даже въ жаръ бросило. Урядникъ, вѣдь ты это сказывалъ?—обращается унтеръ къ уряднику Жигину.

— Сказывалъ.

— Всѣ слыхали, какъ ты это самое при всемъ простомъ народѣ: «Мировому судьѣ такія дѣла неподсудны». Всѣ слыхали, какъ ты это самое... Меня, ваше высокородіе, въ жаръ бросило, я даже сробѣлъ весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказалъ! Онъ опять эти самыя слова... Я къ нему. Какъ же, говорю, ты можешь такъ объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейскій урядникъ, да противъ власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господинъ мировой судья, ежели пожелаютъ, могутъ тебя за такія слова въ губернское жандармское управленіе по причинѣ твоего неблагонадежнаго поведенія? Да ты знаешь, говорю, куда за такія политическія слова тебя угнать можетъ господинъ мировой судья? А старшина говоритъ: «Мировой, говоритъ, дальше своихъ предѣловъ ничего обозначить не можетъ. Только малыя дѣла ему подсудны». Такъ и сказалъ, всѣ слышали... Какъ же, говорю, ты смѣешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шутокъ, а то дѣло, братъ, плохо. Бывало, въ Варшавѣ, или когда въ швейцарахъ былъ въ мужской классической прогимназіи, то какъ заслышу какія

угловъ камеры.—Житья отъ него нѣту, вашескородіе! Пятнадцать лѣтъ отъ него терпимъ! Какъ пришелъ со службы, такъ съ той поры хоть изъ села бѣги. Замучилъ всѣхъ!

— Именно такъ, вашескородіе!—говоритъ свидѣтель староста.—Всѣмъ міромъ жалимся. Жить съ нимъ никакъ невозможно! Съ образами ли ходимъ, свадьба ли, или, положимъ, случай какой, вездѣ онъ кричитъ, шумитъ, все порядки вводитъ. Ребятамъ уши деретъ, за бабами подглядываетъ, чтобъ чего не вышло, словно свекоръ какой... Намеднись по избамъ ходилъ, приказывалъ, чтобъ пѣсней не пѣли и чтобъ огней не жгли. Закона, говоритъ, такого нѣтъ, чтобъ пѣсни пѣть.

— Погодите, вы еще успѣете дать показаніе,—говоритъ мировой:—а теперь пусть Пришибеевъ продолжаетъ. Продолжайте, Пришибеевъ!

— Слушаю-съ!—хрипитъ унтеръ.—Вы, ваше высокородіе, изволите говорить, не мое это дѣло народъ разгонять... Хорошо-съ... А ежели безпорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народъ безобразилъ? Гдѣ это въ законѣ написано, чтобъ народу волю давать? Я не могу дозволять-съ. Ежели я не стану ихъ разгонять, да взыскивать, то кто же станетъ? Никто порядковъ настоящихъ не знаетъ, во всемъ селѣ только я одинъ, можно сказать, ваше высокородіе, знаю, какъ обходиться съ людьми простого званія, и, ваше высокородіе, я могу все понимать. Я не мужикъ, я унтеръ-офицеръ, отставной каптенармусъ, въ Варшавѣ служилъ, въ штабѣ-съ, а послѣ того, изволите знать, какъ въ чистую вышелъ, былъ въ пожарныхъ-съ, а послѣ того по слабости болѣзни ушелъ изъ пожарныхъ, и два года въ мужской классической прогимназіи въ швейцарахъ служилъ... Всѣ порядки знаю-съ. А мужикъ—простой человѣкъ, онъ ничего не понимаетъ, и долженъ меня слушать, потому—для его же пользы. Взять хоть это дѣло къ примѣру... Разгоняю я народъ, а на берегу на песочкѣ утопленый трупъ мертваго человѣка. По какому такому основанію, спрашиваю, онъ тутъ лежитъ? Нешто это порядокъ? Что урядникъ глядитъ? Отчего ты, говорю, урядникъ, начальству знать не даешь? Можетъ, этотъ утопленый покойникъ самъ утопъ, а можетъ, тутъ дѣло Сибирью пахнетъ. Можетъ, тутъ уголовное смертоубійство... А урядникъ Жигинъ никакого вниманія, только папироску куритъ. «Что это, говоритъ, у насъ за

указчикъ такой? Откуда, говоритъ, онъ у васъ такой взялся? Нешто мы безъ него, говоритъ, не знаемъ нашего поведенія?» Стало-быть, говорю, ты не знаешь, дуракъ этакой, коли тутъ стоишь и безъ вниманія. «Я, говоритъ, еще вчера далъ знать становому приставу». Зачѣмъ же, спрашиваю, становому приставу? По какой статьѣ свода законовъ? Нешто въ такихъ дѣлахъ, когда утопшіе, или удавившіе, и прочее тому подобное,—нешто въ такихъ дѣлахъ становой можетъ? Тутъ, говорю, дѣло уголовное, гражданское... Тутъ, говорю, скорѣй посылать эстафетъ господину слѣдователю и судьямъ-съ. И перво-на-перво ты долженъ, говорю, составить актъ и послать господину мировому судьѣ. А онъ, урядникъ, все слушаетъ и смѣется. И мужики тоже. Всѣ смѣялись, ваше высокородіе. Подъ присягой могу показать. И этотъ смѣялся, и вотъ этотъ, и Жигинъ смѣялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядникъ и говоритъ: «Мировому, говоритъ, судьѣ такія дѣла не подсудны». Отъ этихъ самыхъ словъ меня даже въ жаръ бросило. Урядникъ, вѣдь ты это сказывалъ?—обращается унтеръ къ уряднику Жигину.

— Сказывалъ.

— Всѣ слыхали, какъ ты это самое при всемъ простомъ народѣ: «Мировому судьѣ такія дѣла неподсудны». Всѣ слыхали, какъ ты это самое... Меня, ваше высокородіе, въ жаръ бросило, я даже сробѣлъ весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказалъ! Онъ опять эти самыя слова... Я къ нему. Какъ же, говорю, ты можешь такъ объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейскій урядникъ, да противъ власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господинъ мировой судья, ежели пожелаютъ, могутъ тебя за такія слова въ губернское жандармское управленіе по причинѣ твоего неблагонадежнаго поведенія? Да ты знаешь, говорю, куда за такія политическія слова тебя угнать можетъ господинъ мировой судья? А старшина говоритъ: «Мировой, говоритъ, дальше своихъ предѣловъ ничего обозначить не можетъ. Только малыя дѣла ему подсудны». Такъ и сказалъ, всѣ слышали... Какъ же, говорю, ты смѣешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шутокъ, а то дѣло, братъ, плохо. Бывало, въ Варшавѣ, или когда въ швейцарахъ былъ въ мужской классической прогимназіи, то какъ заслышу какія

неподходящія слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма; поди, говорю, сюда, кавалеръ,—и все ему докладываю. А тутъ въ деревнѣ кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынѣшній народъ забылся въ своеволіи и неповиновеніи, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а такъ, правильно, полегоньку, чтобъ не смѣлъ про ваше высокородіе такія слова говорить... За старшину урядникъ вступился. Я, стало-быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородіе, ну, да вѣдь безъ того нельзя, чтобъ не побить. Ежели глупаго человѣка не побьешь, то на твоей же душѣ грѣхъ. Особливо, ежели за дѣло... ежели безпорядокъ...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядѣть. На это есть урядникъ, староста, сотскій...

— Уряднику за всѣмъ не углядѣть, да урядникъ и не понимаетъ того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дѣло!

— Чего-съ? Какъ же это не мое? Чудно-съ... Люди безобразятъ, и не мое дѣло! Что жъ мнѣ хвалить ихъ, что ли? Они вотъ жалятся вамъ, что я пѣсни пѣть запрещаю... Да что хорошаго въ пѣсняхъ-то? Вмѣсто того, чтобъ дѣломъ какимъ заниматься, они пѣсни... А еще тоже моду взяли вечера съ огнемъ сидѣть. Нужно спать ложиться, а у нихъ разговоры да смѣхи. У меня записано-съ!

— Что у васъ записано?

— Кто съ огнемъ сидитъ.

Пришибеевъ вынимаетъ изъ кармана засаленную бумажку, надѣваетъ очки и читаетъ:

— Которые крестьяне сидятъ съ огнемъ: Иванъ Прохоровъ, Савва Микифоровъ, Петръ Петровъ. Солдатка Шустрова, вдова, живетъ въ развратномъ беззаконіи съ Семеномъ Кисловымъ. Игнатъ Сверчокъ занимается волшебствомъ, и жена его Мавра есть вѣдьма, по ночамъ ходитъ доить чужихъ коровъ.

— Довольно!—говоритъ судья и начинаетъ допрашивать свидѣтелей.

Унтеръ Пришибеевъ поднимаетъ очки на лобъ и съ удивленіемъ глядитъ на мирового, который, очевидно, не на его сторонѣ. Его выпученные глаза блестятъ, носъ становится ярко-краснымъ. Глядитъ онъ на мирового, на свидѣтелей и никакъ не можетъ понять, отчего это мировой

такъ взволнованъ, и отчего изъ всѣхъ угловъ камеры слышится то ропотъ, то сдержанный смѣхъ. Непонятенъ ему и приговоръ: на мѣсяцъ подъ арестъ!

— За что?!—говоритъ онъ, разводя въ недоумѣніи руками.—По какому закону?

И для него ясно, что міръ измѣнился и что жить на свѣтѣ уже никакъ не возможно. Мрачныя, унылыя мысли овладѣваютъ имъ. Но выйдя изъ камеры и увидѣвъ мужиковъ, которые толпятся и говорятъ о чемъ-то, онъ по привычкѣ, съ которой уже совладать не можетъ, вытягиваетъ руки по швамъ и кричитъ хриплымъ, сердитымъ голосомъ:

— Народъ, расходись! Не толпись! По домамъ!

# АНЮТА.

Въ самомъ дешевомъ номеркѣ меблированныхъ комнатъ «Лисабонъ» изъ угла въ уголъ ходилъ студентъ-медикъ 3-го курса, Степанъ Клочковъ, и усердно зубрилъ свою медицину. Отъ неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступилъ на лбу потъ.

У окна, подернутаго у краевъ ледяными узорами, сидѣла на табуретѣ его жилица Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лѣтъ 25-ти, очень блѣдная, съ кроткими, сѣрыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спѣшная... Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а въ номеркѣ еще не было убрано. Скомканное одѣяло, разбросанныя подушки, книги, платье, большой, грязный тазъ, наполненный мыльными помоями, въ которыхъ плавали окурки, соръ на полу, — все, казалось, было свалено въ одну кучу, нарочно перемѣшано, скомкано..,

— Правое легкое состоитъ изъ трехъ долей...—зубрилъ Клочковъ.—Границы! Верхняя доля на передней стѣнкѣ груди достигаетъ до 4—5 реберъ, на боковой поверхности до 4-го ребра... назади до spina scapulae...

Клочковъ, силясь представить себѣ только-что прочитанное, поднялъ глаза къ потолку. Не получивъ яснаго представленія, онъ сталъ прощупывать у себя сквозь жилетку верхнія ребра.

— Эти ребра похожи на рояльные клавиши,—сказалъ онъ.—Чтобы не спутаться въ счетѣ, къ нимъ непремѣнно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелетѣ и

живомъ человѣкѣ... А ну-ка, Анюта, дай-ка, я оріенти-
юсь!
Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрями-
ь. Клочковъ сѣлъ противъ нея, нахмурился и сталъ
тать ея ребра.
— Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за клю-
ей... Вотъ это будетъ второе ребро... Такъ-съ... Это
ь третье... Это вотъ четвертое... Гм... Такъ-съ... Что ты
ешься?
— У васъ пальцы холодные!
— Ну, ну... не умрешь, не вертись. Стало-быть, это
гье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на видъ,
ебра едва прощупываются. Это второе... это третье...
гъ, этакъ спутаешься и не представишь себѣ ясно...
идется нарисовать. Гдѣ мой уголекъ?
Клочковъ взялъ уголекъ и начертилъ имъ на груди у
оты нѣсколько параллельныхъ линій, соотвѣтствующихъ
рамъ.
— Превосходно. Все, какъ на ладони... Ну-съ, а теперь
остучать можно. Встань-ка!
Анюта встала и подняла подбородокъ. Клочковъ занялся
стукиваніемъ, и такъ погрузился въ это занятіе, что не
ѣтилъ, какъ губы, носъ и пальцы у Анюты посинѣли
холода. Анюта дрожала и боялась, что медикъ, замѣ-
ъ ея дрожь, перестанетъ чертить углемъ и стучать, и
омъ, пожалуй, дурно сдастъ экзаменъ.
— Теперь все ясно,—сказалъ Клочковъ, переставъ сту-
ь.—Ты сиди такъ и не стирай угля, а я пока подзубрю
немножко.
И медикъ опять сталъ ходить и зубрить. Анюта, точно
уированная, съ черными полосами на груди, съежив-
ь отъ холода, сидѣла и думала. Она говорила вообще
нь мало, всегда молчала и все думала, думала...
За всѣ шесть-семь лѣтъ ея шатанія по меблированнымъ
натамъ, такихъ, какъ Клочковъ, знала она человѣкъ
ь. Теперь всѣ они уже покончали курсы, вышли въ
и и, конечно, какъ порядочные люди, давно уже забыли
Одинъ изъ нихъ живетъ въ Парижѣ, два докторами,
вертый художникъ, а пятый даже, говорятъ, уже про-
сёръ. Клочковъ—шестой... Скоро и этотъ кончитъ курсъ,
йдетъ въ люди. Несомнѣнно, будущее прекрасно, и изъ

Клочкова, вѣроятно, выйдетъ большой человѣкъ, но настоящее совсѣмъ плохо: у Клочкова нѣтъ табаку, нѣтъ чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно какъ можно скорѣе оканчивать вышиванье, нести къ заказчицѣ и потомъ купить на полученный четвертакъ и чаю, и табаку.

— Можно войти?—послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себѣ на плечи шерстяной платокъ. Вошелъ художникъ Фетисовъ.

— А я къ вамъ съ просьбой,—началъ онъ, обращаясь къ Клочкову и звѣрски глядя изъ-подъ нависшихъ на лобъ волосъ.—Сдѣлайте одолженіе, одолжите мнѣ вашу прекрасную дѣвицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а безъ натурщицы никакъ нельзя!

— Ахъ, съ удовольствіемъ!—согласился Клочковъ.— Ступай, Анюта.

— Чего я тамъ не видѣла!—тихо проговорила Анюта.

— Ну, полно! Человѣкъ для искусства проситъ, а не для пустяковъ какихъ-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одѣваться.

— А что вы пишете?—спросилъ Клочковъ.

— Психею. Хорошій сюжетъ, да все какъ-то не выходитъ; приходится все съ разныхъ натурщицъ писать. Вчера писалъ одну съ синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синія ноги? Это, говоритъ, чулки линяютъ. А вы все зубрите! Счастливый человѣкъ, терпѣніе есть.

— Медицина такая штука, что никакъ нельзя безъ зубрячки.

— Гм... Извините, Клочковъ, но вы ужасно по-свински живете! Чортъ знаетъ, какъ живете!

— То-есть какъ? Иначе нельзя жить... Отъ батьки я получаю только двѣнадцать въ мѣсяцъ, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

— Такъ-то такъ...—сказалъ художникъ и брезгливо поморщился:—но можно все-таки лучше жить... Развитой человѣкъ обязательно долженъ быть эстетикомъ. Не правда ли? А у васъ тутъ чортъ знаетъ что! Постель не прибрана, помои, соръ... вчерашняя каша на тарелкѣ... тьфу!

— Это правда,—сказалъ медикъ и сконфузился: — по Анютѣ некогда было сегодня убрать. Все время занята.

Когда художникъ и Анюта вышли, Клочковъ легъ на диванъ и сталъ зубрить лежа, потомъ нечаянно уснулъ, и, проснувшись черезъ часъ, подперъ голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о томъ, что развитой человѣкъ обязательно долженъ быть эстетикомъ, и его обстановка въ самомъ дѣлѣ казалась ему теперь противной, отталкивающей. Онъ точно бы провидѣлъ умственнымъ окомъ то свое будущее, когда онъ будетъ принимать своихъ больныхъ въ кабинетѣ, пить чай въ просторной столовой, въ обществѣ жены, порядочной женщины,—и теперь этотъ тазъ съ помоями, въ которомъ плавали окурки, имѣлъ видъ до невѣроятія гадкій. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой... И онъ рѣшилъ разстаться съ нею, немедля, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись отъ художника, снимала шубу, онъ поднялся и сказалъ ей серьезно:

— Вотъ что, моя милая... Садись и выслушай. Намъ нужно разстаться! Однимъ словомъ, жить съ тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась отъ художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нея отъ долгаго стоянія на натурѣ осунулось, похудѣло, и подбородокъ сталъ острѣй. Въ отвѣтъ на слова медика, она ничего не сказала, и только губы у нея задрожали.

— Согласись, что рано или поздно намъ все равно пришлось бы разстаться,—сказалъ медикъ.—Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь...

Анюта опять надѣла шубу, молча завернула свое вышиванье въ бумагу, собрала нитки, иголки; свертокъ съ четырьмя кусочками сахару нашла на окнѣ и положила на столѣ возлѣ книгъ.

— Это ваше... сахаръ...—тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Ну, что же ты плачешь?—спросилъ Клочковъ.

Онъ прошелся по комнатѣ въ смущеніи и сказалъ:

— Странная ты, право... Сама вѣдь знаешь, что намъ необходимо разстаться. Не вѣкъ же намъ быть вмѣстѣ.

Она уже забрала всѣ свои узелки и уже повернулась къ нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ея.

«Развѣ пусть еще одну недѣлю поживетъ здѣсь?—по-

думалъ онъ.—Въ самомъ дѣлѣ, пусть еще поживетъ, а черезъ недѣлю я велю ей уйти».

И досадуя на свою безхарактерность, онъ крикнулъ ей сурово:

— Ну, что же стоишь! Уходить, такъ уходить, а не хочешь, такъ снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потомъ высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и безшумно направилась къ своей постоянной позиціи—къ табурету у окна.

Студентъ потянулъ къ себѣ учебникъ и опять заходилъ изъ угла въ уголъ.

— Правое легкое состоитъ изъ трехъ долей...—зубрилъ онъ.—Верхняя доля на передней стѣнкѣ груди достигаетъ до 4—5 реберъ...

А въ коридорѣ кто-то кричалъ во все горло:

— Гргигорій, самоваръ!

# ВЪ МОСКВѢ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ.

Небольшая площадь близъ Рождественскаго монастыря, которую называютъ Трубной, или просто Трубой; по воскресеньямъ на ней бываетъ торгъ. Копошатся, какъ раки въ рѣшетѣ, сотни тулуповъ, бекешъ, мѣховыхъ картузовъ, цилиндровъ. Слышно разноголосое пѣніе птицъ, напоминающее весну. Если свѣтитъ солнце и на небѣ нѣтъ облаковъ, то пѣніе и запахъ сѣна чувствуются сильнѣе, и это воспоминаніе о веснѣ возбуждаетъ мысль и уноситъ ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется рядъ возовъ. На возахъ не сѣно, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и сѣрые дрозды, синицы, снигири. Все это прыгаетъ въ плохихъ, самодѣлковыхъ клѣткахъ, поглядываетъ съ завистью на свободныхъ воробьевъ и щебечетъ. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имѣетъ самую неопредѣленную цѣнность.

— Почемъ жаворонокъ?

Продавецъ и самъ не знаетъ, какая цѣна его жаворонку. Онъ чешетъ затылокъ и запрашиваетъ сколько Богъ на душу положитъ—или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогія птицы. На запачканной жердочкѣ сидитъ полинялый старикъ-дроздъ съ ощипаннымъ хвостомъ. Онъ солиденъ, важенъ и неподвиженъ, какъ отставной генералъ. На свою неволю онъ давно уже махнулъ лапкой и на голубое небо давно уже глядитъ равнодушно. Должно-быть, за это свое равнодушіе онъ и почитается разсудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, какъ за сорокъ копеекъ. Около птицъ толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди въ модныхъ пальто, любители въ до-нельзя поношенныхъ шапкахъ, въ

подсученныхъ, истрепанныхъ, точно мышами изъѣденныхъ брюкахъ. Юнцамъ и мастеровымъ продаютъ самокъ за самцовъ, молодыхъ за старыхъ... Они мало смыслятъ въ птицахъ. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видитъ и понимаетъ птицу.

— Положительности нѣтъ въ этой птицѣ,—говоритъ любитель, засматривая чижу въ ротъ и считая перья въ его хвостѣ.—Онъ теперь поетъ, это вѣрно, но что жъ изъ эстого? И я въ компаніи запою. Нѣтъ, ты, братъ, мнѣ безъ компаніи, братъ, запой; запой въ одиночку, ежели можешь... Ты подай мнѣ того вонъ, что̀ сидитъ и молчитъ! Тихоню подай! Этотъ молчитъ, стало-быть, себѣ на умѣ...

Между возами съ птицей попадаются возы и съ другого рода живностью. Тутъ вы видите зайцевъ, кроликовъ, ежей, морскихъ свинокъ, хорьковъ. Сидитъ заяцъ и съ горя солому жуетъ. Морскія свинки дрожатъ отъ холода, а ежи съ любопытствомъ посматриваютъ изъ-подъ своихъ колючекъ на публику.

— Я гдѣ-то читалъ,—говоритъ чиновникъ почтоваго вѣдомства, въ полиняломъ пальто, ни къ кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца:—я читалъ, что у какого-то ученаго кошка, мышь, кобчикъ и воробей изъ одной чашки ѣли.

— Очень это возможно, господинъ. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвостъ повыдерганъ. Никакой учености тутъ нѣтъ, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ѣла. Недѣли двѣ полосовалъ кнутовищемъ, покудова выучилъ. Заяцъ, ежели его бить, спички можетъ зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьметъ въ ротъ спичку и—чиркъ! Животное то же, что̀ и человѣкъ. Человѣкъ отъ битья умнѣй бываетъ, такъ и тварь.

Въ толпѣ снуютъ чуйки съ пѣтухами и утками подъ мышкой. Птица все тощая, голодная. Изъ клѣтокъ высовываютъ свои некрасивыя, облѣзлыя головы цыплята и клюютъ что-то въ грязи. Мальчишки съ голубями засматриваютъ вамъ въ лицо и тщатся узнать въ васъ голубинаго любителя.

— Да-съ! Говорить вамъ нечего!—кричитъ кто-то сердито.—Вы посмотрите, а потомъ и говорите! Нешто это голубь? Это орелъ, а не голубь!

Высокій, тонкій человѣкъ съ бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продаетъ бѣлую, какъ снѣгъ, болонку. Старуха-болонка плачетъ.

— Велѣла вотъ продать эту пакость,—говоритъ лакей, презрительно усмѣхаясь.—Обанкрутилась на старости лѣтъ, ѣсть нечего, и теперь вотъ собакъ да кошекъ продаетъ. Плачетъ, цѣлуетъ ихъ въ поганыя морды, а сама продаетъ отъ нужды. Ей-Богу, фактъ! Купите, господа! На кофій деньги надобны.

Но никто не смѣется. Мальчишка стоитъ возлѣ и, прищуривъ одинъ глазъ, смотритъ на него серьезно, съ состраданіемъ.

Интереснѣе всего рыбный отдѣлъ. Душъ десять мужиковъ сидятъ въ рядъ. Передъ каждымъ изъ нихъ ведро, въ ведрахъ же маленькій, кромѣшный адъ. Тамъ въ зеленоватой, мутной водѣ копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большіе рѣчные жуки съ поломанными ногами шныряютъ по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая черезъ лягушекъ. Лягушки лѣзутъ на жуковъ, тритоны на лягушекъ. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, какъ болѣе дорогая рыба, пользуются льготой: ихъ держатъ въ особой баночкѣ, гдѣ плавать нельзя, но все же не такъ тѣсно...

— Важная рыба карась! Держанный карась, ваше высокоблагородіе, чтобъ онъ издохъ! Его хоть годъ держи въ ведрѣ, а онъ все живъ! Недѣля ужъ, какъ поймалъ я этихъ самыхъ рыбовъ. Наловилъ я ихъ, милостивый государь, въ Перервѣ и оттуда пѣшкомъ. Караси по двѣ копейки, вьюны по три, а малявки гривенникъ за десятокъ, чтобъ онѣ издохли! Извольте малявокъ за пятакъ. Червячковъ не прикажете ли?

Продавецъ лѣзетъ въ ведро и достаетъ оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нѣжную малявку, или карасика, величиной съ ноготь. Около ведеръ разложены лески, крючки, жерлицы, и отливаютъ на солнцѣ пунцовымъ огнемъ прудовые червяки.

Около возовъ съ птицей и около ведеръ съ рыбой ходитъ старецъ-любитель въ мѣховомъ картузѣ, желѣзныхъ очкахъ и калошахъ, похожихъ на два броненосца. Это, какъ его называютъ здѣсь, «типъ». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, онъ торгуется, волнуется,

пристаетъ къ покупателямъ съ совѣтами. За какой-нибудь часъ онъ успѣваетъ осмотрѣть всѣхъ зайцевъ, голубей и рыбъ, осмотрѣть до тонкостей, опредѣлить всѣмъ, каждой изъ этихъ тварей породу, возрастъ и цѣну. Его, какъ ребенка, интересуютъ щеглята, карасики и малявки. Заговорите съ нимъ, напримѣръ, о дроздахъ, и чудакъ разскажетъ вамъ такое, чего вы не найдете ни въ одной книгѣ. Разскажетъ вамъ съ восхищеніемъ, страстно и вдобавокъ еще и въ невѣжествѣ упрекнетъ. Про щеглятъ и снигирей онъ готовъ говорить безъ конца, выпучивъ глаза и сильно размахивая руками. Здѣсь на Трубѣ его можно встрѣтить только въ холодное время, лѣтомъ же онъ гдѣ-то за Москвой перепеловъ на дудочку ловитъ и рыбку удитъ.

А вотъ и другой «типъ», — очень высокій, очень худой господинъ въ темныхъ очкахъ, бритый, въ фуражкѣ съ кокардой, похожій на подьячаго стараго времени. Это любитель; онъ имѣетъ не малый чинъ, служитъ учителемъ въ гимназіи, и это извѣстно завсегдатаямъ Трубы, и они относятся къ нему съ уваженіемъ, встрѣчаютъ его поклонами и даже придумали для него особенный титулъ: «ваше мѣстоименіе». Подъ Сухаревой онъ роется въ книгахъ, а на Трубѣ ищетъ хорошихъ голубей.

— Пожалуйте!—кричатъ ему голубятники. — Господинъ учитель, ваше мѣстоименіе, обратите ваше вниманіе на турмановъ! Ваше мѣстоименіе!

— Ваше мѣстоименіе!—кричатъ ему съ разныхъ сторонъ.

— Ваше мѣстоименіе!—повторяетъ гдѣ-то на бульварѣ мальчишка.

А «его мѣстоименіе», очевидно, давно уже привыкшій къ этому своему титулу, серьезный, строгій, беретъ въ обѣ руки голубя и, поднявъ его выше головы, начинаетъ разсматривать и при этомъ хмурится и становится еще болѣе серьезнымъ, какъ заговорщикъ.

И Труба, этотъ небольшой кусочекъ Москвы, гдѣ животныхъ любятъ такъ нѣжно и гдѣ ихъ такъ мучаютъ, живетъ своей маленькой жизнью, шумитъ и волнуется, и тѣмъ дѣловымъ и богомольнымъ людямъ, которые проходятъ мимо по бульвару, не понятно, зачѣмъ собралась эта толпа людей, эта пестрая смѣсь шапокъ, картузовъ и цилиндровъ, о чемъ тутъ говорятъ, чѣмъ торгуютъ.

# ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛІЯ.

У отставного генералъ-маіора Булдѣева разболѣлись зубы. Онъ полоскалъ ротъ водкой, коньякомъ, прикладывалъ къ больному зубу табачную копоть, опій, скипидаръ, керосинъ, мазалъ щеку іодомъ, въ ушахъ у него была вата, смоченная въ спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Пріѣзжалъ докторъ. Онъ поковырялъ въ зубѣ, прописалъ хину, но и это не помогло. На предложеніе вырвать больной зубъ, генералъ отвѣтилъ отказомъ. Всѣ домашніе,—жена, дѣти, прислуга, даже поваренокъ Петька предлагали каждый свое средство. Между прочимъ и приказчикъ Булдѣева, Иванъ Евсеичъ, пришелъ къ нему и посовѣтовалъ полѣчиться заговоромъ.

— Тутъ, въ нашемъ уѣздѣ, ваше превосходительство,—сказалъ онъ:—лѣтъ десять назадъ служилъ акцизный Яковъ Васильичъ. Заговаривалъ зубы—первый сортъ. Бывало отвернется къ окошку, пошепчетъ, поплюетъ и какъ рукой! Сила ему такая дадена...

— Гдѣ же онъ теперь?

— А послѣ того, какъ его изъ акцизныхъ увольнили, въ Саратовѣ у тещи живетъ. Теперь только зубами и кормится. Ежели у котораго человѣка заболитъ зубъ, то и идутъ къ нему, помогаетъ... Тамошнихъ саратовскихъ на дому у себя пользуетъ, а ежели которые изъ другихъ городовъ, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что такъ молъ вотъ и такъ... у раба Божьяго Алексія зубы болятъ, прошу выпользовать. А деньги за лѣченіе почтой пошлете.

пристаетъ къ покупателямъ съ совѣтами. За какой-нибудь часъ онъ успѣваетъ осмотрѣть всѣхъ зайцевъ, голубей, рыбъ, осмотрѣть до тонкостей, опредѣлить всѣмъ, какъ изъ этихъ тварей породу, возрастъ и цѣну. Его, какъ бенка, интересуютъ щеглята, карасики и малявки. Заго рите съ нимъ, напримѣръ, о дроздахъ, и чудакъ раз жетъ вамъ такое, чего вы не найдете ни въ одной кн Разскажетъ вамъ съ восхищеніемъ, страстно и вдобав еще и въ невѣжествѣ упрекнетъ. Про щеглятъ и снигя онъ готовъ говорить безъ конца, выпучивъ глаза и см размахивая руками. Здѣсь на Трубѣ его можно встрѣт только въ холодное время, лѣтомъ же онъ гдѣ-то за сквой перепеловъ на дудочку ловитъ и рыбку удитъ.

А вотъ и другой «типъ», — очень высокій, очень ху господинъ въ темныхъ очкахъ, бритый, въ фуражкѣ съ кардой, похожій на подьячаго стараго времени. Это пр тель; онъ имѣетъ не малый чинъ, служитъ учителемъ гимназіи, и это извѣстно завсегдатаямъ Трубы, и они от сятся къ нему съ уваженіемъ, встрѣчаютъ его поклонам даже придумали для него особенный титулъ: «ваше мѣ именіе». Подъ Сухаревой онъ роется въ книгахъ, а Трубѣ ищетъ хорошихъ голубей.

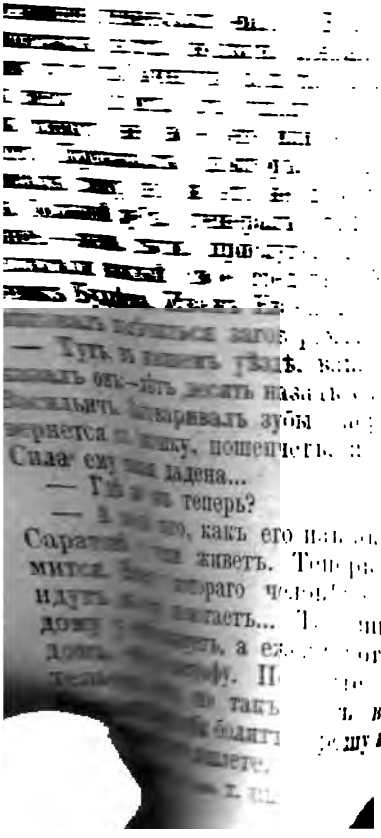
— Пожалуйте!—кричатъ ему голубятники. — Господ учитель, ваше мѣстоименіе, обратите ваше вниманіе на лановъ! Ваше мѣстоименіе!

— Ваше мѣстоименіе!—кричатъ ему съ разныхъ сторо

— Ваше мѣстоименіе!—повторяетъ гдѣ-то на буль мальчишка.

А «его мѣстоименіе», очевидно, давно уже привыкш этому своему титулу, серьезный, строгій, беретъ въ обѣ голубя и, поднявъ его выше головы, начинаетъ разсм вать и при этомъ хмурится и становится еще болѣе се нымъ, какъ заговорщикъ.

И Труба, этотъ небольшой кусочекъ Москвы, гдѣ ж ныхъ любятъ такъ нѣжно и гдѣ ихъ такъ мучаютъ, ж своей маленькой жизнью, шумитъ и волнуется, и тѣм ловымъ и богомольнымъ людямъ, которые проходятъ по бульвару, не понятно, зачѣмъ собралась эта толпа эта пестрая смѣсь шапокъ, картузовъ и цили тутъ говорятъ, чѣмъ торгуютъ.



— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотникъ, живетъ не съ женой, а съ нѣмкой, ругатель, но, можно сказать, чудодѣйственный господинъ!

— Пошли, Алеша,—взмолилась генеральша.—Ты вотъ не вѣришь въ заговоры, а я на себѣ испытала. Хотя ты и не вѣришь, но отчего не послать? Руки вѣдь не отвалятся отъ этого.

— Ну, ладно,—согласился Булдѣевъ.—Тутъ не только что къ акцизному, но и къ чорту депешу пошлешь... Охъ! Мочи нѣтъ! Ну, гдѣ твой акцизный живетъ? Какъ къ нему писать?

Генералъ сѣлъ за столъ и взялъ перо въ руки.

— Его въ Саратовѣ каждая собака знаетъ,—сказалъ приказчикъ.—Извольте писать, ваше превосходительство, въ городъ Саратовъ, стало-быть... Его благородію господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамиліи... А фамилію вотъ и забылъ!.. Васильичу... Чортъ... Какъ же его фамилія? Давеча, какъ сюда шелъ, помнилъ... Позвольте-съ...

Иванъ Евсеичъ поднялъ глаза къ потолку и зашевелилъ губами. Булдѣевъ и генеральша ожидали нетерпѣливо.

— Ну, что же? Скорѣй думай!

— Сейчасъ... Васильичу... Якову Васильичу... Забылъ! Такая еще простая фамилія... словно какъ бы лошадиная... Кобылинъ? Нѣтъ, не Кобылинъ. Постойте... Жеребцовъ нешто? Нѣтъ, и не Жеребцовъ. Помню, фамилія лошадиная, а какая—изъ головы вышибло...

— Жеребятниковъ?

— Никакъ нѣтъ. Постойте... Кобылицынъ... Кобылятниковъ... Кобелевъ...

— Это ужъ собачья, а не лошадиная. Жеребчиковъ?

— Нѣтъ, и не Жеребчиковъ... Лошадининъ... Лошаковъ... Жеребкинъ... Все не то!

— Ну, такъ какъ же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчасъ. Лошадкинъ... Кобылкинъ... Коренной...

— Коренниковъ?—спросила генеральша.

— Никакъ нѣтъ. Пристяжкинъ... Нѣтъ, не то! Забылъ!

— Такъ зачѣмъ же, чортъ тебя возьми, съ совѣтами лѣ-

ешь, сжели забылъ?—разсердился генералъ.—Ступай отсюда вонъ!

Иванъ Евсеичъ медленно вышелъ, а генералъ схватилъ себя за щеку и заходилъ по комнатамъ.

— Ой, батюшки!—вопилъ онъ.—Ой, матушки! Охъ, свѣта бѣлаго не вижу!

Приказчикъ вышелъ въ садъ и, поднявъ къ небу глаза, сталъ припоминать фамилію акцизнаго:

— Жеребчиковъ... Жеребковскій... Жеребенко... Нѣтъ, не то! Лошадинскій... Лошадевичъ... Жеребковичъ... Кобылянскій...

Немного погодя, его позвали къ господамъ.

— Вспомнилъ?—спросилъ генералъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

— Можетъ-быть, Конявскій? Лошадниковъ? Нѣтъ?

И въ домѣ всѣ наперерывъ стали изобрѣтать фамиліи. Перебрали всѣ возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... Въ домѣ, въ саду, въ людской и кухнѣ люди ходили изъ угла въ уголъ и, почесывая лбы, искали фамилію...

Приказчика то и дѣло требовали въ домъ.

— Табуновъ?—спрашивали у него.—Копытинъ? Жеребовскій?

— Никакъ нѣтъ,—отвѣчалъ Иванъ Евсеичъ и, поднявъ вверхъ глаза, продолжалъ думать вслухъ:—Коненко... Конченко... Жеребѣевъ... Кобылѣевъ...

— Папа!—кричали изъ дѣтской.—Тройкинъ! Уздечкинъ!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпѣливый, замученный генералъ пообѣщалъ дать пять рублей тому, кто вспомнитъ настоящую фамилію, и за Иваномъ Евсеичемъ стали ходить цѣлыми толпами...

— Гнѣдовъ!—говорили ему.—Рысистый! Лошадицкій!

Но наступилъ вечеръ, а фамилія все еще не была найдена. Такъ и спать легли, не послявъ телеграммы.

Генералъ не спалъ всю ночь, ходилъ изъ угла въ уголъ и стоналъ... Въ третьемъ часу утра онъ вышелъ изъ дому и постучался въ окно къ приказчику.

— Не Мериновъ ли?—спросилъ онъ плачущимъ голосомъ.

— Нѣтъ, не Мериновъ, ваше превосходительство,—отвѣтилъ Иванъ Евсеичъ и виновато вздохнулъ.

— Да можетъ-быть, фамилія не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экій ты какой, братецъ, безпамятный... Для меня теперь эта фамилія дороже, кажется, всего на свѣтѣ. Замучился!

Утромъ генералъ опять послалъ за докторомъ.

— Пускай рветъ! — рѣшилъ онъ. — Нѣтъ больше силъ терпѣть...

Пріѣхалъ докторъ и вырвалъ больной зубъ. Боль утихла тотчасъ же, и генералъ успокоился. Сдѣлавъ свое дѣло и получивъ, что слѣдуетъ, за трудъ, докторъ сѣлъ въ свою бричку и поѣхалъ домой. За воротами въ полѣ онъ встрѣтилъ Ивана Евсеича... Приказчикъ стоялъ на краю дороги и, глядя сосредоточенно себѣ подъ ноги, о чемъ-то думалъ. Судя по морщинамъ, бороздившимъ его лобъ, и по выраженію глазъ, думы его были напряженны, мучительны...

— Булановъ... Черезсѣдельниковъ...—бормоталъ онъ.— Засупонинъ... Лошадскій...

— Иванъ Евсеичъ!—обратился къ нему докторъ.—Не могу ли я, голубчикъ, купить у васъ четвертей пять овса? Мнѣ продаютъ наши мужики овесъ, да ужъ больно плохой...

Иванъ Евсеичъ тупо поглядѣлъ на доктора, какъ-то дико улыбнулся и, не сказавъ въ отвѣтъ ни одного слова, всплеснувъ руками, побѣжалъ къ усадьбѣ съ такой быстротой, точно за нимъ гналась бѣшеная собака.

— Надумалъ, ваше превосходительство!—закричалъ онъ радостно, не своимъ голосомъ, влетая въ кабинетъ къ генералу.— Надумалъ, дай Богъ здоровья доктору! Овсовъ! Овсовъ фамилія акцизнаго! Овсовъ, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— Накося!—сказалъ генералъ съ презрѣніемъ и поднесъ къ лицу его два кукиша.—Не нужно мнѣ теперь твоей лошадиной фамиліи! Накося!

# ТРАГИКЪ.

Былъ бенефисъ трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебрянаго». Самъ бенефиціантъ игралъ Вяземскаго, антрепренеръ Лимонадовъ—Дружину Морозова, г-жа Беобахтова—Елену... Спектакль вышелъ на славу. Трагикъ дѣлалъ буквально чудеса. Онъ похищалъ Елену одной рукой и держалъ ее выше головы, когда проносилъ черезъ сцену. Онъ кричалъ, шипѣлъ, стучалъ ногами, рвалъ у себя на груди кафтанъ. Отказываясь отъ поединка съ Морозовымъ, онъ трясся всѣмъ тѣломъ, какъ въ дѣйствительности никогда не трясутся, и съ шумомъ задыхался. Театръ дрожалъ отъ аплодисментовъ. Вызовамъ не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигаръ и букетъ съ длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчинъ аплодировать, многія плакали... Но болѣе всѣхъ восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорѣцкаго, Маша. Она сидѣла въ первомъ ряду креселъ, рядомъ со своимъ папашей, не отрывала глазъ отъ сцены даже въ антрактахъ и была въ полномъ восторгѣ. Ея тоненькія ручки и ножки дрожали, глазки были полны слезъ, лицо становилось все блѣднѣй и блѣднѣй. И не мудрено: она была въ театрѣ первый разъ въ жизни!

— Какъ хорошо они представляютъ! Какъ отлично!—обращалась она къ своему папашѣ-исправнику всякій разъ, когда опускался занавѣсъ.—Какъ хорошъ Феногеновъ!

И если бы папаша могъ читать на лицахъ, онъ прочелъ бы на блѣдномъ личикѣ своей дочки восторгъ, доходящій до страданія. Она страдала и отъ игры, и отъ

пьесы, и отъ обстановки. Когда въ антрактѣ полковой оркестръ начиналъ играть свою музыку, она въ изнеможеніи закрывала глаза.

— Папа!—обратилась она къ отцу въ послѣднемъ антрактѣ.—Пойди на сцену и скажи имъ всѣмъ, чтобы приходили къ намъ завтра обѣдать!

Исправникъ пошелъ на сцену, похвалилъ тамъ всѣхъ за хорошую игру и сказалъ г-жѣ Беобахтовой комплиментъ:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачѣмъ я не владѣю кистью!

И шаркнулъ ногой, потомъ пригласилъ артистовъ къ себѣ на обѣдъ.

— Всѣ приходите, кромѣ женскаго пола,—шепнулъ онъ.— Актрисъ не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обѣдали артисты. Пришли только антрепренеръ Лимонадовъ, трагикъ Феногеновъ и комикъ Водолазовъ; остальные сослались на недосугъ и не пришли. Обѣдъ прошелъ скучно. Лимонадовъ все время увѣрялъ исправника, что онъ его уважаетъ и вообще чтитъ всякое начальство, Водолазовъ представлялъ пьяныхъ купцовъ и армянъ, а Феногеновъ, высокій, плотный малороссъ (въ паспортѣ онъ назывался Кнышъ), съ черными глазами и нахмуреннымъ лбомъ, продекламировалъ «У парадnаго подъѣзда» и «Быть или не быть?». Лимонадовъ со слезами на глазахъ разсказалъ о свиданіи своемъ съ бывшимъ губернаторомъ генераломъ Канючинымъ. Исправникъ слушалъ, скучалъ и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что отъ Лимонадова сильно пахло жженными перьями, а на Феногеновѣ былъ чужой фракъ и сапоги съ кривыми каблуками, онъ былъ доволенъ. Они нравились его дочкѣ, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядѣла на артистовъ, не отрывала отъ нихъ глазъ ни на минуту. Никогда ранѣе она не видала такихъ умныхъ, необыкновенныхъ людей!

Вечеромъ исправникъ и Маша опять были въ театрѣ. Черезъ недѣлю артисты опять обѣдали у начальства, и съ этого раза стали почти каждый день приходить въ домъ исправника, то обѣдать, то ужинать, и Маша еще сильнѣе привязалась къ театру и стала бывать въ немъ ежедневно.

Она влюбилась въ трагика Феногенова. Въ одно прекрасное утро, когда исправникъ ѣздилъ встрѣчать архіерея,

она бѣжала съ труппой Лимонадова и на пути повѣнчалась со своимъ возлюбленнымъ. Отпраздновавъ свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его къ исправнику. Сочиняли всѣ разомъ.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему!—говорилъ Лимонадовъ, диктуя Водолазову.—Почтенія ему подпусти... Они, чинодралы, любятъ это. Надбавь чего-нибудь этакого... чтобъ прослезился...

Отвѣтъ на это письмо былъ самый неутѣшительный. Исправникъ отрекался отъ дочери, вышедшей, какъ онъ писалъ, «за глупаго, праздношатающагося хохла, не имѣющаго опредѣленныхъ занятій».

И на другой день послѣ того, какъ пришелъ этотъ отвѣтъ, Маша писала своему отцу:

«Папа, онъ бьетъ меня! Прости насъ!»

Онъ билъ ее, билъ за кулисами въ присутствіи Лимонадова, прачки и двухъ ламповщиковъ! Онъ помнилъ, какъ за четыре дня до свадьбы, вечеромъ, сидѣлъ онъ со всей труппой въ трактирѣ «Лондонъ»; всѣ говорили о Машѣ, труппа совѣтовала ему «рискнуть», а Лимонадовъ убѣждалъ со слезами на глазахъ:

— Глупо и нераціонально отказываться отъ такого случая! Да вѣдь за этакія деньги не то что жениться, въ Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театръ, и бери меня тогда къ себѣ въ труппу. Не я ужъ тогда владыка, а ты владыка.

Феногеновъ помнилъ объ этомъ и теперь бормоталъ, сжимая кулаки:

— Если онъ не пришлетъ денегъ, такъ я изъ нея щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, чортъ меня раздери!

Изъ одного губернскаго города труппа хотѣла уѣхать тайкомъ отъ Маши, но Маша узнала и прибѣжала на вокзалъ послѣ второго звонка, когда актеры уже сидѣли въ вагонахъ.

— Я оскорбленъ вашимъ отцомъ!—сказалъ ей трагикъ.—Между нами все кончено!

А она, несмотря на то, что въ вагонѣ былъ народъ, согнула свои маленькія ножки, стала передъ нимъ на колѣни и протянула съ мольбой руки.

— Я люблю васъ!—просила она.—Не гоните меня, Кондратій Иванычъ! Я не могу жить безъ васъ!

Вняли ея мольбамъ и, посовѣтовавшись, приняли ее въ труппу на амплуа «сплошной графини»,—такъ называли маленькихъ актрисъ, выходившихъ на сцену обыкновенно толпой и игравшихъ роли безъ рѣчей... Сначала Маша играла горничныхъ и пажей, но потомъ, когда г-жа Беобахтова, цвѣтъ лимонадовской труппы, бѣжала, то ее сдѣлали ingénue. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочемъ, привыкла и стала нравиться публикѣ. Феногеновъ былъ очень недоволенъ.

— Развѣ это актриса?—говорилъ онъ.—Ни фигуры, ни манеръ, а такъ только... одна глупость...

Въ одномъ губернскомъ городѣ труппа Лимонадова давала «Разбойниковъ» Шиллера. Феногеновъ изображалъ Франца, Маша—Амалію. Трагикъ кричалъ и трясся, Маша читала свою роль, какъ хорошо заученный урокъ, и пьеса сошла бы, какъ сходятъ вообще пьесы, если бы не случился маленькій скандалъ. Все шло благополучно до того мѣста въ пьесѣ, гдѣ Францъ объясняется въ любви Амаліи, а она хватаетъ его шпагу. Малороссъ прокричалъ, прошипѣлъ, затрясся и сжалъ въ своихъ желѣзныхъ объятіяхъ Машу. А Маша, вмѣсто того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала въ его объятіяхъ, какъ птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалѣйте меня!—прошептала она ему на ухо.—О, пожалѣйте меня! Я такъ несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай!—прошипѣлъ трагикъ и сунулъ ей въ руки шпагу.

Послѣ спектакля Лимонадовъ и Феногеновъ сидѣли въ кассѣ и вели бесѣду.

— Жена твоя ролей не учитъ, это ты правильно...— говорилъ антрепренеръ.—Функціи своей не знаетъ... У всякаго человѣка есть своя функція... Такъ вотъ она ея-то не знастъ...

Феногеновъ слушалъ, вздыхалъ и хмурился, хмурился...

На другой день утромъ Маша сидѣла въ мелочной лавочкѣ и писала:

«Папа, онъ бьетъ меня! Прости насъ! Вышли намъ денегъ!»

# СТРАДАЛЬЦЫ.

Лизочка Кудринская, молоденькая дамочка, имѣющая много поклонниковъ, вдругъ заболѣла, да такъ серьезно, что мужъ ея не пошелъ на службу, и ея мамашѣ въ Тверь была послана телеграмма. Исторію своей болѣзни она разсказываетъ такимъ образомъ:

— Поѣхала я въ Лѣсное къ тетѣ. Пожила я тамъ недѣлю и потомъ со всѣми отправилась къ кузинѣ Варѣ. Варинъ мужъ, вы знаете, бука и деспотъ (я застрѣлила бы такого мужа), но время мы провели тамъ весело. Во-первыхъ, я тамъ участвовала въ любительскомъ спектаклѣ. Шелъ «Скандалъ въ благородномъ семействѣ». Хрусталевъ игралъ изумительно! Во время антракта я выпила холодной, ужасно холодной лимонной воды съ немножечкомъ коньяку... Лимонная вода съ коньякомъ очень похожа на шампанское... Выпила и ничего не почувствовала. На другой день послѣ спектакля ѣздила я верхомъ съ этимъ Адольфомъ Иванычемъ. Было немножко сыро и меня продуло. Вѣроятно, я тогда же простудилась. Дня черезъ три я поѣхала къ себѣ домой посмотрѣть, какъ живетъ мой милый, мой хорошій Вася, и кстати взять шелковое платье, то самое, что цвѣточками. Васи, конечно, не застала дома. Пошла я въ кухню сказать Прасковьѣ, чтобы она поставила самоваръ, гляжу, а у ней на столѣ хорошенькія молоденькія рѣпочки и морковочки, точно игрушечки. Я съѣла одну морковочку, ну, и рѣпку. Очень немного съѣла, но представьте, вдругъ у меня начинается рѣзь... Спазмы, спазмы, спазмы... Ахъ, умираю! Прибѣгаетъ со службы Вася. Натурально, хва-

таетъ себя за волосы и блѣднѣетъ. Бѣгутъ за докторомъ... Понимаете? Умираю и умираю!

Спазмы начались въ полдень, въ третьемъ часу пріѣзжалъ докторъ, а въ шесть Лизочка уснула и спала крѣпкимъ сномъ до двухъ часовъ ночи.

Бьетъ два часа... Свѣтъ маленькой ночной лампы скудно пробивается сквозь голубой абажуръ. Лизочка лежитъ въ постели. Ея бѣлый кружевной чепчикъ рѣзко вырисовывается на темномъ фонѣ красной подушки. На ея блѣдномъ лицѣ и круглыхъ, сдобныхъ плечахъ лежатъ узорчатыя тѣни отъ абажура. У ногъ сидитъ Василій Степановичъ, ея мужъ. Бѣдняга счастливъ, что его жена, наконецъ, дома и въ то же время страшно напуганъ ея болѣзнью.

— Ну, какъ ты себя чувствуешь, Лизочка? — спрашиваетъ онъ шопотомъ, замѣтивъ, что она проснулась.

— Мнѣ лучше...—стонетъ Лизочка. — Спазмовъ уже не чувствую, но не спится... Не могу уснуть!

— Не пора ли тебѣ, мой ангелъ, перемѣнить компрессъ?

Лизочка приподнимается медленно, со страдальческимъ выраженіемъ и граціозно склоняетъ голову на бокъ. Василій Степанычъ священнодѣйственно, едва касаясь пальцами горячаго тѣла, перемѣняетъ компрессъ. Лизочка пожимается, смѣется отъ холодной воды, которая щекочетъ ее, и опять ложится.

— Ты, бѣдный, не спишь!—стонетъ она.

— Могу ли я спать!

— Это у меня нервное, Вася. Я очень нервная женщина. Докторъ прописалъ мнѣ противъ желудка, но я чувствую, что онъ не понялъ моей болѣзни. Тутъ нервы, а не желудокъ, клянусь тебѣ, что это нервы. Одного только я боюсь, какъ бы моя болѣзнь не приняла дурного оборота.

— Нѣтъ, Лизочка, нѣтъ! Завтра же ты будешь здорова!

— Едва ли! За себя я не боюсь... мнѣ все равно, даже я рада умереть, но мнѣ тебя жаль! Вдругъ ты овдовѣешь и останешься одинъ.

Васечка рѣдко пользуется обществомъ жены и давно уже привыкъ къ одиночеству, но слова Лизочки его тревожатъ.

— Богъ знаетъ, что ты говоришь, мамочка! Къ чему эти мрачныя мысли?

— Что жъ? Поплачешь, погорюешь, а потомъ и привыкнешь. Даже женишься.

Мужъ хватаетъ себя за голову.

— Ну, ну, не буду,—успокаиваетъ его Лизочка.—Только ты долженъ быть ко всему готовъ.

«А вдругъ я въ самомъ дѣлѣ умру!»—думаетъ она, закрывая глаза.

И Лизочка рисуетъ себѣ картину собственной смерти, какъ вокругъ ея смертнаго одра тѣснятся мать, мужъ, кузина Варя съ мужемъ, родня, поклонники ея «таланта», какъ она шепчетъ послѣднее «прости». Всѣ плачутъ. Потомъ, когда она уже мертва, ее, интересно блѣдную, черноволосую, одѣваютъ въ розовое платье (оно ей къ лицу) и кладутъ въ очень дорогой гробъ на золотыхъ ножкахъ, полный цвѣтовъ. Пахнетъ ладаномъ, трещатъ свѣчи. Мужъ не отходитъ отъ гроба, а поклонники таланта не отрываютъ отъ нея глазъ: «Какъ живая! Она въ гробу прекрасна!» Весь городъ говоритъ о безвременно угасшей жизни. Но вотъ ее несутъ въ церковь. Несутъ: Иванъ Петровичъ, Адольфъ Иванычъ, Варинъ мужъ, Николай Семенычъ и тотъ черноглазый студентъ, который научилъ ее пить лимонную воду съ коньякомъ. Жаль только, что не играетъ музыка. Послѣ панихиды—прощаніе. Церковь полна рыданіями. Приносятъ крышку съ кистями и... Лизочка навѣки разстается съ дневнымъ свѣтомъ. Слышно, какъ прибиваютъ гвозди. Стукъ, стукъ, стукъ!

Лизочка вздрагиваетъ и открываетъ глаза.

— Вася, ты здѣсь?—спрашиваетъ она.—У меня такія мрачныя мысли. Боже, неужели я такъ несчастна, что не усну? Вася, пожалѣй меня, разскажи мнѣ что-нибудь!

— Что же тебѣ разсказать?

— Что-нибудь... любовное,—говоритъ томно Лизочка.—Или разскажи что-нибудь изъ еврейскаго быта...

Василій Степанычъ, готовый на все, лишь бы только его жена была весела и не говорила о смерти, зачесываетъ надъ ушами пейсы, дѣлаетъ смѣшную физіономію и подходитъ къ Лизочкѣ.

— А вже не надо ли вамъ часы поцинять?—спрашиваетъ онъ.

— Надо, надо!—хохочетъ Лизочка и подаетъ ему со столика свои золотые часы.—Починяй!

Вася беретъ часы, долго разсматриваетъ механизмъ и, весь скорчившись, говоритъ:

— Нельзя ихъ поцинять... Тутъ зъ однимъ колесомъ два зубцы нѣту.

Въ этомъ и заключается все представленіе. Лизочка хохочетъ и хлопаетъ въ ладоши.

— Отлично!—восклицаетъ она.—Удивительно! Знаешь, Вася? Ты ужасно глупо дѣлаешь, что не участвуешь въ любительскихъ спектакляхъ? У тебя замѣчательный талантъ! Ты гораздо лучше Сысунова. У насъ участвовалъ въ «Я именинникъ» любитель, нѣкій Сысуновъ. Первоклассный комическій талантъ! Представь: носъ толстый, какъ брюква, глаза зеленые, а ходитъ, какъ журавль... Мы всѣ хохотали. Постой, я покажу тебѣ, какъ онъ ходитъ.

Лизочка прыгаетъ съ кровати и начинаетъ шагать по полу уже безъ чепчика, босая.

— Мое почтеніе!—говоритъ она басомъ, подражая мужскому голосу.—Что хорошенькаго? Что новаго подъ луной? Ха-ха-ха!—хохочетъ она.

— Ха-ха-ха!—вторитъ Вася.

И оба супруга, хохоча, забывъ про болѣзнь, гоняются другъ за другомъ по спальнѣ. Бѣготня кончается тѣмъ, что Вася ловитъ жену за сорочку и жадно осыпаетъ ее поцѣлуями. Послѣ одного особенно страстнаго объятія, Лизочка вдругъ вспоминаетъ, что она серьезно больна...

— Какія глупости!—говоритъ она, дѣлая серьезное лицо и укрываясь одѣяломъ.—Вѣроятно, ты забылъ, что я больна! Умно, нечего сказать!

— Извини...—конфузится мужъ.

— Болѣзнь приметъ дурной оборотъ, вотъ ты и будешь виноватъ. Не добрый! Не хорошій!

Лизочка закрываетъ глаза и молчитъ. Прежнія томность и страдальческое выраженіе возвращаются къ ней, опять слышатся легкіе стоны. Вася перемѣняетъ компрессъ и довольный, что его жена дома, а не въ бѣгахъ у тети, смиренно сидитъ у ея ногъ. Не спитъ онъ до самаго утра. Въ десять часовъ приходитъ докторъ.

— Ну, какъ мы себя чувствуемъ? — спрашиваетъ онъ, щупая пульсъ.—Спали?

— Плохо,—отвѣчаетъ за Лизочку мужъ.—Очень плохо!

Докторъ отходитъ къ окну и засматривается на проходящаго трубочиста.

— Докторъ, мнѣ можно сегодня выпить кофе?— спрашиваетъ Лизочка.

— Можно.

— А мнѣ можно сегодня встать?

— Оно, пожалуй, можно, но... лучше полежите еще денекъ.

— Настроена она дурно...—шепчетъ Вася ему на ухо.— Мысли мрачныя... міровоззрѣніе какое-то... Я страшно за нее безпокоюсь!

Докторъ садится за столикъ и, потеревъ ладонью лобъ, прописываетъ Лизочкѣ бромистаго натрія, потомъ расклапивается и, пообѣщавъ побывать еще вечеромъ, уѣзжаетъ. Вася не идетъ на службу, а все сидитъ у ногъ жены... Въ полдень съѣзжаются поклонники таланта. Они встревожены, испуганы, привезли много цвѣтовъ, французскихъ книжекъ. Лизочка, одѣтая въ бѣлоснѣжный чепчикъ и легкую блузку, лежитъ въ постели и смотритъ загадочно, будто не вѣритъ въ свое выздоровленіе. Поклонники таланта видятъ мужа, но охотно прощаютъ ему его присутствіе: ихъ и его соединило у этого ложа одно несчастье!

Въ шесть часовъ вечера Лизочка засыпаетъ и опять спитъ до двухъ часовъ ночи. Вася, попрежнему, сидитъ у ея ногъ, борется съ дремотой, перемѣняетъ компрессъ, изображаетъ изъ еврейскаго быта, а утромъ, послѣ второй страдальческой ночи, Лиза уже вертится передъ зеркаломъ и надѣваетъ шляпку.

— Куда же ты, мой другъ?— спрашиваетъ Вася, глядя на нее умоляюще.

— Какъ?—удивляется Лизочка, дѣлая испуганное лицо.— Развѣ ты не знаешь, что сегодня у Марьи Львовны репетиція?

Проводивъ ее, Вася, отъ нечего-дѣлать, отъ скуки, береть свой портфель и ѣдетъ на службу. Отъ безсонныхъ ночей у него болитъ голова, такъ болитъ, что лѣвый глазъ не слушается и закрывается самъ собою...

— Что это съ вами, батюшка мой?—спрашиваетъ его начальникъ.—Что такое?

Вася машетъ рукой и садится.

— И не спрашивайте, ваше сіятельство,— говоритъ онъ со вздохомъ.—Столько я выстрадалъ за эти два дня... столько выстрадалъ! Лиза больна!

— Господи!—пугается начальникъ:—Лизавета Павловна? Что съ ней?

Василій Степанычъ только разводитъ руками и поднимаетъ глаза къ потолку, какъ бы желая сказать: «На то воля Провидѣнія!»

— Ахъ, мой другъ, я могу сочувствовать вамъ всей душой!—вздыхаетъ начальникъ, закатывая глаза.—Я, душа моя, потерялъ жену... понимаю. Это такая потеря... такая потеря! Это ужясно... это ужясно! Надѣюсь, теперь Лизавета Павловна здорова? Какой докторъ лѣчитъ?

— Фонъ-Штеркъ.

— Фонъ-Штеркъ? Но вы бы лучше къ Магнусу обратились, или къ Семандрицкому. На васъ, однако, очень блѣдное лицо! Вы сами больной человѣкъ! Это ужясно!

— Да, ваше сіятельство... не спалъ... столько выстрадалъ... пережилъ!

— А приходилъ! Зачѣмъ же вы приходили, не понимаю? Развѣ можно себя заставлять? Развѣ такъ можно дѣлать себѣ больно? Ходите домой и сидите тамъ, пока не выздоровѣете! Ходите, я приказываю вамъ! Усердіе хорошее особенность молодого чиновника, но не надо забывать, какъ говорили римляне, mens sana in corpore sano, то-есть здоровая голова въ здоровомъ корпусѣ!

Вася соглашается, кладетъ бумаги обратно въ портфель и, простившись съ начальникомъ, ѣдетъ домой спать.

# НАКАНУНѢ ПОСТА.

— Павелъ Васильичъ! — будитъ Пелагея Ивановна своего мужа. — А Павелъ Васильичъ! Ты бы пошелъ позанимался со Степой, а то онъ сидитъ надъ книгой и плачетъ. Опять чего-то не понимаетъ!

Павелъ Васильичъ поднимается, креститъ зѣвающій ротъ и говоритъ мягко:

— Сейчасъ, душенька!

Кошка, спящая рядомъ съ нимъ, тоже поднимается, вытягиваетъ хвостъ, перегибаетъ спину и жмурится. Тишина... Слышно, какъ за обоями бѣгаютъ мыши. Надѣвъ сапоги и халатъ, Павелъ Васильичъ, помятый и хмурый съ просонокъ, идетъ изъ спальни въ столовую; при его появленіи другая кошка, которая обнюхивала на окнѣ рыбное заливное, прыгаетъ съ окна на полъ и прячется за шкапъ.

— Просили тебя нюхать! — сердится онъ, накрывая рыбу газетной бумагой. — Свинья ты послѣ этого, а не кошка...

Изъ столовой дверь ведетъ въ дѣтскую. Тутъ за столомъ, покрытымъ пятнами и глубокими царапинами, сидитъ Степа, гимназистъ второго класса, съ капризнымъ выраженіемъ лица и съ заплаканными глазами. Приподнявъ колѣни почти до подбородка и охвативъ ихъ руками, онъ качается, какъ китайскій болванчикъ, и сердито глядитъ въ задачникъ.

— Учишься? — спрашиваетъ Павелъ Васильичъ, подсаживаясь къ столу и зѣвая. — Такъ, братецъ ты мой... Погуляли, поспали, блиновъ покушали, а завтра сухояденіе, покаяніе и на работу пожалуйте. Всякій періодъ времени имѣетъ свой предѣлъ. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренція одолѣла? Знать, послѣ блиновъ противно науками питаться? То-то вотъ оно и есть.

— Да ты что тамъ надъ ребенкомъ смѣешься? — кричитъ изъ другой комнаты Пелагея Ивановна. — Чѣмъ смѣяться, показалъ бы лучше! Вѣдь онъ завтра опять единицу получитъ, горе мое!

— Ты чего не понимаешь? — спрашиваетъ Павелъ Васильичъ у Степы.

— Да вотъ... дѣленіе дробей! — сердито отвѣчаетъ тотъ. — Дѣленіе дроби на дробь...

— Гм... чудакъ! Что же тутъ? Тутъ и понимать нечего. Отзубри правило, вотъ и все... Чтобы раздѣлить дробь на дробь, то для этой цѣли нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй и это будетъ числителемъ частнаго... Ну-съ, за симъ знаменатель первой дроби...

— Я это и безъ васъ знаю! — перебиваетъ его Степа, сбивая щелчкомъ со стола орѣховую скорлупу. — Вы покажите мнѣ доказательство!

— Доказательство? Хорошо, давай карандашъ. Слушай. Положимъ, намъ нужно семь восьмыхъ раздѣлить на двѣ пятыхъ. Такъ-съ. Механика тутъ въ томъ, братецъ ты мой, что требуется эти дроби раздѣлить другъ на дружку... Самоваръ поставили?

— Не знаю.

— Пора ужъ чай пить... Восьмой часъ. Ну-съ, теперь слушай. Будемъ такъ разсуждать. Положимъ, намъ нужно раздѣлить семь восьмыхъ не на двѣ пятыхъ, а на два, то-есть только на числителя. Дѣлимъ. Что же получается?

— Семь шестнадцатыхъ.

— Такъ. Молодецъ. Ну-съ, штукенція въ томъ, братецъ ты мой, что мы... что, стало-быть, если мы дѣлили на два, то... Постой, я самъ запутался. Помню, у насъ въ гимназіи учителемъ ариѳметики былъ Сигизмундъ Урбанычъ, изъ поляковъ. Такъ тотъ, бывало, каждый урокъ путался. Начнетъ теорему доказывать, спутается и побагровѣетъ весь и по классу забѣгаетъ, точно его шиломъ кто-нибудь въ спину, потомъ разъ пять высморкается и начнетъ плакать. Но мы, знаешь, великодушны были, дѣлали видъ, что не замѣчаемъ. «Что съ вами, спрашиваемъ, Сигизмундъ Урбанычъ? У васъ зубы болятъ?» И скажи пожалуйста, весь классъ изъ разбойниковъ состоялъ, изъ сорви-головъ, но, понимаешь ты, великодушны были! Такихъ маленькихъ, какъ ты, въ мое время не было, а все верзилы, этакіе балбесы, одинъ дру-

гого выше. Къ примѣру сказать, у насъ въ третьемъ классѣ былъ Мамахинъ: Господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда въ сажень ростомъ, идетъ — полъ дрожитъ, хватитъ кулачищемъ по спинѣ — духъ вонъ! Не то что мы, даже учителя его боялись. Такъ вотъ этотъ самый Мамахинъ бывало...

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павелъ Васильевичъ мигаетъ на дверь и шепчетъ:

— Мать идетъ. Давай заниматься. Ну, такъ вотъ, братецъ ты мой, — возвышаетъ онъ голосъ: — эту дробь надо помножить на эту. Ну-съ, а для этого нужно числителя первой дроби пом...

— Идите чай пить! — кричитъ Пелагея Ивановна.

Павелъ Васильичъ и его сынъ бросаютъ ариѳметику и идутъ пить чай. А въ столовой уже сидитъ Пелагея Ивановна, и съ ней тетенька, которая всегда молчитъ, и другая тетенька, глухонѣмая, и бабушка Марковна — повитуха, принимавшая Степу. Самоваръ шипитъ и пускаетъ паръ, отъ котораго на потолкѣ ложатся большія, волнистыя тѣни. Изъ передней, задравъ вверхъ хвосты, входятъ кошки, заспанныя, меланхолическія...

— Пей, Марковна, съ вареньемъ, — обращается Пелагея Ивановна къ повитухѣ: — завтра постъ великій, наѣдайся сегодня!

Марковна набираетъ полную ложечку варенья, нерѣшительно, словно порохъ, подноситъ ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ѣстъ; тотчасъ же ея лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, какъ само варенье.

— Варенье очень даже отличное, — говоритъ она. — Вы, матушка, Пелагея Ивановна, сами изволили варить?

— Сама. Кому же другому? Я все сама. Степочка, я тебѣ не жидко чай налила? Ахъ, ты уже выпилъ! Давай, ангелочекъ мой, я тебѣ еще налью.

— Такъ вотъ этотъ самый Мамахинъ, братецъ ты мой, — продолжаетъ Павелъ Васильичъ, поворачиваясь къ Степѣ: — терпѣть не могъ учителя французскаго языка. «Я, кричитъ, дворянинъ и не позволю, чтобъ французъ надо мною старшимъ былъ! Мы, кричитъ, въ двѣнадцатомъ году французовъ били!» Ну, его, конечно, пороли... си-ильно пороли! А онъ, бывало, какъ замѣтитъ, что его пороть хотятъ, прыгъ въ окно и былъ таковъ! Этакъ дней пять — шесть потомъ

въ гимназію не показывается. Мать приходитъ къ директору, молитъ Христомъ-Богомъ: «Господинъ директоръ, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посѣките его, подлеца!» А директоръ ей: «Помилуйте, сударыня, у насъ съ нимъ пять швейцаровъ не справятся!»

— Господи, уродятся же такіе разбойники! — шепчетъ Пелагея Ивановна, съ ужасомъ глядя на мужа. — Каково-то бѣдной матери!

Наступаетъ молчаніе. Степа громко зѣваетъ и разсматриваетъ на чайницѣ китайца, котораго онъ видѣлъ ужъ тысячу разъ. Обѣ тетеньки и Марковна осторожно хлебаютъ изъ блюдечекъ. Въ воздухѣ тишина и духота отъ печки... На лицахъ и въ движеніяхъ лѣнь, пресыщеніе, когда желудки до верха полны, а ѣсть все-таки нужно. Убираются самоваръ, чашки и скатерть, а семья все сидитъ за столомъ... Пелагея Ивановна то и дѣло вскакиваетъ и съ выраженіемъ ужаса на лицѣ убѣгаетъ въ кухню, чтобы поговорить тамъ съ кухаркой насчетъ ужина. Обѣ тетеньки сидятъ въ прежнихъ позахъ, неподвижно, сложивъ ручки на груди, и дремлютъ, поглядывая своими оловянными глазками на лампу. Марковна каждую минуту икаетъ и спрашиваетъ:

— Отчего это я икаю? Кажется, и не кушала ничего такого... и словно бы не пила... Икъ!

Павелъ Васильичъ и Степа сидятъ рядомъ, касаясь другъ друга головами, и, нагнувшись къ столу, разсматриваютъ «Ниву» 1878 года.

— «Памятникъ Леонардо-де-Винчи передъ галлереей Виктора Эмануила въ Миланѣ». Ишь ты... Въ родѣ какъ бы тріумфальныя ворота... Кавалеръ съ дамой... А тамъ вдали человѣчки...

— Этотъ человѣчекъ похожъ на нашего гимназиста Нискубина, — говоритъ Степа.

— Перелистывай дальше... «Хоботокъ обыкновенной мухи, видимый въ микроскопъ». Вотъ такъ хоботокъ! Ай да муха! Что же, братъ, будетъ, ежели клопа подъ микроскопомъ поглядѣть! Вотъ гадость!

Старинные часы въ залѣ сипло, точно простуженные, не бьютъ, а кашляютъ ровно десять разъ. Въ столовую входитъ кухарка Анна и — бухъ хозяину въ ноги!

— Простите Христа-ради, Павелъ Васильичъ! — говоритъ она, поднимаясь вся красная.

— Прости и ты меня Христа-ради, — отвѣчаетъ Павелъ Васильичъ равнодушно.

Анна тѣмъ же порядкомъ подходитъ къ остальнымъ членамъ семьи, бухаетъ въ ноги и проситъ прощенья. Минуетъ она одну только Марковну, которую, какъ неблагородную, считаетъ недостойной поклоненія.

Проходитъ еще полчаса въ тишинѣ и спокойствіи... «Нива» лежитъ уже на диванѣ, и Павелъ Васильичъ, поднявъ вверхъ палецъ, читаетъ наизусть латинскіе стихи, которые онъ выучилъ когда-то въ дѣтствѣ. Степа глядитъ на его палецъ съ обручальнымъ кольцомъ, слушаетъ непонятную рѣчь и дремлетъ; третъ кулаками глаза, а они у него еще больше слипаются.

— Пойду спать... — говоритъ онъ, потягиваясь и зѣвая.

— Что? Спать? — спрашиваетъ Пелагея Ивановна. — А заговляться?

— Я не хочу.

— Да ты въ своемъ умѣ? — пугается мамаша. — Какъ же можно не заговляться? Вѣдь во весь постъ не дадутъ тебѣ скоромнаго!

Павелъ Васильичъ тоже пугается.

— Да, да, братъ, — говоритъ онъ. — Семь нѣдѣль мать не дастъ скоромнаго. Нельзя, надо заговѣться.

— Ахъ, да мнѣ спать хочется! — капризничаетъ Степа.

— Въ такомъ случаѣ накрывайте скорѣй на столъ! — кричитъ встревоженно Павелъ Васильичъ. — Анна, что ты тамъ, дура, сидишь? Иди поскорѣй накрывай на столъ!

Пелагея Ивановна всплескиваетъ руками и бѣжитъ въ кухню съ такимъ выраженіемъ, какъ будто въ домѣ пожаръ.

— Скорѣй! Скорѣй! — слышится по всему дому. — Степочка спать хочетъ! Анна! Ахъ Боже мой, что же это такое? Скорѣй!

Черезъ пять минутъ столъ уже накрытъ. Кошки опять, задравъ вверхъ хвосты, выгибая спины и потягиваясь, сходятся въ столовую... Семья начинаетъ ужинать. Ѣсть никому не хочется, у всѣхъ желудки переполнены, но ѣсть все-таки нужно.

# ЖИТЕЙСКАЯ МЕЛОЧЬ.

Николай Ильичъ Бѣляевъ, петербургскій домовладѣлецъ, бывающій часто на скачкахъ, человѣкъ молодой, лѣтъ тридцати двухъ, упитанный, розовый, какъ-то подъ вечеръ зашелъ къ госпожѣ Ирниной, Ольгѣ Ивановнѣ, съ которою онъ жилъ, или, по его выраженію, тянулъ скучный и длинный романъ. И въ самомъ дѣлѣ, первыя страницы этого романа, интересныя и вдохновенныя, давно уже были прочтены; теперь страницы все тянулись и тянулись, не представляя ничего ни новаго, ни интереснаго.

Не заставъ Ольги Ивановны дома, мой герой прилегъ въ гостиной на кушетку и принялся ждать.

— Добрый вечеръ, Николай Ильичъ! — услышалъ онъ дѣтскій голосъ. — Мама сейчасъ придетъ. Она пошла съ Соней къ портнихѣ.

Въ той же гостиной на диванѣ лежалъ сынъ Ольги Ивановны Алеша, мальчикъ лѣтъ восьми, стройный, выхоленный, одѣтый по картинкѣ въ бархатную курточку и длинные, черные чулки. Онъ лежалъ на атласной подушкѣ и, очевидно, подражая акробату, котораго недавно видѣлъ въ циркѣ, задиралъ вверхъ то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящныя ноги, онъ пускалъ въ ходъ руки, или же порывисто вскакивалъ и становился на четвереньки, пытаясь стать вверхъ ногами. Все это продѣлывалъ онъ съ самымъ серьезнымъ лицомъ, мученически пыхтя, точно и самъ не радъ былъ, что Богъ далъ ему такое безпокойное тѣло.

— А, здравствуй, мой другъ! — сказалъ Бѣляевъ. — Это ты? А я тебя и не замѣтилъ. Мама здорова?

Алеша, взявшійся правой рукой за носокъ лѣвой ноги и принявшій самую неестественную позу, перевернулся, вскочилъ и выглянулъ изъ-за большого, мохнатаго абажура на Бѣляева.

— Какъ вамъ сказать? — сказалъ онъ и пожалъ плечами. — Вѣдь мама въ сущности никогда не бываетъ здорова. Она вѣдь женщина, а у женщинъ, Николай Ильичъ, всегда что-нибудь болитъ.

Бѣляевъ отъ нечего-дѣлать сталъ разсматривать лицо Алеши. Раньше онъ во все время, пока былъ знакомъ съ Ольгой Ивановной, ни разу не обратилъ вниманія на мальчика и совершенно не замѣчалъ его существованія: торчитъ передъ глазами мальчикъ, а къ чему онъ тутъ, какую роль играетъ — и думать объ этомъ какъ-то не хочется.

Въ вечернихъ сумеркахъ лицо Алеши съ его блѣднымъ лбомъ и черными, не мигающими глазами неожиданно напомнило Бѣляеву Ольгу Ивановну, какою она была на первыхъ страницахъ романа. И ему захотѣлось приласкать мальчика.

— Поди-ка сюда, клопъ!—сказалъ онъ.—Дай-ка, я на тебя поближе погляжу.

Мальчикъ прыгнулъ съ дивана и подбѣжалъ къ Бѣляеву.

— Ну? — началъ Николай Ильичъ, кладя руку на его тощее плечо.—Что? Живешь?

— Какъ вамъ сказать? Прежде жилось гораздо лучше.

— Почему?

— Очень просто! Прежде мы съ Соней занимались только музыкой и чтеніемъ, а теперь намъ французскіе стихи задаютъ. А вы недавно стриглись!

— Да, недавно.

— То-то я замѣчаю. У васъ бородка стала короче. Позвольте мнѣ за нее потрогать... Не больно?

— Нѣтъ, не больно.

— Отчего это, когда за одинъ волосокъ тянешь, то больно, а когда тянешь за много волосъ, то ни капельки не больно? Ха, ха! А знаете, вы напрасно бакеновъ не носите. Тутъ вотъ пробрить, а съ боковъ... вотъ тутъ вотъ оставить волосы...

Мальчикъ прижался къ Бѣляеву и сталъ играть его цѣпочкой.

— Когда я поступлю въ гимназію, — говорилъ онъ:— мама мнѣ купитъ часы. Я ее попрошу, чтобы она мнѣ такую же цѣпочку купила... Ка-кой ме-даль-онъ! У папы точно такой же медальонъ, только у васъ тутъ полосочки, а у него буквы... Въ серединкѣ у него портретъ мамы. У папы теперь другая цѣпочка, не кольцами, а лентой...

— Откуда ты знаешь? Развѣ ты видаешь папу?

— Я? Мм... нѣтъ! Я...

Алеша покраснѣлъ и въ сильномъ смущеніи, уличенный во лжи, сталъ усердно царапать ногтемъ медальонъ. Бѣляевъ пристально поглядѣлъ ему въ лицо и спросилъ:

— Видаешь папу?

— Н...нѣтъ!..

— Нѣтъ, ты откровенно, по совѣсти... По лицу вѣдь вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, такъ нечего ужъ тутъ вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески!

Алеша задумался.

— А вы не скажете мамѣ?—спросилъ онъ.

— Ну вотъ еще!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Побожитесь!

— Ахъ, несносный какой! За кого ты меня принимаешь!

Алеша оглянулся, сдѣлалъ большіе глаза и зашепталъ:

— Только ради Бога, не говорите мамѣ... Вообще никому не говорите, потому что тутъ секретъ. Не дай Богъ, узнаетъ мама, то достанется и мнѣ, и Сонѣ, и Пелагеѣ... Ну, слушайте. Съ папой я и Соня видимся каждый вторникъ и пятницу. Когда Пелагея водитъ насъ передъ обѣдомъ гулять, то мы заходимъ въ кондитерскую Апфеля, а тамъ ужъ насъ ждетъ папа... Онъ всегда въ отдѣльной комнаткѣ сидитъ, гдѣ, знаете, этакій мраморный столъ и пепельница въ видѣ гуся безъ спины...

— Что же вы тамъ дѣлаете?

— Ничего! Сначала здороваемся, потомъ всѣ садимся за столикъ, и папа начинаетъ угощать насъ кофеемъ и пирожками. Соня, знаете, ѣстъ пирожки съ мясомъ, а я терпѣть не могу съ мясомъ! Я люблю съ капустой и съ

яйцами. Мы такъ наѣдаемся, что потомъ за обѣдомъ, чтобы мама не замѣтила, мы стараемся ѣсть какъ можно больше.

— О чемъ же вы тамъ говорите?

— Съ папой? Обо всемъ. Онъ насъ цѣлуетъ, обнимаетъ, разсказываетъ разныя смѣшныя остроты. Знаете, онъ говоритъ, что когда мы выростемъ, то онъ возьметъ насъ къ себѣ жить. Соня не хочетъ, а я согласенъ. Конечно, безъ мамы будетъ скучно, но я вѣдь буду ей письма писать! Странное дѣло, можно будетъ даже по праздникамъ къ ней съ визитомъ приходить—не правда ли? Еще папа говоритъ, что онъ мнѣ лошадь купитъ. Добрѣйшій человѣкъ! Я не знаю, зачѣмъ это мама не позоветъ его къ себѣ жить и запрещаетъ намъ видаться съ нимъ. Вѣдь онъ очень любитъ маму. Всегда онъ насъ спрашиваетъ, какъ ея здоровье, что она дѣлаетъ. Когда она была больна, то онъ схватилъ себя за голову вотъ этакъ и... и все бѣгаетъ, бѣгаетъ. Все проситъ насъ, чтобъ мы слушались ея и почитали. Послушайте, правда, что мы несчастные?

— Гм... Почему же?

— Это папа говоритъ. Вы, говоритъ, несчастныя дѣти. Даже слушать его странно. Вы, говоритъ, несчастные, я несчастный и мама несчастная. Молитесь, говоритъ, Богу и за себя, и за нее.

Алеша остановилъ свой взглядъ на чучелѣ птицы и задумался.

— Такъ-съ... — промычалъ Бѣляевъ. — Такъ вотъ вы, значитъ, какъ. Въ кондитерскихъ конгрессы сочиняете. И мама не знаетъ?

— Нѣ-ѣтъ... Откуда же ей знать? Пелагея вѣдь ни за что не скажетъ. А позавчера папа насъ грушами угощалъ. Сладкія, какъ варенье! Я двѣ съѣлъ.

— Гм... Ну, а того... послушай, про меня папа ничего не говоритъ?

— Про васъ? Какъ вамъ сказать?

Алеша пытливо поглядѣлъ въ лицо Бѣляева и пожалъ плечами.

— Особеннаго ничего не говоритъ.

— Примѣрно, что говоритъ?

— А вы не обидитесь?

— Ну, вотъ еще! Развѣ онъ меня браннтъ?

— Онъ не бранитъ, но, знаете ли... сердится на васъ. Онъ говоритъ, что черезъ васъ мама несчастна и что вы... погубили маму. Вѣдь онъ какой-то странный! Я ему растолковываю, что вы добрый, никогда не кричите на маму, а онъ только головой качаетъ.

— Такъ-таки и говоритъ, что я ее погубилъ?

— Да. Вы не обижайтесь, Николай Ильичъ!

Бѣляевъ поднялся, постоялъ и заходилъ по гостиной.

— Это и странно, и... смѣшно! — забормоталъ онъ, пожимая плечами и насмѣшливо улыбаясь. — Самъ кругомъ виноватъ, и я же погубилъ, а? Скажите, какой невинный барашекъ. Такъ-таки онъ тебѣ и говорилъ, что я погубилъ твою мать?

— Да, но... вѣдь вы же сказали, что не будете обижаться!

— Я не обижаюсь и... и не твое дѣло! Нѣтъ, это... это даже смѣшно! Я попалъ, какъ куръ во щи, и я же оказываюсь виноватымъ!

Послышался звонокъ. Мальчикъ рванулся съ мѣста и выбѣжалъ вонъ. Черезъ минуту въ гостиную вошла дама съ маленькой дѣвочкой — это была Ольга Ивановна, мать Алеши. За нею вприпрыжку, громко напѣвая и болтая руками, слѣдовалъ Алеша. Бѣляевъ кивнулъ головой и продолжалъ ходить.

— Конечно, кого же теперь обвинять, какъ не меня?— бормоталъ онъ, фыркая. — Онъ правъ! Онъ оскорбленный мужъ!

— О чемъ ты это?—спросила Ольга Ивановна.

— О чемъ?.. А вотъ послушай-ка, какія штуки проповѣдуетъ твой благовѣрный! Оказывается, что я подлецъ и злодѣй, я погубилъ и тебя, и дѣтей. Всѣ вы несчастные, и одинъ только я ужасно счастливъ! Ужасно, ужасно счастливъ!

— Я не понимаю, Николай! Что такое?

— А вотъ послушай сего юнаго синьора! — сказалъ Бѣляевъ и указалъ на Алешу.

Алеша покраснѣлъ, потомъ вдругъ поблѣднѣлъ, и все лицо его перекосило отъ испуга.

— Николай Ильичъ! — громко прошепталъ онъ.—Тссс!

Ольга Ивановна удивленно поглядѣла на Алешу, на Бѣляева, потомъ опять на Алешу.

— Спроси-ка! — продолжалъ Бѣляевъ. — Твоя Пелагея, этакая дура набитая, водитъ ихъ по кондитерскимъ и устраиваетъ тамъ свиданія съ папашенькой. Но не въ этомъ дѣло, дѣло въ томъ, что папашенька страдалецъ, а я злодѣй, я негодяй, разбившій вамъ обоимъ жизнь...

— Николай Ильичъ! — простоналъ Алеша. — Вѣдь вы дали честное слово!

— Э, отстань!—махнулъ рукой Бѣляевъ.—Тутъ поважнѣе всякихъ честныхъ словъ. Меня лицемѣріе возмущаетъ, ложь!

— Не понимаю!—проговорила Ольга Ивановна, и слезы заблестѣли у нея на глазахъ.—Послушай, Лелька,—обратилась она къ сыну:—ты видаешься съ отцомъ?

Алеша не слышалъ ея и съ ужасомъ глядѣлъ на Бѣляева.

— Не можетъ быть! — сказала мать. — Пойду допрошу Пелагею.

Ольга Ивановна вышла.

— Послушайте, вѣдь вы честное слово дали!—проговорилъ Алеша, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Бѣляевъ махнулъ на него рукой и продолжалъ ходить. Онъ былъ погруженъ въ свою обиду и уже попрежнему не замѣчалъ присутствія мальчика. Ему, большому и серьезному человѣку, было совсѣмъ не до мальчиковъ. А Алеша усѣлся въ уголъ и съ ужасомъ разсказывалъ Сонѣ, какъ его обманули. Онъ дрожалъ, заикался, плакалъ; это онъ первый разъ въ жизни лицомъ къ лицу такъ грубо столкнулся съ ложью; ранѣе же онъ не зналъ, что на этомъ свѣтѣ, кромѣ сладкихъ грушъ, пирожковъ и дорогихъ часовъ, существуетъ еще и многое другое, чему нѣтъ названія на дѣтскомъ языкѣ.

# МАСКА.

Въ Х—омъ общественномъ клубѣ съ благотворительной цѣлью давали балъ-маскарадъ или, какъ его называли мѣстныя барышни, балъ-парей.

Было 12 часовъ ночи. Не танцующіе интеллигенты безъ масокъ — ихъ было пять душъ — сидѣли въ читальнѣ за большимъ столомъ и, уткнувъ носы и бороды въ газеты, читали, дремали и, по выраженію мѣстнаго корреспондента столичныхъ газетъ, очень либеральнаго господина,—«мыслили».

Изъ общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дѣло пробѣгали лакеи. Въ самой же читальнѣ царила глубокая тишина.

— Здѣсь, кажется, удобнѣе будетъ!—вдругъ послышался низкій, придушенный голосъ, который, какъ казалось, выходилъ изъ печки.—Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и въ читальню вошелъ широкій, приземистый мужчина, одѣтый въ кучерской костюмъ и шляпу съ павлиньими перьями, въ маскѣ. За нимъ слѣдомъ вошли двѣ дамы въ маскахъ и лакей съ подносомъ. На подносѣ была пузатая бутыль съ ликеромъ, бутылки три краснаго и нѣсколько стакановъ.

— Сюда! Здѣсь и прохладнѣе будетъ, — сказалъ мужчина.—Становь подносъ на столъ... Садитесь, мамзели! Жё ву при а ля тримонтранъ! А вы, господа, подвиньтесь... нечего тутъ!

Мужчина покачнулся и смахнулъ рукой со стола нѣсколько журналовъ.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тутъ съ газетами да съ политикой... Бросайте!

— Я просилъ бы васъ потише, — сказалъ одинъ изъ интеллигентовъ, поглядѣвъ на маску черезъ очки. — Здѣсь читальня, а не буфетъ... Здѣсь не мѣсто пить.

— Почему не мѣсто? Нешто столъ качается, или потолокъ обвалиться можетъ? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будетъ съ васъ; и такъ ужъ умны очень, да и глаза попортишь, а главнѣе всего—я не желаю, и все тутъ.

Лакей поставилъ подносъ на столъ и, перекинувъ салфетку черезъ локоть, сталъ у двери. Дамы тотчасъ же принялись за красное.

— И какъ это есть такіе умные люди, что для нихъ газеты лучше этихъ напитковъ, — началъ мужчина съ павлиньими перьями, наливая себѣ ликеру. — А по моему мнѣнію, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вамъ выпить не на что. Такъ ли я говорю? Ха-ха!.. Читаютъ! Ну, а о чемъ тамъ написано? Господинъ въ очкахъ! Про какіе факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будетъ тебѣ кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина съ павлиньими перьями приподнялся и вырвалъ газету изъ рукъ у господина въ очкахъ. Тотъ поблѣднѣлъ, потомъ покраснѣлъ и съ удивленіемъ поглядѣлъ на прочихъ интеллигентовъ, тѣ—на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнулъ онъ. — Вы обращаете читальню въ кабакъ, вы позволяете себѣ безчинствовать, вырывать изъ рукъ газеты! Я не позволю! Вы не знаете, съ кѣмъ имѣете дѣло, милостивый государь! Я директоръ банка Жестяковъ!..

— А плевать мнѣ, что ты—Жестяковъ! А газетѣ твоей вотъ какая честь...

Мужчина поднялъ газету и изорвалъ ее въ клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормоталъ Жестяковъ, обомлѣвъ.—Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они разсердившись, — засмѣялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вотъ что, господа почтенные! Шутки въ сторону, разговаривать съ

вами мнѣ не охотно... Потому, какъ я желаю остаться тутъ съ мамзелями одинъ, и желаю себѣ тутъ удовольствіе доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйте-съ! Господинъ Белебухинъ, выходи къ свиньямъ собачьимъ! Что рыло наморщилъ? Говорю выходи, стало-быть, и выходи! Живо у меня, а то гляди, не ровенъ часъ, какъ бы въ шею не влетѣло!

— То-есть, какъ же это?—спросилъ казначей сиротскаго суда Белебухинъ, краснѣя и пожимая плечами. — Я даже не понимаю... Какой-то нахалъ врывается сюда и... вдругъ этакія вещи!

— Какое это такое слово нахалъ? — крикнулъ мужчина съ павлиньими перьями, разсердившись, и стукнулъ кулакомъ по столу, такъ что на подносѣ запрыгали стаканы.— Кому ты говоришь? Ты думаешь, какъ я въ маскѣ, такъ ты можешь мнѣ разныя слова говорить? Перецъ ты этакій! Выходи, коли говорю! Директоръ банка, проваливай по добру по здорову! Всѣ уходите, чтобъ ни одной шельмы тутъ не оставалось! Ай-да, къ свиньямъ собачьимъ!

— А вотъ мы сейчасъ увидимъ! — сказалъ Жестяковъ, у котораго даже очки вспотѣли отъ волненія. — Я покажу вамъ! Эй, позови-ка сюда дежурнаго старшину!

Черезъ минуту вошелъ маленькій рыженькій старшина съ голубой ленточкой на лацканѣ, запыхавшійся отъ танцевъ.

— Прошу васъ выйти! — началъ онъ.— Здѣсь не мѣсто пить! Пожалуйте въ буфетъ!

— Ты откуда это выскочилъ? — спросилъ мужчина въ маскѣ.—Нешто я тебя звалъ?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вотъ что, милый человѣкъ: даю тебѣ минуту сроку... Потому, какъ ты старшина и главное лицо, то вотъ выведи этихъ артистовъ подъ ручки. Мамзелямъ моимъ не ндравится, ежели здѣсь есть кто посторонній... Онѣ стѣсняются, а я за свои деньги желаю, чтобы онѣ были въ натуральномъ видѣ.

— Очевидно, этотъ самодуръ не понимаетъ, что онъ не въ хлѣву! —крикнулъ Жестяковъ.—Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстратъ Спиридонычъ!—понеслось по клубу.—Гдѣ Евстратъ Спиридонычъ?

Евстратъ Спиридонычъ, старикъ въ полицейскомъ мундирѣ, не замедлилъ явиться.

— Прошу васъ выйти отсюда! — прохрипѣлъ онъ, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.

— А вѣдь испугалъ! — проговорилъ мужчина и захохоталъ отъ удовольствія.—Ей-ей, испугалъ! Бываютъ же такія страсти, побей меня Богъ! Усы какъ у кота, глаза вытаращилъ... Хе-хе-хе!

— Прошу не разсуждать! — крикнулъ изо всей силы Евстратъ Спиридонычъ и задрожалъ.—Выйди вонъ! Я прикажу тебя вывести!

Въ читальнѣ поднялся невообразимый шумъ. Евстратъ Спиридонычъ, красный, какъ ракъ, кричалъ, стуча ногами. Жестяковъ кричалъ. Белебухинъ кричалъ. Кричали всѣ интеллигенты, но голоса всѣхъ ихъ покрывалъ низкій, густой, придушенный басъ мужчины въ маскѣ. Танцы, благодаря всеобщей сумятицѣ, прекратились, и публика повалила изъ залы къ читальнѣ.

Евстратъ Спиридонычъ для внушительности позвалъ всѣхъ полицейскихъ, бывшихъ въ клубѣ, и сѣлъ писать протоколъ.

— Пиши, пиши,— говорила маска, тыча пальцемъ ему подъ перо.—Теперь что же со мной, съ бѣднымъ, будетъ? Бѣдная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну, что жъ? Готовъ протоколъ? Всѣ расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Разъ... два... три!!..

Мужчина поднялся, вытянулся во весь ростъ и сорвалъ съ себя маску. Открывъ свое пьяное лицо и поглядѣвъ на всѣхъ, любуясь произведеннымъ эффектомъ, онъ упалъ въ кресло и радостно захохоталъ. А впечатлѣніе, дѣйствительно, произвелъ онъ необыкновенное. Всѣ интеллигенты растерянно переглянулись и поблѣднѣли, нѣкоторые почесали затылки. Евстратъ Спиридонычъ крякнулъ, какъ человѣкъ, сдѣлавшій нечаянно большую глупость.

Въ буянѣ всѣ узнали мѣстнаго милліонера, фабриканта, потомственнаго почетнаго гражданина Пятигорова, извѣстнаго своими скандалами, благотворительностью и, какъ не разъ говорилось въ мѣстномъ вѣстникѣ,—любовью къ просвѣщенію.

— Что жъ, уйдете, или нѣтъ? — спросилъ Пятигоровъ послѣ минутнаго молчанія.

Интеллигенты, молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочкахъ изъ читальни, и Пятигоровъ заперъ за ними двери.

— Ты же вѣдь зналъ, что это Пятигоровъ! — хрипѣлъ черезъ минуту Евстратъ Спиридонычъ вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившаго въ читальню вино. — Отчего ты молчалъ?

— Не велѣли сказывать-съ!

— Не велѣли сказывать... Какъ засажу я тебя, анаѳему, на мѣсяцъ, такъ тогда будешь знать «не велѣли сказывать». Вонъ!!.. А вы-то хороши, господа, — обратился онъ къ интеллигентамъ. — Бунтъ подняли! Не могли выйти изъ читальни на десять минутокъ! Вотъ теперь и расхлебывайте кашу. Эхъ, господа, господа... Не люблю, ей-Богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то не доброе... Жены и дочери ихъ, узнавъ, что Пятигоровъ «обиженъ» и сердится, притихли и стали расходиться по домамъ. Танцы прекратились.

Въ два часа изъ читальни вышелъ Пятигоровъ; онъ былъ пьянъ и пошатывался. Войдя въ залу, онъ сѣлъ около оркестра и задремалъ подъ музыку, потомъ печально склонилъ голову и захрапѣлъ.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантамъ. — Тсс!.. Егоръ Нилычъ спитъ...

— Не прикажете ли васъ домой проводить, Егоръ Нилычъ? — спросилъ Белебухинъ, нагнувшись къ уху милліонера.

Пятигоровъ сдѣлалъ губами такъ, точно хотѣлъ сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли васъ домой проводить,—повторилъ Белебухинъ:—или сказать, чтобъ экипажикъ подали?

— А? Ково? Ты... чево тебѣ?

— Проводить домой-съ... Баиньки пора...

— До-домой желаю... Прроводи!

Белебухинъ просіялъ отъ удовольствія и началъ поднимать Пятигорова. Къ нему подскочили другіе интеллигенты и, пріятно улыбаясь, подняли потомственнаго почетнаго гражданина и осторожно повели къ экипажу.

— Вѣдь этакъ одурачить цѣлую компанію можетъ только артистъ, талантъ,—весело говорилъ Жестяковъ, подсаживая его.—Я буквально пораженъ, Егоръ Нилычъ! До сихъ поръ хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочемъ! Ха-ха! Вѣрите? и въ театрахъ никогда такъ не смѣялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этотъ незапамятный вечеръ!

Проводивъ Пятигорова, интеллигенты повеселѣли и успокоились!

— Мнѣ руку подалъ на прощанье,—проговорилъ Жестяковъ, очень довольный.—Значитъ, ничего, не сердится...

— Дай-то Богъ! — вздохнулъ Евстратъ Спиридонычъ. — Негодяй, подлый человѣкъ, но вѣдь—благодѣтель!.. Нельзя!..

# ПЕРЕПОЛОХЪ.

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курсъ институтка, вернувшись съ прогулки въ домъ Кушкиныхъ, гдѣ она жила въ гувернанткахъ, застала необыкновенный переполохъ. Отворявшій ей швейцаръ Михайло былъ взволнованъ и красенъ, какъ ракъ.

Сверху доносился шумъ.

«Вѣроятно, съ хозяйкой припадокъ...—подумала Машенька:—или съ мужемъ поссорилась»...

Въ передней и въ коридорѣ встрѣтила она горничныхъ. Одна горничная плакала. Затѣмъ Машенька видѣла, какъ изъ дверей ея комнаты выбѣжалъ самъ хозяинъ Николай Сергѣичъ, маленькій, еще не старый человѣкъ съ обрюзгшимъ лицомъ и съ большой плѣшью. Онъ былъ красенъ. Его передергивало... Не замѣчая гувернантки, онъ прошелъ мимо нея и, поднимая вверхъ руки, воскликнулъ:

— О, какъ это ужасно! Какъ безтактно! Какъ глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла въ свою комнату, и тутъ ей въ первый разъ въ жизни пришлось испытать во всей остротѣ чувство, которое такъ знакомо людямъ зависимымъ, безотвѣтнымъ, живущимъ на хлѣбахъ у богатыхъ и знатныхъ. Въ ея комнатѣ дѣлали обыскъ. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама съ густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, съ едва замѣтными усиками и съ красными руками, лицомъ и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ея стола и вкладывала обратно въ рабочую сумку клубки шерсти,

лоскутки, бумажки... Очевидно, появленіе гувернантки было для нея неожиданно, такъ какъ, оглянувшись и увидѣвъ ея блѣдное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon, я... я нечаянно разсыпала... зацѣпила рукавомъ...

И сказавъ еще что-то, мадамъ Кушкина зашуршала шлейфомъ и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодѣла отъ страха... Что Федосья Васильевна искала въ ея сумкѣ? Если дѣйствительно, какъ она говоритъ, она нечаянно зацѣпила рукавомъ и разсыпала, то зачѣмъ же выскочилъ изъ комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергѣичъ? Зачѣмъ у стола слегка выдвинутъ одинъ ящикъ? Копилка, въ которую гувернантка прятала гривенники и старыя марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумѣли, хотя и исцарапали весь замокъ. Этажерка съ книгами, поверхность стола, постель — все носило на себѣ свѣжіе слѣды обыска. И въ корзинѣ съ бѣльемъ тоже. Бѣлье было сложено аккуратно, но не въ томъ порядкѣ, въ какомъ оставила его Машенька, уходя изъ дому. Обыскъ, значитъ, былъ настоящій, самый настоящій, но къ чему онъ, зачѣмъ? Что случилось? Машенька вспомнила волненіе швейцара, переполохъ, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имѣло ли все это связи съ только-что бывшимъ у нея обыскомъ? Не замѣшана ли она въ какомъ-нибудь страшномъ дѣлѣ? Машенька поблѣднѣла и вся холодная опустилась на корзину съ бѣльемъ.

Въ комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачѣмъ это меня... обыскивали?— спросила у нея гувернантка.

— У барыни пропала брошка въ двѣ тысячи...—сказала Лиза.

— Да, но зачѣмъ же меня обыскивать?

— Всѣхъ, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Насъ раздѣли всѣхъ до-гола и обыскивали... А я, барышня, вотъ какъ передъ Богомъ... Не то, чтобъ ихнюю брошку, но даже къ туалету близко не подходила. Я и въ полиціи то же скажу.

— Но... зачѣмъ же меня обыскивать?—продолжала недоумѣвать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срамъ! Николай Сергѣичъ только глядитъ да кудахчетъ, какъ курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У васъ ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, такъ вамъ и бояться нечего.

— Но вѣдь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь отъ негодованія.—Вѣдь это подлость, низость! Какое она имѣла право подозрѣвать меня и рыться въ моихъ вещахъ?

— Въ чужихъ людяхъ живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а все же... какъ бы прислуга... Это не то, что у папаши съ мамашей жить...

Машенька повалилась въ постель и горько зарыдала. Никогда еще надъ нею не совершали такого насилія, никогда еще ее такъ глубоко не оскорбляли, какъ теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную дѣвицу, дочь учителя, заподозрили въ воровствѣ, обыскали, какъ уличную женщину! Выше такого оскорбленія, кажется, и придумать нельзя. И къ этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страхъ: что теперь будетъ!? Въ голову ея полѣзли всякія несообразности. Если ее могли заподозрить въ воровствѣ, то, значитъ, могутъ теперь арестовать, раздѣть догола и обыскать, потомъ вести подъ конвоемъ по улицѣ, засадить въ темную, холодную камеру съ мышами и мокрицами, точь-въ-точь въ такую, въ какой сидѣла княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ея живутъ далеко въ провинціи; чтобы пріѣхать къ ней, у нихъ нѣтъ денегъ. Въ столицѣ она одна, какъ въ пустынномъ полѣ, безъ родныхъ и знакомыхъ. Что хотятъ, то и могутъ съ ней сдѣлать.

«Побѣгу ко всѣмъ судьямъ и защитникамъ... — думала Машенька, дрожа. — Я объясню имъ, присягну... Они повѣрятъ, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нея въ корзинѣ подъ простынями лежатъ сладости, которыя она, по старой институтской привычкѣ, прятала за обѣдомъ въ карманъ и уносила къ себѣ въ комнату. Отъ мысли, что эта ея маленькая тайна уже извѣстна хозяевамъ, ее бросило въ жаръ, стало стыдно, и отъ всего этого — отъ страха, стыда, отъ обиды

началось сильное сердцебіеніе, которое отдавало въ виски, въ руки, глубоко въ животъ.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нѣтъ?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрымъ полотенцемъ и пошла въ столовую. Тамъ уже начали обѣдать... За однимъ концомъ стола сидѣла Федосья Васильевна, важная, съ тупымъ, серьезнымъ лицомъ, за другимъ—Николай Сергѣичъ. По сторонамъ сидѣли гости и дѣти. Обѣдать подавали два лакея во фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ. Всѣ знали, что въ домѣ переполохъ, что хозяйка въ горѣ, и молчали. Слышны были только жеванье и стукъ ложекъ о тарелки.

Разговоръ начала сама хозяйка.

— Что у насъ къ третьему блюду? — спросила она у лакея томнымъ, страдальческимъ голосомъ.

— Эстуржонъ аля рюссъ! — отвѣтилъ лакей.

— Это, Феня, я заказалъ...—поторопился сказать Николай Сергѣичъ. — Рыбы захотѣлось. Если тебѣ не нравится, ma chère, то пусть не подаютъ. Я вѣдь это такъ... между прочимъ...

Федосья Васильевна не любила кушаній, которыя заказывала не она сама, и теперь глаза у нея наполнились слезами.

— Ну, перестанемъ волноваться,—сказалъ сладкимъ голосомъ Мамиковъ, ея домашній докторъ, слегка касаясь ея руки и улыбаясь также сладко. — Мы и безъ того достаточно нервны. Забудемъ о броши! Здоровье дороже двухъ тысячъ!

— Мнѣ не жалко двухъ тысячъ! — отвѣтила хозяйка, и крупная слеза потекла по ея щекѣ. — Меня возмущаетъ самый фактъ! Я не потерплю въ своемъ домѣ воровъ. Мнѣ не жаль, мнѣ ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Такъ платятъ мнѣ за мою доброту...

Всѣ глядѣли въ свои тарелки, но Машенькѣ показалось, что послѣ словъ хозяйки на нее всѣ взглянули. Комокъ вдругъ подступилъ къ горлу, она заплакала и прижала платокъ къ лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болитъ. Уйду.

И она встала изъ-за стола, неловко гремя стуломъ и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Богъ знаетъ что! — проговорилъ Николай Сергѣичъ, морщась. — Нужно было дѣлать у нея обыскъ! Какъ это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна: — но развѣ ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо вѣрю этимъ ученымъ бѣднячкамъ.

— Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имѣешь никакого права дѣлать обыски.

— Я не знаю вашихъ законовъ. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вотъ и все. И я найду эту брошку!—она ударила по тарелкѣ вилкой, и глаза у нея гнѣвно сверкнули. — А вы ѣшьте и не вмѣшивайтесь въ мои дѣла!

Николай Сергѣевичъ кротко опустилъ глаза и вздохнулъ. Машенька между тѣмъ, придя къ себѣ въ комнату, повалилась въ постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желаніе пойти и отхлопать по щекамъ эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала въ подушку и мечтала о томъ, какъ бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею въ лицо этой самодуркѣ. Если бы Богъ далъ, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по міру и поняла бы весь ужасъ нищеты и подневольнаго состоянія и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наслѣдство, купить коляску и прокатить съ шумомъ мимо ея оконъ, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, въ дѣйствительности же оставалось только одно — поскорѣе уйти, не оставаться здѣсь ни одного часа. Правда, страшно потерять мѣсто, опять ѣхать къ родителямъ, у которыхъ ничего нѣтъ, но что же дѣлать? Машенька не могла видѣть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здѣсь душно, жутко. Федосья Васильевна, помѣшанная на болѣзняхъ и на своемъ мнимомъ аристократизмѣ, опротивѣла ей до того, что, кажется, все на свѣтѣ стало грубо и неприглядно оттого, что жи-

вѣтъ эта женщина. Машенька прыгнула съ кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросилъ за дверью Николай Сергѣичъ; онъ подошелъ къ двери неслышно и говорилъ тихимъ мягкимъ голосомъ.—Можно?

— Войдите.

Онъ вошелъ и остановился у двери. Глаза его глядѣли тускло и красный носикъ его лоснился. Послѣ обѣда онъ пилъ пиво, и это было замѣтно по его походкѣ, по слабымъ, вялымъ рукамъ.

— Это что же? — спросилъ онъ, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергѣичъ, но я не могу долѣе оставаться въ вашемъ домѣ. Меня глубоко оскорбилъ этотъ обыскъ!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачѣмъ? Обыскали, а вы того... что вамъ отъ этого? Васъ не убудетъ отъ этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергѣичъ пощипалъ свои усы, какъ бы придумывая, что сказать еще, и продолжалъ заискивающимъ голосомъ:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если ужъ вы такъ оскорблены, — продолжалъ Николай Сергѣичъ: — то извольте, я готовъ извиниться передъ вами. Извините.

Машенька ничего не отвѣтила, а только ниже нагнулась къ своему чемодану. Этотъ испитой, нерѣшительный человѣкъ ровно ничего не значилъ въ домѣ. Онъ игралъ жалкую роль приживала и лишняго человѣка даже у прислуги; и извиненіе его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вамъ мало этого? Въ такомъ случаѣ я за жену извиняюсь. Отъ имени жены... Она поступила не тактично, я признаю, какъ дворянинъ...

Николай Сергѣичъ прошелся, вздохнулъ и продолжалъ:

— Вамъ надо еще, значитъ, чтобъ у меня ковыряло вотъ тутъ, подъ сердцемъ... Вамъ надо, чтобы меня совѣсть мучила...

— Я знаю, Николай Сергѣичъ, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо въ лицо своими боль-

шими, заплаканными глазами. — Зачѣмъ же вамъ мучиться?

— Конечно... Но вы все-таки того... не уѣзжайте... Прошу васъ.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергѣичъ остановился у окна и забарабанилъ по стеклу.

— Для меня подобныя недоразумѣнія — это чистая пытка, — проговорилъ онъ. — Что же мнѣ на колѣни передъ вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вотъ вы плакали, собираетесь уѣхать, но вѣдь и у меня тоже есть гордость, а вы ея не щадите. Или хотите, чтобъ я сказалъ вамъ то, чего и на исповѣди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался въ томъ, въ чемъ даже предъ смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взялъ у жены брошку! — быстро сказалъ Николай Сергѣичъ. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взялъ... Только, конечно, я надѣюсь на вашу скромность... Ради Бога, никому ни слова, ни полъ-намека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла ихъ и безпорядочно совала въ чемоданъ и корзину. Теперь, послѣ откровеннаго признанія, сдѣланнаго Николаемъ Сергѣичемъ, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, какъ она могла жить раньше въ этомъ домѣ.

— И удивляться нечего... — продолжалъ Николай Сергѣичъ, помолчавъ немного. — Обыкновенная исторія! Мнѣ деньги нужны, а она... не даетъ. Вѣдь этотъ домъ и все это мой отецъ наживалъ, Марья Андреевна! Все вѣдь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... все мое! А она забрала, завладѣла всѣмъ... Не судиться же мнѣ съ ней, согласитесь... Прошу васъ, убѣдительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner. Остаетесь?

— Нѣтъ!—сказала Машенька рѣшительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю васъ.

— Ну, Богъ съ вами, — вздохнулъ Николай Сергѣичъ, садясь на скамеечку около чемодана.—Я, признаться, люблю тѣхъ, кто еще умѣетъ оскорбляться, презирать и прочее. Вѣкъ бы сидѣлъ и на ваше негодующее лицо глядѣлъ... Такъ, стало-быть, не остаетесь? Я понимаю... Иначе и быть не должно... Да, конечно... Вамъ-то хорошо, а вотъ мнѣ

—тпррр!.. Ни на шагъ изъ этого погреба. Поѣхать бы
акое-нибудь наше имѣніе, да тамъ вездѣ сидятъ эти
ины прохвосты... управляющіе, агрономы, чортъ бы ихъ
ъ. Закладываютъ, перезакладываютъ... Рыбы не ловить,
ы не топтать, деревьевъ не ломать.
- Николай Сергѣичъ! — послышался изъ залы голосъ
осьи Васильевны. — Агнія, позови барина!
- Такъ не остаетесь? — спросилъ Николай Сергѣичъ,
ро поднимаясь и идя къ двери.—А то бы остались, ей
. Вечеркомъ я заходилъ бы къ вамъ... толковали бы.
Останьтесь! Уйдете вы, и во всемъ домѣ не останется
одного человѣческаго лица. Вѣдь это ужасно!
лѣдное, испитое лицо Николая Сергѣича умоляло, но
енька отрицательно покачала головой, и онъ, махнувъ
й, вышелъ.
ерезъ полчаса она была уже въ дорогѣ.

# ШУТОЧКА.

Ясный, зимній полдень... Морозъ крѣпокъ, трещитъ, и у Наденьки, которая держитъ меня подъ руку, покрываются серебристымъ инеемъ кудри на вискахъ и пушокъ надъ верхней губой. Мы стоимъ на высокой горѣ. Отъ нашихъ ногъ до самой земли тянется покатая плоскость, въ которую солнце глядится, какъ въ зеркало. Возлѣ насъ маленькія санки, обитыя ярко-краснымъ сукномъ.

— Съѣдемте внизъ, Надежда Петровна! — умоляю я. — Одинъ только разъ! Увѣряю васъ, мы останемся цѣлы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство отъ ея маленькихъ калошъ до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмѣримо глубокой пропастью. У нея замираетъ духъ и прерывается дыханіе, когда она глядитъ внизъ, когда я только предлагаю сѣсть въ санки, но что же будетъ, если она рискнетъ полетѣть въ пропасть! Она умретъ, сойдетъ съ ума.

— Умоляю васъ!—говорю я.—Не надо бояться! Поймите же, это малодушіе, трусость!

Наденька наконецъ уступаетъ, и я по лицу вижу, что она уступаетъ съ опасностью для жизни. Я сажаю ее блѣдную, дрожащую въ санки, обхватываю рукой и вмѣстѣ съ нею низвергаюсь въ бездну.

Санки летятъ, какъ пуля. Разсѣкаемый воздухъ бьетъ въ лицо, ревetъ, свиститъ въ ушахъ, рветъ, больно щиплетъ отъ злости, хочетъ сорвать съ плечъ голову. Отъ напора вѣтра нѣтъ силъ дышать. Кажется, самъ дьяволъ

обхватилъ насъ лапами и съ ревомъ тащитъ въ адъ. Окружающіе предметы сливаются въ одну длинную, стремительно бѣгущую полосу... Вотъ-вотъ еще мгновеніе и кажется,—мы погибнемъ!

— Я люблю васъ, Надя!—говорю я вполголоса.

Санки начинаютъ бѣжать все тише и тише, ревъ вѣтра и жужжанье полозьевъ не такъ уже страшны, дыханіе перестаетъ замирать, и мы, наконецъ, внизу. Наденька ни жива, ни мертва. Она блѣдна, едва дышитъ... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что въ другой разъ не поѣду,—говоритъ она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свѣтѣ! Я едва не умерла!

Немного погодя, она приходитъ въ себя и уже вопросительно заглядываетъ мнѣ въ глаза: я ли сказалъ тѣ четыре слова, или же они только послышались ей въ шумѣ вихря? А я стою возлѣ нея, курю и внимательно разсматриваю свою перчатку.

Она беретъ меня подъ руку, и мы долго гуляемъ около горы. Загадка, видимо, не даетъ ей покою. Были сказаны тѣ слова, или нѣтъ? Да, или нѣтъ? Да, или нѣтъ? Это вопросъ самолюбія, чести, жизни, счастья, вопросъ очень важный, самый важный на свѣтѣ. Наденька нетерпѣливо, грустно, проницающимъ взоромъ заглядываетъ мнѣ въ лицо, отвѣчаетъ невпопадъ, ждетъ, не заговорю ли я. О, какая игра на этомъ миломъ лицѣ, какая игра! Я вижу, она борется съ собой, ей нужно что-то сказать, о чемъ-то спросить, но она не находитъ словъ, ей неловко, страшно, мѣшаетъ радость...

— Знаете что?—говоритъ она, не глядя на меня.

— Что?—спрашиваю я.

— Давайте еще разъ... прокатимъ.

Мы взбираемся по лѣстницѣ на гору. Опять я сажаю блѣдную, дрожащую Наденьку въ санки, опять мы летимъ въ страшную пропасть, опять реветъ вѣтеръ и жужжатъ полозья, и опять при самомъ сильномъ и шумномъ разлетѣ санокъ я говорю вполголоса:

— Я люблю васъ, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидываетъ взглядомъ гору, по которой мы только-что катили, потомъ долго всматривается въ мое лицо, вслушивается въ мой

голосъ, равнодушный и безстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлыкъ ея, вся ея фигурка—выражаютъ крайнее недоумѣніе. И на лицѣ у нея написано:

— Въ чемъ же дѣло? Кто произнесъ *ть* слова? Онъ, или мнѣ только послышалось?

Эта неизвѣстность безпокоитъ ее, выводитъ изъ терпѣнія. Бѣдная дѣвочка не отвѣчаетъ на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли намъ домой?—спрашиваю я.

— А мнѣ... мнѣ нравится это катанье, — говоритъ она, краснѣя.—Не проѣхаться ли намъ еще разъ?

Ей «нравится» это катанье, а между тѣмъ, садясь въ санки, она, какъ и въ тѣ разы, блѣдна, еле дышитъ отъ страха, дрожитъ.

Мы спускаемся въ третій разъ, и я вижу, какъ она смотритъ мнѣ въ лицо, слѣдитъ за моими губами. Но я прикладываю къ губамъ платокъ, кашляю и, когда достигаемъ середины горы, успѣваю вымолвить:

— Я люблю васъ, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчитъ, о чемъ-то думаетъ... Я провожаю ее съ катка домой, она старается идти тише, замедляетъ шаги и все ждетъ, не скажу ли я ей тѣхъ словъ. И я вижу, какъ страдаетъ ея душа, какъ она дѣлаетъ усилія надъ собой, чтобы не сказать:

— Не можетъ же быть, чтобъ ихъ говорилъ вѣтеръ! И я не хочу, чтобы это говорилъ вѣтеръ!

На другой день утромъ я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на катокъ, то заходите за мной. Н.» И съ этого дня я съ Наденькой начинаю каждый день ходить на катокъ и, слетая внизъ на санкахъ, я всякій разъ произношу вполголоса одни и тѣ же слова:

— Я люблю васъ, Надя!

Скоро Наденька привыкаетъ къ этой фразѣ, какъ къ вину или морфію. Она жить безъ нея не можетъ. Правда, летѣть съ горы попрежнему страшно, но теперь уже страхъ и опасность придаютъ особое очарованіе словамъ о любви, словамъ, которыя попрежнему составляютъ загадку и томятъ душу. Подозрѣваются все тѣ же двое: я и вѣтеръ... Кто изъ двухъ признается ей въ любви, она не знаетъ, но ей, повидимому, уже все равно; изъ какого сосуда пить—все равно, лишь бы быть пьянымъ.

Какъ-то въ полдень я отправился на катокъ одинъ; смѣшавшись съ толпой, я вижу, какъ къ горѣ подходитъ Наденька, какъ ищетъ глазами меня... Затѣмъ она робко идетъ вверхъ по лѣсенкѣ... Страшно ѣхать одной, о, какъ страшно! Она блѣдна, какъ снѣгъ, дрожитъ, она идетъ точно на казнь, но идетъ, идетъ безъ оглядки, рѣшительно. Она, очевидно, рѣшила наконецъ попробовать: будутъ ли слышны тѣ изумительныя сладкія слова, когда меня нѣтъ? Я вижу, какъ она, блѣдная, съ раскрытымъ отъ ужаса ртомъ, садится въ санки, закрываетъ глаза и, простившись навѣки съ землей, трогается съ мѣста... «Жжжж»... жужжатъ полозья. Слышитъ ли Наденька тѣ слова, я не знаю... Я вижу только, какъ она поднимается изъ саней изнеможенная, слабая. И видно по ея лицу, она и сама не знаетъ, слышала она что-нибудь или нѣтъ. Страхъ, пока она катила внизъ, отнялъ у нея способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вотъ наступаетъ весенній мѣсяцъ мартъ... Солнце становится ласковѣе. Наша ледяная гора темнѣетъ, теряетъ свой блескъ и таетъ наконецъ. Мы перестаемъ кататься. Бѣдной Наденькѣ больше ужъ негдѣ слышать тѣхъ словъ, да и некому произносить ихъ, такъ какъ вѣтра не слышно, а я собираюсь въ Петербургъ—надолго, должно-быть, навсегда.

Какъ-то передъ отъѣздомъ, дня за два, въ сумерки сижу я въ садикѣ, а отъ двора, въ которомъ живетъ Наденька, садикъ этотъ отдѣленъ высокимъ заборомъ съ гвоздями... Еще достаточно холодно, подъ навозомъ еще снѣгъ, деревья мертвы, но уже пахнетъ весной и, укладываясь на ночлегъ, шумно кричатъ грачи. Я подхожу къ забору и долго смотрю въ щель. Я вижу, какъ Наденька выходитъ на крылечко и устремляетъ печальный, тоскующій взоръ на небо... Весенній вѣтеръ дуетъ ей прямо въ блѣдное, унылое лицо... Онъ напоминаетъ ей о томъ вѣтрѣ, который ревѣлъ намъ тогда на горѣ, когда она слышала тѣ четыре слова, и лицо у нея становится грустнымъ, грустнымъ, по щекѣ ползетъ слеза... И бѣдная дѣвочка протягиваетъ обѣ руки, какъ бы прося этотъ вѣтеръ принести ей еще разъ тѣ слова. И я, дождавшись вѣтра, говорю вполголоса:

— Я люблю васъ, Надя!

Боже мой, что дѣлается съ Наденькой! Она вскрикиваетъ,

улыбается во все лицо и протягиваетъ навстрѣчу вѣтр руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем ее выдали, или она сама вышла—это все равно, за секре таря дворянской опеки, и теперь у нея уже трое дѣтей То, какъ мы вмѣстѣ когда-то ходили на катокъ и как вѣтеръ доносилъ до нея слова «я васъ люблю, Наденька» не забыто; для нея теперь это самое счастливое, само трогательное и прекрасное воспоминаніе въ жизни...

А мнѣ теперь, когда я сталъ старше, уже не понятн зачѣмъ я говорилъ тѣ слова, для чего шутилъ...

# ПИСАТЕЛЬ.

Въ комнатѣ, прилегающей къ чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидѣлъ самъ Ершаковъ, человѣкъ молодой, по модѣ одѣтый, но помятый и видимо пожившій на своемъ вѣку бурно. Судя по его размашистому почерку съ завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, онъ былъ не чуждъ европейской цивилизаціи. Но отъ него еще больше повѣяло культурой, когда изъ магазина вошелъ мальчикъ и доложилъ:

— Писатель пришелъ!

— А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтобъ калоши свои въ магазинѣ оставилъ.

Черезъ минуту въ комнатку тихо вошелъ сѣдой, плѣшивый старикъ въ рыжемъ, потертомъ пальто, съ краснымъ, помороженнымъ лицомъ и съ выраженіемъ слабости и неувѣренности, какое обыкновенно бываетъ у людей, хотя и мало, но постоянно пьющихъ.

— А, мое почтеніе...—сказалъ Ершаковъ, не оглядываясь на вошедшаго.—Что хорошенькаго, господинъ Гейнимъ?

Ершаковъ смѣшивалъ слова «геній» и «Гейне», и они сливались у него въ одно—«Гейнимъ», какъ онъ и называлъ всегда старика.

— Да вотъ-съ, заказикъ принесъ,—отвѣтилъ Гейнимъ.—Уже готово-съ...

— Такъ скоро?

— Въ три дня, Захаръ Семенычъ, не то что рекламу, романъ сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

— Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте. что вы сочинили?

Гейнимъ вынулъ изъ кармана нѣсколько помятыхъ, исписанныхъ карандашомъ бумажекъ и подошелъ къ конторкѣ.

— У меня еще вчернѣ-съ, въ общихъ чертахъ-съ...— сказалъ онъ.—Я вамъ прочту-съ, а вы вникайте и указывайте въ случаѣ, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захаръ Семенычъ... Вѣрите ли? Тремъ магазинамъ сразу рекламу сочинялъ... Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейнимъ надѣлъ очки, поднялъ брови и началъ читать печальнымъ голосомъ и точно декламируя:

— «Сезонъ 1885—86 г. Поставщикъ китайскихъ чаевъ во всѣ города Европейской и Азіатской Россіи и за границу, З. С. Ершаковъ. Фирма существуетъ съ 1804 года». Все это вступленіе, понимаете, будетъ въ орнаментахъ, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинялъ, такъ тотъ взялъ для объявленія гербы разныхъ городовъ. Такъ и вы можете сдѣлать, и я для васъ придумалъ такой орнаментъ, Захаръ Семенычъ: левъ, а у него въ зубахъ лира. Теперь дальше: «Два слова къ нашимъ покупателямъ. Милостивые государи! Ни политическія событія послѣдняго времени, ни холодный индифферентизмъ, все болѣе и болѣе проникающій во всѣ слои нашего общества, ни обмелѣніе Волги, на которое еще такъ недавно указывала лучшая часть нашей прессы,—ничто не смущаетъ насъ. Долголѣтнее существованіе нашей фирмы и симпатіи, которыми мы успѣли заручиться, даютъ намъ возможность прочно держаться почвы и не измѣнять разъ навсегда заведенной системѣ, какъ въ сношеніяхъ нашихъ съ владѣльцами чайныхъ плантацій, такъ равно и въ добросовѣстномъ исполненіи заказовъ. Нашъ девизъ достаточно извѣстенъ. Выражается онъ въ немногихъ, но многозначительныхъ словахъ: добросовѣстность, дешевизна и скорость!!»

— Хорошо! Очень хорошо! — перебилъ Ершаковъ, двигаясь на стулѣ. — Даже не ожидалъ, что такъ сочините. Ловко! Только вотъ что, милый другъ... нужно тутъ какъ-нибудь тѣнь навести, затуманить, какъ-нибудь этакъ, знаешь, фокусъ устроить... Публикуемъ мы тутъ, что фирма только-что получила партію свѣжихъ первосборныхъ весеннихъ чаевъ сезона 1885 года... Такъ? А нужно кромѣ того по-

казать, что эти только-что полученные чаи лежатъ у насъ въ складѣ уже три года, но тѣмъ не менѣе будто изъ Китая мы ихъ получили только на прошлой недѣлѣ.

— Понимаю-съ... Публика и не замѣтитъ противорѣчія. Въ началѣ объявленія мы напишемъ, что чаи только-что получены, а въ концѣ мы такъ скажемъ: «Имѣя большой запасъ чая съ оплатой прежней пошлины, мы безъ ущерба собственнымъ интересамъ можемъ продавать ихъ по прейсъ-куранту прошлыхъ лѣтъ»... и т. д. Ну-съ, на другой страницѣ будетъ прейсъ-курантъ. Тутъ опять пойдутъ гербы и орнаменты... Подъ ними крупнымъ шрифтомъ: «Прейсъ-курантъ отборнымъ ароматическимъ, фучанскимъ, кяхтинскимъ и байховымъ чаямъ перваго весенняго сбора, полученнымъ изъ вновь пріобрѣтенныхъ плантацій»... Дальше-съ: «Обращаемъ вниманіе истинныхъ любителей на лянсинные чаи, изъ конхъ самою большою и заслуженною любовью пользуется «Китайская эмблема или зависть конкурентовъ» 3 р. 50 к. Изъ розанистыхъ чаевъ мы особенно рекомендуемъ «Богдыханская Роза» 2 р. и «Глаза Китаянки» 1 р. 80 к. За цѣнами пойдетъ петитомъ о развѣскѣ и пересылкѣ чая. Тутъ же о скидкѣ и насчетъ премій: «Большинство нашихъ конкурентовъ, желая завлечь къ себѣ покупателей, закидываетъ удочку въ видѣ премій. Мы съ своей стороны протестуемъ противъ этого возмутительнаго пріема и предлагаемъ нашимъ покупателямъ не въ видѣ преміи, а безплатно всѣ приманки, какими угощаютъ конкуренты своихъ жертвъ. Всякій, купившій у насъ не менѣе чѣмъ на 50 р., выбираетъ и получаетъ безплатно одну изъ слѣдующихъ пяти вещей: чайникъ изъ британскаго металла, сто визитныхъ карточекъ, планъ города Москвы, чайницу въ видѣ нагой китаянки и книгу «Женихъ удивленъ или невѣста подъ корытомъ», разсказъ Игриваго Весельчака».

Кончивъ чтеніе и сдѣлавъ кое-какія поправки, Гейнимъ быстро переписалъ рекламу на-чисто и вручилъ ее Ершакову. Послѣ этого наступило молчаніе... Оба почувствовали себя неловко, какъ будто совершили какую-то пакость.

— Деньги за работу сейчасъ прикажете получить, или послѣ?—спросилъ Гейнимъ нерѣшительно.

— Когда хотите, хоть сейчасъ...—небрежно отвѣтилъ

Ершаковъ. — Ступай въ магазинъ и бери чего хочешь на пять съ полтиной.

— Мнѣ бы деньгами, Захаръ Семенычъ.

— У меня нѣтъ моды деньгами платить. Всѣмъ плачу чаемъ да сахаромъ: и вамъ, и пѣвчимъ, гдѣ я старостой, и дворникамъ. Меньше пьянства.

— Развѣ, Захаръ Семенычъ, мою работу можно равнять съ дворниками да съ пѣвчими? У меня умственный трудъ.

— Какой трудъ! Сѣлъ, написалъ и все тутъ. Писанья не съѣшь, не выпьешь... плевое дѣло! И рубля не стоитъ.

— Гм... Какъ вы насчетъ писанья разсуждаете...—обидѣлся Гейнимъ. — Не съѣшь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, можетъ, когда сочинялъ эту рекламу, душой страдалъ. Пишешь и чувствуешь, что всю Россію въ обманъ вводишь. Дайте денегъ, Захаръ Семенычъ!

— Надоѣлъ, братъ. Не хорошо такъ приставать.

— Ну, ладно. Такъ я сахарнымъ пескомъ возьму. Ваши же молодцы у меня его назадъ возьмутъ по восьми копеекъ за фунтъ. Потеряю на этой операціи копеекъ сорокъ, ну, да что дѣлать! Будьте здоровы-съ!

Гейнимъ повернулся, чтобы выйти, но остановился въ дверяхъ, вздохнулъ и сказалъ мрачно:

— Россію обманываю! Всю Россію! Отечество обманываю изъ-за куска хлѣба! Эхъ!

И вышелъ. Ершаковъ закурилъ гаванку, и въ его комнатѣ еще сильнѣе запахло культурнымъ человѣкомъ.

# НА СТРАСТНОЙ НЕДѢЛѢ.

— Иди, уже звонятъ. Да смотри, не шали въ церкви, а то Богъ накажетъ.

Мать суетъ мнѣ на расходы нѣсколько мѣдныхъ монетъ и тотчасъ же, забывъ про меня, бѣжитъ съ остывшимъ утюгомъ въ кухню. Я отлично знаю, что послѣ исповѣди мнѣ не дадутъ ни ѣсть, ни пить, а потому, прежде чѣмъ выйти изъ дому, насильно съѣдаю краюху бѣлаго хлѣба, выпиваю два стакана воды. На улицѣ совсѣмъ весна. Мостовыя покрыты бурымъ мѣсивомъ, на которомъ уже начинаютъ обозначаться будущія тропинки; крыши и тротуары сухи; подъ заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нѣжная, молодая зелень. Въ канавахъ, весело журча и пѣнясь, бѣжитъ грязная вода, въ которой не брезгаютъ купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнуховъ быстро несутся по водѣ, кружатся и цѣпляются за грязную пѣну. Куда, куда плывутъ эти щепочки? Очень возможно, что изъ канавы попадутъ онѣ въ рѣку, изъ рѣки въ море, изъ моря въ океанъ... Я хочу вообразить себѣ этотъ длинный, страшный путь, но моя фантазія обрывается, не дойдя до моря.

Проѣзжаетъ извозчикъ. Онъ чмокаетъ, дергаетъ вожжи и не видитъ, что на задкѣ его пролетки повисли два уличныхъ мальчика. Я хочу присоединиться къ нимъ, но вспоминаю про исповѣдь, и мальчишки начинаютъ казаться мнѣ величайшими грѣшниками.

«На страшномъ судѣ ихъ спросятъ: зачѣмъ вы шалили и обманывали бѣднаго извозчика?—думаю я.—Они начнутъ

оправдываться, но нечистые духи схватятъ ихъ и потащатъ въ огонь вѣчный. Но если они будутъ слушаться родителей и подавать нищимъ по копейкѣ, или бублику, то Богъ сжалится надъ ними и пуститъ ихъ въ рай».

Церковная паперть суха и залита солнечнымъ свѣтомъ. На ней ни души. Нерѣшительно я открываю дверь и вхожу въ церковь. Тутъ, въ сумеркахъ, которыя кажутся мнѣ густыми и мрачными, какъ никогда, мною овладѣваетъ сознаніе грѣховности и ничтожества. Прежде всего бросаются въ глаза большое распятіе и по сторонамъ его Божія Матерь и Іоаннъ Богословъ. Паникадила и ставники одѣты въ черные, траурные чехлы, лампадки мерцаютъ тускло и робко, солнце какъ-будто умышленно минуетъ церковныя окна. Богородица и любимый ученикъ Іисуса Христа, изображенные въ профиль, молча глядятъ на невыносимыя страданія и не замѣчаютъ моего присутствія; я чувствую, что для нихъ я чужой, лишній, незамѣтный, что не могу помочь имъ ни словомъ, ни дѣломъ, что я отвратительный, безчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всѣхъ людей, какихъ только я знаю, и всѣ они представляются мнѣ мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковныя сумерки дѣлаются гуще и мрачнѣе, и Божія Матерь съ Іоанномъ Богословомъ кажутся мнѣ одинокими.

За свѣчнымъ шкапомъ стоитъ Прокофій Игнатьичъ, старый отставной солдатъ, помощникъ церковнаго старосты. Поднявъ брови и поглаживая бороду, онъ объясняетъ полушопотомъ какой-то старухѣ:

— Утреня будетъ сегодня съ вечера, сейчасъ же послѣ вечерни. А завтра къ часамъ ударятъ въ восьмомъ часу. Поняла? Въ восьмомъ.

А между двухъ широкихъ колоннъ направо, тамъ, гдѣ начинается придѣлъ Варвары Великомученицы, возлѣ ширмы, ожидая очереди, стоятъ исповѣдники... Тутъ же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчикъ съ оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сынъ вдовы поденщицы Настасьи, забіяка, разбойникъ, хватающій съ лотковъ у торговокъ яблоки и не разъ отнимавшій у меня бабки. Онъ сердито оглядываетъ меня и, мнѣ кажется, злорадствуетъ, что не я, а онъ первый пойдетъ съ

ширму. Во мнѣ закипаетъ злоба, я стараюсь не глядѣть на него и въ глубинѣ души досадую на то, что этому мальчишкѣ простятся сейчасъ грѣхи.

Впереди него стоитъ роскошно одѣтая, красивая дама въ шляпкѣ съ бѣлымъ пером. Она замѣтно волнуется, напряженно ждетъ, и одна щека у нея отъ волненія лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минутъ, десять... Изъ-за ширмъ выходитъ прилично одѣтый молодой человѣкъ съ длинной, тощей шеей и въ высокихъ резиновыхъ калошахъ; начинаю мечтать о томъ, какъ я выросту большой, и какъ куплю себѣ такія же калоши, непремѣнно куплю! Дама вздрагиваетъ и идетъ за ширмы. Ея очередь.

Въ щелку между двумя половинками ширмы видно, какъ дама подходитъ къ аналою и дѣлаетъ земной поклонъ, затѣмъ поднимается и, не глядя на священника, въ ожиданіи поникаетъ головой. Священникъ стоитъ спиной къ ширмамъ, а потому я вижу только его сѣдые, кудрявые волосы, цѣпочку отъ наперснаго креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнувъ и не глядя на даму, онъ начинаетъ говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шопотъ. Дама слушаетъ покорно, какъ виноватая, коротко отвѣчаетъ и глядитъ въ землю.

«Чѣмъ она грѣшна?—думаю я, благоговѣйно посматривая на ея кроткое, красивое лицо. — Боже, прости ей грѣхи! Пошли ей счастье!»

Но вотъ священникъ покрываетъ ея голову эпитрахилью.

— И азъ недостойный іерей...—слышится его голосъ... — властію Его мнѣ данною, прощаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ...

Дама дѣлаетъ земной поклонъ, цѣлуетъ крестъ и идетъ назадъ. Уже обѣ щеки ея румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива,—думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившаго ей грѣхи.—Но какъ долженъ быть счастливъ человѣкъ, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мнѣ вдругъ вскипаетъ чувство ненависти къ этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первымъ... Замѣтивъ мое движеніе, онъ бьетъ меня свѣчой по головѣ, я отвѣчаю ему тѣмъ же, и полминуты слышится пыхтѣнье и такіе звуки,

какъ-будто кто-то ломаетъ свѣчи... Насъ разнимаютъ. Мой врагъ робко подходитъ къ аналою, не сгибая колѣнъ, кланяется въ землю, но, что дальше, я не вижу; отъ мысли, что сейчасъ послѣ Митьки будетъ моя очередь, въ глазахъ у меня начинаютъ мѣшаться и расплываться предметы; оттопыренныя уши Митьки растутъ и сливаются съ темнымъ затылкомъ, священникъ колеблется, полъ кажется волнистымъ...

Раздается голосъ священника:

— И азъ недостойный іерей...

Теперь ужъ и я двигаюсь за ширмы. Подъ ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу къ аналою, который выше меня. На мгновеніе у меня въ глазахъ мелькаетъ равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукавъ съ голубой подкладкой, крестъ и край аналоя. Я чувствую близкое сосѣдство священника, запахъ его рясы, слышу строгій голосъ, и моя щека, обращенная къ нему, начинаетъ горѣть... Многаго отъ волненія я не слышу, но на вопросы отвѣчаю искренно, не своимъ, какимъ-то страннымъ голосомъ, вспоминаю одинокихъ Богородицу и Іоанна Богослова, распятіе, свою мать, и мнѣ хочется плакать, просить прощенія.

— Тебя какъ зовутъ?—спрашиваетъ священникъ, покрывая мою голову мягкою эпитрахилью.

Какъ теперь легко, какъ радостно на душѣ!

Грѣховъ уже нѣтъ, я святъ, я имѣю право идти въ рай! Мнѣ кажется, что отъ меня уже пахнетъ такъ же, какъ отъ рясы, я иду изъ-за ширмъ къ дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковныя сумерки уже не кажутся мнѣ мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, безъ злобы.

— Какъ тебя зовутъ?—спрашиваетъ дьяконъ.

— Ѳедя.

— А по отчеству?

— Не знаю.

— Какъ зовутъ твоего папашу?

— Иванъ Петровичъ.

— Фамилія?

Я молчу.

— Сколько тебѣ лѣтъ?

— Девятый годъ.

Придя домой, я, чтобы не видать, какъ ужинаютъ, по-

скорѣе ложусь въ постель и, закрывши глаза, мечтаю о томъ, какъ хорошо было бы претерпѣть мученія отъ какого-нибудь Ирода или Діоскора, жить въ пустынѣ и, подобно старцу Серафиму, кормить медвѣдей, жить въ келіи и питаться одной просфорой, раздать имущество бѣднымъ, идти въ Кіевъ. Мнѣ слышно, какъ въ столовой накрываютъ на столъ—это собираются ужинать; будутъ ѣсть винигретъ, пирожки съ капустой и жаренаго судака. Какъ мнѣ хочется ѣсть! Я согласенъ терпѣть всякія мученія, жить въ пустынѣ безъ матери, кормить медвѣдей изъ собственныхъ рукъ, но только сначала съѣсть бы хоть одинъ пирожокъ съ капустой!

— Боже очисти меня грѣшнаго,—молюсь я, укрываясь съ головой.—Ангелъ хранитель, защити меня отъ нечистаго духа.

На другой день, въ четвергъ, я просыпаюсь съ душой ясной и чистой, какъ хорошій весенній день. Въ церковь я иду весело, смѣло, чувствуя, что я причастникъ, что на мнѣ роскошная и дорогая рубаха, сшитая изъ шелковаго платья, оставшагося послѣ бабушки. Въ церкви все дышитъ радостью, счастьемъ и весной; лица Богородицы и Іоанна Богослова не такъ печальны, какъ вчера, лица причастниковъ озарены надеждой, и кажется, все прошлое предано забвенію, все прощено. Митька тоже причесанъ и одѣтъ по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренныя уши и, чтобы показать, что я противъ него ничего не имѣю, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали такъ волосы, и если бъ ты не былъ такъ бѣдно одѣтъ, то всѣ бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мнѣ на Пасху, будемъ въ бабки играть.

Митька недовѣрчиво глядитъ на меня и грозитъ мнѣ подъ полой кулакомъ.

А вчерашняя дама кажется мнѣ прекрасной. На ней свѣтло-голубое платье и большая, сверкающая брошь въ видѣ подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непремѣнно женюсь на такой женщинѣ, но вспомнивъ, что жениться—стыдно, я перестаю объ этомъ думать и иду на клиросъ, гдѣ дьячокъ уже читаетъ часы.

# PERPETUUM MOBILE.

Судебный слѣдователь Гришуткинъ, старикъ, начавшій службу еще въ до-реформенное время, и докторъ Свистицкій, меланхолическій господинъ, ѣхали на вскрытіе. Ѣхали они осенью по проселочной дорогѣ. Темнота была страшная, лилъ неистовый дождь.

— Вѣдь этакая подлость,—ворчалъ слѣдователь.—Не то что цивилизаціи и гуманности, даже климата порядочнаго нѣтъ. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь... Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлецъ! Да вези ты, анаѳема, поскорѣй, если не хочешь, чтобы я тебѣ, подлецу этакому, негодяю, всѣ зубы выбилъ!—крикнулъ онъ работнику, сидѣвшему на козлахъ.

— Странно, Агей Алексѣичъ!—говорилъ докторъ, вздыхая и кутаясь въ мокрую шубу.—Я даже не замѣчаю этой погоды. Меня гнететъ какое-то странное, тяжелое предчувствіе. Вотъ-вотъ, кажется мнѣ, стрясется надо мной какое-то несчастіе. А я вѣрю въ предчувствія и... жду. Все можетъ случиться. Трупное зараженіе... смерть любимаго существа...

— Хоть при Мишкѣ-то постыдитесь говорить о предчувствіяхъ, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не можетъ быть. Этакій дождь—чего хуже? Знаете что, Тимоѳей Васильичъ? Я болѣе не въ состояніи такъ ѣхать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться гдѣ-нибудь переночевать... Кто тутъ близко живетъ?

— Яванъ Яванычъ Ежовъ,—сказалъ Мишка.—Сейчасъ за лѣсомъ, только мостикъ переѣхать.

— Ежовъ? Валяй къ Ежову! Кстати, давно ужъ не былъ у этого стараго грѣшника.

Проѣхали лѣсъ и мостикъ, повернули налѣво, потомъ направо и въѣхали въ большой дворъ предсѣдателя мирового съѣзда, отставного генералъ-маіора Ежова.

— Дома!—сказалъ Гришуткинъ, вылѣзая изъ тарантаса и глядя на окна дома, которыя свѣтились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наѣдимся, и выспимся... Хоть и дрянной человѣчишка, но гостепріименъ, надо отдать справедливость.

Въ передней встрѣтилъ ихъ самъ Ежовъ, маленькій, сморщенный старикъ, съ лицомъ, собравшимся въ колючій комокъ.

— Очень кстати, очень кстати, господа... — заговорилъ онъ. — А мы только-что сѣли ужинать и буженину ѣдимъ, тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищъ прокурора сидитъ. Спасибо ему, ангелу, заѣхалъ за мной. Завтра съ нимъ на съѣздъ ѣхать. У насъ завтра съѣздъ... тридцать три моментально...

Гришуткинъ и Свистицкій вошли въ залъ. Тамъ стоялъ большой столъ, уставленный закусками и винами. За однимъ приборомъ сидѣла дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, въ глубокомъ траурѣ по недавно умершемъ мужѣ; за другимъ, рядомъ съ ней, товарищъ прокурора Тюльпанскій, молодой человѣкъ съ бачками и множествомъ синихъ жилокъ на лицѣ.

— Знакомы? — говорилъ Ежовъ, тыча во всѣхъ пальцами.—Это вотъ прокуроръ, это—дочь моя...

Брюнетка улыбнулась и, прищуривъ глаза, подала новоприбывшимъ руку.

— Итакъ... съ дорожки, господа!—сказалъ Ежовъ, наливая три рюмки.—Дерзайте, людіе Божіи! И я выпью за компанію, тридцать три моментально. Ну-съ, будемте здоровы...

Выпили. Гришуткинъ закусилъ огурчикомъ и принялся за буженину. Докторъ выпилъ и вздохнулъ. Тюльпанскій закурилъ сигару, попросивъ предварительно у дамы позволенія, причемъ оскалилъ зубы такъ, что показалось, будто у него во рту по крайней мѣрѣ сто зубовъ.

— Ну, что жъ, господа? Рюмки-то вѣдь не ждутъ! А? Прокуроръ! Докторъ! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы

тамъ ни говорили, а молодежь всегда будетъ идти впереди. Ну-съ, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили всѣ, кромѣ прокурора Тюльпанскаго, который сидѣлъ, молчалъ и пускалъ черезъ ноздри табачный дымъ. Было очевидно, что онъ считалъ себя аристократомъ и презиралъ доктора и слѣдователя. Послѣ ужина Ежовъ, Гришуткинъ и товарищъ прокурора сѣли играть въ винтъ съ болваномъ. Докторъ и Надежда Ивановна сѣли около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытіе ѣдете? — начала хорошенькая вдовушка.—Вскрывать мертвеца? Ахъ! Какую надо имѣть силу воли, какой желѣзный характеръ, чтобы, не морщась, не мигнувъ глазомъ, заносить ножъ и вонзать его по рукоятку въ тѣло бездыханнаго человѣка. Я, знаете ли, благоговѣю передъ докторами. Это особенные люди, святые люди. Докторъ, отчего вы такъ печальны?—спросила она.

— Предчувствіе какое-то... Меня гнететъ какое-то страшное, тяжелое предчувствіе. Точно ждетъ меня потеря любимаго существа.

— А вы, докторъ, женаты? У васъ есть близкіе?

— Ни души. Я одинокъ и не имѣю даже знакомыхъ. Скажите, сударыня, вы вѣрите въ предчувствія?

— О, я вѣрю въ предчувствія.

И въ то время, какъ докторъ и вдовушка толковали о предчувствіяхъ, Ежовъ и слѣдователь Гришуткинъ то и дѣло вставали изъ-за картъ и подходили къ столу съ закуской. Въ два часа ночи проигравшійся Ежовъ вдругъ вспомнилъ о завтрашнемъ съѣздѣ и хлопнулъ себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы дѣлаемъ?! Ахъ, мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть-свѣтъ на съѣздъ ѣхать, а мы играемъ! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, маршъ спать! Объявляю засѣданіе закрытымъ.

— Счастливы вы, докторъ, что можете спать въ такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь съ докторомъ.—Я не могу спать, когда дождь барабанитъ въ окна и когда стонутъ мои бѣдныя сосны. Пойду сейчасъ и буду скучать за книгой. Я не въ состояніи спать. Вообще, если въ коридорчикѣ на окнѣ противъ моей двери горитъ лампочка, то это значитъ, что я не сплю и меня съѣдаетъ скука...

Докторъ и Гришуткинъ въ отведенной для нихъ комнатѣ

нашли двѣ громадныя постели, постланныя на полу изъ перинъ. Докторъ раздѣлся, легъ и укрылся съ головой. Слѣдователь раздѣлся и легъ, но долго ворочался, потомъ всталъ и заходилъ изъ угла въ уголъ. Это былъ безпокойнѣйшій человѣкъ.

— Я все про барыньку думаю, про вдовушку,—сказалъ онъ. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдалъ! Глаза, плечи, ножки въ лиловыхъ чулочкахъ... огонь баба! Баба—ой-ой! Это сейчасъ видно! И этакая красота принадлежитъ чортъ знаетъ кому—правовѣду, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, братъ, этихъ правовѣдовъ! Когда ты съ ней о предчувствіяхъ говорилъ, онъ лопался отъ ревности! Что говорить, шикарная женщина! Замѣчательно шикарная! Чудо природы!

— Да, почтенная особа, — сказалъ докторъ, высовывая голову изъ-подъ одѣяла.—Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вотъ съ вами сейчасъ уснемъ, а она, бѣдная, не можетъ спать. Ея нервы не выносятъ такой бурной ночи. Она сказала мнѣ, что всю ночь напролетъ будетъ скучать и читать книжку. Бѣдняжка! Навѣрное, у ней теперь горитъ лампочка...

— Какая лампочка?

— Она сказала, что если около ея двери на окнѣ горитъ лампочка, то это значитъ, что она не спитъ.

— Она тебѣ это сказала? Тебѣ?

— Да, мнѣ.

— Въ такомъ случаѣ я тебя не понимаю! Вѣдь, ежели она это тебѣ сказала, то значитъ, ты счастливѣйшій изъ смертныхъ! Молодецъ, докторъ! Молодчина! Хвалю, другъ! Хоть и завидую, но хвалю! Не такъ, братъ, за тебя радъ, какъ за правовѣда, за этого рыжаго каналью! Радъ, что ты ему рога наставишь! Ну, одѣвайся! Маршъ!

Гришуткинъ, когда бывалъ пьянъ, всѣмъ говорилъ «ты».

— Выдумываете вы, Агей Алексѣичъ! Богъ знаетъ что, право...—застѣнчиво отвѣчалъ докторъ.

— Ну, ну... не разговаривай, докторъ! Одѣвайся и валяй... Какъ, бишь, это поется въ «Жизни за Царя»? И на пути любви денекъ срываемъ мы, какъ бы цвѣтокъ... Одѣвайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Докторъ! Да ну же, скотина!

— Извините, я васъ не понимаю.

— Да что же тутъ не понимать! Астрономія тутъ, что ли? Одѣвайся и иди къ лампочкѣ, вотъ и все понятіе.

— Странно, что вы такого нелестнаго мнѣнія объ этой особѣ и обо мнѣ.

— Да брось ты философствовать!—разсердился Гришуткинъ.—Неужели ты можешь еще колебаться? Вѣдь это цинизмъ!

Онъ долго убѣждалъ доктора, сердился, умолялъ, даже становился на колѣни и кончилъ тѣмъ, что громко выбранился, плюнулъ и повалился въ постель. Но черезъ четверть часа вдругъ вскочилъ и разбудилъ доктора.

— Послушайте! Вы рѣшительно отказываетесь идти къ ней?—спросилъ онъ строго.

— Ахъ... зачѣмъ я пойду? Какой вы безпокойный человѣкъ, Агей Алексѣичъ! Съ вами ѣздить на вскрытіе — это ужасно!

— Ну, такъ чортъ васъ возьми, я пойду къ ней! Я... я не хуже какого-нибудь правовѣда, или бабы-доктора. Пойду!

Онъ быстро одѣлся и пошелъ къ двери.

Докторъ вопросительно поглядѣлъ на него, какъ бы не понимая, потомъ вскочилъ.

— Вы, полагаю, это шутите?—спросилъ онъ, загораживая Гришуткину дорогу.

— Некогда мнѣ съ тобой разговаривать... Пусти!

— Нѣтъ, я не пущу васъ, Агей Алексѣичъ. Ложитесь спать... Вы пьяны!

— По какому это праву ты, эскулапъ, меня не пустишь?

— По праву человѣка, который обязанъ защитить благородную женщину. Агей Алексѣичъ, опомнитесь, что вы хотите дѣлать! Вы старикъ! Вамъ шестьдесятъ семь лѣтъ!

— Я старикъ?—обидѣлся Гришуткинъ.—Какой это негодяй сказалъ тебѣ, что я старикъ?

— Вы, Агей Алексѣичъ, выпивши и возбуждены. Не хорошо! Не забывайте, что вы человѣкъ, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексѣичъ!

Царь природы побагровѣлъ и сунулъ руки въ карманы!

— Послѣдній разъ спрашиваю: пустишь ты меня, или

нѣтъ? — крикнулъ онъ вдругъ пронзительнымъ голосомъ, точно кричалъ въ полѣ на ямщика.—Каналья!

Но тотчасъ же онъ самъ испугался своего голоса и отошелъ отъ двери къ окну. Онъ хотя былъ и пьянъ, но ему стало стыдно этого своего пронзительнаго крика, который вѣроятно разбудилъ всѣхъ въ домѣ. Послѣ нѣкотораго молчанія къ нему подошелъ докторъ и тронулъ его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали.

— Агей Алексѣичъ! — сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Послѣ рѣзкихъ словъ, послѣ того, какъ вы, забывъ всякое приличіе, обозвали меня канальей, согласитесь, намъ уже нельзя оставаться подъ одной крышей. Я вами страшно оскорбленъ... Допустимъ, что я виноватъ, но... въ чемъ я, въ сущности, виноватъ? Дама честная, благородная, и вдругъ вы позволяете себѣ подобныя выраженія. Извините, мы болѣе не товарищи.

— И отлично! Не надо мнѣ такихъ товарищей.

— Я уѣзжаю сію минуту, больше оставаться я съ вами не могу, и... надѣюсь, мы больше не встрѣтимся.

— Вы уѣдете на чемъ-съ?

— На своихъ лошадяхъ.

— А я на чемъ же уѣду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на вашихъ лошадяхъ, на вашихъ же обязаны и увезти.

— Я васъ довезу, если угодно. Только сейчасъ... Я сейчасъ ѣду. Я такъ взволнованъ, что больше не могу здѣсь оставаться.

Затѣмъ Гришуткинъ и Свистицкій молча одѣлись и вышли на дворъ. Разбудили Мишку, потомъ сѣли въ тарантасъ и поѣхали...

— Циникъ...—бормоталъ всю дорогу слѣдователь.—Если не умѣешь обращаться съ порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай въ домахъ, гдѣ женщины.

Себя ли это бранилъ онъ, или доктора, трудно было понять. Когда тарантасъ остановился около его квартиры, онъ спрыгнулъ и, скрываясь за воротами, проговорилъ:

— Не желаю быть знакомымъ!

Прошло три дня. Докторъ, окончивъ свою визитацію, лежалъ у себя на диванѣ и отъ нечего-дѣлать читалъ въ «Календарѣ для врачей» фамиліи петербургскихъ и московскихъ докторовъ, стараясь отыскать самую звучную и кра-

сивую. На душѣ у него было тихо, хорошо, плавно, какъ на небѣ, въ синевѣ котораго неподвижно стоитъ жаворонокъ, и это благодаря тому, что въ прошлую ночь онъ видѣлъ во снѣ пожаръ, что означало счастье. Вдругъ послышался шумъ подъѣхавшихъ саней (вышалъ снѣжокъ), и на порогѣ показался слѣдователь Гришуткинъ. Это былъ неожиданный гость. Докторъ поднялся и поглядѣлъ на него сконфуженно и со страхомъ. Гришуткинъ кашлянулъ, потупилъ глаза и медленно направился къ дивану.

— Я пріѣхалъ извиниться, Тимоѳей Васильичъ, — началъ онъ. — Я былъ по отношенію къ вамъ немножко нелюбезенъ и даже, кажется, сказалъ вамъ какую-то непріятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояніе, вслѣдствіе наливки, выпитой у той старой канальи, и извините...

Докторъ привскочилъ и, со слезами на глазахъ, пожалъ протянутую руку.

— Ахъ... помилуйте! Марья, чаю!

— Нѣтъ, не надо чаю... Некогда. Вмѣсто чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьемъ квасу и поѣдемъ трупъ вскрывать.

— Какой трупъ?

— Да все тотъ же унтеръ-офицерскій, который тогда ѣздили вскрывать, да не доѣхали.

Гришуткинъ и Свистицкій выпили квасу и поѣхали на вскрытіе.

— Конечно, я извиняюсь, — говорилъ дорогой слѣдователь:—я тогда погорячился, но все же, знаете ли, обидно, что вы не наставили роговъ этому прокурору... ккканальѣ.

Проѣзжая черезъ Алимоново, они увидѣли около трактира ежовскую тройку...

— Ежовъ тутъ! — сказалъ Гришуткинъ. — Его лошади. Зайдемте, повидаемся... Выпьемъ зельтерской воды и кстати на сидѣлочку поглядимъ. Тутъ знаменитая сидѣлка! Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылѣзли изъ саней и пошли въ трактиръ. Тамъ сидѣли Ежовъ и Тюльпанскій и пили чай съ клюквеннымъ морсомъ.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежовъ, увидѣвъ Гришуткина и доктора.

— На вскрытіе все ѣздимъ, да никакъ не доѣдемъ. Въ заколдованный кругъ попали. А вы куда?

— Да на съѣздъ, батенька!

— Зачѣмъ такъ часто? Вѣдь вы третьяго дня ѣздили!

— Кой чортъ, ѣздили... У прокурора зубы болѣли, да и я не въ себѣ какъ-то былъ всѣ эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки, или пива? Дай-ка намъ, братъ сидѣлочка, того и другого. Ахъ, что за сидѣлка!

— Да, знаменитая сидѣлка,—согласился слѣдователь.— Замѣчательная сидѣлка. Баба ой-ой-ой!

Черезъ два часа изъ трактира вышелъ докторскій Мишка и сказалъ генеральскому кучеру, чтобы тотъ распрягъ и поводилъ лошадей.

— Баринъ велѣлъ... Въ карты засѣли! — сказалъ онъ и махнулъ рукой.—Теперь до завтраго отсюда не выберемся. Н-ну, и исправникъ ѣдетъ! Стало-быть, до послѣ-завтра тутъ сидѣть будемъ!

Къ трактиру подкатилъ исправникъ. Узнавъ ежовскихъ лошадей, онъ пріятно улыбнулся и вбѣжалъ по лѣсенкѣ...

# ТОРЖЕСТВО ПОБѢДИТЕЛЯ.

(Разсказъ отставного коллежскаго регистратора.)

---

Въ пятницу на масленой всѣ отправились ѣсть блины къ Алексѣю Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для васъ, быть-можетъ, онъ ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящаго высоко подъ небесами, онъ великъ, всемогущъ, высокомудръ. Отправились къ нему всѣ, составляющіе его, такъ сказать, подножіе. Пошелъ и я съ папашей.

Блины были такіе великолѣпные, что выразить вамъ не могу, милостивый государь: пухленькіе, рыхленькіе, румяненькіе. Возьмешь одинъ, чортъ его знаетъ, обмакнешь его въ горячее масло, съѣшь—другой самъ въ ротъ лѣзетъ. Деталями, орнаментами и комментаріями были: сметана, свѣжая икра, семга, тертый сыръ. Винъ и водокъ цѣлое море. Послѣ блиновъ осетровую уху ѣли, а послѣ ухи куропатокъ съ подливкой. Такъ укомплектовались, что папаша мой тайкомъ разстегнулъ пуговки на животѣ и, чтобы кто не замѣтилъ сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексѣй Иванычъ, на правахъ нашего начальника, которому все позволено, разстегнулъ жилетку и сорочку. Послѣ обѣда, не вставая изъ-за стола, закурили, съ дозволенія начальства, сигары и повели бесѣду. Мы слушали, а его превосходительство, Алексѣй Иванычъ, говорилъ. Сюжетцы были все больше юмористическаго характера, масленичнаго... Начальникъ разсказывалъ и видимо желалъ казаться остроумнымъ. Не знаю, сказалъ ли онъ что-нибудь смѣшное,

но только помню, что папаша ежеминутно толкалъ меня въ бокъ и говорилъ:

— Смѣйся!

Я раскрывалъ широко ротъ и смѣялся. Разъ даже взвизгнулъ отъ смѣха, чѣмъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе.

— Такъ, такъ! — зашепталъ папаша. — Молодецъ! Онъ глядитъ на тебя и смѣется... Это хорошо; можетъ, въ самомъ дѣлѣ, дастъ тебѣ мѣсто помощника письмоводителя!

— Нда-съ!—сказалъ между прочимъ Козулинъ, начальникъ нашъ, пыхтя и отдуваясь. — Теперь мы блины кушаемъ, наисвѣжайшую икру употребляемъ, жену бѣлотѣлую ласкаемъ. А дочки у меня такія красавицы, что не только ваша братія смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхаютъ. А квартира? Хе-хе-хе... То-то вотъ! Не ропщите, не сѣтуйте и вы, покуда до конца не доживете! Все бываетъ, ну и всякія перемѣны бываютъ... Ты теперь, положимъ, ничтожество, нуль, соринка... изюминка— а кто знаетъ? Можетъ-быть, современемъ и того... судьбы человѣческія за вихоръ возьмешь! Всякое бываетъ!

Алексѣй Иванычъ помолчалъ, покачалъ головой и продолжалъ:

— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не вѣришь. Безъ сапогъ, въ рваныхъ штанишкахъ, со страхомъ и трепетомъ... За цѣлковый, бывало, двѣ недѣли работаешь. Да не дадутъ тебѣ этотъ цѣлковый, нѣтъ! а скомкаютъ да въ лицо бросятъ: лопай! И всякій тебя раздавить можетъ, уколоть, обухомъ хватить... Всякій оконфузить можетъ... Идешь съ докладомъ, глядишь, а у дверей собачонка сидитъ. Подойдешь ты къ этой собачонкѣ, да за лапочку, за лапочку. Извините, молъ, что мимо прошелъ. Съ добрымъ утромъ-съ! А собачонка на тебя: рррр... Швейцаръ тебя локтемъ—толкъ! а ты ему: мелкихъ нѣтъ, Иванъ Потапычъ!.. извините-съ! А больше всего я натерпѣлся и поношеній разныхъ вынесъ отъ этого вотъ сига копченаго, отъ этого вотъ... крокодила! Вотъ отъ этого самаго смиренника, отъ Курицина!

И Алексѣй Иванычъ указалъ на маленькаго, сгорбленнаго старичка, сидѣвшаго рядомъ съ моимъ папашей. Старичокъ мигалъ утомленными глазками и съ отвращеніемъ курилъ сигару. Обыкновенно онъ никогда не куритъ, но

если начальство предлагаетъ ему сигару, то онъ считаетъ неприличнымъ отказываться. Увидѣвъ устремленный на него палецъ, онъ страшно сконфузился и завертѣлся на стулѣ.

— Много я претерпѣлъ по милости этого смиренника!— продолжалъ Козулинъ.—Я вѣдь къ нему къ первому подъ начало попалъ. Привели меня къ нему смиренькаго, сѣренькаго, ничтожненькаго и посадили за его столъ. И сталъ онъ меня ѣсть... Что ни слово—то ножъ острый, что ни взглядъ—то пуля въ грудь. Теперь-то онъ червячкомъ глядитъ, убогенькимъ, а прежде что было! Нептунъ! Небеса разверзеся! Долго онъ меня терзалъ! Я и писалъ ему, и за пирожками бѣгалъ, перья чинилъ, тещу его старую по театрамъ водилъ. Всякія угожденія ему дѣлалъ. Табакъ нюхать выучился! Нда... А все для него... Нельзя, думаю, надо, чтобъ табакерка при мнѣ постоянно была на случай, ежели спроситъ. Курицынъ, помнишь? Приходитъ къ нему однажды моя матушка покойница и проситъ его, старушечка, чтобъ онъ сынка, меня то-есть, на два дня къ тетушкѣ отпустилъ, наслѣдство дѣлить. Какъ накинется на нее, какъ вытаращитъ бѣльмы, какъ закричитъ: «Да онъ у тебя лѣнтяй, да онъ у тебя дармоѣдъ, да чего ты, дура, смотришь!.. Подъ судъ, говоритъ, попадетъ!» Пошла старушечка домой да и слегла, заболѣла отъ перепугу, чуть не померла въ ту пору...

Алексѣй Иванычъ вытеръ глаза платочкомъ и залпомъ выпилъ стаканъ вина.

— Женить меня на своей собирался, да я на ту пору... къ счастью горячкой заболѣлъ, полгода въ больницѣ пролежалъ. Вотъ что прежде было! Вотъ какъ живали! А теперь? Пфи! А теперь я... я надъ нимъ... Онъ мою тещу въ театры водитъ, онъ мнѣ табакерку подаетъ и вотъ сигару куритъ. Хе-хе-хе... Я ему въ жизнь перчику... перчику! Курицынъ!!

— Чего изволите-съ?—спросилъ Курицынъ, вставая и вытягиваясь въ струнку.

— Трагедію представь!

— Слушаю!

Курицынъ вытянулся, нахмурился, поднялъ вверхъ руку, скорчилъ рожу и пропѣлъ сиплымъ, дребезжащимъ голосомъ:

— Умри, вѣроломная! Крррови жажду!!

Мы покатились со смѣху.

— Курицынъ! Съѣшь этотъ самый кусокъ хлѣба съ перчикомъ!

Сытый Курицынъ взялъ большой кусокъ ржаного хлѣба, посыпалъ его перцемъ и сжевалъ при громкомъ смѣхѣ.

— Всякія перемѣны бываютъ,—продолжалъ Козулинъ.— Сядь, Курицынъ! Когда встанемъ, пропоешь что-нибудь... Тогда ты, а теперь я... Да... Такъ и померла старушечка... Да...

Козулинъ поднялся и покачнулся...

— А я — молчокъ, потому что маленькій, сѣренькій... Мучители... Варвары... А теперь зато я... Хе-хе-хе... А ну-ка ты! Ты! Тебѣ говорятъ, безусый!

И Козулинъ ткнулъ пальцемъ въ сторону папаши.

— Бѣгай вокругъ стола и пой пѣтушкомъ!

Папаша мой улыбнулся, пріятно покраснѣлъ и засѣменилъ вокругъ стола. Я за нимъ.

— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побѣжали быстрѣе.

Я бѣгалъ и думалъ:

«Быть мнѣ помощникомъ письмоводителя!»

# ВОРОНА.

Было не больше шести часовъ вечера, когда блуждавшій по городу поручикъ Стрекачевъ, идя мимо большого трехъ-этажнаго дома, случайно бросилъ взглядъ на розовыя занавѣски бельэтажа.

— Тутъ мадамъ Дуду живетъ...—вспомнилъ онъ.—Давно ужъ я у нея не былъ. Не зайти ли?

Но прежде, чѣмъ рѣшить этотъ вопросъ, Стрекачевъ вынулъ изъ кармана кошелекъ и робко взглянулъ въ него. Увидѣлъ онъ тамъ одинъ скомканный, пахнущій керосиномъ рубль, пуговицу, двѣ копейки и—больше ничего.

— Мало... Ну, да ничего,—рѣшилъ онъ. — Зайду такъ, посижу немножко.

Черезъ минуту Стрекачевъ стоялъ уже въ передней и полною грудью вдыхалъ густой запахъ духовъ и глицериноваго мыла. Пахло еще чѣмъ-то, чего описать нельзя, но что можно обонять въ любой женской, такъ - называемой одинокой квартирѣ: смѣсь женскихъ пачулей съ мужской сигарой. На вѣшалкѣ висѣло нѣсколько манто, ватерпруфовъ и одинъ мужской, лоснящійся цилиндръ. Войдя въ залу, поручикъ увидѣлъ то же, что видѣлъ онъ и въ прошломъ году: піанино съ порванными нотами, вазочку съ увядающими цвѣтами, пятно на полу отъ пролитаго ликера... Одна дверь вела въ гостиную, другая въ комнату, гдѣ m-me Дуду спала или играла въ пикетъ съ учителемъ танцевъ Вронди, старцемъ, очень похожимъ на Оффенбаха. Если взглянуть въ гостиную, то прямо видна была дверь и изъ нея выглядывалъ край кровати съ кисейнымъ, ро-

новымъ полотомъ. Тамъ жили «воспитанницы» m-me Дуду, Барбъ и Бланшъ.

Въ залѣ никого не было. Поручикъ направился въ гостиную и тутъ увидѣлъ живое существо. За круглымъ столомъ, развалясь на диванѣ, сидѣлъ какой-то молодой человѣкъ съ щетинистыми волосами и синими мутными глазами, съ холоднымъ потомъ на лбу и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто вылѣзалъ изъ глубокой ямы, въ которой ему было темно и страшно. Одѣтъ онъ былъ щегольски, въ новую трикотовую пару, которая носила еще на себѣ слѣды утюжной выправки; на груди болтался брелокъ; на ногахъ лакированные штиблеты съ пряжками, красные чулки. Молодой человѣкъ подпиралъ кулаками свои пухлыя щеки и тускло глядѣлъ на стоявшую передъ нимъ бутылочку зельтерской. Тутъ же на другомъ столѣ было нѣсколько бутылокъ, тарелка съ апельсинами.

Взглянувъ на вошедшаго поручика, франтъ вытаращилъ глаза, разинулъ ротъ. Удивленный Стрекачевъ сдѣлалъ шагъ назадъ... Во франтѣ съ трудомъ узналъ онъ писаря Филенкова, котораго онъ не далѣе какъ сегодня утромъ распекалъ въ канцеляріи за безграмотно написанную бумагу, за то, что слово «капуста» онъ написалъ такъ: «копусста».

Филенковъ медленно поднялся и уперся руками о столъ. Минуту онъ не спускалъ глазъ съ лица поручика и даже посинѣлъ отъ внутренняго напряженія.

— Ты какъ же это сюда попалъ? — строго спросилъ у него Стрекачевъ.

— Я, ваше благородіе, — залепеталъ писарь, потупя взоръ: — на днѣ рожденія-съ... При всеобщей повинной военности, когда всѣхъ уравняли, которые...

— Я тебя спрашиваю, какъ ты сюда попалъ? — возвысилъ голосъ поручикъ. — И что это за костюмъ?

— Я, ваше благородіе, чувствую свою виновность, но... ежели взять, что при всеобщей повинной... военной всеобщности всѣхъ уравняли, и къ тому какъ я все-таки человѣкъ образованный, не могу на днѣ рожденія мамзель Барбъ существовать въ формѣ нижняго чина, то я и надѣлъ оный костюмъ соотвѣтственно своему домашнему обиходу, какъ я, значитъ, потомственный почетный гражданинъ.

Увидѣвъ, что глаза поручика становятся все сердитѣе,

Филенковъ умолкъ и нагнулъ голову, словно ожидая, что его сейчасъ трахнутъ по затылку. Поручикъ раскрылъ ротъ, чтобы произнести «пошелъ вонъ!», но въ это время въ гостиную вошла блондинка съ поднятыми бровями, въ капотѣ ярко-желтаго цвѣта. Узнавъ поручика, она взвизгнула и бросилась къ нему.

— Вася! Офицеръ!!

Увидѣвъ, что Барбъ (это была одна изъ воспитанницъ m-me Дуду) фамильярна съ поручикомъ, писарь оправился и ожилъ. Растопыривъ пальцы, онъ выскочилъ изъ-за стола и замахалъ руками.

— Ваше благородіе!—заговорилъ онъ, захлебываясь.— Со днемъ рожденія имѣю честь поздравить любимаго существа! Въ Парижѣ такой не сыщешь! Именно-съ! Огонь! Трехъ сотенныхъ не пожалѣлъ, а сшилъ ей этотъ капотъ по случаю дня рожденія любимаго существа! Ваше благородіе, шампанскаго! За новорожденную!

— А гдѣ Бланшъ?—спросилъ поручикъ.

— Сейчасъ выйдетъ, ваше благородіе!—отвѣтилъ писарь, хотя вопросъ относился не къ нему, а къ Барбъ. — Сію минуту! Дѣвица а ля компрене аревуаръ консоме! Намедни купецъ изъ Костромы пріѣзжалъ, пятьсотъ отвалилъ... Легко ли дѣло, пятьсотъ! Я тыщу дамъ, только спервоначалу характеръ мой уважь! Такъ ли я разсуждаю? Ваше благородіе, пожалуйте-съ!

Писарь подалъ поручику и Барбъ по стакану шампанскаго, а самъ выпилъ рюмку водки. Поручикъ выпилъ, но тотчасъ же спохватился.

— Ты, я вижу, позволяешь себѣ лишнее,—сказалъ онъ.— Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы онъ тебя посадилъ на сутки.

— Ваше благородіе, да можетъ, вы думаете, что я какой ни-на-есть свинья? Такъ вы думаете? Господи! Да вѣдь мой папаша потомственный почетный гражданинъ, орденовъ кавалеръ! Меня, ежели желаете знать, генералъ крестилъ. А вы думаете, что я, ежели писарь, то ужъ и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчикъ... шипучечки... Барбъ, лупи! Не стѣсняйся, за все можемъ заплатить. При современной образованности всѣхъ уравняли. Генеральскій или купеческій сынъ идетъ на службу все равно какъ мужикъ. Я, ваше благородіе, былъ и въ гимназіи, и въ реаль-

номъ, и въ коммерческомъ... Вездѣ выгоняли! Барбъ, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородіе, стаканчикъ!

Вошла и m-me Дуду высокая, полная дама съ ястребинымъ лицомъ. За ней сѣменилъ Вронди, похожій на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланшъ, маленькая брюнетка, лѣтъ 19-ти, со строгимъ лицомъ и съ греческимъ носомъ, повидимому, еврейка. Писарь выбросилъ еще одну радужную.

— Жарь во всѣ! Жги! Позвольте мнѣ эту вазу разбить! Отъ чувствъ!

M-me Дуду начала разсказывать, что теперь всякая честная дѣвушка можетъ составить себѣ приличную партію, и что дѣвушкамъ пить неприлично, а если она и позволяетъ своимъ дѣвушкамъ пить, то только потому, что надѣется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другіе, она и сидѣть бы имъ здѣсь не позволила.

Отъ вина и сосѣдства Бланшъ у поручика стала кружиться голова, и онъ забылъ о писарѣ.

— Музыку! — кричалъ отчаяннымъ голосомъ писарь. — Подавай музыку! На основаніи приказа за номеромъ сто двадцатымъ предлагаю вамъ танцовать! Ти-ише! — продолжалъ орать во все горло писарь, думая, что это не онъ самъ кричитъ, а кто-то другой.—Ти-ише! Я желаю, чтобъ танцовали! Вы должны мой характеръ уважить! Качучу! Качучу!

Барбъ и Бланшъ посовѣтовались съ m-me Дуду, старикъ Вронди сѣлъ за піанино. Танецъ начался. Филенковъ, топая въ тактъ ногами, слѣдилъ за движеніями четырехъ женскихъ ногъ и ржалъ отъ удовольствія.

— Рви! Вѣрно! Чувствуй! Отдирай, примерзло!

Немного погодя, вся компанія поѣхала въ коляскахъ въ «Аркадію». Филенковъ ѣхалъ съ Барбъ, поручикъ съ Бланшъ, Вронди съ m-me Дуду. Въ «Аркадіи» заняли столъ и потребовали ужинъ. Тутъ Филенковъ до того допился, что охрипъ и потерялъ способность махать руками. Онъ сидѣлъ мрачный и говорилъ, моргая глазами, какъ бы собираясь заплакать:

— Кто я? Нешто я человѣкъ? Я ворона! Потомственный почетный гражданинъ... — передразнилъ онъ себя. — Ворона ты, а не гра... гражданинъ.

Поручикъ, отуманенный виномъ, почти не замѣчалъ его. Разъ только, увидѣвъ въ туманѣ его пьяную физіономію, онъ нахмурилъ брови и сказалъ:

— Ты, я вижу, позволяешь себѣ очень...

Но тотчасъ же потерялъ способность соображать и чокнулся съ нимъ.

Изъ «Аркадіи» поѣхали въ Крестовскій садъ. Тутъ m-me Дуду простилась съ молодежью, сказавъ, что она вполнѣ надѣется на порядочность мужчинъ, и уѣхала съ Вронди. Потомъ потребовали для освѣженія кофе съ коньякомъ и ликеровъ. Потомъ квасу и водки, и зернистой икры. Писарь вымазалъ себѣ лицо икрой и сказалъ:

— Я теперь арабъ или въ родѣ какъ бы нечистый духъ.

На другой день утромъ поручикъ, чувствуя въ головѣ свинецъ, а во рту жаръ и сухость, отправился къ себѣ въ канцелярію. Филенковъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ въ писарской формѣ и дрожащими руками списывалъ какія-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжникъ, щетинистые волосы глядѣли въ разныя стороны, глаза слипались... Увидѣвъ поручика, онъ тяжело поднялся, вздохнулъ и вытянулся во фронтъ. Поручикъ, злой и не опохмелившійся, отвернулся и занялся своимъ дѣломъ. Минутъ десять длилось молчаніе, но вотъ глаза его встрѣтились съ мутными глазами писаря, и въ этихъ глазахъ прочелъ онъ все: красныя занавѣсочки, раздирательный танецъ, «Аркадію», профиль Бланшъ...

— При всеобщей повинной военности... — забормоталъ Филенковъ:—когда даже... профессоровъ въ солдаты берутъ... когда всѣхъ уравняли... и даже свобода гласности...

Поручикъ хотѣлъ распечь его, послать къ Демьянову, но махнулъ рукой и сказалъ тихо:

— А ну тебя къ чорту!

И вышелъ изъ канцеляріи.

# НЕОСТОРОЖНОСТЬ.

Петръ Петровичъ Стрижинъ, племянникъ полковницы Ивановой, тотъ самый, у котораго въ прошломъ году украли новыя калоши, вернулся съ крестинъ ровно въ два часа ночи. Чтобы не разбудить своихъ, онъ осторожно раздѣлся въ передней, на цыпочкахъ, чуть дыша, пробрался къ себѣ въ спальню и, не зажигая огня, сталъ готовиться ко сну.

Стрижинъ ведетъ жизнь трезвую и регулярную, выраженіе лица у него душеспасительное, книжки онъ читаетъ только духовно-нравственныя, но на крестинахъ отъ радости, что Любовь Спиридоновна благополучно разрѣшилась отъ бремени, онъ позволилъ себѣ выпить четыре рюмки водки и стаканъ вина, напоминавшаго своимъ вкусомъ что-то среднее между уксусомъ и касторовымъ масломъ. Горячіе же напитки подобны морской водѣ или славѣ: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ сильнѣе жаждешь... И теперь, раздѣваясь, Стрижинъ чувствовалъ непреодолимое желаніе выпить.

«У Дашеньки, кажется, есть водка въ шкапу, въ правомъ углу,—думалъ онъ.—Если я выпью одну рюмку, то она не замѣтитъ».

Послѣ нѣкотораго колебанія, пересиливъ свой страхъ, Стрижинъ направился къ шкапу. Отворивъ осторожно дверцу, онъ нащупалъ въ правомъ углу бутылку и рюмку, налилъ, поставилъ бутылку на мѣсто, потомъ перекрестился и выпилъ. И тотчасъ же произошло нѣчто въ родѣ чуда. Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдругъ отбросило отъ шкапа къ сундуку. Въ глазахъ его засверкало, дыханіе сперло, по всему тѣлу пробѣжало такое ощущеніе, какъ-будто онъ упалъ въ болото, полное пьявокъ. Ему показалось, что вмѣсто водки онъ проглотилъ кусокъ динамита, который взорвалъ его тѣло, домъ, весь переулокъ... Голова, руки, ноги—все оторвалось и полетѣло куда-то къ чорту, въ пространство...

Минуты три онъ лежалъ на сундукѣ неподвижно, не дыша, потомъ поднялся и спросилъ себя:

— Гдѣ я?

Первое, что онъ ясно ощутилъ, прійдя въ себя, это былъ рѣзкій запахъ керосина.

— Батюшки мои, это я вмѣсто водки керосину выпилъ!— ужаснулся онъ.—Святители угодники!

Отъ мысли, что онъ отравился, его бросило и въ холодъ, и въ жаръ. Что ядъ былъ дѣйствительно принятъ, свидѣтельствовали, кромѣ запаха въ комнатѣ, жженіе во рту, искры въ глазахъ, звонъ колоколовъ въ головѣ и колотье въ желудкѣ. Чувствуя приближеніе смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, онъ пожелалъ проститься съ близкими и отправился въ спальню Дашеньки. (Будучи вдовымъ, онъ у себя въ квартирѣ держалъ вмѣсто хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую дѣву).

— Дашенька!—сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, входя въ спальню.—Дорогая Дашенька!

Что-то заворочалось въ потемкахъ и испустило глубокій вздохъ.

— Дашенька!

— А? Что?—быстро заговорилъ женскій голосъ.—Это вы, Петръ Петровичъ? Уже вернулись? Ну, что? Какъ назвали дѣвочку? Кто былъ кумой?

— Кумой была Наталья Андреевна Великосвѣтская, а кумомъ Павелъ Иванычъ Безсонницынъ... Я... я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную назвали Олимпіадой въ честь ихней благодѣтельницы... Я... я, Дашенька, выпилъ керосину...

— Вотъ еще! Нешто тамъ подавали керосинъ?

— Признаться, я хотѣлъ, не спросясь васъ, водки выпить, и... и Богъ наказалъ: по нечаянности я въ потемкахъ керосину выпилъ... Что мнѣ дѣлать?

Дашенька, услышавъ, что безъ ея разрѣшенія отворяли шкапъ, оживилась... Она быстро зажгла свѣчку, прыгнула съ постели и въ одной сорочкѣ, весноватая, костлявая, въ папильоткахъ, зашлепала босыми ногами къ шкапу.

— Кто же это вамъ позволилъ? — спросила она строго, оглядывая внутренность шкапа. — Нешто водка для васъ поставлена?

— Я... я, Дашенька, пилъ не водку, а керосинъ...—пробормоталъ Стрижинъ, отирая холодный потъ.

— А зачѣмъ вамъ керосинъ трогать? Развѣ это ваше дѣло? Для васъ онъ поставленъ? Или, по-вашему, керосинъ денегъ не стоитъ? А? Да вы знаете, почемъ теперь керосинъ? Знаете?

— Дорогая Дашенька!—простоналъ Стрижинъ.—Вопросъ идетъ о жизни и смерти, а вы о деньгахъ!

— Напился пьяный и въ шкапъ суетъ свой носъ! — крикнула Дашенька, сердито хлопнувъ дверцей. — О, изверги, мучители! Страдалица я, несчастная, ни днемъ, ни ночью покою! Аспиды-василиски, ироды окаянные, чтобъ вамъ на томъ свѣтѣ такъ жилось! Завтра же съѣзжаю! Я дѣвица и не позволяю вамъ стоять передо мною въ одномъ нижнемъ бѣльѣ! Вы не смѣете глядѣть на меня, когда я не одѣта!

И пошла, и пошла... Зная, что разсерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой изъ пушекъ, Стрижинъ махнулъ рукой, одѣлся и рѣшилъ сходить къ доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда онъ не нуженъ. Избѣгавъ три улицы и позвонившись разъ пять къ доктору Чепхарьянцу и семь разъ къ доктору Бултыхину, Стрижинъ побѣжалъ въ аптеку: авось поможетъ аптекарь. Тутъ, послѣ долгаго ожиданія, къ нему вышелъ маленькій, чернявый и кудрявый фармацевтъ, заспанный, въ халатѣ, и съ такимъ серьезнымъ и умнымъ лицомъ, что даже стало страшно.

— Вамъ что угодно?—спросилъ онъ тономъ, какимъ могутъ говорить только очень умные и солидные фармацевты іудейскаго вѣроисповѣданія.

— Ради Бога... прошу васъ! — проговорилъ Стрижинъ, задыхаясь. — Дайте мнѣ чего-нибудь... Я сейчасъ по нечаянности керосину выпилъ! Умираю!

— Прошу васъ не волноваться и отвѣчать на вопросы, которые я буду вамъ задавать. Уже одинъ тотъ фактъ, что вы волнуетесь, не дозволяетъ мнѣ понимать васъ. Вы выпили керосину? Да-а?

— Да, керосину! Спасите пожалуйста!

Фармацевтъ хладнокровно и серьезно подошелъ къ конторкѣ, раскрылъ книгу и погрузился въ чтеніе. Прочитавъ двѣ страницы, онъ пожалъ однимъ плечомъ, потомъ дру-

гнилъ, состроилъ презрительную гримасу и, подумавъ, вышелъ въ смежную комнату. Часы пробили четыре. И когда они показывали десять минутъ пятаго, фармацевтъ вернулся съ другой книгой и опять погрузился въ чтеніе.

— Гм!—сказалъ онъ, какъ бы недоумѣвая.—Уже одинъ тотъ фактъ, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтобъ вы обратились не въ аптеку, а къ врачу.

— Но я уже былъ у докторовъ! Не дозвонился!

— Гм... Вы насъ, фармацевтовъ, не считаете за людей и безпокоите даже въ четыре часа ночи, а каждая собаке, каждый кошке имѣетъ покой... Вы ничего не желаете понимать, и, по-вашему, мы не люди и въ насъ нервы должны быть, какъ веревка.

Стрижинъ выслушалъ фармацевта, вздохнулъ и пошелъ домой.

— Стало-быть, суждено умереть!—думалъ онъ.

А во рту у него горѣло и пахло керосиномъ, въ желудкѣ рѣзало, въ ушахъ раздавалось: бумъ, бумъ, бумъ! Каждую минуту ему казалось, что конецъ его уже близокъ, что сердце его уже не бьется...

Придя домой, онъ поспѣшилъ написать: «Прошу въ моей смерти никого не винить», потомъ помолился Богу, легъ и укрылся съ головой. До утра онъ не спалъ и ждалъ смерти, и все время ему мерещилось, какъ его могила покрывается колодой зеленью и какъ надъ нею щебечутъ птички...

А утромъ онъ сидѣлъ на кровати и, улыбаясь, говорилъ Дашенькѣ:

— Кто ведетъ правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отрава не возьметъ. Вотъ хоть бы меня взять въ примѣръ. Былъ я на краю погибели, умиралъ, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и въ глоткѣ саднитъ, а все тѣло здорово, слава Богу... А отчего? Потому что регулярная жизнь.

— Нѣтъ, это значитъ—керосинъ плохой!—вздыхала Дашенька, думая о расходахъ и глядя въ одну точку.—Значитъ, лавочникъ мнѣ далъ не лучшаго, а того, что полторы копейки фунтъ. Страдалица я, несчастная, изверги-мучители, чтобъ вамъ на томъ свѣтѣ такъ жилось, проды окаянные...

И пошла, и пошла...

# ХОРИСТКА.

Однажды, когда она еще была моложе, красивѣе и голосистѣе, у нея на дачѣ, въ антресоляхъ сидѣлъ Николай Петровичъ Колпаковъ, ея обожатель. Было нестерпимо жарко и душно. Колпаковъ только-что пообѣдалъ и выпилъ цѣлую бутылку плохого портвейна, чувствовалъ себя не въ духѣ и нездорово. Оба скучали и ждали, когда спадетъ жара, чтобъ пойти гулять.

Вдругъ неожиданно въ передней позвонили. Колпаковъ, который былъ безъ сюртука и въ туфляхъ, вскочилъ и вопросительно поглядѣлъ на Пашу.

— Должно-быть, почтальонъ, или, можетъ, подруга,— сказала пѣвица.

Колпаковъ не стѣснялся ни подруги Паши, ни почтальоновъ, но на всякій случай взялъ въ охапку свое платье и пошелъ въ смежную комнату, а Паша побѣжала отворять дверь. Къ ея великому удивленію, на порогѣ стоялъ не почтальонъ и не подруга, а какая-то незнакомая женщина, молодая, красивая, благородно одѣтая и, по всѣмъ видимостямъ, изъ порядочныхъ.

Незнакомка была блѣдна и тяжело дышала, какъ отъ ходьбы по высокой лѣстницѣ.

— Что вамъ угодно?—спросила Паша.

Барыня не сразу отвѣтила. Она сдѣлала шагъ впередъ, медленно оглядѣла компату и сѣла съ такимъ видомъ, какъ будто не могла стоять отъ усталости или нездоровья; потомъ она долго шевелила блѣдными губами, стараясь что-то выговорить.

— Мой мужъ у васъ?—спросила она наконецъ, поднявъ на Пашу свои большіе глаза съ красными, заплаканными вѣками.

— Какой мужъ?—прошептала Паша и вдругъ испугалась такъ, что у нея похолодѣли руки и ноги.—Какой мужъ?—повторила она, начиная дрожать.

— Мой мужъ... Николай Петровичъ Колпаковъ.

— Нѣ... нѣтъ, сударыня... Я... я никакого мужа не знаю.

Прошла минута въ молчаніи. Незнакомка нѣсколько разъ провела платкомъ по блѣднымъ губамъ и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыханіе, а Паша стояла передъ ней неподвижно, какъ вкопанная, и глядѣла на нее съ недоумѣніемъ и страхомъ.

— Такъ его, вы говорите, нѣтъ здѣсь?—спросила барыня уже твердымъ голосомъ и какъ-то странно улыбаясь.

— Я... я не знаю, про кого вы спрашиваете.

— Гадкая вы, подлая, мерзкая...—пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу съ ненавистью и отвращеніемъ.—Да, да... вы гадкая. Очень, очень рада, что, наконецъ, могу высказать вамъ это!

Паша почувствовала, что на эту даму въ черномъ, съ сердитыми глазами и съ бѣлыми, тонкими пальцами, она производитъ впечатлѣніе чего-то гадкаго, безобразнаго, и ей стало стыдно своихъ пухлыхъ, красныхъ щекъ, рябинъ на носу и чолки на лбу, которая никакъ не зачесывалась наверхъ. И ей казалось, что если бы она была худенькая, не напудренная и безъ чолки, то можно было бы скрыть, что она непорядочная, и было бы не такъ страшно и стыдно стоять передъ незнакомой, таинственной дамой.

— Гдѣ мой мужъ?—продолжала дама.—Впрочемъ, здѣсь онъ, или нѣтъ, мнѣ все равно, но должна я вамъ сказать, что обнаружена растрата и Николая Петровича ищутъ... Его хотятъ арестовать. Вотъ что вы надѣлали!

Барыня встала и въ сильномъ волненіи прошлась по комнатѣ. Паша глядѣла на нее и отъ страха не понимала.

— Сегодня же его найдутъ и арестуютъ,—сказала барыня и всхлипнула, и въ этомъ звукѣ слышались оскорбленіе и досада.—Я знаю, кто довелъ его до такого ужаса! Гадкая, мерзкая! Отвратительная, продажная тварь! (у барыни губы покривились и поморщился носъ отъ отвраще-

нія).—Я безсильна... слушайте вы, низкая женщина!.. я безсильна, вы сильнѣе меня, но есть кому вступиться за меня и моихъ дѣтей! Богъ все видитъ! Онъ справедливъ! Онъ взыщетъ съ васъ за каждую мою слезу, за всѣ безсонныя ночи! Будетъ время, вспомните вы меня!

Опять наступило молчаніе. Барыня ходила по комнатѣ и ломала руки, а Паша все еще глядѣла на нее туно, съ недоумѣніемъ, не понимала и ждала отъ нея чего-то страшнаго.

— Я, сударыня, ничего не знаю,—проговорила она и вдругъ заплакала.

— Лжете вы!—крикнула барыня и злобно сверкнула на нее глазами.—Мнѣ все извѣстно! Я давно уже знаю васъ! Я знаю, въ послѣдній мѣсяцъ онъ просиживалъ у васъ каждый день!

— Да. Такъ что же? Что изъ этого? У меня бываетъ много гостей, но я никого не неволю. Вольному воля.

— Я говорю вамъ: обнаружена растрата! Онъ растратилъ на службѣ чужія деньги! Ради такой... какъ вы, ради васъ онъ рѣшился на преступленіе. Послушайте,—сказала барыня рѣшительнымъ тономъ, останавливаясь передъ Пашей.—У васъ не можетъ быть принциповъ, вы живете для того только, чтобъ приносить зло, это цѣль ваша, но нельзя же думать, что вы такъ низко пали, что у васъ не осталось и слѣда человѣческаго чувства! У него есть жена, дѣти... Если его осудятъ и сошлютъ, то я и дѣти умремъ съ голода... Поймите вы это! А между тѣмъ есть средство спасти его и насъ отъ нищеты и позора. Если я сегодня внесу девятьсотъ рублей, то его оставятъ въ покоѣ. Только девятьсотъ рублей!

— Какіе девятьсотъ рублей?—тихо спросила Паша.—Я... я не знаю... Я не брала...

— Я не прошу у васъ девятисотъ рублей... у васъ нѣтъ денегъ, да и не нужно мнѣ вашего. Я прошу другого... Мужчины обыкновенно такимъ, какъ вы, дарятъ драгоцѣнныя вещи. Возвратите мнѣ только тѣ вещи, которыя дарилъ вамъ мой мужъ!

— Сударыня, они никакихъ вещей мнѣ не дарили!—взвизгнула Паша, начиная понимать.

— Гдѣ же деньги? Онъ растратилъ свое, мое и чужое... Куда же все это дѣвалось? Послушайте, я прошу васъ! Я

была возмущена и наговорила вамъ много непріятнаго, но я извиняюсь. Вы должны меня ненавидѣть, я знаю, но если вы способны на состраданіе, то войдите въ мое положеніе! Умоляю васъ, отдайте мнѣ вещи!

— Гм...—сказала Паша и пожала плечами.—Я бы съ удовольствіемъ, но, накажи меня Богъ, они ничего мнѣ не давали. Вѣрьте совѣсти. Впрочемъ, правда ваша,—смутилась пѣвица: — они какъ-то привезли мнѣ двѣ штучки. Извольте, я отдамъ, ежели желаете...

Паша выдвинула одинъ изъ туалетныхъ ящичковъ и достала оттуда дутый золотой браслетъ и жидкое колечко съ рубиномъ.

— Извольте!—сказала она, подавая эти вещи гостьѣ.

Барыня вспыхнула, и лицо ея задрожало. Она оскорбилась.

— Что же вы мнѣ даете?—сказала она.—Я не милостыни прошу, а того, что принадлежитъ не вамъ... что вы, пользуясь вашимъ положеніемъ, выжали изъ моего мужа... этого слабаго, несчастнаго человѣка... Въ четвергъ, когда я видѣла васъ съ мужемъ на пристани, на васъ были дорогіе броши и браслеты. Стало-быть, нечего разыгрывать передо мной невиннаго барашка! Я въ послѣдній разъ прошу: дадите вы мнѣ вещи, или нѣтъ?

— Какія вы, ей-Богу, странныя...—сказала Паша, начиная обижаться.—Завѣряю васъ, что отъ вашего Николая Петровича я, кромѣ этой браслеты и колечка, ничего не видѣла. Они привезли мнѣ только сладкіе пирожки.

— Сладкіе пирожки...—усмѣхнулась незнакомка.—Дома дѣтямъ ѣсть нечего, а тутъ сладкіе пирожки. Вы рѣшительно отказываетесь возвратить вещи?

Не получивъ отвѣта, барыня сѣла и, о чемъ-то думая, уставилась въ одну точку.

— Что же теперь дѣлать?—проговорила она.—Если я не достану девятисотъ рублей, то и онъ погибъ, и я съ дѣтьми погибла. Убить эту мерзавку, или на колѣни стать передъ ней, что ли?

Барыня прижала платокъ къ лицу и зарыдала.

— Я прошу васъ!—слышалось сквозь ея рыданья.—Вѣдь разорили и погубили мужа, спасите его... Вы не имѣете къ нему состраданія, но дѣти... дѣти... Чѣмъ дѣти виноваты?

Паша вообразила маленькихъ дѣтей, которыя стоятъ на улицѣ и плачутъ отъ голода, и сама зарыдала.

— Что же я могу сдѣлать, сударыня?—сказала она.—Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вамъ, какъ предъ истиннымъ Богомъ... заявляю васъ, никакой пользы я отъ нихъ не имѣю... Въ нашемъ хорѣ только у одной Моти богатый содержатель, а всѣ мы перебиваемся съ хлѣба на квасъ. Николай Петровичъ образованный и деликатный господинъ, ну, я и принимала. Намъ нельзя не принимать.

— Я прошу вещи! Вещи мнѣ дайте! Я плачу... унижаюсь... Извольте, я на колѣни стану! Извольте!

Паша вскрикнула отъ испуга и замахала руками. Она чувствовала, что эта блѣдная, красивая барыня, которая выражается благородно, какъ въ театрѣ, въ самомъ дѣлѣ можетъ стать передъ ней на колѣни, именно изъ гордости, изъ благородства, чтобы возвысить себя и унизить хористку.

— Хорошо, я отдамъ вамъ вещи!—засуетилась Паша, утирая глаза.—Извольте. Только онѣ не Николая Петровичевы... Я ихъ отъ другихъ гостей получила. Какъ вамъ угодно-съ...

Паша выдвинула верхній ящикъ комода, достала оттуда брошку съ алмазами, коралловую нитку, нѣсколько колецъ, браслетъ, и подала все это дамѣ.

— Возьмите, ежели желаете, только я отъ вашего мужа никакой пользы не имѣла. Берите, богатѣйте!—продолжала Паша, оскорбленная угрозой стать на колѣни.—А ежели вы благородная... законная ему супруга, то и держали бы его при себѣ. Стало-быть! Я его не звала къ себѣ, онъ самъ пришелъ...

Барыня сквозь слезы оглядѣла поданныя ей вещи и сказала:

— Это не все... Тутъ и на пятьсотъ рублей не будетъ.

Паша порывисто вышвырнула изъ комода еще золотые часы, портсигаръ и запонки, и сказала, разводя руками:

— А больше у меня ничего не осталось... Хоть обыщите!

Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи въ платочекъ и, не сказавъ ни слова, даже не кивнувъ головой, вышла.

Отворилась изъ сосѣдней комнаты дверь, и вошелъ Колпаковъ. Онъ былъ блѣденъ и нервно встряхивалъ головой, какъ будто только-что принялъ что-то очень горькое; на глазахъ у него блестѣли слезы.

— Какія вы мнѣ вещи приносили?—набросилась на него Паша.—Когда, позвольте васъ спросить?

— Вещи... Пустое это—вещи!—проговорилъ Колпаковъ и встряхнулъ головой.—Боже мой! Она передъ тобой плакала, унижалась...

— Я васъ спрашиваю: какія вы мнѣ вещи приносили?—крикнула Паша.

— Боже мой, она, порядочная, гордая, чистая... даже на колѣни хотѣла стать передъ... передъ этой дѣвкой! И я довелъ ее до этого! Я допустилъ!

Онъ схватилъ себя за голову и простоналъ:

— Нѣтъ, я никогда не прощу себѣ этого! Не прощу! Отойди отъ меня прочь... дрянь!—крикнулъ онъ съ отвращеніемъ, пятясь отъ Паши и отстраняя ее отъ себя дрожащими руками.—Она хотѣла стать на колѣни и... передъ кѣмъ? Передъ тобой! О, Боже мой!

Онъ быстро одѣлся и, брезгливо сторонясь Паши, направился къ двери и вышелъ.

Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своихъ вещей, которыя она сгоряча отдала, и было обидно. Она вспомнила, какъ три года назадъ ее ни за что, ни про что побилъ одинъ купецъ, и еще громче заплакала.

# СТРАХИ.

За все время, пока я живу на этомъ свѣтѣ, мнѣ было страшно только три раза.

Первый настоящій страхъ, отъ котораго шевелились мои волосы и по тѣлу бѣгали мурашки, имѣлъ своей причиной ничтожное, но странное явленіе. Однажды, отъ нечего-дѣлать, ѣхалъ я іюльскимъ вечеромъ на почтовую станцію за газетами. Вечеръ былъ тихій, теплый и почти душный, какъ всѣ тѣ однообразные, іюльскіе вечера, которые, разъ начавшись, правильной, непрерывной чередой тянутся одинъ за другимъ недѣлю—двѣ, иногда и больше, и вдругъ обрываются бурной грозой съ роскошнымъ, надолго освѣжающимъ ливнемъ.

Солнце давно уже сѣло, и на всей землѣ лежала сплошная, сѣрая тѣнь. Въ неподвижномъ, застоявшемся воздухѣ сгущались медово-приторныя испаренія травъ и цвѣтовъ.

Ѣхалъ я на простыхъ, ломовыхъ дрогахъ. За моей спиной, положивъ голову на мѣшокъ съ овсомъ, тихо похрапывалъ сынъ садовника Пашка, мальчикъ лѣтъ восьми, котораго я взялъ съ собою на случай, если бы представилась надобность присмотрѣть за лошадью. Путь нашъ лежалъ по узкой, но прямой, какъ линейка, проселочной дорогѣ, которая, какъ большая змѣя, пряталась въ высокой, густой ржи. Блѣдно догорала вечерняя заря; свѣтлая полоса перерѣзывалась узкимъ, неуклюжимъ облакомъ, которое походило то на лодку, то на человѣка, окутаннаго въ одѣяло...

Проѣхалъ я версты двѣ—три, и вотъ на блѣдномъ фонѣ зари стали вырастать одинъ за другимъ стройные, рослые тополи; вслѣдъ за ними заблистала рѣка, и предо мною вдругъ, какъ по волшебству, раскинулась богатая картина.

Нужно было остановить лошадь, такъ какъ наша прямая дорога обрывалась и ужъ шла внизъ по крутому, поросшему кустарникомъ скату. Мы стояли на горѣ, а внизу подъ нами находилась большая яма, полная сумерекъ, причудливыхъ формъ и простора. На днѣ этой ямы, на широкой равнинѣ, сторожимое тополями и ласкаемое блескомъ рѣки, ютилось село. Оно теперь спало... Его избы, церковь съ колокольней и деревья вырисовывались изъ сѣрыхъ сумерекъ, и на гладкой поверхности рѣки темнѣли ихъ отраженія.

Я разбудилъ Пашку, чтобъ онъ не свалился съ дрогъ, и сталъ осторожно спускаться.

— Пріѣхали въ Луково?—спросилъ Пашка, лѣниво поднимая голову.

— Пріѣхали. Держи вожжи!..

Я сводилъ съ горы лошадь и глядѣлъ на село. Съ перваго же взгляда меня заняло одно странное обстоятельство: въ самомъ верхнемъ ярусѣ колокольни, въ крошечномъ окнѣ, между куполомъ и колоколами, мерцалъ огонекъ. Этотъ огонь, похожій на свѣтъ потухающей лампадки, то замиралъ на мгновеніе, то ярко вспыхивалъ. Откуда онъ могъ взяться? Происхожденіе его было для меня непонятно. За окномъ онъ не могъ горѣть, потому что въ верхнемъ ярусѣ колокольни не было ни иконъ, ни лампадъ; тамъ, какъ я зналъ, были однѣ только балки, пыль да паутина; пробраться въ этотъ ярусъ было трудно, потому что ходъ въ него изъ колокольни былъ наглухо забитъ.

Этотъ огонекъ могъ скорѣе всего быть отраженіемъ внѣшняго свѣта, но какъ я ни напрягалъ свое зрѣніе, въ громадномъ пространствѣ, которое лежало передо мной, я не увидѣлъ кромѣ этого огня ни одной свѣтлой точки. Луны не было. Блѣдная, совсѣмъ уже потухавшая полоска зари не могла отражаться, потому что окно съ огонькомъ глядѣло не на западъ, а на востокъ. Эти и другія подобныя соображенія бродили въ моей головѣ все время, пока я спускался съ лошадью внизъ. Внизу я сѣлъ на дроги и еще разъ взглянулъ на огонекъ. Онъ попрежнему мелькалъ и вспыхивалъ.

«Странно, — думалъ я, теряясь въ догадкахъ. — Очень странно».

И мною, мало-по-малу, овладѣло непріятное чувство. Сначала я думалъ, что это досада на то, что я не въ состояніи

объяснить простого явленія, но потомъ, когда я вдругъ въ ужасѣ отвернулся отъ огонька и ухватился одной рукой за Пашку, ясно стало, что мною овладѣваетъ страхъ... Меня охватило чувство одиночества, тоски и ужаса, точно меня противъ воли бросили въ эту большую, полную сумерекъ яму, гдѣ я одинъ-на-одинъ стоялъ съ колокольней, глядѣвшей на меня своимъ краснымъ глазомъ.

— Паша!—окликнулъ я, закрывая въ ужасѣ глаза.

— Ну?

— Паша, что это свѣтится на колокольнѣ?

Пашка поглядѣлъ черезъ мое плечо на колокольню и зѣвнулъ.

— А кто жъ его знаетъ!

Этотъ короткій разговоръ съ мальчикомъ нѣсколько успокоилъ меня, но не надолго. Пашка, замѣтивъ мое безпокойство, устремилъ свои большіе глаза на огонекъ, поглядѣлъ еще разъ на меня, потомъ опять на огонекъ...

— Мнѣ страшно!—прошепталъ онъ.

Тутъ ужъ, не помня себя отъ страха, я обхватилъ мальчика одной рукой, прижался къ нему и сильно ударилъ по лошади.

— Глупо!—говорилъ я себѣ.—Это явленіе страшно только потому, что непонятно... Все непонятное таинственно и потому страшно.

Я убѣждалъ себя и въ то же время не переставалъ стегать по лошади. Пріѣхавъ на почтовую станцію, я нарочно проболталъ со смотрителемъ цѣлый часъ, прочелъ двѣ-три газеты, но безпокойство все еще не покидало меня. На обратномъ пути огонька уже не было, но зато силуэты избъ, тополей и гора, на которую пришлось въѣзжать, казались мнѣ одушевленными. А отчего былъ тотъ огонекъ, до сихъ поръ я не знаю.

Другой страхъ, пережитый мною, былъ вызванъ не менѣе ничтожнымъ обстоятельствомъ... Я возвращался со свиданія. Былъ часъ ночи—время, когда природа обыкновенно погружена въ самый крѣпкій и самый сладкій, предутренній сонъ. Въ этотъ же разъ природа не спала, и ночь нельзя было назвать тихой. Кричали коростели, перепелы, соловьи, кулички, трещали сверчки и медвѣдки. Надъ травой носился легкій туманъ, а на небѣ мимо луны куда-то безъ оглядки бѣжали облака. Не спала природа, точно боялась проспать лучшія мгновенія своей жизни.

Я шелъ по узкой тропинкѣ у самаго края желѣзнодорожной насыпи. Лунный свѣтъ скользилъ по рельсамъ, на которыхъ уже лежала роса. Большія тѣни отъ облаковъ то и дѣло пробѣгали по насыпи. Далеко впереди покойно горѣлъ тусклый, зеленый огонекъ.

«Значитъ, все благополучно»...—думалъ я, глядя на него.

На душѣ у меня было тихо, покойно и благополучно. Шелъ я со свиданія, спѣшить мнѣ было некуда, спать не хотѣлось, а здоровье и молодость чувствовались въ каждомъ вздохѣ, въ каждомъ моемъ шагѣ, глухо раздававшемся въ однообразномъ гулѣ ночи. Не помню, что я тогда чувствовалъ, но помню, что мнѣ было хорошо, очень хорошо!

Пройдя не больше версты, я вдругъ услышалъ позади себя однозвучный, похожій на журчанье большого ручья, рокотъ. Съ каждой секундой онъ становился все громче и громче и слышался все ближе и ближе. Я оглянулся: въ ста шагахъ отъ меня темнѣла роща, изъ которой я только-что вышелъ; тамъ насыпь красивымъ полукругомъ поворачивала направо и исчезала въ деревьяхъ. Я остановился въ недоумѣніи и сталъ ждать. Тотчасъ же на поворотѣ показалось большое, черное тѣло, которое съ шумомъ понеслось по направленію ко мнѣ и съ быстротою птицы пролетѣло возлѣ меня, по рельсамъ. Прошло меньше чѣмъ полминуты, и пятно исчезло, рокотъ смѣшался съ гуломъ ночи.

Это былъ обыкновенный товарный вагонъ. Самъ по себѣ онъ не представлялъ ничего особеннаго, но появленіе его одного, безъ локомотива, да еще ночью, меня озадачило. Откуда онъ могъ взяться и какія силы мчали его съ такой страшной быстротой по рельсамъ? Откуда и куда онъ летѣлъ?

Будь я съ предразсудками, я порѣшилъ бы, что это черти и вѣдьмы покатили на шабашъ, и пошелъ бы далѣе, но теперь это явленіе было для меня рѣшительно необъяснимо. Я не вѣрилъ глазамъ своимъ и путался въ догадкахъ, какъ муха въ паутинѣ...

Я вдругъ почувствовалъ, что я одинокъ, одинъ какъ перстъ на всемъ громадномъ пространствѣ, что ночь, которая казалась уже нелюдимой, засматриваетъ мнѣ въ лицо и сторожитъ мои шаги; всѣ звуки, крики птицъ и шопотъ деревьевъ казались уже зловѣщими, существующими только

для того, чтобы пугать мое воображеніе. Я, какъ сумасшедшій, рванулся съ мѣста и, не отдавая себѣ отчета, побѣжалъ, стараясь бѣжать быстрѣй и быстрѣй. И тотчасъ же я услышалъ то, на что раньше не обращалъ вниманія, а именно жалобный стонъ телеграфныхъ проволокъ.

— Чортъ знаетъ что!—стыдилъ я себя.—Это малодушіе, глупо!..

Но малодушіе сильнѣе здраваго смысла. Я укоротилъ свои шаги только, когда добѣжалъ до зеленаго огонька, гдѣ увидѣлъ темную желѣзнодорожную будку и возлѣ нея на насыпи человѣческую фигуру, вѣроятно, сторожа.

— Ты видѣлъ?—спросилъ я, задыхаясь.

— Кого? Чаво ты?

— Тутъ вагонъ пробѣжалъ!..

— Видалъ...—проговорилъ мужикъ нехотя.—Отъ товарнаго поѣзда оторвался. На сто двадцать первой верстѣ уклонъ... на гору поѣздъ тащитъ. Цѣпи въ заднемъ вагонѣ не выдержали, ну, онъ оторвался и назадъ... Поди теперь, догоняй!.

Странное явленіе было объяснено и фантастичность его исчезла. Страхъ пропалъ, и я могъ продолжать путь дальше.

Третій хорошій страхъ мнѣ пришлось испытать, когда я однажды ранней весною возвращался съ тяги. Были вечернія сумерки. Лѣсная дорога была покрыта лужами отъ только-что бывшаго дождя, и почва всхлипывала подъ ногами. Багровая заря сквозила черезъ весь лѣсъ, крася бѣлые стволы березъ и молодую листву. Я былъ утомленъ и едва двигался.

Верстахъ въ 5—6 отъ дома, проходя лѣсной дорогой, я неожиданно встрѣтился съ большой черной собакой изъ породы водолазовъ. Пробѣгая мимо, песъ пристально посмотрѣлъ на меня, прямо мнѣ въ лицо, и побѣжалъ дальше.

«Хорошая собака...—подумалъ я:—чья она?».

Я оглянулся. Песъ стоялъ въ десяти шагахъ и не отрывалъ глазъ отъ меня. Минуту мы, молча, разсматривали другъ друга, затѣмъ песъ, вѣроятно польщенный моимъ вниманіемъ, медленно подошелъ ко мнѣ и замахалъ хвостомъ...

Я пошелъ дальше. Песъ за мной

«Чья эта собака?—спрашивалъ я себя.—Откуда?»

За 30—40 верстъ я зналъ всѣхъ помѣщиковъ и зналъ

ихъ собакъ. Ни у одного изъ нихъ не было такого водолаза. Откуда же онъ могъ взяться здѣсь въ глухомъ лѣсу, на дорогѣ, по которой никто никогда не ѣздилъ и только возили дрова? Отстать отъ какого-нибудь проѣзжаго онъ едва ли могъ, потому что по этой дорогѣ проѣзжать баркъ было некуда.

Я сѣлъ на пень отдохнуть и началъ разсматривать своего спутника. Онъ тоже сѣлъ, поднялъ голову и устремилъ на меня пристальный взоръ... Онъ глядѣлъ и не моргалъ. Не знаю, подъ вліяніемъ ли тишины, лѣсныхъ тѣней и звуковъ, или, быть-можетъ, вслѣдствіе утомленія, отъ пристальнаго взгляда обыкновенныхъ собачьихъ глазъ мнѣ стало вдругъ жутко. Я вспомнилъ про Фауста и его бульдога и про то, что нервные люди иногда вслѣдствіе утомленія бываютъ подвержены галлюцинаціямъ. Достаточно было этого, чтобы я быстро поднялся и быстро пошелъ дальше. Водолазъ за мной...

— Пошелъ прочь!—крикнулъ я.

Псу, вѣроятно, понравился мой голосъ, потому что онъ весело подпрыгнулъ и побѣжалъ впереди меня.

— Пошелъ прочь!—крикнулъ я еще разъ.

Песъ оглянулся, пристально поглядѣлъ на меня и весело замахалъ хвостомъ. Очевидно, его забавлялъ мой грозный тонъ. Мнѣ бы слѣдовало приласкать его, но Фаустовскій бульдогъ не выходилъ изъ моей головы, и чувство страха становилось все острѣй и острѣй... Наступали потемки, которыя меня окончательно смутили, и я всякій разъ, когда песъ подбѣгалъ ко мнѣ и билъ меня своимъ хвостомъ, малодушно закрывалъ глаза. Повторилась та же исторія, что съ огонькомъ въ колокольнѣ и съ вагономъ: я не выдержалъ и побѣжалъ...

Дома у себя я засталъ гостя, стараго пріятеля, который, поздоровавшись, началъ мнѣ жаловаться, что пока онъ ѣхалъ ко мнѣ, то заблудился въ лѣсу, и у него отстала хорошая дорогая собака.

# ПОСЛѢ ТЕАТРА.

Надя Зеленина, вернувшись съ мамой изъ театра, гдѣ давали «Евгенія Онѣгина», и придя къ себѣ въ комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и въ одной юбкѣ и въ бѣлой кофточкѣ поскорѣе сѣла за столъ, чтобы написать такое письмо, какъ Татьяна.

«Я люблю васъ,—написала она:—но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмѣялась.

Ей было только шестнадцать лѣтъ и она еще никого не любила. Она знала, что ее любятъ офицеръ Горный и студентъ Груздевъ, но теперь, послѣ оперы, ей хотѣлось сомнѣваться въ ихъ любви. Быть нелюбимой и несчастной—какъ это интересно! Въ томъ, когда одинъ любитъ больше, а другой равнодушенъ, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онѣгинъ интересенъ тѣмъ, что совсѣмъ не любитъ, а Татьяна очаровательна, потому что очень любитъ, и если бы они одинаково любили другъ друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же увѣрять, что вы меня любите,—продолжала Надя писать, думая объ офицерѣ Горномъ.—Повѣрить вамъ я не могу. Вы очень умны, образованы, серьезны, у васъ громадный талантъ и, быть-можетъ, васъ ожидаетъ блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная дѣвушка, и вы сами отлично знаете, что въ вашей жизни я буду только помѣхой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встрѣтили во мнѣ вашъ идеалъ, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя въ отчаяніи: зачѣмъ я встрѣтилъ эту дѣвушку? И только ваша доброта мѣшаетъ вамъ сознаться въ этомъ!..»

Надѣ стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мнѣ тяжело оставить маму и брата, а то бы я надѣла

монашескую рясу и ушла, куда глаза глядятъ. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ахъ, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написаннаго: на столѣ, на полу и на потолкѣ дрожали короткія радуги, какъ будто Надя смотрѣла сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горномъ.

Боже мой, какъ интересны, какъ обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выраженіе, заискивающее, виноватое и мягкое, бываетъ у офицера, когда съ нимъ спорятъ о музыкѣ, и какія при этомъ онъ дѣлаетъ усилія надъ собой, чтобы его голосъ не звучалъ страстно. Въ обществѣ, гдѣ холодное высокомѣріе и равнодушіе считаются признакомъ хорошаго воспитанія и благороднаго нрава, слѣдуетъ прятать свою страсть. И онъ прячетъ, но это ему не удается, и всѣ отлично знаютъ, что онъ страстно любитъ музыку. Безконечные споры о музыкѣ, смѣлыя сужденія людей не понимающихъ—держатъ его въ постоянномъ напряженіи, онъ напуганъ, робокъ, молчаливъ. Играетъ онъ на роялѣ великолѣпно, какъ настоящій піанистъ, и если бы онъ не былъ офицеромъ, то навѣрное былъ бы знаменитымъ музыкантомъ.

Слезы высохли на глазахъ. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей въ любви въ симфоническомъ собраніи и потомъ внизу около вѣшалокъ, когда со всѣхъ сторонъ дулъ сквозной вѣтеръ.

«Я очень рада, что вы, наконецъ, познакомились со студентомъ Груздевымъ,—продолжала она писать.—Онъ очень умный человѣкъ и вы навѣрное его полюбите. Вчера онъ былъ у насъ и просидѣлъ до двухъ часовъ. Всѣ мы были въ восторгѣ и я жалѣла, что вы не пріѣхали къ намъ. Онъ говорилъ много замѣчательнаго».

Надя положила на столъ руки и склонила на нихъ голову, и ея волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студентъ Груздевъ тоже любитъ ее и что онъ имѣетъ такое же право на ея письмо, какъ и Горный. Въ самомъ дѣлѣ, не написать ли лучше Груздеву? Безъ всякой причины въ груди ея шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась въ груди, какъ резиновый мячикъ, потомъ она стала шире, больше и хлынула, какъ волна. Надя

уже забыла про Горнаго и Груздева, мысли ея путались, а радость все росла и росла, изъ груди она пошла въ руки и въ ноги, и казалось, будто легкій прохладный вѣтерокъ подулъ на голову и зашевелилъ волосами. Плечи ея задрожали отъ тихаго смѣха, задрожалъ и столъ, и стекло на лампѣ, и на письмо брызнули изъ глазъ слезы. Она была не въ силахъ остановить этого смѣха и, чтобы показать самой себѣ, что она смѣется не безъ причины, она спѣшила вспомнить что-нибудь смѣшное.

— Какой смѣшной пудель!—проговорила она, чувствуя, что ей становится душно отъ смѣха.—Какой смѣшной пудель!

Она вспомнила, какъ Груздевъ вчера послѣ чаю шалилъ съ пуделемъ Максимомъ и потомъ разсказалъ про одного очень умнаго пуделя, который погнался на дворѣ за ворономъ, а воронъ оглянулся на него и сказалъ:

— Ахъ, ты, мошенникъ!

Пудель, не знавшій, что онъ имѣетъ дѣло съ ученымъ вороном, страшно сконфузился и отступилъ въ недоумѣніи, потомъ сталъ лаять.

— Нѣтъ, буду лучше любить Груздева,—рѣшила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студентѣ, объ его любви, о своей любви, но выходило такъ, что мысли въ головѣ расплывались и она думала обо всемъ: о мамѣ, объ улицѣ, о карандашѣ, о роялѣ... Думала она съ радостью и находила, что все хорошо, великолѣпно, а радость говорила ей, что это еще не все, что немного погодя будетъ еще лучше. Скоро весна, лѣто, ѣхать съ мамой въ Горбики, пріѣдетъ въ отпускъ Горный, будетъ гулять съ нею по саду и ухаживать. Пріѣдетъ и Груздевъ. Онъ будетъ играть съ нею въ крокетъ и въ кегли, разсказывать ей смѣшныя, или удивительныя вещи. Ей страстно захотѣлось сада, темноты, чистаго неба, звѣздъ. Опять ея плечи задрожали отъ смѣха, и показалось ей, что въ комнатѣ запахло полынью и будто въ окно ударила вѣтка.

Она пошла къ себѣ на постель, сѣла и, не зная, что дѣлать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрѣла на образъ, висѣвшій на спинкѣ ея кровати, и говорила:

— Господи! Господи! Господи!

# НЕНАСТЬЕ.

Въ темныя окна стучали крупныя дождевыя капли. Это былъ одинъ изъ тѣхъ противныхъ дачныхъ дождей, которые, обыкновенно, разъ начавшись, тянутся долго, по недѣлямъ, пока озябнувшій дачникъ, привыкнувъ, не погружается въ совершенную апатію. Было холодно, чувствовалась рѣзкая, непріятная сырость. Тетка присяжнаго повѣреннаго Квашина и его жена, Надежда Филипповна, одѣтыя въ ватерпруфы и шали, сидѣли въ столовой за обѣденнымъ столомъ. На лицѣ старухи было написано, что она, слава Богу, сыта, одѣта, здорова, выдала единственную дочку за хорошаго человѣка и теперь со спокойною совѣстью можетъ раскладывать пасьянсъ; дочь ея, небольшая, полная блондинка лѣтъ двадцати, съ кроткимъ, малокровнымъ лицомъ, поставивъ локти на столъ, читала книгу; судя по глазамъ, она не столько читала, сколько думала свои собственныя мысли, которыхъ не было въ книгѣ. Обѣ молчали. Слышался шумъ дождя и изъ кухни доносились протяжные зѣвки кухарки.

Самого Квашина не было дома. Въ дождливые дни онъ не пріѣзжалъ на дачу, оставался въ городѣ; сырая дачная погода дурно вліяла на его бронхитъ и мѣшала работать. Онъ держался того мнѣнія, что видъ сѣраго неба и дождевыя слезы на окнахъ отнимаютъ энергію и нагоняютъ хандру. Въ городѣ же, гдѣ больше комфорта, ненастье почти не замѣтно.

Послѣ двухъ пасьянсовъ старуха смѣшала карты и взглянула на дочь.

— Я загадывала, будетъ ли завтра хорошая погода и пріѣдетъ ли нашъ Алекѣй Степанычъ, — сказала она.—

Ужъ пятый день, какъ его нѣтъ... Наказалъ Богъ погодой...

Надежда Филипповна равнодушно поглядѣла на мать, встала и проплась изъ угла въ уголъ.

— Вчера барометръ поднимался,—сказала она въ раздумьѣ:—а сегодня, говорятъ, опять падаетъ!

Старуха разложила карты въ три длинныхъ ряда и покачала головой.

— Соскучилась?—спросила она, взглянувъ на дочь.

— Конечно!

— То-то я вижу. Какъ не соскучиться? Ужъ пятый день его нѣтъ. Бывало, въ маѣ, самое большое два дня, ну три, а теперь—шутка ли?—пятый день! Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, какъ сказали мнѣ, что барометръ поднимается, я для него, для Алексѣя Степаныча-то, велѣла цыпленка зарѣзать и карасей почистить. Любитъ онъ. Покойный твой отецъ видѣть рыбы не могъ, а онъ любитъ. Всегда съ аппетитомъ кушаетъ.

— У меня за него сердце болитъ,—сказала дочь.—Намъ скучно, а вѣдь ему, мама, еще скучнѣе.

— Еще бы! День-деньской по судамъ, а ночью, какъ сычъ, одинъ въ пустой квартирѣ.

— И что ужасно, мама, онъ тамъ одинъ, безъ прислуги, некому самоваръ поставить или воды подать. Почему бы не нанять на лѣтніе мѣсяцы лакея? Да и вообще къ чему эта дача, если онъ не любитъ? Говорила ему—не нужно, такъ нѣтъ. «Для твоего, говоритъ, здоровья». А какое мое здоровье? Я и болѣю-то оттого, что онъ изъ-за меня такія муки терпитъ.

Глядя черезъ плечо матери, дочь замѣтила ошибку въ пасьянсѣ, нагнулась къ столу и стала поправлять. Наступило молчаніе. Обѣ глядѣли въ карты и воображали себѣ, какъ ихъ Алексѣй Степанычъ одинъ-одинешенекъ сидитъ теперь въ городѣ, въ своемъ мрачномъ, пустомъ кабинетѣ и работаетъ, голодный, утомленный, тоскующій по семьѣ...

— А знаешь что, мама?—сказала вдругъ Надежда Филипповна, и глаза ея засвѣтились.—Если завтра будетъ такая же погода, то я съ утреннимъ поѣздомъ поѣду къ нему въ городъ! По крайней мѣрѣ я хоть объ его здоровьѣ узнаю, погляжу на него, чаемъ его напою.

И обѣ стали удивляться, какъ эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила имъ въ голову.

До города всего полчаса ѣзды, да потомъ на извозчикѣ минутъ двадцать. Онѣ поговорили еще немного и, довольныя, легли спать, вмѣстѣ въ одной комнатѣ.

— Охо-хо-хо... Господи, прости насъ грѣшныхъ!—вздохнула старуха, когда часы въ залѣ пробили два.—Не спится!

— Ты не спишь, мама?—спросила дочь шопотомъ.—А я все объ Алешѣ думаю. Какъ бы онъ своего здоровья не испортилъ въ городѣ! Обѣдаетъ онъ и завтракаетъ Богъ знаетъ гдѣ, въ ресторанахъ да въ трактирахъ.

— Я и сама объ этомъ думала,—вздохнула старуха.—Спаси и сохрани, Царица Небесная. А дождь-то, дождь!

Утромъ дождь уже не стучалъ въ окна, но небо по-вчерашнему было сѣро. Деревья стояли печальныя и при каждомъ налетѣ вѣтра сыпали съ себя брызги. Слѣды человѣческихъ ногъ на грязныхъ тропинкахъ, канавки и колеи были полны воды. Надежда Филипповна рѣшила ѣхать.

— Кланяйся же ему, — говорила старуха, укутывая дочь.—Скажи, чтобъ не очень-то по своимъ судамъ... И отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходитъ, шею кутаетъ: погода—спаси Богъ! Да возьми ему туда цыпленка; домашнее хоть и холодное, а все же лучше, чѣмъ въ трактирѣ.

Дочь уѣхала, сказавъ, что вернется съ вечернимъ поѣздомъ или завтра утромъ.

Но вернулась она гораздо раньше, передъ обѣдомъ, когда старуха сидѣла у себя въ спальнѣ на сундукѣ и, подремывая, придумывала, что бы такое изжарить къ вечеру для зятя.

Дочь, войдя къ ней въ комнату, блѣдная, разстроенная, и не сказавъ ни слова, не снимая шляпы, опустилась на постель и прислонилась головой къ подушкѣ.

— Да что съ тобой?—изумилась старуха.—Отчего такъ скоро? Алексѣй Степанычъ гдѣ?

Надежда Филипповна подняла голову и сухими, умоляющими глазами поглядѣла на мать.

— Онъ обманываетъ насъ, мама!—проговорила она.

— Да что ты, Христосъ съ тобой!—испугалась старуха, и съ ея головы сползъ чепецъ.—Кто станетъ насъ съ тобой обманывать? Помилуй, Господи!

— Онъ обманываетъ насъ, мама!—повторила дочь, и подбородокъ у нея задрожалъ.

— Одкуда ты взяла?—крикнула старуха, блѣднѣя.

— Наша квартира заперта. Дворникъ говоритъ, что въ эти пять дней Алеша ни разу домой не приходилъ. Онъ не дома живетъ! Не дома! Не дома!

Она замахала руками и громко заплакала, произнося только:

— Не дома! Не дома!

Съ нею сдѣлалась истерика.

— Что же это такое?—бормотала старуха въ ужасѣ.— Вѣдь онъ же писалъ третьяго дня, что изъ дому не выходитъ! Ночуетъ онъ гдѣ? Святители-угодники!

Надежда Филипповна ослабѣла и не могла даже снять съ себя шляпу. Точно ей дали дурману, она безсмысленно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки.

— Нашла кому повѣрить: дворнику!—говорила старуха, суетясь около дочери и плача.—Экая ревнивая! Не станетъ онъ обманывать... Да и какъ онъ смѣетъ обманывать? Развѣ мы какія-нибудь? Мы хоть и купеческаго званія, а онъ не имѣетъ права, потому что ты ему законная жена! Мы жаловаться можемъ! Я за тобой двадцать тысячъ дала! Ты не безприданница!

И старуха сама разрыдалась и махнула рукой, и тоже ослабѣла, и легла на свой сундукъ. Обѣ онѣ не замѣтили, какъ на небѣ показались голубыя пятна, раздѣлились облака, какъ въ саду по мокрой травѣ осторожно скользнулъ первый лучъ, какъ повеселѣвшіе воробьи запрыгали около лужъ, въ которыхъ отражались бѣгущія облака.

Къ вечеру пріѣхалъ Квашинъ. Передъ выѣздомъ изъ города онъ побывалъ у себя на квартирѣ и узналъ отъ дворника, что въ его отсутствіе пріѣзжала жена.

— А вотъ и я!—сказалъ онъ весело, входя въ комнату тещи и дѣлая видъ, какъ будто не замѣчаетъ заплаканныхъ, суровыхъ лицъ.—А вотъ и я! Пять сутокъ не видались!

Онъ быстро поцѣловалъ руки женѣ и тещѣ и, съ видомъ человѣка, который радъ, что покончилъ съ тяжелой работой, повалился въ кресло.

— Уфъ!—сказалъ онъ, выпуская изъ легкихъ весь воздухъ.—То-есть, вотъ какъ замучился! Едва сижу! Почти пять сутокъ... день и ночь жилъ, какъ на бивуакахъ! На квартирѣ ни разу не былъ, можете себѣ представить! Все

время возился съ конкурсомъ Шипунова и Иванчикова, пришлось работать у Галдѣева, въ его конторѣ, при магазинѣ... Не ѣлъ, не пилъ, спалъ на какой-то скамейкѣ, весь иззябся... Минуты свободной не было, некогда было даже у себя на квартирѣ побывать. Такъ, Надюша, я и не былъ дома...

И Квашинъ, держась за бока, точно у него отъ работы болѣла поясница, искоса поглядѣлъ на жену и тещу, чтобы узнать, какъ подѣйствовала его ложь, или, какъ онъ самъ называлъ, дипломатія. Теща и жена поглядывали другъ на друга съ радостнымъ изумленіемъ, какъ будто нежданно-негаданно нашли драгоцѣнность, которую потеряли... Лица у нихъ сіяли, глаза горѣли...

— Голубчикъ ты мой,—заговорила теща, вскакивая:— что же это я сижу? Чаю! Скорѣй чаю! Можетъ, ѣсть хочешь?

— Конечно, хочетъ!—сказала жена, срывая съ своей головы платокъ, смоченный въ уксусѣ.—Мама, подавайте скорѣй вино и закуску! Наталья, собирай на столъ! Ахъ, Боже мой, ничего не готово!

И обѣ, испуганныя, счастливыя, засуетились, забѣгали по комнатамъ. Старуха не могла уже безъ смѣха глядѣть на дочь, которая оклеветала ни въ чемъ неповиннаго человѣка, а дочери было совѣстно...

Скоро столъ былъ накрытъ. Квашинъ, отъ котораго пахло мадерой и ликерами, и который еле дышалъ отъ сытости, жаловался на голодъ, насильно жевалъ и все говорилъ про конкурсъ Шипунова и Иванчикова, а жена и теща не отрывали глазъ отъ его лица и думали:

«Какой онъ у насъ умный, ласковый! Какой онъ красивый!»

«Важно!—думалъ Квашинъ, ложась послѣ ужина на большую, пухлую перину.—Хоть и купчихи онѣ, хоть Азія, а все же есть своеобразная прелесть, и день-два въ недѣлю можно провести здѣсь со вкусомъ...»

Онъ укрылся, согрѣлся и проговорилъ, засыпая:

— Важно!

# ИЗЪ ОГНЯ ДА ВЪ ПОЛЫМЯ.

У регента соборной церкви Градусова сидѣлъ адвокатъ Калякинъ и, вертя въ рукахъ повѣстку отъ мирового на имя Градусова, говорилъ:

— Что ни говорите, Досифей Петровичъ, а вы виноваты-съ. Я уважаю васъ, цѣню ваше расположеніе, но при всемъ томъ съ прискорбіемъ долженъ вамъ замѣтить, что вы были неправы. Да-съ, неправы. Вы оскорбили моего кліента Деревяшкина... Ну, за что вы его оскорбили?

— Кой чортъ его оскорблялъ?—горячился Градусовъ, высокій старикъ съ узкимъ, мало обѣщающимъ лбомъ, густыми бровями и съ бронзовой медалькой въ петлицѣ.—Я ему только мораль нравственную прочелъ, только! Дураковъ нужно учить! Ежели дураковъ не учить, то тогда отъ нихъ прохода не будетъ.

— Но, Досифей Петровичъ, вы ему не наставленіе прочли. Вы, какъ заявляетъ онъ въ своемъ прошеніи, публично тыкали на него, называли его осломъ, мерзавцемъ и тому подобное... и даже разъ подняли руку, какъ бы желая нанести ему оскорбленіе дѣйствіемъ.

— Какъ же его не бить, ежели онъ того стоитъ? Не понимаю!

— Но поймите же, что вы не имѣете на это никакого права!

— Я не имѣю права? Ну, ужъ это извините-съ... Подите

кому другому разсказывайте, а меня не морочьте, сдѣлайте милость. Онъ у меня послѣ того, какъ его изъ архіерейскаго хора честью по шеѣ попросили, въ моемъ хорѣ десять лѣтъ прослужилъ. Я ему благодѣтель, ежели желаете знать. Ежели онъ сердится, что я его изъ хора прогналъ, то самъ же онъ виноватъ. Я его за философію прогналъ. Философствовать можетъ только образованный человѣкъ, который курсъ кончилъ, а ежели ты дуракъ, не высокаго ума, то ты сиди себѣ въ уголку и молчи... Молчи да слушай, какъ умные говорятъ, а онъ, болванъ, бывало такъ и норовитъ, чтобъ что-нибудь этакое запустить. Тутъ спѣвка, или обѣдня идетъ, а онъ про Бисмарка, да про разныхъ тамъ Гладстоновъ. Вѣрите ли, газету, каналья, выписывалъ! А сколько разъ я его за русско-турецкую войну по зубамъ билъ, такъ вы себѣ представить не можете! Тутъ нужно пѣть, а онъ наклонится къ тенорамъ, да и давай имъ разсказывать про то, какъ наши динамитомъ турецкій броненосецъ «Люфти-Джелилъ» взорвали... Нешто это порядокъ? Конечно, пріятно, что наши побѣдили, но изъ этого не слѣдуетъ, что пѣть не надо... Можешь и послѣ обѣдни поговорить. Свинья, однимъ словомъ.

— Стало-быть, вы и прежде его оскорбляли!

— Прежде онъ и не обижался. Чувствовалъ, что я это для его же пользы, понималъ!.. Зналъ, что старшимъ и благодѣтелямъ грѣхъ прекословить, а какъ въ полицію въ писаря поступилъ—ну, и шабашъ, зазнался, пересталъ понимать. «Я, говоритъ, теперь не пѣвчій, а чиновникъ. На коллежскаго регистратора, говоритъ, экзаменъ держать буду». Ну, и дуракъ, говорю... Поменьше бы ты, говорю, философію разводилъ, да почаще бы носъ утиралъ, такъ это лучше было бы, чѣмъ о чинахъ думать. Тебѣ, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочетъ! Да вотъ хоть бы взять этотъ случай,—за что онъ на меня мировому подалъ? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я въ трактирѣ Самоплюева и съ нашимъ церковнымъ старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободнаго мѣста... Гляжу, и онъ сидитъ тутъ же, со своими писарями пиво трескаетъ. Франтъ такой, морду поднялъ, оретъ... руками размахиваетъ... Прислушиваюсь—про холеру говоритъ... Ну, что вы съ нимъ тутъ подѣлаете? Философствуетъ! Я, знаете ли, молчу, терплю... Болтай, думаю, болтай... Языкъ безъ костей... Вдругъ

па бѣду машина заиграла... Расчувствовался онъ, хамъ, поднялся и говоритъ своимъ пріятелямъ: «Выпьемъ, говоритъ, за процвѣтаніе! Я, говоритъ, сынъ своего отечества и славянофилъ своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну руку! Кто со мной не согласенъ, того я желаю видѣть!» И какъ стукнетъ кулакомъ по столу! Тутъ ужъ я не вытерпѣлъ... Подхожу къ нему и говорю деликатно: Послушай, Осипъ... Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не разсуждай. Образованный человѣкъ можетъ умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепелъ... Я ему слово, онъ мнѣ десять... Пошло и пошло... Я ему, конечно, на пользу, а онъ по глупости... Обидѣлся—вотъ и подалъ мировому...

— Да,—вздохнулъ Калякинъ.—Плохо... Изъ-за какихъ-нибудь пустяковъ и чортъ знаетъ что вышло. Человѣкъ вы семейный, уважаемый, а тутъ судъ этотъ, разговоры, перетолки, арестъ... Покончить это дѣло нужно, Досифей Петровичъ. Есть у васъ одинъ выходъ, на который соглашается и Деревяшкинъ. Вы пойдете сегодня со мной въ трактиръ Самоплюева въ шесть часовъ, когда собираются тамъ писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь передъ нимъ. Тогда онъ возьметъ свое прошеніе назадъ. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петровичъ... Говорю вамъ, какъ другу... Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное заподозрили его похвальныя чувства и даже... профанировали эти чувства. Въ наше время, знаете ли, нельзя такъ. Надо поосторожнѣй. Вашимъ словамъ придалъ оттѣнокъ этакій, какъ бы вамъ сказать, который въ наше время, однимъ словомъ, не того... Сейчасъ безъ четверти шесть... Угодно вамъ идти со мной?

Градусовъ замоталъ головой, но когда Калякинъ нарисовалъ ему въ яркихъ краскахъ «оттѣнокъ», приданный его словамъ, и могущія быть отъ этого оттѣнка послѣдствія, Градусовъ струсилъ и согласился.

— Вы, смотрите же, извинитесь, какъ слѣдуетъ, по формѣ,—училъ его адвокатъ по пути въ трактиръ.—Подойдите къ нему и на «вы»... «извините... беру свои слова назадъ» и прочее тому подобное.

Придя въ трактиръ, Градусовъ и Калякинъ нашли въ немъ цѣлое сборище. Тутъ сидѣли купцы, актеры, чинов-

ники, полицейскіе писаря—вообще вся «шваль», имѣвшая обыкновеніе собираться въ трактирѣ по вечерамъ, пить чай и пиво. Между писарями сидѣлъ и самъ Деревяшкинъ, малый неопредѣленнаго возраста, бритый, съ большими не моргающими глазами, придавленнымъ носомъ и такими жесткими волосами, что, при взглядѣ на нихъ, являлось желаніе чистить сапоги... Его лицо было такъ счастливо устроено, что, разъ взглянувши на него, можно было узнать все: что онъ и пьяница, и поетъ басомъ, и глупъ, но не настолько, чтобъ не считать себя очень умнымъ человѣкомъ. Увидѣвъ входящаго регента, онъ приподнялся и какъ котъ пошевелилъ усами. Сборище, повидимому предувѣдомленное о томъ, что будетъ публичное покаяніе, навострило уши.

— Вотъ... Господинъ Градусовъ согласенъ!—сказалъ Калякинъ, входя.

Регентъ кое-съ-кѣмъ поздоровался, громко высморкался, покраснѣлъ и подошелъ къ Деревяшкину.

— Извините...—забормоталъ онъ, не глядя на него и пряча въ карманъ платокъ.—При всемъ обществѣ беру свои слова назадъ.

— Извиняю!—пробасилъ Деревяшкинъ и, побѣдоносно взглянувъ на всю публику, сѣлъ.—Я удовлетворенъ! Господинъ адвокатъ, прошу прекратить мое дѣло!

— Я извиняюсь,—продолжалъ Градусовъ.—Извините... Не люблю неудовольствій... Хочешь, чтобъ я тебѣ «вы» говорилъ, изволь, буду... Хочешь, чтобъ я тебя за умнаго почиталъ, изволь... Мнѣ наплевать... Я, братъ, не злопамятенъ. Шутъ съ тобой...

— Да вы позвольте-съ! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь!

— Какъ же мнѣ еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вотъ не «выкнулъ», такъ это по забывчивости. Не на колѣнки же мнѣ становиться... Извиняюсь и даже благодарю Бога, что у тебя хватило ума это дѣло прекратить. Мнѣ некогда по судамъ шляться... Вѣкъ я не судился, судиться не буду и тебѣ не совѣтую... вамъ то-есть...

— Конечно! Не желаете ли выпить для санстефанскаго миру?

— И выпить можно... Только ты, братъ, Осипъ, свинья... Это я не то что ругаюсь, а такъ... къ примѣру... Свинья, братъ! Помнишь, какъ ты у меня въ ногахъ валялся, когда тебя изъ архіерейскаго хора по шеѣ? А? И ты смѣешь на

благодѣтеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тобѣ не стыдно? Господа посѣтители, и ему не стыдно?

— Позвольте-съ! Это опять выходитъ ругательство!

— Какое ругательство? Я тебѣ только говорю, наставляю... Помирился и въ послѣдній разъ говорю, я ругаться не думаю... Стану я съ тобой, съ лѣшимъ, связываться послѣ того, какъ ты на своего благодѣтеля жалобу подалъ! Да ну тебя къ чорту! И говорить съ тобой не желаю! А ежели я тебя сейчасъ свиньей нечаянно обозвалъ, такъ ты и есть свинья... Вмѣсто того, чтобъ за благодѣтеля вѣчно Бога молить, что онъ тебя десять лѣтъ кормилъ да нотамъ выучилъ, ты жалобу глупую подаешь, да разныхъ чертей-адвокатовъ подсылаешь.

— Позвольте же, Досифей Петровичъ,—обидѣлся Калякинъ.—Не чорти у васъ были, а я былъ!.. Поосторожнѣй, прошу васъ!

— Да нешто я про васъ? Ходите хоть каждый день, милости просимъ. Только мнѣ удивительно, какъ это вы курсъ кончили, образованіе получили, а вмѣсто того, чтобъ этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашемъ мѣстѣ въ острогѣ сгноилъ! И потомъ, чего вы сердитесь? Вѣдь я извинялся? Чего же вамъ отъ меня еще нужно? Не понимаю! Господа посѣтители, вы будьте свидѣтелями, я извинялся, а извиняться въ другой разъ передъ какимъ-нибудь дуракомъ я не намѣренъ!

— Вы сами дуракъ!—прохрипѣлъ Осипъ и въ негодованіи ударилъ себя по груди.

— Я дуракъ? Я? И ты можешь мнѣ это говорить?..

Градусовъ побагровѣлъ и затрясся...

— И ты осмѣлился? На же тебѣ!.. И кромѣ того, что я тебѣ, подлецу, сейчасъ оплеуху далъ, я еще на тебя мировому подамъ! Я покажу тебѣ, какъ оскорблять! Господа, будьте свидѣтели! Господинъ околоточный, что же вы стоите тамъ и смотрите? Меня оскорбляютъ, а вы смотрите? Жалованье получаете, а какъ за порядкомъ смотрѣть, такъ и не ваше дѣло? А? Вы думаете, что на васъ и суда нѣтъ?

Къ Градусову подошелъ околоточный и—началась исторія.

Черезъ недѣлю Градусовъ стоялъ передъ мировымъ судьей и судился за оскорбленіе Деревяшкина, адвоката и околоточнаго надзирателя, при исполненіи послѣднимъ своихъ служебныхъ обязанностей. Сначала онъ не понималъ, истецъ

онъ, или обвиняемый, потомъ же, когда мировой приговорилъ его «по совокупности» къ двухмѣсячному аресту, то онъ горько улыбнулся и проворчалъ:

— Гм... Меня оскорбили, да я же еще и сидѣть долженъ... Удивленіе... Надо, господинъ мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергѣевна, дай ей Богъ царство небесное, такихъ, какъ Осипъ, сѣчь приказывала, а вы имъ поблажку даете... Что жъ изъ этого выйдетъ? Вы ихъ, шельмовъ, оправдаете, другой оправдаетъ... Куда же идти тогда жаловаться?

— Приговоръ можетъ быть обжалованъ въ двухнедѣльный срокъ... и прошу не разсуждать! Можете идти!

— Конечно... Нынче вѣдь на одно жалованье не проживешь,—проговорилъ Градусовъ и подмигнулъ значительно.— Поневолѣ, ежели кушать хочется, невиннаго въ кутузку засадишь... Это такъ... И винить нельзя...

— Что-съ?!

— Ничего-съ... Это я такъ... насчетъ ханенъ зи гевезенъ... Вы думаете, какъ вы въ золотой цѣпѣ, такъ на васъ и суда нѣтъ? Не безпокойтесь... Выведу на чистую воду!

Закипѣло дѣло «объ оскорбленіи судьи»; но вступился соборный протоіерей, и дѣло кое-какъ замяли.

Перенося свое дѣло въ съѣздъ, Градусовъ былъ убѣжденъ, что не только его оправдаютъ, но даже Осипа посадятъ въ острогъ. Такъ онъ думалъ и во время самаго разбирательства. Стоя передъ судьями, онъ велъ себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишнихъ словъ. Разъ только, когда предсѣдатель предложилъ ему сѣсть, онъ обидѣлся и сказалъ:

— Нешто въ законахъ написано, чтобъ регентъ рядомъ со своимъ пѣвчимъ сидѣлъ?

А когда съѣздъ утвердилъ приговоръ мирового судьи, онъ прищурилъ глаза...

— Какъ-съ? Что-съ?—спросилъ онъ.—Это какъ же прикажете понимать-съ? Это вы о чемъ же-съ?

— Съѣздъ утвердилъ приговоръ мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать въ сенатъ.

— Такъ-съ. Чувствительно васъ благодаримъ, ваше превосходительство, за скорый и праведный судъ. Конечно, на

одно жалованье не проживешь, что я отлично понимаю, но извините-съ, мы и неподкупной судъ найдемъ.

Не стану приводить всего того, что Градусовъ наговорилъ съѣзду... Въ настоящее время онъ судится за «оскорбленіе съѣзда» и слушать не хочетъ, когда знакомые стараются объяснить ему, что онъ виноватъ... Онъ убѣжденъ въ своей невинности и вѣруетъ, что рано или поздно ему скажутъ спасибо за открытыя имъ злоупотребленія.

— Ничего съ этимъ дуракомъ не подѣлаешь!—говоритъ соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. — Не понимаетъ!

# БѢГЛЕЦЪ.

Это была длинная процедура. Сначала Пашка шелъ съ матерью подъ дождемъ, то по скошенному полю, то по лѣснымъ тропинкамъ, гдѣ къ его сапогамъ липли желтые листья, шелъ до тѣхъ поръ, пока не разсвѣло. Потомъ онъ часа два стоялъ въ темныхъ сѣняхъ и ждалъ, когда отопрутъ дверь. Въ сѣняхъ было не такъ холодно и сыро, какъ на дворѣ, но при вѣтрѣ и сюда залетали дождевыя брызги. Когда сѣни мало-по-малу биткомъ набились народомъ, стиснутый Пашка припалъ лицомъ къ чьему-то тулупу, отъ котораго пахло сильно соленой рыбой, и вздремнулъ. Но вотъ щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка съ матерью вошелъ въ пріемную. Тутъ опять пришлось долго ждать. Всѣ больные сидѣли на скамьяхъ, не шевелились и молчали. Пашка оглядывалъ ихъ и тоже молчалъ, хотя видѣлъ много страннаго и смѣшного. Разъ только, когда въ пріемную, подпрыгивая на одной ногѣ, вошелъ какой-то парень, Пашкѣ самому захотѣлось также попрыгать; онъ толкнулъ мать подъ локоть, прыснулъ въ рукавъ и сказалъ:

— Мама, гляди: воробей!

— Молчи, дѣтка, молчи!—сказала мать.

Въ маленькомъ окошечкѣ показался заспанный фельдшеръ.

— Подходи записываться!—пробасилъ онъ.

Всѣ, въ томъ числѣ и смѣшной подпрыгивающій парень, потянулись къ окошечку. У каждаго фельдшеръ спрашивалъ имя и отчество, лѣта, мѣстожительство, давно ли боленъ и

проч. Изъ отвѣтовъ своей матери Пашка узналъ, что зовутъ его не Пашкой, а Павломъ Галактіоновымъ, что ему семь лѣтъ, что онъ не грамотенъ и боленъ съ самой Пасхи.

Вскорѣ послѣ записыванія нужно было ненадолго встать; черезъ пріемную прошелъ докторъ въ бѣломъ фартукѣ и подпоясанный полотенцемъ. Проходя мимо подпрыгивающаго парня, онъ пожалъ плечами и сказалъ нѣвучимъ теноромъ:

— Ну, и дуракъ! Что жъ, развѣ не дуракъ? Я велѣлъ тебѣ придти въ понедѣльникъ, а ты приходишь въ пятницу. По мнѣ хоть вовсе не ходи, но вѣдь, дуракъ этакой, нога пропадетъ!

Парень сдѣлалъ такое жалостное лицо, какъ будто собрался просить милостыню, заморгалъ и сказалъ:

— Сдѣлайте такую милость, Иванъ Миколаичъ!

— Тутъ нечего—Иванъ Миколаичъ!—передразнилъ докторъ. — Сказано въ понедѣльникъ, и надо слушаться. Дуракъ, вотъ и все...

Началась пріемка. Докторъ сидѣлъ у себя въ комнаткѣ и выкликалъ больныхъ по очереди. То и дѣло изъ комнатки слышались пронзительные вопли, дѣтскій плачъ, или сердитые возгласы доктора:

— Ну, что орешь? Рѣжу я тебя, что ли? Сиди смирно!

Настала очередь Пашки.

— Павелъ Галактіоновъ!—крикнулъ докторъ.

Мать обомлѣла, точно не ждала этого вызова, и, взявъ Пашку за руку, повела его въ комнатку. Докторъ сидѣлъ у стола и машинально стучалъ по толстой книгѣ молоточкомъ.

— Что болитъ?—спросилъ онъ, не глядя на вошедшихъ.

— У парнишки болячка на локтѣ, батюшка,—отвѣтила мать, и лицо ея приняло такое выраженіе, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ ужасно опечалена Пашкиной болячкой.

— Раздѣнь его!

Пашка, пыхтя, распуталъ на шеѣ платокъ, потомъ вытеръ рукавомъ носъ и сталъ не спѣша стаскивать тулупчикъ.

— Баба, не въ гости пришла! — сказалъ сердито докторъ.—Что возишься? Вѣдь ты у меня не одна тутъ.

Пашка торопливо сбросилъ тулупчикъ на землю и съ

помощью матери снялъ рубаху... Докторъ лѣниво поглядѣлъ на него и похлопалъ его по голому животу.

— Важное, братъ Пашка, ты себѣ пузо отростилъ,— сказалъ онъ и вздохнулъ.—Ну, показывай свой локоть.

Пашка покосился на тазъ съ кровяными помоями, поглядѣлъ на докторскій фартукъ и заплакалъ.

— Ме-е!—передразнилъ докторъ. — Женить пора баловника, а онъ реветъ! Безсовѣстный.

Стараясь не плакать, Пашка поглядѣлъ на мать, и въ этомъ его взглядѣ была написана просьба: «ты же не разсказывай дома, что я въ больницѣ плакалъ!»

Докторъ осмотрѣлъ его локоть, подавилъ, вздохнулъ, чмокнулъ губами, потомъ опять подавилъ.

— Бить тебя, баба, да некому, — сказалъ онъ.—Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то вѣдь пропащая! Глядика-сь, дура, вѣдь это суставъ болитъ!

— Вамъ лучше знать, батюшка...—вздохнула баба.

— Батюшка... Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой онъ работникъ безъ руки? Вотъ вѣкъ цѣлый и будешь съ нимъ няньчиться. Небось, какъ у самой прыщъ на носу вскочитъ, такъ сейчасъ же въ больницу бѣжишь, а мальчишку полгода гноила. Всѣ вы такія.

Докторъ закурилъ папироску. Пока папироска дымила, онъ распекалъ бабу и покачивалъ головой въ такъ пѣсни, которую напѣвалъ мысленно, и все думалъ о чемъ-то. Голый Пашка стоялъ передъ нимъ, слушалъ и глядѣлъ на дымъ. Когда же папироса потухла, докторъ встрепенулся и заговорилъ тономъ ниже:

— Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тутъ не поможешь. Надо его въ больницѣ оставить.

— Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?

— Мы ему операцію сдѣласмъ. А ты, Пашка, оставайся,—сказалъ докторъ, хлопая Пашку по плечу.—Пусть мать ѣдетъ, а мы съ тобой, братъ, тутъ останемся. У меня, братъ, хорошо, разлюли малина! Мы съ тобой, Пашка, вотъ какъ управимся, чижей пойдемъ ловить, я тебѣ лисицу покажу! Въ гости вмѣстѣ поѣдемъ! А? Хочешь? А мать за тобой завтра пріѣдетъ! А?

Пашка вопросительно поглядѣлъ на мать.

— Оставайся, дѣтка!—сказала та.

— Остается, остается!—весело закричалъ докторъ. — И

толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поѣдемъ вмѣстѣ на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверхъ!

Докторъ, повидимому, веселый и покладистый малый, радъ былъ компаніи; Пашка захотѣлъ уважить его, тѣмъ болѣе, что отродясь не бывалъ на ярмаркѣ и охотно бы поглядѣлъ на живую лисицу, но какъ обойтись безъ матери? Подумавъ немного, онъ рѣшилъ попросить доктора оставить въ больницѣ и мать, но не успѣлъ онъ раскрыть рта, какъ фельдшерица уже вела его вверхъ по лѣстницѣ. Шелъ онъ и, разинувъ ротъ, глядѣлъ по сторонамъ. Лѣстница, полы и косяки—все громадное, прямое и яркое—были выкрашены въ великолѣпную желтую краску и издавали вкусный запахъ постнаго масла. Всюду висѣли лампы, тянулись половики, торчали въ стѣнахъ мѣдные краны. Но больше всего Пашкѣ понравилась кровать, на которую его посадили, и сѣрое шершавое одѣяло. Онъ потрогалъ руками подушки и одѣяло, оглядѣлъ палату и рѣшилъ, что доктору живется очень недурно.

Палата была не велика и состояла только изъ трехъ кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидѣлъ какой-то старикъ съ кислыми глазами, который все время кашлялъ и плевалъ въ кружку. Съ Пашкиной кровати видна была въ дверь часть другой палаты съ двумя кроватями: на одной спалъ какой-то очень блѣдный, тощій человѣкъ съ каучуковымъ пузыремъ на головѣ; на другой, разставивъ руки, сидѣлъ мужикъ съ повязанной головой, очень похожій на бабу.

Фельдшерица, усадивъ Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа въ охапкѣ кучу одежи.

— Это тебѣ,—сказала она.—Одѣвайся.

Пашка раздѣлся и не безъ удовольствія сталъ облачаться въ новое платье. Надѣвши рубаху, штаны и сѣрый халатикъ, онъ самодовольно оглядѣлъ себя и подумалъ, что въ такомъ костюмѣ недурно бы пройтись по деревнѣ. Его воображеніе нарисовало, какъ мать посылаетъ его на огородъ къ рѣкѣ нарвать для поросенка капустныхъ листьевъ; онъ идетъ, а мальчишки и дѣвчонки окружили его и съ завистью глядятъ на его халатикъ.

Въ палату вошла сидѣлка, держа въ рукахъ двѣ оловян-

ныхъ миски, ложки и два куска хлѣба. Одну миску она поставила передъ старикомъ, другую—передъ Пашкой.

— Ѣшь!—сказала она.

Взглянувъ въ миску, Пашка увидѣлъ жирныя щи, а въ щахъ кусокъ мяса, и опять подумалъ, что доктору живется очень недурно и что докторъ вовсе не такъ сердитъ, какимъ показался сначала. Долго онъ ѣлъ щи, облизывая послѣ каждаго хлѣбка ложку, потомъ, когда, кромѣ мяса, въ мискѣ ничего не осталось, покосился на старика и позавидовалъ, что тотъ все еще хлебаетъ. Со вздохомъ онъ принялся за мясо, стараясь ѣсть его возможно дольше, но старанія его ни къ чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусокъ хлѣба. Не вкусно ѣсть одинъ хлѣбъ безъ приправы, но дѣлать было нечего, Пашка подумалъ и съѣлъ хлѣбъ. Въ это время вошла сидѣлка съ новыми мисками. На этотъ разъ въ мискахъ было жаркое съ картофелемъ.

— А гдѣ же хлѣбъ-то?—спросила сидѣлка.

Вмѣсто отвѣта Пашка надулъ щеки и выдыхнулъ воздухъ.

— Ну, зачѣмъ сожралъ?—сказала укоризненно сидѣлка.—А съ чѣмъ же ты жаркое ѣсть будешь?

Она вышла и принесла новый кусокъ хлѣба. Пашка отродясь не ѣлъ жаренаго мяса и, испробовавъ его теперь, нашелъ, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и послѣ него остался кусокъ хлѣба больше, чѣмъ послѣ щей. Старикъ, пообѣдавъ, спряталъ свой оставшійся хлѣбъ въ столикъ; Пашка хотѣлъ сдѣлать то же самое, но подумалъ и съѣлъ свой кусокъ.

Наѣвшись, онъ пошелъ прогуляться. Въ сосѣдней палатѣ, кромѣ тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ въ дверь, находилось еще четыре человѣка. Изъ нихъ только одинъ обратилъ на себя его вниманіе. Это былъ высокій, крайне исхудалый мужикъ съ угрюмымъ волосатымъ лицомъ; онъ сидѣлъ на кровати и все время, какъ маятникомъ, кивалъ головой и махалъ правой рукой. Пашка долго не отрывалъ отъ него глазъ. Сначала маятникообразныя, мѣрныя киванія мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потѣхи, но когда онъ вглядѣлся въ лицо мужика, ему стало жутко, и онъ понялъ, что этотъ мужикъ нестерпимо боленъ. Пройдя въ третью палату, онъ увидѣлъ двухъ мужиковъ съ темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они

неподвижно сидѣли на кроватяхъ и со своими странными лицами, на которыхъ трудно было различить черты, походили на языческихъ божковъ.

— Тетка, зачѣмъ они такіе? — спросилъ Пашка у сидѣлки.

— У нихъ, парнишка, оспа.

Вернувшись къ себѣ въ палату, Пашка сѣлъ на кровать и сталъ дожидаться доктора, чтобы идти съ нимъ ловить чижей или ѣхать на ярмарку. Но докторъ не шелъ. Въ дверяхъ сосѣдней палаты мелькнулъ не надолго фельдшеръ. Онъ нагнулся къ тому больному, у котораго на головѣ лежалъ мѣшокъ со льдомъ, и крикнулъ:

— Михайло!

Спавшій Михайло не шевельнулся. Фельдшеръ махнулъ рукой и ушелъ. Въ ожиданіи доктора, Пашка осматривалъ своего сосѣда-старика. Старикъ, не переставая, кашлялъ и плевалъ въ кружку; кашель у него былъ протяжный, скрипучій. Пашкѣ понравилась одна особенность старика: когда онъ, кашляя, вдыхалъ въ себя воздухъ, то въ груди его что-то свистѣло и пѣло на разные голоса.

— Дѣдъ, что это у тебя свиститъ?— спросилъ Пашка.

Старикъ ничего не отвѣтилъ. Пашка подождалъ немного и спросилъ:

— Дѣдъ, а гдѣ лисицы?

— Какая лисица?

— Живая.

— Гдѣ жъ ей быть? Въ лѣсу!

Прошло много времени, но докторъ все еще не являлся Сидѣлка принесла чай и побранила Пашку за то, что онъ не оставилъ себѣ хлѣба къ чаю; приходилъ еще разъ фельдшеръ и принимался будить Михайлу; за окнами посинѣло, въ палатахъ зажглись огни, а докторъ не показывался. Было уже поздно ѣхать на ярмарку и ловить чижей; Пашка растянулся на постели и сталъ думать. Вспомнилъ онъ леденцы, обѣщанные докторомъ, лицо и голосъ матери, потемки въ своей избѣ, печку, ворчливую бабку Егоровну... и ему стало вдругъ скучно и грустно. Вспомнилъ онъ, что завтра отецъ придетъ за нимъ, улыбнулся и закрылъ глаза.

Его разбудилъ шорохъ. Въ сосѣдней палатѣ кто-то шагалъ и говорилъ полушопотомъ. При тускломъ свѣтѣ ноч-

помощью матери снялъ рубаху... Докторъ лѣниво поглядѣлъ на него и похлопалъ его по голому животу.

— Важное, братъ Пашка, ты себѣ пузо отростилъ,— сказалъ онъ и вздохнулъ.—Ну, показывай свой локоть.

Пашка покосился на тазъ съ кровяными помоями, поглядѣлъ на докторскій фартукъ и заплакалъ.

— Ме-е!—передразнилъ докторъ. — Женить пора баловника, а онъ реветъ! Безсовѣстный.

Стараясь не плакать, Пашка поглядѣлъ на мать, и въ этомъ его взглядѣ была написана просьба: «ты же не разсказывай дома, что я въ больницѣ плакалъ!»

Докторъ осмотрѣлъ его локоть, подавилъ, вздохнулъ, чмокнулъ губами, потомъ опять подавилъ.

— Бить тебя, баба, да некому, — сказалъ онъ.—Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то вѣдь пропащая! Глядика-сь, дура, вѣдь это суставъ болитъ!

— Вамъ лучше знать, батюшка...—вздохнула баба.

— Батюшка... Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой онъ работникъ безъ руки? Вотъ вѣкъ цѣлый и будешь съ нимъ няньчиться. Небось, какъ у самой прыщъ на носу вскочитъ, такъ сейчасъ же въ больницу бѣжишь, а мальчишку полгода гноила. Всѣ вы такія.

Докторъ закурилъ папироску. Пока папироска дымила, онъ распекалъ бабу и покачивалъ головой въ такъ пѣсни, которую напѣвалъ мысленно, и все думалъ о чемъ-то. Голый Пашка стоялъ передъ нимъ, слушалъ и глядѣлъ на дымъ. Когда же папироса потухла, докторъ встрепенулся и заговорилъ тономъ ниже:

— Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тутъ не поможешь. Надо его въ больницѣ оставить.

— Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?

— Мы ему операцію сдѣлаемъ. А ты, Пашка, оставайся,—сказалъ докторъ, хлопая Пашку по плечу.—Пусть мать ѣдетъ, а мы съ тобой, братъ, тутъ останемся. У меня, братъ, хорошо, разлюли малина! Мы съ тобой, Пашка, вотъ какъ управимся, чижей пойдемъ ловить, я тебѣ лисицу покажу! Въ гости вмѣстѣ поѣдемъ! А? Хочешь? А мать за тобой завтра пріѣдетъ! А?

Пашка вопросительно поглядѣлъ на мать.

— Оставайся, дѣтка!—сказала та.

— Остается, остается!—весело закричалъ докторъ. — И

толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поѣдемъ вмѣстѣ на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверхъ!

Докторъ, повидимому, веселый и покладистый малый, радъ былъ компаніи; Пашка захотѣлъ уважить его, тѣмъ болѣе, что отродясь не бывалъ на ярмаркѣ и охотно бы поглядѣлъ на живую лисицу, но какъ обойтись безъ матери? Подумавъ немного, онъ рѣшилъ попросить доктора оставить въ больницѣ и мать, но не успѣлъ онъ раскрыть рта, какъ фельдшерица уже вела его вверхъ по лѣстницѣ. Шелъ онъ и, разинувъ ротъ, глядѣлъ по сторонамъ. Лѣстница, полы и косяки—все громадное, прямое и яркое—были выкрашены въ великолѣпную желтую краску и издавали вкусный запахъ постнаго масла. Всюду висѣли лампы, тянулись половики, торчали въ стѣнахъ мѣдные краны. Но больше всего Пашкѣ понравилась кровать, на которую его посадили, и сѣрое шершавое одѣяло. Онъ потрогалъ руками подушки и одѣяло, оглядѣлъ палату и рѣшилъ, что доктору живется очень недурно.

Палата была не велика и состояла только изъ трехъ кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидѣлъ какой-то старикъ съ кислыми глазами, который все время кашлялъ и плевалъ въ кружку. Съ Пашкиной кровати видна была въ дверь часть другой палаты съ двумя кроватями: на одной спалъ какой-то очень блѣдный, тощій человѣкъ съ каучуковымъ пузыремъ на головѣ; на другой, разставивъ руки, сидѣлъ мужикъ съ повязанной головой, очень похожій на бабу.

Фельдшерица, усадивъ Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа въ охапкѣ кучу одежи.

— Это тебѣ,—сказала она.—Одѣвайся.

Пашка раздѣлся и не безъ удовольствія сталъ облачаться въ новое платье. Надѣвши рубаху, штаны и сѣрый халатикъ, онъ самодовольно оглядѣлъ себя и подумалъ, что въ такомъ костюмѣ недурно бы пройтись по деревнѣ. Его воображеніе нарисовало, какъ мать посылаетъ его на огородъ къ рѣкѣ нарвать для поросенка капустныхъ листьевъ; онъ идетъ, а мальчишки и дѣвчонки окружили его и съ завистью глядятъ на его халатикъ.

Въ палату вошла сидѣлка, держа въ рукахъ двѣ одежи-

ныхъ миски, ложки и два куска хлѣба. Одну миску она поставила передъ старикомъ, другую—передъ Пашкой.

— Ѣшь!—сказала она.

Взглянувъ въ миску, Пашка увидѣлъ жирныя щи, а въ щахъ кусокъ мяса, и опять подумалъ, что доктору живется очень недурно и что докторъ вовсе не такъ сердитъ, какимъ показался сначала. Долго онъ ѣлъ щи, облизывая послѣ каждаго хлѣбка ложку, потомъ, когда, кромѣ мяса, въ мискѣ ничего не осталось, покосился на старика и позавидовалъ, что тотъ все еще хлебаетъ. Со вздохомъ онъ принялся за мясо, стараясь ѣсть его возможно дольше, но старанія его ни къ чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусокъ хлѣба. Не вкусно ѣсть одинъ хлѣбъ безъ приправы, но дѣлать было нечего, Пашка подумалъ и съѣлъ хлѣбъ. Въ это время вошла сидѣлка съ новыми мисками. На этотъ разъ въ мискахъ было жаркое съ картофелемъ.

— А гдѣ же хлѣбъ-то?—спросила сидѣлка.

Вмѣсто отвѣта Пашка надулъ щеки и выдыхнулъ воздухъ.

— Ну, зачѣмъ сожралъ?—сказала укоризненно сидѣлка.—А съ чѣмъ же ты жаркое ѣсть будешь?

Она вышла и принесла новый кусокъ хлѣба. Пашка отродясь не ѣлъ жаренаго мяса и, испробовавъ его теперь, нашелъ, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и послѣ него остался кусокъ хлѣба больше, чѣмъ послѣ щей. Старикъ, пообѣдавъ, спряталъ свой оставшійся хлѣбъ въ столикъ; Пашка хотѣлъ сдѣлать то же самое, но подумалъ и съѣлъ свой кусокъ.

Наѣвшись, онъ пошелъ прогуляться. Въ сосѣдней палатѣ, кромѣ тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ въ дверь, находилось еще четыре человѣка. Изъ нихъ только одинъ обратилъ на себя его вниманіе. Это былъ высокій, крайне исхудалый мужикъ съ угрюмымъ волосатымъ лицомъ; онъ сидѣлъ на кровати и все время, какъ маятникомъ, кивалъ головой и махалъ правой рукой. Пашка долго не отрывалъ отъ него глазъ. Сначала маятникообразныя, мѣрныя киванія мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потѣхи, но когда онъ вглядѣлся въ лицо мужика, ему стало жутко, и онъ понялъ, что этотъ мужикъ нестерпимо боленъ. Пройдя въ третью палату, онъ увидѣлъ двухъ мужиковъ съ темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они

неподвижно сидѣли на кроватяхъ и со своими странными лицами, на которыхъ трудно было различить черты, походили на языческихъ божковъ.

— Тетка, зачѣмъ они такіе? — спросилъ Пашка у сидѣлки.

— У нихъ, парнишка, восна.

Вернувшись къ себѣ въ палату, Пашка сѣлъ на кровать и сталъ дожидаться доктора, чтобы идти съ нимъ ловить чижей или ѣхать на ярмарку. Но докторъ не шелъ. Въ дверяхъ сосѣдней палаты мелькнулъ не надолго фельдшеръ. Онъ нагнулся къ тому больному, у котораго на головѣ лежалъ мѣшокъ со льдомъ, и крикнулъ:

— Михайло!

Спавшій Михайло не шевельнулся. Фельдшеръ махнулъ рукой и ушелъ. Въ ожиданіи доктора, Пашка осматривалъ своего сосѣда-старика. Старикъ, не переставая, кашлялъ и плевалъ въ кружку; кашель у него былъ протяжный, скрипучій. Пашкѣ поправилась одна особенность старика: когда онъ, кашляя, вдыхалъ въ себя воздухъ, то въ груди его что-то свистѣло и пѣло на разные голоса.

— Дѣдъ, что это у тебя свиститъ?— спросилъ Пашка.

Старикъ ничего не отвѣтилъ. Пашка подождалъ немного и спросилъ:

— Дѣдъ, а гдѣ лисицы?

— Какая лисица?

— Живая.

— Гдѣ жъ ей быть? Въ лѣсу!

Прошло много времени, но докторъ все еще не являлся. Сидѣлка принесла чай и побранила Пашку за то, что онъ не оставилъ себѣ хлѣба къ чаю; приходилъ еще разъ фельдшеръ и принимался будить Михайлу; за окнами посинѣло, въ палатахъ зажглись огни, а докторъ не показывался. Было уже поздно ѣхать на ярмарку и ловить чижей; Пашка растянулся на постели и сталъ думать. Вспомнилъ онъ леденцы, обѣщанные докторомъ, лицо и голосъ матери, потемки въ своей избѣ, печку, ворчливую бабку Егоровну... и ему стало вдругъ скучно и грустно. Вспомнилъ онъ, что завтра мать придетъ за нимъ, улыбнулся и закрылъ глаза.

Его разбудилъ шорохъ. Въ сосѣдней палатѣ кто-то шагалъ и говорилъ полушопотомъ. При тускломъ свѣтѣ ноч-

никовъ и лампадъ возлѣ кровати Михайлы двигались три фигуры.

— Понесемъ съ кроватью, аль такъ? — спросила одна изъ нихъ.

— Такъ. Не пройдешь съ кроватью. Эка, померъ не вовремя, царство небесное!

Одинъ взялъ Михайлу за плечи, другой—за ноги и приподняли: руки Михайлы и полы его халата слабо повисли въ воздухѣ. Третій—это былъ мужикъ, похожій на бабу—закрестился, и всѣ трое, безпорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли изъ палаты.

Въ груди спавшаго старика раздавались свистъ и разноголосое пѣніе. Пашка прислушался, взглянулъ на темныя окна и въ ужасѣ вскочилъ съ кровати.

— Ма-а-ма!—простоналъ онъ басомъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ бросился въ сосѣднюю палату. Тутъ свѣтъ лампадки и ночника еле-еле проясняетъ потемки; больные, потревоженные смертью Михайлы, сидѣли на своихъ кроватяхъ; мѣшаясь съ тѣнями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростомъ и, казалось, становились все больше и больше; на крайней кровати въ углу, гдѣ было темнѣе, сидѣлъ мужикъ и кивалъ головой и рукой.

Пашка, не разбирая дверей, бросился въ палату оспенныхъ, оттуда въ коридоръ, изъ коридора влетѣлъ въ большую комнату, гдѣ лежали и сидѣли на кроватяхъ чудовища съ длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробѣжавъ черезъ женское отдѣленіе, онъ опять очутился въ коридорѣ, увидѣлъ перила знакомой лѣстницы и побѣжалъ внизъ. Тутъ онъ узналъ пріемную, въ которой сидѣлъ утромъ, и сталъ искать выходной двери.

Задвижка щелкнула, пахнулъ холодный вѣтеръ, и Пашка, спотыкаясь, выбѣжалъ на дворъ. У него была одна мысль—бѣжать и бѣжать! Дороги онъ не зналъ, но былъ увѣренъ, что если побѣжитъ, то непремѣнно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками свѣтила луна. Пашка побѣжалъ отъ крыльца прямо впередъ, обогнулъ сарай и наткнулся на пустые кусты; постоявъ немного и подумавъ, онъ бросился назадъ къ больницѣ, обѣжалъ ее и опять остановился въ нерѣшимости: за больничнымъ корпусомъ бѣлѣли могильные кресты.

— Ма-амка!—закричалъ онъ и бросился назадъ.

Пробѣгая мимо темныхъ, суровыхъ строній, онъ увидѣлъ одно освѣщенное окно.

Яркое красное пятно въ потемкахъ казалось страшнымъ, но Пашка, обезумѣвшій отъ страха, не знавшій, куда бѣжать, повернулъ къ нему. Рядомъ съ окномъ было крыльцо со ступенями и парадная дверь съ бѣлой дощечкой; Пашка взбѣжалъ на ступени, взглянулъ въ окно, и острая, захватывающая радость вдругъ овладѣла имъ. Въ окно онъ увидѣлъ весслаго, покладистаго доктора, который сидѣлъ за столомъ и читалъ книгу. Смѣясь отъ счастья, Пашка протянулъ къ знакомому лицу руки, хотѣлъ крикнуть, но невѣдомая сила сжала его дыханіе, ударила по ногамъ; онъ покачнулся и безъ чувствъ повалился на ступени.

Когда онъ пришелъ въ себя, было уже свѣтло, и очень знакомый голосъ, обѣщавшій вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорилъ возлѣ него:

— Ну, и дуракъ, Пашка! Развѣ не дуракъ? Бить бы тебя, да некому.

# ПРОИСШЕСТВІЕ.

(Разсказъ ямщика.)

Вотъ въ этомъ лѣсочкѣ, что за балкой, случилась, сударь, исторія. Мой покойный батенька, царство имъ небесное, возли къ барину пятьсотъ цѣлковыхъ денегъ; тогда наши и шепелевскіе мужики снимали у барина землю въ аренду, такъ батенька везли деньги за полгода. Человѣкъ они были богобоязненный, писаніе читали, и чтобы обсчитать кого, или обидѣть, или, скажемъ, не ровенъ часъ, обжулить—это не дай Богъ, и мужики ихъ очень обожали, и когда нужно было кого въ городъ послать—по начальству, или съ деньгами, то ихъ посылали. Были они выдѣляющее изъ обыкновеннаго, но не въ обиду будь сказано, сидѣла въ нихъ малодушная фантазія. Любили они муху зашибить. Бывало мимо кабака проѣхать нѣтъ возможности: зайдутъ, выпьютъ стаканчикъ—и унеси ты мое горе! Знали они за собой эту слабость и, когда общественныя деньги возили, то, чтобъ не заснуть, или случаемъ не обронить, завсегда брали съ собой меня, или сестрицу Анютку.

По совѣсти сказать, все наше семейство до водки очень охотники. Я грамотный, въ городѣ въ табачномъ магазинѣ служилъ шесть лѣтъ и могу поговорить со всякимъ образованнымъ господиномъ, и разныя хорошія слова могу говорить, но какъ я читалъ въ одной книжкѣ, что водка есть кровь сатаны, такъ это доподлинно вѣрно, сударь. Отъ водки я потемнѣлъ съ лица, и нѣтъ во мнѣ никакой сообразности, и вотъ, изволите видѣть, служу въ ямщикахъ, какъ неграмотный мужикъ, какъ невѣжа.

Такъ вотъ, разсказываю я вамъ, везли батенька деньги къ барину, съ ними Анюткa ѣхала, а въ тѣ поры Анюткѣ было семь годочковъ, не то восемь—дура-дурой, отъ земли не видать. До Каланчика проѣхали благополучно, тверезы были, а какъ доѣхали до Каланчика, да зашли къ Мойсейкѣ въ кабакъ, началась у нихъ фантазія эта самая. Выпили они три стаканчика и давай похваляться при народѣ:

— Человѣкъ, говорятъ, я небольшой, простой, а въ карманѣ пятьсотъ цѣлковыхъ; захочу, говорятъ, такъ и кабакъ, и всю посуду, и Мойсейку съ его жидовкой и жиденятами куплю. Все, говорятъ, могу купить и выкупить.

Этакимъ, значитъ, манеромъ пошутили, а потомъ этого стали жаловаться:

— Бѣда, говорятъ, православные, быть богатымъ человѣкомъ, купцомъ или въ родѣ. Нѣтъ денегъ, нѣтъ и заботы, есть деньги, держись все время за карманъ, чтобъ злые люди не украли. Страшно жить на свѣтѣ, у котораго денегъ много.

Пьяный народъ, конечно, слушалъ, смекалъ и на усъ себѣ моталъ. А тогда тутъ на Каланчикѣ чугунку строили, и всякой швали и босоногой команды было видимо-невидимо, словно саранчи. Батенька потомъ спохватились, да ужъ поздно было. Слово не воробей, вылетитъ—не поймаешь. Ѣдутъ они, сударь, лѣсочкомъ, и вдругъ это самое, кто-то сзади верхомъ скачетъ. Батенька былъ не робкаго десятка,—этого нельзя сказать, но усумнились; тамъ, въ лѣсочкѣ, дорога непроѣзжая, только сѣно да дрова возятъ, и скакать тамъ некому и незачѣмъ, особливо въ рабочую пору. За хорошимъ дѣломъ не поскачешь.

— Какъ будто погоня,—говорятъ батенька Анюткѣ:—ужъ больно шибко скачутъ. Въ кабакѣ-то надо было мнѣ молчать, типунъ мнѣ на языкъ. Ой, дочка, чуетъ мое сердце, тутъ что-то недоброе!

Поразмыслили они малое время насчетъ своего опаснаго положенія и говорятъ сестрицѣ моей Анюткѣ:

— Дѣло выходитъ неосновательное, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ погоня. Какъ никакъ, милая Аннушка, возьми-ка ты, братъ, деньги, схорони ихъ себѣ въ подолъ и поди за кустъ, спрячься. Не ровенъ часъ, если нападутъ, проклятые, такъ ты бѣги къ матери и отдай ей деньги, пускай она ихъ старшинѣ снесетъ. Только ты, гляди, никому на глаза

не попадайся, бѣги гдѣ лѣсомъ, гдѣ балочкой, чтобъ тебя никто не увидѣлъ. Бѣги себѣ, да Бога милосерднаго призывай. Христосъ съ тобой!

Батенька сунулъ Анюткѣ узелокъ съ деньгами, а она выглядѣла кустъ, какой погуще, и спряталась. Погодя немного, подскочили къ батенькѣ трое верховыхъ; одинъ здоровый, мордастый, въ кумачевой рубахѣ и большихъ сапогахъ, и другіе два оборванные, ощарпанные, знать, съ чугунки. Какъ батенька сумнѣвались, такъ и вышло, сударь, дѣйствительно. Тотъ, что въ кумачевой рубахѣ, мужикъ здоровый, сильный, выдѣляющее изъ обыкновеннаго, лошадь остановилъ и всѣ трое принялись за батеньку.

— Стой, такой-сякой! Гдѣ деньги?

— Какія такія деньги? Пошелъ къ лѣшему.

— А тѣ деньги, что барину везешь за аренду! Давай, такой-сякой, чортъ лысый, а то душу загубишь, пропадешь безъ покаянія!

И начали они надъ батенькой свою подлость показывать, а батенька замѣсто того, чтобъ просить ихъ, плакать или что, разсердились и начали ихъ отдѣлывать, по всей, значитъ, строгости.

— Что вы, говорятъ, окаянные пристали? Сволочной вы народъ, Бога въ васъ нѣтъ, нѣтъ на васъ холеры! Не денегъ вамъ надо, а розогъ, чтобъ потомъ года три спина чесалась. Уходите, болваны, а то обороняться стану! У меня пистолетъ шестистволка за пазухой есть!

А разбойники отъ такихъ словъ еще пуще, и стали бить батеньку, чѣмъ попадя.

Обыскали они всю повозку, обшарили всего батеньку и даже саноги съ него сняли; когда увидѣли, что отъ битья батенька только пуще ругаются, стали они его на разныя манеры мучить. Анютка, тѣмъ временемъ, сидѣла за кустомъ и, сердечная, все видѣла. Когда ужъ увидѣла, что батенька лежатъ на землѣ и храпятъ, схватилась она съ мѣста и что есть духу побѣжала, гдѣ кустикомъ, гдѣ балочкой, назадъ къ дому. Дѣвчонка она была малая, безъ всякаго понятія, дороги не знала и бѣжала такъ, куда глаза глядятъ. До дому было верстъ девять. Другой бы въ одинъ часъ добѣжалъ, а малое дитя, извѣстно, шагъ впередъ, два въ сторону, да и не всякое тебѣ можетъ босыми ногами по лѣснымъ колючкамъ; тоже надо привычку имѣть, а наши

дѣвчонки все, бывало, на печкѣ гомозятся, или на дворѣ, а въ лѣсъ боялись бѣгать.

Къ вечеру Анютка кое-какъ добѣжала до жилья, глядитъ—чья-то изба. А то была изба лѣсничаго за Сухоруковымъ, въ казенномъ лѣсу, купцы тогда арендовали, уголь жгли. Постучалась. Выходитъ къ ней баба, жена лѣсника. Анютка сейчасъ, первое дѣло, въ слезы и объяснила ей все, какъ есть, все на чистоту, и даже про деньги объяснила. Лѣсничиха разжалобилась.

— Сердечная ты моя! Ягодка! Это тебя, такую махонькую, Богъ сохранилъ! Дѣточка моя родная! Пойдемъ въ избу, я тебѣ хоть поѣсть дамъ!

Значитъ, стала подъѣзжать къ Анюткѣ, покормила ее, напоила и даже поплакала съ ей вмѣстѣ и такъ ее разуважила, что дѣвчонка даже, подумай, узелокъ ей съ деньгами отдала.

— Я, ясочка, спрячу, а завтра, говоритъ, по утру отдамъ и до дому тебя провожу, касатка.

Взяла баба деньги, а Анютку уложила спать на печкѣ, гдѣ о ту пору сушились вѣники. И на этой самой печкѣ, на вѣникахъ, спала дочка лѣсника, такая же махонькая, какъ и наша Анютка. И потомъ Анютка намъ разсказывала, духъ такой отъ вѣниковъ былъ, медомъ пахло! Легла Анютка, а спать не можетъ, потихоньку плачетъ: батеньку жалко и страшно. Только, сударь, проходитъ часъ-другой, и видитъ она, въ избу входятъ тѣ три разбойника, что батеньку мучили. Вотъ тотъ, что мордастый въ кумачевой рубахѣ, атаманъ ихній, подходитъ къ бабѣ и говоритъ:

— Ну, жена, только даромъ душу загубили. Нынче, говоритъ, въ обѣдъ мы человѣка убили. Убить-то убили, а денегъ ни гроша не нашли.

Стало-быть, этотъ-то, въ кумачевой рубахѣ, лѣсничихинъ мужъ выходитъ.

— Пропалъ задаромъ человѣкъ,—говорятъ его товарищи, оборванные:—понапрасну мы грѣхъ на душу приняли.

Лѣсничиха поглядѣла на всѣхъ трехъ и усмѣхается.

— Чего, дура, смѣешься?

— А то смѣюсь, что вотъ я и души не сгубила, и грѣха на душеньку свою не принимала, а деньги нашла.

— Какія деньги? Что брешешь?

— А вотъ погляди, какъ я брешу.

Лѣсничиха развязала узелокъ и показала имъ, окаянная,

деньги, потомъ разсказала все, какъ пришла къ ей Анютка, какъ говорила Анютка и прочее. Душегубы обрадовались, стали дѣлиться промежъ себя, чуть не подрались, потомъ, значитъ, сѣли за столъ трескать. А Анютка лежитъ, бѣдная, слышитъ всѣ ихнія слова и трясется, какъ жидъ на сковородѣ. Что тутъ дѣлать? И изъ ихнихъ словъ она узнала, что батенька померли и лежатъ поперекъ дороги, и мерещится ей, глупенькой, будто бѣднаго батеньку ѣдятъ волки и собаки, будто лошадь наша ушла далеко въ лѣсъ и ее тоже волки съѣли, и будто саму Анютку за то, что денегъ не уберегла, въ острогъ посадятъ, бить будутъ.

А разбойники налопались и послали бабу за водкой. Пять рублей ей дали, чтобы и водки купила, и сладкаго вина. Пошло у нихъ на чужія деньги и пьянство, и пѣсни. Пили, пили, собаки, и опять бабу послали, чтобъ, значитъ, пить безъ конца краю.

— Будемъ до утра гулять!—кричатъ.—Денегъ у насъ теперь много, жалѣть нечего! Пей, да ума не пропивай!

Этакъ, къ полночи, когда всѣ были здорово урѣзавши, баба побѣжала за водкой третій разъ, а лѣсникъ прошелся раза два по избѣ, а самъ шатается.

— А что, говоритъ, братцы, вѣдь дѣвчонку прибрать надо! Ежели мы ее такъ оставимъ, такъ она на насъ будетъ первая доказчица.

Посудили, порядили и такъ рѣшили: не быть Анюткѣ живой—зарѣзать. Извѣстно, зарѣзать невиннаго младенца страшно, за такое дѣло нешто пьяный возьмется, или угорѣлый. Можетъ, съ часъ спорили, кому убивать, другъ дружку нанимали, чуть не подрались опять и—никто не согласенъ; тогда и бросили жребій. Лѣснику досталось. Выпилъ онъ еще полный стаканъ, крякнулъ и пошелъ въ сѣни за топоромъ.

А Анютка дѣвка не промахъ. Даромъ, что дура, а надумала, скажи на милость, такое, что не всякому и грамотному на умъ вскочитъ. Можетъ, Господь надъ ней сжалился и на это время разсудокъ ей послалъ, а можетъ, поумнѣла отъ страха а только, на повѣрку, вышло, что она хитрѣй всѣхъ. Встала потихоньку, Богу помолилась, взяла тулупчикъ тотъ самый, что ее лѣсничиха укрыла, и,—понимаешь, съ ней на печкѣ лѣсникова дѣвочка лежала, однихъ годочковъ съ ней,—она эту дѣвочку укрыла тулупчикомъ,

а съ нея взяла бабью кофту и накинула на себя. Помѣнялась, значитъ. Накинула себѣ на голову и такъ прошла черезъ избу, мимо пьяницъ, а тѣ думали, что это лѣсникова дочка, и даже не взглянули. На ея счастье, бабы въ избѣ не было, за водкой пошла, а то бы, пожалуй, не миновать ей топора, потому бабій глазъ видючій, какъ у кобца. У бабы глазъ острый.

Вышла Анютка изъ избы и давай Богъ ноги, куда глаза глядятъ. Всю ночь по лѣсу путалась, а утромъ выбралась на опушку и побѣжала по дорогѣ. Далъ Богъ, повстрѣчался ей писарь Егоръ Данилычъ, царство небесное. Шелъ онъ съ удочками рыбу ловить. Разсказала ему Анютка все дочиста. Онъ скорѣй назадъ—до рыбы ли тутъ?—въ деревню, собралъ мужиковъ и айда къ лѣснику.

Пришли туда, а душегубы всѣ въ повалку, натрескавшись, лежатъ, гдѣ кто упалъ. Съ ними и пьяная баба. Обыскали ихъ первымъ дѣломъ, забрали деньги, а когда поглядѣли на печку, то—съ нами крестная сила!—лежитъ лѣсникова дѣвочка на вѣникахъ, подъ тулупчикомъ, а голова вся въ крови, топоромъ зарублена. Побудили мужиковъ и бабу, связали руки назадъ и повели въ волость. Баба воетъ, а лѣсникъ только мотаетъ головой и проситъ:

— Опохмѣлиться бы, братцы! Голова болитъ.

Потомъ своимъ порядкомъ судъ былъ въ городѣ, наказывали по всей строгости законовъ.

Такъ вотъ какая исторія случилась, сударь, за тѣмъ лѣсомъ, что за балкой. Уже еле видать его, садится за нимъ солнышко красное. Разговорился я съ вами, а лошади стали, словно и онѣ слушаютъ. Эй вы, милыя, хорошія! Бѣгите веселѣй, баринъ—господинъ хорошій, на чай пожалуетъ! Эй вы, голуби!

# ЗЛОУМЫШЛЕННИКЪ.

Передъ судебнымъ слѣдователемъ стоитъ маленькій, чрезвычайно тощій мужичонко въ нестрядинной рубахѣ и латанныхъ портахъ. Его обросшее волосами и изъѣденное рябинами лицо и глаза, едва видные изъ-за густыхъ, нависшихъ бровей, имѣютъ выраженіе угрюмой суровости. На головѣ цѣлая шапка давно уже нечесанныхъ, путанныхъ волосъ, что придаетъ ему еще бо́льшую, паучью суровость. Онъ босъ.

— Денисъ Григорьевъ! — начинаетъ слѣдователь. — Подойди поближе и отвѣчай на мои вопросы. Седьмого числа сего іюля желѣзнодорожный сторожъ Иванъ Семеновъ Акинфовъ, проходя утромъ по линіи, на 141-й верстѣ, засталъ тебя за отвинчиваніемъ гайки, коей рельсы прикрѣпляются къ шпаламъ. Вотъ она, эта гайка!.. Съ каковою гайкой онъ и задержалъ тебя. Такъ ли это было?

— Чаво?

— Такъ ли все это было, какъ объясняетъ Акинфовъ?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивалъ гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвѣчай на вопросъ: для чего ты отвинчивалъ гайку?

— Коли бъ не нужна была, не отвинчивалъ бы,—хрипитъ Денисъ, косясь на потолокъ.

— Для чего же тебѣ понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы изъ гаекъ грузила дѣлаемъ...

— Кто это—мы?

— Мы, народъ... Климовскіе мужики, то-есть.

— Послушай, братецъ, не прикидывайся ты мнѣ идіотомъ, а говори толкомъ. Нечего тутъ про грузила врать!

— Отродясь не вралъ, а тутъ вру...—бормочетъ Денисъ, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородіе, можно безъ грузила? Ежели ты живца, или выползка на крючокъ сажаешь, то нешто онъ пойдетъ ко дну безъ грузила? Вру...—усмѣхается Денисъ.—Чортъ ли въ немъ, въ живцѣ-то, ежели поверху плавать будетъ! Окунь, щука, налимъ завсегда на донную идетъ, а которая ежели поверху плаваетъ, то ту развѣ только шилишперъ схватитъ, да и то рѣдко... Въ нашей рѣкѣ не живетъ шилишперъ... Эта рыба просторъ любитъ.

— Для чего ты мнѣ про шилишпера разсказываешь?

— Чаво? Да вѣдь вы сами спрашиваете! У насъ и господа такъ ловятъ. Самый послѣдній мальчишка не станетъ тебѣ безъ грузила ловить. Конечно, который непонимающій, ну, тотъ и безъ грузила пойдетъ ловить. Дураку законъ не писанъ...

— Такъ ты говоришь, что ты отвинтилъ эту гайку для того, чтобы сдѣлать изъ нея грузило?

— А то что же? Не въ бабки жъ играть!

— Но для грузила ты могъ взять свинецъ, пулю... гвоздикъ какой-нибудь...

— Свинецъ на дорогѣ не найдешь, купить надо, а гвоздикъ не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая, и дыра есть.

— Дуракомъ какимъ прикидывается! Точно вчера родился, или съ неба упалъ. Развѣ ты не понимаешь, глупая голова, къ чему ведетъ это отвинчиваніе? Не догляди сторожъ, такъ вѣдь поѣздъ могъ бы сойти съ рельсовъ, людей бы убило! Ты людей убилъ бы!

— Избави Господи, ваше благородіе! Зачѣмъ убивать? Нешто мы некрещеные, или злодѣи какіе? Слава те Господи, господинъ хорошій, вѣкъ свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей такихъ въ головѣ не было... Спаси и помилуй, Царица Небесная... Что вы-съ!

— А отчего, по-твоему, происходятъ крушенія поѣздовъ? Отвинти двѣ-три гайки, вотъ тебѣ и крушеніе!

Денисъ усмѣхается и недовѣрчиво щуритъ на слѣдователя глаза.

— Ну! Ужъ сколько лѣтъ всей деревней гайки отвинчиваемъ и хранилъ Господь, а тутъ крушеніе... людей убилъ... Ежели бъ я рельсу унесъ, или, положимъ, бревно поперекъ ейнаго пути положилъ, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поѣздъ, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрѣпляется рельса къ шпаламъ!

— Это мы понимаемъ... Мы вѣдь не всѣ отвинчиваемъ... оставляемъ... Не безъ ума дѣлаемъ... понимаемъ...

Денисъ зѣваетъ и креститъ ротъ.

— Въ прошломъ году здѣсь сошелъ поѣздъ съ рельсовъ,— говоритъ слѣдователь.—Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего въ прошломъ году сошелъ поѣздъ съ рельсовъ... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь зналъ, кому понятіе давалъ... Вы вотъ и разсудили, какъ и что, а сторожъ тотъ же мужикъ, безъ всякаго понятія, хватаетъ за шиворотъ и тащитъ... Ты разсуди, а потомъ и тащи! Сказано — мужикъ, мужицкій и умъ... Запишите также, ваше благородіе, что онъ меня два раза по зубамъ ударилъ и въ груди.

— Когда у тебя дѣлали обыскъ, то нашли еще одну гайку... Эту въ какомъ мѣстѣ ты отвинтилъ и когда?

— Это вы про ту гайку, что подъ краснымъ сундучкомъ лежала?

— Не знаю, гдѣ она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтилъ?

— Я ее не отвинчивалъ, ее мнѣ Игнашка, Семена кривого сынъ, далъ. Это я про ту, что подъ сундучкомъ, а ту, что на дворѣ въ саняхъ, мы вмѣстѣ съ Митрофаномъ вывинтили.

— Съ какимъ Митрофаномъ?

— Съ Митрофаномъ Петровымъ... Нешто не слыхали? Невода у насъ дѣлаетъ и господамъ продаетъ. Ему много этихъ самыхъ гаекъ требуется. На каждый неводъ, почитай, штукъ десять...

— Послушай... 1081 статья уложенія о наказаніяхъ говоритъ, что за всякое съ умысломъ учиненное поврежденіе

желѣзной дороги, когда оно можетъ подвергнуть опасности слѣдующій по сей дорогѣ транспортъ и виновный зналъ, что послѣдствіемъ сего должно быть несчастье... понимаешь? зналъ! А ты не могъ не знать, къ чему ведетъ это отвинчиваніе... онъ приговаривается къ ссылкѣ въ каторжныя работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаемъ?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачѣмъ врать? Спросите на деревнѣ, коли не вѣрите... Безъ грузила только уклейку ловятъ, а на что хуже пискаря, да и тотъ не пойдетъ тебѣ безъ грузила.

— Ты еще про шилишпера разскажи!—улыбается слѣдователь.

— Шилишперъ у насъ не водится... Пущаемъ леску безъ грузила поверхъ воды на бабочку, идетъ голавль, да и то рѣдко.

— Ну, молчи...

Наступаетъ молчаніе. Денисъ переминается съ ноги на ногу, глядитъ на столъ съ зеленымъ сукномъ и усиленно мигаетъ глазами, словно видитъ предъ собой не сукно, а солнце. Слѣдователь быстро пишетъ.

— Мнѣ иттить?—спрашиваетъ Денисъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Нѣтъ. Я долженъ взять тебя подъ стражу и отослать въ тюрьму.

Денисъ перестаетъ мигать и, приподнявъ свои густыя брови, вопросительно глядитъ на чиновника.

— То-есть, какъ же въ тюрьму? Ваше благородіе! Мнѣ некогда, мнѣ надо на ярмарку; съ Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мѣшай.

— Въ тюрьму... Было бъ за что, пошелъ бы, а то такъ... здорово живешь... За что? И не кралъ, кажись, и не дрался... А ежели вы насчетъ недоимки сомнѣваетесь, ваше благородіе, то не вѣрьте старостѣ... Вы господина непремѣннаго члена спросите... Креста на немъ нѣтъ, на старостѣ-то...

— Молчи!

— Я и такъ молчу...—бормочетъ Денисъ.—А что староста набрехалъ въ учетѣ, это я хоть подъ присягой... Насъ

три брата: Кузьма Григорьевъ, стало-быть, Егоръ Григорьевъ и я, Денисъ Григорьевъ...

— Ты мнѣ мѣшаешь... Эй, Семенъ! — кричитъ слѣдователь.—Увести его!

— Насъ три брата, — бормочетъ Денисъ, когда два дюжихъ солдата берутъ и ведутъ его изъ камеры.—Братъ за брата не отвѣтчикъ... Кузьма не платитъ, а ты, Денисъ, отвѣчай... Судьи! Померъ покойникъ баринъ-генералъ, царство небесное, а то показалъ бы онъ вамъ, судьямъ... Надо судить умѣючи, не зря... Хоть и высѣки, но чтобъ за дѣло, по совѣсти...

# ДѢТВОРА.

Папы, мамы и тети Нади нѣтъ дома. Они уѣхали на крестины къ тому старому офицеру, который ѣздитъ на маленькой сѣрой лошади. Въ ожиданіи ихъ возвращенія, Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркинъ сынъ Андрей сидятъ въ столовой за обѣденнымъ столомъ и играютъ въ лото. Говоря по совѣсти, имъ пора уже спать; но развѣ можно уснуть, не узнавъ отъ мамы, какой на крестинахъ былъ ребеночекъ и что подавали за ужиномъ? Столъ, освѣщаемый висячей лампой, пестритъ цифрами, орѣховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Передъ каждымъ изъ играющихъ лежатъ по двѣ карты и по кучкѣ стеклышекъ для покрышки цифръ. Посреди стола бѣлѣетъ блюдечко съ пятью копеечными монетами. Возлѣ блюдечка недоѣденное яблоко, ножницы и тарелка, въ которую приказано класть орѣховую скорлупу. Играютъ дѣти на деньги. Ставка—копейка. Условіе: если кто смошенничаетъ, того немедленно вонъ. Въ столовой, кромѣ играющихъ, нѣтъ никого. Няня Агафья Ивановна сидитъ внизу въ кухнѣ и учитъ тамъ кухарку кроить, а старшій братъ Вася, ученикъ V класса, лежитъ въ гостиной на диванѣ и скучаетъ.

Играютъ съ азартомъ. Самый большой азартъ написанъ на лицѣ у Гриши. Это маленькій, девятилѣтній мальчикъ съ до-гола остриженной головой, пухлыми щеками и съ жирными, какъ у негра, губами. Онъ уже учился въ приготовительномъ классѣ, а потому считается большимъ и самымъ умнымъ. Играетъ онъ исключительно изъ-за денегъ. Не будь на блюдечкѣ копеекъ, онъ давно бы уже спалъ. Его

карiе глазки безпокойно и ревниво бѣгаютъ по картамъ партнеровъ. Страхъ, что онъ можетъ не выиграть, зависть и финансовыя соображенія, наполняющія его стриженую голову, не даютъ ему сидѣть покойно, сосредоточиться. Вертится онъ, какъ на иголкахъ. Выигравъ, онъ съ жадностью хватаетъ деньги и тотчасъ же прячетъ ихъ въ карманъ. Сестра его Аня, дѣвочка лѣтъ восьми, съ острымъ подбородкомъ и умными, блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выигралъ. Она краснѣетъ, блѣднѣетъ и зорко слѣдитъ за игроками. Копейки ея не интересуютъ. Счастье въ игрѣ для нея вопросъ самолюбія. Другая сестра, Соня, дѣвочка шести лѣтъ, съ кудрявой головкой и съ цвѣтомъ лица, какой бываетъ только у очень здоровыхъ дѣтей, у дорогихъ куколъ и на бонбоньеркахъ, играетъ въ лото ради процесса игры. По лицу ея разлито умиленіе. Кто бы ни выигралъ, она одинаково хохочетъ и хлопаетъ въ ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузикъ, пыхтитъ, сопитъ и пучитъ глаза на карты. У него ни корыстолюбія, ни самолюбія. Не гонятъ изъ-за стола, не укладываютъ спать — и на томъ спасибо. По виду онъ флегма, но въ душѣ порядочная бестія. Сѣлъ онъ не столько для лото, сколько ради недоразумѣній, которыя неизбѣжны при игрѣ. Ужасно ему пріятно, если кто ударитъ или обругаетъ кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбѣгать, но онъ не выходитъ изъ-за стола ни на минуту, боясь, чтобъ безъ него не похитили его стеклышекъ и копеекъ. Такъ какъ онъ знаетъ однѣ только единицы и тѣ числа, которыя оканчиваются нулями, то за него покрываетъ цифры Аня. Пятый партнеръ, кухаркинъ сынъ Андрей, черномазый, болѣзненный мальчикъ, въ ситцевой рубашкѣ и съ мѣднымъ крестикомъ на груди, стоитъ неподвижно и мечтательно глядитъ на цифры. Къ выигрышу и къ чужимъ успѣхамъ онъ относится безучастно, потому что весь погруженъ въ ариѳметику игры, въ ея несложную философію: сколько на этомъ свѣтѣ разныхъ цифръ, и какъ это онѣ не перепутаются!

Выкрикиваютъ числа всѣ по очереди, кромѣ Сони и Алеши. Въ виду однообразія чиселъ, практика выработала много терминовъ и смѣхотворныхъ прозвищъ. Такъ, семь у игроковъ называется кочергой, одиннадцать—палочками, семьдесятъ семь—Семенъ Семенычемъ, девяносто—дѣдушкой и т. д. Игра идетъ бойко.

— Тридцать два!— кричитъ Гриша, вытаскивая изъ отцовской шапки желтые цилиндрики.—Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь—сѣно косимъ!

Аня видитъ, что Андрей прозѣвалъ 28. Въ другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечкѣ вмѣстѣ съ копейкой лежитъ ея самолюбіе, она торжествуетъ.

— Двадцать три!— продолжаетъ Гриша.—Семенъ Семенычъ! Девять!

— Прусакъ, прусакъ!—вскрикиваетъ Соня, указывая на прусака, бѣгущаго черезъ столъ.—Ай!

— Не бей его,—говоритъ басомъ Алеша.—У него, можетъ-быть, есть дѣти...

Соня провожаетъ глазами прусака и думаетъ о его дѣтяхъ: какіе это, должно быть, маленькіе прусачата!

— Сорокъ три! Одинъ!— продолжаетъ Гриша, страдая отъ мысли, что у Ани уже двѣ катерны.—Шесть!

— Партія! У меня партія!— кричитъ Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеровъ вытягиваются физіономіи.

— Провѣрить!— говоритъ Гриша, съ ненавистью глядя на Соню.

На правахъ большого и самаго умнаго, Гриша забралъ себѣ рѣшающій голосъ. Что онъ хочетъ, то и дѣлаютъ. Долго и тщательно провѣряютъ Соню, и къ величайшему сожалѣнію ея партнеровъ оказывается, что она не смошенничала. Начинается слѣдующая партія.

— А что я вчера видѣла!—говоритъ Аня какъ бы про себя.—Филиппъ Филиппычъ заворотилъ какъ-то вѣки, и у него сдѣлались глаза красные, страшные, какъ у нечистаго духа.

— Я тоже видѣлъ,—говоритъ Гриша.—Восемь! А у насъ ученикъ умѣетъ ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимаетъ глаза на Гришу, думаетъ и говоритъ:

— И я умѣю ушами шевелить...

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелитъ глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходятъ въ движеніе. Всеобщій смѣхъ.

— Нехорошій человѣкъ этотъ Филиппъ Филиппычъ,—

Снимаютъ лампу и лѣзутъ подъ столъ искать копейку. Хватаютъ руками плевки, орѣховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находятъ. Начинаютъ искать снова и ищутъ до тѣхъ поръ, пока Вася не вырываетъ изъ рукъ Гриши лампу и не ставитъ ея на мѣсто. Гриша продолжаетъ искать въ потемкахъ.

Но вотъ, наконецъ, копейка найдена. Игроки садятся за столъ и хотятъ продолжать игру.

— Соня спитъ!—заявляетъ Алеша.

Соня, положивъ кудрявую голову на руки, спитъ сладко, безмятежно и крѣпко, словно она уснула часъ тому назадъ. Уснула она нечаянно, пока другіе искали копейку.

— Поди, на мамину постель ложись! — говоритъ Аня, уводя ее изъ столовой.—Иди!

Ее ведутъ всѣ гурьбой, и черезъ какія-нибудь пять минутъ мамина постель представляетъ собой любопытное зрѣлище. Спитъ Соня. Возлѣ нея похрапываетъ Алеша. Положивъ на ихъ ноги голову, спятъ Гриша и Аня. Тутъ же кстати заодно примостился и кухаркинъ сынъ Андрей. Возлѣ нихъ валяются копейки, потерявшія свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

# МЕРТВОЕ ТѢЛО.

Тихая августовская ночь. Съ поля медленно поднимается туманъ и матовой пеленой застилаетъ все, доступное для глаза. Освѣщенный луною, этотъ туманъ даетъ впечатлѣніе то спокойнаго, безпредѣльнаго моря, то громадной бѣлой стѣны. Въ воздухѣ сыро и холодно. Утро еще далеко. На шагъ отъ проселочной дороги, идущей по опушкѣ лѣса, свѣтится огонекъ. Тутъ, подъ молодымъ дубомъ лежитъ мертвое тѣло, покрытое съ головы до ногъ новой бѣлой холстиной. На груди большой деревянный образокъ. Возлѣ трупа, почти у самой дороги, сидитъ «очередь» — два мужика, исполняющихъ одну изъ самыхъ тяжелыхъ и неприглядныхъ крестьянскихъ повинностей. Одинъ — молодой, высокій парень съ едва замѣтными усами и съ густыми, черными бровями, въ рваномъ полушубкѣ и лаптяхъ, сидитъ на мокрой травѣ, протянувъ впередъ ноги, и старается скоротать время работой. Онъ нагнулъ свою длинную шею и, громко сопя, дѣлаетъ изъ большой, угловатой деревяшки ложку. Другой — маленькій мужичонко со старческимъ лицомъ, тощій, рябой, съ жидкими усами и козлиной бородкой, свѣсилъ на колѣни руки и, не двигаясь, глядитъ безучастно на огонь. Между обоими лѣниво догораетъ небольшой костеръ и освѣщаетъ ихъ лица въ красный цвѣтъ. Тишина. Слышно только, какъ скрипитъ подъ ножомъ деревяшка и потрескиваютъ въ кострѣ сырыя бревнышки.

— А ты, Сема, не спи...—говоритъ молодой.

— Я... не сплю...—зѣвается козлиная бородка.

— То-то... Одному сидѣть жутко, страхъ беретъ. Разсказалъ бы что-нибудь, Сема!

— Не... не умѣю...

— Чудной ты человѣкъ, Семушка! Другіе люди и посмѣются, и небылицу какую разскажутъ, и пѣсню споютъ, а ты—Богъ тебя знаетъ, какой. Сидишь, какъ пугало огородное, и глаза на огонь таращишь. Слова путемъ сказать не умѣешь... Говоришь и будто боишься. Чай, ужъ годовъ пятьдесятъ есть, а разсудка меньше, чѣмъ въ дитѣ... И тебѣ не жалко, что ты дурачокъ?

— Жалко...—угрюмо отвѣчаетъ козлиная бородка.

— А намъ нешто не жалко глядѣть на твою глупость? Мужикъ ты добрый, тверезый, одно только горе — ума въ головѣ нѣту. А ты бы, ежели Господь тебя обидѣлъ, разсудка не далъ, самъ бы ума набирался... Ты понатужься, Сема... Гдѣ что хорошее скажутъ, ты и вникай, бери себѣ въ толкъ, да все думай, думай... Ежели какое слово тебѣ непонятно, ты понатужься и разсуди въ головѣ, въ какихъ смыслахъ это самое слово. Понялъ? Понатужься! А ежели самъ до ума доходить не будешь, то такъ и помрешь дурачкомъ, послѣднимъ человѣкомъ.

Вдругъ въ лѣсу раздается протяжный, стонущій звукъ. Что-то, какъ будто сорвавшись съ самой верхушки дерева, шелеститъ листвой и падаетъ на землю. Всему этому глухо вторитъ эхо. Молодой вздрагиваетъ и вопросительно глядитъ на своего товарища.

— Это сова пташекъ забижаетъ, — говоритъ угрюмо Сема.

— А что, Сема, вѣдь ужъ время птицамъ летѣть въ теплые края!

— Знамо, время.

— Холодныя нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зябкая тварь, нѣжная. Для него такой холодъ — смерть. Вотъ я не журавль, а замерзъ... Подложи-ка дровецъ!

Сема поднимается и исчезаетъ въ темной чащѣ. Пока онъ возится за кустами и ломаетъ сухіе сучья, его товарищъ закрываетъ руками глаза и вздрагиваетъ отъ каждаго звука. Сема приноситъ охапку хворосту и кладетъ ее на костеръ. Огонь нерѣшительно облизываетъ язычками черные сучья, потомъ вдругъ, словно по командѣ, охватываетъ ихъ и освѣщаетъ въ багровый свѣтъ лица, дорогу,

бѣлую холстину съ ея рельефами отъ рукъ и ногъ мертвеца, образокъ... «Очередь» молчитъ. Молодой еще ниже нагибаетъ шею и еще нервнѣе принимается за работу. Козлиная бородка сидитъ попрежнему неподвижно и не сводитъ глазъ съ огня...

— «Ненавидящіе Сіона... посрамистеся отъ Господа»...— слышится вдругъ въ ночной тишинѣ поющая фистула, потомъ слышатся тихіе шаги, и на дорогѣ въ багровыхъ лучахъ костра выростаетъ темная человѣческая фигура въ короткой монашеской рясѣ, широкополой шляпѣ и съ котомкой за плечами.

— Господи, Твоя воля! Мать честная! — говоритъ эта фигура сиплымъ дискантомъ.—Увидѣлъ огонь во тьмѣ кромѣшной и взыгрался духомъ... Сначала думалъ—ночное, потомъ же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сіе, думаю, не разбойники ли, богатаго Лазаря поджидающіе? Не цыганская ли это нація, жертвы идоламъ приносящая? И взыграся духъ мой... Иди, говорю себѣ, рабъ Ѳеодосій, и пріими вѣнецъ мученическій! И понесло меня на огонь, какъ мотыля легкокрылаго. Теперь стою передъ вами и по наружнымъ физіогноміямъ вашимъ сужу о душахъ вашихъ: не тати вы и не язычники. Миръ вамъ!

— Здорово.

— Православные, не знаете ли вы, какъ тутъ пройтить до Макухинскихъ кирпичныхъ заводовъ?

— Близко. Вотъ это, стало-быть, пойдете прямо по дорогѣ; версты двѣ пройдете, тамъ будетъ Ананова, наша деревня. Отъ деревни, батюшка, возьмешь вправо, берегомъ, и дойдешь до заводовъ. Отъ Ананова версты три будетъ.

— Дай Богъ здоровья. А вы чего тутъ сидите?

— Понятыми сидимъ. Вишь, мертвое тѣло...

— Что? Какое тѣло? Мать честная!

Странникъ видитъ бѣлую холстину съ образкомъ и вздрагиваетъ такъ сильно, что его ноги дѣлаютъ легкій прыжокъ. Это неожиданное зрѣлище дѣйствуетъ на него подавляюще. Онъ весь съеживается и, раскрывъ ротъ, выпуча глаза, стоитъ какъ вкопанный... Минуты три онъ молчитъ, словно не вѣритъ глазамъ своимъ, потомъ начинаетъ бормотать:

— Господи! Мать честная!! Шелъ себѣ, никого не трогалъ, и вдругъ этакое наказаніе...

— Вы изъ какихъ будете?—спрашиваетъ парень.—Изъ духовенства?

— Нѣ... нѣтъ... Я по монастырямъ хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводскаго управляющаго? Такъ вотъ я ихній племянникъ... Господи, Твоя воля! Зачѣмъ же вы тутъ?

— Сторожимъ... Велятъ.

— Такъ, такъ...—бормочетъ ряска, поводя рукой по глазамъ.—А откуда покойникъ-то?

— Прохожій.

— Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь беретъ. Боюсь мертвецовъ пуще всего, родимые мои... Вѣдь вотъ, скажи на милость! Покеда этотъ человѣкъ живъ былъ, не замѣчали его, теперь же, когда онъ мертвъ и тлѣну предается, мы трепещемъ передъ нимъ, какъ передъ какимъ-нибудь славнымъ полководцемъ или преосвященнымъ владыкою... Жизнь наша! Что жъ, его убили, что ли?

— Христосъ его знаетъ! Можетъ, убили, а можетъ и самъ померъ.

— Такъ, такъ... Кто знаетъ, братцы, можетъ, душа его теперь сладости райскія вкушаетъ!

— Душа его еще здѣсь около тѣла ходитъ...—говоритъ парень.—Она три дня отъ тѣла не идетъ.

— М-да... Холода какіе нынче! Зубъ на зубъ не попадетъ... Такъ, стало-быть, идти все прямо и прямо...

— Покеда въ деревню не упрешься, а тамъ возьмешь вправо, берегомъ.

— Берегомъ... Такъ... Что жъ это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска дѣлаетъ шаговъ пять по дорогѣ и останавливается.

— Забылъ копеечку на погребеніе положить,—говоритъ онъ.—Православные, можно монетку положить?

— Тебѣ это лучше знать, ты по монастырямъ ходишь. Ежели настоящей смертью онъ померъ, то пойдетъ за душу, ежели самоубивецъ, то грѣхъ.

— Вѣрно... Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ самоубійца! Такъ ужъ лучше я свою монетку при себѣ оставлю. Охъ, грѣхи,

грѣхи! Дай мнѣ тыщу рублей, и то бъ не согласился тутъ сидѣть... Прощайте, братцы.

Ряска медленно отходитъ и опять останавливается.

— Ума не приложу, какъ мнѣ быть...—бормочетъ она.— Тутъ около огня остаться, разсвѣта подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу въ потемкахъ покойникъ будетъ мерещиться... Вотъ наказалъ Господь! Пятьсотъ верстъ пѣшкомъ прошелъ, и ничего, а къ дому сталъ подходить, и горе... Не могу идти!

— Это правда, что страшно...

— Не боюсь ни волковъ, ни татей, ни тьмы, а покойниковъ боюсь. Боюсь, да и шабашъ! Братцы православные, молю васъ колѣнопреклоненно, проводите меня до деревни!

— Намъ не велѣно отъ тѣла отходить.

— Никто не увидитъ, братцы! Ей же ей, не увидитъ! Господь вамъ сторицею воздастъ! Борода, проводи, сдѣлай милость! Борода! Что ты все молчишь?

— Онъ у насъ дурачокъ...—говоритъ парень.

— Проводи, другъ! Пятачокъ дамъ!

— За пятачокъ бы можно,—говоритъ парень, почесывая затылокъ:—да не велѣно... Ежели вотъ Сема, дурачокъ-то, одинъ посидитъ, то провожу. Сема, посидишь тутъ одинъ?

— Посижу...—соглашается дурачокъ.

— Ну, и ладно. Пойдемъ!

Парень поднимается и идетъ съ ряской. Черезъ минуту ихъ шаги и говоръ смолкаютъ. Сема закрываетъ глаза и тихо дремлетъ. Костеръ начинаетъ тухнуть, и на мертвое тѣло ложится большая черная тѣнь.

# ЗИНОЧКА.

Компанія охотниковъ ночевала въ мужицкой избѣ на свѣжемъ сѣнѣ. Въ окна глядѣла луна, на улицѣ грустно пиликала гармоника, сѣно издавало приторный, слегка возбуждающій запахъ. Охотники говорили о собакахъ, о женщинахъ, о первой любви, о бекасахъ. Послѣ того, какъ были перебраны косточки всѣхъ знакомыхъ барынь и была разсказана сотня анекдотовъ, самый толстый изъ охотниковъ, похожій въ потемкахъ на копну сѣна и говорившій густымъ штабъ-офицерскимъ басомъ, громко зѣвнулъ и сказалъ:

— Не велика штука быть любимымъ: барыни на то и созданы, чтобъ любить нашего брата. А вотъ, господа, былъ ли кто-нибудь изъ васъ ненавидимъ, ненавидимъ страстно, бѣшено? Не наблюдалъ ли кто-нибудь изъ васъ восторговъ ненависти? А?

Отвѣта не послѣдовало.

— Никто, господа?—спросилъ штабъ-офицерскій басъ.— А вотъ я былъ ненавидимъ, ненавидимъ хорошенькой дѣвушкой и на себѣ самомъ могъ изучить симптомы первой ненависти. Первой, господа, потому что то было нѣчто какъ разъ противоположное первой любви. Впрочемъ, то, что я сейчасъ разскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслилъ ни въ любви, ни въ ненависти. Мнѣ было тогда лѣтъ восемь, но это не бѣда: тутъ, господа, важенъ не онъ, а *она*. Ну-съ, прошу вниманія. Въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, передъ заходомъ солнца, я и моя гувернантка Зиночка, очень милое и поэтическое созданье, незадолго передъ тѣмъ выпущенное изъ института, сидѣли въ дѣтской и занимались. Зиночка разсѣянно глядѣла въ окно и говорила:

— Такъ. Мы вдыхаемъ кислородъ. Теперь скажите мнѣ, Петя, что мы выдыхаемъ?

— Углекислоту,—отвѣчалъ я, глядя въ то же окно.

— Такъ, — соглашалась Зиночка. — Растенія же наоборотъ: вдыхаютъ углекислоту и выдыхаютъ кислородъ. Углекислота содержится въ зельтерской водѣ и въ самоварномъ угарѣ... Это очень вредный газъ. Близъ Неаполя есть такъ называемая Собачья пещера, содержащая въ себѣ углекислоту; пущенная въ нее собака задыхается и умираетъ.

Эта несчастная Собачья пещера близъ Неаполя составляетъ химическую мудрость, дальше которой не рѣшится шагнуть ни одна гувернантка. Зиночка всегда горячо отстаивала пользу естественныхъ наукъ, но едва ли знала по химіи еще что-нибудь, кромѣ этой пещеры.

Ну-съ, она приказала повторить. Я повторилъ. Она спросила, что такое горизонтъ. Я отвѣтилъ. А на дворѣ въ это время, пока мы жевали горизонтъ да пещеру, мой отецъ собирался на охоту. Собаки выли, пристяжныя нетерпѣливо переминались съ ноги на ногу и кокетничали съ кучерами, лакеи начиняли тарантасъ кульками и всякой всячиной. Возлѣ тарантаса стояла линейка, въ которую садились мать и сестры, чтобы ѣхать къ Иваницкимъ на именины. Дома оставались только я, Зиночка да мой старшій братъ—студентъ, у котораго болѣли зубы. Можете представить мою зависть и скуку!

— Такъ что же мы вдыхаемъ?—спросила Зиночка, глядя въ окно.

— Кислородъ...

— Да, а горизонтомъ называется мѣсто, гдѣ, какъ намъ кажется, земля сходится съ небомъ...

Но вотъ тронулся тарантасъ, за нимъ линейка... Я видѣлъ, какъ Зиночка вытащила изъ кармана какую-то записочку, судорожно скомкала ее и прижала къ виску, потомъ вспыхнула и поглядѣла на часы.

— Такъ помните же,—сказала она:—близъ Неаполя есть такъ-называемая Собачья пещера...—она опять взглянула на часы и продолжала:—гдѣ, какъ намъ кажется, небо сходится съ землею...

Бѣдняжка въ сильномъ волненіи прошлась по комнатѣ и еще разъ взглянула на часы. До конца нашего урока оставалось еще болѣе получаса.

— Теперь ариѳметика, — сказала она, тяжело дыша и перелистывая дрожащей рукой задачникъ. — Вотъ рѣшите задачу № 325, а я... сейчасъ приду...

Она вышла. Я слышалъ, какъ она спорхнула внизъ по лѣстницѣ, и затѣмъ видѣлъ въ окно, какъ ея голубое платье, промелькнувъ черезъ дворъ, исчезло въ садовой калиткѣ. Быстрота ея движеній, краска ланитъ и волненіе заинтриговали меня. Куда она побѣжала и зачѣмъ? Будучи уменъ не по лѣтамъ, я скоро сообразилъ и понялъ все: она побѣжала въ садъ затѣмъ, чтобы, пользуясь отсутствіемъ моихъ строгихъ родителей, забраться въ малинникъ, или же нарвать себѣ черешень! Когда такъ, и я же, чортъ возьми, пойду ѣсть черешни! Бросилъ я задачникъ и побѣжалъ въ садъ. Подбѣгаю къ черешнямъ, но ея уже тамъ нѣтъ. Миновавъ малинникъ, крыжовникъ, шалашъ сторожа, она черезъ огородъ идетъ къ пруду, блѣдная, вздрагивающая отъ малѣйшаго шума. Я крадусь за ней и вижу, господа, слѣдующее. На берегу пруда, между толстыми стволами двухъ старыхъ вербъ, стоитъ мой старшій братъ Саша; по его лицу незамѣтно, чтобы у него болѣли зубы. Онъ глядитъ навстрѣчу Зиночкѣ, и вся его фигура, какъ солнцемъ, озарена выраженіемъ счастья. А Зиночка, точно ее гонятъ въ Собачью пещеру и заставляютъ дышать углекислотой, идетъ къ нему, едва двигая ногами, тяжело дыша и закинувъ назадъ голову... По всему видно, что на рандеву она идетъ первый разъ въ жизни. Но вотъ она подходитъ... Полминуты они молча глядятъ другъ на друга и какъ будто не вѣрятъ своимъ глазамъ. Засимъ какая-то сила толкаетъ Зиночку въ спину, она кладетъ руки на плечи Саши и склоняетъ свою головку на его жилетку. Саша смѣется, бормочетъ что-то несвязное и съ неуклюжестью очень влюбленнаго человѣка кладетъ обѣ свои ладони на Зиночкину физіомордію. А погода, господа, чудесная... Бугоръ, за которымъ прячется солнце, двѣ вербы, зеленые берега, небо — все это вмѣстѣ съ Сашей и съ Зиночкой отражается въ прудѣ. Тишина, можете себѣ представить. Надъ осокой золотятся милліоны мотыльковъ съ длинными усиками, за садомъ гонятъ стадо. Однимъ словомъ, хоть картину рисуй.

Изъ всего видѣннаго я понялъ только то, что Саша цѣловался съ Зиночкой. Это неприлично. Если узнаетъ maman, то обоимъ достанется. Чувствуя, что мнѣ почему-то стыдно,

я ушелъ къ себѣ въ дѣтскую, не дожидаясь конца рандеву. Потомъ я сидѣлъ надъ задачникомъ, думалъ и соображалъ. По моей рожѣ плавала побѣдоносная улыбка. Съ одной стороны, пріятно быть владѣльцемъ чужой тайны, съ другой— тоже весьма пріятно сознавать, что такіе авторитеты, какъ Саша и Зиночка, во всякую минуту могутъ быть уличены мною въ незнаніи свѣтскихъ приличій. Теперь они въ моей власти и ихъ спокойствіе находится въ полной зависимости отъ моего великодушія. Я же имъ покажу!

Когда я ложился спать, Зиночка, по обыкновенію, зашла въ дѣтскую узнать, не уснулъ ли я въ одеждѣ и молился ли Богу. Я посмотрѣлъ на ея хорошенькое, счастливое лицо и ухмыльнулся. Тайна распирала меня и просилась наружу. Нужно было намекнуть и насладиться эффектомъ.

— А я знаю! — сказалъ я, ухмыляясь. — Гы-ы!

— Что вы знаете?

— Гы-ы! Я видѣлъ, какъ около вербъ вы цѣловались съ Сашей. Я пошелъ за вами и все видѣлъ...

Зиночка вздрогнула, вся покраснѣла и, пораженная моимъ намекомъ, опустилась на стулъ, на которомъ стояли стаканъ съ водой и подсвѣчникъ.

— Я видѣлъ, какъ вы... цѣловались... — повторилъ я, хихикая и наслаждаясь ея смущеніемъ. — Ага! Вотъ я скажу мамѣ!

Малодушная Зиночка пристально посмотрѣла на меня и, убѣдившись, что я дѣйствительно все знаю, въ отчаяніи схватила меня за руку и забормотала дрожащимъ шопотомъ:

— Петя, это низко... Я васъ умоляю, ради Бога... Будьте мужчиной... не говорите никому... Порядочные люди не шпіонятъ... Это низко... умоляю васъ...

Бѣдняжка, какъ огня, боялась моей матери, дамы добродѣтельной и строгой — это разъ; во-вторыхъ, мое ухмыляющееся рыло не могло не осквернять ея первой, чистенькой и поэтической любви, а потому можете себѣ представить состояніе ея духа. По моей милости, она не спала всю ночь и на утро явилась къ чаю съ синими кругами подъ глазами... Встрѣтясь послѣ чая съ Сашей, я не вытерпѣлъ, чтобъ не ухмыльнуться и не похвастать:

— А я знаю! Я видѣлъ, какъ ты вчера цѣловался съ m-lle Зиной!

Саша посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Ты глупъ.

Онъ не былъ такъ малодушенъ, какъ Зиночка, а потому эффектъ не удался. Это меня еще больше подзадорило. Если Саша не испугался, то, очевидно, онъ не вѣрилъ, что я все видѣлъ и знаю; такъ постой же, я тебѣ докажу!

Занимаясь со мной до обѣда, Зиночка не глядѣла на меня и заикалась. Вмѣсто того, чтобы припугнуть, она всячески заискивала у меня, ставя мнѣ пятерки и не жалуясь отцу на мои шалости. Будучи уменъ не по лѣтамъ, я эксплоатировалъ ея тайну, какъ хотѣлъ: не училъ уроковъ, ходилъ въ классной вверхъ ногами и говорилъ дерзости. Однимъ словомъ, продолжай я въ такомъ духѣ до сегодня, изъ меня выработался бы прекрасный шантажистъ. Ну-съ, прошла недѣля. Чужая тайна подзадоривала и мучила меня, какъ заноза въ душѣ. Мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось выболтать ее и полюбоваться эффектомъ. И вотъ однажды за обѣдомъ, когда у насъ было много гостей, я преглупо ухмыльнулся, ехидно поглядѣлъ на Зиночку и сказалъ:

— А я знаю... Гы-ы! Я видѣлъ...

— Что ты знаешь? — спросила мать.

Я еще ехиднѣе поглядѣлъ на Зиночку и Сашу. Надо было видѣть, какъ вспыхнула дѣвушка и какіе злые глаза сдѣлалъ Саша! Я прикусилъ языкъ и не продолжалъ. Зиночка постепенно поблѣднѣла, стиснула зубы и ужъ ничего не ѣла. Въ тотъ же день во время вечернихъ занятій, я въ лицѣ Зиночки замѣтилъ рѣзкую перемѣну. Оно казалось строже, холоднѣе, какъ будто мраморнѣе, а глаза глядѣли странно, прямо мнѣ въ лицо, и, я вамъ даю честное слово, даже у гончихъ, когда онѣ догоняютъ волка, я никогда не видѣлъ такихъ поражающихъ, уничтожающихъ глазъ! Выраженіе ихъ я отлично понялъ, когда она среди урока вдругъ стиснула зубы и процѣдила:

— Ненавижу! О, если бъ вы, гадкій, отвратительный, знали, какъ я васъ ненавижу, какъ мнѣ противна ваша стриженная голова, ваши пошлыя, оттопыренныя уши!

Но тотчасъ же она испугалась и сказала:

— Это я не вамъ говорю, а повторяю роль...

Потомъ, господа, ночью я видѣлъ, какъ она подходила къ моей постели и долго глядѣла мнѣ въ лицо. Она ненавидѣла страстно и ужъ не могла жить безъ меня. Созерца-

піе моей ненавистной рожи стало для нея необходимостью. А то, помню, былъ прелестный лѣтній вечеръ. Пахло сѣномъ, была тишина и прочее. Свѣтила луна. Я ходилъ по аллеѣ и думалъ о вишневомъ вареньѣ. Вдругъ подходитъ ко мнѣ блѣдная, прекрасная Зиночка, хватаетъ меня за руку и, задыхаясь, начинаетъ объясняться:

— О, какъ я тебя ненавижу! Никому я не желала столько зла, какъ тебѣ! Пойми это! Мнѣ хочется, чтобы ты понялъ это!

Понимаете ли, луна, блѣдное лицо, дышащее страстью, тишина... даже мнѣ, свиненку, стало пріятно. Слушалъ я ее, глядѣлъ на ея глаза... Сначала мнѣ было пріятно и ново, но потомъ пробралъ страхъ, я вскрикнулъ и, сломя голову, побѣжалъ въ домъ.

Я рѣшилъ, что самое лучшее, это — пожаловаться maman. И я пожаловался, разсказавъ кстати и о томъ, какъ Саша цѣловался съ Зиночкой. Я былъ глупъ и не зналъ послѣдствій, иначе бы я оставилъ тайну при себѣ. Maman, выслушавъ меня, вспыхнула негодованіемъ и сказала:

— Не твое дѣло говорить объ этомъ, ты еще очень молодъ... Но, однако, какой примѣръ для дѣтей!

Моя maman была не только добродѣтельна, но и тактична. Она, чтобы не поднимать скандала, выжила Зиночку не сразу, а постепенно, систематически, какъ вообще выживаютъ порядочныхъ, но нетерпимыхъ людей. Помню, когда уѣзжала отъ насъ Зиночка, то послѣдній ея взглядъ, который она бросила на домъ, былъ направленъ къ окну, гдѣ я сидѣлъ, и, увѣряю васъ, я до сихъ поръ помню этотъ взглядъ.

Зиночка скоро стала женою брата. Это Зинаида Николаевна, которую вы знаете. Потомъ я встрѣтился съ нею когда уже былъ юнкеромъ. При всемъ ея стараніи, она никакъ не могла узнать въ усатомъ юнкерѣ ненавистнаго Петю, но все же обошлась со мной не совсѣмъ по-родственному... И теперь даже, несмотря на мою добродушную плѣшь, смиренное брюшко и покорный видъ, она все еще косо глядитъ на меня и чувствуетъ себя не въ своей тарелкѣ, когда я заѣзжаю къ брату. Очевидно, ненависть такъ же не забывается, какъ и любовь... Чу! Я слышу, поетъ пѣтухъ. Спокойной ночи! Милордъ, на мѣсто!

# НАХЛѢБНИКИ.

Мѣщанинъ Михаилъ Петровъ Зотовъ, старикъ лѣтъ семидесяти, дряхлый и одинокій, проснулся отъ холода и старческой ломоты во всемъ тѣлѣ. Въ комнатѣ было темно, но лампадка передъ образомъ уже не горѣла. Зотовъ приподнялъ занавѣску и поглядѣлъ въ окно. Облака, облегавшія небо, начинали уже подергиваться бѣлизной, и воздухъ становился прозрачнымъ, — стало-быть, былъ пятый часъ, не больше.

Зотовъ покрякалъ, покашлялъ и, пожимаясь отъ холода, всталъ съ постели. По давнишней привычкѣ, онъ долго стоялъ передъ образомъ и молился. Прочелъ «Отче нашъ», «Богородицу», «Вѣрую» и помянулъ длинный рядъ именъ. Кому принадлежатъ эти имена, онъ давно уже забылъ и поминалъ только по привычкѣ. По той же привычкѣ онъ подмелъ комнату и сѣни и поставилъ свой толстенькій четырехногій самоварчикъ изъ красной мѣди. Не будь у Зотова этихъ привычекъ, онъ не зналъ бы, чѣмъ наполнить свою старость.

Поставленный самоварчикъ медленно разгорался и вдругъ неожиданно загудѣлъ дрожащимъ басомъ.

— Ну, загудѣлъ! — проворчалъ Зотовъ. — Гуди на свою голову!

Тутъ же кстати старикъ вспомнилъ, что въ истекшую ночь ему снилась печь, а видѣть во снѣ печь означаетъ печаль.

Сны и примѣты составляли единственное, что еще могло возбуждать его къ размышленіямъ. И на этотъ разъ онъ съ особенною любовью погрузился въ рѣшеніе вопросовъ: къ чему гудитъ самоваръ, какую печаль пророчитъ печь?

Сонъ на первыхъ же порахъ оказался въ руку: когда Зотовъ выполоскалъ чайникъ и захотѣлъ заварить чай, то у него въ коробочкѣ не нашлось ни одной чаинки.

— Жизнь каторжная! — ворчалъ онъ, перекатывая языкомъ во рту крохи чернаго хлѣба. — Экая доля собачья! Чаю нѣту! Добро бы, простой мужикъ былъ, а то вѣдь мѣщанинъ, домовладѣлецъ. Срамота!

Ворча и разговаривая съ самимъ собой, Зотовъ надѣлъ свое похожее на кринолинъ пальто, сунулъ ноги въ громадныя неуклюжія калоши (сшитыя сапожникомъ Прохорычемъ въ 1867 г.) и вышелъ на дворъ. Воздухъ былъ сѣръ, холоденъ и угрюмо-покоенъ. Большой дворъ, кудрявый отъ репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморосью. Ни вѣтра, ни звуковъ. Старикъ сѣлъ на ступени своего покосившагося крылечка, и тотчасъ же произошло то, что происходитъ аккуратно каждое утро: къ нему подошла его собака Лыска, большой дворовый песъ, бѣлый съ черными пятнами, облѣзлый, полудохлый, съ закрытымъ правымъ глазомъ. Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь, точно ея лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ея дряхлое тѣло выражало крайнюю забитость. Зотовъ сдѣлалъ видъ, что не обращаетъ на нее вниманія; но когда она, слабо шевеля хвостомъ и попрежнему изгибаясь, лизнула ему калошу, то онъ сердито топнулъ ногой.

— Пшла, чтобъ ты издохла! — крикнулъ онъ. — Прокля-та-я!

Лыска отошла въ сторону, сѣла и уставилась своимъ единственнымъ глазомъ на хозяина.

— Черти! — продолжалъ Зотовъ. — Васъ еще недоставало, иродовъ, на мою голову!

И онъ съ ненавистью поглядѣлъ на свой сарай съ кривой поросшей крышей; тамъ изъ двери сарайчика глядѣла на него большая лошадиная голова. Вѣроятно, польщенная вниманіемъ хозяина, голова задвигалась, подалась впередъ, и изъ сарая показалась цѣлая лошадь, такая же дряхлая, какъ Лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, сѣдая, съ втянутымъ животомъ и костистой спиною. Она вышла изъ сарая и въ нерѣшительности остановилась, точно сконфузилась.

— Провала на васъ нѣтъ... — продолжалъ Зотовъ. — Не

стинули вы еще съ глазъ моихъ, фараоны каторжные... Небось, кушать желаете! — усмѣхнулся онъ, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. — Извольте, сію минуту! Для такого стоящаго рысака овса самолучшаго сколько угодно! Кушайте! Сію минуту! И великолѣпную дорогую собаку есть чѣмъ покормить! Ежели такая дорогая собака, какъ вы, хлѣба не желаете, то говядинки можно.

Зотовъ ворчалъ съ полчаса, раздражаясь все больше и больше; подъ конецъ онъ, не вынося накипѣвшей въ немъ злобы, вскочилъ, затопалъ калошами и забрюзжалъ на весь дворъ:

— Не обязанъ я кормить васъ, дармоѣды! Я не милліонщикъ какой, чтобъ вы меня объѣдали и опивали! Мнѣ самому ѣсть нечего, одры поганые, чтобъ васъ холера забрала! Ни радости мнѣ отъ васъ, ни корысти, а одно только горе и разоренье! Почему вы не околѣваете? Что вы за такія персоны, что васъ даже и смерть не беретъ? Живите, чортъ съ вами, но не желаю васъ кормить! Довольно съ меня! Не желаю!

Зотовъ возмущался, негодовалъ, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлѣбника, что ихъ попрекаютъ кускомъ хлѣба — не знаю, но животы ихъ еще болѣе втянулись и фигуры съежились, потускнѣли и стали забитѣе... Ихъ смиренный видъ еще болѣе раздражилъ Зотова.

— Вонъ! — закричалъ онъ, охваченный какимъ-то вдохновеніемъ. — Вонъ изъ моего дома! Чтобъ и глаза мои васъ не видѣли! Не обязанъ я у себя на дворѣ всякую дрянь держать! Вонъ!

Старикъ засѣменилъ къ воротамъ, отворилъ ихъ и, поднявъ съ земли палку, сталъ выгонять со двора своихъ нахлѣбниковъ. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала въ ворота; собака за ней. Обѣ вышли на улицу и, пройдя шаговъ двадцать, остановились у забора.

— Я васъ! — пригрозилъ имъ Зотовъ.

Выгнавъ нахлѣбниковъ, онъ успокоился и началъ мести дворъ. Изрѣдка онъ выглядывалъ на улицу: лошадь и собака, какъ вкопанныя, стояли у забора и уныло глядѣли на ворота.

— Поживите-ка безъ меня! — ворчалъ старикъ, чувствуя, какъ у него отъ сердца отлегаетъ злоба. — Пущай-ка кто другой поглядитъ теперь за вами! Я и скупой, и злой... со мной скверно жить, такъ поживите съ другимъ... Да...

Насладившись угнетеннымъ видомъ нахлѣбниковъ и досыта наворчавшись, Зотовъ вышелъ за ворота и, придавъ своему лицу свирѣпое выраженіе, крикнулъ:

— Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперекъ дороги и мѣшаютъ публикѣ ходить! Пошли во дворъ!

Лошадь и собака понурили головы и съ видомъ виноватыхъ направились къ воротамъ. Лыска, вѣроятно, чувствуя, что она не заслуживаетъ прощенія, жалобно завизжала.

— Жить живите, а ужъ насчетъ корма — накося, выкуси!—сказалъ Зотовъ, впуская ихъ.—Хоть околѣвайте.

Между тѣмъ сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце; его косые лучи заскользили по осенней измороси. Послышались голоса и шаги. Зотовъ поставилъ на мѣсто метлу и пошелъ со двора къ своему куму и сосѣду Марку Иванычу, торговавшему въ бакалейной лавочкѣ. Придя къ куму, онъ сѣлъ на складной стулъ, степенно вздохнулъ, погладилъ бороду и заговорилъ о погодѣ. Съ погоды кумовья перешли на новаго діакона, съ діакона на пѣвчихъ,— и бесѣда затянулась. Незамѣтно было за разговоромъ, какъ шло время, а когда мальчишка-лавочникъ притащилъ большой чайникъ съ кипяткомъ, и кумовья принялись пить чай, то время полетѣло быстро, какъ птица. Зотовъ согрѣлся, повеселѣлъ.

— А у меня къ тебѣ просьба, Маркъ Иванычъ, — началъ онъ послѣ шестого стакана, стуча пальцами по прилавку.—Ужъ ты того... будь милостивъ, дай и сегодня мнѣ осьмушку овса.

Изъ-за большого чайнаго ящика, за которымъ сидѣлъ Маркъ Иванычъ, послышался глубокій вздохъ.

— Дай, сдѣлай милость,—продолжалъ Зотовъ.—Чаю, ужъ такъ и быть, не давай нынче, а овса дай... Конфузно просить, одолѣлъ ужъ я тебя своей бѣдностью, но... лошадь голодная.

— Дать-то можно, — вздохнулъ кумъ. — Отчего не дать? Но на кой лѣшій, скажи на милость, ты этихъ одровъ держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то—тьфу! глядѣть совѣстно... А собака — чистый шкилетъ! На кой чортъ ты ихъ кормишь?

— Куда же мнѣ ихъ дѣвать?

— Извѣстно куда. Сведи ихъ къ Игнату на живодерню,—вотъ и вся музыка. Давно пора имъ тамъ быть. Настоящее мѣсто.

— Такъ-то оно такъ!.. Оно, пожалуй...

— Живешь Христа-ради, а скотовъ держишь, — продолжалъ кумъ.—Мнѣ овса не жалко... Богъ съ тобою, но ужъ больше, братъ, того... начетисто каждый день давать. Конца края нѣтъ твоей бѣдности! Даешь, даешь и не знаешь, когда всему этому конецъ придетъ.

Кумъ вздохнулъ и погладилъ себя по красному лицу.

— Помиралъ бы ты, что ли!—сказалъ онъ.—Живешь и самъ не знаешь, для чего... Да ей-Богу! А то, коли Господь смерти не даетъ, шелъ бы ты куда ни на есть въ богадѣльню или странноприютный домъ.

— Зачѣмъ? У меня родня есть... У меня внучка...

И Зотовъ началъ длинно разсказывать о томъ, что гдѣ-то на хуторѣ живетъ внучка Глаша, дочь племянницы Катерины.

— Она обязана меня кормить!—сказалъ онъ. — Ей мой домъ останется, пущай же и кормитъ! Возьму и пойду къ ней. Это, стало-быть, понимаешь, Глаша... Катина дочка, а Катя, понимаешь, брата моего Пантелея падчерица... понялъ? Ей домъ достанется... Пущай меня кормитъ!

— А что жъ? Чѣмъ такъ, Христа-ради жить, давно бы пошелъ къ ней.

— И пойду! Накажи меня Богъ, пойду. Обязана!

Когда часъ спустя кумовья выпили по рюмочкѣ, Зотовъ стоялъ посреди лавки и говорилъ съ воодушевленіемъ:

— Я давно къ ней собираюсь! Сегодня же пойду!

— Оно, конечно! Чѣмъ такъ шалтай-балтай ходить и съ голоду околѣвать, давно бы на хутора пошелъ.

— Сейчасъ пойду! Приду и скажу: бери себѣ мой домъ, а меня корми и почитай. Обязана! Коли не желаешь, такъ нѣтъ тебѣ ни дома, ни моего благословенія! Прощай, Иванычъ!

Зотовъ выпилъ еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспѣшилъ къ себѣ домой... Отъ водки его развезло, голова кружилась, но онъ не легъ, а собралъ въ узелъ всю свою одежду, помолился, взялъ палку и пошелъ со двора. Безъ оглядки, бормоча и стуча о камни палкой, онъ прошелъ всю улицу и очутился въ полѣ. До хутора было верстъ 10—12. Онъ шелъ по сухой дорогѣ, глядѣлъ на городское стадо, лѣниво жевавшее желтую траву, и думалъ о рѣзкомъ переворотѣ въ своей жизни, который онъ

только-что такъ рѣшительно совершилъ. Думалъ онъ и о своихъ нахлѣбникахъ. Уходя изъ дома, онъ воротъ не заперъ и такимъ образомъ далъ имъ волю идти куда угодно.

Не прошелъ онъ по полю и версты, какъ позади послышались шаги. Онъ оглянулся и сердито всплеснулъ руками: за нимъ, понуривъ головы и поджавъ хвосты, тихо шли лошадь и Лыска.

— Пошли назадъ!—махнулъ онъ имъ.

Тѣ остановились, переглянулись, поглядѣли на него. Онъ пошелъ дальше, онѣ за нимъ. Тогда онъ остановился и сталъ размышлять. Къ полузнакомой внучкѣ Глашѣ идти съ этими тварями было невозможно, ворочаться назадъ и запереть ихъ не хотѣлось, да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся.

«Въ сараѣ издохнутъ,—думалъ Зотовъ.—Нешто и впрямь къ Игнату?»

Изба Игната стояла на выгонѣ, въ шагахъ ста отъ шлагбаума. Зотовъ, еще не рѣшившій окончательно и не зная, что дѣлать, направился къ ней. У него кружилась голова и темнѣло въ глазахъ...

Мало онъ помнитъ изъ того, что произошло во дворѣ живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запахъ кожи, вкусный паръ отъ щей, которыя хлебалъ Игнатъ, когда онъ вошелъ къ нему. Точно во снѣ онъ видѣлъ, какъ Игнатъ, заставивъ его прождать часа два, долго приготовлялъ что-то, переодѣвался, говорилъ съ какой-то бабой о сулемѣ; помнится, что лошадь была поставлена въ станокъ, послѣ чего послышались два глухихъ удара: одинъ по черепу, другой отъ паденія большого тѣла. Когда Лыска, видя смерть своего друга, съ визгомъ набросилась на Игната, то послышался еще третій ударъ, рѣзко оборвавшій визгъ. Далѣе Зотовъ помнитъ, что онъ, сдуру и спьяна, увидѣвъ два трупа, подошелъ къ станку и подставилъ свой собственный лобъ...

Потомъ до самаго вечера его глаза заволакивало мутной пеленой, и онъ не могъ разглядѣть даже своихъ пальцевъ.

# ТАЛАНТЪ.

Художникъ Егоръ Саввичъ, живущій на дачѣ у оберъ-офицерской вдовы, сидитъ у себя на кровати и предается утренней меланхоліи. На дворѣ осень. Тяжелыя, неуклюжія облака пластами облекли небо; дуетъ холодный, пронзительный вѣтеръ и деревья съ жалобнымъ плачемъ гнутся всѣ въ одну сторону. Видно, какъ кружатся въ воздухѣ и по землѣ желтые листья. Прощай, лѣто! Эта тоска природы, если взглянуть на нее окомъ художника, въ своемъ родѣ прекрасна и поэтична, но Егору Саввичу не до красотъ. Его съѣдаетъ скука и утѣшаетъ его только одна мысль, что завтра онъ уже не будетъ на этой дачѣ. Кровать, стулья, столы, полъ—все завалено подушками, скомканными одѣялами, корзинами. Въ комнатахъ не подметено, съ оконъ содраны ситцевыя занавѣски. Завтра переѣзжать въ городъ!

Вдовы-хозяйки нѣтъ дома. Она поѣхала куда-то нанимать подводы, чтобы завтра перевозиться. Дочь ея Катя, дѣвушка лѣтъ 20-ти, пользуясь отсутствіемъ строгой мамаши, давно уже сидитъ въ комнатѣ молодого человѣка. Завтра художникъ уѣзжаетъ, а ей многое нужно сказать ему. Она говоритъ, говоритъ и чувствуетъ, что не сказала еще и десятой доли того, что слѣдовало бы сказать. Глазами, полными слезъ, она глядитъ на его косматую голову, глядитъ и съ грустью, и съ восторгомъ. А косматъ Егоръ Саввичъ до безобразія, до звѣроподобія. Волосы до лопатокъ, борода растетъ изъ шеи, изъ ноздрей, изъ ушей, глаза спрятались за густыми, нависшими подъ бровей. Такъ

густо, такъ перепуталось, что попадись въ волоса муха или тараканъ, то не выбраться имъ изъ этого дремучаго лѣса во вѣки-вѣковъ. Егоръ Саввичъ слушаетъ Катю, зѣваетъ. Онъ усталъ. Когда Катя начинаетъ всхлипывать, онъ угрюмо взглядываетъ на нее сквозь нависшія брови, хмурится и говоритъ густымъ, тяжелымъ басомъ:

— Я не могу жениться.

— Почему же?—тихо спрашиваетъ Катя.

— Потому что художнику и вообще человѣку, живущему искусствомъ, нельзя жениться. Художникъ долженъ быть свободенъ.

— Чѣмъ же я помѣшала бы вамъ, Егоръ Саввичъ?

— Я не про себя говорю, а вообще... Знаменитые писатели и художники никогда не женятся.

— И вы будете знаменитостью, я это отлично понимаю, но войдите же и въ мое положеніе. Я боюсь мамаши... Она строгая и раздражительная. Какъ узнаетъ, что вы на мнѣ не женитесь, а такъ только... то и начнетъ меня изводить. О, горе мое! А тутъ вы еще ей за квартиру не заплатили!

— Чортъ съ ней, заплачу...

Егоръ Саввичъ поднимается и начинаетъ ходить.

— За границу бы!—говоритъ онъ.

И художникъ разсказываетъ, что нѣтъ ничего легче, какъ съѣздить за границу. Для этого стоитъ только написать картину и продать.

— Конечно!—соглашается Катя.—Отчего же вы лѣтомъ не писали?

— Да развѣ я могу въ этомъ сараѣ работать?—говоритъ съ досадой художникъ. — И гдѣ я здѣсь взялъ бы натурщиковъ?

Гдѣ-то внизу подъ поломъ ожесточенно хлопаетъ дверь. Катя, съ минуты на минуту ожидающая прихода матери, встаетъ и убѣгаетъ. Художникъ остается одинъ. Долго онъ ходитъ изъ угла въ уголъ, лавируя между стульями и грудами домашней рухляди. Слышно ему, какъ вернувшаяся вдова стучитъ посудой и громко бранитъ какихъ-то мужиковъ, запросившихъ съ нея по два рубля съ воза. Съ огорченія Егоръ Саввичъ останавливается передъ шкапчикомъ и долго хмурится на графинъ съ водкой.

— А, чтобъ тебя подстрѣлило!—слышитъ онъ, какъ вдова набрасывается на Катю.—Погибели на тебя нѣту!

Художникъ выпиваетъ рюмку, и мрачная туча на его душѣ мало-по-малу проясняется, и онъ испытываетъ такое ощущеніе, точно у него въ животѣ улыбаются всѣ внутренности. Онъ начинаетъ мечтать... Воображеніе его рисуетъ, какъ онъ становится знаменитостью. Будущихъ произведеній своихъ онъ представить себѣ не можетъ, но ему ясно видно, какъ про него говорятъ газеты, какъ въ магазинахъ продаютъ его карточки, съ какою завистью глядятъ ему вслѣдъ пріятели. Онъ силится вообразить себя въ богатой гостиной, окруженнымъ хорошенькими поклонницами, но воображеніе рисуетъ ему что-то туманное, неясное, такъ какъ онъ ни разу въ жизни не видалъ гостиной; хорошенькія поклонницы также не выходятъ, потому что онъ, кромѣ Кати, отродясь не видалъ ни одной поклонницы, ни одной порядочной дѣвушки. Люди, не знающіе жизни, обыкновенно рисуютъ себѣ жизнь по книгамъ, но Егоръ Саввичъ не зналъ и книгъ; собирался-было почитать Гоголя, но на второй же страницѣ уснулъ...

— Не разгорается, чтобъ онъ треснулъ! — оретъ гдѣ-то внизу вдова, ставя самоваръ.—Катька, подай угли!

Мечтающій художникъ чувствуетъ потребность подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своими надеждами и мечтами. Онъ спускается внизъ въ кухню, гдѣ въ самоварномъ чаду, около темной печи копошатся толстая вдова и Катя. Здѣсь онъ садится на скамью около большого горшка и начинаетъ:

— Хорошо быть художникомъ! Куда хочу, туда иду; что хочу, то дѣлаю. На службу не ходить, земли не пахать... Ни начальства у меня, ни старшихъ... Самъ я себѣ старшій. И при всемъ томъ пользу приношу человѣчеству!

А послѣ обѣда онъ заваливается «отдохнуть». Обыкновенно спитъ онъ до вечернихъ потемокъ; но на сей разъ вскорѣ послѣ обѣда чувствуетъ онъ, что кто-то тянетъ его за ногу, кто-то, смѣясь, выкрикиваетъ его имя. Онъ открываетъ глаза и видитъ своего товарища Уклейкина, пейзажиста, ѣздившаго на все лѣто въ Костромскую губернію.

— Ба!—радуется онъ.—Кого вижу!

Начинаются рукопожатія, разспросы.

— Ну, привезъ что-нибудь? Чай, сотню этюдовъ накаталъ?—говоритъ Егоръ Саввичъ, глядя, какъ Уклейкинъ выкладываетъ изъ чемодана свои пожитки.

— Н-да... Кое-что сдѣлалъ... А ты какъ? Написалъ что-нибудь?

Егоръ Саввичъ лѣзетъ за кровать и, весь побагровѣвъ, достаетъ оттуда запыленный и подернутый паутиной холстъ, натянутый на подрамникъ.

— Вотъ... «Дѣвушка у окна послѣ разлуки со своимъ женихомъ»...—говоритъ онъ.—Въ три сеанса. Далеко еще не кончено.

Картина изображаетъ едва подмалеванную Катю, сидящую у открытаго окна; за окномъ палисадникъ и лиловая даль. Уклейкину картина не нравится.

— Гм... Воздуху много и... и экспрессія есть,—говоритъ онъ.—Даль чувствуется, но... этотъ кустъ кричитъ...: Страшно кричитъ!

На сцену появляется графинчикъ.

Къ вечеру заходитъ къ Егору Саввичу его товарищъ и сосѣдъ по дачѣ, историческій художникъ Костылевъ, малый лѣтъ 35-ти, тоже начинающій и подающій надежды. Онъ длинноволосъ, носитъ блузу и воротники à la Шекспиръ, держитъ себя съ достоинствомъ. Увидѣвъ водку, онъ морщится, жалуется на больную грудь, но, уступая просьбамъ товарищей, выпиваетъ рюмку.

— Придумалъ я, братцы, тему...—говоритъ онъ, хмелѣя.—Хочется мнѣ изобразить какого-нибудь этакого Нерона... Ирода, или Клепентьяна, или какого-нибудь, понимаете ли, подлеца въ этакомъ родѣ... и противопоставить ему идею христіанства. Съ одной стороны Римъ, съ другой, понимаете ли, христіанство... Мнѣ хочется изобразить духъ... понимаете? духъ!

А вдова внизу то и дѣло кричитъ:

— Катя, подай огурцовъ! Кобыла, сходи къ Сидорову, возьми квасу!

Коллеги, всѣ трое, какъ волки въ клѣткѣ, шагаютъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ. Они безъ умолку говорятъ, говорятъ искренно, горячо; всѣ трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать ихъ, то въ ихъ рукахъ будущее, извѣстность, деньги. И ни одному изъ нихъ не приходитъ въ голову, что время идетъ, жизнь со дня на день близится къ закату, хлѣба чужого съѣдено много, а еще ничего не сдѣлано; что они всѣ трое—жертвы того неумолимаго закона, по которому изъ сотни начинающихъ и подающихъ на-

дежды только двое-трое выскакиваютъ въ люди, всѣ же остальные попадаютъ въ тиражъ, погибаютъ, сыгравъ роль мяса для пушекъ... Они веселы, счастливы и смѣло глядятъ въ глаза будущему!

Во второмъ часу ночи Костылевъ прощается и, поправляя свои шекспировскіе воротники, уходитъ домой. Пейзажистъ остается ночевать у жанриста. Передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, Егоръ Саввичъ беретъ свѣчу и пробирается въ кухню напиться воды. Въ узенькомъ, темномъ коридорчикѣ, на сундукѣ, сидитъ Катя и, сложивъ на колѣняхъ руки, глядитъ вверхъ. По ея блѣдному, замученному лицу плаваетъ блаженная улыбка, глаза блестятъ...

— Это ты? О чемъ ты думаешь?—спрашиваетъ у нея Егоръ Саввичъ.

— Я думаю о томъ, какъ вы будете знаменитостью...— говоритъ она полушопотомъ. — Мнѣ все представляется, какой изъ васъ выйдетъ великій человѣкъ... Сейчасъ я всѣ ваши разговоры слышала... Я мечтаю... мечтаю...

Катя закатывается счастливымъ смѣхомъ, плачетъ и благоговѣйно кладетъ руки на плечи своего божка.

# ДОРОГІЕ УРОКИ.

Для человѣка образованнаго незнаніе языковъ составляетъ большое неудобство. Воротовъ сильно почувствовалъ это, когда, выйдя изъ университета со степенью кандидата, занялся маленькой научной работкой.

— Это ужасно!—говорилъ онъ, задыхаясь (несмотря на свои 26 лѣтъ, онъ пухлъ, тяжелъ и страдаетъ одышкой.)— Это ужасно! Безъ языковъ я, какъ птица безъ крыльевъ. Просто хоть работу бросай.

И онъ рѣшилъ во что бы то ни стало побороть свою врожденную лѣнь и изучить французскій и нѣмецкій языки, и сталъ искать учителей.

Въ одинъ зимній полдень, когда Воротовъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и работалъ, лакей доложилъ, что его спрашиваетъ какая-то барышня.

— Проси,—сказалъ Воротовъ.

И въ кабинетъ вошла молодая, по послѣдней модѣ, изысканно одѣтая барышня. Она отрекомендовалась учительницей французскаго языка Алисой Осиповной Анкетъ и сказала, что ее прислалъ къ Воротову одинъ изъ его друзей.

— Очень пріятно! Садитесь!—сказалъ Воротовъ, задыхаясь и прикрывая ладонью воротникъ своей ночной сорочки. (Чтобы легче дышалось, онъ всегда работаетъ въ ночной сорочкѣ).—Васъ прислалъ ко мнѣ Петръ Сергѣичъ? Да, да... я просилъ его... Очень радъ!

Договариваясь съ m-lle Анкетъ, онъ застѣнчиво и съ любопытствомъ поглядывалъ на нее. Это была настоящая,

очень изящная француженка, еще очень молодая. По лицу, блѣдному и томному, по короткимъ, кудрявымъ волосамъ и неестественно тонкой таліи, ей можно было дать не больше 18 лѣтъ; взглянувъ же на ея широкія, хорошо развитыя плечи, на красивую спину и строгіе глаза, Воротовъ подумалъ, что ей навѣрное не меньше 23 лѣтъ, быть-можетъ, даже всѣ 25; но потомъ опять стало казаться, что ей только 18. Выраженіе лица у нея было холодное, дѣловое, какъ у человѣка, который пришелъ говорить о деньгахъ. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась, и только разъ на ея лицѣ мелькнуло недоумѣніе, когда она узнала, что ее пригласили учить не дѣтей, а взрослаго, толстаго человѣка.

— Итакъ, Алиса Осиповна,—говорилъ ей Воротовъ:— мы будемъ заниматься ежедневно отъ семи до восьми вечера. Что же касается вашего желанія—получать по рублю за урокъ, то я ничего не имѣю возразить противъ. По рублю—такъ по рублю...

И онъ еще спросилъ у нея, не хочетъ ли она чаю, или кофе, хороша ли на дворѣ погода, и добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью сукно на столѣ, дружелюбно освѣдомился, кто она, гдѣ кончила курсъ и чѣмъ живетъ.

Алиса Осиповна съ холоднымъ, дѣловымъ выраженіемъ отвѣтила ему, что она кончила курсъ въ частномъ пансіонѣ и имѣетъ права домашней учительницы, что отецъ ея недавно умеръ отъ скарлатины, мать жива и дѣлаетъ цвѣты, что она, m-lle Анкетъ, до обѣда занимается въ частномъ пансіонѣ, а послѣ обѣда, до самаго вечера, ходитъ по хорошимъ домамъ и даетъ уроки.

Она ушла, оставивъ послѣ себя легкій, очень нѣжный запахъ женскаго платья. Воротовъ долго потомъ не работалъ, а сидя у стола, поглаживалъ ладонями зеленое сукно и размышлялъ.

«Очень пріятно видѣть дѣвушекъ, зарабатывающихъ себѣ кусокъ хлѣба,—думалъ онъ.—Съ другой же стороны, очень непріятно видѣть, что нужда не щадитъ даже такихъ изящныхъ и хорошенькихъ дѣвицъ, какъ эта Алиса Осиповна, и ей также приходится вести борьбу за существованіе. Бѣда!..»

Онъ, никогда не видавшій добродѣтельныхъ француженокъ, подумалъ также, что эта изящно одѣтая Алиса Оси-

повна, съ хорошо развитыми плечами и съ преувеличенно тонкой таліей, по всей вѣроятности, кромѣ уроковъ, занимается еще чѣмъ-нибудь.

На другой день вечеромъ, когда часы показывали безъ пяти минутъ семь, пришла Алиса Осиповна, розовая отъ холода; она раскрыла Margot, котораго принесла съ собой, и начала безъ всякихъ предисловій:

— Французская грамматика имѣетъ 26 буквъ. Первая буква называется А, вторая В...

— Виноватъ,—перебилъ ее Воротовъ, улыбаясь.—Я долженъ предупредить васъ, мадмуазель, что лично для меня вамъ придется нѣсколько измѣнить вашъ методъ. Дѣло въ томъ, что я хорошо знаю русскій, латинскій и греческій языки... изучалъ сравнительное языковѣдѣніе, и, мнѣ кажется, мы можемъ, минуя Margot, прямо приступить къ чтенію какого-нибудь автора.

И онъ объяснилъ француженкѣ, какъ взрослые люди изучаютъ языки.

— Одинъ мой знакомый,—сказалъ онъ:—желая изучить новые языки, положилъ передъ собой французское, нѣмецкое и латинское Евангелія, читалъ ихъ параллельно, при чемъ кропотливо разбиралъ каждое слово, и что жъ? Онъ достигъ своей цѣли меньше, чѣмъ въ одинъ годъ. Сдѣлаемъ и мы такъ. Возьмемъ какого-нибудь автора и будемъ читать.

Француженка съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него. По-видимому, предложеніе Воротова показалось ей очень наивнымъ и вздорнымъ. Если бы это странное предложеніе было сдѣлано малолѣтнимъ, то, навѣрное, она разсердилась бы и крикнула, но такъ какъ тутъ былъ человѣкъ взрослый и очень толстый, на котораго нельзя было кричать, то она только пожала плечами едва замѣтно и сказала:

— Какъ хотите.

Воротовъ порылся у себя въ книжномъ шкапу и досталъ оттуда истрепанную французскую книгу.

— Это годится?—спросилъ онъ.

— Все равно.

— Въ такомъ случаѣ давайте начинать. Господи благослови. Начнемъ съ заглавія... Mémoires.

— Воспоминанія...—перевела m-lle Анкетъ.

— Воспоминанія...—повторилъ Воротовъ.

Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, онъ четверть часа

провозился со словомъ mémoires и столько же со словомъ de, и это утомило Алису Осиповну. Она отвѣчала на вопросы вяло, путалась и, повидимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротовъ предлагалъ ей вопросы, а самъ между тѣмъ поглядывалъ на ея бѣлокурую голову и думалъ:

«Ея волосы кудрявы не отъ природы, она завивается. Удивительно! Работаетъ съ утра до ночи и успѣваетъ еще завиваться».

Ровно въ восемь часовъ она поднялась и, сказавъ сухое, холодное «au revoir monsieur», пошла изъ кабинета; и послѣ нея остался все тотъ же нѣжный, тонкій, волнующій запахъ. Ученикъ опять долго ничего не дѣлалъ, сидѣлъ у стола и думалъ.

Въ слѣдующіе за тѣмъ дни онъ убѣдился, что его учительница барышня милая, серьезная и аккуратная, но что она очень необразована и учить взрослыхъ не умѣетъ; и онъ рѣшилъ не тратить попусту времени, разстаться съ ней и пригласить другого учителя. Когда она пришла въ седьмой разъ, онъ досталъ изъ кармана конвертъ съ семью рублями и, держа его въ рукахъ, очень сконфузился и началъ такъ:

— Извините, Алиса Осиповна, но я долженъ вамъ сказать... поставленъ въ тяжелую необходимость...

Взглянувъ на конвертъ, француженка догадалась, въ чемъ дѣло, и въ первый разъ за все время уроковъ ея лицо дрогнуло и холодное, дѣловое выраженіе исчезло. Она слегка зарумянилась и, опустивъ глаза, стала нервно перебирать пальцами свою тонкую золотую цѣпочку. И Воротовъ, глядя на ея смущеніе, понялъ, какъ для нея дорогъ былъ рубль и какъ ей тяжело было бы лишиться этого заработка.

— Я долженъ вамъ сказать...—пробормоталъ онъ, смущаясь еще больше, и въ груди у него что-то екнуло; онъ торопливо сунулъ конвертъ въ карманъ и продолжалъ:— Извините, я... я оставлю весь на десять минутъ...

И дѣлая видъ, что онъ вовсе не хотѣлъ отказывать ей, а только просилъ позволенія оставить ее не надолго, онъ вышелъ въ другую комнату и высидѣлъ тамъ десять минутъ. И потомъ вернулся еще болѣе смущенный; онъ сообразилъ, что этотъ его уходъ на короткое время она мо-

жетъ объяснить какъ-нибудь по-своему, и ему было неловко.

Уроки начались опять.

Воротовъ занимался ужъ безъ всякой охоты. Зная, что изъ занятій не выйдетъ никакого толку, онъ далъ француженкѣ полную волю, ужъ ни о чемъ не спрашивалъ ее и не перебивалъ. Она переводила, какъ хотѣла, по десяти страницъ въ одинъ урокъ, а онъ не слушалъ, тяжело дышалъ, и отъ нечего дѣлать разсматривалъ то кудрявую головку, то шею, то нѣжныя бѣлыя руки, вдыхалъ запахъ ея платья...

Онъ ловилъ себя на нехорошихъ мысляхъ, и ему становилось стыдно, или уже онъ умилялся и тогда чувствовалъ огорченіе и досаду отъ того, что она держала себя съ нимъ такъ холодно, дѣловито, какъ съ ученикомъ, не улыбаясь и точно боясь, какъ бы онъ не прикоснулся къ ней нечаянно. Онъ все думалъ: какъ бы такъ внушить ей довѣріе, познакомиться съ нею покороче, потомъ помочь ей, дать ей понять, какъ дурно она преподаетъ, бѣдняжка.

Алиса Осиповна явилась однажды на урокъ въ нарядномъ розовомъ платьѣ, съ маленькимъ декольте, и отъ нея шелъ такой ароматъ, что казалось, будто она окутана облакомъ, будто стоитъ только дунуть на нее, какъ она полетитъ или разсѣется, какъ дымъ. Она извинилась и сказала, что можетъ заниматься только полчаса, такъ какъ съ урока пойдетъ прямо на балъ.

Онъ смотрѣлъ на ея шею и на спину, оголенную около шеи, и, казалось ему, понималъ, отчего это француженки пользуются репутаціей легкомысленныхъ и легко падающихъ созданій; онъ тонулъ въ этомъ облакѣ ароматовъ, красоты, наготы, а она, не зная его мыслей и, вѣроятно, нисколько не интересуясь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всѣхъ парахъ:

— Онъ ходилъ на улицѣ и встрѣчалъ господина своего знакомаго и сказалъ: «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое блѣдное, это дѣлаетъ мнѣ больно».

Mémoires давно уже были кончены и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Разъ она пришла на урокъ часомъ раньше, извиняясь тѣмъ, что въ семь часовъ ей нужно ѣхать въ Малый театръ. Проводивъ ее послѣ урока, Воротовъ одѣлся и тоже поѣхалъ въ театръ.

Онъ поѣхалъ, какъ казалось ему, только затѣмъ, чтобы отдохнуть, развлечься, а объ Алисѣ у него не было и мыслей. Онъ не могъ допустить, чтобы человѣкъ серьезный, готовящійся къ ученой карьерѣ, тяжелый на подъемъ, бросилъ дѣло и поѣхалъ въ театръ только затѣмъ, чтобы встрѣтиться тамъ съ мало знакомой, не умной, мало интеллигентной дѣвушкой...

Но почему-то въ антрактахъ у него билось сердце, онъ, самъ того не замѣчая, какъ мальчикъ бѣгалъ по фойэ и по коридорамъ, нетерпѣливо отыскивая кого-то: и ему становилось скучно, когда антрактъ кончался; а когда онъ увидѣлъ знакомое розовое платье и красивыя плечи подъ тюлемъ, сердце его сжалось, точно отъ предчувствія счастья, онъ радостно улыбнулся, и первый разъ въ жизни испыталъ ревнивое чувство.

Алиса шла съ какими-то двумя некрасивыми студентами и съ офицеромъ. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала; такою никогда не видѣлъ ея Воротовъ. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренна, тепла. Отчего? Почему? Оттого, быть-можетъ, что эти люди были близки ей, изъ того же круга, что и она... И Воротовъ почувствовалъ страшную пропасть между собой и этимъ кругомъ. Онъ поклонился своей учительницѣ, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо; ей, повидимому, не хотѣлось, чтобы ея кавалеры знали, что у нея есть ученики и что она отъ нужды даетъ уроки.

Послѣ встрѣчи въ театрѣ, Воротовъ понялъ, что онъ влюбленъ... Во время слѣдующихъ уроковъ, пожирая глазами свою изящную учительницу, онъ уже не боролся съ собою, а давалъ полный ходъ своимъ чистымъ и нечистымъ мыслямъ. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холоднымъ, ровно въ восемь часовъ каждаго вечера она спокойно говорила «au revoir, monsieur», и онъ чувствовалъ, что она равнодушна къ нему и будетъ равнодушной и—положеніе его безнадежно.

Иногда среди урока онъ начиналъ мечтать, надѣяться, строить планы, сочинялъ мысленно любовное объясненіе, вспоминалъ, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, какъ потухаетъ свѣча, когда на дачѣ во время вѣтра выносишь ее на террасу.

Разъ онъ, опьянѣвъ, забывшись, какъ въ бреду, не выдержалъ и загораживая ей дорогу, когда она выходила послѣ урока изъ кабинета въ переднюю, задыхаясь и заикаясь, сталъ объясняться въ любви:

— Вы мнѣ дороги! Я... я люблю васъ! Позвольте мнѣ говорить!

А Алиса поблѣднѣла—вѣроятно отъ страха, соображая, что послѣ этого объясненія ей ужъ нельзя будетъ ходить сюда и получать рубль за урокъ; она сдѣлала испуганные глаза и громко зашептала:

— Ахъ, это нельзя! Не говорите, прошу васъ! Нельзя!

И потомъ Воротовъ не спалъ всю ночь, мучился отъ стыда, бранилъ себя, напряженно думалъ. Ему казалось, что своимъ объясненіемъ онъ оскорбилъ дѣвушку, что она уже больше не придетъ къ нему.

Онъ рѣшилъ узнать утромъ въ адресномъ столѣ ея адресъ и написать ей извинительное письмо. Но Алиса пришла и безъ письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потомъ раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, какъ всегда:

«О, молодой господинъ, не разрывайте эти цвѣты въ моемъ саду, которые я хочу давать своей больной дочери»...

Ходитъ она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротовъ не знаетъ ничего, кромѣ слова «mémoires», и когда его спрашиваютъ объ его научной работкѣ, то онъ машетъ рукой и, не отвѣтивъ на вопросъ, заводитъ рѣчь о погодѣ.

# ВЪ САРАѢ.

Былъ десятый часъ вечера. Кучеръ Степанъ, дворникъ Михайло, кучеровъ внукъ Алешка, пріѣхавшій погостить къ дѣду изъ деревни, и Никандръ, семидесятилѣтній старикъ, приходившій каждый вечеръ во дворъ продавать селедки, сидѣли вокругъ фонаря въ большомъ каретномъ сараѣ и играли въ короли. Въ открытую настежь дверь виденъ былъ весь дворъ, большой домъ, гдѣ жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками, и только четыре окна одного изъ флигелей, занятыхъ жильцами, были ярко освѣщены. Тѣни колясокъ и саней съ приподнятыми вверхъ оглоблями тянулись отъ стѣнъ къ дверямъ, перекрещивались съ тѣнями, падавшими отъ фонаря и игроковъ, дрожали... За тонкой перегородкой, отдѣлявшей сарай отъ конюшни, были лошади. Пахло сѣномъ, да отъ стараго Никандра шелъ непріятный селедочный запахъ.

Въ короли вышелъ дворникъ; онъ принялъ позу, какая, по его мнѣнію, подобаетъ королю, и громко высморкался въ красный, клѣтчатый платокъ.

— Теперь, кому хочу, тому голову срублю,—сказалъ онъ.

Алешка, мальчикъ лѣтъ восьми, съ бѣлобрысой, давно нестриженной головой, у котораго до короля не хватало только двухъ взятокъ, сердито и съ завистью поглядѣлъ на дворника. Онъ надулся и нахмурился.

— Я, дѣдъ, подъ тебя буду ходить,—сказалъ онъ, задумываясь надъ картами.—Я знаю, у тебя дамка бубней.

— Ну, ну, дурачокъ, будетъ тебѣ думать! Ходи!

Алешка не смѣло пошелъ съ бубноваго валета. Въ это со двора послышался звонокъ.

— А, чтобъ тебя...—проворчалъ дворникъ, поднимаясь.—Иди, король, ворота отворять.

Когда онъ, немного погодя, вернулся, Алешка былъ уже принцомъ, селедочникъ—солдатомъ, а кучеръ—мужикомъ.

— Дѣло выходитъ дрянь,—сказалъ дворникъ, опять усаживаясь за карты.—Сейчасъ докторовъ выпустилъ. Не вытащили.

— Гдѣ имъ! Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля въ голову попала, то ужъ какіе тамъ доктора...

— Безъ памяти лежитъ,—продолжалъ дворникъ.—Должно, помретъ. Алешка, не подглядывай въ карты, псенокъ, а то за уши! Да, доктора со двора, а отецъ съ матерью во дворъ... Только-что пріѣхали. Вою этого, плачу—не приведи Богъ! Сказываютъ, одинъ сынъ... Горе!

Всѣ, кромѣ Алешки, погруженнаго въ игру, оглянулись на ярко освѣщенныя окна флигеля.

— Завтра велѣно въ участокъ,—сказалъ дворникъ.—Допросъ будетъ... А я что знаю? Нешто я видѣлъ? Зоветъ меня нынче утромъ, подаетъ письмо и говоритъ: «Опусти, говоритъ, въ почтовый ящикъ». А у самого глаза заплаканы. Жены и дѣтей дома не было, гулять пошли... Пока, значитъ, я ходилъ съ письмомъ, онъ и выпалилъ изъ револьвера себѣ въ високъ. Прихожу, а ужъ его кухарка на весь дворъ голоситъ.

— Великій грѣхъ,—проговорилъ сиплымъ голосомъ селедочникъ и покрутилъ головой.—Великій грѣхъ!

— Отъ большой науки,—сказалъ дворникъ, подбирая взятку.—Умъ за разумъ зашелъ. Бывало, по ночамъ сидитъ и все бумаги пишетъ... Ходи, мужикъ!.. А хорошій былъ баринъ. Изъ себя бѣлый, чернявый, высокій!.. Порядочный былъ жилецъ.

— Будто всему тутъ причина женскій полъ,—сказалъ кучеръ, хлопая козырной девяткой по бубновому королю.—Будто чужую жену полюбилъ, а своя опостылѣла. Бываетъ.

— Король бунтуется!—сказалъ дворникъ.

Въ это время со двора опять послышался звонокъ. Взбунтовавшійся король досадливо сплюнулъ и вышелъ. Въ окнахъ флигеля замелькали тѣни, похожія на танцующія пары. Раздались во дворѣ встревоженные голоса, торопливые шаги.

— Должно, опять доктора прищли,—сказалъ кучеръ.— Забѣгается нашъ Михайло...

Странный воющій голосъ прозвучалъ на мгновеніе въ воздухѣ. Алешка испуганно поглядѣлъ на своего дѣда, кучера, потомъ на окна и сказалъ:

— Вчерась около воротъ онъ меня по головѣ погладилъ. Ты, говоритъ, мальчикъ, изъ какого уѣзда? Дѣдъ, кто это вылъ сейчасъ?

Дѣдъ ничего не отвѣтилъ и поправилъ огонь въ фонарѣ.

— Пропалъ человѣкъ,—сказалъ онъ немного погодя и зѣвнулъ.—И онъ пропалъ, и дѣтки его пропали. Теперь дѣтямъ на всю жизнь срамъ.

Дворникъ вернулся и сѣлъ около фонаря.

— Померъ!—сказалъ онъ.—Послали за старухами въ богадѣльню.

— Царство небесное, вѣчный покой!—прошепталъ кучеръ и перекрестился.

Глядя на него, Алешка тоже перекрестился.

— Нельзя такихъ поминать,—сказалъ селедочникъ.

— Отчего?

— Грѣхъ.

— Это вѣрно,—согласился дворникъ.—Теперь его душа прямо въ адъ, къ нечистому...

— Грѣхъ,—повторилъ селедочникъ.—Такихъ ни хоронить, ни отпѣвать, а все равно какъ падаль, безъ всякаго вниманія.

Старикъ надѣлъ картузъ и всталъ.

— У нашей барыни-генеральши тоже вотъ,—сказалъ онъ, надвигая глубже картузъ:—мы еще тогда крѣпостными были, меньшой сынъ тоже вотъ такъ отъ большого ума изъ пистолета себѣ въ ротъ выпалилъ. По закону выходитъ, надо хоронить такихъ безъ поповъ, безъ панихиды, за кладбищемъ, а барыня, значитъ, чтобъ сраму отъ людей не было, подмазала полицейскихъ и докторовъ, и такую бумагу ей дали, будто сынъ въ горячкѣ это самое, въ безпамятствѣ. За деньги все можно. Похоронили его, значитъ, съ попами, честь честью, музыка играла, и положили подъ церковью, потому покойный генералъ эту церковь на свои деньги выстроилъ, и вся его тамъ родня похоронена. Только вотъ это, братцы, проходитъ мѣсяцъ, проходитъ другой и ничего. На третій мѣсяцъ докладываютъ генеральшѣ, изъ церкви

этой самой сторожа пришли. Что надо? Привели ихъ къ ней; они ей въ ноги. «Не можемъ, говорятъ, ваше превосходительство, служить... Ищите другихъ сторожей, а насъ, сдѣлайте милость, увольте».—Почему такое?—«Нѣтъ, говорятъ, никакой возможности. Вашъ сынокъ всю ночь подъ церковью воетъ».

Алешка вздрогнулъ и припалъ лицомъ къ спинѣ кучера, чтобы не видѣть оконъ.

— Генеральша сначала слушать не хотѣла,—продолжалъ старикъ.—Все это, говоритъ, у васъ, у простонародья, отъ мнѣнія. Мертвый человѣкъ не можетъ выть. Спустя время, сторожа опять къ ней, а съ ними и дьячокъ. Значитъ, и дьячокъ слышалъ, какъ тотъ воетъ. Видитъ генеральша, дѣло плохо, заперлась со сторожами у себя въ спальнѣ и говоритъ: «Вотъ вамъ, друзья, 25 рублей, говоритъ, а за это вы ночью потихоньку, чтобъ никто не видѣлъ и не слыхалъ, выройте моего несчастнаго сына и закопайте его, говоритъ, за кладбищемъ». И должно, по стаканчику имъ поднесла... Сторожа такъ и сдѣлали. Плита-то съ надписомъ подъ церковью и посейчасъ, а онъ-то самъ, генеральскій сынъ, за кладбищемъ... Охъ, Господи, прости насъ, грѣшныхъ!—вздохнулъ селедочникъ.—Въ году только одинъ день, когда за такихъ молиться можно: Троицына суббота... Нищимъ за нихъ подавать нельзя, грѣхъ, а можно за упокой души птицъ кормить. Генеральша каждые три дня на перекрестокъ выходила и птицъ кормила. Разъ на перекресткѣ, откуда ни возьмись, черная собака; подскочила къ хлѣбу и была такова... Извѣстно, какая это собака. Генеральша потомъ дней пять, какъ полуумная, не пила, не ѣла... Вдругъ это упадаетъ въ саду на колѣни и молится, молится... Ну, прощайте, братцы, дай вамъ Богъ, Царица Небесная. Пойдемъ, Михайлушка, отворишь мнѣ ворота.

Селедочникъ и дворникъ вышли. Кучеръ и Алешка тоже вышли, чтобы не оставаться въ сараѣ.

— Жилъ человѣкъ и померъ!—сказалъ кучеръ, глядя на окна, въ которыхъ все еще мелькали тѣни.—Сегодня утромъ тутъ по двору ходилъ, а теперь мертвый лежитъ.

— Придетъ время и мы помремъ,—сказалъ дворникъ, уходя съ селедочникомъ, и ихъ обоихъ уже не было видно въ потемкахъ.

Кучеръ, а за нимъ Алешка, не смѣло подошли къ освѣщеннымъ окнамъ. Очень блѣдная дама, съ большими заплаканными глазами и сѣдой, благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберныхъ стола, вѣроятно, затѣмъ, чтобы положить на нихъ покойника, и на зеленомъ сукнѣ столовъ видны были еще цифры, написанныя мѣломъ. Кухарка, которая утромъ бѣгала по двору и голосила, теперь стояла на стулѣ и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало.

— Дѣдъ, что они дѣлаютъ?—спросилъ шопотомъ Алешка.

— Сейчасъ его на столы класть будутъ,—отвѣтилъ дѣдъ.—Пойдемъ, дѣтка, пора спать.

Кучеръ и Алешка вернулись въ сарай. Помолились Богу, разулись. Степанъ легъ въ углу на полу. Алешка въ саняхъ. Сарайныя двери были уже закрыты, сильно воняло гарью отъ потушеннаго фонаря. Немного погодя Алешка поднялъ голову и поглядѣлъ вокругъ себя; сквозь щели дверей виденъ былъ свѣтъ все отъ тѣхъ же четырехъ оконъ.

— Дѣдъ, мнѣ страшно!—сказалъ онъ.

— Ну, спи, спи...

— Тебѣ говорю, страшно!

— Что тебѣ страшно? Экой баловникъ!

Помолчали.

Алешка вдругъ выскочилъ изъ саней и, громко заплакавъ, подбѣжалъ къ дѣду.

— Что ты? Чего тебѣ?—испугался кучеръ, тоже поднимаясь.

— Воетъ!

— Кто воетъ?

— Страшно, дѣдъ... Слышь?

Кучеръ прислушался.

— Это плачутъ,—сказалъ онъ.—Ну, поди, дурачокъ. Имъ жалко, ну и плачутъ.

— Я въ деревню хочу...—продолжалъ внукъ, всхлипывая и дрожа всѣмъ тѣломъ.—Дѣдъ, поѣдемъ въ деревню къ мамкѣ; поѣдемъ, дѣдъ, милый, Богъ тебѣ за это пошлетъ царство небесное...

— Экой дуракъ, а! Ну, молчи, молчи... Молчи, я фонарь засвѣчу... Дуракъ!

Кучеръ нащупалъ спички и зажегъ фонарь. Но свѣтъ не успокоилъ Алешку.

— Дѣдъ Степанъ, поѣдемъ въ деревню! — просилъ онъ, плача.—Мнѣ тутъ страшно... и-и, какъ страшно! И зачѣмъ ты, окаянный, меня изъ деревни выписалъ?

— Кто это окаянный? А нешто можно законному дѣду такія неосновательныя слова? Выпорю!

— Выпори, дѣдъ, выпори, какъ Сидорову козу, а только свези меня къ мамкѣ, сдѣлай божескую милость...

— Ну, ну, внучекъ, ну!—зашепталъ ласково кучеръ. — Ничего, не бойся... Мнѣ и самому страшно... Ты Богу молись!

Скрипнула дверь и показалась голова дворника.

— Не спишь, Степанъ?—спросилъ онъ.—А мнѣ всю ночь не спать,—сказалъ онъ, входя.—Всю ночь отворяй ворота, да запирай... Ты, Алешка, что плачешь?

— Страшно,—отвѣтилъ за внука кучеръ.

Опять въ воздухѣ не надолго пронесся воющій голосъ. Дворникъ сказалъ:

— Плачутъ. Мать глазамъ не вѣритъ... Страсть какъ убивается.

— И отецъ тутъ?

— И отецъ... Отецъ ничего. Сидитъ въ уголушкѣ и молчитъ. Дѣтей къ роднымъ унесли... Что жъ, Степанъ? Въ своего козыря сыграемъ, что ли?

— Давай, — согласился кучеръ, почесываясь. — А ты, Алешка, ступай спи. Женить пора, а ревешь, подлецъ. Ну, ступай, внучекъ, иди...

Присутствіе дворника успокоило Алешку; онъ не смѣло пошелъ къ санямъ и легъ. И пока онъ засыпалъ, ему слышался полушопотъ.

— Бью и наваливаю...—говорилъ дѣдъ.

— Бью и наваливаю...—повторялъ дворникъ.

Во дворѣ позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила: «Бью и наваливаю». Когда Алешка увидѣлъ во снѣ барина и, испугавшись его глазъ, вскочилъ и заплакалъ, было уже утро, дѣдъ храпѣлъ и сарай не казался страшнымъ.

# РАЗСКАЗЪ ГОСПОЖИ NN.

Лѣтъ девять назадъ, какъ-то разъ передъ вечеромъ, во время сѣнокоса, я и Петръ Сергѣичъ, исправляющій должность судебнаго слѣдователя, поѣхали верхомъ на станцію за письмами.

Погода была великолѣпная, но на обратномъ пути послышались раскаты грома, и мы увидѣли сердитую черную тучу, которая шла прямо на насъ. Туча приближалась къ намъ, а мы къ ней.

На ея фонѣ бѣлѣли нашъ домъ и церковь, серебрились высокіе тополи. Пахло дождемъ и скошеннымъ сѣномъ. Мой спутникъ былъ въ ударѣ. Онъ смѣялся и говорилъ всякій вздоръ. Онъ говорилъ, что было бы не дурно, если бы на пути намъ вдругъ встрѣтился какой-нибудь средневѣковый замокъ съ зубчатыми башнями, съ мохомъ, съ совами, чтобы мы спрятались туда отъ дождя и чтобы насъ въ концѣ-концовъ убилъ громъ...

Но вотъ по ржи и по овсяному полю пробѣжала первая волна, рванулъ вѣтеръ и въ воздухѣ закружилась пыль. Петръ Сергѣичъ разсмѣялся и пришпорилъ лошадь.

— Хорошо!—крикнулъ онъ.—Очень хорошо!

Я, зараженная его веселостью, и отъ мысли, что сейчасъ промокну до костей и могу быть убита молніей, тоже стала смѣяться.

Этотъ вихрь и быстрая ѣзда, когда задыхаешься отъ вѣтра и чувствуешь себя птицей, волнуютъ и щекочутъ грудь. Когда мы въѣхали въ нашъ дворъ, вѣтра уже не

было, и крупныя брызги дождя стучали по травѣ и по крышамъ. Около конюшни не были ни души.

Петръ Сергѣичъ самъ разнуздалъ лошадей и повелъ ихъ къ стойламъ. Ожидая, когда онъ кончитъ, я стояла у порога и смотрѣла на косыя дождевыя полосы; приторный, возбуждающій запахъ сѣна чувствовался здѣсь сильнѣе, чѣмъ въ полѣ; отъ тучъ и дождя было сумеречно.

— Вотъ такъ ударъ!—сказалъ Петръ Сергѣичъ, подходя ко мнѣ послѣ одного очень сильнаго, раскатистаго громового удара, когда, казалось, небо треснуло пополамъ.— Каково?

Онъ стоялъ рядомъ на порогѣ и, тяжело дыша отъ быстрой ѣзды, глядѣлъ на меня. Я замѣтила, что онъ любуется.

— Наталья Владиміровна,—сказалъ онъ:—я отдалъ бы все, чтобы только подольше стоять такъ и глядѣть на васъ. Сегодня вы прекрасны.

Глаза его глядѣли восторженно и съ мольбой, лицо было блѣдно, на бородѣ и усахъ блестѣли дождевыя капли, которыя тоже, казалось, съ любовью глядѣли на меня.

— Я люблю васъ,—сказалъ онъ.—Люблю и счастливъ, что вижу васъ. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ничего мнѣ не нужно, только знайте, что я люблю васъ. Молчите, не отвѣчайте, не обращайте вниманія, а только знайте, что вы мнѣ дороги, и позвольте смотрѣть на васъ.

Его восторгъ сообщился и мнѣ. Я глядѣла на его вдохновенное лицо, слушала голосъ, который мѣшался съ шумомъ дождя и, какъ очарованная, не могла шевельнуться.

Мнѣ безъ конца хотѣлось глядѣть на блестящіе глаза и слушать.

— Вы молчите — и прекрасно! — сказалъ Петръ Сергѣичъ.—Продолжайте молчать.

Мнѣ было хорошо. Я засмѣялась отъ удовольствія и побѣжала подъ проливнымъ дождемъ къ дому; онъ тоже засмѣялся и, подпрыгивая, побѣжалъ за мной.

Оба мы шумно, какъ дѣти, мокрые, запыхавшіеся, стуча по лѣстницамъ, влетѣли въ комнаты. Отецъ и братъ, не привыкшіе видѣть меня хохочущей и веселой, удивленно поглядѣли на меня и тоже стали смѣяться.

Грозовыя тучи ушли, громъ умолкъ, а на бородѣ Петра

Сергѣича все еще блестѣли дождевыя капли. Весь вечеръ до ужина онъ пѣлъ, насвистывалъ, шумно игралъ съ собакой, гоняясь за нею по комнатамъ, такъ что едва не сбилъ съ ногъ человѣка съ самоваромъ. А за ужиномъ онъ много ѣлъ, говорилъ глупости и увѣрялъ, что когда зимою ѣшь свѣжіе огурцы, то во рту пахнетъ весной.

Ложась спать, я зажгла свѣчку и отворила настежь свое окно, и неопредѣленное чувство овладѣло моей душой. Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любятъ, а главное, что я знатна и богата,—знатна и богата — какъ это хорошо, Боже мой!.. Потомъ, пожимаясь въ постели отъ легкаго холода, который пробирался ко мнѣ изъ сада вмѣстѣ съ росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергѣича, или нѣтъ... И не понявши ничего, уснула.

А когда утромъ увидала на своей постели дрожащія солнечныя пятна и тѣни липовыхъ вѣтвей, въ моей памяти живо воскресло вчерашнее. Жизнь показалась мнѣ богатой, разнообразной, полной прелести. Напѣвая, я быстро одѣлась и побѣжала въ садъ...

А потомъ что было? А потомъ—ничего. Зимою, когда мы жили въ городѣ, Петръ Сергѣичъ изрѣдка пріѣзжалъ къ намъ. Деревенскіе знакомые очаровательны только въ деревнѣ и лѣтомъ, въ городѣ же и зимою они теряютъ половину своей прелести. Когда въ городѣ поишь ихъ чаемъ, то кажется, что на нихъ чужіе сюртуки и что они слишкомъ долго мѣшаютъ ложечкой свой чай. И въ городѣ Петръ Сергѣичъ иногда говорилъ о любви, но выходило совсѣмъ не то, что въ деревнѣ. Въ городѣ мы сильнѣе чувствовали стѣну, которая была между нами: я знатна и богата, а онъ бѣденъ, онъ не дворянинъ даже, сынъ дьякона, онъ исправляющій должность судебнаго слѣдователя и только; оба мы—я по молодости лѣтъ, а онъ Богъ знаетъ почему — считали эту стѣну очень высокой и толстой, и онъ, бывая у насъ въ городѣ, натянуто улыбался и критиковалъ высшій свѣтъ, и угрюмо молчалъ, когда при немъ былъ кто-нибудь въ гостиной. Нѣтъ такой стѣны, которой нельзя было бы пробить, но герои современнаго романа, насколько я ихъ знаю, слишкомъ робки, вялы, лѣнивы и мнительны, и слишкомъ скоро мирятся съ мыслью о томъ, что они неудачники, что личная жизнь обманула ихъ;

вмѣсто того, чтобы бороться, они лишь критикуютъ, называя свѣтъ пошлымъ и забывая, что сама ихъ критика мало-по-малу переходитъ въ пошлость.

Меня любили, счастье было близко и, казалось, жило со мной плечо-о-плечо; я жила припѣваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я жду и чего хочу отъ жизни, а время шло и шло... Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплыя ночи, пѣли соловьи, пахло сѣномъ — и все это, милое, изумительное по воспоминаніямъ, у меня, какъ у всѣхъ, проходило быстро, безслѣдно, не цѣнилось и исчезало, какъ туманъ... Гдѣ все оно?

Умеръ отецъ, я постарѣла; все, что нравилось, ласкало, давало надежду — шумъ дождя, раскаты грома, мысли о счастьѣ, разговоры о любви—все это стало однимъ воспоминаніемъ, и я вижу впереди ровную, пустынную даль: на равнинѣ ни одной живой души, а тамъ на горизонтѣ темно, страшно...

Вотъ звонокъ... Это пришелъ Петръ Сергѣичъ. Когда я зимою вижу деревья и вспоминаю, какъ они зеленѣли для меня лѣтомъ, я шепчу:

— О, мои милые!

А когда я вижу людей, съ которыми я провела свою весну, мнѣ становится грустно, тепло и я шепчу то же самое.

Его давно уже, по протекціи моего отца, перевели въ городъ. Онъ немножко постарѣлъ, немножко осунулся. Онъ давно уже пересталъ объясняться въ любви, не говоритъ уже вздора, службы своей не любитъ, чѣмъ-то боленъ, въ чемъ-то разочарованъ, махнулъ на жизнь рукой и живетъ нехотя. Вотъ онъ сѣлъ у камина; молча глядитъ на огонь... Я, не зная, что сказать, спросила:

— Ну, что?

— Ничего...—отвѣтилъ онъ.

И опять молчаніе. Красный свѣтъ отъ огня запрыгалъ по его печальному лицу.

Вспомнилось мнѣ прошлое, и вдругъ мои плечи задрожали, голова склонилась, и я горько заплакала. Мнѣ стало невыносимо жаль самоё-себя и этого человѣка и страстно захотѣлось того, что прошло и въ чемъ теперь отказываетъ

намъ жизнь. И теперь я уже не думала о томъ, какъ я знатна и богата.

Я громко всхлипывала, сжимая себѣ виски, и бормотала:

— Боже мой, Боже мой, погибла жизнь...

А онъ сидѣлъ, молчалъ и не сказалъ мнѣ: «не плачьте». Онъ понималъ, что плакать нужно и что для этого наступило время. Я видѣла по его глазамъ, что ему жаль меня; и мнѣ тоже было жаль его и досадно на этого робкаго неудачника, который не сумѣлъ устроить ни моей жизни, ни своей.

Когда я провожала его, то онъ въ передней, какъ мнѣ показалось, нарочно долго надѣвалъ шубу. Раза два молча поцѣловалъ мнѣ руку и долго глядѣлъ мнѣ въ заплаканное лицо. Я думаю, что въ это время вспомнилъ онъ грозу, дождевыя полосы, нашъ смѣхъ, мое тогдашнее лицо. Ему хотѣлось сказать мнѣ что-то, и онъ былъ бы радъ сказать, но ничего не сказалъ, а только покачалъ головой и крѣпко пожалъ руку. Богъ съ нимъ!

Проводивъ его, я вернулась въ кабинетъ и опять сѣла на коврѣ передъ каминомъ. Красные уголья подернулись пепломъ и стали потухать. Морозъ еще сердитѣе застучалъ въ окно, и вѣтеръ запѣлъ о чемъ-то въ каминной трубѣ.

Вошла горничная и, думая, что я уснула, окликнула меня...

# ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТЪ.

Иванъ Дмитричъ, человѣкъ средній, проживающій съ семьей тысячу двѣсти рублей въ годъ и очень довольный своей судьбой, какъ-то послѣ ужина сѣлъ на диванъ и сталъ читать газету.

— Забыла я сегодня въ газету поглядѣть,—сказала его жена, убирая со стола.—Посмотри, нѣтъ ли тамъ таблицы тиражей?

— Да, есть,—отвѣтилъ Иванъ Дмитричъ.—А развѣ твой билетъ не пропалъ въ залогѣ?

— Нѣтъ, я во вторникъ носила проценты.

— Какой номеръ?

— Серія 9.499, билетъ 26.

— Такъ-съ... Посмотримъ-съ... 9.499 и 26.

Иванъ Дмитричъ не вѣрилъ въ лотерейное счастіе и въ другое время ни за что не сталъ бы глядѣть въ таблицу тиражей, но теперь отъ нечего-дѣлать и—благо, газета была передъ глазами — онъ провелъ пальцемъ сверху внизъ по номерамъ серій. И тотчасъ же, точно въ насмѣшку надъ его невѣріемъ, не дальше какъ во второй строкѣ сверху, рѣзко бросилась въ глаза цифра 9.499! Не поглядѣвъ, какой номеръ билета, не провѣряя себя, онъ быстро опустилъ газету на колѣни и, какъ будто кто плеснулъ ему на животъ холодной водой, почувствовалъ подъ ложечкой пріятный холодокъ: и щекотно, и страшно, и сладко!

— Маша, 9.499 есть!—сказалъ онъ глухо.

Жена поглядѣла на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что онъ не шутитъ.

— 9.499? — спросила она, блѣднѣя и опуская на столъ сложенную скатерть.

— Да, да... Серьезно есть!

— А номеръ билета?

— Ахъ, да! Еще номеръ билета. Впрочемъ, постой... погоди. Нѣтъ, каково? Все-таки номеръ нашей серіи есть! Все-таки, понимаешь...

Иванъ Дмитричъ, глядя на жену, улыбался широко и безсмысленно, какъ ребенокъ, которому показываютъ блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, какъ и ему, пріятно было, что онъ назвалъ только серію и не спѣшитъ узнать номеръ счастливаго билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастіе—это такъ сладко, жутко!

— Наша серія есть, — сказалъ Иванъ Дмитричъ послѣ долгаго молчанія.—Значитъ, есть вѣроятность, что мы выиграли. Только вѣроятность, но все же она есть!

— Ну, теперь взгляни.

— Постой. Еще успѣемъ разочароваться. Это во второй строкѣ сверху, значитъ, выигрышъ въ 75.000. Это не деньги, а сила, капиталъ! И вдругъ я погляжу сейчасъ въ таблицу, а тамъ—26! А? Послушай, а что если мы въ самомъ дѣлѣ выиграли?

Супруги стали смѣяться и долго глядѣли другъ на друга молча. Возможность счастья отуманила ихъ, они не могли даже мечтать, сказать, на что имъ обоимъ нужны эти 75.000, что они купятъ, куда поѣдутъ. Думали они только о цифрахъ 9.499 и 75.000, рисовали ихъ въ своемъ воображеніи, а о самомъ счастьѣ, которое было такъ возможно, имъ какъ-то не думалось.

Иванъ Дмитричъ, держа въ рукахъ газету, нѣсколько разъ прошелся изъ угла въ уголъ, и только, когда успокоился отъ перваго впечатлѣнія, сталъ понемногу мечтать.

— А что, если мы выиграли?—сказалъ онъ.—Вѣдь это новая жизнь, это катастрофа! Билетъ твой, но если бы онъ былъ моимъ, то я прежде всего, конечно, купилъ бы тысячъ за 25 какую-нибудь недвижимость въ родѣ имѣнія; тысячъ 10 на единовременные расходы: новая обстановка... путешествіе, долги заплатить и прочее... Остальныя 40 тысячъ въ банкъ подъ проценты...

— Да, имѣніе—это хорошо,—сказала жена, садясь и опуская на колѣни руки.

— Гдѣ-нибудь въ Тульской или Орловской губерніи... Во-первыхъ, дачи не нужно, во-вторыхъ, все-таки доходъ.

И въ его воображеніи затолпились картины, одна другой ласковѣй, поэтичнѣй, и во всѣхъ этихъ картинахъ онъ видѣлъ себя самого сытымъ, спокойнымъ, здоровымъ, ему тепло, даже жарко! Вотъ онъ, поѣвши холодной, какъ ледъ, окрошки, лежитъ вверхъ животомъ на горячемъ пескѣ у самой рѣчки, или въ саду подъ липой... Жарко... Сынишка и дочь ползаютъ возлѣ, роются въ пескѣ, или ловятъ въ травѣ козявокъ. Онъ сладко дремлетъ, ни о чемъ не думаетъ и всѣмъ тѣломъ чувствуетъ, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послѣзавтра. А надоѣло лежать, онъ идетъ на сѣнокосъ, или въ лѣсъ за грибами, или же глядитъ, какъ мужики ловятъ неводомъ рыбу. Когда садится солнце, онъ беретъ простыню, мыло и плетется въ купальню, гдѣ не спѣша раздѣвается, долго разглаживаетъ ладонями свою голую грудь и лѣзетъ въ воду. А въ водѣ, около матовыхъ мыльныхъ круговъ суетятся рыбешки, качаются зеленыя водоросли. Послѣ купанья чай со сливками и со сдобными кренделями... Вечеромъ прогулка, или винтъ съ сосѣдями.

— Да, хорошо бы купить имѣніе,—говоритъ жена, тоже мечтая, и по лицу ея видно, что она очарована своими мыслями.

Иванъ Дмитричъ рисуетъ себѣ осень съ дождями, съ холодными вечерами и съ бабьимъ лѣтомъ. Въ это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу рѣки, чтобы хорошенько озябнуть, а потомъ выпить большую рюмку водки и закусить соленымъ рыжикомъ, или укропнымъ огурчикомъ и—выпить другую. Дѣтишки бѣгутъ съ огорода и тащутъ морковь и рѣдьку, отъ которой пахнетъ свѣжей землей... А послѣ развалиться на диванѣ и не спѣша разсматривать какой-нибудь иллюстрированный журналъ, а потомъ прикрыть журналомъ лицо, разстегнуть жилетку, отдаться дремотѣ...

За бабьимъ лѣтомъ слѣдуетъ хмурое, ненастное время. Днемъ и ночью идетъ дождь, голыя деревья плачутъ, вѣтеръ сыръ и холоденъ. Собаки, лошади, куры—все мокро, уныло, робко. Гулять негдѣ, изъ дому выходить нельзя, цѣлый день приходится шагать изъ угла въ уголъ и тоскливо поглядывать на пасмурныя окна. Скучно!

Иванъ Дмитричъ остановился и посмотрѣлъ на жену.

— Я, знаешь, Маша, за границу поѣхалъ бы,—сказалъ онъ.

И онъ сталъ думать о томъ, что хорошо бы поѣхать глубокой осенью за границу, куда-нибудь въ южную Францію, Италію... Индію!

— Я тоже непремѣнно бы за границу поѣхала,—сказала жена.—Ну, посмотри номеръ билета!

— Постой! Погоди...

Онъ ходилъ по комнатѣ и продолжалъ думать. Ему пришло на мысль: а что если въ самомъ дѣлѣ жена поѣдетъ за границу? Путешествовать пріятно одному, или же, въ обществѣ женщинъ легкихъ, беззаботныхъ, живущихъ минутой, а не такихъ, которыя всю дорогу думаютъ и говорятъ только о дѣтяхъ, вздыхаютъ, пугаются и дрожатъ надъ каждой копейкой. Иванъ Дмитричъ представилъ себѣ свою жену въ вагонѣ со множествомъ узелковъ, корзинокъ, свертковъ; она о чемъ-то вздыхаетъ и жалуется, что у нея отъ дороги разболѣлась голова, что у нея ушло много денегъ; то и дѣло приходится бѣгать на станцію за кипяткомъ, бутербродами, водой... Обѣдать она не можетъ, потому что это дорого...

«А вѣдь она бы меня въ каждой копейкѣ усчитывала,—подумалъ онъ, взглянувъ на жену. — Билетъ-то ея, а не мой! Да и зачѣмъ ей за границу ѣхать? Чего она тамъ не видала? Будетъ въ номерѣ сидѣть, да меня не отпускать отъ себя... Знаю!»

И онъ первый разъ въ жизни обратилъ вниманіе на то, что его жена постарѣла, подурнѣла, вся насквозь пропахла кухней, а самъ онъ еще молодъ, здоровъ, свѣжъ, хоть женись во второй разъ.

«Конечно, все это пустяки и глупости,—думалъ онъ:— но... зачѣмъ бы она поѣхала за границу? Что она тамъ понимаетъ? А вѣдь поѣхала бы... Воображаю... А на самомъ дѣлѣ для нея что Неаполь, что Клинъ—все едино. Только бы мнѣ помѣшала. Я бы у нея въ зависимости былъ. Воображаю, какъ бы только получила деньги, то сейчасъ бы ихъ по бабьи подъ шесть замковъ... Отъ меня будетъ прятать... Роднѣ своей будетъ благотворить, а меня въ каждой копейкѣ усчитаетъ».

Вспомнилъ Иванъ Дмитричъ родню. Всѣ эти братцы,

сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнавъ про выигрышъ, приползутъ, начнутъ нищенски клянчить, маслено улыбаться, лицемѣрить. Противные, жалкіе люди! Если имъ дать, то они еще попросятъ; а отказать — будутъ клясть, сплетничать, желать всякихъ напастей.

Иванъ Дмитричъ припоминалъ своихъ родственниковъ, и ихъ лица, на которыя онъ прежде глядѣлъ безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными.

«Это такія гадины!»—думалъ онъ.

И лицо жены стало казаться тоже противнымъ, ненавистнымъ. Въ душѣ его закипала противъ нея злоба, и онъ со злорадствомъ думалъ:

«Ничего не смыслитъ въ деньгахъ, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мнѣ только сто рублей, а остальныя—подъ замокъ».

И онъ уже не съ улыбкой, а съ ненавистью глядѣлъ на жену. Она тоже взглянула на него и тоже съ ненавистью и со злобой. У нея были свои радужныя мечты, свои планы, свои соображенія; она отлично понимала, о чемъ мечтаетъ ея мужъ. Она знала, кто первый протянулъ бы лапу къ ея выигрышу.

«На чужой-то счетъ хорошо мечтать! — говорилъ ея взглядъ.—Нѣтъ, ты не смѣешь!»

Мужъ понялъ ея взглядъ; ненависть заворочалась у него въ груди и, чтобы досадить своей женѣ, онъ на зло ей быстро заглянулъ на четвертую страницу газеты и провозгласилъ съ торжествомъ:

— Серія 9.499, билетъ 46! Но не 26!

Надежда и ненависть—обѣ разомъ исчезли, и тотчасъ же Ивану Дмитричу и его женѣ стало казаться, что ихъ комнаты темны, малы и низки, что ужинъ, который они съѣли, не насыщаетъ, а только давитъ подъ желудкомъ, что вечера длинны и скучны...

— Чортъ знаетъ что,—сказалъ Иванъ Дмитричъ, начиная капризничать.—Куда ни ступишь, вездѣ бумажки подъ ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметаютъ въ комнатахъ! Придется изъ дому уходить, чортъ меня подери совсѣмъ. Уйду и повѣшусь на первой попавшейся осинѣ.

# МОРОЗЪ.

На Крещенье въ губернскомъ городѣ N. было устроено съ благотворительной цѣлью «народное» гулянье. Выбрали широкую часть рѣки между рынкомъ и архіерейскимъ дворомъ, огородили ее канатомъ, елками и флагами, и соорудили все, что нужно для катанья на конькахъ, на саняхъ и съ горъ. Праздникъ предполагался въ возможно широкихъ размѣрахъ. Выпущенныя афиши были громадны и обѣщали не мало удовольствій: катокъ, оркестръ военной музыки, безпроигрышную лотерею, электрическое солнце и проч. Но все это едва не рушилось, благодаря сильному морозу. На Крещенье съ самаго кануна стоялъ морозъ градусовъ въ 28 съ вѣтромъ, и гулянье хотѣли отложить, но не сдѣлали этого только потому, что публика, долго и нетерпѣливо ожидавшая гулянья, не соглашалась ни на какія отсрочки.

— Подумайте, на то теперь и зима, чтобъ былъ морозъ!—убѣждали дамы губернатора, который стоялъ за то, чтобы гулянье было отложено.—Если кому будетъ холодно, тотъ можетъ гдѣ-нибудь погрѣться!

Отъ мороза побѣлѣли деревья, лошади, бороды; казалось, даже самъ воздухъ трещалъ, не вынося холода, но несмотря на это, тотчасъ же послѣ водосвятія озябшая полиція была уже на каткѣ, и ровно въ часъ дня началъ играть военный оркестръ.

Въ самый разгаръ гулянья, часу въ четвертомъ, въ губернаторскомъ павильонѣ, построенномъ на берегу рѣки, собралось грѣться мѣстное отборное общество. Тутъ были ста-

рикъ-губернаторъ съ женой, архіерей, предсѣдатель суда, директоръ гимназіи и многіе другіе. Дамы сидѣли въ креслахъ, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядѣли на катокъ.

— Ай, батюшки,—изумлялся архіерей: — ногами-то, ногами какія ноты выводятъ! Ей-же-ей, иной пѣвецъ голосомъ того не выведетъ, что эти головорѣзы ногами... Ай, убьется!

— Это Смирновъ... Это Груздевъ,—говорилъ директоръ, называя по фамиліи гимназистовъ, летавшихъ мимо павильона.

— Ба, живъ Курилка! — засмѣялся губернаторъ. — Господа, поглядите, наша городская голова идетъ... Сюда идетъ. Ну, бѣда: заговоритъ онъ насъ теперь!

Съ другого берега, сторонясь отъ конькобѣжцевъ, шелъ къ павильону маленькій, худенькій старикъ въ лисьей шубѣ нараспашку и въ большомъ картузѣ. Это былъ городской голова, купецъ Еремѣевъ, милліонеръ, N—скій старожилъ. Растопыривъ руки и пожимаясь отъ холода, онъ подпрыгивалъ, стучалъ калошей о калошу и видимо спѣшилъ убраться отъ вѣтра. На полдорогѣ онъ вдругъ согнулся, подкрался сзади къ какой-то дамѣ и дернулъ ее за рукавъ. Когда та оглянулась, онъ отскочилъ и, вѣроятно, довольный тѣмъ, что сумѣлъ испугать, разразился громкимъ старческимъ смѣхомъ.

— Живой старикашка! — сказалъ губернаторъ.—Удивительно, какъ это онъ еще на конькахъ не катается.

Подходя къ павильону, голова засѣменилъ мелкой рысцой, замахалъ руками и, разбѣжавшись, подползъ по льду на своихъ громадныхъ калошахъ къ самой двери.

— Егоръ Иванычъ, коньки вамъ надо купить! — встрѣтилъ его губернаторъ.

— Я и самъ-то думаю!—отвѣтилъ онъ крикливымъ, немного гнусавымъ теноркомъ, снимая шапку. — Здравія желаю, ваше превосходительство! Ваше преосвященство, владыко святый! Всѣмъ прочимъ господамъ — многая лѣта! Вотъ такъ морозъ! Ну, да и морозъ же, Богъ съ нимъ! Смерть!

Мигая красными, озябшими глазами, Егоръ Иванычъ застучалъ по полу калошами и захлопалъ руками, какъ озябшій извозчикъ.

— Такой проклятущій морозъ, что хуже собаки всякой!—

продолжалъ онъ говорить, улыбаясь во все лицо. — Сущая казнь!

— Это здорово, — сказалъ губернаторъ. — Морозъ укрѣпляетъ человѣка, бодритъ.

— Хоть и здорово, но лучше бъ его вовсе не было, — сказалъ голова, утирая краснымъ платкомъ свою клиновидную бородку.—Богъ съ нимъ! Я такъ понимаю, ваше превосходительство, Господь въ наказаніе намъ его посылаетъ, морозъ-то. Лѣтомъ грѣшимъ, а зимою казнимся... да!

Егоръ Иванычъ быстро оглядѣлся и всплеснулъ руками.

— А гдѣ же это самое... чѣмъ грѣться-то? — спросилъ онъ, испуганно глядя то на губернатора, то на архіерея. — Ваше превосходительство! Владыко святый! Чай и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Такъ невозможно!

Всѣ замахали руками, стали говорить, что они пріѣхали на катокъ не за тѣмъ, чтобы грѣться, но голова, никого не слушая, отворилъ дверь и закивалъ кому-то согнутымъ въ крючокъ пальцемъ. Къ нему подбѣжали артельщикъ и пожарный.

— Вотъ что, бѣгите къ Саватину,— забормоталъ онъ:— и скажите, чтобъ какъ можно скорѣй прислалъ сюда того... Какъ его? Чего бы такое? Стало-быть, скажи, чтобъ десять стакановъ прислалъ... десять стакановъ глинтвейнцу... самаго горячаго, или пуншу, что ли...

Въ павильонѣ засмѣялись.

— Нашелъ, чѣмъ угощать!

— Ничего, выпьемъ...—бормоталъ голова.—Стало-быть, десять стакановъ... Ну, еще бенедиктинцу, что ли... красненькаго вели согрѣть бутылки двѣ... Ну, а мадамамъ чего? Ну, скажешь тамъ, чтобъ пряниковъ, орѣшковъ... конфетовъ какихъ тамъ, что ли... Ну, ступай! Живо!

Голова минуту помолчалъ, а потомъ опять сталъ бранить морозъ, хлопая руками и стуча калошами.

— Нѣтъ, Егоръ Иванычъ,—убѣждалъ его губернаторъ:— не грѣшите, русскій морозъ имѣетъ свои прелести. Я недавно читалъ, что многія хорошія качества русскаго народа обусловливаются громаднымъ пространствомъ земли и климатомъ, жестокой борьбой за существованіе... Это совершенно справедливо!

— Можетъ и справедливо, ваше превосходительство, но лучше бъ его вовсе не было. Оно, конечно, морозъ и фран-

цузовъ выгналъ, и всякія кушанья заморозить можно, и дѣточки на конькахъ катаются... все это вѣрно! Сытому и одѣтому морозъ—одно удовольствіе, а для человѣка рабочаго, нищаго, странника, блаженнаго—онъ первѣйшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святый! При такомъ морозѣ и бѣдность вдвое, и воръ хитрѣе, и злодѣй лютѣе. Что и говорить! Мнѣ теперь седьмой десятокъ пошелъ, у меня теперь вотъ шуба есть, а дома печка, всякіе ромы и пунши. Теперь мнѣ морозъ ни по чемъ, я безъ всякаго вниманія, знать его не хочу. Но прежде-то что было, Мать Пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня съ лѣтами отшибло, и я все позабылъ: и враговъ, и грѣхи свои, и напасти всякія—все позабылъ, но морозъ—ухъ какъ помню! Остался я послѣ маменьки вотъ этакимъ махонькимъ бѣсенкомъ, безпріютнымъ сиротою... Ни родныхъ, ни ближнихъ, одежонка рваная, кушать хочется, ночевать негдѣ, однимъ словомъ не имамы здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ. Довелось мнѣ тогда за пятачокъ въ день водить по городу одну старушку слѣпую... Морозы были жестокіе, злющіе. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожака, какъ въ лихорадкѣ, жмешься и прыгаешь, потомъ начинаютъ у тебя уши, пальцы и ноги болѣть. Болятъ, словно кто ихъ клещами жметъ. Но это все бы ничего, пустое дѣло, не суть важное. Бѣда, когда все тѣло стынетъ. Часика три походишь по морозу, владыко святый, и потеряешь всякое подобіе. Ноги сводитъ, грудь давитъ, животъ втягиваетъ, главное, въ сердцѣ такая боль, что хуже и быть не можетъ. Болитъ сердце, нѣтъ мочи терпѣть, а во всемъ тѣлѣ тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онѣмѣешь, одеревянѣешь, какъ статуй, идешь и кажется тебѣ, что не ты это идешь, а кто-то другой замѣсто тебя ногами двигаетъ. Какъ застыла душа, то ужъ себя не помнишь: норовишь или старуху безъ водителя оставить, или горячій калачъ съ лотка стащить, или подраться съ кѣмъ. А придешь съ мороза на ночлегъ въ тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и самъ не знаешь...

— Пока еще не стемнѣло, нужно по катку пройтись,— сказала губернаторша, которой скучно стало слушать.— Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила изъ павильона вся публика. Остались только губернаторъ, архіерей и голова.

— Царица Небесная! А что было, когда меня въ сидѣльцы въ рыбную лавку отдали!—продолжалъ Егоръ Иванычъ, поднимая вверхъ руки, причемъ лисья шуба его распахнулась. — Бывало, выходишь въ лавку чуть свѣтъ... къ девятому часу я ужъ совсѣмъ озябши, рожа посинѣла, пальцы растопырены, такъ что пуговицы не застегнешь и денегъ не сосчитаешь. Стоишь на холодѣ, костенѣешь и думаешь: «Господи, вѣдь до самаго вечера такъ стоять придется!» Къ обѣду ужъ у меня животъ втянуло и сердце болитъ... да-съ! Когда потомъ самъ хозяиномъ былъ, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно мышеловка, со всѣхъ сторонъ ее продуваетъ; шубенка на мнѣ, извините, паршивая, на рыбьемъ мѣху, сквозная... Застынешь весь, обалдѣешь и самъ станешь жесточѣе мороза: одного за ухо дернешь, такъ что чуть ухо не оторвешь, другого по затылку хватишь, на покупателя злодѣемъ этакимъ глядишь, звѣремъ, и норовишь съ него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не въ духахъ и начинаешь свое семейство кускомъ хлѣба попрекать, шумѣть, и такъ разойдешься, что пяти городовыхъ мало. Отъ морозу и золъ становишься, и водку пьешь не въ мѣру.

Егоръ Иванычъ всплеснулъ руками и продолжалъ:

— А что было, когда мы зимой въ Москву рыбу возили! Мать Пречистая!

И онъ, захлебываясь, сталъ описывать ужасы, которые переживалъ со своими приказчиками, когда возилъ въ Москву рыбу...

— Н-да,—вздохнулъ губернаторъ: — удивительно выносливъ человѣкъ! Вы, Егоръ Иванычъ, рыбу въ Москву возили, а я въ свое время на войну ходилъ. Припоминается мнѣ одинъ необыкновенный случай...

И губернаторъ разсказалъ, какъ во время послѣдней русско-турецкой войны, въ одну морозную ночь отрядъ, въ которомъ онъ находился, стоялъ неподвижно тринадцать часовъ въ снѣгу подъ пронзительнымъ вѣтромъ; изъ страха быть замѣченнымъ отрядъ не разводилъ огня, молчалъ, не двигался; запрещено было курить...

Начались воспоминанія. Губернаторъ и голова оживились,

повеселѣли и, перебивая другъ друга, стали припоминать пережитое. И архіерей разсказалъ, какъ онъ, служа въ Сибири, ѣздилъ на собакахъ, какъ онъ однажды сонный, во время сильнаго мороза, вывалился изъ возка и едва не замерзъ; когда тунгузы вернулись и нашли его, то онъ былъ едва живъ. Потомъ, словно сговорившись, старики вдругъ умолкли, сѣли рядышкомъ и задумались.

— Эхъ!—прошепталъ голова.—Кажется, пора бы забыть, но какъ взглянешь на водовозовъ, на школьниковъ, на арестантиковъ въ халатишкахъ, все припомнишь! Да взять хоть этихъ музыкантовъ, что играютъ сейчасъ. Небось ужъ и сердце болитъ у нихъ, и животы втянуло, и трубы къ губамъ примерзли... Играютъ и думаютъ:—«Мать Пречистая, а вѣдь намъ еще три часа тутъ на холодѣ сидѣть!»

Старики задумались. Думали они о томъ, что въ человѣкѣ выше происхожденія, выше сана, богатства и знаній, что послѣдняго нищаго приближаетъ къ Богу: о немощи человѣка, о его боли, о терпѣніи...

Между тѣмъ воздухъ синѣлъ... Отворилась дверь, и въ павильонъ вошли два лакея отъ Саватина, внося подносы и большой окутанный чайникъ. Когда стаканы наполнились и въ воздухѣ сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь, и въ павильонъ вошелъ молодой, безусый околоточный съ багровымъ носомъ и весь покрытый инеемъ. Онъ подошелъ къ губернатору и, дѣлая подъ козырекъ, сказалъ:

— Ея превосходительство приказали доложить, что онѣ уѣхали домой.

Глядя, какъ околоточный дѣлалъ озябшими, растопыренными пальцами подъ козырекъ, глядя на его носъ, мутные глаза и башлыкъ, покрытый около рта бѣлымъ инеемъ, всѣ почему-то почувствовали, что у этого околоточнаго должно болѣть сердце, что у него втянуть животъ и онѣмѣла душа...

— Послушайте,—сказалъ нерѣшительно губернаторъ:—выпейте глинтвейну.

— Ничего, ничего... выпей! — замахалъ голова. — Не стѣсняйся!

Околоточный взялъ въ обѣ руки стаканъ, отошелъ въ сторону и, стараясь не издавать звуковъ, сталъ чинно отхлебывать изъ стакана. Онъ пилъ и конфузился, а старики молча глядѣли на него, и всѣмъ казалось, что у молодого

околоточнаго отъ сердца отходитъ боль, мякнетъ душа. Губернаторъ вздохнулъ.

— Пора по домамъ! — сказалъ онъ, поднимаясь. — Прощайте! Послушайте, — обратился онъ къ околоточному: — скажите тамъ музыкантамъ, чтобы они... перестали играть, и попросите отъ моего имени Павла Семеновича, чтобы онъ распорядился дать имъ... пива или водки.

Губернаторъ и архіерей простились съ «городской головой» и вышли изъ павильона.

Егоръ Иванычъ принялся за глинтвейнъ и, пока околоточный допивалъ свой стаканъ, успѣлъ разсказать ему очень много интереснаго. Молчать онъ не умѣлъ.

# СИЛЬНЫЯ ОЩУЩЕНІЯ.

Дѣло происходило не такъ давно въ московскомъ окружномъ судѣ. Присяжные засѣдатели, оставленные въ судѣ на ночь, прежде чѣмъ лечь спать, завели разговоръ о сильныхъ ощущеніяхъ. Ихъ навело на это воспоминаніе объ одномъ свидѣтелѣ, который сталъ заикой и посѣдѣлъ, по его словамъ, благодаря какой-то страшной минутѣ. Присяжные порѣшили, что, прежде чѣмъ уснуть, каждый изъ нихъ пороется въ своихъ воспоминаніяхъ и разскажетъ что-нибудь. Жизнь человѣческая коротка, но все же нѣтъ человѣка, который могъ бы похвастать, что у него въ прошломъ не было ужасныхъ минутъ.

Одинъ присяжный разсказалъ, какъ онъ тонулъ; другой разсказалъ, какъ однажды ночью онъ, въ мѣстности, гдѣ нѣтъ ни врачей, ни аптекарей, отравилъ собственнаго ребенка, давши ему по ошибкѣ вмѣсто соды цинковаго купороса. Ребенокъ не умеръ, но отецъ едва не сошелъ съ ума. Третій, еще не старый, болѣзненный человѣкъ, описалъ два своихъ покушенія на самоубійство: разъ стрѣлялся, другой разъ бросился подъ поѣздъ.

Четвертый, маленькій, щеголевато одѣтый толстякъ, разсказалъ слѣдующее:

— Мнѣ было 22—23 года не больше, когда я по уши влюбился въ свою теперешнюю жену и сдѣлалъ ей предложеніе... Теперь я съ удовольствіемъ высѣкъ бы себя за раннюю женитьбу, но тогда не знаю, что было бы со мной, если бы Наташа отвѣтила мнѣ отказомъ. Любовь была самая настоящая, такая, какъ въ романахъ описываютъ, бѣшеная, страстная, и прочее. Мое счастье душило меня и я не зналъ, куда мнѣ уйти отъ него, и я надоѣлъ и отцу, и пріятелямъ, и прислугѣ, разсказывая постоянно о томъ, какъ пылко я люблю. Счастливые люди это самые надоѣдливые, самые скучные люди. Я надоѣдалъ страшно, даже теперь мнѣ совѣстно.

Между пріятелями былъ у меня тогда одинъ начинающій адвокатъ. Теперь этотъ адвокатъ извѣстенъ на всю Россію, тогда же онъ только-что входилъ въ силу и не былъ еще богатъ и знаменитъ настолько, чтобы при встрѣчѣ со старымъ пріятелемъ имѣть право не узнавать, не снимать шляпы. Бывалъ я у него разъ, или два въ недѣлю. Когда я приходилъ къ нему, мы оба разваливались на диванахъ и начинали философствовать.

Какъ-то я лежалъ у него на диванѣ и толковалъ о томъ, что нѣтъ неблагодарнѣе профессіи, какъ адвокатская. Мнѣ хотѣлось доказать, что судъ послѣ того, какъ допросъ свидѣтелей оконченъ, легко можетъ обойтись безъ прокурора и безъ защитника, потому что тотъ и другой не нужны и только мѣшаютъ. Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный засѣдатель убѣжденъ, что этотъ потолокъ бѣлъ, что Ивановъ виновенъ, то бороться съ этимъ убѣжденіемъ и побѣдить его не въ силахъ никакой Демосѳенъ. Кто можетъ убѣдить меня, что у меня рыжіе усы, если я знаю, что они черные? Слушая оратора, я, быть-можетъ, и расчувствуюсь, и заплачу, но коренное убѣжденіе мое, основанное бо́льшею частью на очевидности и на фактѣ, нисколько не измѣнится. Мой же адвокатъ доказывалъ, что я молодъ еще и глупъ и что я говорю мальчишескій вздоръ. По его мнѣнію, очевидный фактъ оттого, что его освѣщаютъ добросовѣстные, свѣдущіе люди, становится еще очевиднѣе — это разъ; во-вторыхъ, талантъ — это стихійная сила, это ураганъ, способный обращать въ пыль даже камни, а не то что такой пустякъ, какъ убѣжденія мѣщанъ и купцовъ второй гильдіи. Человѣческой немощи бороться съ талантомъ такъ же трудно, какъ глядѣть не мигая на солнце, или остановить вѣтеръ. Одинъ простой смертный силою слова обращаетъ тысячи убѣжденныхъ дикарей въ христіанство; Одиссей былъ убѣжденнѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ, но спасовалъ передъ сиренами и т. д. Вся исторія состоитъ изъ подобныхъ примѣровъ, а въ жизни они встрѣчаются на каждомъ шагу, да такъ и должно быть, иначе умный и талантливый человѣкъ не имѣлъ бы никакого преимущества передъ глупцомъ и бездарнымъ.

Я стоялъ на своемъ и продолжалъ доказывать, что убѣжденіе сильнѣе всякаго таланта, хотя, откровенно говоря, самъ не могъ точно опредѣлить, что̀ такое именно убѣжде-

ніе и что̀ такое талантъ. Вѣроятно говорилъ я только, чтобы говорить.

— Взять хоть тебя... — сказалъ адвокатъ. — Ты убѣжденъ въ настоящее время, что твоя невѣста ангелъ и что нѣтъ во всемъ городѣ человѣка счастливѣе тебя. А я тебѣ говорю: достаточно мнѣ 10—20 минутъ, чтобы ты сѣлъ за этотъ самый столъ и написалъ отказъ своей невѣстѣ.

Я засмѣялся.

— Ты не смѣйся, я говорю серьезно, — сказалъ пріятель. — Захочу и черезъ 20 минутъ ты будешь счастливъ отъ мысли, что тебѣ не нужно жениться. У меня не Богъ вѣсть какой талантъ, но вѣдь и ты не изъ сильныхъ.

— А ну-ка, попробуй! — сказалъ я.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Я вѣдь это такъ только говорю. Ты мальчикъ добрый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И къ тому же я сегодня не въ ударѣ.

Мы сѣли ужинать. Вино и мысли о Наташѣ, моя любовь,—наполнили всего меня ощущеніемъ молодости и счастья. Счастье мое было такъ безгранично-велико, что сидѣвшій противъ меня адвокатъ съ его зелеными глазами казался мнѣ несчастнымъ, такимъ маленькимъ, сѣренькимъ...

— Попробуй же! — приставалъ я къ нему. — Ну, прошу!

Адвокатъ покачалъ головой и поморщился. Я видимо уже началъ надоѣдать ему.

— Я знаю, — сказалъ онъ: — послѣ моего опыта ты мнѣ спасибо скажешь и назовешь меня спасителемъ, но вѣдь нужно и о невѣстѣ подумать. Она тебя любитъ, твой отказъ заставилъ бы ее страдать. А какая она у тебя прелесть! Завидую я тебѣ.

Адвокатъ вздохнулъ, выпилъ вина и сталъ говорить о томъ, какая прелесть моя Наташа. У него былъ необыкновенный даръ описывать. Про женскія рѣсницы или мизинчикъ онъ могъ наговорить вамъ цѣлую кучу словъ. Слушалъ я его съ наслажденіемъ.

— Видѣлъ я на своемъ вѣку много женщинъ, — говорилъ онъ: — но даю тебѣ честное слово, говорю, какъ другу, твоя Наталья Андреевна — это перлъ, это рѣдкая дѣвушка. Конечно, есть и недостатки, ихъ даже много, если хочешь, но все же она очаровательна.

И адвокатъ заговорилъ о недостаткахъ моей невѣсты. Теперь я отлично понимаю, что это говорилъ онъ вообще

о женщинахъ, объ ихъ слабыхъ сторонахъ вообще, мнѣ же тогда казалось, что онъ говоритъ только о Наташѣ. Онъ восторгался вздернутымъ носомъ, вскрикиваніями, визгливымъ смѣхомъ, жеманствомъ, именно всѣмъ тѣмъ, что мнѣ такъ въ ней не нравилось. Все это, по его мнѣнію, было безконечно мило, граціозно, женственно. Незамѣтно для меня онъ скоро съ восторженнаго тона перешелъ на отечески назидательный, потомъ на легкій, презрительный... Предсѣдателя суда съ нами не было и некому было остановить расходившагося адвоката. Я не успѣвалъ рта разинуть, да и что я могъ сказать? Пріятель говорилъ не новое, давно уже всѣмъ извѣстное, и весь ядъ былъ не въ томъ, что онъ говорилъ, а въ анаѳемской формѣ. То-есть чортъ знаетъ какая форма! Слушая его тогда, я убѣдился, что одно и то же слово имѣетъ тысячу значеній и оттѣнковъ, смотря по тому, какъ оно произносится, по формѣ, какая придается фразѣ. Конечно, я не могу передать вамъ ни этого тона, ни формы, скажу только, что, слушая пріятеля и шагая изъ угла въ уголъ, я возмущался, негодовалъ, презиралъ съ нимъ вмѣстѣ. Я повѣрилъ ему даже, когда онъ со слезами на глазахъ заявилъ мнѣ, что я великій человѣкъ, что я достоинъ лучшей участи, что мнѣ предстоитъ въ будущемъ совершить что-то такое особенное, чему можетъ помѣшать женитьба!

— Другъ мой! — восклицалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку. — Умоляю тебя, заклинаю: остановись, пока не поздно. Остановись! Да хранитъ тебя небо отъ этой странной, жестокой ошибки! Другъ мой, не губи своей молодости!

Хотите, вѣрьте, хотите — нѣтъ, но въ концѣ-концовъ я сидѣлъ за столомъ и писалъ своей невѣстѣ отказъ. Я писалъ и радовался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запечатавъ письмо, я поспѣшилъ на улицу, чтобы опустить его въ почтовый ящикъ. Со мной пошелъ и адвокатъ.

— И отлично! Превосходно! — похвалилъ онъ меня, когда мое письмо къ Наташѣ исчезло во мракѣ почтоваго ящика. — Отъ души тебя поздравляю. Я радъ за тебя.

Пройдя со мной шаговъ десять, адвокатъ продолжалъ:

— Конечно, бракъ имѣетъ и свои хорошія стороны. Я, напримѣръ, принадлежу къ числу людей, для которыхъ бракъ и семейная жизнь — все.

И онъ уже описывалъ свою жизнь и предо мною предстали всѣ безобразія одинокой, холостой жизни.

Онъ говорилъ съ восторгомъ о своей будущей женѣ, о сладостяхъ обыкновенной, семейной жизни и восторгался такъ красиво, такъ искренно, что когда мы подошли къ его двери, я уже былъ въ отчаяніи.

— Что ты дѣлаешь со мной, ужасный человѣкъ?! — говорилъ я, задыхаясь. — Ты погубилъ меня! Зачѣмъ ты заставилъ меня написать то проклятое письмо? Я люблю ее, люблю!

И я клялся въ любви, я приходилъ въ ужасъ отъ своего поступка, который уже казался мнѣ дикимъ и безсмысленнымъ. Сильнѣе того ощущенія, которое испыталъ я въ то время, и представить, господа, невозможно. О, что я тогда пережилъ, что перечувствовалъ! Если бы нашелся добрый человѣкъ, который подсунулъ мнѣ въ ту пору револьверъ, то я съ наслажденіемъ пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ.

— Ну, полно, полно... — сказалъ адвокатъ, хлопая меня по плечу, и засмѣялся. — Перестань плакать. Письмо не дойдетъ до твоей невѣсты. Адресъ на конвертѣ писалъ не ты, а я, и я его такъ запуталъ, что на почтѣ ничего не поймутъ. Все это да послужитъ для тебя урокомъ: не спорь о томъ, чего не понимаешь.

Теперь, господа, предлагаю говорить слѣдующему.

Пятый присяжный поудобнѣй усѣлся и раскрылъ уже ротъ, чтобы начать свой разсказъ, какъ послышался бой часовъ на Спасской башнѣ.

— Двѣнадцать... — сосчиталъ одинъ изъ присяжныхъ. — А къ какому, господа, разряду вы отнесете ощущенія, которыя испытываетъ теперь нашъ подсудимый? Онъ, этотъ убійца, ночуетъ здѣсь въ судѣ въ арестантской, лежитъ, или сидитъ, и конечно не спитъ и въ теченіе всей безсонной ночи прислушивается къ этому звону. О чемъ онъ думаетъ? Какія грёзы посѣщаютъ его?

И присяжные какъ-то всѣ вдругъ забыли о «сильныхъ ощущеніяхъ»; то, что пережилъ ихъ товарищъ, писавшій когда-то письмо къ своей Наташѣ, казалось неважнымъ, даже не забавнымъ; и уже никто не разсказывалъ, стали тихо, въ молчаніи ложиться спать...

# НИЩІЙ.

— Милостивый государь! Будьте добры, обратите вниманіе на несчастнаго, голоднаго человѣка. Три дня не ѣлъ... не имѣю пятака на ночлегъ... клянусь Богомъ! Восемь лѣтъ служилъ сельскимъ учителемъ и потерялъ мѣсто по интригамъ земства. Палъ жертвою доноса. Вотъ ужъ годъ, какъ хожу безъ мѣста.

Присяжный повѣренный Скворцовъ поглядѣлъ на сизое, дырявое пальто просителя, на его мутные, пьяные глаза, красныя пятна на щекахъ, и ему показалось, что онъ раньше уже видѣлъ гдѣ-то этого человѣка.

— Теперь мнѣ предлагаютъ мѣсто въ Калужской губерніи, — продолжалъ проситель: — но у меня нѣтъ средствъ, чтобы поѣхать туда. Помогите, сдѣлайте милость! Стыдно просить, но... вынуждаютъ обстоятельства.

Скворцовъ поглядѣлъ на калоши, изъ которыхъ одна была глубокая, а другая мелкая, и вдругъ вспомнилъ.

— Послушайте, третьяго дня, кажется, я встрѣтилъ васъ на Садовой, — сказалъ онъ: — но тогда вы говорили мнѣ, что вы не сельскій учитель, а студентъ, котораго исключили. Помните?

— Нѣ... нѣтъ, не можетъ быть! — пробормоталъ проситель, смущаясь. — Я сельскій учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

— Будетъ вамъ лгать! Вы называли себя студентомъ и даже разсказали мнѣ, за что васъ исключили. Помните?

Скворцовъ покраснѣлъ и съ выраженіемъ гадливости на лицѣ отошелъ отъ оборвыша.

— Это подло, милостивый государь! — крикнулъ онъ сердито. — Это мошенничество! Я васъ въ полицію отправлю, чортъ бы васъ взялъ! Вы бѣдны, голодны, но это не даетъ вамъ права такъ нагло, безсовѣстно лгать!

Оборвышъ взялся за ручку двери и растерянно, какъ пойманный воръ, оглядѣлъ переднюю.

— Я... я не лгу-съ... — пробормоталъ онъ. — Я могу документы показать.

— Кто вамъ повѣритъ? — продолжалъ возмущаться Скворцовъ. — Эксплуатировать симпатіи общества къ сельскимъ учителямъ и студентамъ — вѣдь это такъ низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцовъ разошелся и самымъ безжалостнымъ образомъ распекъ просителя. Своею наглою ложью оборвышъ возбудилъ въ немъ гадливость и отвращеніе, оскорбилъ то, что онъ, Скворцовъ, такъ любилъ и цѣнилъ въ себѣ самомъ: доброту, чувствительное сердце, состраданіе къ несчастнымъ людямъ; своею ложью, покушеніемъ на милосердіе «субъектъ» точно осквернилъ ту милостыню, которую онъ отъ чистаго сердца любилъ подавать бѣднякамъ. Оборвышъ сначала оправдывался, божился, но потомъ умолкъ и пристыженный поникъ головой.

— Сударь! — сказалъ онъ, прикладывая руку къ сердцу. — Дѣйствительно, я... солгалъ! Я не студентъ и не сельскій учитель. Все это одна выдумка! Я въ русскомъ хорѣ служилъ и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мнѣ дѣлать? Вѣрьте Богу, нельзя безъ лжи! Когда я говорю правду, мнѣ никто не подаетъ. Съ правдой умрешь съ голоду и замерзнешь безъ ночлега! Вы вѣрно разсуждаете, я понимаю, но... что же мнѣ дѣлать?

— Что дѣлать? Вы спрашиваете, что вамъ дѣлать? — крикнулъ Скворцовъ, подходя къ нему близко. — Работайте, вотъ что дѣлать! Работать нужно!

— Работать... Я и самъ это понимаю, но гдѣ же работы взять?

— Вздоръ! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но вѣдь вы лѣнивы, избалованы, пьяны! Отъ васъ, какъ изъ кабака, разитъ водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей, и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай

вамъ канцелярію, русскій хоръ, маркерство, гдѣ бы вы ничего не дѣлали и получали бы деньги! А не угодно ли вамъ заняться физическимъ трудомъ? Небось, не пойдете въ дворники, или фабричные! Вы вѣдь съ претензіями!

— Какъ вы разсуждаете, ей-Богу... — проговорилъ проситель и горько усмѣхнулся. — Гдѣ же мнѣ взять физическаго труда? Въ приказчики мнѣ уже поздно, потому что въ торговлѣ съ мальчиковъ начинать надо, въ дворники никто меня не возьметъ, потому что на меня тыкать нельзя... а на фабрику не примутъ, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

— Вздоръ! Вы всегда найдете оправданіе! А не угодно ли вамъ дрова колоть?

— Я не отказываюсь, но нынче и настоящіе дровоколы сидятъ безъ хлѣба.

— Ну, всѣ тунеядцы такъ разсуждаютъ. Предложи вамъ, такъ откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

— Извольте, поколю...

— Хорошо, посмотримъ... Отлично... Увидимъ!

Скворцовъ заторопился и, не безъ злорадства потирая руки, вызвалъ изъ кухни кухарку.

— Вотъ, Ольга,—обратился онъ къ ней:—поведи этого господина въ сарай и пусть онъ дрова поколетъ.

Оборвышъ пожалъ плечами, какъ бы недоумѣвая, и нерѣшительно пошелъ за кухаркой. По его походкѣ видно было, что согласился онъ идти колоть дрова не потому, что былъ голоденъ и хотѣлъ заработать, а просто изъ самолюбія и стыда, какъ пойманный на словѣ. Замѣтно было также, что онъ сильно ослабѣлъ отъ водки, былъ нездоровъ и не чувствовалъ ни малѣйшаго расположенія къ работѣ.

Скворцовъ поспѣшилъ въ столовую. Тамъ изъ оконъ, выходившихъ на дворъ, виденъ былъ дровяной сарай и все, что происходило на дворѣ. Стоя у окна, Скворцовъ видѣлъ, какъ кухарка и оборвышъ вышли чернымъ ходомъ на дворъ и по грязному снѣгу направились къ сараю. Ольга, сердито оглядывая своего спутника и тыча въ стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вѣроятно, мы помѣшали бабѣ кофе пить,—подумалъ Скворцовъ.—Экое злое созданіе!»

Далѣе онъ видѣлъ, какъ лже-учитель и лже-студентъ

усѣлся на колоду и, подпершись кулаками свои красныя щеки, о чемъ-то задумался. Баба швырнула къ его ногамъ топоръ, со злобой плюнула и, судя по выраженію губъ, стала браниться. Оборвышъ нерѣшительно потянулъ къ себѣ одно полѣно, поставилъ его между ногъ и несмѣло тяпнулъ по немъ топоромъ. Полѣно закачалось и упало. Оборвышъ потянулъ его къ себѣ, подулъ на свои озябшія руки и опять тяпнулъ топоромъ съ такою осторожностью, какъ будто боялся хватить себя по калошѣ, или обрубить пальцы. Полѣно опять упало.

Гнѣвъ Скворцова уже прошелъ и ему стало немножко больно и стыдно за то, что онъ заставилъ человѣка избалованнаго, пьянаго и, можетъ-быть, больного заниматься на холодѣ черной работой.

«Ну, ничего, пусть...—подумалъ онъ, идя изъ столовой въ кабинетъ.—Это я для его же пользы».

Черезъ часъ явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

— На, отдай ему полтинникъ, — сказалъ Скворцовъ. — Если онъ хочетъ, то пусть приходитъ колоть дрова каждое первое число... Работа всегда найдется.

Перваго числа явился оборвышъ и опять заработалъ полтинникъ, хотя едва стоялъ на ногахъ. Съ этого раза онъ сталъ часто показываться на дворѣ и всякій разъ для него находили работу: то онъ снѣгъ сгребалъ въ кучи, то прибиралъ въ сараѣ, то выбивалъ пыль изъ ковровъ и матрацовъ. Всякій разъ онъ получалъ за свои труды копеекъ 20—40, и разъ даже ему были высланы старыя брюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцовъ нанялъ его помогать при укладкѣ и перевозкѣ мебели. Въ этотъ разъ оборвышъ былъ трезвъ, угрюмъ и молчаливъ; онъ едва прикасался къ мебели, ходилъ, понуря голову, за возами и даже не старался казаться дѣятельнымъ, а только ежимался отъ холода и конфузился, когда извозчики смѣялись надъ его праздностью, безсиліемъ и рваньмъ, благороднымъ пальто. Послѣ перевозки Скворцовъ велѣлъ позвать его къ себѣ.

— Ну, я вижу, мои слова на васъ подѣйствовали, — сказалъ онъ, подавая ему рубль. — Вотъ вамъ за труды.

Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Какъ васъ зовутъ?

— Лушковъ.

— Я, Лушковъ, могу теперь предложить вамъ другую работу, почище. Вы можете писать?

— Могу-съ.

— Такъ вотъ съ этимъ письмомъ вы завтра отправитесь къ моему товарищу и получите отъ него переписку. Работайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорилъ вамъ. Прощайте!

Скворцовъ, довольный тѣмъ, что поставилъ человѣка на путь истины, ласково потрепалъ Лушкова по плечу и даже подалъ ему на прощанье руку. Лушковъ взялъ письмо, ушелъ и ужъ больше не приходилъ на дворъ за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билетъ, Скворцовъ увидѣлъ рядомъ съ собой маленькаго человѣчка съ барашковымъ воротникомъ и въ поношенной котиковой шапкѣ. Человѣчекъ робко попросилъ у кассира билетъ на галерку и заплатилъ мѣдными пятаками.

— Лушковъ, это вы?—спросилъ Скворцовъ, узнавъ въ человѣчкѣ, своего давнишняго дровокола.—Ну какъ? Что подѣлываете? Хорошо живется?

— Ничего... Служу теперь у нотаріуса, получаю 35 рублей-съ.

— Ну, и слава Богу. И отлично! Радуюсь за васъ. Очень, очень радъ, Лушковъ! Вѣдь вы нѣкоторымъ образомъ мой крестникъ. Вѣдь это я васъ на настоящую дорогу толкнулъ. Помните, какъ я васъ распекалъ, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчикъ, что моихъ словъ не забывали.

— Спасибо и вамъ,—сказалъ Лушковъ. — Не приди я къ вамъ тогда, пожалуй, до сихъ поръ назывался бы учителемъ, или студентомъ. Да, у васъ спасся, выскочилъ изъ ямы.

— Очень, очень радъ.

— Спасибо за ваши добрыя слова и за дѣла. Вы отлично тогда говорили. Я благодаренъ и вамъ, и вашей кухаркѣ, дай Богъ здоровья этой доброй, благородной женщинѣ. Вы отлично говорили тогда, я вамъ обязанъ, ко-

нечно, по гробъ жизни, но спасла-то меня собственно ваша кухарка Ольга.

— Какимъ это образомъ?

— А такимъ образомъ. Бывало, придешь къ вамъ дрова колоть, и она начнетъ: «Ахъ, ты пьяница! Окаянный ты человѣкъ! И нѣтъ на тебя погибели!» А потомъ сядетъ противъ, пригорюнится, глядитъ мнѣ въ лицо и плачется: «Несчастный ты человѣкъ! Нѣтъ тебѣ радости на этомъ свѣтѣ, да и на томъ свѣтѣ, пьяница, въ аду горѣть будешь! Горемычный ты!» И все въ такомъ родѣ, знаете. Сколько она себѣ крови испортила и слезъ пролила ради меня, я вамъ и сказать не могу. Но главное—вмѣсто меня дрова колола! Вѣдь я, сударь, у васъ ни одного полѣна не раскололъ, а все она! Почему она меня спасла, почему я измѣнился, глядя на нее, и пить пересталъ, не могу вамъ объяснить. Знаю только, что отъ ея словъ и благородныхъ поступковъ въ душѣ моей произошла перемѣна, она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонокъ подаютъ.

Лушковъ поклонился и отправился на галерку.

# ПЬЯНЫЕ.

Фабрикантъ Фроловъ, красивый брюнетъ съ круглой бородкой и съ мягкимъ, бархатнымъ выраженіемъ глазъ, и его повѣренный адвокатъ Альмеръ, пожилой мужчина, съ большой, жесткой головой, кутили въ одной изъ общихъ залъ загороднаго ресторана. Оба они пріѣхали въ ресторанъ прямо съ бала, а потому были во фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ. Кромѣ нихъ и лакеевъ у дверей, въ залѣ не было ни души: по приказанію Фролова никого не впускали.

Начали съ того, что выпили по большой рюмкѣ водки и закусили устрицами.

— Хорошо!—сказалъ Альмеръ.—Это, братъ, я пустилъ въ моду устрицами закусывать. Отъ водки пожжетъ, подеретъ тебѣ въ горлѣ, а какъ проглотишь устрицу, въ горлѣ чувствуешь сладострастіе. Не правда ли?

Солидный лакей съ бритыми усами и съ сѣдыми бакенами поставилъ на столъ соусникъ.

— Что это ты подаешь?—спросилъ Фроловъ.

— Соусъ провансаль для селедки-съ...

— Что? Развѣ такъ подаютъ? — крикнулъ фабрикантъ, не поглядѣвъ въ соусникъ.—Развѣ это соусъ? Подавать не умѣешь, болванъ!

Бархатные глаза Фролова вспыхнули. Онъ обмоталъ вокругъ пальца уголъ скатерти, сдѣлалъ легкое движеніе, и закуски, подсвѣчники, бутылки—все со звономъ и съ визгомъ загремѣло на полъ.

Лакеи, давно уже привыкшіе къ кабацкимъ катастрофамъ, подбѣжали къ столу и серьезно, хладнокровно, какъ [illegible]ги во время операціи, стали подбирать осколки.

— Какъ это ты хорошо умѣешь съ ними,— сказалъ Альмеръ и засмѣялся.—Но... отойди немножко отъ стола, а то въ икру наступишь.

— Позвать сюда инженера!—крикнулъ Фроловъ.

Инженеромъ назывался дряхлый, кислолицый старикъ, въ самомъ дѣлѣ бывшій когда-то инженеромъ и богатымъ человѣкомъ; онъ промоталъ все свое состояніе и подъ конецъ жизни попалъ въ ресторанъ, гдѣ управлялъ лакеями и пѣвицами. и исполнялъ разныя порученія по части женскаго пола. Явившись на зовъ, онъ почтительно склонилъ голову на бокъ.

— Послушай, любезный,—обратился къ нему Фроловъ:— что это за безпорядки? Какъ они у тебя подаютъ? Развѣ ты не знаешь, что я этого не люблю? Чортъ васъ подери, я перестану къ вамъ ѣздить!

— Прошу великодушно извинить, Алексѣй Семенычъ!— сказалъ инженеръ, прижимая руку къ сердцу. — Я немедленно приму мѣры и всѣ ваши малѣйшія желанія будутъ исполняемы самымъ лучшимъ и скорымъ образомъ.

— Ну, ладно, ступай...

Инженеръ поклонился, попятился назадъ, все въ наклонномъ положеніи, и исчезъ за дверью, сверкнувъ въ послѣдній разъ своими фальшивыми брильянтами на сорочкѣ и пальцахъ.

Закусочный столъ опять былъ накрытъ. Альмеръ пилъ красное, съ аппетитомъ ѣлъ какую-то птицу съ трюфелями и заказалъ себѣ еще матлотъ изъ налимовъ и стерлядку кольчикомъ. Фроловъ пилъ одну водку и закусывалъ хлѣбомъ. Онъ мялъ ладонями лицо, хмурился, пыхтѣлъ и, видимо, былъ не въ духѣ. Оба молчали. Было тихо. Два электрическихъ фонаря въ матовыхъ колпакахъ мелькали и сипѣли, точно сердились. За дверями, тихо подпѣвая, проходили цыганки.

— Пьешь и никакой веселости, — сказалъ Фроловъ. — Чѣмъ больше въ себя вливаю, тѣмъ становлюсь трезвѣе. Другіе веселѣютъ отъ водки, а у меня злоба, противныя мысли, безсонница. Отчего это, братъ, люди кромѣ пьянства и безпутства не придумаютъ другого какого-нибудь удовольствія? Противно вѣдь!

— А ты цыганокъ позови.

— Ну ихъ!

Въ дверяхъ изъ коридора показалась голова старухи цыганки.

— Алексѣй Семенычъ, цыгане просятъ чаю и коньяку,— сказала старуха.—Можно потребовать?

— Можно!—отвѣтилъ Фроловъ. — Ты знаешь, вѣдь они съ хозяина ресторана проценты берутъ за то, что требуютъ съ гостей угощенія. Нынче нельзя вѣрить даже тому, кто на водку проситъ. Народъ все низкій, подлый, избалованный. Взять хоть этихъ вотъ лакеевъ. Физіономіи, какъ у профессоровъ, сѣдые, по двѣсти рублей въ мѣсяцъ добываютъ, своими домами живутъ, дочекъ въ гимназіяхъ обучаютъ, но ты можешь ругаться и тонъ задавать, сколько угодно. Инженеръ за цѣлковый слопаетъ тебѣ банку горчицы и пѣтухомъ пропоетъ. Честное слово, если бъ хоть одинъ обидѣлся, я бы ему тысячу рублей подарилъ!

— Что съ тобой?—спросилъ Альмеръ, глядя на него съ удивленіемъ.—Откуда эта меланхолія? Ты красный, звѣремъ смотришь... Что съ тобой?

— Скверно. Штука одна въ головѣ сидитъ. Засѣла гвоздемъ, и ничѣмъ ее оттуда не выковыряешь.

Въ залу вошелъ маленькій, кругленькій, заплывшій жиромъ старикъ, совсѣмъ лысый и облѣзлый, въ кургузомъ пиджакѣ, въ лиловой жилеткѣ съ гитарой. Онъ состроилъ идіотское лицо и вытянулся, сдѣлавъ подъ козырекъ, какъ солдатъ.

— А, паразитъ!—сказалъ Фроловъ. — Вотъ рекомендую: состояніе нажилъ тѣмъ, что свиньей хрюкалъ. Подойди-ка сюда!

Фабрикантъ налилъ въ стаканъ водки, вина, коньяку, насыпалъ соли и перцу, смѣшалъ все это и подалъ паразиту. Тотъ выпилъ и ухарски крякнулъ.

— Онъ привыкъ бурду пить, такъ что его отъ чистаго вина мутитъ, — сказалъ Фроловъ. — Ну, паразитъ, садись и пой.

Паразитъ сѣлъ, потрогалъ жирными пальцами струны и запѣлъ:

Нитка-нитка, Маргаритка...

Выпивъ шампанскаго, Фроловъ опьянѣлъ. Онъ стукнулъ кулакомъ по столу и сказалъ:

Да, штука въ головѣ сидитъ! Ни на минуту поко-

— Да въ чемъ дѣло?

— Не могу сказать. Секретъ. Это у меня такая тайна, которую я только въ молитвахъ могу говорить. Впрочемъ, если хочешь, по-дружески, между нами... только ты смотри, никому—ни-ни-ни... Я тебѣ выскажу, мнѣ легче станетъ, но ты... ради Бога выслушай и забудь...

Фроловъ нагнулся къ Альмеру и полминуты дышалъ ему въ ухо.

— Жену свою ненавижу!—проговорилъ онъ.

Адвокатъ поглядѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Да, да, жену свою, Марью Михайловну,—забормоталъ Фроловъ, краснѣя.—Ненавижу, и все тутъ.

— За что же?

— Самъ не понимаю! Женатъ только два года, женился, самъ знаешь, по любви, а теперь ненавижу ее уже какъ врага постылаго, какъ этого самаго, извини, паразита. И причинъ вѣдь нѣтъ, никакихъ причинъ! Когда она около меня сидитъ, ѣстъ, или если говоритъ что, то вся душа моя кипитъ, сдержать себя едва могу, чтобы не сгрубить ей. Просто такое дѣлается, что и сказать нельзя. Уйти отъ нея, или сказать ей правду никакъ невозможно, потому что скандалъ, а жить съ ней для меня хуже ада. Не могу сидѣть дома! Такъ, днемъ все по дѣламъ да по ресторанамъ, а ночью по вертепамъ путаюсь. Ну, чѣмъ эту ненависть объяснишь? Вѣдь не какая-нибудь, а красавица, умная, тихая.

Паразитъ топнулъ ногой и запѣлъ:

Съ офицеромъ я ходила,
Съ нимъ секреты говорила..

— Признаться, мнѣ всегда казалось, что Марья Михайловна тебѣ совсѣмъ не пара,—сказалъ Альмеръ послѣ нѣкотораго молчанія и вздохнулъ.

— Скажешь, образованная? Послушай... Самъ я въ коммерческомъ съ золотою медалью кончилъ, раза три въ Парижѣ былъ. Я не умнѣе тебя, конечно, но не глупѣе жены. Нѣтъ, братъ, не въ образованіи загвоздка! Ты послушай, съ чего началась-то вся эта музыка. Началось съ того, что стало мнѣ вдругъ казаться, что вышла она не по любви, а ради богатства. Засѣла мнѣ эта мысль въ башку. Ужъ я и такъ и этакъ—сидитъ проклятая! А тутъ еще жену жадность одолѣла. Послѣ бѣдности-то попала она въ золотой

мѣшокъ и давай сорить направо и налѣво. Ошалѣла, забылась до такой степени, что каждый мѣсяцъ по двадцати тысячъ раскидывала. А я мнительный человѣкъ. Никому я не вѣрю, всѣхъ подозрѣваю, и чѣмъ ты ласковѣй со мной, тѣмъ мнѣ мучительнѣе. Все мнѣ кажется, что мнѣ льстятъ изъ-за денегъ. Никому не вѣрю! Тяжелый я, братъ, человѣкъ, очень тяжелый!

Фроловъ выпилъ залпомъ стаканъ вина и продолжалъ:

— Впрочемъ, все это чепуха,—сказалъ онъ.—Объ этомъ никогда не слѣдуетъ говорить. Глупо. Я спьяна проболтался, а ты на меня теперь адвокатскими глазами глядишь—радъ, что чужую тайну узналъ. Ну, ну... оставимъ этотъ разговоръ. Будемъ пить! Послушай,—обратился онъ къ лакею:—у васъ Мустафа? Позови его сюда!

Немного погодя, въ залу вошелъ маленькій татарченокъ, лѣтъ двѣнадцати, во фракѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ.

— Поди сюда!—сказалъ ему Фроловъ.—Объясняй намъ слѣдующій фактъ. Было время, когда вы, татары, владѣли нами и брали съ насъ дань, а теперь вы у русскихъ въ лакеяхъ служите и халаты продаете. Чѣмъ объяснить такую перемѣну?

Мустафа поднялъ вверхъ брови и сказалъ тонкимъ голосомъ нараспѣвъ:

— Превратность судьбы!

Альмеръ поглядѣлъ на его серьезное лицо и покатился со смѣха.

— Ну, дай ему рубль!—сказалъ Фроловъ.—Этой превратностью судьбы онъ капиталъ наживаетъ. Только изъ-за этихъ двухъ словъ его и держатъ тутъ. Выпей, Мустафа! Бо-ольшой изъ тебя подлецъ выйдетъ! То-есть страсть сколько вашего брата, паразитовъ, около богатаго человѣка трется. Сколько васъ мирныхъ разбойниковъ и грабителей развелось—ни проѣхать, ни пройти! Нешто еще цыганъ позвать? А? Вали сюда цыганъ!

Цыгане, давно уже томившіеся въ коридорахъ, съ гиканьемъ ворвались въ залу и начался дикій разгулъ.

— Пейте!—кричалъ имъ Фроловъ.—Цей, фараоново племя! Пойте! И-и-хъ!

Зимнею порою... и-и-хъ!.. саночки летѣли...

...не пѣли, свистали, плясали... Въ изступленіи ко-

торое иногда овладѣвастъ очень богатыми, избалованными «широкими натурами», Фроловъ сталъ дурить. Онъ велѣлъ подать цыганамъ ужинъ и шампанскаго, разбилъ матовый колпакъ у фонаря, швырялъ бутылками въ картины и зеркала, и все это, видимо, безъ всякаго удовольствія, хмурясь и раздраженно прикрикивая, съ презрѣніемъ къ людямъ, съ выраженіемъ ненавистничества въ глазахъ и въ манерахъ. Онъ заставлялъ инженера пѣть solo, поилъ басовъ смѣсью вина, водки и масла...

Въ шесть часовъ ему подали счетъ.

— 925 руб. 40 коп.!—сказалъ Альмеръ и пожалъ плечами.—За что это? Нѣтъ, постой, надо провѣрить!

— Оставь!—забормоталъ Фроловъ, вытаскивая бумажникъ.—Ну... пусть грабятъ... На то я и богатый, чтобъ меня грабили... Безъ паразитовъ... нельзя... Ты у меня повѣренный... шесть тысячъ въ годъ берешь, а... а за что? Впрочемъ, извини... я самъ не знаю, что говорю.

Возвращаясь съ Альмеромъ домой, Фроловъ бормоталъ:

— Ѣхать домой мнѣ—это ужасно! Да... Нѣтъ у меня человѣка, которому я могъ бы душу свою открыть... Все грабители... предатели... Ну, зачѣмъ я тебѣ свою тайну разсказалъ? За... зачѣмъ? Скажи: зачѣмъ?

У подъѣзда своего дома, онъ потянулся къ Альмеру и, пошатываясь, поцѣловалъ его въ губы, по старой московской привычкѣ—цѣловаться безъ разбора, при всякомъ случаѣ.

— Прощай... Тяжелый, скверный я человѣкъ,—сказалъ онъ.—Нехорошая, пьяная, безстыдная жизнь. Ты образованный, умный человѣкъ, а только усмѣхаешься и пьешь со мной, ни... никакой помощи отъ всѣхъ васъ... А ты бы, если ты мнѣ другъ, если ты честный человѣкъ, по-настоящему долженъ былъ бы сказать: «Эхъ, подлый, скверный ты человѣкъ! Гадина ты!»

— Ну, ну...—забормоталъ Альмеръ.—Иди спать.

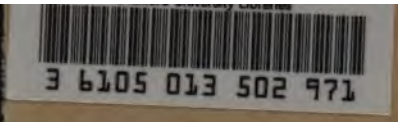
— Никакой помощи отъ васъ. Только и надежды, что вотъ, когда лѣтомъ буду на дачѣ, выйду въ поле, и надвинетъ гроза, ударитъ громъ и разразитъ меня на мѣстѣ... Про... прощай...

Фроловъ еще разъ поцѣловался съ Альмеромъ и, засыпая на ходу, бормоча, поддерживаемый двумя лакеями, сталъ подниматься по лѣстницѣ.

# Оглавленіе

## III ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Унтеръ Пришибеевъ . . . | 3 |
| Анюта . . . . . | 8 |
| Въ Москвѣ на Трубной площади . . . . . | 13 |
| Лошадиная фамилія . . . | 17 |
| Трагикъ . . . . . | 21 |
| Страдальцы . . . . . | 25 |
| Наканунѣ поста . . . . | 31 |
| Житейская молочь . . . | 36 |
| Маска . . . . . | 42 |
| Переполохъ . . . . . | 48 |
| Шуточка . . . . . | 56 |
| Писатель . . . . . | 61 |
| На Страстной недѣлѣ . . | 65 |
| Perpetuum mobile . . . . | 70 |
| Торжество побѣдителя . . | 78 |
| Ворона . . . . . | 82 |
| Неосторожность . . . . . | 87 |
| Хористка . . . . . | 91 |
| Страхи . . . . . | 97 |
| Послѣ театра . . . . . | 103 |
| Ненастье . . . . . | 106 |
| Изъ огня да въ полымя . . | 111 |
| Бѣглецъ . . . . . | 118 |
| Происшествіе. (Разсказъ ямщика) . . . . . | 126 |
| Злоумышленникъ . . . . | 132 |
| Дѣтвора . . . . . | 137 |
| Мертвое тѣло . . . . . | 142 |
| Зиночка . . . . . | 148 |
| Нахлѣбники . . . . . | 154 |
| Талантъ . . . . . | 160 |
| Дорогіе уроки . . . . . | 165 |
| Въ сараѣ . . . . . | 172 |
| Разсказъ госпожи NN . . | 178 |
| Выигрышный билетъ . . . | 183 |
| Морозъ . . . . . | 188 |
| Сильныя ощущенія . . . | 195 |
| Нищій . . . . . | 200 |
| Пьяные . . . . . | 206 |


3 6105 013 502 971

JUL 3 1961

JUN 18 1976

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
Stanford, California